БАЛЬЗАК

21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ОЗОРНЫЕ РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Философские этюды

ОБ ЕКАТЕРИНЕ МЕДИЧИ

Господину маркизу де Пасторе,
члену Академии изящных Искусств.

Когда думаешь о том, сколько было издано книг, ставивших своей задачей уточнить путь следования Аннибала через Альпы, причем до сих пор так и не установлено, шел ли он, если верить Витекеру и Ривасу, через Лион, Женеву, Сен-Бернар и долину Аосты, или, если верить Летронну, Фоллару, Сен-Симону и Форсиа д'Юрбану, через Изер, Гренобль, Сен-Бонне, Мон-Женевр, Фенестреллу и проход Сюз, или, по мнению Лароза́, через Мон-Сени и Сузу, или, по мнению Страбона, Полибия и Делюка, через Рону, Вьенну, Иенну и Мон-дю-Ша, или, наконец, по мнению кое-кого из людей умных и, на мой взгляд, более справедливому, через Геную, Бокетту и Скривию (этого последнего мнения придерживался и Наполеон), не говоря уже о том уксусе, каким отдельные ученые приправляли Альпийские горы, приходится только удивляться, господин маркиз, что мы с таким пренебрежением относимся к новой истории. Важнейшие моменты ее покрыты мраком неизвестности, и самая отвратительная клевета поливает грязью имена, которые следовало бы чтить. Заметьте кстати, что изучение перехода Аннибала зашло так далеко, что стали сомневаться, переходил ли он вообще когда-нибудь через Альпы. Отец Менестрие считает, например, что Скорас, о котором упоминает Полибий, есть не что иное, как Сона; Летрон, Лароза̀ и Швейгхаузер думают, что это Изер, а лионский ученый Кошар полагает, что это Дром. Тот, кто умеет видеть, найдет между Скорасом и Скривией немало общего как с географической, так и с лингвистической точек зрения; к тому же можно быть почти уверенным в том, что карфагенский флот стоял на якоре или в Специи, или в Генуэзской гавани.

Мне кажется, что все эти терпеливые исследования имели бы смысл, если бы сам факт битвы при Каннах был подвергнут сомнению. Но, коль скоро результаты ее известны, надо ли исписывать целые горы бумаги утверждениями, которые являются всего только искусно разукрашенными гипотезами, в то время как история самого значительного периода нового времени, история эпохи Реформации, пестрит такими огромными лакунами, что мы не знаем даже в точности имени человека, который делал попытку пустить первое паровое судно в Барселоне[1]*, в то время как Лютер и Кальвин готовили восстание человеческого разума.*

Вы и я, мы оба, каждый по-своему, изучали великий и прекрасный образ Екатерины Медичи и пришли к одному и тому же выводу. Вот почему я подумал, что мои исторические труды об этой королеве мне следовало бы посвятить писателю, который столько времени занимался историей Реформации, и что в главах всех это будет знаком моего уважения к личности и чувствам человека, верного монархической идее, тем более ценным, что в наши дни ей редко воздают должное.

Париж, январь 1842 г.

---

[1] Имя этого изобретателя, по-видимому, Саломон Ко (пишется Caux, а не Caus). Этому великому человеку всегда не везло. Даже имя его после смерти писали неверно. Саломон, чей подлинный портрет, написанный, когда ему было сорок шесть лет, обнаружен автором «Человеческой комедии», родился в Ко, в Нормандии. *(Прим. автора.)*

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда исследователь, пораженный какой-нибудь ошибкой в области истории, пытается ее исправить, это чуть ли не всегда считают верхом нелепости. Но тому, кто основательно изучает историю нашего времени, хорошо известно, что историки — это привилегированные лжецы, охотно пересказывающие народные предания, совершенно так же, как большинство современных газет говорит только то, что думают их читатели.

Светские ученые в гораздо меньшей степени отличаются независимостью суждений об истории, чем ученые церковные. Самыми достоверными сведениями исторического характера, разумеется, в тех случаях, когда раскрытие истины не затрагивает интересов церкви, мы обязаны монахам-бенедиктинцам, которыми по праву гордится Франция. Вот почему начиная с середины XVIII века появляется немало крупных ученых богословов. Необходимость исправить ходячие ошибки, распространяемые историками, заставила их издать весьма примечательные труды. Так вот г-н де Лонуа, названный «Изничтожителем святых», объявил жестокую войну всем святым, которые контрабандным путем проникли в лоно церкви. Именно поэтому соперники бенедиктинцев, члены «Академии надписей и словесности», люди никому почти не известные, начали издавать свои труды по поводу загадочных событий истории, труды, являющие собою чудеса терпения, эрудиции и логики.

Так вот Вольтер, руководимый недостойными мотивами, нередко с какой-то мрачной страстью всей силой

своего ума ополчался на исторические предрассудки. С этой же целью Дидро написал свое непомерно длинное историческое исследование об эпохе Римской Империи. Если бы не было Революции, французские критики, обратившись к истории, подготовили бы, может быть, какую-то наметку для хорошей, настоящей истории Франции, по данным, которые столько времени тому назад были уже собраны нашими великими бенедиктинцами. Людовик XVI, человек, обладавший светлым умом, сам даже перевел с английского языка сочинение, где Уолпол пытается истолковать личность Ричарда III, книгу, которая так занимала минувшее столетие.

Но как же получается, что знаменитые короли и королевы, что столь выдающиеся полководцы вызывают у нас ужас или кажутся нам смешными? Половина людей еще не решила, чему отдать предпочтение — английской истории или песенке о Мальбруке; точно так же, как в отношении Карла IX мы еще не решили, кто прав — история или народная молва.

Во все эпохи, когда происходят крупные столкновения народных масс с представителями власти, в народе создается представление о каком-то *чудовище-живоглоте*, да будет мне позволено употребить это слово, чтобы вернее выразить мою мысль. Так вот, в наше время, если бы не существовало «Мемориала острова святой Елены», если бы не возникло конфликтов между роялистами и бонапартистами, очень легко могло случиться, что о личности Наполеона у всех осталось бы превратное представление. Явился бы еще какой-нибудь аббат де Прадт, напечатали бы еще несколько газетных статей, и из императора Наполеон превратился бы в людоеда. Каким же образом ошибочное суждение так легко распространяется и утверждается? Все это каким-то загадочным путем совершается на наших глазах, но мы этого даже не замечаем. Никто не подозревает, в какой степени печать упрочила как зависть, столь свойственную людям образованным, так и распространенные анекдоты, которые резюмируют значительное историческое событие, давая ему совершенно неверное толкование. Так вот, именем князя Полиньяка по всей Франции называют скверных лошадей, которых приходится понукать, и кто знает, что будут наши потомки думать о произве-

денном князем Полиньяком государственном перевороте. По прихоти Шекспира, вызванной, может быть, даже желанием отмстить, подобно тому, как Бомарше мстил Бергассу, Фальстаф сделался в Англии комическим типом: одно имя его вызывает смех, это король шутов. В действительности же Фальстаф никогда не был таким неимоверно толстым, одуревшим от влюбленности, тщеславным, пьяницей и старым развратником. Напротив, Фальстаф был одним из самых значительных представителей своей эпохи, кавалером ордена Подвязки и человеком, облеченным высокой властью. К моменту вступления Генриха V на царство Фальстафу было самое большее тридцать четыре года. Этот военачальник, отличившийся во время битвы при Азенкуре, когда он взял в плен герцога Алансонского, захватил в 1420 году Монтеро, который отчаянно защищался. Наконец, при Генрихе VI он разбил десятитысячную французскую армию, хотя под его началом было только полторы тысячи измученных и умирающих с голоду солдат!

Вот факты, относящиеся к военной истории.

Перейдем теперь к литературе. Оказывается, Рабле, трезвенник, который ничего не пил, кроме воды, слывет у нас чревоугодником и завзятым пьяницей. Сколько разных смешных историй сложено об авторе «Пантагрюэля» — одной из прекраснейших книг во французской литературе!

Об Аретино, друге Тициана, человеке, который был Вольтером своего времени, в наши дни сложилось представление, совершенно противоположное его сочинениям, его личности; из него сделали человека развращенного, такого, каких нам рисуют произведения его эпохи, когда чудачества были в чести, когда королевы и кардиналы писали новеллы, которые мы теперь называем непристойными. Такого рода примеры можно было бы продолжить до бесконечности. Во Франции, и притом в самую значительную эпоху ее истории, ни одной женщине, если не считать Брунгильды или Фредегонды, не пришлось так пострадать от народной молвы, как Екатерине Медичи, в то время как Марии Медичи, все действия которой были направлены во вред стране, удалось избежать позора, хотя она его заслужила. Мария растратила богатства, накопленные Генрихом IV; ей так и не удалось

смыть с себя обвинение в том, что она знала о готовившемся цареубийстве; любовником ее был д'Эпернон, который не отразил удара Равальяка и который к тому же давно и хорошо знал убийцу. Она вынудила своего сына изгнать ее из Франции, где она подстрекала своего второго сына, Гастона, к мятежам. Наконец, кардинал Ришелье, обманувший ее в день 11 ноября, обязан своей удачей исключительно тому, что показал Людовику XIII секретные документы, относившиеся к смерти Генриха IV. Что же касается Екатерины Медичи, то она, напротив, спасла французскую корону; она поддержала королевский престиж при таких обстоятельствах, когда мало кто из великих монархов удержался бы на престоле. Она имела дело с мятежниками и честолюбцами, вроде Гизов и дома Бурбонов, с такими людьми, как оба Лотарингских кардинала и оба Балафре, оба принца Конде, королева Жанна д'Альбре, Генрих IV, коннетабль Монморанси, Кальвин, Колиньи, Теодор де Без, и ей приходилось проявлять исключительные способности, обнаруживать ценнейшие для государственного деятеля черты характера под огнем насмешек всей кальвинистской клики. Вот факты, в которых совершенно не приходится сомневаться. Итак, стоит поглубже заглянуть в историю Франции XVI века, и мы увидим, что Екатерина Медичи является великой государыней. Когда рассеется клевета и собранные ценою немалых усилий факты опровергнут все противоречивые памфлеты и лживые измышления, только тогда обнаружатся настоящие достоинства этой необыкновенной женщины, не подверженной ни одной из слабостей своего пола, женщины, умевшей сохранить целомудрие в то время, как вокруг, среди придворных, процветали самые распущенные в тогдашней Европе нравы, женщины, которая, несмотря на недостаток средств, сумела воздвигнуть восхитительные памятники как бы в противовес всем разрушениям, причиненным кальвинистами, одинаково вредившими и государству и искусству.

Теснимая с одной стороны герцогами Лотарингскими, которые называли себя наследниками Карла Великого, а с другой — младшей ветвью королевской фамилии, которая хотела, заняв престол, изгладить следы измены коннетабля Бурбона, Екатерина оказалась вынужденной

обрушиться на еретиков, готовых растерзать монархию. Одна, без друзей, обнаружив измену среди главарей католиков и республиканский дух среди кальвинистов, она пустила в ход самое опасное, но вместе с тем и самое верное в политических делах оружие — ловкость! Она решила сначала обмануть ту партию, которая хотела уничтожить династию Валуа, потом — Бурбонов, стремившихся захватить престол, и, наконец,— реформатов, радикалов того времени, которые мечтали о немыслимой республике, подобно радикалам наших дней, которым, собственно говоря, нечего реформировать. Вот почему до самой ее смерти династия Валуа удержалась на престоле. Наш знаменитый де Ту хорошо понимал, какова была роль Екатерины,— узнав, что она умерла, он воскликнул:

«Нет, умерла не женщина, умерла королевская власть!»

У Екатерины Медичи действительно в очень сильной степени было развито это сознание королевской власти; потому она и защищала ее с удивительнейшим упорством. Все, в чем писатели-кальвинисты упрекали ее, составляет как раз ее славу; если бы она не пустила в ход это средство, не было бы и побед. Могла ли она победить, не прибегая к хитрости! В этом все дело. Что же касается насилия, то здесь мы сталкиваемся с одной из самых сложных политических проблем. В наши дни проблему эту решили совсем просто, водрузив на площади огромную каменную глыбу, привезенную из Египта, чтобы предать забвению цареубийство и воздвигнуть памятник той материалистической политике, которая властвует над нами; ее решили у кармелитов и в Аббатстве; ее решили на ступеньках церкви св. Роха, ее решили в 1830 году у стен Лувра, где народ еще раз выступил против короля, так же, как вскоре ее решила лучшая из республик — республика Лафайета, подавляя восстания республиканцев на улицах Сен-Мерри и Транснонен. Всякая власть, как законная, так и незаконная, вынуждена защищаться, когда на нее нападают. Но вот что удивительно: победа народа над кучкой знати объявляется героизмом, в то время как правителя, единоборствующего с народом, называют убийцей. А если, применив силу, правитель в конце концов терпит крах,

он слывет глупцом. Ту же самую беду, которая грозила Карлу X и от которой он хотел избавиться двумя королевскими ордонансами, теперешнее правительство пытается устранить двумя законами. Нет ли в этом горькой насмешки? Позволено ли государю отвечать на хитрость хитростью? Следует ли ему убивать тех, кто замышляет убить его самого? Революция сопровождается такими же убийствами, как и Варфоломеевская ночь. Заняв место короля, народ расправляется со знатью и с королем, точно так же как знать и король в XVI веке расправлялись с мятежниками. Поэтому-то есть вещи, которые нельзя простить нашим популярным писателям: они возводят хулу на Екатерину Медичи и Карла IX, хотя отлично знают, что, будучи на их месте, народ поступил бы точно так же.

Всякая власть, говорил Казимир Перье, разъясняя, какою должна быть власть,— это беспрерывные заговоры. Мы восхищаемся, когда писатели дерзают печатать максимы, направленные против всего общества в целом; почему же мы так неблагосклонно встречаем истины, раскрывающие подоплеку общественной жизни и обнародованные писателями-смельчаками? Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы объяснить все ошибки истории. Попробуйте применить этот вывод к разрушительным доктринам, которые потворствуют разгулу страстей черни, и к консервативным учениям, которыми подавляют дикие и безрассудные выходки толпы, и вы поймете, на чем зиждется популярность или непопулярность тех или других исторических личностей. Какие-нибудь Лобардемон и Лаффема, подобно многим нашим современникам, с величайшею преданностью защищали власть, в которую они верили. Солдаты или судьи, они одинаково покорялись власти. В наши дни д'Ортез был бы смещен за невыполнение министерских приказов, а Карл IX оставил его губернатором своей провинции. Когда у власти стоят все, она не считается ни с кем; когда у власти стоит один человек, он вынужден считаться со своими подданными, как с большими, так и с малыми.

Екатерина Медичи, так же как и Филипп II, как герцог Альба, как Гизы и кардинал Гранвелла, поняла, какое будущее Реформация готовила Европе! Все они ви-

дели крушение монархий, власти, религии. Екатерина, сидя в кабинете французских королей, без промедления начертала смертный приговор тому пытливому разуму, который угрожал всему современному обществу, приговор, исполнителем которого стал в конце концов Людовик XIV. Отмена Нантского эдикта оказалась неудачной мерой только оттого, что Европа была раздражена поведением Людовика XIV. В другое время Англия, Голландия и Империя не стали бы давать приюта французским изгнанникам и помогать восставшим.

Зачем же теперь отказывать этой женщине — противнице самой бесплодной из когда-либо существовавших ересей — в том величии, которое она обрела в этой борьбе? Кальвинисты немало написали в осуждение коварных замыслов Карла IX; но поездите по Франции: стоит вам увидеть развалины ее прекрасных церквей, стоит только подумать об огромном уроне, который кальвинисты нанесли государству, стоит только вспомнить, как они отвечали двойным ударом на удар, стоит только прочувствовать все зло индивидуализма, язвы теперешней Франции, которую породили вопросы свободы совести, поднятые ими же самими, и вы спросите себя: «Кто же настоящие палачи?» Как говорит Екатерина (в третьем разделе нашего труда), «к несчастью, во все эпохи существуют лицемерные писатели, готовые проливать слезы по поводу двух сотен своевременно убитых негодяев». Цезарь, пытавшийся пробудить в сенате жалость к партии Катилины, вероятно, одержал бы верх над Цицероном, если бы в его распоряжении были газеты и оппозиция.

Есть еще одно обстоятельство, объясняющее, почему Екатерина Медичи попала в немилость у истории и народа. Оппозиционерами во Франции всегда были протестанты в силу того, что вся политика их зиждется на *отрицании;* оппозиция унаследовала лютеранские, кальвинистские и протестантские толкования таких страшных слов, как «свобода», «терпимость», «прогресс» и «философия». Оппозиционеры — противники существующей власти — потратили целых два столетия, чтобы утвердить сомнительное положение о *свободе воли.* Еще два столетия ушло на то, чтобы развить первый корольлярий этой свободы воли — свободу совести. Наш

век пытается утвердить второй — политическую свободу.

Находясь на рубеже проторенных и еще не пройденных дорог, Екатерина и церковь провозгласили спасительный для современного общества принцип una fides, unus dominus [1], воспользовавшись своим правом распоряжаться жизнью и смертью всех обновителей. Они потерпели поражение, но последующие столетия показали, что Екатерина была права. Результат свободы воли, свободы религии и политической свободы (не будем смешивать ее со свободой гражданской) — это Франция наших дней. А что такое Франция 1840 года? Страна, поглощенная исключительно материальными интересами, страна без патриотизма, страна без совести, страна, где власть бессильна, где в результате свободы воли и политической свободы на выборах торжествует всегда посредственность, страна, где стало необходимостью применять грубую силу против народных буйств, где дискуссия, распространившаяся на все мелочи жизни, обрекает государство на бездействие, где над всем властвует капитал и где индивидуализм — ужасный результат бесчисленных дележей наследства, уничтожающих семью, готов пожрать все на свете, даже самое нацию, которую тот же эгоизм когда-нибудь предаст врагу. Мы скажем: «А почему не царь?», так же как мы говорили: «А почему не герцог Орлеанский?» Для нас это не составляет значительной разницы, а лет через пятьдесят будет и совершенно все равно.

Итак, по мнению Екатерины, по мнению всех тех, кто хочет благоустроенного общества, у человека этого общества, у подданного не должно быть свободы воли! Он не должен *исповедовать* догму свободы совести и не должен обладать политическою свободой. Но так как ни одно общество не может существовать без известных гарантий, которые государь дает своим подданным, то в результате подданные пользуются своими *свободами* с некоторыми ограничениями. Свободы в собственном смысле слова нет,— но есть отдельные свободы, есть свободы определенные и ясно очерченные. Вот каково истинное положение вещей. Разумеется, воспрепятствовать

---

[1] Единая вера, единый бог *(лат.)*.

свободе мысли — это свыше человеческих сил, и ни один государь не может посягнуть на капитал. Великие политические деятели, которые были побеждены в этой долгой борьбе (она продолжалась пять веков), предоставляли своим подданным значительные свободы, однако они не позволяли печатать враждебные существующему порядку мысли, и свобода их подданных не была безграничной. Для них слова *подданный* и *свобода* — это два политических термина, взаимно исключающие друг друга, точно так же как слова *равные во всех отношениях* граждане звучат нелепо, и жизнь ежечасно разоблачает эту бессмыслицу.

Признавать необходимость религии, необходимость власти и вместе с тем оставить за подданными право отрицать эту религию, нападая на ее обряды, право противиться приказаниям властей, публично выражать свои мнения, которые могут передаваться другим,— все это вещь немыслимая, и католики XVI века не хотели этого допустить. Увы! Победа кальвинистов будет стоить Франции еще дороже, чем она стоила до сих пор, потому что различные секты: религиозные, политические, гуманистические, уравнительные и т. п.— в наши дни идут по стопам кальвинистов. Ошибки правительства, его презрение к разуму, его пристрастие к материальным ценностям, в которых оно ищет опоры, в то время как эти ценности — самое эфемерное, самое недолговечное из всего, что существует на свете, неминуемо приведут к тому, что дух разрушения снова восторжествует над желанием сохранить старый порядок. Нападающие стороны, которым нечего терять и у которых все впереди, отлично сговорятся друг с другом, в то время как их богатые противники не захотят пожертвовать ровно ничем, чтобы найти себе защитников,— ни самолюбием, ни деньгами.

На помощь оппозиции, зачинщиками которой были альбигойцы и вальденцы, явилось книгопечатание. Когда человеческая мысль, вместо того, чтобы замыкаться в себе — а в былые времена ей это приходилось делать, чтобы быть понятой,— переодевается в разнообразнейшие одежды и становится достоянием народа, как бы теряя тем самым свою божественность и неоспоримость, появляется два вида изобилия, с которыми надо бороться: множественность мыслей и множественность людей.

Королевская власть потерпела поражение в этой борьбе, и в наши дни во Франции мы являемся свидетелями того, как она объединяется с такими элементами, которые делают ее существование трудным или даже просто невозможным. Властвовать всегда означает *действовать*, а принцип, на котором основаны все выборы,— это *обсуждение*. Никакие политические мероприятия невозможны, если обсуждение стало системой. Поэтому нельзя не признать величия женщины, которая сумела предвидеть такое будущее и которая так храбро вступила с ним в единоборство. Если Бурбоны смогли занять место династии Валуа, если они сумели захватить престол, то они обязаны этим Екатерине Медичи. Представьте себе, что второй Балафре еще держался бы; тогда, как бы ни был силен Беарнец, сомнительно, чтобы он мог завладеть короной,— ведь даже победа над герцогом Майенским и над остатками партии Гизов досталась ему дорогой ценою. Заметьте, что современные писатели-кальвинисты обвиняют Екатерину Медичи вовсе не в необходимых мерах, принятых ею в отношении Франциска II и Карла IX; а между тем оба ее сына умерли как раз вовремя, чтобы принести ей спасение, и в смерти их она действительно была повинна. Если здесь даже и не было отравления, как утверждали авторитеты, налицо были интриги еще более преступные: нет никакого сомнения в том, что она помешала Амбруазу Паре спасти одного и что другого она изводила медленной нравственной пыткой. Внезапная смерть Франциска II и смерть Карла IX, подготовленные с таким коварством, ни в какой степени не затрагивали интересы кальвинистов; корнями эти события уходили в самые высокие сферы, и ни писателям того времени, ни народу не могло прийти в голову заподозрить Екатерину; догадаться об этом могли только разве де Ту, Лопиталь, самые возвышенные умы или главари обеих партий, которые, добиваясь короны или, напротив, защищая ее, позволяли себе прибегать к подобным средствам. Как ни странно, народные песенки нападают на Екатерину Медичи за ее нравы. Известен анекдот о солдате, который, жаря гуся в караульном помещении Турского замка во время переговоров Екатерины с Генрихом IV, распевал песенку, оскорбительную для королевы: в этой песенке она сравнивалась с пушкой са-

мого крупного калибра, какие тогда были у кальвинистов. Генрих IV выхватил шпагу и собирался убить солдата. Екатерина удержала его и только крикнула обидчику:

— Гуся-то этого ты получил от Екатерины!

Ввиду того, что амбуазские казни приписали Екатерине Медичи, что кальвинисты сочли эту замечательную женщину виновницей всех несчастий, неизбежных в подобной борьбе, с ней случилось то же самое, что позднее произошло с Робеспьером, судить которого должно потомство. К тому же Екатерина была жестоко наказана за предпочтение, оказанное ею герцогу Анжуйскому, которое заставило ее пренебречь двумя старшими сыновьями. Генрих III, как и все избалованные дети, относился к матери с совершенным безразличием; он предался разврату, и разврат сделал его таким, каким его мать сделала Карла,— супругом, не могущим иметь детей, королем без наследников. К несчастью, герцог Алансонский, последний из сыновей Екатерины, умер, и смерть его была естественной. Само собой разумеется, Екатерина всячески старалась обуздать дурные страсти своего сына. История сохранила воспоминание об ужине с обнаженными женщинами, устроенном в галерее замка Шенонсо, когда Генрих III вернулся из Польши. Но и это не помогло ему избавиться от дурных привычек. Последние слова этой великой королевы подводят итог ее политике, политике, в такой степени исполненной здравого смысла, что и теперь все правительства при сходных обстоятельствах к ней прибегают.

«Мы хорошо все распороли, сын мой!» — сказала она, лежа на смертном одре, когда Генрих III пришел к ней с известием о том, что враг короля убит,— «теперь все надо сшить снова».

Она хотела этим сказать, что для спасения короны следовало немедленно примириться с Лотарингским домом, что единственным средством парализовать ненависть Гизов было вселить в них надежду захватить трон. Но эта непрестанная женская хитрость, хитрость итальянки, которую она всегда пускала в ход, никак не вязалась с распутной жизнью Генриха III. Стоило его замечательной матери (mater castrorum) умереть, как с ней вместе умерла и политика Валуа.

Прежде чем начать писать историю нравов в действии, автор этого исследования терпеливо и подробно изучил эпохи важнейших в истории Франции царствований, вражду бургиньонов и арманьяков, Гизов и Валуа, каждая из которых продолжалась по целому столетию. Целью его было создать живописную историю Франции. Изабелла Баварская, Екатерина и Мария Медичи — вот три женщины, которые занимают в ней главное место начиная с XIV и кончая XVII веком, вплоть до воцарения Людовика XIV. Из этих трех королев прекраснее и интереснее всех Екатерина. Она властвовала мужественно, и правление ее не было запятнано ни кровавыми любовными похождениями Изабеллы, ни еще более ужасными, хотя и менее известными страстями Марии Медичи. Изабелла призвала во Францию англичан, чтобы идти с ними на своего сына, она вступила в любовную связь со своим деверем, герцогом Орлеанским и Буабурдоном. На совести Марии Медичи еще более тяжкие преступления. Ни та, ни другая не были способны к политической деятельности. Изучая и сравнивая эти три царствования, автор убедился в величии Екатерины: вникая во все необычайные трудности, связанные с ее положением, он понял, до какой степени историки, находившиеся под влиянием протестантства, были несправедливы к этой королеве. Он кончил тем, что написал три нижеследующих этюда; он опровергает в них те ошибочные мнения, которые сложились о Екатерине Медичи, об окружающих ее лицах и о событиях ее эпохи. Если настоящий труд оказался включен в «Философские этюды», то потому, что он раскрывает дух определенной эпохи и влияние мысли на жизнь общества. Но прежде чем перейти к области политики и говорить о борьбе Екатерины с двумя огромными препятствиями, с которыми она столкнулась на своем пути, необходимо вкратце рассказать о ее предшествующей жизни. И говорить о ней надо с точки зрения беспристрастного критика с тем, чтобы читатель мог узнать, как сложилась жизнь этой великой государыни до того самого момента, с которого начинается первая часть этого труда.

Никогда, ни в какие времена, ни в какой стране, никакие правители не относились с бо́льшим презрением ко всякой законности, чем представители знаменитого

рода Медичи, имя которых во Франции произносили Медисис. К власти они относились так, как в наши дни к ней относятся в России. Любой правитель, которому достался престол, признается законным. Мирабо был прав, говоря: «В роду у меня был только один мезальянс — это Медичи»,— ибо, несмотря на все усилия специально нанятых генеалогов, совершенно очевидно, что Медичи, происходившие от Аверардо Медичи, ставшего в 1314 году гонфалоньером Флоренции, были обыкновенными флорентинскими купцами, которые со временем сильно разбогатели. Первым представителем этого рода, получившим известность в истории знаменитой тосканской республики, был Сальвестро Медичи, который сделался гонфалоньером в 1378 году. У Сальвестро было два сына, Козимо и Лоренцо Медичи.

Потомками Козимо были Лоренцо Великолепный, герцог Немурский, герцог Урбино — отец Екатерины, папа Лев X, папа Климент VII и Алессандро, который был не герцогом флорентинским, как это принято думать, а герцогом della città di Penna [1] — титул, дарованный ему папой Климентом VII, чтобы подготовить его к титулу великого герцога Тосканского.

Потомками Лоренцо были: флорентинский Брут — Лоренцино — убийца герцога Алессандро, Козимо — первый из великих герцогов — и все правители Тосканы вплоть до 1737 года, когда род Медичи угасает.

Но ни в той, ни в другой из этих двух ветвей, ни в ветви Козимо, ни в ветви Лоренцо, бразды правления не переходят по прямой линии до того момента, пока в порабощенной отцом Марии Медичи Тоскане титул великого герцога не начинают передавать по наследству. Например, Алессандро Медичи, получивший титул герцога della città di Penna и погибший от руки Лоренцино, был сыном герцога Урбино — отца Екатерины, и невольницы-мавританки. Поэтому Лоренцино, будучи законным сыном Лоренцо, дважды имел право убить Алессандро — и как узурпатора в своей семье и как тирана всего города. Некоторые историки считают, что Алессандро был сыном Климента VII. Этот незаконнорожденный был признан главою республики и главою рода Медичи по-

[1] Города Пенны *(итал.)*.

сле того, как он женился на Маргарите Австрийской, незаконной дочери Карла V.

Франческо Медичи, супруг Бьянки Капелло, усыновил ребенка из простой семьи, купленного этой знаменитой венецианкой. И, удивительное дело, воцарившийся после Франческо Фердинандо сохранил за приемышем все права. В течение целых четырех царствований считалось, что дон Антонио Медичи — так звали этого мальчика — принадлежит к роду Медичи. Он завоевал всеобщую любовь к себе, оказал своему роду немаловажные услуги, и все оплакивали его кончину.

Почти у каждого из первых Медичи были незаконные дети, и судьбы этих детей всегда складывались блестяще. Так, например, кардинал Медичи, ставший папой под именем Климента VII, был незаконным сыном Джулиано I. Кардинал Ипполито Медичи был точно так же незаконнорожденным, и он тоже чуть было не стал папой и главою своего рода.

Один из сочинителей анекдотов вкладывает в уста герцога Урбино, отца Екатерины Медичи, следующие слова, которые тот будто бы сказал своей дочери: A figlia d'inganno non manca mai la figliuolanza (Умная девушка всегда сумеет стать матерью). Сказано это было, когда речь зашла о физическом недостатке ее жениха Генриха, второго сына Франциска I. Лоренцо II Медичи, отец Екатерины, который в 1518 году вторым браком женился на Мадлене де Латур д'Овернь, умер 28 апреля 1519 года, через несколько дней после того, как, производя на свет Екатерину, его жена умерла от родов. Таким образом, с первых же дней жизни Екатерина осталась круглою сиротою. Вот чем объясняются необыкновенные переживания ее детства, отмеченного кровавыми столкновениями стремившихся вернуть себе свободу флорентинцев с Медичи, которые хотели быть правителями Флоренции и при этом действовали настолько осторожно, что отец Екатерины ограничился титулом герцога Урбино. После смерти Лоренцо, отца Екатерины, законным главою рода Медичи сделался папа Лев X; он поставил правителем Флоренции незаконного сына Джулиано, Джулио Медичи, который в то время был кардиналом. Лев X был двоюродным дедом Екатерины, и упомянутый кардинал Джулио, сделавшийся потом папой

Климентом VII, приходился ему дядей только по морганатической линии. Поэтому Брантом столь остроумно назвал его «дядюшкою со стороны божьей матери».

Когда Медичи осадили Флоренцию, чтобы вернуться в город, республиканцы, не удовлетворившись тем, что лишили Екатерину, в ту пору девятилетнюю девочку, всего состояния, заточили ее в монастырь; по предложению некоего Баттисты Чеи, там ее хотели поставить на стене между двумя зубцами под артиллерийский огонь. Бернардо Кастильоне пошел еще дальше: на совещании, созванном для того, чтобы завершить дела, он высказал мнение, что Екатерину не только не следует возвращать папе, который требовал ее к себе, но что надо отдать ее солдатам, чтобы те лишили ее чести. Вы видите, насколько все народные революции похожи одна на другую. Политика Екатерины, политика, так высоко ставившая королевскую власть, скорее всего была подсказана ей подобными сценами: девятилетняя итальянка не могла их забыть.

Возвышение Алессандро Медичи, которому в такой степени способствовал незаконнорожденный папа Климент VII, было, несомненно, вызвано тем, что сам он был незаконным сыном, и тем, что Карл V очень любил свою внебрачную дочь Маргариту. Таким образом, как император, так и папа руководствовались одним и тем же чувством. В ту эпоху Венеция была торговой столицей всего мира, а Рим — его столицей духовной; Италия еще господствовала над всем миром благодаря славе поэтов, полководцев, государственных деятелей, рожденных в ее пределах. Никогда, ни в одной стране не было такого необычайного изобилия талантов. Их было столько, что замечательными людьми оказывались даже самые мелкие ее правители. Невзирая на то, что Италию раздирали непрестанные междоусобные войны, что она была ареной, где сталкивались завоеватели, оспаривавшие друг у друга лучшие ее земли, страна эта была полна всякого рода талантами, героями, учеными, поэтами; там процветали богатство и галантные нравы. Когда люди так сильны, они не боятся признаваться в своей слабости. Отсюда, конечно, и возник этот золотой век незаконнорожденных. К тому же надо отдать справедливость внебрачным детям рода Медичи: они со всею страстью

добивались славы, умножения богатств и усиления могущества своего рода. Именно в силу этого стремления, когда герцог della città di Penna, сын мавританки, сделался тираном во Флоренции, он стал действовать заодно с папой Климентом VII, чтобы спасти дочь Лоренцо II, которой было тогда одиннадцать лет.

Когда изучаешь ход событий и человеческих судеб в этом интереснейшем XVI веке, нельзя забывать, что одним из элементов тогдашней политики была хитрость, которая разрушала в ее деятелях прямоту характера, ту широкую цельность, которая, в нашем представлении, присуща всем выдающимся людям. Именно в этом оправдание Екатерины. Это наблюдение опровергает все банальные и нелепые обвинения, выдвинутые писателями Реформации. Эта эпоха была расцветом той самой политики, кодекс которой был написан Маккьявелли и Спинозой, Гоббсом и Монтескье, ибо «Диалог между Суллой и Эвкратом» содержит подлинные мысли Монтескье, а его связи с энциклопедистами не позволяли высказать их иначе. Принципами этими в наши дни втайне руководствуются все правительства, когда они вынашивают какие-нибудь большие захватнические планы. Мы, французы, ругали Наполеона, когда он пускал в ход эти итальянские качества, которые были у него in cute [1], и разрабатывал замыслы, которые не всегда были удачны. Но Карл V, Екатерина, Филипп II не стали бы вести себя в вопросе об Испании иначе, чем он. Если бы в то время, когда родилась Екатерина, историю изложили бы с точки зрения человеческой порядочности, она показалась бы неправдоподобным романом. Карл V, вынужденный оказывать поддержку католицизму перед лицом нападок со стороны Лютера, который, угрожая тиаре, угрожал и трону, дает согласие на осаду Рима и заключает в тюрьму папу Климента VII. Тот же самый Климент VII, который не знает более лютого врага, чем Карл V, ухаживает за ним, чтобы только сделать Алессандро Медичи правителем Флоренции, и Карл V отдает свою дочь в жены этому незаконнорожденному. Едва только Алессандро приходит к власти, он сговаривается с Климентом, чтобы повредить Карлу V: благодаря посредству Екатерины Медичи он делается со-

[1] В крови, буквально «в коже» *(лат.)*.

юзником Франциска I, вместе с ней он обещает помочь ему снова завоевать Италию. Лоренцино Медичи угодничает перед Алессандро и становится сотоварищем его кутежей, чтобы потом его убить. Филиппо Строцци, один из умнейших людей своего времени, так превозносил это убийство, что поклялся женить обоих своих сыновей на дочерях убийцы. Его сыновья благоговейно выполнили обет отца, невзирая на то, что как тот, так и другой, если бы они воспользовались покровительством Екатерины, могли составить себе блестящие партии: ведь один из них мог славой соперничать с Дориа, а второй был маршалом Франции. Козимо Медичи, преемник Алессандро, не связанный, однако, с ним никакими узами родства, самым жестоким образом отмстил за смерть этого тирана, причем план отмщения созревал в течение двенадцати лет, и это время он все так же страстно ненавидел людей, которые в конечном итоге привели его к власти. Когда его сделали правителем, ему было только восемнадцать лет; он начал с того, что аннулировал все права законных сыновей Алессандро. И он сделал это в то время, когда мстил за смерть Алессандро!.. Карл V утвердил лишение своего внука наследства и признал за Козимо право называться сыном Алессандро. Придя к власти благодаря помощи кардинала Чибо, Козимо тут же подвергнул кардинала изгнанию. А кардинал Чибо обвинил Козимо, первого из великих герцогов и своего ставленника, в том, что тот хочет отравить сына Алессандро Медичи. Великий герцог, боясь потерять власть, как того же боялся и Карл V, подобно этому императору, отказался от престола в пользу своего сына Франческо, предварительно убив своего другого сына, дона Гарсию, в отмщение за смерть кардинала Джованни Медичи, которого Гарсиа убил. Козимо I и его сын Франческо вместо того, чтобы хранить верность французскому двору, единственной силе, в которой он мог найти поддержку, сделались лакеями Карла V и Филиппа II и тем самым тайными, подлыми и коварными врагами Екатерины Медичи, женщины, столь прославившей их род. Вот в основном нелепые противоречия, интриги и злые козни внутри одного только рода Медичи. То же самое можно сказать и о других правителях Италии и Европы. Все посланники Козимо I при

французском дворе в числе прочих секретных инструкций получали распоряжение отравить Строцци, родственника королевы Екатерины, если они его где-либо встретят. По приказу Карла V было убито три посла Франциска I.

В начале октября 1533 года герцог della città di Penna отправился из Флоренции в Ливорно в сопровождении единственной наследницы Лоренцо II, Екатерины Медичи. Герцог и принцесса Флорентинская, ибо четырнадцатилетняя девочка носила тогда этот титул, покинули город в сопровождении множества челяди, служащих, секретарей. Шествие возглавляли латники, замыкал его отряд легкой кавалерии. Юная принцесса не представляла себе, что ее ждет, и могла только предполагать, что в Ливорно состоится свидание герцога Алессандро с папой. Однако дядя ее Филиппо Строцци вскоре раскрыл ей, с какой целью ее туда везли.

Филиппо Строцци женился на Кларисе Медичи, единокровной сестре Лоренцо Медичи, герцога Урбино, отца Екатерины. Однако брак этот, целью которого было не только перетянуть на сторону Медичи одного из самых надежных столпов народной партии, но и обеспечить возвращение представителей рода Медичи, находившихся в то время в изгнании, нисколько не повлиял на этого неукротимого борца, которого его собственная партия преследовала за этот брак. Несмотря на то, что внешне его поведение под влиянием этого союза в какой-то степени изменилось, в душе он остался верен народной партии и сразу же выступил против Медичи, едва только разгадал их намерение поработить Флоренцию. Этот великий человек отказался даже от княжества, предложенного ему папой Львом X. В то время Филиппо Строцци сделался жертвой политики Медичи, средства которой много раз менялись, но цель оставалась неизменно прежней. Ему пришлось на себе испытать все бедствия, которые повлекло за собою пленение Климента VII, когда, захваченный врасплох Колонной, тот укрылся в замке Святого Ангела. А потом не кто иной, как Климент, выдал его и отправил заложником в Неаполь.

Едва только папа был освобожден, он со всею силой обрушился на своих врагов. Строцци едва не поплатился жизнью, и ему пришлось отдать огромную сумму денег,

чтобы выйти из тюрьмы, где он находился под строгим надзором. Как только он очутился на свободе, он в порыве простодушия, свойственного всем порядочным людям, решил явиться к Клименту VII, который, вероятно, уже поздравлял себя с тем, что избавился от него. Папе стало, должно быть, стыдно за свое поведение, и он принял Строцци весьма неласково. Таким образом, Строцци, тогда еще совсем юному, пришлось пройти тяжелую школу, испытав на себе все горести, которые выпадают в политике на долю человека честного, чья совесть не гнется в зависимости от обстоятельств, чьи поступки диктуются одними только благородными побуждениями. Такой человек гоним всеми. Он противится слепым страстям народа, и народ ополчается против него; он обличает злоупотребления власти, и власть его преследует. Жизнь этих великих граждан — сплошное мученичество; их единственная поддержка — громкий голос собственной совести и героическое сознание общественного долга. Они-то одни и диктуют их поступки. В республике Флоренции таких людей было немало: столь же великих, как Строцци, и столь же многосторонних, как их противники из партии Медичи, хотя эти последние и побеждали их своей флорентинской хитростью. Может ли что-нибудь сравниться по благородству с поведением всех участников заговора Пацци и самого главы этого дома? Коммерческие обороты дома Пацци были огромны, и вот, прежде, чем осуществить свой широкий замысел, он производит все расчеты с Азией, Левантом, с Европой, чтобы в случае, если дело их потерпит крах, купцы, с которыми у него были торговые связи, ничего бы не потеряли. Поэтому приход к власти рода Медичи с XIV по XV век — одна из прекраснейших страниц истории, и она еще до сих пор не написана, несмотря на то, что писать об этих событиях пытались многие даровитые люди. Это никак не история республики, или общества, или какой-нибудь определенной цивилизации. Это история того, как складывается *политический деятель*, а политическая история — всегда история поработителей и узурпаторов. По возвращении во Флоренцию Филиппо Строцци возродил там прежнюю форму правления и возвысил другого незаконнорожденного, Ипполито Медичи, и Алессандро, с которым они тогда были в союзе. Не-

постоянство народа его тогда испугало, и, так как он опасался мести Климента VII, он занялся делами огромного торгового дома, который у него был в Лионе и который поддерживал сношения с его банкирами в Венеции, в Риме, во Франции и в Испании. Удивительное дело! Эти люди, несшие на себе всю тяжесть государственных дел и непрестанной борьбы с родом Медичи, не говоря уже о распрях внутри их собственной партии, возложили на себя еще и бремя торговли, или, вернее, торговых спекуляций и всевозможных банковских сделок, а все это, в силу большого количества имевших тогда хождение денежных единиц и обилия фальшивых денег, было предприятием значительно более трудным, чем в наши дни. (Самое слово «банкир» происходит от итальянского слова banco— скамья, на которой они сидели и на которую бросали золотые и серебряные монеты, проверяя их подлинность по звону.) В это время у Филиппо умерла жена, которую он боготворил, и, воспользовавшись этим предлогом, он сумел уклониться от домогательств республиканской партии. А ведь известно, что именно при республиканском строе полиция становится особенно грозной, ибо идеей свободы можно оправдать все, что угодно, и, прикрываясь ею, каждый становится шпионом. Филиппо вернулся во Флоренцию только тогда, когда этот город вынужден был склониться под игом Алессандро. Но перед этим он отправился к папе Клименту VII, дела которого обстояли довольно хорошо и который поэтому не изменил своего расположения к нему. Победившим Медичи до такой степени нужен был человек, подобный Строцци, хотя бы для того, чтобы обеспечить приход к власти Алессандро, что Клименту удалось убедить его занять место в совете этого незаконнорожденного, который готовился поработить народ, и Филиппо согласился занять кресло сенатора. Но через два с половиной года, точно так же как Сенека и Бурр во времена Нерона, он стал свидетелем зарождения тирании. Неприязнь к нему народа была так велика, а Медичи, противником которых он был, отнеслись к нему так подозрительно, что теперь он понял, как близка развязка. Поэтому, как только он узнал от герцога Алессандро о предстоящей свадьбе Екатерины с сыном французского короля, которая, быть может, состоится в Ли-

ворно, где встретились жених и невеста, он решил поехать во Францию с тем, чтобы не покидать там своей племянницы, которой был нужен наставник. Алессандро, радуясь тому, что избавился от такого неподходящего для Флоренции человека, утвердил это решение, которое давало ему возможность обойтись без убийства, и посоветовал Строцци возглавить свиту Екатерины. В самом деле, чтобы ослепить французский двор, Медичи снарядили блестящую свиту для той, которую они совершенно неправильно называли *флорентинской принцессой* и которая носила также имя герцогини Урбино. Кортеж, во главе которого ехали герцог Алессандро, Екатерина и Строцци, насчитывал более тысячи человек, не считая эскорта и слуг, так что когда хвост процессии был еще у ворот Флоренции, голова его уже прошла ту деревню за пределами города, где в наши дни изготовляют соломку для шляп.

В народе стали поговаривать о том, что Екатерина собирается выходить замуж за сына Франциска I; вначале это был всего только слух, но после триумфального шествия из Флоренции в Ливорно у тосканцев уже не осталось никаких сомнений на этот счет. Видя все эти приготовления, Екатерина сама заподозрила, что ее готовятся выдать замуж, и ее дядя раскрыл ей, какая неудача постигла дом Медичи, в расчеты которого входило выдать ее за дофина. Герцог Алессандро все еще надеялся, что герцогу Олбени удастся изменить решение французского короля, который стремился купить себе в Италии поддержку рода Медичи, но тем не менее соглашался только на брак Екатерины с герцогом Орлеанским. Этот мелочный расчет оказался гибельным для Италии, но, однако, не помешал Екатерине стать королевой.

Этот герцог Олбени, сын Александра Стюарта, брата Джеймса III, короля Шотландии, женился на Анне де Латур де Булонь, сестре Мадлен де Латур де Булонь, матери Екатерины; таким образом, он приходился ей дядею с материнской стороны. Именно с материнской стороны Екатерина была так богата и связана родственными узами со столькими семействами. Как это ни странно, но даже ее соперница Диана де Пуатье и та приходилась ей двоюродной сестрой. Матерью Жана де Пуатье, отца Дианы, была Жанна де Латур де Булонь, тетка герцоги-

ни Урбино. По этой линии Екатерина точно так же находилась в родстве и с невесткой своей Марией Стюарт.

Екатерина узнала тогда, что в приданое ей дают деньгами сто тысяч дукатов. Дукат был золотой монетой величиною в один из наших старинных луидоров, но вдвое тоньше. Золото в то время ценилось очень высоко, а так как один нынешний дукат равняется почти двенадцати франкам, то в переводе на наши деньги эта сумма составляет шесть миллионов франков. Можно себе представить, какие обороты делал банкирский дом Филиппо Строцци в Лионе, если его миланская контора могла выплатить эти миллион двести тысяч ливров золотом. Кроме того, Екатерина должна была получить себе в приданое графство Овернь и Лорагэ, а папа Климент подарил ей еще на сто тысяч дукатов золотых вещей и различных драгоценностей и сделал немало других свадебных подарков, в которых принял участие и сам герцог Алессандро.

Приехав в Ливорно, Екатерина, в то время еще совсем юная, была, несомненно, польщена исключительным великолепием кортежа, который устроил возглавлявший тогда род Медичи папа Климент, ее «дядюшка со стороны божьей матери», чтобы затмить французский двор. Он прибыл и сам на одной из своих галер, сплошь обитой изнутри темно-красным атласом с золотой бахромой и покрытой тентом из парчи. На этой галере, украшение которой обошлось около двадцати тысяч дукатов, несколько помещений было отведено для невесты Генриха французского; все они были украшены редчайшими из собранных родом Медичи драгоценностей и диковин. Капитаном великолепно одетых гребцов был приор ордена иоаннитов. Папская свита разместилась на трех других галерах. Галеры герцога Олбени, ставшие на якорь подле галер Климента VII, составляли вместе с ними очень внушительную флотилию. Герцог Алессандро представил папе свиту Екатерины; у него было с папой тайное совещание, и на этом совещании он, по-видимому, представил ему графа Себастьяно Монтекукулли, который покинул, и, должно быть, несколько неожиданно, свою службу у императора, и двух генералов последнего, Антуана де Лэва и Фердинандо Гонзаго. Не договорились ли между собою оба незаконнорожденные, Джулио и Алессандро, сделать так, чтобы герцог Орлеанский

стал дофином? Какую награду обещали за это Себастьяно Монтекукулли, человеку, который, до того как поступить на службу к Карлу V, изучал медицину? История об этом молчит. К тому же мы увидим, каким туманом неизвестности окутано это событие. Все здесь настолько неясно, что недавно еще авторитетные и вдумчивые историки полагали, что Монтекукулли ни в чем не виновен.

Тогда-то папа официально объявил Екатерине, кому ее готовят в жены. Единственное, что удалось сделать герцогу Олбени, и то ценою больших усилий,— это добиться, чтобы французский король сдержал обещание женить на Екатерине своего второго сына. Климент был в таком нетерпении, он до такой степени боялся, что все его планы рухнут в результате какой-либо интриги императора или оттого, что в дело вмешается французская знать, презиравшая род Медичи и противившаяся этому браку, что он немедленно же сел на корабль и отправился в Марсель. Он прибыл туда в конце октября 1533 года. Как ни был богат дом Медичи, роскошь его померкла перед блеском французского двора. Чтобы читатель знал, каких пределов достигло великолепие этих банкиров, достаточно сказать, что вместо двенадцати новых монет папа в качестве свадебного подарка подарил двенадцать монет древних, исключительных по своей исторической ценности, так как все это были уникумы. Но Франциск I, любивший блеск и празднества, превзошел всех. Свадьба Генриха Валуа и Екатерины продолжалась тридцать четыре дня. Совершенно не к чему пересказывать подробности (их можно найти в любой истории Прованса и города Марселя) знаменитого свидания папы с французским королем, которое дало повод к известной остроте герцога Олбени о том, что следует соблюдать посты; шутка эта, о которой нам рассказывает Брантом, развлекала тогда всех придворных: она характерна для нравов той эпохи. Невзирая на то, что Генрих Валуа был всего двадцатью днями старше Екатерины Медичи, папа потребовал, чтобы оба эти подростка стали фактически мужем и женой в самый день торжества — до такой степени он боялся разных хитростей и уловок, которые были в эти времена в ходу. Историки утверждают, что Климент хотел иметь доказательства супружеской жизни молодых и, чтобы получить их, за-

держался на тридцать четыре дня в Марселе; он надеялся, что его юная племянница представит ему эти доказательства, ибо, несмотря на свои четырнадцать лет, Екатерина уже достигла половой зрелости. По всей вероятности, не кто иной, как он, расспрашивая новобрачную перед тем как уехать, сказал ей в утешение приписываемые отцу Екатерины знаменитые слова: A figlia d'inganno non manca mai la figliuolanza.

Бесплодие Екатерины, продолжавшееся десять лет, объяснялось самыми странными причинами. В наши дни мало кто знает, что по поводу этого обстоятельства в ряде медицинских трактатов высказаны предположения до такой степени непристойные, что даже рассказать их нельзя. Достаточно хотя бы прочесть, что об этом пишет Бейль в статье, озаглавленной «Фернель». По одному этому можно судить о том, какие клеветнические измышления до сих пор еще чернят память этой королевы, рисуя все поступки ее в ложном свете. Причины ее бесплодия следовало искать вовсе не в ней самой, а исключительно в Генрихе II. Достаточно отметить, что в те времена ни один принц не стеснялся иметь незаконнорожденных детей, и тем не менее у Дианы де Пуатье, пользовавшейся гораздо большим расположением принца, чем его законная жена, детей не было. В медицине подробно описан тот физический недостаток, которым страдал Генрих II. Становятся понятными и все шутки придворных дам, которые могли делать из него аббата Сен-Виктора в те времена, когда на французском языке можно было говорить о таких вещах, называть которые в наши дни позволено только латинскими словами. После того как принц подвергся операции, у Екатерины было одиннадцать беременностей и она родила десятерых детей. То обстоятельство, что Генрих II так запоздал с этой операцией,— настоящее счастье для Франции. Если бы Диана могла иметь от него детей, политические дела страны необычайно бы осложнились. Как только эта операция была сделана, герцогиня Валантинуа пережила вторую молодость женщины. Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы убедиться, что историю Екатерины Медичи необходимо написать заново и что, как очень верно заметил Наполеон, историю Франции или следует всю уложить в один том, или же отвести под нее тысячу томов.

Стоит только сравнить поведение Карла V во время пребывания папы Климента VII в Марселе с поведением французского короля, и мы увидим, насколько король превзошел императора. Вот краткое описание этой встречи, принадлежащее перу современника.

«После того как его святейшество папа прибыл во дворец, который, как я говорил, был отведен ему по другую сторону порта, все разошлись по своим покоям до следующего дня ожидать, пока его святейшество приготовится к въезду в город, каковой въезд был весьма торжествен и пышен. Папа восседал на носилках, которые двое слуг несли на плечах; облачен он был в одеяния первосвященника; не было только тиары. Впереди на белом иноходце везли святые дары, и лошадь эту вели под уздцы два великолепно одетых конюха, и поводья были из белого шелка. За ними следовали все кардиналы в своих парадных одеяниях, *верхом на папских мулах,* как подобает их сану, и госпожа герцогиня Урбино во всем своем великолепии, сопровождаемая множеством знатных дам и господ, как итальянцев, так и французов. Когда сопутствуемый всей этой свитой святой отец достиг места, где ему были уготованы покои, все степенно удалились, и при этом не было никакого смятения и беспорядка. И в то время, как совершал свой въезд папа, король сел на фрегат и отправился морем в то место, которое папа перед этим покинул, дабы из этого самого места наутро смиренно явиться к отцу церкви, как и подобает истинно христианскому королю.

Подготовившись, король отправился во дворец, где пребывал папа. Сопровождали его принцы крови, среди которых были герцог Вандомский (отец видама Шартрского), граф Сен-Поль, господа де Монпансье и де Ларош-сюр-Ион, герцог Немурский, брат герцога Савойского, который умер во время своего пребывания там, герцог Олбени и многие другие; графы, бароны, сеньеры, причем сеньер Монморанси находился все время при короле, своем господине. И когда король прибыл во дворец, он был очень учтиво принят папой и всей коллегией кардиналов, собравшихся на консисторию. После чего каждый удалился в отведенное ему место, король же пригласил

к себе на праздник нескольких кардиналов и в их числе кардинала Медичи, племянника папы. Кардинал явился в роскошном облачении с большою свитой.

Начиная со следующего дня определенные лица, назначенные для этой цели его святейшеством и королем, стали встречаться и обсуждать вопросы, для решения которых они сюда приехали. Прежде всего они занялись делами религии, и была оглашена булла, дабы искоренить ереси и не допустить, чтобы смуты в стране разгорались еще сильнее. После чего совершилось бракосочетание герцога Орлеанского, второго сына короля, с Екатериной Медичи, герцогиней Урбино, племянницей его святейшества. Условия были те же или весьма сходные с теми, кои были предложены папой герцогу Олбени. Означенное бракосочетание совершилось с превеликим торжеством, и союз их благословил наш святой отец.

После того как это бракосочетание было совершено, его святейшество созвал консисторию и возвел четверых епископов в сан кардинала: кардинала Ле Венер, который перед этим был епископом Лизьё и королевским попечителем бедных, кардинала Булонского из дома Ла-Шамбр, приходившегося с материнской стороны братом герцогу Олбени, кардинала Шатильонского из дома Колиньи, племянника сира де Монморанси, кардинала де Живри».

Когда Строцци в присутствии всего двора стал вручать привезенное приданое, он заметил, что французские вельможи были несколько удивлены: они довольно громко заявили, что это вовсе не так много, чтобы возместить неравенство сторон в браке (что бы они сказали в наши дни?). На это кардинал Ипполито ответил:

— Очевидно, вы плохо осведомлены о секретах вашего короля. Его святейшество обещался передать Франции три жемчужины, которым нет цены: Геную, Милан и Неаполь.

Папа предоставил Себастьяно Монтекукулли возможность лично явиться к французскому двору, где он и предложил свои услуги; он стал жаловаться на Антуана де Лэва и Фердинандо Гонзаго и поэтому был принят при дворе. Монтекукулли сам не принадлежал к сви-

те Екатерины, которая целиком состояла теперь из французов и француженок, ибо, к великому удовольствию папы, к ней был применен закон монархии: Екатерина еще до свадьбы приняла французское подданство, что было скреплено подписями и печатями. Вначале Монтекукулли служил при дворе королевы, сестры Карла V. Спустя некоторое время он перешел на службу к дофину в качестве кравчего.

При дворе Франциска I герцогине Орлеанской жилось очень тяжко. Ее молодой супруг увлекся Дианой де Пуатье, которая по своему рождению могла соперничать с Екатериной, но которая притом занимала еще более высокое положение, чем она. Дочери Медичи пришлось немало вытерпеть от королевы Элеоноры, сестры Карла V, и от герцогини Этампской, которая благодаря своему браку с главою дома де Брос стала одной из самых могущественных и самых именитых французских дам. Ее тетка герцогиня Олбени, королева Наваррская, герцогиня Гиз, герцогиня Вандомская, супруга коннетабля и многие другие не менее влиятельные дамы своим происхождением, своими правами и своим влиянием при дворе, великолепнейшем из всех французских дворов. не исключая даже двора Людовика XIV, затмевали дочь флорентинских торговцев пряностями, у которой было больше славы и больше богатства по дому де Латур де Булонь, чем по ее собственному дому Медичи.

Положение племянницы Филиппо Строцци было настолько тяжелым и трудным, что этот республиканец, будучи не в состоянии руководить ею среди сплетения столь противоречивых интересов, через год покинул ее и уехал в Италию, куда к тому же его вызвали в связи с кончиною папы Климента VII. Поведение Екатерины, особенно если вспомнить, что ей в то время едва исполнилось пятнадцать лет, было образцом благоразумия: она очень сильно привязалась к своему свекру-королю и старалась всегда быть при нем; она сопровождала его верхом и на охоту и на войну. Ее откровенное преклонение перед Франциском I поставило дом Медичи вне всяких подозрений, когда был отравлен дофин. Екатерина вместе с герцогом Орлеанским находилась тогда в ставке короля в Провансе, ибо вскоре после этого бракосочетания на Францию напал Карл V, шурин короля. Королевский

двор так и не успел покинуть мест, где только что окончились свадебные торжества — на смену веселью туда пришли ужасы одной из самых страшных войн. В то время как Карл V, обращенный в бегство, терял последних своих солдат в Провансе, дофин возвращался по Роне в Лион. Он остановился на ночлег в Турноне и, скуки ради, проделал несколько самых неистовых физических упражнений, единственное, чему он и его брат, находясь на положении заложников, могли научиться. Это было в августе, принц сильно разгорячился и имел неосторожность попросить стакан воды; Монтекукулли подал ему воду со льдом. Дофин умер почти внезапно. Франциск I обожал своего сына. Как утверждают все историки, дофин был принцем в лучшем смысле этого слова. Убитый горем отец затеял громкий процесс против Монтекукулли, поручив расследовать дело самым ученым из судей своего времени. Вначале граф героически переносил все пытки, но потом в своих показаниях стал упорно называть императора и двух его генералов, Антуана де Лэва и Фердинандо Гонзаго. Подобный ход следствия не удовлетворил Франциска I. Ни одно дело не разбиралось с такой тщательностью, как это. Вот как, по словам очевидца, поступил король:

«Король созвал в Лион всех принцев крови и рыцарей своего ордена и других видных людей своего королевства: папского легата и нунция, кардиналов, которые в это время находились при его дворе, равно как и посланников: английского, шотландского, португальского, венецианского, феррарского и других, а вместе с ними всех принцев и видных иностранных сеньеров, как итальянских, так и немецких, которые в это время находились у него при дворе. Там были, например, герцог Виттенбергский из Германии, герцог Сомский, Арианский, Атрийский, князь Мальфи (который когда-то собирался жениться на Екатерине), Стиллиано из Неаполя, синьор Ипполито д'Эсте, маркиз Виджево из миланского дома Тривульче, синьор Джованни Паоло де Чера из Рима, синьор Чезаре Фрегозе из Генуи, синьор Аннибале Гонзаго из Мантуи и другие в превеликом числе. Когда они собрались, им были прочитаны от начала до конца про-

токолы процесса того *несчастного*, который отравил покойного дофина, со всеми показаниями, допросами и очными ставками и всем тем, что требуется в суде, ибо король не хотел, чтобы приговор был приведен в исполнение до того, как все присутствующие выскажут свое мнение по поводу этого чудовищного и подлого злодеяния».

Верность, преданность и ловкость графа Монтекукулли покажутся чем-то совершенно необычным в наше время, когда ни о каком умении хранить тайну не может быть и речи, когда все на свете, вплоть до самих министров, готовы говорить о любом ничтожнейшем происшествии, в котором они замешаны. Но в то время принцы умели выбирать себе преданных слуг. Тогда можно было встретить монархических Море, ибо у людей была вера. Никогда не требуйте ничего значительного от людей, движимых корыстью, потому что выгодным может быть и одно и другое, но ждите всего от чувств, от того, кто верит в бога, в монарха, в родину. Эти три вида убеждений и только они породили Бертро в Женеве, Сиднея и Стрэффорда в Англии, убийц Томаса Бекета, точно так же, как Монтекукулли, Жака Кера и Жанну д'Арк, Ришелье и Дантона, Боншана, Тальмона и наряду с этим Клемана, Шабо и других. Карл V поручил осуществить убийство трех посланников Франциска I представителям высшей знати. Год спустя Лоренцино, двоюродный брат Екатерины, убил герцога Алессандро, после того как в течение трех лет притворялся его другом. Обстоятельства убийства были таковы, что его прозвали флорентинским Брутом. Подобные злодеяния замышлялись даже против самых высокопоставленных лиц, поэтому никто не верил, что Лев X или Климент VII умерли естественной смертью. Мариана, историк Филиппа II, сообщая о кончине королевы испанской, урожденной французской принцессы, полушутя говорит, что «во имя славы испанского престола господь допустил, чтобы врачи, по своей слепоте, лечили королеву от водянки» (в действительности же она была беременна). Когда король Генрих II позволил себе оскорбление, которое заслуживало ответа ударом шпаги, нашелся Ла Шатеньре, который и принял на себя этот удар. В эту эпоху принцам и

принцессам еду приносили в закрытых на замок шкатулках, а ключи хранились всегда у них. Отсюда и произошло название «право на замок»; привилегия эта перестала существовать при Людовике XVI.

Дофин был отравлен тем же способом и, возможно, тем же самым ядом, которым в царствование Людовика XIV была отравлена жена Филиппа Орлеанского, брата короля. Папа Климент VII уже два года как умер. Герцог Алессандро совсем погряз в распутстве и, по-видимому, не придавал никакого значения возвышению герцога Орлеанского. Екатерина, которой было тогда семнадцать лет, обожала своего свекра и в день, когда произошло это событие, находилась при нем. Единственный, кто мог быть заинтересован в смерти дофина,— это Карл V, ибо у Франциска I был план женить своего сына так, чтобы с женитьбой его территория Франции увеличилась. Поэтому граф в своих признаниях очень ловко учел соотношение страстей и всех политических сил своего времени: Карл V бежал, после того как его армия погибла в Провансе, а с нею вместе его удача, его слава, его надежды на господство. Необходимо помнить, что, даже если этот человек был невиновен и все его признания, сделанные под пытками, вынужденные, то Франциск I предоставлял ему право свободно говорить перед высоким собранием и в присутствии людей, которые в какой-то мере стремились к справедливости. Король хотел знать правду и совершенно искренне ее добивался.

Несмотря на открывшееся перед Екатериной блестящее будущее, положение ее при дворе после смерти дофина нисколько не изменилось; если бы престол достался ее мужу, бесплодие ее могло повести за собою развод. Дофин был по-прежнему увлечен Дианой де Пуатье. Диана дерзала соперничать с г-жой д'Этамп. В силу этого Екатерина все свои заботы и все внимание устремила на свекра: она понимала, что ни в ком, кроме него, ей не найти поддержки. Словом, первые десять лет замужества Екатерины были отмечены все новыми разочарованиями и горем; надежды забеременеть неизменно рушились, а соперничество Дианы отравляло все ее дни. Судите сами, во что должна была обратиться жизнь принцессы, если за ней неотступно следила ревнивая любовница ее мужа, находившая себе поддержку в сильнейшей из

партий — партии католиков и в могущественных связях, которые образовались у жены сенешаля, когда она выдала замуж обеих своих дочерей, одну за Робера Ламарка, герцога Бульонского, принца Седанского, другую — за Клода Лотарингского, герцога Омальского.

Екатерина, очутившись между двух партий: партией г-жи д'Этамп и партией жены сенешаля (так в царствование Франциска I называли Диану) — обе эти партии находились в состоянии смертельной вражды, расколовшей надвое королевский двор и все государство,— пыталась сохранить дружбу и с герцогиней д'Этамп и с Дианой де Пуатье.

Екатерина, которой суждено было стать столь замечательной королевой, научилась той двоедушной политике, которая составила суть всей ее жизни. Екатерина-королева сумела лавировать между католиками и кальвинистами так же, как Екатерина-женщина лавировала между г-жой д'Этамп и г-жой де Пуатье. Она изучила всю противоречивость французской политики: Франциск I поддерживал Кальвина и лютеран, чтобы поставить в затруднительное положение Карла V. Потом, после того, как он долгое время втайне помогал делу Реформации в Германии, после того, как он дал согласие на пребывание Кальвина при Наваррском дворе, он сам обрушился на реформатов с неслыханной яростью. Екатерина увидела, что весь двор, в том числе и придворные дамы, играл с ересью, как с огнем. Диана стояла во главе католической партии вместе с Гизами только потому, что герцогиня д'Этамп поддерживала Кальвина и протестантов. Вот какое политическое воспитание получила эта королева: при французском дворе она видела те же порядки, что и в доме Медичи. Дофин на каждом шагу перечил своему отцу: он был плохим сыном. Он позабыл самую страшную, но вместе с тем и самую верную заповедь монарха: у государей всегда одни и те же цели, и сын, даже если он при жизни отца был его противником, должен следовать его политике, став королем. Вот что говорит Спиноза, который был не только великим философом, но и мудрым политиком, о государе, вступающем на престол в результате убийства своего предшественника или мятежа: «Если новый государь хочет удержаться на

престоле и быть спокойным за свою жизнь, то надо, чтобы он с неслыханной яростью мстил за смерть своего предшественника, дабы потом никому уже не могло прийти в голову совершить подобное преступление. Но чтобы месть эта была достойной, ему недостаточно пролить кровь своих подданных, он должен ратовать за политику, которую проводил убитый государь, и в деле управления страной следовать по его пути». Это правило помогло Медичи захватить Флоренцию. Козимо I, преемник герцога Алессандро, спустя одиннадцать лет после своего воцарения приказал убить в Венеции флорентинского Брута и, как мы уже говорили, неустанно преследовал всех Строцци. Забвение этого правила погубило Людовика XVI. Этот король погрешил против всех основ государственности, восстановив парламенты, уничтоженные его дедом. Людовик XV был прав. Парламенты, в особенности парижский, в значительной степени вызвали те волнения, которые повлекли за собою созыв Генеральных штатов. Ошибкой Людовика XV было то, что, уничтожив этот барьер, отделявший короля от народа, он не заменил его чем-либо более прочным, иначе говоря, в том, что взамен парламентов он не создал устойчивой конституции для провинций. Она-то и могла стать лекарством от всех монархических зол, с помощью нее были бы упорядочены и утверждены налоги и постепенно проведены все реформы, необходимые для поддержания монархии.

Первое, что сделал Генрих II,— он оказал доверие коннетаблю Монморанси, несмотря на то, что отец его завещал ему держать того в немилости. Коннетабль Монморанси вместе с Дианой де Пуатье, с которой его связывали близкие отношения, по сути дела, был хозяином государства. Таким образом, став королевой Франции, Екатерина была еще менее счастлива, чем тогда, когда она была дофиной. Кроме того, начиная с 1543 года, в течение десяти лет, она каждый год рожала по ребенку и выполняла свой материнский долг на протяжении всего этого десятилетия — то есть последних лет царствования Франциска I и почти всего царствования Генриха II. Столь частые беременности были на руку ее сопернице, которая таким образом избавлялась от законной жены. Екатерина не могла простить Диане этой грубой

женской хитрости. Будучи таким образом отстраненной от государственных дел, эта замечательная женщина стала наблюдать за интригами придворных и партий, образовавшихся при дворе. Все находившиеся при ней итальянцы возбуждали страшные подозрения. После казни Монтекукулли коннетабль Монморанси, Диана и большинство проницательных придворных политиков были склонны подозревать Медичи, но Франциск I всегда отвергал эти подозрения. Поэтому и Гонди, и Бирага, и Строцци, и Руджери, и Сардини — словом, все итальянцы, приехавшие во Францию вместе с Екатериной, вынуждены были проявлять чудеса хитрости и храбрости, чтобы вынести жизнь при дворе под гнетом нависшей над ними немилости. В то время, когда у власти была Диана де Пуатье, Екатерина проявляла к ней такое расположение, что досужие умы усмотрели бы в этом доказательство того глубокого притворства, к которому ее вынудили прибегнуть события, окружающие ее люди и поведение Генриха II. Те, кто думает, что Екатерина никогда не предъявляла своих прав, ни как супруга, ни как королева, слишком далеко уходят от истины. Надо сказать, что чувство собственного достоинства было развито в ней в самой высокой степени, и оно мешало ей настаивать на том, что историки называют супружескими правами. Одиннадцать беременностей Екатерины и десять родившихся у нее детей достаточно объясняют поведение Генриха II, который на протяжении всех этих беременностей мог проводить сколько угодно времени с Дианой де Пуатье. Но, вне всякого сомнения, король неукоснительно исполнял свои обязанности перед самим собою. При коронации он устроил королеве торжественный въезд, не уступавший всем тем, которые происходили во время прежних коронаций. В протоколах парламента и Счетной палаты записано, что два величественных кортежа, предварявших появление Екатерины, тянулись через весь Париж до Сен-Лазара. Да вот и выдержка из описания, сделанного дю Тилле.

«В Сен-Лазаре был воздвигнут помост, на котором поставили трон (дю Тилле называет его *парадным креслом*). На нем восседала Екатерина в горностаевом ка-

закине, украшенном драгоценными камнями, в корсаже и в королевской мантии. На голове у нее была корона, вся в жемчугах и алмазах. Рядом с нею поместилась жена маршала Ламарка, ее статс-дама. Вокруг них стояли принцы крови, а также другие богато одетые принцы, сеньеры, канцлер Франции в одеянии из парчи с золотыми узорами на красном фоне. Впереди королевы на том же возвышении сидели в два ряда двенадцать герцогинь и графинь, все одетые в горностаевые казакины, корсажи, мантии и с герцогскими и графскими коронами на головах. Это были герцогини д'Эстувиль, старшая и младшая Монпансье, принцесса де Ларош-сюр-Ион, герцогини Гиз, Нивернуа, де Валантинуа (Диана де Пуатье), герцогиня Омальская, Мадмуазель, побочная дочь короля Франции (которая стала герцогиней де Кастро-Фарнезе, а потом герцогиней де Монморанси-Данвиль), госпожа жена коннетабля и мадмуазель де Немур, не считая других дам, для которых там не хватило места. Четыре президента парламента в бархатных шапочках, несколько советников, а также секретарь дю Тилле, поднявшись на помост, преклонили перед королевой колени, и первый президент Лизе обратился к ней с речью. Канцлер стал на одно колено и произнес ответную речь. Въезд королевы состоялся в три часа дня, она ехала в открытых носилках. Напротив сидела Маргарита Французская, по обе стороны носилок шли кардиналы Амбуазский, Шатильонский, Булонский и Ленонкурский в своих одеяниях. Королева остановилась у собора Парижской богоматери, где ее встретило духовенство. По окончании молебствия королеву повезли на улицу Каландр в парламент, где в большом зале был приготовлен ужин. Там она сидела в середине зала за мраморным столом и под бархатным балдахином, затканным золотыми лилиями».

Здесь как раз следует опровергнуть одно из распространенных мнений, которые кое-кто стал повторять вслед за Совалем.

Утверждали, что Генрих II до такой степени перестал считаться с правилами приличия, что поместил инициалы своей любовницы на зданиях, которые он, по совету Екатерины. с таким великолепием достраивал или воздвигал.

Но двойной вензель, украшающий здание Лувра, каждый день обличает тех недалеких людей, которые готовы поверить этим россказням, без всяких оснований порочащим наших королей и королев. Вместе с тем первая буква имени Henri и переплетенные с ней два C, первая буква имени Catherine, могут быть прочитаны как два D, первые буквы имени Diane. Совпадение это, по-видимому, нравилось Генриху II, но это не исключает того, что королевский вензель фактически был составлен из первых букв имен короля и королевы. Верность всего сказанного подтверждается тем, что вензель этот можно видеть до сих пор на колонне Хлебного рынка, которую Екатерина воздвигла сама. Помимо этого, те же буквы мы находим в усыпальнице Сен-Дени на надгробном памятнике, заказанном Екатериной для себя еще при жизни, рядом с надгробием Генриха II, где скульптор вылепил ее с натуры.

В критическую минуту, отправляясь в поход на Германию, Генрих II передал власть Екатерине и объявил ее регентшей как на время своего отсутствия, так и в случае своей смерти; это было 25 марта 1552 года. Самый заклятый враг Екатерины, автор «Удивительного слова о непотребствах Екатерины», отмечает, что она снискала себе всеобщие похвалы и что король был удовлетворен тем, как она справилась со своей задачей. Генрих II получил от нее вовремя и людей и деньги. Наконец после рокового сражения при Сен-Кантене Екатерина собрала с парижан крупные суммы, которые она отправила в Компьень, где в то время находился король.

Чтобы добиться хотя бы незначительного влияния в политике, Екатерине пришлось делать огромные усилия. Она проявила достаточно ловкости, чтобы заставить коннетабля, всесильного при Генрихе II, служить ее интересам. Известно, какими страшными словами король ответил донимавшему его Монморанси. Ответ этот был результатом разумных советов, которые Екатерина дала королю в те немногие часы, когда она оставалась с ним наедине и когда она излагала перед ним положения флорентинской политики, заключавшейся в том, чтобы сталкивать знатнейших людей государства между собою и на гибели их утверждать королевскую власть; это была система Людовика XI, примененная потом ею самой и Ришелье. Генрих II, глядевший на все глазами Дианы и коннетаб-

ля, был королем феодального склада и жил в дружбе со знаменитыми домами своего королевства.

После напрасной попытки коннетабля угодить ей, попытки, которая, по-видимому, относится к 1556 году, Екатерина стала очень ласковой с Гизами: она замыслила вывести их из партии Дианы с тем, чтобы противопоставить коннетаблю. Но, к несчастью, Диана и коннетабль были так же, как и Гизы, настроены против протестантов. Поэтому в борьбе их не было того ожесточения, которое могла внести туда религиозная рознь. К тому же Диана спутала карты королевы, начав заигрывать с Гизами и выдав свою дочь за герцога Омальского. В этой игре она зашла так далеко, что некоторые авторы думают даже, что галантный кардинал Лотарингский завоевал не только ее расположение, но и нечто большее. Сатирические поэты того времени написали по этому поводу следующее четверостишие:

Коль Шарль [1] у вас в стране такое занял место,
Коль над собою вы Диане дали власть
Месить вас так и сяк, и мять, и в кадку класть,
Вас нет здесь, государь, вы превратились в тесто.

Никак нельзя считать искренними все знаки скорби и сожаления, которые выказала Екатерина при кончине Генриха II. Ввиду того, что страсть короля к Диане де Пуатье была неизменной, Екатерине оставалось только играть роль покинутой жены, которая любит своего мужа; но, как всякая умная женщина, она продолжала притворяться и после его смерти, вспоминая короля с большой нежностью. Диана, как известно, всю жизнь носила траур по своему покойному мужу г-ну де Брезе. Ее цветами были черный и белый, и именно эти цвета король носил на турнире, который стал для него последним. Екатерина точно так же носила траур всю жизнь, несомненно, подражая своей сопернице. Она отнеслась к Диане де Пуатье с редкостным коварством, на которое историки не обратили внимания. После смерти короля коннетабль, оказавшийся человеком недостойным, потерял всякий интерес к герцогине де Валантинуа и подло ее покинул. Диана предложила королеве свои земли и свой замок в Шенонсо. Тогда Екатерина сказала в присутствии

[1] Кардинал Лотарингский.

свидетелей: «Я не могу позабыть, что она была отрадой моего дорогого Генриха, мне стыдно принимать от нее что-нибудь даром, я дам ей взамен другое поместье и предлагаю ей Шомон-сюр-Луар». И действительно, этот акт обмена имел место в Блуа в 1559 году. Зятьями Дианы были герцог Омальский и герцог Бульонский, в то время владетельные принцы; она сумела сберечь все свое состояние и спокойно умерла в 1566 году в возрасте шестидесяти шести лет. Она была на девятнадцать лет старше Генриха II. Эти даты, которые исследователь, изучавший ее жизнь, списал в конце прошлого столетия с ее надгробной эпитафии, проливают свет на многие непонятные моменты истории: ведь некоторые историки полагают, что после осуждения ее отца в 1523 году ей было сорок лет, а другие — что ей было всего шестнадцать. В действительности же ей тогда было двадцать четыре года. После того как мы познакомились со всеми фактами, рисующими как в положительном, так и в отрицательном свете ее отношение к Франциску I, когда дом Пуатье находился в такой большой опасности, мы не хотим ничего утверждать и ничего опровергать. Это одно из тех обстоятельств, которые историки до сих пор не выяснили. Все происходящее на наших глазах показывает нам, что история подделывается именно тогда, когда она делается. Екатерина возлагала большие надежды на возраст своей соперницы и не раз пыталась от нее избавиться. Это была тайная и страшная борьба. Однажды, правда, Екатерине чуть было не удалось осуществить свои надежды. В 1554 году Диана заболела и просила короля поехать в Сен-Жермен, пока она не поправится. Этой в высшей степени кокетливой женщине не хотелось предстать перед взорами короля в столь невыгодном свете. Ко времени возвращения короля Екатерина заказала великолепный балет: шесть молоденьких девушек должны были продекламировать стихи. В число их она включила мисс Флеминг, родственницу своего дяди, герцога Олбени, девушку необычайной красоты, бледнолицую и белокурую; одну из своих родственниц, Кларисе Строцци, очаровательную итальянку с чудесными черными волосами и удивительно красивыми руками; м-ль Льюистон, придворную даму Марии Стюарт, самое Марию Стюарт, принцессу Елизавету Француз-

скую, которая потом стала испанскою королевою и судьба которой сложилась так тяжело, и принцессу Клод. Елизавете было тогда девять лет, Клод — восемь, Марии Стюарт — двенадцать. Само собою разумеется, королева хотела оттенить красоту Кларичe Строцци и мисс Флеминг, показав их без соперниц, чтобы остановить на одной из них выбор короля. Король не сопротивлялся: он выбрал себе мисс Флеминг, и у нее от него родился незаконный сын, Генрих Валуа, граф Ангулемский, великий приор Франции. Но влияния Дианы это обстоятельство не поколебало. Герцогиня де Валантинуа простила ему, подобно тому, как впоследствии маркиза де Помпадур простила Людовику XV. Но с какой же стороны такая попытка характеризует Екатерину? Что это: любовь к власти или любовь к мужу? Пусть женщины решают.

В наши дни то и дело толкуют о вольностях, которые себе позволяет печать. Но трудно себе представить, каких пределов они достигали в самом начале книгопечатания. Известно, например, что Аретино, который был Вольтером своего времени, повергал в дрожь королей и в первую очередь самого Карла V. Но вряд ли знают, до какой смелости доходили тогда памфлеты. Замок Шенонсо, о котором мы говорили, был *отдан* Диане, впрочем, это не то слово, ее просто умолили принять его в дар, стремясь загладить этим одно из самых отвратительных произведений, когда-либо высмеивавших женщину, произведение, по которому можно судить о том, что за борьба происходила между нею и г-жой д'Этамп.

В 1537 году, когда ей было тридцать восемь лет, какой-то поэт из Шампани, по имени Жан Вуте, издал сборник латинских стихотворений, содержавший три эпиграммы на Диану. Поэт, надо полагать, заручился каким-то высоким покровительством, ибо стихам его предшествует восхваление, написанное Сальмоном Макреном, первым камердинером короля. Вот единственное место из всех этих эпиграмм, озаглавленных: In Pictaviam, anum aulicam (На Пуатье, старую придворную даму).

...Non trahit esca ficta praedam

«Никакая дичь не прельстится намалеванною приманкой»,— говорит поэт, после того как он обличает Ди-

ану в том, что она красится, что она покупает себе волосы и зубы. «Но если даже ты купишь себе главное, что составляет прелесть женщины,— добавляет он,— то ты не добьешься от твоего любовника того, чего он хочет, ведь для этого надо быть живой, а не мертвой».

И этот сборник, изданный Симоном де Колин, посвящается *епископу!*.. Франсуа Бойе, брат которого для того, чтобы спасти свою репутацию при дворе и искупить свой проступок, предложил ей, как только Генрих II вступил на престол, замок Шенонсо, построенный его отцом Тома́ Бойе, государственным советником при четырех королях: Людовике XI, Карле VIII, Людовике XII и Франциске I. Что там памфлеты, написанные на г-жу Помпадур и на Марию-Антуанетту, в сравнении с этими стихами, под которыми мог бы подписаться сам Марциал! Этому Вуте, по-видимому, пришлось худо. Так вот земля и замок Шенонсо достались Диане за одно только прощение обиды, а ведь прощать обиды нам велит Евангелие! Наказания, налагаемые тогда на печать, были немного посуровее, чем в наши дни, хотя это и не были судебные приговоры.

Каждая овдовевшая французская королева обязана была оставаться в комнате короля в течение сорока дней и не видеть другого света, кроме света свечей: выйти на воздух она могла только после погребения своего супруга. Этот неукоснительно соблюдавшийся обычай немало смущал Екатерину, которая боялась дворцовых интриг: ей, однако, удалось его обойти, и вот как: кардинал Лотарингский однажды рано утром (и в такое-то время, в такую минуту!) уходил от прекрасной римлянки, знаменитой куртизанки эпохи Генриха II, которая жила на улице Кюльтюр-Сен-Катрин, и к нему пристала ватага молодых кутил. По свидетельству Этьена, «его преосвященство, чрезвычайно этим пораженный, заявил, что еретики устраивают ему засады...» По этой причине двор переселился из Парижа в Сен-Жермен. Королева не захотела покидать короля, своего сына, и сама перебралась туда же.

В момент воцарения Франциска II, когда Екатерина думала, что власть уже попала в ее руки, она обманулась, и обман этот был тяжелым завершением двадцати шести лет, проведенных ею при французском дворе: за это вре-

мя она знала одно только горе. Власть захватили тогда Гизы; они проявили при этом неслыханную дерзость: герцог Гиз был поставлен во главе армии, коннетабля сместили, кардинал возглавил церковь. Политическая карьера Екатерины началась с одной из драм, которая хотя и не наделала столько шума, сколько другие, но была, однако, не менее страшна; она-то и подготовила Екатерину к ужасным переживаниям ее последующей жизни. Стараясь казаться близкой к Гизам, она попыталась обеспечить себе победу при поддержке дома Бурбонов. Может быть, Екатерина, испробовав все самые крайние средства, хотела пустить в ход ревность, чтобы вернуть себе короля, а может быть, она просто переживала свою вторую молодость и тосковала по настоящей любви, но она стала проявлять живейший интерес к одному вельможе королевской крови, Франсуа Вандому, сыну Луи Вандома (от этого рода произошел дом Бурбонов), видаму Шартрскому, имя, под которым этого человека знает история. Тайная ненависть, которую Екатерина питала к Диане, проявлялась при различных обстоятельствах, но историки, увлекшись вопросами политики, не обращали на них до сих пор никакого внимания. Симпатии Екатерины к видаму были вызваны оскорблением, которое этот молодой человек нанес фаворитке короля. Диана хотела самых блестящих партий для своих дочерей, которые, впрочем, и сами принадлежали к самой высшей знати Франции. Ей особенно хотелось удостоиться чести породниться с королевским домом. По ее желанию, руку ее второй дочери, впоследствии сделавшейся герцогиней Омальской, предложили видаму, которого весьма разумная политика Франциска I держала в бедности. В самом деле, когда видам Шартрский и принц Конде явились ко двору, как бы вы думали, какое содержание Франциск I назначил им? Обычное камергерское жалованье да еще 1 200 экю пенсии, то есть немного больше того, что получали рядовые придворные. Несмотря на то, что Диана де Пуатье предложила ему огромное состояние, какую-то видную должность и милость короля, видам отказался.

Впоследствии этот Бурбон, уже ставший мятежником, женился на Жанне, дочери барона д'Эстиссака, и брак его был бездетным. Естественно, что эти гордые повад-

ки расположили к видаму Екатерину, которая приняла его особенно ласково и сумела сделать из него преданного друга. Историки утверждают, что своим умением нравиться, заслугами и способностями последний из герцогов Монморанси, казненный в Тулузе, походил на видама Шартрского. Но Генрих II не стал ревновать, ему не могло прийти в голову, чтобы королева Франции могла изменить своему долгу или чтобы Медичи позабыла честь, которую оказал ей один из Валуа. В то время когда королева, как говорят, кокетничала с видамом Шартрским, король ее почти совершенно покинул; это было после рождения ее последнего сына. Однако попытка эта ни к чему не привела, ибо Генрих умер, нося цвета Дианы де Пуатье.

После смерти короля Екатерина, как уверяют, была в любовной связи с видамом. Такого рода отношения как нельзя более соответствовали нравам того времени, когда любовь была столь рыцарственной и в то же время столь несдержанной, что самые высокие поступки были так же в порядке вещей, как и самые предосудительные; беда лишь в том, что историки совершили свою всегдашнюю ошибку: исключение они приняли за правило. У Генриха II было четыре сына, и это обстоятельство лишало Бурбонов всякой надежды; все представители этого рода были крайне бедными, а предательство коннетабля бросало на них тень подозрения, независимо от причин, побудивших его покинуть страну. Видам Шартрский, который для первого принца Конде был тем, чем Ришелье для Мазарини,— его отцом в политике, примером, которому он следовал, и к тому же еще наставником в любовных делах, умел скрывать под покровом легкомыслия далеко идущие притязания своего дома. Не собираясь бороться с Гизами, с Монморанси, с Шотландскими принцами, с кардиналами, с герцогом Бульонским, он сумел обратить на себя всеобщее внимание своей любезностью в обращении, манерами, живостью ума, завоевал благосклонность самых очаровательных дам и победил сердца, о которых даже не мечтал. Это был человек, пользовавшийся особыми привилегиями, неотразимый и обязанный всем своим положением только любви. Бурбоны не стали бы сердиться, как Жарнак на клевету де Ла Шатеньре; они отличным образом принимали от своих

любовниц земли и замки, как, например, принц Конде принял поместье Сен-Валер от г-жи жены маршала Сент-Андре.

После смерти Генриха II, в течение первых двадцати дней траура, положение видама сразу же изменилось. Он стал пользоваться особым вниманием королевы-матери и в то время, как он ухаживал за нею так, как только было возможно ухаживать за королевой,— в совершенной тайне; он, казалось, был предназначен для выполнения некоей миссии. Екатерина действительно решила воспользоваться его услугами. Она поручила ему передать принцу Конде письмо, в котором она доказывала, что им необходимо объединиться против Гизов. Проведав об этой интриге, Гизы явились в покои королевы, чтобы вырвать у Екатерины приказ о заключении видама в Бастилию. И Екатерине пришлось повиноваться.

Видам пробыл несколько месяцев в заключении и, выйдя из тюрьмы, в тот же самый день умер. Это было незадолго до заговора в Амбуазе. Так окончилась первая и единственная любовь Екатерины Медичи. Писатели-протестанты утверждали, что королева приказала отравить видама, чтобы все, что было между ними, осталось навсегда тайной!.. Вот какой ценой досталась этой женщине наука власти.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МУЧЕНИК-КАЛЬВИНИСТ

I

ДОМ, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ НА УЛИЦЕ, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПАРИЖЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ НЕ ТАКИМ, КАК НЫНЕ

В наши дни мало кто знает, как незатейливо были устроены жилища парижских горожан в XVI веке и как просто они жили. Быть может, именно простота поступков и мыслей этих горожан былых времен и явилась причиною их величия; а ведь они были свободны и благородны, и, быть может, в большей степени, чем буржуазия наших дней; их историю еще только предстоит написать, она требует, чтобы за нее взялся какой-нибудь проникновенный историк, она его ждет. Замысел мой родился под влиянием некоего действительного происшествия, которое и лежит в основе настоящего исследования; происшествие это — одно из самых примечательных в истории городского сословия, и несомненно, что после того, как люди прочтут этот рассказ, говорить о нем будут все. Но разве впервые в истории выводы делаются раньше, чем узнаются факты?

В 1560 году улица Вьель-Пельтри проходила вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и Мостом Менял. На месте теперешней мостовой была проезжая дорога и стояли дома. Жители каждого из этих домов, расположенных на самом берегу, могли тогда спускаться к реке по деревянным или каменным лестницам. Лестницы эти были защищены со стороны реки крепкой железной решеткой или дверью, обитой гвоздями. В домах здесь, как и в Венеции, имелось два вы-

хода: один на сушу и один на воду. Теперь, когда я пишу эти строки, остался только один-единственный дом, который видом своим напоминает старый Париж, да и тот, пожалуй, скоро будет уже окончательно разрушен. Дом этот расположен на углу Малого моста, напротив кордегардии Городской больницы. В былое время со стороны реки дома эти выглядели очень своеобразно и по виду каждого дома можно было определить, чем занимается его владелец, узнать, какие у него привычки, как хозяин его использует близость к Сене и вместе с тем как он злоупотребляет этой близостью. Чуть ли не на всех мостах, перекинутых через Сену, были построены водяные мельницы, причем мельниц этих было столько, что они не могли не помешать судоходству, и в Париже оказалось, пожалуй, не меньше запруд, чем мостов. Некоторые из этих водоемов старого Парижа пленили бы художника своей живописностью. Какою причудливою лесною чащей выглядели все эти переплеты балок, подпиравших мельницы, их колеса и шлюзы! Какое своеобразное впечатление производили эти торчавшие из воды сваи, которые служили опорою нависающим над рекою зданиям! К сожалению, жанровых картин тогда еще не писали, искусство гравюры было в младенческом состоянии, и это редкостное зрелище потеряно для нас безвозвратно. В миниатюре, правда, все это сохранилось еще в иных наших провинциальных городах, где зубчатые берега реки застроены деревянными домиками или где, как, например, в Вандоме, в заросших тиной запрудах огромные решетки разделяют друг от друга участки разных владельцев, расположенные на том и другом берегу.

Само название этой улицы, которой теперь, уже не найти на плане, достаточно ясно говорит о том, чем славились ее обитатели [1]. В то время горожане, промышлявшие одним и тем же ремеслом, не были рассеяны по всему городу, а, напротив, сосредоточивались где-то в одной его части и, таким образом, представляли собой внушительную силу. Они бывали объединены в цех, который ограничивал их численность; к тому же их объединяли еще и церковные братства. Все это позволяло им под-

[1] Вьель-Пельтри — буквально «Старая Меховая» *(франц.)*.

держивать цены на определенном уровне. Притом мастера не были тогда на поводу у своих работников и не выполняли их прихотей, как в наши дни; напротив, они заботились о них, старались относиться к ним, как к собственным детям, посвящая их во все тонкости своего искусства. Чтобы стать мастером, ремесленник должен был создать какое-нибудь замечательное произведение, и он неизменно посвящал свой труд святому — покровителю братства.

Не станете же вы утверждать, что отсутствие конкуренции вело к отказу от совершенства и лишало изделия красоты? Не ваши ли восторги перед творениями старых мастеров создали новую профессию — торговца старинными вещами?

В XV и XVI веках торговля мехами переживала эпоху своего расцвета. Добывать пушнину было тогда делом нелегким: приходилось совершать длинные и опасные путешествия в северные страны; в силу этого меха ценились чрезвычайно дорого. В те времена, так же как и теперь, высокие цены только повышали спрос: ведь тщеславие не знает преград. Во Франции, а равным образом и в других странах ношение мехов было установленной королевским указом привилегией знати, и это объясняет, почему горностай так часто фигурирует на старинных гербах; некоторые редкостные меха, как, например, vair, который, вне всякого сомнения, есть не что иное, как королевский соболь, имели право носить одни только короли, герцоги и занимающие определенные должности вельможи. Различали vair, состоящий из мелких, и vair, состоящий из крупных шкурок; слово это уже лет сто как вышло из употребления и до такой степени забылось всеми, что даже в бесчисленных переизданиях «Сказок» Перро про знаменитую туфельку Золушки, которая первоначально была, по-видимому, из мелкого vair, в настоящее время говорится, что она *хрустальная* (verre). Недавно один из наших самых выдающихся поэтов вынужден был восстановить правильное написание этого слова, дабы просветить своих собратьев-фельетонистов в своей рецензии об опере «Cenerentola» [1], где символическая туфелька заменена ничего не значащим кольцом.

[1] «Золушка» *(итал.)*.

Нет ничего удивительного, что, к великому удовольствию меховщиков, запреты, связанные с ношением мехов, постоянно нарушались. Высокие цены на материи и на меха приводили к тому, что каждый предмет одежды становился столь же долговечным, как мебель. оружие и другие аксессуары устойчивой жизни XV столетия. У дамы, у вельможи, у любого состоятельного человека, а равно и у любого горожанина было не более двух комплектов одежды для каждого сезона; носили эту одежду всю жизнь, а когда владелец ее умирал, она переходила по наследству к его детям. Поэтому перечисление оружия и одеяний, совершенно почти ненужное в брачных контрактах нашего времени в силу того, что носильные вещи беспрестанно обновляются и стоят не так уже дорого, в ту эпоху имело первостепенное значение. Дороговизна одежды приводила к тому, что она всегда бывала добротной. Предметы женского туалета составляли огромный капитал, которому в семье вели счет и который хранился в сундуках столь тяжелых, что под ними неминуемо обвалились бы потолки современного дома. Парадное платье женщины 1840 года могло быть разве только домашней одеждой у светской дамы 1540 года. В наши дни открытие Америки, легкость передвижения, отмирание сословных различий, подготовившее отмирание различий внешних, повергли торговлю мехами в то состояние, в котором она пребывает сейчас, то есть почти совершенно свели ее на нет.

Стоимость вещи, которую меховщики наших дней продают, как и в былые времена, за двадцать ливров, стала меньше в силу падения самой стоимости денег: ведь ливр стоил тогда свыше двадцати теперешних франков.

В наши дни простая мещанка или куртизанка носит отороченную куньим мехом пелерину, даже не зная, что в 1440 году городской страж, которому она чем-нибудь не понравилась бы, мог ее за это арестовать и предать суду. Англичанки, которые так увлекаются горностаем, даже не подозревают, что некогда одни только королевы, герцогини и канцлеры Франции имели право носить этот царственный мех. В наше время существует несколько родов, которым было пожаловано дворянство,— они носят имя Пельтье или Лепельтье. Происхождением своим это имя обязано какой-то богатой конторе, произво-

дившей скупку мехов, ибо большинство фамилий купцов вначале были прозвищами.

Отступление это делает понятным не только долгие распри из-за первенства, которые велись в течение двух столетий между цехами суконщиков, меховщиков и галантерейщиков (каждому из трех хотелось быть первым в Париже), но и ту роль, которую играл господин Лекамю, придворный поставщик двух королев—Екатерины Медичи и Марии Стюарт — и поставщик парламента, в течение двадцати лет бывший синдиком своего цеха. Лекамю жил на этой самой улице. Дом его образовывал один из углов перекрестка напротив Моста Менял, где теперь сохранилось только четвертое из угловых зданий — башня Парижского суда. На одном из углов этого дома, расположенного на набережной, которая сейчас носит название Цветочной, возле Моста Менял, был устроен выступ. Там стояла статуя мадонны, перед которой день и ночь горели свечи. В летнее время ее украшали живые цветы, а зимою — искусственные. С той стороны, точно так же как и со стороны улицы Вьель-Пельтри, дом этот покоился на деревянных столбах. В торговых кварталах под домами были крытые галереи: почва там затвердела от нанесенной на ногах уличной грязи и была в буграх. Во всех французских городах подобные галереи носили название *рядов;* к этому добавлялось еще наименование отрасли торговли, как, например, зеленные ряды, мясные ряды. Эти простые галереи, без которых нельзя было обойтись в Париже с его такой переменчивой, такой дождливой погодой, галереи, которые составляли неотъемлемую принадлежность всего облика старого города, теперь совершенно исчезли. Точно так же, как сохранился всего один-единственный дом, выходящий на реку, от всех длинных старых рядов рынка уцелел только один прогон в каких-нибудь сто футов длиной, последнее из того, чего пока еще не одолела разрушительная сила времени. Скоро, должно быть, исчезнет с лица земли и этот последний уголок старого Парижа с его темным лабиринтом улиц. Само собой разумеется, эти средневековые руины никак не совместимы с величественным обликом нашей теперешней столицы. Поэтому, упоминая о них, я хочу выразить не столько свое сожаление об этих уголках старого города, сколько просто зарисовать с натуры

все, что еще не успело превратиться в прах, и таким образом оправдать эти драгоценные описания в глазах грядущего, которое наступает на современность.

Стены этого дома были из дерева и черепицы. Промежутки между бревнами, как это сейчас еще бывает в некоторых старых провинциальных городах, были выложены кирпичами разной толщины и составляли узор, называемый венгерскою кладкой. Оконные проемы точно так же были покрыты снизу и сверху богатой деревянной резьбой, равно как и угловой столб, поднимавшийся над статуей мадонны, и как опоры выставки магазина. Каждое окно, каждая балка перекрытия, разделявшего этажи, были украшены арабесками с изображениями людей или фантастических животных, залегших среди причудливой листвы. Со стороны улицы, а также со стороны реки дом был увенчан крышей, напоминающей две приставленные друг к другу игральные карты и, таким образом, имел два ската: один — выходящий на улицу и один — на реку. Крыша выдавалась вперед, подобно крышам швейцарских шале, и притом на довольно большом расстоянии, так что на втором этаже образовывался балкон, на котором, не выходя из-под навеса, хозяйка дома могла прогуливаться над улицей или над запрудой, устроенной между двумя рядами домов и двумя мостами.

Дома, которые имели выход на реку, были тогда в большой цене. В эту эпоху не было ни колодцев, ни канализации в нашем смысле слова. Существовала только кольцевая канализация, завершенная Обрио, первым, кто еще в эпоху Карла V задумался над улучшением санитарного состояния Парижа. Это был человек талантливый и энергичный. Жители домов, расположенных на берегу, подобно дому Лекамю, брали воду для хозяйственных надобностей прямо из реки; в ту же реку стекала вся дождевая вода и выливались помои. Результаты огромной работы по благоустройству, проделанной купеческими старшинами, постепенно уничтожаются. Сейчас одни только люди, которым за сорок, помнят еще бурные потоки, стремившиеся по улице Монмартр, дю Тампль и другим. Поглощавшие их страшные, зияющие жерла совершали в свое время неоценимые благодеяния. Места, где они находились, навсегда останутся заметными: всю-

ду, где проходили эти подземные каналы, почва над ними поднялась; вот еще одна археологическая деталь, которая по прошествии двух столетий станет уже непонятной для историка.

Однажды около 1816 года девочка несла бриллианты для одной актрисы театра Амбигю, которая должна была играть роль королевы. Ее захватило ливнем и потянуло в подземную канаву на улице дю Тампль; она неминуемо бы погибла, если бы ее не спас прохожий, который услыхал, как она кричала; бриллианты она выпустила из рук, их подобрали потом в люке сточной трубы. Происшествие это наделало много шуму. После него стали настойчиво требовать ликвидации этих страшных ям, которые уносили не только воду, но и маленьких девочек. Эти своеобразные сооружения были снабжены более или менее подвижными решетками, но когда местные жители позабывали вовремя поднять решетки, они засорялись, и в период дождей это нередко служило причиною наводнений.

Выставка лавки господина Лекамю была открытой, заднюю сторону ее составляли стекла в свинцовой оправе, отчего во внутреннем помещении было всегда довольно темно.

Богатым людям меха носили на дом. Тем, кто приходил покупать их у меховщиков, товар показывали в открытых помещениях, в галерее, заставленной столами, где в течение всего дня на табуретках сидели приказчики; подобные картины можно было видеть на рынке еще лет пятнадцать тому назад. Сидя на этих передовых постах, приказчики, ученики и ученицы болтали между собою, окликали друг друга, отвечали, останавливали прохожих; этими особенностями тогдашних обычаев воспользовался Вальтер Скотт в «Приключениях Найджела». Вывеска, изображавшая горностая и подвешенная наподобие того, как это еще и сейчас делается у нас на постоялых дворах, представляла собой кронштейн с поперечною перекладиной позолоченного железа филигранной работы. Над изображением горностая была надпись; на одной стороне:

ЛЕКАМЮ
меховщик
их величеств королевы и господина нашего короля

На другой:

ее величества королевы-матери
и господ членов парламента.

Слова *ее величества королевы-матери* были добавлены совсем недавно. Позолота была еще свежа. Эта замена означала, что государственный переворот совершился. Он был вызван внезапною, насильственною смертью Генриха II, которая положила конец карьере многих придворных и с которой началось возвышение Гизов.

Заднее помещение лавки выходило на реку. В этой комнате обычно и проводили весь день почтенный торговец и его жена демуазель Лекамю. В эти времена жена человека незнатного не имела права называться дамой, но французские короли в благодарность за весьма значительные услуги, которые им оказывали парижские горожане, в качестве одной из дарованных им привилегий закрепили за их женами право именоваться *демуазелями*. Между этой комнатой и лавкой была деревянная винтовая лестница, которая вела на верхний этаж, где помещались самый магазин и спальня супругов, и в чердачные помещения с маленькими слуховыми окнами, где жили дети, служанки, подмастерья и приказчики.

Этой скученностью семьи, слуг и учеников и теснотою, в которой они жили, так что ученики спали все вместе в одной большой комнате под стропилами крыши, и объясняется, почему такое огромное население, какое было тогда в Париже, умещалось на какой-нибудь десятой части территории современного города. Становятся понятными и все удивительные подробности частной жизни в средние века и любовные интриги, о которых — да простят меня историки! — мы ничего бы не знали, если бы не новеллы того времени. В эту эпоху у такого, например, именитого вельможи, как адмирал Колиньи, было всего-навсего три комнаты, и свита его помещалась в соседней гостинице. В Париже тогда было около пятидесяти особняков, вернее, впрочем, дворцов, и они принадлежали принцам крови или знатным вельможам, которые жили тогда лучше, чем такие владетельные князья Германии, как герцог Баварский или курфюрст Саксонский.

Кухня дома Лекамю находилась непосредственно под задним помещением лавки у самой реки; в ней была за-

стекленная дверь, выходившая на чугунный балкон: с этого балкона служанка могла черпать ведрами воду, на нем она сушила белье. Заднее помещение служило торговцу одновременно столовой, кабинетом и гостиной.

Эту просторную комнату, обычно отделанную резными панелями, чаще всего украшало какое-нибудь произведение искусства, например, деревянный сундук. Жители дома весело ужинали здесь после работы; здесь келейно обсуждались политические дела, затрагивавшие интересы купцов и королевскую власть. Грозные парижские цехи могли тогда вооружить до ста тысяч человек. К тому же в те времена за торговцами стояли их слуги, их приказчики, их ученики и их работники. Горожане имели своего главу — *купеческого старшину* и свой дворец, где они собирались,— здание Парижской ратуши. В этом знаменитом торговом собрании принимались важные решения. Если бы цехи не обессилели от голода и от многочисленных жертв, Генрих IV, этот мятежник, в конце концов сделавшийся королем, никогда, быть может, не вступил бы в Париж. Теперь читатель легко представит себе, как выглядел уголок старого Парижа в том месте, где сейчас находится мост и Цветочная набережная с ее высокими деревьями и где от этих времен не осталось ничего, кроме башни суда, откуда был дан сигнал к Варфоломеевской ночи. Странное дело! Одному из домов, расположенных возле этой башни, окруженной деревянными лавками, дому Лекамю, суждено было стать свидетелем события, подготовившего кровопролитную ночь, последствия которой, к сожалению, оказались все же не столько роковыми, сколько благоприятными для кальвинистов.

II

РЕФОРМАТЫ

Ко времени начала этой повести дерзость поборников новой религии встревожила весь Париж. Некий шотландец, по имени Стюарт, убил президента Минара, того самого судью, которому общественное мнение приписывало главную роль в вынесении смертного приговора советнику Анну дю Буру. Его сожгли на Гревской площа-

ди вслед за портным покойного короля, которого пытали в присутствии Генриха II и Дианы де Пуатье. В Париже так тщательно за всеми следили, что стражники даже заставляли прохожих молиться перед статуей мадонны, дабы обнаружить среди них еретиков, которые делали это неохотно, а порою просто отказывались осенить себя крестным знамением, считая, что это несовместимо с их верою.

Оба стражника, приставленные к дому Лекамю, покинули свои посты; поэтому сын меховщика, Кристоф, которого сильно подозревали в том, что он отошел от католичества, смог выйти из дома, не боясь, что его тут же заставят стать на колени перед изображением святой девы. Это было в апреле 1560 года, в семь часов вечера, когда уже начало темнеть. Подмастерья, видя, что и на той и на другой стороне улицы уже пусто и только по временам появляются отдельные прохожие, стали заносить в помещение выставленные снаружи образцы товаров, чтобы закрыть лавку и запереть двери. Кристоф Лекамю, пылкий двадцатидвухлетний юноша, стоял на пороге и, казалось, следил за входившими и выходившими из лавки подмастерьями.

— Сударь,— сказал один из них Кристофу, указывая ему на какого-то человека, который с нерешительным видом расхаживал взад и вперед по галерее,— верно, это вор или шпион; по всему видно, что это проходимец, а никак не порядочный человек: ведь если у него есть до нас какое дело, он прямо бы подошел и сказал, а не стал бы топтаться здесь на одном месте... А вид-то у него какой! — добавил он и стал передразнивать незнакомца.— Как он прячется под плащом! Какой подозрительный взгляд! Какое исхудавшее лицо!

Когда незнакомец, столь нелестно описанный подмастерьем, увидел на пороге лавки Кристофа, он тут же вышел из-под навеса на противоположной стороне улицы, где он прогуливался, перешел дорогу, прячась под навесом дома Лекамю, и прежде чем подмастерья вернулись, чтобы закрывать ставни, приблизился к юноше.

— Я Шодье,— сказал он тихо.

Услышав имя одного из самых знаменитых проповедников и самых вдохновенных актеров страшной трагедии, имя которой было Реформация, Кристоф задро-

жал, как задрожал бы какой-нибудь верноподданный крестьянин, увидев перед собой переодетого короля.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на меха?.. Хоть сейчас совсем уже поздно, я вам все покажу сам,— сказал Кристоф, чтобы обмануть подмастерьев, шаги которых послышались за его спиной.

Он знаком пригласил посетителя войти, но тот ответил, что предпочитает говорить с ним на улице. Кристоф зашел в дом, взял шапку и последовал за учеником Кальвина.

Приговоренный королевским эдиктом к изгнанию, Шодье, тайный представитель Теодора де Беза и Кальвина, которые, находясь в Женеве, руководили французскими реформатами, все время ездил туда и обратно. Он рисковал подвергнуться той страшной казни, которой парламент, выполняя веления церкви и приказ короля, в качестве страшного примера для остальных подверг одного из своих членов, знаменитого Анна дю Бура. Этот проповедник, брат которого — капитан — был на отличном счету у адмирала Колиньи, являлся одним из рычагов, с помощью которых Кальвин поднял на ноги Францию с самого начала религиозной войны. Война эта, которая вот-вот должна была вспыхнуть, длилась потом целых двадцать два года. Он был одной из тех скрытых пружин, существование которых лучше всего объясняет весь огромный размах Реформации.

Шодье спустился вместе с Кристофом к берегу реки. Шли они подземным ходом, похожим на тот, который десять лет тому назад проложен под сводом Марион.

Этот подземный ход, начало которого было между домом Лекамю и соседним домом, проходил под улицей Вьель-Пельтри и назывался Мостиком Меховщиков. Красильщики города пользовались им, чтобы промывать в реке свои нитки, шелка и материи. Там на причале стояла лодка, и в ней сидел лодочник. Кроме него, на носу находился какой-то незнакомец невысокого роста, очень просто одетый. После нескольких взмахов весел лодка очутилась на середине Сены, и лодочник направил ее под одну из деревянных арок Моста Менял, где он ловко привязал ее к железному кольцу. Ехали они все молча.

— Здесь мы можем говорить свободно, здесь нет ни предателей, ни шпионов,— сказал Шодье, глядя на

обоих незнакомцев.— Достаточно ли у тебя самоотвержения, которое способно воодушевить на мученичество? Готов ли ты на все во имя святого дела? Не страшат ли тебя пытки, которые выпали на долю портного покойного короля и советника дю Бура? Не страшна ли тебе участь, которая ждет почти всех нас? — спросил он Кристофа, и глаза его засияли.

— Я выполню то, что мне повелит моя вера,— просто ответил Лекамю, глядя на окна своего дома. Лампа на столе, при свете которой отец в эту минуту, должно быть, перебирал свои торговые книги, напомнила ему о семейных радостях и о мирной жизни, от которой он отрекался. Картины этой жизни пронеслись перед ним, мгновенные и всеобъемлющие. Юноша увидел перед собою уголок родного города с его безмятежным, довольным бытом; там протекало его счастливое детство, там жила Бабетта Лалльe, его невеста; там все обещало ему сладостные и тихие дни. Он увидел за один миг свое будущее и пожертвовал всем или, во всяком случае, все поставил на карту. Вот какими были тогда люди!

— Остановимся здесь! — властно сказал лодочник.— Ведь мы знаем, что это один из наших *святых*! Если бы не было шотландца, он убил бы президента Минара.

— Да,— сказал Лекамю,— жизнь моя принадлежит истинной церкви, и я с радостью отдам ее за победу Реформации; над этим я много думал. Я знаю, что она значит для счастья народов. Короче говоря, папизм толкает человека к безбрачию, а Реформация — к семейной жизни. Настало время очистить Францию от паразитов-монахов, отдать их богатства королю; тот ведь рано или поздно все равно продаст их нашему сословию. Положим жизни за наших детей во имя того, чтобы когда-нибудь потомки наши были свободны и счастливы.

Лица всех четырех— нашего юноши, Шодье, лодочника и незнакомца, сидевшего на скамье,— освещенные последними лучами заката, являли собой величественную, достойную кисти большого художника картину, картину, особенно значительную тем, что в ней как бы запечатлелась история того времени, если только верно, что иным людям дано воплотить в себе дух эпохи.

Религиозная реформа, начатая Лютером в Германии, Джоном Ноксом — в Шотландии, Кальвином — во Фран-

ции, распространялась главным образом среди низших классов общества, которые впервые приобщились к мысли. Если знатные люди и поддерживали движение реформатов, то по причинам отнюдь не религиозного характера. К враждующим партиям присоединились различные авантюристы, разорившиеся вельможи, младшие сыновья дворян, которые готовы были поддерживать любые волнения. Но в душе ремесленников и торговцев жила крепкая вера, основанная к тому же на прямом расчете. Небогатые нации сразу же становились сторонниками этой религии: ведь она стремилась возвратить стране все церковные богатства, уничтожить монастыри и лишить служителей церкви их огромных доходов. Торговые круги учли все выгоды этого религиозного маневра и стали поддерживать его телом, душою и кошельком. Но в лице их сыновей протестантство нашло людей, готовых на любые жертвы, нашло то благородство, которое присуще молодости, еще не тронутой эгоизмом.

Люди незаурядные и проницательные умы — а их всегда немало среди народа — угадывали, что Реформация несет за собою Республику; они хотели изменить государственный строй всей Европы, вроде того, как это было сделано в Соединенных Нидерландах, которые одержали победу над самой могущественной державой той эпохи, над Испанией Филиппа II, представленной в Нидерландах герцогом Альбой. Жан Отоман обдумывал тогда план своей знаменитой книги, где содержится подобный проект, книги, заложившей во Франции закваску мыслей, которые впоследствии расшевелила еще раз Лига, мыслей, которые подавлял Ришелье, а потом Людовик XIV, но которые снова воспрянули благодаря усилиям энциклопедистов при Людовике XV и взошли при Людовике XVI, находя каждый раз поддержку в младшей ветви королевского дома: поддержку Орлеанской династии в 1789 году, точно так же как династии Бурбонов в 1589 году. Начав мыслить, человек начинает восставать. А всякое восстание — это или плащ, под которым прячется новый государь, или пеленки, в которых шевелится новая диктатура. За спиною Реформации крепнул дом Бурбонов, младшая ветвь Валуа. Во времена, когда наша лодка плыла под аркадами Моста Менял, вопрос этот необычайно усложнился, и причиною

этого было честолюбие Гизов, соперничавших с Бурбонами. Поэтому королевская власть, воплотившаяся тогда в Екатерине Медичи, могла выдерживать это сражение целых тридцать лет, сталкивая одних с другими, между тем как впоследствии к этой власти уже не тянулись ничьи руки и она беззащитной предстала перед народом. Ришелье и Людовик XIV уничтожили власть знати. Людовик XV уничтожил власть парламента. А когда король остается так, как остался Людовик XVI, один на один с народом, его всегда низвергают.

Кристоф Лекамю принадлежал к самым отважным и преданным сынам своего народа. Его бледное лицо имело тот слегка розоватый оттенок, который иногда бывает свойствен блондинам. Волосы его отливали медным блеском; серо-голубые глаза блестели: они одни говорили о величии его души. В целом в облике его не сквозило ни малейшего стремления подчеркнуть свое превосходство, которое бывает присуще людям образованным,— черты лица его были неправильны и несколько угловаты, подбородок сужен; низкий лоб свидетельствовал всего лишь о большой энергии. Жизненная сила его, пожалуй, легче всего угадывалась в контурах его впалой груди. Кристоф был скорее холерик, чем сангвиник. Его заостренный нос выдавал в нем народную смекалку, а выражение его лица говорило об умении найтись при трудных обстоятельствах, но вместе с тем также и о неспособности охватить умом все обстоятельства жизни в целом. Над его глазами, подобно двум навесам, выдавались надбровные дуги, едва прикрытые белесоватым пушком; глаза были резко окаймлены бледно-голубою тенью. Вокруг носа бледность лица его усиливалась, показывая крайнюю степень экзальтации. Кристоф был представителем народа, который приносит себя в жертву, который сражается и который легко обмануть; у него хватало ума, чтобы понять ту или иную идею и служить ей, но он был слишком благороден, чтобы извлекать из нее выгоду, слишком прямодушен, чтобы себя продавать.

Рядом с единственным сыном Лекамю, Шодье, этот пламенный проповедник, темноволосый, исхудавший от несчетных бдений, с пожелтевшим лицом, с упрямым лбом воина, с выразительным ртом, с горящими карими глазами, с коротким приподнятым подбородком, пред-

ставлял ту часть христиан, из которой вышло такое множество пастырей Реформации, подлинных фанатиков веры, чье мужество и чей ум воспламеняли народы. Адъютант Кальвина и Теодора де Беза был полной противоположностью сыну меховщика. Он воплощал в себе то живое дело, результаты которого сказались на Кристофе. Иным и нельзя было представить себе мощный источник энергии, питавший народные движения.

Лодочник, человек порывистый, загорелый от ветра, привычный к палящему зною и к холодным ночам, со сжатыми губами, с быстрыми движениями, с желтоватыми, хищными, ястребиными глазами, с черными курчавыми волосами, был одним из тех авантюристов, которые ради успеха дела жертвуют всем, подобно игроку, рискующему своим состоянием. Весь облик его говорил о неистовых страстях, о смелости, которая ни перед чем не отступает. Его лицо и тело одинаково умели и говорить и хранить молчание. В чертах его было больше отваги, чем благородства. Его вздернутый тонкий нос свидетельствовал о его решимости. Он был проворен и ловок. Его легко можно было принять за вождя какой-нибудь партии. Если бы не существовало Реформации, из него наверное вышел бы Пизарро, Эрнандо Кортес или Морган Истребитель — словом, человек неудержимых дерзаний.

Незнакомец, который сидел на скамейке, завернувшись в плащ с капюшоном, принадлежал, по-видимому, к самому высшему сословию. Тонкое белье, весь покрой его платья, материя, из которой оно было сшито, аромат духов, фасон и кожа перчаток — все это обличало в нем придворного, точно так же как взгляд и вся его гордая и спокойная осанка выдавали в нем человека военного. От вида его вам сначала становилось не по себе, а потом вы проникались к нему уважением. Человека, который умеет уважать себя сам, уважают и другие. Он был небольшого роста и горбат, но обхождение его сразу заставляло забыть и то и другое. Стоило только сломать лед молчания, как он становился веселым и решительным и в манерах его появлялась необыкновенная живость, которая очень располагала к себе. У него были голубые глаза, нос с горбинкой, общий всем представителям Наваррского дома, и тот ясно выраженный испанский тип,

черты которого стали потом столь характерными в лицах королей из династии Бурбонов. После нескольких незначительных слов, которыми они обменялись, разговор их приобрел большой интерес.

— Итак,— сказал Шодье, едва только Лекáмю кончил говорить,— лодочник — это Ла Реноди, а это монсеньер принц Конде,— добавил он, указывая на горбуна.

Словом, эти четыре человека представляли собой веру народа, дар убеждения, силу солдата и королевскую власть, укрывавшуюся в тени.

— Сейчас ты услышишь, чего мы от тебя хотим,— сказал посланец Кальвина после паузы, которая привела в удивление молодого Лекамю.— Чтобы ты ни в чем не ошибся, нам придется посвятить тебя в самые сокровенные тайны Реформации.

Когда он замолчал, чтобы выслушать, что по этому поводу скажет принц, Конде и Ла Реноди знаками попросили его продолжать. Подобно всем высокопоставленным лицам, которые, принимая участие в заговоре, выступают, как правило, только в решительную минуту, принц предпочитал молчать, и причиною его молчания была отнюдь не трусость: в это время он был душою заговора, не отступал ни перед какими опасностями и ежечасно рисковал жизнью. Однако на этот раз какое-то чувство собственного величия и превосходства заставило его поручить все объяснения проповеднику, и он только внимательно разглядывал новичка, которого им предстояло использовать в своих целях.

— Дитя мое,— начал Шодье в манере, характерной для гугенотов,— мы готовим тебя к первой битве с римской блудницей. Через несколько дней или погибнут Гизы, или наших воинов казнят на эшафоте. Дело идет к тому, что скоро король и обе королевы окажутся в нашей власти. В эти дни во Франции люди нашей веры впервые берутся за оружие, и знай, что Франция не сложит его до полной победы: пойми, что здесь речь идет не о государстве, а о целой нации. Большинство французской знати видит, к чему стремятся кардинал Лотарингский и брат его герцог. Под предлогом защиты католицизма Лотарингский дом хочет добиться французской короны, считая, что она принадлежит ему по праву. Дом этот опирается на церковь и в ее лице имеет не-

обычайно могущественного союзника: монахи стали его опорой, его приспешниками, его шпионами. Лотарингская династия хочет уверить всех, что она опекает трон, а на самом деле она стремится его захватить; покровительствуя дому Валуа, она хочет стереть этот дом с лица земли. Мы решили взяться за оружие, потому что дело идет одновременно и о свободе народа и об интересах знати, которая также находится под угрозой. Давайте уничтожим сразу этих крамольников, столь же отвратительных, как и бургиньоны, которые некогда предали Францию огню и мечу. Тогда нужен был Людовик Одиннадцатый, чтобы положить конец посягательствам бургиньонов, ну, а в наши дни принц Конде сумеет остановить Лотарингцев. Это никак не гражданская война, это — единоборство между Гизами и Реформацией, борьба не на жизнь, а на смерть: или погибнут они, или мы сложим наши головы.

— Хорошо сказано! — воскликнул принц.

— При таком положении, Кристоф,— добавил Ла Реноди,— мы не хотим пренебрегать ничем, что могло бы увеличить нашу партию, ибо реформаты — это партия людей, чьи интересы ущемлены, это дворяне, принесенные в жертву Лотарингцам, это старые полководцы, которых сейчас унижают в Фонтенбло: кардинал изгнал их оттуда и велел поставить виселицы, чтобы вешать тех, кто просит у короля денег за смотры и свое невыплаченное жалованье.

— Вот, дитя мое,— снова заговорил Шодье, заметив на лице Кристофа выражение ужаса,— вот что заставляет нас добиваться победы с помощью оружия, вместо того, чтобы убеждать людей идти на муки. Королеве в наших планах тоже отведено место, и не потому, что она сама хочет отказаться от своих прав. Нет, она далека от этой мысли, но ей все равно придется это сделать, если мы победим. Как бы там ни было, королева Екатерина, униженная и приведенная в отчаяние тем, что власть, которую она после смерти короля мечтала захватить в свои руки, перешла вместо этого в руки Гизов, напуганная растущим влиянием юной Марии, племянницы Лотарингцев и их союзницы, она, по всей вероятности, согласится поддержать тех принцев и вельмож, которые готовы выступить, чтобы освободить ее. В настоящее время, несмотря на то, что она делает все, чтобы ее считали

сторонницей Гизов, она в действительности их ненавидит, она хочет их гибели и готова для этого обратить нас против них. Но монсеньер сам сумеет обратить ее против всех. Королева-мать согласится с нашими планами. На нашей стороне будет коннетабль: монсеньер только что виделся с ним в Шантильи, но коннетабль ничего не предпримет без приказа своих повелителей. Он приходится дядей монсеньеру и ни за что не оставит его без помощи в тяжелую минуту, а ведь наш великодушный принц без колебаний пойдет сам на любой риск, чтобы заставить Анна де Монморанси принять решение. Все уже готово, и когда мы стали думать о том, кого послать, чтобы сообщить королеве Екатерине условия нашего союза с ней, проекты указов и создания нового правительства, наш выбор пал на тебя. Двор сейчас в Блуа. Там немало наших; но все это наши будущие вожди, и точно так же, как монсеньер,— сказал он, кивая на принца,— они должны быть вне всякого подозрения; ради них все мы должны пожертвовать собой. За королевой-матерью и за нашими друзьями так тщательно и неотступно следят, что мы лишены возможности воспользоваться посредничеством человека, сколько-нибудь известного или занимающего важную должность: он сразу же возбудит подозрения, и ему не дадут увидаться с Екатериной. Нам надо, чтобы господь послал нам пастуха Давида с его пращой, дабы тот поразил Голиафа — де Гиза. Отец твой, на свое несчастье, правоверный католик, является меховщиком обеих королев и постоянно выполняет их заказы. Добейся же, чтобы он послал тебя ко двору. Ты ни в ком не вызовешь подозрения и ничем не скомпрометируешь королеву. Все наши вожди могут заплатить головой, если какое-нибудь безрассудство даст повод считать, что королева в сговоре с ними. Если попадется кто-нибудь из людей знатных, это будет поводом для тревоги, в то время как человек незначительный, вроде тебя, никем не будет замечен. Берегись! У Гизов столько шпионов, что лишь на середине реки можно говорить, не оглядываясь. Так вот, сын мой, ты, как верный страж, должен умереть на своем посту. Помни это! Если тебя схватят, мы все отречемся от тебя; если это понадобится, мы оклевещем тебя и смешаем с грязью. В случае нужды мы скажем,

что ты подослан Гизами и они заставили тебя играть эту роль, дабы нас погубить. Словом, знай, ты должен пожертвовать всем.

— Если ты погибнешь,— сказал принц Конде,— клянусь тебе честью дворянина, твоя семья станет для Наваррского дома священной. Я буду носить ее имя в своем сердце и сделаю для нее все, что смогу.

— С меня довольно этих слов,— ответил Кристоф, которому не пришло даже в голову, что этот мятежник — гасконец.— Мы живем в такое время, когда каждый, будь он принц или горожанин, обязан выполнять свой долг.

— Вот истинный гугенот. Если бы все наши люди были такими,— сказал Ла Реноди, кладя руку на плечо Кристофу,— победа была бы за нами.

— Послушай, юноша,— добавил принц,— я хочу, чтобы ты знал, что если Шодье проповедует, если дворянин вооружается, то принц дает бой. Поэтому в этом горячем деле все доли равны.

— Вот что,— сказал Ла Реноди,— бумаги я передам тебе только в Божанси — тебе нельзя рисковать ими во время твоего длинного пути. Ты отыщешь меня в порту. У меня будет другой вид, другой голос, другая одежда, и узнать меня будет нельзя. Но я спрошу тебя: «Ты орлеанец?» — а ты мне ответишь: «К вашим услугам». А как надо ехать, я тебе сейчас расскажу. Лошадь ты найдешь в таверне «Расписная кружка», неподалеку от Сент-Жермен-Лосеруа. Ты спросишь там Жана Бретонца, он сведет тебя в конюшню и даст тебе одну из моих лошадей, а та свободно пробежит за восемь часов тридцать лье. Выезжай через ворота Бюсси, у Бретонца есть мой пропуск, бери его — и в путь. Все города тебе следует объезжать. Ранним утром ты будешь в Орлеане.

— А лошадь?— спросил молодой Лекамю.

— Она не выйдет из строя раньше времени. Оставь ее при входе в предместье Баннье. Городские ворота хорошо охраняются, и не следует возбуждать подозрений. Теперь, друг, все будет зависеть от того, как ты справишься со своей задачей. Придумай какой-нибудь предлог, чтобы зайти в третий дом слева. Это дом некоего Турильона, перчаточника. Постучи три раза в дверь

и крикни: «Служу герцогам Гизам!» Хозяин дома считается ярым сторонником Гизов, и только мы вчетвером знаем, что он наш. Он даст тебе надежного лодочника, тоже сторонника Гизов, разумеется, такого же покроя, как и он сам. Немедленно же отправляйся в порт и садись там в зеленую лодку с белой каймой. Завтра к полудню ты пристанешь в Божанси. Там я велю приготовить для тебя другую лодку; на ней ты сумеешь в безопасности добраться до Блуа. Наши враги Гизы не обращают внимания на берега Луары и охраняют только порты. Таким образом, ты сможешь увидеться с королевой в тот же день или самое позднее на следующее утро.

— Ваши слова начертаны у меня здесь,— сказал Кристоф, притрагиваясь ко лбу.

Охваченный порывом религиозного чувства, Шодье обнял своего питомца. Он гордился им.

— Да хранит тебя господь,— сказал он, показывая на закат, который обливал багрянцем крытые гонтом дома и пронизывал своими лучами целую чащу балок, среди которых клокотала вода.

— Ты настоящий сын своего народа,— сказал Ла Реноди Кристофу, пожимая ему руку.

— Мы еще увидимся, *сударь*,— заверил его принц, необычайно милостиво, чуть ли не дружески прощаясь с ним.

Одним взмахом весла Ла Реноди доставил юного заговорщика на ступени лестницы, которая вела в дом, и лодка тотчас же исчезла под аркадами Моста Менял.

Кристоф стал трясти железную калитку, которая вела от реки на лестницу, и крикнул; г-жа Лекамю услыхала его, открыла одну из ставней задней комнаты и спросила, как он сюда попал. Кристоф ответил, что на реке холодно и надо сначала открыть ему дверь, а потом уже спрашивать.

— Хозяин,— сказала служанка-бургундка,— вы ушли через улицу, а возвращаетесь по воде? Подумайте, как батюшка рассердится.

Кристоф, все еще под впечатлением встречи с принцем Конде, Ла Реноди и Шодье и еще более потрясенный известием о гражданской войне, которая вот-вот должна была разразиться, ничего не ответил. Он стремитель-

но поднялся из кухни в заднюю комнату: увидав его, старуха мать, ярая католичка, была не в силах сдержать свой гнев.

— Я готова поклясться, что те трое, с которыми ты говорил там,— это реформаты. Не так ли? — спросила она.

— Замолчи, жена,— предусмотрительно одернул ее седовласый старец, листавший в это время толстую книгу.— А вы, бездельники,— обратился он к трем юношам, которые давно уже кончили ужинать,— чего вы спать не ложитесь? Уже восемь часов, вам ведь утром в пять часов вставать. Не забудьте, надо отнести шапку и мантию президенту де Ту. Идите туда все втроем да прихватите с собой палки и рапиры. По крайней мере, если вам повстречаются какие-нибудь шалопаи, вроде вас самих, вы сумеете с ними справиться.

— А надо ли брать с собой горностаевый казакин, что молодая королева себе заказала, тот, который мы должны отправить во дворец Суассон, или будет нарочный в Блуа и к королеве-матери? — спросил один из приказчиков.

— Нет,— ответил синдик,—счет королевы Екатерины достиг уже трех тысяч экю; пора получить по нему деньги, я думаю для этого сам поехать в Блуа.

— Отец, я не допущу, чтобы вы в ваши годы да еще в такое время подвергались опасности на дорогах. Мне уже двадцать два года, и вы можете послать туда меня,— сказал Кристоф, украдкой поглядывая на сундук, где был спрятан казакин.

— Вы что, прилипли, что ли, к скамейке? — закричал старик на своих подмастерьев, которые сию же минуту схватили свои рапиры, плащи и меха г-на де Ту.

На другой день парижский парламент принимал во дворце своего нового президента — этому знаменитому человеку, который подписал смертный приговор советнику дю Буру, суждено было еще в том же году судить принца Конде.

— Послушай, Бургундка,— сказал старик,— сходика ты к куму Лалльe да пригласи его с нами поужинать. Пусть он только вина прихватит, а еда вся наша. Да скажи ему, чтобы непременно дочку с собой приводил.

III

ГОРОЖАНЕ

Синдик цеха меховщиков был благообразным стариком лет шестидесяти с седыми волосами и широким открытым лбом. Будучи в течение сорока лет поставщиком двора, он пережил перевороты, происходившие в царствование Франциска I, и удержался на своем месте, несмотря на все женские распри вокруг трона. Он был свидетелем появления при дворе юной Екатерины Медичи, которой тогда еще не было и пятнадцати лет; он видел, сколько унижений ей пришлось вынести при герцогине Этампской, любовнице ее свекра, видел, как ее унижала герцогиня де Валантинуа, любовница ее мужа, покойного короля. Но нашему меховщику удалось пережить все эти разительные перемены, не в пример многим другим поставщикам двора, благополучию которых приходил конец, когда та или иная любовница короля впадала в немилость. Он был столь же благоразумен, сколь и богат. Вел он себя до крайности скромно. Гордыня ни разу не заманила его в свои сети. Этот купец при дворе в присутствии принцесс, королев и королевских любовниц умел прикинуться тихим, незаметным, смиренным и уступчивым, и не что иное, как это добродушие и скромность, помогло ему сохранить свою торговлю.

Таким дипломатом мог быть только человек очень хитрый и проницательный. Но чем больше смирения он проявлял, общаясь с людьми посторонними, тем более деспотичным он становился в стенах собственного дома: там все были в его власти. В своей отрасли торговли он занимал первое место, и поэтому его собратья относились к нему с большим почтением. К тому же он охотно оказывал людям разные услуги, и среди всего, что он для них делал, несомненно, самой значительной была та помощь, которую он в течение долгого времени оказывал знаменитому хирургу XVI века Амбруазу Паре; тот получил благодаря ему возможность целиком отдаться своей науке. Когда возникали какие-либо недоразумения между купцами, Лекамю всегда выступал в роли примирителя. Таким образом, всеобщее уважение закрепило его позиции среди равных ему, в то время как своей показною кротостью он снискал себе расположение двора.

После того, как в результате этой хитрой и ловкой политики он сумел вырасти в глазах всех своих собратьев по ремеслу, он стал делать все для того, чтобы сохранить репутацию благочестивого человека в глазах кюре церкви Сен-Пьер-о-Беф, который считал его одним из самых ревностных католиков в Париже. Поэтому, как только были созваны Генеральные штаты, под влиянием парижских кюре, которое в те времена было огромно, он был единогласно избран туда в качестве представителя третьего сословия.

Этот старик был одним из тех тайных и закоренелых честолюбцев, которые добрых пятьдесят лет готовы унижаться перед всеми и каждым, вымогая себе должность за должностью, причем никто даже не подозревает, как эта должность им достается. И что же, на старости лет они достигают таких высот, о которых в молодые годы даже наиболее дерзновенные из них не смели мечтать: так далека была цель, столько раз обрывы преграждали путь к ней и так легко было сорваться в пропасть! Лекамю, который втайне сумел скопить огромное состояние, не хотел ничем рисковать и готовил блестящее будущее для своего сына. Вместо честолюбия личного, которое жертвует будущим во имя настоящего, у него было честолюбие семейное, чувство, уже утраченное в наши дни и сведенное на нет нашим законодательством о правах наследования. Лекамю уже представлял своего внука первым президентом парижского парламента и отождествлял себя с ним.

Кристоф, крестник знаменитого историка де Ту, получил прекрасное образование; но образование это породило в нем дух сомнения и страсть к исследованию, которыми были заражены тогда студенты и все университетские факультеты. Кристоф готовился стать адвокатом — это была первая ступень на судейском поприще. Старый меховщик делал вид, что никак не может решить, какая карьера больше всего подходит для его сына; иногда казалось, что он хочет сделать из него адвоката, в действительности же он домогался для него места советника парламента. Этот купец хотел, чтобы род Лекамю сравнялся с теми древними и знаменитыми парижскими купеческими родами, из которых вышли Паскье, Моле, Мирон, Сегье, Ламуаньон, дю Тилле, Лекуанье, Леска-

лопье, Гуа, Арно, знаменитые эшевены и купеческие старшины — защитники трона. Поэтому, для того чтобы Кристоф мог оказаться достойным той должности, которую он ему прочил, старик собирался женить его на дочери самого богатого ювелира столицы, своего кузена Лаллье, племяннику которого выпало на долю передавать Генриху IV ключи Парижа. Но этот купец лелеял и еще один тайный план: половину своего состояния и половину состояния ювелира ему хотелось употребить на приобретение большого дворянского поместья, что в ту пору было делом трудным и требовавшим немало времени. Однако этот тонкий политик слишком хорошо знал свое время и не мог не понимать, какие огромные перемены назревают вокруг: он ясно предвидел, что государство разделяется на два лагеря, и последующие события показали, что он был прав. Бессмысленные казни на площади Эстрапад, казнь портного Генриха II, совсем недавняя казнь советника Анна дю Бура, сговор фаворитки с реформатами в царствование Франциска I и недавний сговор с ними высшей знати — все это были зловещие признаки. Меховщик решил, что бы ни случилось, оставаться католиком, роялистом и сторонником парламента, но in petto [1] он хотел, чтобы его сын принадлежал к Реформации. Он считал себя достаточно богатым, чтобы выкупить Кристофа, если тот слишком себя скомпрометирует, и надеялся, что, если Франция обратится в кальвинизм и Парижу будут грозить уличные бои, его сын сможет стать спасителем всей семьи. А память о таких боях, возобновлявшихся и в последующие четыре царствования, была жива среди горожан. Но всеми этими мыслями старый меховщик, точно так же как и Людовик XI, не делился даже с самим собою: он был настолько хитер, что умел обманывать и жену и сына. Этот властный человек давно уже возглавлял самый богатый, самый населенный квартал Парижа, его центр,— он именовался квартальным старшиной, а это была должность, которая через пятнадцать лет приобрела завидную популярность. Одетый в суконное платье, подобно всем благоразумным купцам своего времени, которые повиновались законам, направленным против роскоши, сьер Лекамю (а он носил это звание, которым Карл V удостоил

[1] В глубине души *(итал.)*.

парижских горожан, разрешив им покупать земельные угодья, а их женам называться звучным именем — демуазелей) не носил ни золотой цепи, ни шелков, а только добротную куртку с большими пуговицами из черненого серебра, суконные штаны и кожаные ботинки с пряжками. Из-под его полурасстегнутой куртки виднелась тонкая полотняная навыпуск рубаха, собранная в буфы, как этого требовала тогдашняя мода. Хотя крупное и красивое лицо старика было хорошо освещено лампой, Кристоф никак не мог догадаться, какие мысли скрывались под его голландским румянцем. Но он все же понимал, на что рассчитывал старый Лекамю, поощряя его чувства к Бабетте Лалльe. Поэтому, как человек, уже сделавший выбор, Кристоф, услыхав, что отец пригласил его невесту, только усмехнулся, и в усмешке этой была горечь.

Когда Бургундка ушла вслед за подмастерьями, старик Лекамю поглядел на жену. В этом взгляде можно было прочесть весь его характер, суровый и непоколебимый.

— Тебе, должно быть, хочется с твоим проклятым языком, чтобы нашего сына повесили! — сказал он сурово.

— Да, по мне лучше было бы, чтобы его осудили, но чтобы он сподобился спасения, чем видеть его живым, но гугенотом,— мрачно ответила она.— Подумать только, что ребенок, который девять месяцев пробыл в моей утробе, изменил католической вере и спутался с этой нечистью, что он на веки вечные пойдет в ад!

Она принялась плакать.

— Глупая тварь! — возмутился меховщик.— Пусть он лучше все-таки остается в живых, даже если его и обратят в другую веру! А ты вот при подмастерьях сказала такие слова, за которые люди могут сжечь наш дом и нас всех поджарить живыми, как клопов в тюфяке.

Жена его перекрестилась, села и замолчала.

— Ну, а ты,— сказал старик, бросив на сына укоризненный взгляд,— расскажи-ка мне, что ты делал там на реке вместе с... Подойди-ка поближе, и я тебе кое-что скажу,— добавил он, обняв юношу и притянув его к себе,—...с принцем Конде,— прошептал он на ухо Кристофу, так что тот весь задрожал.— Или ты думаешь, что

придворный меховщик не знает всех тайн двора? Что же, я, по-твоему, не вижу, что делается вокруг? Главнокомандующий отдал приказ стянуть все войска в Амбуаз. Увести армию из Парижа и отправить ее в Амбуаз, в то время как двор находится в Блуа, заставить войска идти через Шартр и Вандом вместо того, чтобы вести их по Орлеанской дороге! Разве цель этого не ясна? Все это неспроста. Если королевам нужны казакины, они за ними пришлют. Очень может быть, что принц Конде решил убить обоих Гизов, а те, может быть, в свою очередь, хотят отделаться от него. Защищаясь, принц прибегнет к услугам гугенотов. А что делать во всей этой суматохе сыну меховщика? Когда ты женишься, когда ты станешь адвокатом в парламенте, ты будешь таким же благоразумным, как твой отец. Прежде чем обратиться в новую веру, сын меховщика должен подождать, пока это сделают все остальные. Я нисколько не осуждаю реформатов, какое мне до них дело? Но двор состоит из католиков, обе королевы — католички, в парламенте одни католики. И мы, поставщики, тоже должны быть католиками. Ты никуда отсюда не уйдешь, Кристоф, или я отправлю тебя к президенту де Ту, твоему крестному, и тот будет стеречь тебя по ночам, а днем заставит чернить пером бумагу вместо того, чтобы эти проклятые женевцы чернили тебе душу на своей кухне.

— Вот что, отец,— сказал Кристоф, облокачиваясь на спинку кресла, в котором сидел старик,— пошлите меня в Блуа отвезти королеве-матери ее казакин и получить с нее деньги по счету. Иначе я погиб! А вы ведь меня любите.

— Погиб? — повторил старик, не выказывая, однако, ни малейшего изумления.— Если ты останешься здесь, ты не погибнешь. Я всегда могу тебя отыскать.

— Меня убьют.

— Убьют? За что?

— Самые ярые из гугенотов остановили свой выбор на мне: я должен кое-что для них сделать, и если я не выполню того, что только что им обещал, они убьют меня среди бела дня на улице, как убили Минара. Но если вы отправите меня ко двору по своим делам, то, может быть, я сумею оправдаться перед обеими сторонами. Одно из двух: или я добьюсь успеха, не рискуя при этом ничем,

и таким образом обеспечу себе достойное место в их партии, или, если дело окажется слишком опасным, я ограничусь только тем, что выполню ваше поручение.

Старик вскочил с кресла, как будто оно было из железа, которое раскалили.

— Жена,— сказал он,— оставь нас одних и покарауль, чтобы никто сюда не зашел, нам надо поговорить.

Когда демуазель Лекамю вышла, меховщик взял сына за пуговицу и увел его в дальний угол комнаты, выходивший на выступ моста.

— Кристоф,— сказал он ему на ухо, таким же шепотом, каким он произносил имя принца Конде,— будь гугенотом, если ты, на горе себе, им стал, но только будь им в душе, ибо этого требует благоразумие, и не давай повод соседям показывать на тебя пальцами. Из твоих слов я вижу, как доверяют тебе твои вожди. Что же ты собираешься делать при дворе?

— Трудно сказать,— ответил Кристоф,— я сам еще хорошенько не знаю.

— Гм! Гм! — пробурчал старик, глядя на сына.— Этот молодчик хочет потешиться над отцом, он далеко пойдет.

— Так вот,— заговорил он снова, совсем тихо,— ты едешь ко двору вовсе не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение обоим Гизам или королю, нашему господину, или молодой королеве Марии. Все они верные католики. Но я готов поклясться, что у Итальянки есть зуб против Шотландки и против Лотарингцев, я ведь ее знаю: ей чертовски хотелось взяться за все самой! Покойный король так ее боялся, что вел себя точь-в-точь, как ювелир: он резал один алмаз другим, затмил одну женщину другой. Вот отчего королева Екатерина так возненавидела бедную герцогиню де Валантинуа, у которой она отобрала ее чудесный замок в Шенонсо. Если бы не господин коннетабль, то герцогиню, во всяком случае, уже придушили бы... Берегись, сын мой! Не попадайся в руки этой итальянки с ледяным сердцем; от таких женщин надо держаться подальше! Да, дело, которое тебе поручили при дворе, принесет тебе немало печали!—вскричал отец, видя, что Кристоф снова собирается ему ответить.— Дитя мое, я подумал о том, кем ты будешь, и даже если ты окажешь услугу королеве Ека-

терине, это не помешает моим планам осуществиться; только, бога ради, прошу тебя, не рискуй головой! А герцоги Гизы преспокойно ее отрежут, так же вот, как наша Бургундка режет репу, ибо люди, которые воспользовались тобою, отрекутся от тебя.

— Я это знаю, отец,— сказал Кристоф.

— Значит, у тебя хватит силы? Ты знаешь, и ты все-таки рискуешь?

— Да, отец.

— Провалиться бы им всем!—вскричал старик, крепко обняв юношу.— Мы ведь понимаем друг друга: ты достойный сын своего отца. Дитя мое, ты прославишь нашу семью, и я вижу, что твоему старику отцу можно говорить с тобой по душам. Только не будь гугенотом больше, чем сам Колиньи! Не обнажай шпаги: тебе предстоит взяться за перо; готовься лучше к своей будущей роли судейского. Хорошо, ты мне все расскажешь потом, когда дело будет сделано. Если через четыре дня после твоего прибытия в Блуа ты ничего о себе не сообщишь, это будет означать, что ты в опасности. Старик отправится на выручку своего дитяти. Уж если я тридцать два года продавал меха, так я, верно, знаю и подкладку придворных платьев. Я сумею добиться, чтобы передо мной распахнулись все двери.

Услыхав эти слова отца, Кристоф изумился. Но вместе с тем он заподозрил, что старик устраивает ему какую-то ловушку, и замолчал.

— Ну, так готовьте счет, пишите письмо королеве; я хочу ехать сию же минуту, иначе мне грозит большая беда.

— Ехать сейчас? А как?

— Я куплю себе лошадь... Пишите же, ради бога!

— Скорее, мать! Дай денег твоему сыну! — крикнул меховщик жене.

Та вошла в комнату, поспешно открыла сундук и передала Кристофу кошелек с деньгами. Тронутый до глубины души, юноша обнял мать.

— Счет уже давно готов,— сказал старый меховщик,— вот он. Сейчас я напишу письмо.

Кристоф взял счет и положил его в карман.

— Ну, а теперь ты, во всяком случае, поужинаешь с нами,— сказал старик.— Обстоятельства настолько серь-

езны, что тебе и дочери Лалльe надо обменяться кольцами.

— Ну, хорошо, я сейчас схожу за ней! — воскликнул Кристоф.

Юношу смущала нерешительность отца, он еще недостаточно знал его характер; он поднялся к себе в комнату, оделся, взял свою дорожную сумку, потом неслышно спустился вниз и положил ее под прилавок вместе с рапирой и с плащом.

— Черт возьми, что это ты делаешь? — спросил отец, услыхав его шаги.

Кристоф расцеловал старика в обе щеки.

— Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что я готовлюсь к отъезду: я все сложил под прилавком,— ответил он ему шепотом.

— Вот письмо,— сказал отец.

Кристоф взял его и вышел из дома, как будто для того, чтобы сходить за своей молоденькой соседкой.

Через несколько минут после его ухода явился старик Лалльe вместе с дочерью и служанкой, которая несла три бутылки старого вина.

— Ну, а где же Кристоф? — спросили старики Лекамю.

— Кристоф? — воскликнула Бабетта.— Да мы его и не видали.

— Нечего сказать, хорош сынок! Он меня водит за нос так, как будто мне двадцать лет. Что же теперь делать, кум? Мы живем в такое время, когда дети умнее своих отцов.

— Да, но ведь наш квартал давно уже считает его еретиком,— сказал Лалльe.

— А вы его защищайте, кум,— ответил Лекамю старику ювелиру.— Конечно, молодежь легкомысленна, она гоняется за всем новым; однако с Бабеттой он успокоится. Она ведь для него позанятнее, чем Кальвин.

Бабетта улыбнулась: она любила Кристофа и принимала к сердцу все, что говорилось против него. Это была девушка из старинного купеческого рода, воспитанная под неусыпным надзором матери; манеры ее были так же мягки и гармоничны, как и ее лицо; одета она была в шерстяное платье скромного серого цвета; ее простенькая косынка резко выделялась на этом фоне своей бели-

зной; на голове у нее была коричневая бархатная шапочка, очень похожая на детский капор, но отделанный рюшем и бахромой песочного цвета. Несмотря на то, что она была блондинкой с бледным, как у всех блондинок, лицом, казалось, что в ней есть какая-то хитрость и тонкое лукавство, которые она, однако, старалась спрятать под обличьем благовоспитанной девушки. Пока обе служанки бегали туда и сюда, накрывая стол скатертью и ставя на него кувшины, большие оловянные блюда и приборы, меховщик и его жена стояли возле высокого камина с ламбрекенами из красной саржи, окаймленными черною бахромою, и говорили о всяких пустяках. Напрасно Бабетта старалась узнать, куда скрылся Кристоф: отец и мать нашего юного гугенота давали на все уклончивые ответы. Но когда обе семьи сели за стол и служанки вышли на кухню, Лекамю сказал своей будущей невестке:

— Кристоф уехал ко двору.

— В Блуа! Отправился в такой длинный путь и даже не попрощался со мной! — вскричала девушка.

— Медлить было нельзя,— возразила старуха мать.

— Куманек,— сказал меховщик, продолжая прерванный разговор,— заваруха во Франции начинается, реформаты поднимают голову.

— Победы они могут добиться только кровопролитными войнами, и тогда всей нашей торговле придется плохо,— отозвался Лалье, который на все смотрел только с точки зрения интересов торгового дела.

— Мой отец, на глазах которого кончились войны бургиньонов и арманьяков, говорил мне, что семье нашей было бы не спастись, если бы один из его дедов, отец его матери, не принадлежал к роду Гуа, тех знаменитых мясников парижского рынка, которые держали сторону бургиньонов, в то время как другой — Лекамю — принадлежал к партии арманьяков; на людях они готовы были перегрызть друг другу горло, но у себя дома они отлично находили общий язык. Поэтому будем пытаться спасти Кристофа; может быть, и он когда-нибудь спасет нас.

— Я вижу, что вы человек дошлый, кум,— сказал ювелир.

— Нет,— ответил Лекамю.— Но купцам надо думать о себе. И народ и дворяне хотят им зла. Парижские куп-

цы внушают страх всему миру, кроме самого короля, который знает, что они ему верны.

— Вы человек ученый и столько всего видели,— робко попросила Бабетта,— объясните же мне, чего хотят эти реформаты?

— Да, скажите, кум! — воскликнул ювелир.— Я знал портного покойного короля и был уверен, что это человек без всяких задних мыслей и что он не блещет никакими особенными талантами. Он ведь вроде нас был и такой жизни, что чуть ли не без исповеди мог к причастию идти. И что же, оказывается, он был одним из заправил этой новой веры! Подумать только, голову его оценили в несколько сот тысяч экю!

— Должно быть, он и вправду какие-то тайны знал, если и сам король и герцогиня Валантинуа присутствовали, когда его пытали.

— И страшные тайны! — сказал меховщик.— Если Реформация победит, друзья мои,— добавил он, понизив голос,— церковные земли неминуемо отойдут к торговцам. После того, как будут уничтожены все привилегии церкви, реформаты собираются потребовать, чтобы дворян уравняли в податях с купцами и чтобы король правил один, если только вообще они оставят в стране короля.

— Как, свергнуть короля! — вскричал Лаллье.

— Эх, кум,— сказал Лекамю,— в Нидерландах купцы сами управляют страной при помощи эшевенов, которые выбирают из своего числа временного правителя.

— Видит господь, кум, всего этого можно отлично добиться и оставаясь католиками! — вскричал ювелир.

— Мы с вами слишком уже стары, чтобы видеть победу парижских горожан, но знайте, кум: наступит время, когда они победят. Ах, как надо, чтобы мы понадобились королю, когда трон его будет в опасности, мы ведь до сих пор всегда умели выгодно продавать свою помощь! Последний раз все купцы получили дворянство, им было позволено покупать дворянские поместья и носить дворянские имена, не испрашивая на это всякий раз особого разрешения короля. А скажите, вы или я, внук самого Гуа по женской линии, разве мы не достойны того, чтобы стать вельможами?

Эти слова настолько напугали ювелира и обеих женщин, что в комнате воцарилось глубокое молчание. В

крови Лекамю начинала уже бродить закваска 1789 года; он был еще не настолько стар, чтобы не предвидеть, как далеко пойдет буржуазия в Лиге.

— Ну, а на торговле вся эта перепалка не отразилась? — спросил Лаллье у жены Лекамю.

— Ей это всегда вредит,— ответила та.

— Вот поэтому-то я и хочу сделать своего сына адвокатом,— сказал Лекамю,— чего другого, а кляуз на наш век хватит.

После этого разговор перешел на самые заурядные предметы, к большому удовольствию ювелира, который недолюбливал ни политических смут, ни полета мысли.

IV
ЗАМОК БЛУА

Берега Луары от Блуа до Анже были излюбленным местопребыванием двух последних ветвей королевской династии, которые царствовали перед Бурбонами. Этот чудесный край действительно заслужил ту честь, которую ему оказали короли. Вот что писал о нем один из наших изящнейших писателей:

«Во Франции есть провинция, которой никогда нельзя налюбоваться. Благоуханная, как Италия, цветущая, как берега Гвадалквивира, полная своего особого обаяния, она всегда была и остается подлинно французской, в отличие от наших северных провинций, которые выродились в силу общения с немцами, от нашего Юга, где исконное население смешивалось с маврами, с испанцами и с кем угодно. Эта чистая, целомудренная, храбрая и верная своим королям провинция — Турень! Это живая история Франции! Овернь — это Овернь, Лангедок — не более чем Лангедок, но Турень — это Франция, и наша самая национальная река — это Луара, которая орошает Турень. Вот чем объясняется изобилие исторических памятников в различных департаментах, названия которых идут от Луары. С каждым шагом в этой стране очарования открываются все новые картины, обрамленные контурами реки или спокойным овалом пруда, глубокие воды которого отражают замок, его башни, леса и бьющие из-под земли ключи. И нет ни-

чего удивительного, что там, где пребывали короли, где столько лет находился двор, собирались все самые богатые, самые знатные и самые заслуженные люди и что они воздвигли там дворцы, достойные их величия».

Однако непонятно, почему короли не прислушались к мнению, которое высказал однажды Людовик XI,— переместить столицу страны в Тур. Там без больших затрат Луару можно было бы сделать доступной для торговых судов и для небольших военных кораблей. Там резиденция правительства была бы защищена от вторжения врага. Северные крепости не потребовали бы таких средств на свое оснащение — а ведь оно стоит не меньше, чем вся роскошь Версаля. Если бы Людовик XIV внял совету Вобана, который предлагал ему устроить резиденцию в Мон-Луи между Луарой и Шером, дело, может быть, даже обошлось бы без революции 1789 года. Эти живописные берега то там, то тут носят на себе отпечаток нежной заботы королей. Замки Шамбор, Блуа, Амбуаз, Шенонсо, Шомон, Плесси-Летур, как и замки, построенные любовницами наших королей, вельможами и финансистами в Вере, Азе-ле-Ридо, Юссе, Виландри, Валансе, Шантелу, Дюртале,— иные из них уже не существуют, но большинство уцелело,— все эти восхитительные памятники передают дух и очарование этой эпохи, столь плохо понятой сектой литературных медиевистов. Среди этих замков замок Блуа, где в те времена находился двор, носит наряду с другими следы блеска и великолепия Орлеанской династии и династии Валуа и в силу этого особенно любопытен для каждого историка, каждого археолога, каждого католика. В то время он был совершенно отрезан от мира. Город, окруженный крепкими стенами и башнями, расстилался у подножия крепости — а ведь этот замок являлся в одно и то же время и крепостью и загородною резиденцией. Над городом с его тесно прижатыми друг к другу синеватыми шиферными крышами, которые тянулись тогда, как и теперь, от самой Луары до вершины холма, над правым берегом реки находится треугольное плато. С запада его окаймляет ручей. Теперь ручей этот не имеет никакого значения, потому что русло его проходит под городом, но в XV веке, как утверждают историки, на этом месте находилась довольно значительная балка, от кото-

рой осталась теперь лощина с совершенно отвесными стенами, отделяющими предместье города от замка.

Вот на этом-то плато, открытом с севера и с юга, графы де Блуа и воздвигли в стиле архитектуры XII века замок, где находился двор знаменитых Тибо-Плута, Тибо-Старого и других. В эти феодальные времена, когда король был не более чем inter pares primus [1], как прекрасно выразился один из польских королей, из числа графов Шампани, Блуа, Анжу, рядовых нормандских баронов и бретонских герцогов вышла целая когорта государей — королей самых могущественных держав. Плантагенеты Анжуйские, Люзиньяны из Пуату, Роберты Нормандские благодаря своей отваге становились родоначальниками королевских династий, иногда же, подобно де Глэкену, простые рыцари отказывались от королевского пурпура и предпочитали ему меч коннетабля. Когда графство Блуа было присоединено к королевским владениям, Людовик XII, который облюбовал это место, может быть, для того, чтобы жить подальше от Плесси, связанного в его памяти с мрачным образом Людовика XI, построил корпус с окнами на восток и на запад, соединивший под углом замок графов Блуа с остатками старинных строений, от которых в наши дни уцелел только один огромный зал, где при Генрихе III собирались Генеральные штаты. Франциск I захотел довести до конца постройку этого замка, присоединив к нему еще два крыла; таким образом, весь квадрат был бы завершен. Но Шамбор отвлек этого короля от Блуа, и он ограничился тем, что воздвигнул там только корпус, который и явился самостоятельным замком как во время его царствования, так и при его внуках. Этот третий из замков, построенных Франциском I, гораздо обширнее, чем та часть Лувра, которая носит название Лувра Генриха II. Это один из самых причудливых образцов так называемой архитектуры Ренессанса. Поэтому в то время, когда существовала эта своеобразная архитектура и о средневековье никто не думал, в эпоху, когда литература не была так тесно связана с искусством, как в наши дни, Лафонтен сказал про замок Блуа на своем полном добродушия языке: «Когда я разглядываю это здание снаружи,

---

[1] Первый среди равных *(лат.)*.

мне больше всего по душе построенное Франциском I; множество чудесных маленьких галерей, маленьких балконов, мелких, разбросанных там и сям украшений, — а из всего этого вместе вырастает нечто величественное и радует глаз».

Итак, замок Блуа являл тогда собою сочетание трех разных стилей, трех эпох, трех царствований. И не существует, пожалуй, ни одной королевской резиденции, которую в этом отношении можно было бы сравнить с замком Блуа. Эта огромная постройка в пределах одной и той же ограды, одного и того же двора с большою точностью и полнотою воспроизводит ту картину нравов и всей жизни народов, которая воплощена в архитектуре. В дни, когда Кристоф направлялся к королевскому двору, та часть замка, которая сейчас занята четвертым дворцом, воздвигнутым там семьдесят лет спустя мятежником Гастоном, братом Людовика XIII, представляла собою целый ансамбль цветников и висячих садов, в живописном беспорядке переплетавшихся с зубчатыми выступами и недостроенными башнями замка Франциска I. Эти сады соединялись смело перекинутым мостом (нынешние старики в Блуа помнят еще этот мост, который снесли при них) с цветником, возвышавшимся по другую сторону замка и в силу самого рельефа местности оказавшимся на том же уровне. Дворяне — приближенные королевы Анны Бретонской или жившие в Бретани и являвшиеся, чтобы о чем-нибудь перед ней ходатайствовать, советоваться с ней и докладывать ей о событиях в Бретани, по обыкновению ожидали на этом пригорке, пока она встанет, выйдет на прогулку и даст им аудиенцию. Вот почему история назвала этот пригорок *Бретонским насестом*. В наши дни на этом месте разбит чей-то фруктовый сад, выходящий на площадь Иезуитов. Площадь эта тогда тоже была покрыта зеленью и составляла часть этого чудесного ансамбля с его верхними и нижними садами. И теперь еще на довольно значительном расстоянии от площади Иезуитов стоит павильон, построенный при Екатерине Медичи, где, если верить историкам Блуа, у нее были бани. Эта деталь позволяет восстановить до крайности неправильное расположение садов, которые то возвышались, то опускались в зависимости от уровня почвы. Вокруг замка она была особенно

неровной и этим делала его как бы крепостью, что, как мы в дальнейшем увидим, очень мешало герцогу Гизу. Замок соединялся с садом внешними и внутренними галереями, из которых главная по характеру украшавшего ее орнамента носила название галереи Оленей. Эта галерея заканчивалась великолепной лестницей, несомненно, повлиявшей на создание знаменитой двойной лестницы в Шамборе; лестница эта шла с этажа на этаж и вела во внутренние покои замка. Хотя Лафонтен и предпочитал замок Франциска I замку Людовика XII, настоящий художник, отдав должное великолепию дома, построенного королем-рыцарем, прельстится, может быть, все же и простодушным созданием короля-добряка. Легкость обеих лестниц, находящихся с каждой стороны замка Людовика XII, своеобразные изящные скульптуры — им тогда не было числа, но даже и те немногие, что остались, продолжают пленять антикваров — все, вплоть до почти монастырского расположения комнат, свидетельствует о крайней простоте нравов. По-видимому, двор тогда еще не существовал; он не был тем, чем стал впоследствии благодаря усилиям Франциска I и Екатерины Медичи, приведшим к гибели феодальных нравов. Когда восхищаешься этими галереями, капителями отдельных колонн, этими поразительными по своему изяществу статуэтками, нельзя отделаться от мысли, что Мишель Колом, этот великий скульптор, этот бретонский Микеланджело, сотворил все это, чтобы угодить своей королеве Анне, образ которой он увековечил на гробнице ее отца, последнего из герцогов Бретонских.

Что бы ни говорил Лафонтен, ни один дворец не может сравниться по грандиозности с роскошным зданием, построенным Франциском I. В силу какого-то непонятного недосмотра или, может быть, просто потому, что о них позабыли, апартаменты, которые занимали тогда Екатерина Медичи и ее сын Франциск II, и посейчас еще сохранили свое прежнее расположение. Поэтому историк может видеть обстановку, в которой развертывалась трагедия Реформации, одним из самых запутанных актов которой являлась двойная борьба Гизов и Бурбонов с Валуа.

Замок Франциска I своими огромными размерами совершенно подавляет незатейливое жилище Людови-

ка XII. С нижней стороны, то есть со стороны площади, носящей сейчас название площади Иезуитов, фасад чуть ли не вдвое выше, чем со стороны двора. Первый этаж здания, который составляли знаменитые галереи, находится на уровне третьего этажа, выходящего в сад. Таким образом, второй этаж, где жила королева Екатерина, там переходит в четвертый, а королевские покои занимают пятый этаж над нижними садами, которые в то время были отделены от фундамента глубокими рвами. Замок, огромный даже со стороны двора, кажется просто гигантским, если смотреть на него с нижней части площади, как смотрел Лафонтен, который признается, что не был ни во дворе, ни во внутренних покоях. Со стороны площади Иезуитов весь замок кажется меньше. Балконы, которые могут служить местом для прогулок, галереи великолепной работы, их лепные оконные амбразуры величиною с целый будуар, которые и действительно служили тогда будуарами, напоминают собою фантастические декорации наших современных опер, когда художник хочет изобразить какой-нибудь волшебный дворец. Но когда глядишь на это здание со двора, несмотря на то, что три верхних этажа, поднимающиеся над первым, достигают высоты Павильона часов в Тюильри, необычайное искусство этой архитектуры дает себя чувствовать, пленяя и поражая взгляд. Посреди главного здания, в котором размещался великолепный двор Екатерины и двор Марии Стюарт, воздвигнута шестиугольная башня с витою каменною лестницею в середине. Этот мавританский каприз, этот замысел гигантов, осуществленный карликами, придает всему фасаду какую-то сказочность. Лестница эта имеет форму спирали с четырехугольными клетками вдоль каждой из пяти стен башни и на известном расстоянии образует подобие балконов, окаймленных снаружи и внутри лепными арабесками. Это поразительное творение человеческих рук с его тончайшими, искусно выполненными деталями, с настоящими чудесами скульптуры, вдохнувшей в камни жизнь, можно сравнить разве только с богатой и диковинной резьбой из слоновой кости, которою славятся китайские или дьеппские мастера. Из камня здесь сплетаются кружева, цветы, фигуры людей и животных, число их с каждым шагом растет и растет, и в конце концов они же

венчают эту башню замко́м свода, где скульптор XVI века состязается с бесхитростными ваятелями, которые за пятьдесят лет до него украсили своими произведениями замо́к свода над обеими лестницами в замке Людовика XII. Но как бы мы ни были ослеплены, видя все это необычайное разнообразие форм, мы замечаем, что Франциску I не хватало денег для постройки замка Блуа, точно так же как Людовику XIV их не хватало для Версаля. То тут, то там мы видим вдруг какую-нибудь прелестную головку, а все остальные очертания фигуры тонут в едва отесанной глыбе. Часто какая-нибудь причудливой формы розетка только намечена несколькими ударами резца на камне, который потом от сырости весь покрылся зеленоватою плесенью.

На стене фасада видишь окно с лепным кружевным орнаментом, а рядом с ним другое, где сплошная громада камня изъедена временем, которое тоже что-то высекло из него на свой лад. Даже для самых несведущих и неискушенных глаз ощутим разительный контраст между этим зданием, где на каждом шагу на вас целым каскадом сыплются чудеса искусства, и внутренностью замка Людовика XII, состоящей из первого этажа с его легкими, поистине воздушными аркадами, укрепленными на тонких столбах, и двух верхних этажей, где скульптурная отделка окон выполнена с восхитительной строгостью. Под аркадами тянется изящная галерея, стены которой были расписаны a fresco [1] точно так же, как и потолок. И теперь уцелели кое-какие следы этой великолепной росписи, созданной наподобие итальянской, живого свидетельства власти наших королей, которым тогда принадлежала Миланская область. Напротив замка Франциска I в то время находилась капелла графов де Блуа, фасад которой, пожалуй, даже гармонировал с архитектурой резиденции Людовика XII. Никакой образ не в силах передать величественную монументальность этих трех зданий, и, несмотря на то, что отделка каждого из них так не вяжется с отделкой других, королевская власть, которая при всем своем могуществе, при всей силе была мучима неимоверными страхами и выдавала се-

[1] По сырой извести *(итал.)*

бя принимаемыми ею неимоверными предосторожностями, стала как бы объединяющим звеном для этих трех столь различных построек, две из которых стенами своими примкнули к огромному залу Генеральных штатов, просторному и высокому, как храм. Разумеется, этому королевскому дворцу были присущи и простодушие и устойчивость жизни горожан, описанной нами в начале этой повести, жизни, которой искусство никогда не было чуждо. Блуа был как бы основной темой, темой блестящей и воодушевляющей, на которую буржуазия и феодальное дворянство, богатство и знатность дали столько новых вариаций в городах и даже в деревнях. Другим и не мог быть дворец государя, правившего Парижем в XVI веке. Богатые одежды, которые носили вельможи, и роскошные женские платья, должно быть, удивительно гармонировали с очертаниями этого тонко обработанного камня. Поднимаясь по чудесной лестнице своего замка в Блуа, французский король мог любоваться на все большем и большем протяжении долиной прекрасной Луары, которая несла ему вести со всего королевства, разделенного ею на два лагеря, противостоящих друг другу и едва ли не соперничавших. Если бы Франциск I, вместо того чтобы строить себе замок Шамбор в этой сумрачной и мертвой равнине, построил себе резиденцию под углом к описанному нами замку, там, где тянулись сады, среди которых Гастон воздвиг свой дворец, Версаля бы не существовало: Блуа неизбежно сделался бы столицей Франции. Четыре короля из династии Валуа и Екатерина Медичи расточали свои богатства, отделывая замок Франциска I в Блуа. Можно ли не заметить этой расточительности, когда любуешься массивными внутренними стенами, спинным хребтом этого замка, в которых находятся глубокие альковы, и потайные лестницы, и кабинеты, размером своим не уступающие залу заседаний и кордегардии, и королевские покои, где в наши дни без труда удается разместить целую роту солдат?

Если бы посетитель в первую минуту даже не ощутил этой связи между необычайной красотою фасада замка и красотами внутренней отделки, то одного уцелевшего убранства кабинета Екатерины Медичи, того кабинета, куда должен был явиться Кристоф, было бы достаточно, чтобы свидетельствовать о тончайшем искусстве, которое

населило эти покои живыми существами; саламандры сверкали там среди цветов, и кисть художника XVI века украсила самыми яркими своими картинами самые мрачные глубины замка. Стены этого кабинета хранят еще и по сей день следы того пристрастия к позолоте, которое Екатерина привезла с собою из Италии, ибо все принцессы из рода Медичи любили, по прелестному выражению уже цитированного нами автора, покрывать в королевских замках Франции стены золотом, которое предки их нажили торговлей, дабы сами эти стены свидетельствовали об их богатстве.

Королева-мать занимала в первом этаже апартаменты королевы Клод Французской, жены Франциска I; там и сейчас еще сохранились тонкие лепные буквы — сдвоенные С вместе с изображением лебедей и лилий ослепительной белизны. Инициалы эти означали также candidior candidis (белее самого белого) — девиз этой королевы, чье имя, как и имя Екатерины, начиналось с буквы С, одинаково подходил и к дочери Людовика XII и к матери последних Валуа, ибо как бы ни неистовствовали кальвинисты в своей клевете, верность Екатерины Медичи Генриху II за все время не была омрачена ни одним подозрением.

По всей вероятности, королеве-матери, у которой было еще двое малолетних детей (сын, впоследствии герцог Алансонский, и дочь Маргарита, будущая жена Генриха IV, которую Карл IX звал Марго), понадобился весь второй этаж целиком.

Король Франциск II и королева Мария Стюарт разместились в третьем этаже в королевских покоях, которые некогда занимал Франциск I и где впоследствии жил Генрих III. Королевские покои, так же как и апартаменты, занимаемые королевой-матерью, были расположены по всей длине замка и в каждом этаже были перегорожены знаменитой внутренней стеной, толщина которой достигает четырех футов и которая служит опорой для огромных стен между залами замка. Таким образом, как во втором, так и в третьем этаже комнаты разделялись на две половины, резко отличавшиеся друг от друга. Южная, ярко освещенная сторона, выходившая во двор, служила для приемов и для государственных дел, в то время как жилые помещения были расположены на северной стороне,

представлявшей собой великолепный фасад с балконами и галереями, откуда открывался вид на поля Вандомуа, на *Бретонский насест* и на городские рвы — тот единственный вид, о котором говорит наш великий баснописец Лафонтен.

Замок Франциска I в те времена завершался огромной, но еще не достроенной башней. От этой башни должно было начинаться новое крыло дворца, пристроенное к нему под прямым углом. Впоследствии Гастон сломал боковые стены этой башни, чтобы прилепить к ней свой дворец, но довести до конца свой замысел ему не удалось, и башня так и осталась полуразрушенной. Эта королевская башня служила тогда тюрьмой, или, как ее называло народное предание, *каменным мешком.* Какой поэт, проходя теперь залами этого великолепного замка, столь дорогими искусству и истории, не будет охвачен мучительным сожалением и обидой за Францию, когда увидит, что эти восхитительные арабески кабинета Екатерины *замазаны известью* и погублены во время эпидемии холеры по распоряжению коменданта казарм (эти королевские покои были превращены в казармы!). Панели кабинета Екатерины Медичи, о которых скоро будет идти речь,— это последнее, что осталось от всей богатой меблировки, накопленной царствованиями пяти королей с утонченным вкусом. Проходя по этому лабиринту опочивален, зал, лестниц и башен, можно с ужасающей уверенностью сказать: «Здесь Мария Стюарт ласкала своего мужа на радость Гизам. Там Гизы оскорбляли Екатерину. На этом же месте второй Балафре пал под ударами королевских мстителей. А на столетие раньше из этого окна Людовик XII знаком приглашал к себе своего друга кардинала Амбуазского. На этом балконе д'Эпернон, сообщник Равальяка, принимал королеву Марию Медичи, которая, как утверждают, знала о готовящемся убийстве короля и допустила, чтобы оно совершилось!» В капелле, где состоялась свадьба Генриха IV и Маргариты Валуа, единственном помещении, уцелевшем от всего замка графов де Блуа, устроена сапожная мастерская полка. Этот необыкновенный памятник, воскрешающий столько стилей и напоминающий о столь значительных событиях нашей истории, разрушается с каждым днем и видом своим позорит Францию. Какою горечью наполняется сердце того, кто

любит старую Францию и ее архитектуру, при мысли, что скоро эти старинные камни постигнет участь зданий на углу улицы Вьель-Пельтри: память о них сохранится, может быть, только на этих страницах!

Необходимо заметить, что Гизы, несмотря на то, что в городе у них был собственный дворец, сохранившийся и посейчас,— для того, чтобы пристальнее следить за тем, что делается при дворе, выговорили себе право поселиться прямо над покоями короля, там, где позднее жила герцогиня Немурская,— на антресолях третьего этажа.

Юный Франциск II и юная королева Мария Стюарт, влюбленные друг в друга, как только можно быть влюбленными в шестнадцать лет, были внезапно в холодное зимнее время перевезены из замка Сен-Жермен, который герцог Гиз считал недостаточно укрепленным, в настоящую крепость, какою был в те дни замок Блуа. С трех сторон замок этот был окружен крутыми рвами, а ворота были под надежной защитой. У Гизов, приходившихся дядями королеве, были веские основания для того, чтобы не жить самим в Париже, удерживая двор в стенах замка, которые постоянно оставались в поле их зрения и которые они всегда могли отстоять от врага. Вокруг престола шла борьба между Лотарингским домом и домом Валуа, и борьба эта завершилась в этом же замке спустя двадцать восемь лет, в 1588 году, когда Генрих III в присутствии матери, которую тогда лотарингцы глубоко унижали, услышал о гибели самого отважного из Гизов, второго Балафре, сына того первого Балафре, который издевался над Екатериной Медичи, держал ее у себя в плену, шпионил за ней и угрожал ей.

Прелестный замок Блуа стал для Екатерины самой тесной тюрьмою. После кончины мужа, у которого ей всегда приходилось быть на поводу, она хотела царствовать; но оказалось, что она обращена в рабство иностранцами, которые при всей своей учтивости были в тысячу раз грубее, чем настоящие тюремщики. Ни один ее шаг не оставался незамеченным. У самых преданных ей фрейлин обнаруживались или любовники, преданные Гизам, или аргусы, не спускавшие с них глаз. И действительно, в то время страсти были необычными, как это всегда бывает, когда в государстве сталкиваются противоположные силы. Галантные нравы, оказавшиеся столь полезными для

Екатерины, помогали и дому Гизов. Подруга принца Конде, первого вождя Реформации, была женою маршала Сент-Андре, который был клевретом гофмаршала. Кардинал, увидевший на примере видама Шартрского, что Екатерина скорее просто никем не побеждена, чем непобедима, сам стал ухаживать за нею. Таким образом, игра страстей усложнялась еще и политическою игрою. Получалась как бы двойная шахматная партия, где надо было следить и за сердцем и за помыслами человека, ибо случалось, что либо сердце их выдавало, либо, напротив, ум выдавал сердце. Несмотря на то, что кардинал Лотарингский и герцог Франсуа де Гиз, почти не разлучавшиеся со своей племянницей, относились к Екатерине с явным недоверием, самой скрытой и самой ловкой противницей Екатерины Медичи была все же королева Мария, ее невестка, эта маленькая блондинка, лукавая, как субретка, надменная, как все Стюарты, королева трех королевств, женщина с познаниями ученого и с проказами монастырской воспитанницы, влюбленная в мужа, как куртизанка в любовника, верная союзница своих дядей, которых она боготворила, счастливая тем, что благодаря ей эти чувства к ним разделял и король Франциск. Свекровь никогда не бывает любима невесткой, а особенно тогда, когда эта свекровь — королева и не хочет расстаться со своей короной. Екатерина, не будучи достаточно осторожной, не всегда умела скрыть свои планы. В былые дни, когда Диана де Пуатье царствовала над королем Генрихом II, положение Екатерины было более сносным: она по крайней мере пользовалась всеми королевскими почестями, и двор ее уважал, а теперь герцог и кардинал окружили себя всюду своими ставленниками и как будто даже испытывали удовольствие, всячески унижая королеву-мать. Самолюбие Екатерины, которая была в настоящем плену у придворных, уязвлялось не только ежедневно, но даже ежечасно, ибо Гизы явились продолжателями той системы, которую применял к ней покойный король.

Ведствия, потрясавшие Францию в течение тридцати шести лет, начались, может быть, именно с того момента, когда сын меховщика обеих королев взялся выполнить свою рискованную миссию и оказался в силу этого главным действующим лицом нашей повести. Опасность, которой подвергал себя этот убежденный реформат, стала

совершенно явной в то самое утро, когда он покинул порт Божанси с ценнейшими документами, компрометирующими самых высокопоставленных лиц, и отправился в Блуа вместе с хитрым мятежником, неутомимым Ла Реноди, прибывшим в порт еще раньше, чем он.

В то время как лодка, где находился Кристоф, подгоняемая легким восточным ветром, спускалась вниз по течению Луары, знаменитый кардинал Шарль Лотарингский и второй герцог Гиз, один из величайших полководцев того времени, подобно двум орлам, примостившимся на вершине скалы, оглядывали местность, дабы со всею трезвостью оценить создавшееся положение, прежде чем нанести свой решающий удар, которым они сначала пытались уничтожить французскую Реформацию в Амбуазе и который они повторили в Париже двенадцать лет спустя, 24 августа 1572 года.

V

ДВОР

Ночью трое всадников — люди, призванные играть важную роль в той трагедии, началом которой был двойной заговор Гизов и реформатов и которая длилась все эти двенадцать лет,— обессиленные, добрались до цели пути. Спешившись, они оставили своих полумертвых лошадей у боковой двери замка, который охранялся солдатами и офицерами, беззаветно преданными герцогу Гизу, кумиру всех военных.

Скажем несколько слов об этом великом человеке, из которых будет видно, как сложилась его судьба.

Матерью Гиза была Антуанетта Бурбонская, двоюродная бабушка Генриха IV. Но что проку в узах родства! Как раз в это время он хотел разделаться со своим кузеном — принцем Конде. Племянницей его была Мария Стюарт. Женою его была Анна, дочь герцога Феррарского. Верховный коннетабль Анн де Монморанси в письмах к герцогу Гизу называл его «монсеньер», как короля, а подписывался словами «ваш покорнейший слуга». Гиз, который был в это время гофмаршалом и распоряжался всем двором, отвечал ему: «Господин коннетабль» — и подписывался теми же словами, которыми он подписывал письма в парламент: «Ваш добрый друг».

Что же касается кардинала, которого звали *Трансальпийским папой* и которого Этьен именует «его святейшеством», то он пользовался поддержкой всего французского монашества и был на равной ноге со святым отцом. Он гордился своим красноречием, был одним из сильнейших богословов того времени и держал в своих руках Францию и Италию с помощью трех духовных орденов, беззаветно ему преданных, которые денно и нощно занимались выполнением его приказов и поставляли ему советников и шпионов.

Из всего этого видно, каких высот власти достигли кардинал и герцог. Несмотря на свои богатства и на все доходы, которые приносили их должности, они были или настолько бескорыстны, или настолько увлечены своими политическими делами и к тому же до такой степени щедры, что оба наделали долгов, но, разумеется, это были долги Цезаря. Вот почему, когда по приказу Генриха III был убит второй Балафре, который был так для него опасен, дом их не мог не разориться. В течение целого столетия огромные средства тратились на то, чтобы достичь власти, и все это объясняет, почему дом Гизов пришел в такой упадок при Людовике XIII и при Людовике XIV, когда внезапная смерть Генриетты открыла всей Европе глаза на подлый поступок, до которого унизился некий шевалье из Лотарингского дома. Именуя себя наследниками Каролингов, незаконно лишенными прав, кардинал и герцог вели себя крайне нагло с Екатериной Медичи, свекровью своей племянницы. Герцогиня де Гиз не упускала случая оскорбить Екатерину. Герцогиня эта происходила из рода д'Эсте, а предками королевы были Медичи, всего-навсего флорентинские торговцы, добившиеся высокого положения, но не признанные королевскими домами Европы. Поэтому Франциск I считал брак своего сына с дочерью Медичи мезальянсом и согласился на этот брак только в силу убеждения, что его сын Генрих никогда не станет престолонаследником. Понятна его ярость, когда умер дофин, отравленный флорентинцем Монтекукулли. Представители рода д'Эсте отказывались признать Медичи итальянскими князьями. Эти бывшие торговцы с того времени действительно хотели решить неразрешимую задачу: сохранить королевскую власть, окружив ее республиканскими учреждениями. И только уже значительно

позднее король Испании Филипп II даровал роду Медичи титул великих герцогов: чтобы получить его, им надо было предать Францию, свою благодетельницу, и засвидетельствовать рабскую верность испанскому двору, который в Италии был их тайным противником.

«Ласкайте одних только врагов!» Знаменитые слова Екатерины являются как бы политической программой этого семейства купцов, в котором было немало великих людей, но в котором они уже перевелись к тому времени, когда Медичи стали всемогущими; род этот слишком рано подвергся вырождению, жертвою которого в конце концов становятся королевские династии и потомки знаменитых фамилий.

В каждом из трех последовательно сменявших друг друга поколений Лотарингского рода был один полководец и один кардинал, и — что, пожалуй, не менее удивительно — последний обычно, так же как и кардинал, о котором идет сейчас речь, чертами лица походил на Хименеса: сходство с последним было и у кардинала Ришелье. У этих пяти кардиналов в лицах была одновременно и свирепость и какая-то кошачья хитрость, в то время как в лицах военных сквозили типичные черты баска и горца, которые есть и у Генриха IV, причем и у отца и у сына лица отмечены одинаковым рубцом от раны. Рубцы эти, однако, не лишали их лиц того открытого и приветливого выражения, которое привлекало к ним солдат не меньше, чем их отвага.

Нелишним будет сказать о том, где и при каких обстоятельствах герцогу Гизу была нанесена эта рана: ведь лечил ее один из персонажей нашей трагедии — отважный Амбруаз Паре, человек, многим обязанный синдику меховщиков. Во время осады Кале герцог получил сквозное ранение в голову; острие копья, проколов ему щеку под правым глазом, вышло из затылка над левым ухом, а конец остался торчать из щеки. Герцог лежал у себя в палатке, все были в полном отчаянии; он был обречен и неминуемо бы погиб, если бы не храбрость самоотверженного Амбруаза Паре.

— Герцог не умер, господа,— сказал Амбруаз, глядя на свиту, которая заливалась слезами,— но скоро умрет,— продолжал он,— если у меня не хватит смелости по-

ступить с ним сейчас, как с мертвым. Чем бы мне это ни грозило, я готов идти на риск. Глядите же!

Он поставил левую ногу на грудь герцога, сдавил ногтями древко копья, тихонько расшатал его и в конце концов вытащил железное острие из головы, как будто перед ним был какой-то неодушевленный предмет, а не живой человек. Жизнь герцога была спасена находчивостью и смелостью врача; однако на лице у него после этого остался глубокий шрам, откуда и пошло его прозвище. В силу аналогичной причины такое же прозвище было дано его сыну.

Держа в полном подчинении короля Франциска II, который страстно любил отвечавшую ему взаимностью жену и во всем подчинялся ей, эти два знаменитых лотарингских принца умели использовать их взаимную любовь в своих интересах. Они царствовали во Франции, и при дворе у них не было противников, кроме Екатерины Медичи. Никогда еще столь искусным политикам не приходилось действовать с такой необыкновенной осторожностью.

Положение честолюбивой вдовы Генриха II и честолюбивого Лотарингского дома в какой-то мере определилось местом, которое они занимали на террасе замка в то утро, когда туда должен был прибыть Кристоф. Королева-мать, делавшая вид, что очень расположена к Гизам, просила рассказать ей, какие вести привезли три сеньера, прибывшие из разных концов страны; но ей пришлось стерпеть новое унижение: кардинал учтиво отклонил ее просьбу. Она прогуливалась по дальним аллеям сада возле Луары, там, где по ее приказу для астролога Руджери была построена обсерватория, которую можно видеть еще и сейчас; оттуда открывается широкий вид на эту восхитительную долину. Оба лотарингца находились на противоположной стороне, выходящей на Вандомуа, откуда глазу открывается возвышенная часть города, *Бретонский насест* и боковые ворота замка. Екатерина обманула обоих братьев, притворившись недовольной; на самом деле она была очень рада поговорить с одним из прибывших: он был ее доверенным лицом и без всякого смущения вел двойную игру, за которую, разумеется, его щедро вознаграждали. Человек этот, по имени Киверни, делал вид, что с головою предан кардиналу Лотарингскому, в дейст-

вительности же был верным слугою Екатерины. У Екатерины было еще двое преданных ей вельмож в лице двух Гонди, ее ставленников; но эти два флорентинца были на слишком большом подозрении у Гизов, чтобы их можно было куда-либо посылать, и она держала их при дворе, где за каждым их словом и за каждым шагом следили, но где сами они с такою же тщательностью следили за Гизами и обо всем доносили Екатерине. Киверни вернулся из поездки в Экуан и в Париж. Последним явился Сент-Андре. Этот маршал Франции сделался столь значительным лицом, что Гизы, ставленником которых он был, приняли его третьим в триумвират противников Екатерины, образованный ими год спустя. А только что перед этим Вьельвиль, строитель замка Дюрталь, за свою преданность Гизам точно так же произведенный в маршалы, незаметно высадился на берегу и потом столь же незаметно уехал, причем никто не узнал, с каким поручением от герцога он явился в этот день во дворец. Что же касается Сент-Андре, то на его долю выпали военные приготовления. У кардинала Лотарингского, герцогов Гизов, Бираги, Киверни, Вьельвиля и Сент-Андре было совещание, на котором Сент-Андре было поручено заманить всех вооруженных реформатов в Амбуаз. То обстоятельство, что оба главы Лотарингского дома воспользовались услугами Бираги, позволяет думать, что они были уверены в своем могуществе: они знали, как он предан королеве-матери. Но впрочем, может быть, они приблизили его к себе, чтобы с его помощью узнавать тайные планы своей соперницы, то есть с тою же самою целью, с которой королева-мать соглашалась отпускать его к ним. В эту удивительную эпоху двойная роль, которую иногда играли иные государственные деятели, была известна каждой из вражеских партий, пользовавшихся их услугами. Эти люди были чем-то вроде карт в руках игроков — выигрывал тот, кто оказывался хитрее. Во время этого совещания оба брата были необычайно сдержанны. Из разговора Екатерины с ее друзьями станет совершенно ясно, почему Гизы устроили это совещание рано утром и на открытом воздухе, так, как будто все его участники боялись говорить в стенах замка Блуа.

Королева-мать, сделав вид, что хочет посмотреть строящуюся для ее астролога обсерваторию, прогуливалась

с утра в обществе обоих Гонди и с беспокойным любопытством поглядывала на своих врагов, собравшихся неподалеку. К ней подошел Киверни; они находились в это время на самом углу террасы, выходящей к церкви святого Николая; там не приходилось бояться, что разговор их будет подслушан. Терраса была на том же уровне, что и церковные башни. Гизы же обычно собирали свои совещания в другом углу этой террасы, возле строившейся на ней тюрьмы, и расхаживали взад и вперед от *Бретонского насеста* к галерее по мосту, соединявшему цветник, галерею и *Насест*. Внизу не было ни души. Киверни взял руку королевы-матери для поцелуя и в это мгновение передал ей записку, так что ни тот, ни другой итальянец этого не заметили. Екатерина быстро повернулась, дошла до самого угла парапета и прочитала:

«У вас достаточно могущества, чтобы сохранить равновесие среди ваших вельмож, чтобы заставить их оспаривать друг у друга право служить вам. У вас четверо сыновей, и вам нечего будет бояться ни Лотарингцев, ни Бурбонов, если вы сумеете столкнуть их друг с другом. Ведь и те и другие хотят завладеть короною ваших сыновей. Будьте госпожой ваших советников, но не их служанкой, умейте сравнять их силы — иначе государство постигнет беда и разразятся жестокие войны.

Лопиталь».

Королева сунула записку себе за корсаж, решив сжечь ее, как только она останется одна.

— Когда вы его видели? — спросила она у Киверни.

— Когда я возвращался от коннетабля в Мелене; он был там проездом с госпожой герцогиней Беррийской, ему хотелось как можно скорее проводить ее в Савойю, чтобы вернуться сюда и открыть глаза канцлеру Оливье, который попался в сети Лотарингцев. Господин Лопиталь видит, к чему стремятся Гизы, и хочет защитить ваши интересы. Поэтому он и торопится вернуться, чтобы отдать вам свой голос в Совете.

— А он искренен? — спросила Екатерина.— Вы же знаете, что Лотарингцы пригласили его в Совет, чтобы он поддержал их посягательства на корону.

— Лопиталь — человек слишком благородной крови,

чтобы не быть прямым,— сказал Киверни,— к тому же его записка ко многому его обязывает.

— А что ответил Лотарингцам коннетабль?

— Он сказал, что он слуга короля и будет ждать его приказаний. Как только кардинал услышит этот ответ, он тут же предложит назначить своего брата верховным главнокомандующим королевства для того, чтобы сделать всякое дальнейшее противодействие невозможным.

— Как, уже сейчас!—ужаснулась Екатерина.—А что, господин Лопиталь больше ничего не просил мне передать?

— Он сказал, что только вы, государыня, можете встать между королем и Гизами.

— А он не думал, что я могу воспользоваться гугенотами, как орудием в борьбе?

— Ах, государыня! — воскликнул Киверни, пораженный проницательностью Екатерины.— Нам и в голову не могло прийти ставить вас в такие трудные условия.

— А он знал, в каком положении я нахожусь? — спросила королева на этот раз уже спокойно.

— Более или менее. Он находит, что вы совершили большую оплошность, когда после смерти короля согласились воспользоваться для себя падением Дианы. Герцоги Гизы решили, что, удовлетворив самолюбие женщины, они перестали быть в долгу перед королевой.

— Да,— сказала Екатерина, глядя на обоих Гонди,— с моей стороны это было большой ошибкой.

— Ошибкой, которую совершают и боги,— вставил Карло Гонди.

— Господа,— сказала королева,— если я открыто перейду на сторону реформатов, я стану рабою одной партии.

— Ваше величество,— горячо возразил Киверни,— вы совершенно правы: вам не следует служить им, вам надо заставить их служить себе.

— Невзирая на то, что вы сейчас их поддерживаете,— сказал Карло де Гонди,— мы не скроем, что их победа так же гибельна для вас, как их поражение!

— Я это знаю! — сказала королева.— Достаточно мне на чем-нибудь споткнуться, как Гизы сразу же этим воспользуются, чтобы разделаться со мной.

— Может ли племянница папы, мать четверых Валуа, королева Франции, вдова самого ярого преследователя гугенотов, католичка-итальянка, тетка Льва Десятого, может ли она становиться на сторону реформатов? — спросил Карло Гонди.

— А разве помогать Гизам не значит давать волю узурпаторам? — возразил Альберто.— Ведь в борьбе католиков с реформатами они видят средство захватить власть в свои руки. А поддерживать реформатов еще не значит отречься от престола.

— Подумайте только, ваше величество, ведь весь ваш род, который должен быть предан королю Франции, в настоящее время является слугою Испании! — сказал Киверни.— А завтра он будет на стороне Реформации, если только реформаты будут в силах сделать герцога флорентинского королем.

— Я готова некоторое время помогать гугенотам,— сказала Екатерина,— хотя бы ради того, чтобы отомстить за себя этому солдату, этому попу и этой шотландке.

И она показала своим взглядом итальянки на герцога, на кардинала и на этаж замка, где жили ее сын и Мария Стюарт.

— Эти трое на глазах у меня захватили власть, которой я так долго ждала и которая была в руках у этой старухи,— сказала она и кивнула головой в сторону Луары, указывая на Шенонсо, замок, который она получила от Дианы де Пуатье в обмен на Шомон.

— Ма [1],— сказала она по-итальянски,— по-видимому, эти женевские пасторы и не догадаются обратиться ко мне! Честное слово, я же не могу идти к ним сама. Ни один из вас не осмелился заговорить с ними.

Она топнула ногой.

— Я надеялась, что вы, может быть, встретите в Экуане горбуна, это человек с головой,— сказала она, обращаясь к Киверни.

— Он был там, ваше величество, но он не мог уговорить коннетабля стать его союзником. Господин де Монморанси мечтает свергнуть Гизов, из-за которых он сейчас в опале, но он не хочет потворствовать ереси.

— Которая истребит этих людей, мешающих королю

---

[1] Но *(итал.)*.

управлять страной? Ей-богу, надо добиться, чтобы эти вельможи сами уничтожали друг друга, как этого добился Людовик Одиннадцатый, величайший из наших королей. В этом королевстве четыре или пять партий, и самая слабая из них — это партия моих детей.

— Реформаты борются за идею,— сказал Карло Гонди,— а партии, которые сокрушил Людовик Одиннадцатый, действовали во имя одной только выгоды.

— За выгодой всегда стоит какая-нибудь идея,— возразил Киверни.— В царствование Людовика Одиннадцатого этой идеей были ленные владения...

— Сделайте еретиков своим орудием,— сказал Альберто Гонди,— и вам не придется марать руки в крови.

— О боже! — вскричала королева.— Я не знаю, ни какими силами располагают эти люди, ни каковы их планы, и у меня нет надежных путей, чтобы установить с ними связь. Если я сделаю какие-то шаги в этом направлении и меня выследят — то ли королева, которая стережет меня, как младенца в колыбели, то ли эти двое тюремщиков, которые никого не пропускают в замок,— меня подвергнут унизительному изгнанию: отправят во Флоренцию под конвоем, который возглавит кто-нибудь из самых неистовых приспешников Гизов! Благодарю вас, друзья мои. О, невестка моя, желаю тебе когда-нибудь стать пленницей у себя в доме; тогда ты узнаешь, какие страдания ты мне причиняла!

— Что касается самих планов,—вскричал Киверни,— то герцог и кардинал их знают! Но эти две лисы умеют молчать. Добейтесь, ваше величество, чтобы они вам их рассказали, и я сделаю для вас все, что смогу,— я договорюсь с принцем Конде.

— А каковы же те решения, которых им не удалось от вас скрыть? — спросила королева, указывая на обоих братьев.

— Господин де Вьельвилль и господин де Сент-Андре только что получили приказания, которые нам неизвестны; но, по-видимому, гофмаршал сосредоточивает свои отборные войска на левом берегу. Через несколько дней вас переведут в Амбуаз. Он уже приходил на эту террасу, чтобы осмотреть местоположение замка, и он находит, что Блуа не годится для его тайных замыслов.

— Но что же ему еще надо? — спросил Киверни,

указывая на окружающие замок обрывы. — Ни в одном другом месте двор так не защищен от нападения, как здесь.

— Отрекитесь или царствуйте! — сказал Альберто на ухо королеве, которая погрузилась в раздумье.

Тайная ярость закипела в груди королевы; дрожь пробежала по ее прекрасному, цвета слоновой кости лицу: ей ведь еще не было и сорока лет, и целых двадцать шесть из них она прожила, не пользуясь никакой властью при французском дворе, несмотря на то, что прибыла во Францию с намерением все захватить в свои руки. Из уст ее вырвалась ужасная фраза на языке Данте:

— Пока сын мой жив, ничему этому не бывать... Он околдован своей молодой женой,— добавила она после паузы.

Это восклицание Екатерины было внушено странным пророчеством, которое за несколько дней до этого она услышала в замке Шомон, на противоположном берегу Луары, куда ее повез Руджери, ее астролог, и где она хотела узнать у одной знаменитой гадалки судьбу своих четырех сыновей. Гадалка эта была втайне привезена сюда Нострадамусом, главою всех врачей, которые в этом великом XVI веке, подобно Руджери, подобно Кардано, Парацельсу и многим другим, занимались оккультными науками. Эта женщина, о жизни которой история ничего не знает, сказала, что царствование Франциска II продлится всего только год.

— Что вы об этом думаете? — спросила Екатерина у Киверни.

— Начнется сражение,— ответил этот рассудительный человек.— Король Наваррский...

— Скажите лучше — королева! — поправила его Екатерина.

— Да, конечно, королева,— улыбнувшись, сказал Киверни,— во главе реформатов поставила принца Конде, а тот, будучи младшим в роде, может пойти на все; вот почему господин кардинал поговаривает о том, чтобы вызвать его сюда.

— Пусть только он приедет,— воскликнула королева,— и я спасена!

Так вот вожди великого движения французских реформатов угадали в Екатерине свою будущую союзницу.

— Самое забавное,— воскликнула королева,— это то, что Бурбоны хотят обмануть гугенотов, а господа Кальвин, де Без и другие хотят обмануть Бурбонов; хватит ли у нас сил, чтобы обмануть и гугенотов, и Бурбонов, и Гизов? Перед тем как сражаться с тремя такими врагами, надо все хорошенько обдумать.

— У них нет короля,— ответил Альберто,— и победа всегда будет за нами, потому что на нашей стороне король.

— Maledetta Maria! [1] — процедила Екатерина сквозь зубы.

— Лотарингцы уже подумывают о том, чтобы лишить вас поддержки горожан,— сказал Бирага.

Надежда захватить власть не была для герцога и кардинала, возглавляющих беспокойный дом Гизов, результатом какого-либо обдуманного плана: у них не было никаких оснований строить планы или питать надежды,— сами обстоятельства делали их смелыми. Двое кардиналов и двое Балафре — вот те четыре честолюбца, которые своими талантами превосходили всех окружающих их политических деятелей. Вот почему справиться с этим семейством было под силу только Генриху IV, воспитанному великой школой, где учителями были Екатерина и Гизы; он сумел извлечь пользу из всех уроков.

В описываемое нами время двое лотарингцев оказались вершителями судеб величайшего религиозного переворота, который знала история Европы после реформы Генриха VIII в Англии, переворота, причиной которого явилось открытие книгопечатания. Будучи врагами Реформации, они сосредоточили в своих руках всю власть и хотели подавить ересь. Но противник их, Кальвин, несмотря на то, что он был менее знаменит, чем Лютер, был более силен. Там, где Лютер видел одни только религиозные догматы, Кальвин видел политику. В то время как влюбленный немец, толстый почитатель пива, сражался с дьяволом и бросал ему чернильницу в лицо, хитрый аскет-пикардиец вынашивал военные планы, руководил битвами, вооружал правителей, поднимал целые народы, заронив республиканские идеи в сердца буржуа, и вознаграждал себя за повсеместные поражения на полях бра-

---

[1] Проклятая Мария! *(итал.)*

ни все новыми победами над сознанием людей в разных странах.

Кардинал Лотарингский и герцог Гиз, точно так же как Филипп II и герцог Альба, знали, какие цели ставит себе монархия и какими узами католичество связано с королевской властью. Карл V, который сверх меры пил из чаши Карла Великого и опьянел от успехов, который переоценивал силы монархии и собирался поделить весь мир с Солиманом, сначала даже не почувствовал, как его ранили в голову; когда же кардинал Гранвелла указал ему, сколь глубока его рана, он отрекся от престола.

Мысль, которой были одержимы Гизы, заключалась в том, чтобы избавиться от еретиков сразу, одним ударом. Удар этот они сначала нанесли в Амбуазе, а потом в Варфоломеевскую ночь, на этот раз в союзе с Екатериной Медичи, прозревшей от зарева двенадцатилетней войны и вразумленной грозным словом *республика*, прозвучавшим позднее в книгах писателей-реформатов, словом, смысл которого угадал предвосхитивший их Лекамю, горожанин Парижа. В то время как Екатерина беседовала со своими четырьмя советниками, Гизы, собираясь нанести смертельный удар в сердце знати, чтобы сразу же отделить ее от религиозной партии, с победой которой она теряла все, что имела, окончательно договаривались о том, как сообщить королю о подготовленном ими перевороте.

— Жанна д'Альбре хорошо знала, что делает, когда объявила себя покровительницей гугенотов! Реформация для нее — это таран, который она отлично умеет пускать в ход,— сказал гофмаршал; он понимал, как глубоко продуманы планы королевы Наваррской.

Жанна д'Альбре была действительно одной из умнейших женщин своего времени.

— Теодор де Без получил распоряжения Кальвина и сейчас находится в Нераке.

— Что за людей умеют находить эти горожане! — воскликнул герцог.

— Да, у нас нет человека такой закалки, как Ла Ренодди,— добавил кардинал,— это настоящий Катилина.

— Такие люди действуют всегда на свой страх и риск,— ответил герцог.— Уж я ли не разгадал способностей Ла Ренодди! Я осыпал его милостями, я дал ему воз-

можность спастись от приговора бургундского парламента, добился пересмотра его дела, разрешил ему въезд в королевство. Я готов был все для него сделать, а он в это время затевал свой сатанинский заговор против нас. Этот проходимец объединил немецких протестантов с французскими еретиками, уладив все богословские споры между Лютером и Кальвином. Он свел с реформатами недовольных вельмож, отнюдь не заставляя их отрекаться от католицизма. Уже в прошлом году в его распоряжении было тридцать полководцев! Он умел одновременно быть всюду: в Лионе, в Лангедоке, в Нанте! Наконец, его усилиями составлена распространяемая по всей Германии декларация, где богословы утверждают, что можно применить силу, чтобы вырвать короля из-под нашего влияния, и теперь она передается из города в город. Начав искать ее, нигде ее не находишь! А между тем ведь он от меня ничего, кроме хорошего, не видел! Надо будет или придушить его как собаку, или соблазнить чем-нибудь, чтобы он перешел на нашу сторону.

— В Бретани, в Лангедоке, во всем королевстве они взбудоражили людей, чтобы нанести нам смертельный удар,— сказал кардинал.— После вчерашнего празднества я до рассвета читал королю все донесения, которые получил от моих монахов; но уличены только небогатые дворяне, ремесленники, и ничто не изменится от того, повесим мы их или оставим в живых. Такие, как Колиньи, как Конде, ничем не скомпрометированы, а ведь в их руках все нити заговора.

— Вот почему как только Авенель, этот адвокат, их выдал,— сказал герцог,— я велел Бражелону сделать все, чтобы заговорщики могли перейти в наступление: они ничего не подозревают, они думают, что застанут нас врасплох. Может быть, тогда-то и обнаружатся их вожди. Мой совет — дать им победить на сорок восемь часов.

— На это достаточно и получаса,— возразил испуганный кардинал.

— Вот какой ты храбрец! — воскликнул Балафре.

Не замечая насмешки, кардинал ответил:

— Не все ли равно, скомпрометирован принц Конде или нет, но он их вождь; снесем ему голову, и тогда нам не о чем будет беспокоиться. Для того, чтобы расправиться с ними, нужны не столько солдаты, сколько судьи, а

судей у нас всегда хватит. В парламенте победа всегда бывает вернее, чем на поле сражения, и к тому же она достается не столь дорогою ценой.

— Я согласен,—ответил герцог.— Не думаешь ли ты, что принц Конде достаточно могуществен, чтобы придать мужество тем, кто завяжет с нами этот первый бой? Ведь есть же еще...

— Король Наваррский,— подсказал кардинал.

— Этот глупец, который снимает шляпу, когда говорит со мной. Должно быть, кокетство флорентинки делает тебя слепым?

— О, я об этом уже думал. Для чего же я любезничаю с ней, как не для того, чтобы читать у нее в сердце?

— У нее нет сердца,— порывисто ответил герцог,— она еще честолюбивее, чем мы с тобой.

— Ты храбрый полководец,— сказал кардинал брату,— только поверь мне, наши призвания не так далеки друг от друга, а я велел Марии следить за ней раньше, чем тебе пришло в голову ее в чем-нибудь заподозрить. Екатерине меньше дела до бога, чем моему башмаку. И если она не стала душою заговора, то вовсе не потому, что она этого не хотела. Но мы будем судить о ней по ее поступкам и посмотрим, как она нам поможет. Пока что у меня есть уверенность, что ни с кем из еретиков она не общается.

— Пора уже все открыть королю и королеве-матери, которая ничего не знает,— сказал герцог,— в этом единственное доказательство ее невиновности. Но, может быть, они ждут последнего часа, чтобы ослепить ее вероятностью удачи. Из моих действий Ла Реноди хорошо поймет, что мы все знаем. Сегодня ночью Немуру приказано следовать за отрядами реформатов, которые движутся по проселочным дорогам; заговорщики будут вынуждены напасть на нас в Амбуазе, куда я их всех впущу. Если бы это случилось здесь,— сказал он, указывая на три стороны утеса, на вершине которого стоял замок Блуа, как это перед этим сделал Киверни,— их нападение оказалось бы безрезультатным, гугеноты могли бы в любой момент и прийти и уйти из Блуа — это зал с четырьмя входами, а ведь Амбуаз — это мешок.

— Я не покину флорентинку,— сказал кардинал.

— Мы совершили ошибку,— ответил герцог, подбра-

сывая в воздух свой кинжал и ловя его за рукоятку.— Надо было вести себя с ней, как с реформатами, предоставив ей полную свободу действий, чтобы потом поймать ее с поличным.

Кардинал посмотрел с минуту на брата и покачал головой.

— Зачем ты сюда явился, Пардальян? — спросил герцог, видя, как на террасу взошел молодой дворянин, впоследствии прославившийся своей дуэлью с Ла Реноди, которая принесла смерть им обоим.

— Монсеньер, у ворот дожидается посланец от меховщика королевы. Он говорит, что ему надо передать ей горностаевый казакин.

— Ах, да это тот казакин, о котором она говорила вчера,— ответил кардинал,— королеве этот мех понадобится во время путешествия по Луаре.

— А каким же образом ему удалось пройти так, что остановили его только у ворот замка? — спросил герцог.

— Этого я не знаю,— ответил Пардальян.

— Я об этом спрошу его сам, когда он будет у королевы: пускай подождет утреннего приема в кордегардии. Пардальян, а что, он молодой?

— Да, монсеньер, он говорит, что он сын Лекамю.

— Лекамю — правоверный католик,— сказал кардинал, у которого, так же как и у гофмаршала, была память Цезаря.— Кюре церкви Сен-Пьер-о-Беф доверяет ему, ибо он старшина квартала.

— Все равно, пускай его сын *побеседует* с капитаном шотландской дворцовой гвардии,— сказал герцог, сделав такое ударение на этом слове, которое не оставляло никаких сомнений в его смысле.— Но ведь Амбруаз сейчас в замке: он-то и скажет нам, действительно ли это сын того Лекамю, который сделал ему в свое время столько добра. Позовите сюда Амбруаза Паре.

Как раз в эту минуту королева Екатерина, гулявшая в одиночестве, пошла навстречу братьям Гизам, и те поспешили сами приблизиться к ней. Они умели быть очень почтительны с ней, но итальянке всегда казалось, что за этой почтительностью скрывается насмешка.

— Господа,— сказала она,— не будете ли вы добры сказать мне, что это сейчас готовится? Неужели вдова вашего покойного государя не заслужила в ваших глазах

того уважения, которого заслуживают Вьельвилль, Бирага и Киверни.

— Государыня,— любезно ответил кардинал,— какими бы политиками мы ни были, как мужчины, мы не считаем себя вправе пугать дам разными лживыми слухами. Но сегодня утром нам предстоит совещаться по важным государственным делам. Надеюсь, вы простите моего брата за то, что он отдал распоряжения сугубо военного характера, которые никак не должны вас касаться: вопросы важные нам еще предстоит решать. Если вы сочтете это уместным, мы пойдем сейчас на утренний прием короля и королевы, время уже приближается.

— Что же случилось, господин гофмаршал? — спросила Екатерина, притворившись испуганной.

— Реформация, ваше величество, это не просто ересь, это партия, и она собирается выступить с оружием, чтобы отнять у вас короля.

Екатерина, кардинал, герцог и бывшие с ним вельможи, направляясь к лестнице, пошли по галерее. Там, выстроившись в два ряда, стояли придворные, не имевшие доступа в королевскую опочивальню.

Гонди, который внимательно следил за обоими Гизами, в то время как они разговаривали с Екатериной, шепнул потом королеве-матери на чистом тосканском наречии слова, ставшие потом поговоркой: «Odiate et aspettate!» (Ненавидьте и ждите!).

Пардальян, который дал приказ офицеру гвардии, расставленной у дверей замка, пропустить посланца меховщика королевы, увидел, что Кристоф стоит у портала замка и восхищенно разглядывает фасад, построенный нашим добрым Людовиком XII, где тогда было больше, чем теперь, разных забавных скульптур, как во всяком случае можно предполагать, на основании того, что от них осталось. Например, любознательным людям удается разглядеть женскую фигуру, вырезанную в капители одной из колонн портала. Женщина эта поднимает юбки, приоткрывая

То, что Брюнель Марфизу показала,

толстому монаху, присевшему на корточки в капители колонны, соответствующей другому цоколю этого портала, на котором стояла тогда статуя Людовика XII. Многие

из окон этого фасада, украшенные скульптурами того же стиля, к сожалению. теперь уже не сохранившимися, по-видимому, настолько заинтересовали Кристофа, что стрелки королевской гвардии стали отпускать по его адресу различные шутки.

— Он бы не прочь тут пожить,— сказал один из аркебузиров, поглаживая висевшие у него на перевязи заряды, похожие на маленькие головки сахара.

— Ну что, парижанин,— спросил другой,— ты, верно, в жизни такого не видывал?

— Он узнает нашего доброго Людовика Двенадцатого,— сказал другой.

Кристоф сделал вид, что не слышит: он притворился совершенно обалдевшим от восторга, и его глуповатое поведение в присутствии королевских гвардейцев окончательно рассеяло все подозрения Пардальяна.

— Королева еще не вставала,— сказал молодой капитан.— Ступай в переднюю и жди там.

Кристоф довольно медленными шагами последовал за Пардальяном. Он нарочно стал разглядывать красивую, разделенную аркадами галерею, где в царствование Людовика XII придворные обычно ожидали выхода короля. В описываемое нами время там неизменно пребывал кто-либо из вельмож — приверженцев Гизов, так как лестница, которая вела в покои герцога и кардинала, находилась в самом конце этой галереи, в башне, привлекающей и по сей день внимание посетителей своей замечательною архитектурой.

— Ты что, явился сюда ваяние изучать? — закричал Пардальян, видя, что Лекамю остановился перед красивыми статуями наружных маршей лестницы, которые соединяют или, вернее, разъединяют колонны каждой арки.

Кристоф последовал за молодым капитаном к парадной лестнице, но не мог удержаться, чтобы не бросить на эту башню, построенную в псевдомавританском стиле, полный восторга взгляд. В это чудесное утро на дворе было много военных и вельмож, которые, разделившись на небольшие группы, разговаривали между собою; их яркие костюмы сверкали на солнце и усиливали блеск совершенно еще нового фасада здания — настоящего чуда архитектуры.

— Проходи вот сюда,— сказал Пардальян юному Ле-

камню, сделав ему знак следовать за ним через украшенную резьбой дверь второго этажа, которую перед ними открыл узнавший Пардальяна гвардеец.

Можно представить себе изумление Кристофа, когда он вошел в кордегардию, помещение которой было в то время так велико, что теперь военные власти разделили ее перегородкой, сделав из нее две комнаты. Она действительно занимает в третьем этаже, в покоях короля, как и во втором этаже, в покоях королевы-матери, третью часть фасада, выходящего на двор; она освещается двумя окнами слева и тремя справа от башни, внутри которой находится знаменитая лестница. Молодой капитан направился к двери опочивальни короля и королевы, которая выходила в этот огромный зал, и шепнул одному из двух дежуривших там пажей, чтобы он предупредил г-жу Дайель, камеристку королевы, что меховщик со своими заказами ждет во дворе.

Пардальян знаком показал Кристофу, что он может сесть, и тот уселся рядом с офицером, сидевшим на табуретке в углу возле камина, который размерами своими мог сравниться со всей лавкой его отца; напротив этого камина, в самом конце огромного зала, был другой, точно такой же. Продолжая разговаривать с офицером, Кристоф сумел увлечь его беседою о торговых делах. Он произвел на него впечатление человека, весьма заинтересованного в успехе своей торговли, и такое же впечатление он произвел на капитана шотландской гвардии, который стал расспрашивать его, чтобы незаметно, но вместе с тем достаточно подробно выпытать у него все, что нужно.

Как ни был Кристоф предупрежден обо всем, он не мог понять той холодной жестокости, с которой Шодье зажал его в свои тиски. Тот, кто узнал бы истинную подоплеку этого дела, как ее знают современные нам историки, ужаснулся бы, увидав, как этот юноша, надежда двух семейств, оказался сдавленным этими двумя могучими и безжалостными силами — Екатериной и Гизами. Но много ли на свете храбрецов, способных взвесить всю грозящую им опасность? Увидев, как строго охраняются в Блуа порт, город и самый замок, Кристоф был готов к тому, что натолкнется на шпионов и на расставленные повсюду западни. Поэтому он и решил скрыть всю важ-

ность своей миссии и все свое нервное напряжение, прикинувшись простаком и человеком, озабоченным своей торговлей. Именно таким он и показался молодому Пардальяну, офицеру королевской гвардии и капитану.

VI
ЦЕРЕМОНИАЛ УТРЕННЕГО ВСТАВАНИЯ КОРОЛЯ ФРАНЦИСКА II

Оживление, которое всегда бывает заметно в королевском дворце в часы, когда король встает с постели, уже давало себя чувствовать. Вельможи, оставившие своих конюхов или пажей с лошадьми во внешнем дворе замка, ибо никто, за исключением короля и королевы, не имел права въезжать во внутренний двор на лошади, небольшими группами поднимались по великолепной лестнице и постепенно заполняли огромный зал с двумя каминами. Тяжелые перекрытия этого зала уже не сохранили сейчас ничего из своих былых украшений. Паркет, некогда отделанный тончайшей мозаикой, уступил место каким-то отвратительным красным квадратам. Но в те времена толстые стены, которые сейчас сплошь выбелены известкой, были увешаны королевскими коврами и зал этот был полон чудес искусства — свидетелей пышности, которая осталась непревзойденной. Как реформаты, так и католики являлись туда, чтобы узнать все новости, поглядеть друг на друга и засвидетельствовать свое почтение королю. Страстная влюбленность Франциска II в Марию Стюарт, которой не противодействовали ни Гизы, ни королева-мать, и уступчивость юной королевы во всем, что касалось политики, лишали короля всякой силы; к тому же семнадцатилетний король, начав управлять страной, знал одни только радости жизни, а, женившись,— одно только опьянение первой любви. В действительности же все только и старались угодить королеве Марии и ее дядям,— кардиналу Лотарингскому и гофмаршалу.

Все это шествие проходило перед взором Кристофа, и нет ничего удивительного в том, что юноша с большой жадностью вглядывался в каждого нового человека. Великолепная портьера, по обе стороны которой стояли два пажа и два шотландских гвардейца, несшие тогда охрану

замка, прикрывала дверь в королевскую опочивальню, комнату, ставшую роковой для сына теперешнего Балафре, второго Балафре, который испустил дух у подножия кровати Марии Стюарт и Франциска II. Фрейлины королевы расположились у камина, в то время как Кристоф, сидевший напротив у второго камина, продолжал *беседовать* с капитаном дворцовой гвардии. Этот второй камин в силу своего местоположения считался *почетным*,— он был вделан в капитальную стену зала заседаний, и мимо фрейлин и сеньеров, которые имели право стоять там каждый раз, проходили король и обе королевы. Придворные могли быть уверены, что увидят Екатерину, ибо ее фрейлины, которые, как и весь двор, были в трауре, во главе с графиней Фьеско поднялись уже наверх из покоев королевы-матери и заняли места рядом с залом Совета, напротив свиты молодой королевы, возглавляемой герцогинею де Гиз, которая расположилась в противоположной части зала, примыкающей к опочивальне короля. Все эти фрейлины, принадлежавшие к самым знатным семействам Франции, стояли на расстоянии всего нескольких шагов одна от другой. Рядом с ними стояли придворные. И только самым знатным вельможам дозволялось переходить с одной стороны зала на другую.

Графиня Фьеско и герцогиня де Гиз по занимаемому ими положению сидели, в то время как фрейлины, составлявшие свиты обеих королев, стояли вокруг них. Одним из первых, кто решился пройти между этими двумя вражескими станами, был герцог Орлеанский, брат короля; он спустился с верхнего этажа в сопровождении своего наставника, г-на де Сипьера. Этот юный принц, которому тогда было всего десять лет и которому уже в конце этого года было суждено начать царствовать под именем Карла IX, отличался крайней робостью. Герцог Анжуйский и герцог Алансонский, два его брата, точно так же как принцесса Маргарита, впоследствии ставшая женою Генриха IV, были еще слишком малы, чтобы появляться при дворе и оставались в покоях матери и под ее надзором.

Герцог Орлеанский, богато одетый по моде того времени, в широких шелковых штанах до колен, в камзоле из черной узорчатой парчи и в коротком плаще из вышитого бархата, также черном (он носил еще траур по сво-

ему отцу-королю), поздоровался с двумя придворными дамами и остался возле свиты своей матери. Уже исполненный неприязни к сторонникам Гизов, он холодно ответил на обращенные к нему слова герцогини и облокотился на спинку кресла, на котором сидела графиня Фьеско. Его наставник, г-н де Сипьер, один из самых благородных людей своего времени, стоял сзади него, как изваяние. Принца сопровождал также Амио, одетый в простую сутану священника; в то время он был уже наставником герцога Орлеанского, а потом стал наставником трех младших принцев, любовь которых впоследствии очень ему помогла. Между почетным камином и другим, возле которого, в противоположном конце зала, собрались гвардейцы, их капитан, несколько придворных и Кристоф со своей поклажей, прогуливались канцлер Оливье, покровитель и предшественник Лопиталя, в мантии, которую всегда с тех пор носили канцлеры Франции, и кардинал Турнонский, только что прибывший из Рима. Им удавалось время от времени что-то шепнуть на ухо друг другу, несмотря на то, что они были в центре внимания сеньеров, выстроившихся вдоль стены, отделявшей этот зал от опочивальни короля, подобно живому ковру на фоне богатых стенных ковров, на которых были вышиты тысячи человеческих фигур. Несмотря на всю серьезность положения, придворная жизнь выглядела так, как она выглядит во всех странах, во все эпохи и в периоды самых грозных событий. Думая о вещах серьезных, придворные болтали о пустяках; продолжая весело шутить, они внимательно вглядывались в лица тех, кто стоял рядом, и оживленно говорили о любви и женитьбах на богатых наследницах, в то время как вокруг них происходили самые страшные катастрофы.

— Ну, как вам понравился вчерашний праздник? — спросил Бурдель, сеньер Брантомский, подойдя к м-ль де Пьен, одной из фрейлин королевы-матери.

— Господам Баифу и дю Белле всегда приходят в голову самые блестящие мысли,— сказала она, указывая на двух церемониймейстеров, которые стояли рядом.— По-моему, все было на редкость безвкусно,— добавила она вполголоса.

— А вы не исполняли там никакой роли? — спроси-

ла м-ль де Льюистон, принадлежавшая к свите молодой королевы.

— Что это вы читаете? — спросил Амио у г-жи Фьеско.

— «Амадиса Галльского» сеньера Дез Эссара, инспектора королевской артиллерии.

— Чудесная книга,— ответила красавица, которая впоследствии стала придворной дамой королевы Маргариты Наваррской и прославилась под именем Фоссез.

— Это написано в совершенно новом стиле,— сказал Амио.— А вас разве все эти грубости не возмущают? — спросил он, взглянув на Брантома.

— Что поделаешь, этот стиль нравится дамам! — воскликнул Брантом, здороваясь с герцогиней Гиз, которая держала в руках «Знаменитых дам» Боккаччо.— Здесь, наверное, говорится и о представительницах вашего рода, сударыня,— сказал он,— только жаль, что синьору Боккаччо не довелось жить в наши дни: он бы много о ком мог написать...

— До чего же хитер этот Брантом! — сказала прелестная м-ль Лимейль, обращаясь к графине Фьеско.— Сначала он подошел к нам, а теперь собирается остаться с Гизами.

— Тише! — прошептала графиня, глядя на красавицу.— Не надо вмешиваться в чужие дела...

Молодая девушка посмотрела на двери. Она ожидала Сардини, знатного итальянца, за которого королева-мать, бывшая с ней в родстве, выдала ее потом замуж. Произошло это после одной несчастной случайности в уборной Екатерины, в результате которой красавице выпала честь иметь в качестве повивальной бабки саму королеву.

— Клянусь святым Алипантеном, мадмуазель Давила́ хорошеет день ото дня! — сказал г-н де Роберте, государственный секретарь, приветствуя свиту королевы-матери.

Появление государственного секретаря, несмотря на то, что в те времена он пользовался такими же полномочиями, как в наши дни министр, не произвело на присутствующих ни малейшего впечатления.

— Если это действительно так, сударь, дайте мне, по-

жалуйста, прочесть памфлет против Гизов, я знаю, что он у вас есть,— попросила Роберте м-ль Давила.

— Я его уже отдал,— ответил секретарь, направляясь к герцогине Гиз.

— Он у меня,— сказал граф Граммон,— но я его вам отдам только при условии...

— Он еще ставит условия... Фи! — воскликнула г-жа Фьеско.

— Вы же не знаете, чего я прошу,— ответил Граммон.

— О, это нетрудно угадать! — сказала ла Лимейль.

Итальянский обычай называть светских дам так, как крестьяне называют своих жен, *la* такая-то, был в те времена в моде при французском дворе.

— Вы ошибаетесь,— решительно возразил граф,— речь идет о том, чтобы передать мадмуазель де Мата, одной из фрейлин того стана, письмо моего двоюродного брата де Жарнака.

— Пожалуйста, не компрометируйте моих фрейлин,— сказала графиня Фьеско,— я передам это письмо сама. А вы знаете, что сейчас происходит во Фландрии? — спросила она у кардинала Турнонского.— Похоже на то, что граф Эгмонт что-то затевает.

— Вместе с принцем Оранским,— ответил Сипьер, многозначительно пожав плечами.

— Герцог Альба и кардинал Гранвелла едут туда, не так ли, монсеньер? — спросил Амио кардинала Турнонского, который после разговора с канцлером встревожился и нахмурился.

— По счастью, нам нечего беспокоиться: с ересью мы будем бороться только на сцене,— сказал юный герцог Орлеанский, намекая тем самым на роль, которую он исполнял накануне: он изображал рыцаря, укрощающего гидру, на лбу которой было написано «Реформация».

Екатерина Медичи и ее невестка разрешили занять под сцену огромный зал, где впоследствии заседали Генеральные штаты, созванные в Блуа; зал этот, как мы уже говорили, находился на стыке замка Франциска I и замка Людовика XII.

Кардинал ничего не ответил и продолжал расхаживать посреди зала, разговаривая вполголоса то с г-ном Роберте, то с канцлером. Мало кто знает, с какими трудностя-

ми было сопряжено учреждение государственных секретариатов, впоследствии преобразованных в министерства, и каких усилий это стоило французским королям. В эту эпоху государственный секретарь, вроде г-на Роберте, был всего-навсего писцом: принцы и вельможи, решавшие государственные дела, не очень-то с ним считались.

В те времена было только три министерских должности: главный интендант, канцлер и хранитель печати. Короли особыми указами предоставляли места в совете тем из своих подданных, с чьим мнением в государственных делах они особенно считались. Право заседать в совете мог получить президент парламента, епископ, наконец, просто человек без всякого звания, если он был любимцем короля. Сделавшись членом совета, этот человек укреплял свое положение в нем, занимая какую-нибудь из освободившихся должностей, на которую назначал король,— например, губернатора, коннетабля, главного инспектора артиллерии, маршала; становился начальником какого-либо рода войск, адмиралом, капитаном галер или нередко получал какую-нибудь должность при дворе, например, гофмаршала, как герцог Гиз.

— Как, по-вашему, герцог Немурский женится на Франсуазе? — спросила герцогиня Гиз у наставника герцога Орлеанского.

— Сударыня,— ответил тот,— я ничего не знаю, кроме латыни.

Этот ответ вызвал улыбку на лицах тех, кто его слышал. Тогда у всех только и разговору было о том, что герцог Немурский соблазнил Франсуазу де Роан. Но так как герцог Немурский приходился кузеном Франциску II и был связан двойным родством по материнской линии с домом Валуа, Гизы смотрели на него скорее не как на соблазнителя, а как на соблазненного. Но тем не менее дом Роанов был настолько силен, что после смерти Франциска II герцог Немурский вынужден был покинуть пределы Франции: Роаны затеяли против него процесс. Гизам пришлось пустить в ход все свое влияние, чтобы замять дело. Женитьба герцога Немурского на герцогине Гиз после того, как Польтро убил Франсуа де Гиза, делает понятным вопрос, который герцогиня задала Амио: она и м-ль Роан были соперницами.

— Поглядите-ка на эту кучку недовольных,— сказал

граф Граммон, указывая на Колиньи, кардинала Шатильонского, Данвиля, Торе, Море и еще нескольких вельмож, которых подозревали в сочувствии реформатам и которые в эту минуту все собрались между окнами возле противоположного камина.

— Гугеноты зашевелились,— сказал Сипьер.— Известно, что Теодор де Без отправился в Нерак добиваться, чтобы королева Наваррская открыто стала на сторону реформатов,— добавил он, поглядывая на бальи города Орлеана, который одновременно был канцлером королевы Наваррской; тот стоял и посматривал на придворных.

— Так оно и будет! — сухо сказал орлеанский бальи.

Этот человек, орлеанский Жак Кер, был одним из самых богатых купцов того времени. Он носил фамилию Гроло и ведал делами Жанны д'Альбре при французском дворе.

— Вы так думаете? — спросил канцлер Франции канцлера Наваррского, по достоинству оценив утверждение Гроло.

— Разве вы не знаете,— продолжал богатый орлеанец,— что королева — женщина только с виду? В действительности она занята мужскими делами. У нее хватает мужества на большие решения, и никаким врагам не сломить силы ее духа.

— Господин кардинал,— обратился канцлер Оливье к кардиналу Турнонскому, слышавшему все, что сказал Гроло,— какого вы мнения об этой дерзости?

— Королева Наваррская хорошо сделала, избрав себе в канцлеры человека, у которого Лотарингскому дому приходится брать взаймы деньги и который предлагает королю свое гостеприимство, когда тот едет в Орлеан,— ответил кардинал.

Канцлер и кардинал посмотрели друг на друга, не решаясь выразить вслух своих мнений. Роберте сделал это за них: он считал необходимым показать, что он более предан Гизам, чем все эти вельможи, хотя он и менее значительное лицо, чем они.

— Какое горе, что Наваррский дом готов отречься от религии своих отцов и вместе с тем не хочет отказаться от духа мщения и мятежа, который вселил в него коннетабль Бурбонский! Мы будем свидетелями нового столкновения арманьяков и бургиньонов.

— Нет,— ответил Гроло,— потому что в кардинале Лотарингском есть нечто от Людовика Одиннадцатого.

— И в королеве Екатерине тоже,— добавил Роберте.

В эту минуту Дайель, любимая камеристка Марии Стюарт, прошла по залу, направляясь в комнату королевы. Увидев это, все оживились.

— Мы скоро сможем войти,— сказала г-жа Фьеско.

— Не думаю,— возразила герцогиня де Гиз.— Их величества должны сейчас выйти: будет важное совещание.

Дайель проскользнула в королевские покои, но сначала тихонько поскреблась в дверь: это был придуманный Екатериной Медичи вежливый способ стучаться, который потом был принят при французском дворе.

VII
ВЛЮБЛЕННЫЕ

— Какая сегодня погода, милая Дайель? — спросила королева Мария, высунув из кровати свое молоденькое личико и отдернув занавески.

— Ах, ваше величество...

— Что с тобою, моя Дайель? Можно подумать, что за тобой гонятся стражники!

— Ваше величество, король еще спит?

— Да.

— Мы сейчас должны уехать отсюда, и господин кардинал велел сказать, чтобы вы предупредили короля.

— Послушай, милая Дайель, а что же такое случилось?

— Реформаты хотят вас похитить.

— Ах, эта новая религия не дает мне покоя! Сегодня я видела во сне, что меня посадили в тюрьму, а ведь именно мне должна принадлежать корона трех величайших держав.

— Но это же сон, ваше величество!

— Меня похитить?.. Забавно! Только быть похищенной еретиками — это ужасно.

Королева соскочила с постели и уселась в большое, обитое красным бархатом кресло, накинув черный бархатный халат, слегка перехваченный в талии шелковым шнур-

ком. Дайель затопила камин: на берегах Луары даже и в мае по утрам бывало прохладно.

— Так что же, мои дяди узнали обо всем этом сегодня ночью? — спросила королева у Дайель, с которой она особенно не стеснялась.

— Сегодня с самого утра господа Гизы расхаживали взад и вперед по террасе, чтобы никто не слышал, о чем они говорят; они приняли там посланцев, которые прискакали с разных концов страны, из мест, где начались волнения реформатов. Королева-мать была там со своими итальянцами; она ждала, что господа Гизы будут с ней советоваться, но те ее даже не пригласили.

— И разозлилась же она, наверное!

— Да, тем более, что гневается она еще со вчерашнего дня. Говорят, что когда она увидела ваше величество в золотом платье и в этой прелестной вуали из темно-коричневого крепа, она не очень-то обрадовалась...

— Оставь нас одних, милая Дайель, король просыпается. Пусть никто, даже самые близкие нас сейчас не тревожат. Есть важные государственные дела, и мои дяди не станут нас беспокоить.

— Мария, милая, ты встала? Разве уже так поздно? — спросил молодой король, протирая глаза.

— Милый, пока мы с тобой спим, наши враги бодрствуют, они хотят заставить нас уехать из этих чудесных мест.

— Зачем ты мне говоришь о врагах, моя милая! Разве вчера мы не веселились бы на славу, если бы досужие буквоеды не поимешали к нашей французской речи латинские слова?

— Что же, это совсем неплохой язык, и Рабле уже пустил его в ход.

— Какая ты ученая, и как мне жаль, что я не могу воспеть тебя в стихах; не будь я королем, я стал бы снова заниматься с нашим наставником Амио, который сейчас так успешно обучает моего брата...

— Не завидуй брату. Что из того, что он пишет стихи, как я, и что мы читаем их друг другу? Ты же самый лучший из всех четырех братьев, и ты сумеешь столь же хорошо править государством, как и любить. Может быть, поэтому твоя мать так холодна к тебе! Но не огорчайся. Милый, я буду любить тебя за всех!

— Нечего хвалить меня за любовь к такой обольстительной королеве, как ты,— сказал юный король.— Не знаю, как это я удержался вчера, чтобы не расцеловать тебя перед всем двором, когда ты танцевала при свете факелов. Ведь в сравнении с тобой, моя прелестная Мария, все остальные дамы казались простыми служанками.

— Хотя ты и говоришь только прозой, мой милый, слова твои так хороши: ведь в них любовь! А ты знаешь, мой ангел, что будь ты самым простым пажом, я любила бы тебя так же, как люблю сейчас. И все-таки разве это не радость думать: мой любимый — король!

— Дай мне твою нежную ручку! Как жаль, что приходится одеваться. Как я люблю гладить эти мягкие волосы, играть их светлыми прядями! Вот что, милая, ты не должна больше позволять фрейлинам целовать эту белую шею и эту прелестную спину. Довольно и того, что их коснулись шотландские туманы.

— Поедем ко мне на родину. Шотландцы тебя полюбят, и у нас там не станут поднимать восстания, как здесь.

— А кто это поднимает восстание у нас в стране? — спросил Франциск Валуа, запахнув полы халата и посадив Марию Стюарт себе на колени.

— Да, все это очень хорошо,— сказала она, отставляя щеку,— только знайте, мой государь, что вам надо управлять Францией.

— Что значит управлять? Я вот хочу сегодня...

— Пристало ли человеку, который все может, говорить *я хочу?* Ни короли, ни влюбленные так не делают. Но довольно говорить об этом! Есть вещи поважнее.

— Вот как! — сказал король.— Давно уже у нас не было никаких дел. Что-нибудь занятное?

— Нет,— ответила Мария,— нам надо переезжать.

— Бьюсь об заклад, милая, что ты виделась с одним из твоих дядей; они все так умеют устраивать, что, хотя мне уже исполнилось семнадцать лет, мне не приходится ни во что вмешиваться. По правде говоря, я даже не знаю, почему после первого заседания совета я еще по-прежнему присутствую при остальных. Они отлично могли бы все решать сами, положив на мое кресло корону. Я смотрю на все их глазами и поступаю по их указке.

— О государь,— вскричала королева, вскочив с ко-

лен Франциска и начиная сердиться,— мне же было обещано, что вы не будете меня ничем затруднять и что мои дяди употребят королевскую власть на благо вашего народа! Нечего сказать, хорош народ! Если бы ты захотел править один, без них, этот народ съел бы тебя, как землянику. Ему нужны люди военные, безжалостный полководец, чтобы держать его железной рукой, а ты ведь неженка, и я тебя такого люблю, да, только такого, вы слышите меня, государь? — сказала она, поцеловав в лоб этого мальчика, который сначала готов был возмутиться ее речами, но потом растаял от ласки.

— О, если бы только они не были твоими дядями! — воскликнул Франциск Второй.— Этот кардинал мне ужасно не нравится! Особенно, когда он смиренно и вкрадчиво наклоняется ко мне и говорит: «Государь, здесь речь идет о чести короны и о вере ваших отцов; ваше величество не потерпит...» И все в этом же духе. Я уверен, что он старается только на пользу своего проклятого Лотарингского дома.

— Как хорошо ты его изобразил! — сказала королева.— Только почему ты не используешь Лотарингцев, чтобы узнавать у них обо всем, что делается в стране? Достигнув совершеннолетия, ты сможешь управлять без их помощи. Я твоя жена: все, что затрагивает твою честь, затрагивает и мою. Да, мы будем царствовать с тобой, мой милый! Но знай, путь наш будет усыпан розами только тогда, когда мы возьмемся за дело сами! Самое трудное для короля — это управлять. Разве я сейчас королева? Разве твоя мать не платит мне злом за все добро, за все великолепие, которым мои дяди окружили твой трон? Но до чего велико различие между ними! Мои дяди — это принцы крови, потомки Карла Великого, полные внимания к тебе и готовые умереть за тебя, тогда как эта дочь лекаря или купца, совершенно случайно ставшая королевой Франции, сварлива, как какая-нибудь мещанка, которой не дают власти у себя дома. Недовольная тем, что она здесь не всех перессорила между собой, эта итальянка с бледным озабоченным лицом во все вмешивается; она цедит сквозь зубы: «Дочь моя, вы королева, ваше место первое, а мое — теперь уже второе. (Ее это бесит, ты понимаешь, милый?) Но если бы я была на вашем месте, я не щеголяла бы в розовом бархате, когда весь двор но-

сит траур, я бы не появлялась при дворе с гладко причесанными волосами, без драгоценностей, ибо то, что не пристало светской даме, еще менее пристало королеве. И я не стала бы танцевать сама. С меня довольно было бы глядеть, как танцуют другие!» Вот что она мне говорит.

— Боже мой,— ответил король,— я как будто слышу ее собственный голос! Боже, если бы только она все это услыхала!

— Ах, ты еще дрожишь перед ней! Ты говоришь, она тебе докучает? Давай вышлем ее. Прошу тебя! Добро бы еще она тебя обманывала, на то она и флорентинка, но чтобы она тебе докучала...

— Ради всего святого, замолчи, Мария! — остановил ее Франциск, встревоженный, но вместе с тем и довольный.— Я не хочу, чтобы ты теряла ее дружбу.

— Не бойся, она не захочет ссориться со мной: три величайших короны мира будут моими. Несмотря на то, что у нее тысячи причин меня ненавидеть, она старается быть ласковой со мной, чтобы дяди мои меньше на меня влияли.

— Ненавидеть тебя!..

— Да, мой ангел, если бы я не замечала того множества мелочей, в которых это чувство обнаруживается у женщин,— а одни только женщины по-настоящему понимают, сколько оно несет зла,— я знала бы только, что она противится нашей любви. Неужели это моя вина, что отец твой терпеть не мог синьору Медичи? Да притом она так меня не любит, что если бы ты тогда не вышел из себя, нас с тобой поселили бы врозь — и здесь и в Сен-Жермене. Она уверена, что так принято у королей и королев Франции... Принято! Так было только у твоего отца, и понятно, почему. А что касается твоего деда Франциска, то хитрый король установил этот обычай, чтобы ему удобнее было устраивать свои любовные дела. Поэтому будь настороже! Смотри, чтобы гофмаршал нас не разделил, если мы уедем отсюда.

— Если мы уедем отсюда, Мария? Но ведь я не хочу покидать этот прелестный замок, откуда видны Луара и все окрестности, где у нас под ногами город, над головою самое чудесное небо на свете, а вокруг восхитительные сады! Уж если надо уезжать из этих мест, так давай поедем

в Италию, чтобы посмотреть на собор святого Петра и полотна Рафаэля.

— И на апельсиновые рощи? О мой милый король, если бы ты знал, как твоей Марии хочется погулять в апельсиновых рощах, когда все цветет или когда зреют плоды! Увы! Может быть, я их никогда не увижу. Ах, слушать итальянские песни под этими благоухающими деревьями, на берегу синего моря, под синим небом и быть там с тобою, как здесь сейчас!

— Так поедем,— сказал король.

— Что ж, вы и поедете! — воскликнул гофмаршал, входя в опочивальню.— Да, государь, вам надо уезжать из Блуа. Простите меня за дерзость, но обстоятельства таковы, что заставляют меня пренебречь этикетом, и я пришел просить вас созвать совет.

Мария и Франциск, видя, что их застали врасплох, вскочили; по лицам их заметно было, что королевское достоинство обоих оскорблено этим непрошеным вторжением.

— Не слишком ли вы много на себя берете, герцог Гиз? — сказал юный король, еле сдерживая свой гнев.

— Черт бы побрал всех влюбленных! — прошептал кардинал на ухо Екатерине.

— Сын мой,— сказала королева, которая вошла вслед за кардиналом,— речь идет о безопасности, и твоей и твоего государства.

— Пока вы спали, государь, еретики не теряли времени.

— Ступайте в зал,— сказал юный король,— и мы начнем совещание.

— Ваше величество,— сказал гофмаршал королеве,— сын вашего меховщика привез для вас меха, которые вам пригодятся в пути; возможно, что нам придется ехать по Луаре.— Потом, повернувшись к королеве-матери, он добавил:— Но он хочет говорить и с вами, ваше величество. Пока король одевается, спровадьте его поскорее, чтобы он больше не морочил нам голову.

— Разумеется,— сказала Екатерина и в то же время подумала: «Он плохо меня знает, если хочет отделаться от меня такой уловкой».

Кардинал и герцог удалились, оставив короля и королеву с королевой-матерью, и вошли в кордегардию. Гоф-

маршал должен был непременно еще раз пройти через этот зал, чтобы попасть в зал совета. Проходя, он приказал дворцовому лакею привести к нему меховщика королевы. Едва только Кристоф увидел, как к нему через весь зал направился человек, которого по одежде он принял за вельможу, сердце его забилось от страха, но чувство это, столь естественное в такую критическую минуту, превратилось в настоящий ужас, когда взоры всех придворных устремились туда, где он стоял, растерянный, со всеми своими картонками, и он услыхал:

— Господин кардинал Лотарингский и гофмаршал хотят с вами говорить и просят пройти в зал совета.

«Неужели меня предали?» — подумал вдруг посланец реформатов.

Кристоф последовал за дворцовым лакеем, опустив глаза, и поднял их только тогда, когда очутился в огромном зале совета, который едва ли уступал своими размерами кордегардии. Оба лотарингца были там: они стояли возле великолепного камина, смежного с тем, возле которого в кордегардии находились фрейлины обеих королев.

— Ты прибыл из Парижа? Какой дорогой ты ехал?— спросил у Кристофа кардинал.

— Я ехал по реке, монсеньер,— ответил реформат.

— А каким образом ты мог попасть в замок Блуа?— спросил герцог.

— Через порт, монсеньер.

— И никто тебя не остановил? — снова спросил герцог, не сводя глаз с молодого человека

— Никто, монсеньер. Первому же солдату, который собирался задержать меня, я сказал, что имею поручение к обеим королевам и что отец мой — придворный меховщик.

— Ну, а что делается в Париже? — спросил кардинал.

— Там все еще разыскивают убийцу президента Минара.

— Так, значит, ты сын ближайшего друга моего хирурга? — сказал герцог Гиз, обманутый простодушием Кристофа, которое вернулось к юноше, едва только его смятение улеглось.

— Да, монсеньер.

Гофмаршал вышел, быстрым движением откинул

портьеру, прикрывавшую двойную дверь зала совета, и появился перед всеми собравшимися, среди которых глаза его искали королевского хирурга.

Амбруаз, стоявший в углу, поймал этот взгляд герцога и подошел к нему. Амбруаз душою уже склонялся к кальвинизму и в конце концов его принял, но расположение к нему Гизов и французских королей спасало его от всех преследований, которым подвергались реформаты.

Герцог, считавший, что он обязан Амбруазу Паре жизнью, всего несколько дней тому назад назначил его первым хирургом короля.

— Что вам угодно, монсеньер?— спросил Амбруаз.— Что, король заболел? Этого следовало ожидать.

— Почему?

— Королева слишком хороша собою,— ответил хирург.

— Ах, вот оно что! — воскликнул удивленный герцог.— Но дело сейчас не в этом,— добавил он после минутного молчания.— Амбруаз, я хочу, чтобы ты взглянул на одного из твоих друзей.— И, подведя хирурга к порогу зала совета, он указал ему на Кристофа.

— Ну, да оно и на самом деле так, монсеньер! — воскликнул хирург, протягивая руку Кристофу.— Скажи мне, дорогой, как поживает отец?

— Спасибо, господин Амбруаз, хорошо,— ответил Кристоф.

— А что у тебя за дела при дворе? — спросил хирург.— Разве это по твоей части — развозить заказы? Отец ведь прочит тебя в адвокаты.

— Разумеется,— ответил Кристоф,— но я хлопочу об этом ради отца, и если вы можете помочь мне, не откажите это сделать,— сказал он с умоляющим видом.— Мне надо получить от господина гофмаршала распоряжение, чтобы отцу заплатили все, что ему причитается, а то ему никак не свести концы с концами.

Кардинал и герцог с довольным видом посмотрели друг на друга.

— Теперь идемте,— сказал гофмаршал Амбруазу и сделал ему знак удалиться.— А ты, друг мой, кончай скорее свои дела и возвращайся в Париж. Мой секретарь выдаст тебе пропуск. Черт возьми, по дорогам сейчас ведь не так легко проехать!

Ни у того, ни у другого брата не возникло ни малейшего подозрения относительно важной миссии, которую должен был выполнить Кристоф, после того как они убедились, что он сын доброго католика Лекамю, поставщика двора, и что он прибыл за деньгами, причитавшимися его отцу.

— Отведите его в покои королевы, она, конечно, попросит его к себе,— сказал кардинал хирургу.

VIII
МАРИЯ СТЮАРТ И ЕКАТЕРИНА

В то время как сына меховщика допрашивали в зале совета, король оставил королеву в обществе свекрови, а сам удалился в свою уборную, куда вела дверь из соседней комнаты.

Стоя у огромной оконной амбразуры, королева Екатерина, погруженная в мрачные мысли, глядела на расстилавшиеся перед ней сады. Она думала о том, что власть уходит из рук ее сына и что одного из виднейших военачальников ее времени только что назначили верховным главнокомандующим королевства. Перед лицом этой опасности она была одинока, бессильна и беззащитна. Бледная, неподвижная, вся в трауре, с которым она не расставалась со времени смерти Генриха II, она походила на привидение. В ее черных глазах была какая-то нерешительность, в которой столько раз упрекали великих политиков. Нерешительность эта проистекала от широты взгляда, которым политический деятель обычно окидывает все препятствия на своем пути, стремясь уравновесить одно другим и стараясь предвидеть все вероятные повороты событий, прежде чем сделать свой выбор. В ушах у нее стоял звон, кровь в ней кипела, но, несмотря ни на что, она продолжала сохранять полное спокойствие, как будто, глядя на бездонный ров, окружавший замок, она стремилась измерить всю глубину той политической бездны, которая разверзлась теперь перед нею. После ареста видама Шартрского это был второй из тех страшных дней ее жизни, каких потом ей пришлось пережить еще так много. Но вместе с тем это было ее последней ошибкой в науке власти. Несмотря на то, что королевский скипетр все время ускользал из ее рук, она хоте-

ла во что бы то ни стало схватить его, и ей это удалось благодаря неимоверной силе воли. Этой воли не сломило ни презрение Франциска I и его двора, при котором она значила так мало, хоть и была дофиной, ни пренебрежение Генриха II, ни отчаянное противодействие Дианы де Пуатье, ее соперницы. Ни один мужчина, вероятно, не мог бы ничего понять, глядя на эту королеву, попавшую в сети, но белокурая Мария, у которой было столько хитрости, столько ума, столько женского обаяния и уже столько жизненного опыта, стараясь казаться беспечной и напевая какую-то итальянскую песенку, неспроста внимательно разглядывала ее уголком глаз. Не догадываясь о том, какие вихри честолюбия скрывались за капельками холодного пота, выступавшими на лбу флорентинки, своенравная шотландка знала, что назначение на новый пост ее дяди, герцога Гиза, наполняло яростью душу Екатерины. И невестка находила особенное удовольствие в том, чтобы шпионить за свекровью, в которой она видела выскочку, интриганку, униженную, но всегда готовую отомстить. Лицо одной было сосредоточенным и печальным, даже, пожалуй, страшным из-за той мертвенной бледности итальянок, лица которых при дневном освещении бывают цвета слоновой кости и наполняются жизнью, когда зажигаются свечи. Лицо другой дышало молодостью и весельем. Шестнадцатилетняя Мария прославилась цветом своих волос — они были того редкостного светлого оттенка, который иногда встречается у блондинок. В ее свежем, задорном и будто точеном лице сверкало детское лукавство, с большою откровенностью выраженное тонко очерченными бровями, живостью взгляда, упрямым изгибом ее хорошеньких губок. В ней была какая-то кошачья грация, которой ничто — ни тюрьма, ни ужасы эшафота — не могло потом стереть. Эти две королевы — одна на самой заре своей жизни, другая в расцвете дня — составляли решительный контраст друг другу. Екатерина была грозной государыней, непроницаемой вдовой, которая жила одною только жаждой власти и не знала других страстей. Мария была шалуньей, беззаботной молодой женой; она играла своими коронами, как игрушками. Одна предвидела страшные катастрофы, знала, что Гизы будут убиты, угадывая, что только так удастся убрать людей, поднимающих головы выше трона и выше парла-

мента; наконец, она видела впереди потоки крови, льющейся долгие годы. Другая, разумеется, даже не подозревала, что она будет казнена по приговору суда. Итальянке пришла в голову удивительная мысль и немного ее успокоила.

«Если верить словам колдуньи и Руджери, царствованию этому скоро настанет конец; мое положение тогда облегчится»,— подумала она.

И вот, как это ни странно, астрология, тайная наука, забытая в наши дни, стала тогда нравственной поддержкой Екатерины до самого конца ее жизни, ибо она все больше и больше в нее верила, видя, с какой поразительной точностью сбываются предсказания звездочетов.

— Вы что-то очень мрачны, государыня? — спросила Мария Стюарт, принимая из рук Дайель и надевая на голову маленький, сшитый в обтяжку чепчик, два крылышка которого, сделанные из роскошных кружев, обрамляли у висков пряди ее белокурых волос.

Кисть художника так великолепно запечатлела эту прическу, что она стала неотъемлемой принадлежностью королевы Шотландии, хотя придумала ее именно Екатерина, когда она стала носить траур по Генриху II. Только королеве-матери прическа эта не была так к лицу, как Марии, которой она удивительно шла. И огорчение по этому поводу послужило тоже одной из причин неприязни, которую королева-мать питала к своей невестке, молодой королеве.

— Это что, упрек со стороны королевы? — спросила Екатерина, оборачиваясь к невестке.

— Я почитаю вас и не смею ни в чем упрекать,— лукаво ответила шотландка, взглянув на Дайель.

В присутствии обеих королев лицо любимой камеристки королевы Марии оставалось неподвижным, как изваяние,— одна улыбка могла ей стоить жизни.

— Могу ли я веселиться, как вы, после того как умер король, мой муж, а королевству моего сына грозит пожар?

— Женщинам не приходится много заниматься политикой,— ответила Мария Стюарт.— Это — дело моих дядей.

Момент был настолько напряженным, что эти два слова превратились в отравленные стрелы.

— Давайте взглянем лучше на наши меха, дочь моя,— иронически заметила итальянка,— мы тем самым займемся нашими настоящими делами, в то время как ваши дяди будут решать дела государства.

— Да, только надо будет участвовать в совете; мы там окажемся полезнее, чем вы думаете.

— Мы? — спросила Екатерина.— Но ведь я не знаю латыни.

— Вы тоже считаете меня такой ученой! — воскликнула Мария Стюарт.— Так вот клянусь вам, мадам, что я в эту минуту изучаю науки, чтобы потягаться с Медичи и рано или поздно узнать, как надо *врачевать* раны государства.

Стрела эта поразила Екатерину в самое сердце, напомнив ей о происхождении Медичи, родоначальником которых, по мнению одних, был врач, а по мнению других — богатый аптекарь. Королева-мать ничего не ответила. Дайель покраснела, когда ее госпожа взглянула на нее, ища одобрения, которое всякому власть имущему, в том числе и королеве, свойственно искать в своих подчиненных, когда рядом нет посторонних глаз.

— Ваши очаровательные слова, дочь моя, к сожалению, не могут излечить ни раны государства, ни раны церкви,— ответила Екатерина спокойно, холодно и с достоинством.— Знания моих предков позволяли им приобретать короны, а если в такое опасное время вы по-прежнему будете только развлекаться, вы можете потерять ваши.

В эту минуту Дайель открыла двери Кристофу, о приходе которого им сообщил сам придворный хирург тихим поскребыванием в дверь.

Реформат хотел разглядеть лицо Екатерины, притворившись смущенным, что было вполне естественным в его положении; но его поразила резвость королевы Марии, которая кинулась к картонкам, чтобы поскорее взглянуть на свой казакин.

— Ваше величество...— начал Кристоф, обращаясь к флорентинке.

В эту минуту он повернулся спиной к молодой королеве и к Дайель и, воспользовавшись тем, что обе жен-

Замок Блуа.

Портрет Екатерины Медичи. Школа Клуэ.

щины были увлечены разглядыванием мехов, решился на самый смелый шаг.

— Что вам от меня надо? — спросила Екатерина, пронзая вошедшего взглядом.

На груди у Кристофа между рубашкой и камзолом были спрятаны письмо принца Конде с изложением плана реформатов и подробные сведения об их силах. Все эти бумаги были обернуты в счет, который меховщик посылал Екатерине.

— Ваше величество,— сказал юноша,— отцу моему крайне нужны деньги. Сделайте милость, взгляните на этот счет,— добавил он, развернув бумагу и кладя поверх нее письмо Конде,—вы увидите, что вы должны ему шесть тысяч экю. Так пожалейте же нас, ваше величество!

С этими словами он протянул королеве письмо.

— Вот прочтите. Счет этот ведется с самого восшествия на престол покойного короля.

С первых же строк письмо поразило Екатерину. Она, однако, не потеряла присутствия духа и быстро свернула все бумаги в трубку, восхищаясь смелостью и хладнокровием молодого посланца. Этот героический шаг внушил ей доверие к Кристофу; она хлопнула его свитком по голове.

— Не очень-то вежливо, дружок, подавать счет раньше, чем я увидела меха. Тебе еще надо поучиться, как вести себя с женщинами. Прежде всего следует нас ублаготворить, а потом уже говорить о деньгах.

— Это что, так принято? — спросила молодая королева свою свекровь; та ничего ей на это не ответила.

— Ах, ваше величество, извините моего отца! — сказал Кристоф.— Если бы ему не нужны были деньги, я не повез бы сюда ваши меха. Вся страна на военном положении, и на дорогах так опасно, что, если бы не наши стесненные обстоятельства, я бы ни за что сюда не поехал. Кроме меня, никто не захотел рисковать.

— Он совершенно еще не искушен в жизни,— сказала Мария Стюарт, улыбнувшись.

Чтобы читатель понял всю значительность этой минуты, надо сказать, что казакин того времени был плотно облегающей тело верхней одеждой, которую женщины надевали поверх корсажа и которая, спускаясь до бедер, плотно их обтягивала. Таким образом, он защищал от холода спину, грудь и шею; изнутри казакин бывал обыч-

но подбит мехом, который обрамлял края одежды довольно широкой каймой. Примеряя свой казакин, Мария Стюарт смотрелась в большое венецианское зеркало, чтобы видеть, как он сидит сзади; благодаря этому королева-мать имела возможность развернуть пачку бумаг, которая была такой толстой, что неминуемо привлекла бы внимание ее невестки, не будь она до такой степени занята другим.

— Можно ли говорить об опасностях, когда они уже позади и когда перед тобою женщина! — сказала Мария, обращаясь к Кристофу.

— Ваше величество, я привез счет и для вас,— сказал юноша, глядя на нее и отлично играя роль простака.

Молодая королева окинула его взглядом и заметила, не обратив, однако, на это особенного внимания, что счет королеве Екатерине он вынул из-за пазухи, в то время как ее счет — из бокового кармана. К тому же в глазах юноши она не прочла того восторга, который красота ее обычно вызывала у всех на свете. Но она была так поглощена своим казакином, что даже не задумалась о том, чем могло быть вызвано такое странное равнодушие.

— Забери все это, Дайель,— сказала она своей камеристке,— а счет отдай господину де Версаль (Ломени) и скажи ему, что я велела заплатить.

— Ах, ваше величество, если не последует особого распоряжения от короля или господина гофмаршала, который сейчас там, никто не послушает ваших ласковых слов!

— Ты что-то уж очень дерзок, мой друг,— сказала Мария Стюарт.— Значит, ты не веришь словам королевы?

В эту минуту в дверях показался король. Он был в шелковых чулках, и коротких штанах, которые тогда были в моде, и в роскошном бархатном камзоле, отороченном беличьим мехом.

— Кто этот шалопай, который сомневается в ваших словах? — спросил Франциск II. Хотя в эту минуту он находился где-то довольно далеко, последние слова жены долетели до его слуха.

Дверь в кабинет была скрыта за королевской постелью. Кабинет этот получил впоследствии название старого кабинета в отличие от другого, роскошного, уве-

шанного картинами кабинета, который Генрих III устроил на противоположном конце этих покоев, со стороны зала Генеральных штатов. Спрятав убийц в старом кабинете, Генрих III послал за герцогом Гизом. Сам же он в то время, как совершалось убийство, затворился в своем новом кабинете и вышел оттуда только для того, чтобы присутствовать при последнем дыхании этого дерзновенного бельможи, против которого оказались бессильны и тюрьмы, и трибунал, и судьи, и законы страны. Историк наших дней, не знающий этих страшных обстоятельств, не сразу поймет назначение этих кабинетов и зал, которые сейчас заполнены солдатами. Сейчас какой-нибудь фурьер пишет письмо своей возлюбленной на том самом месте, где некогда сидела Екатерина, обдумывая план борьбы с врагами.

— Пройди сюда, дружок,— сказала королева-мать,— я сейчас распоряжусь, чтобы тебе заплатили. Надо, чтобы торговля процветала, а для нас деньги — это все.

— Ступай же, милый,— смеясь, добавила молодая королева,— моя августейшая мать в делах коммерции понимает больше, чем я.

Екатерина собралась уже уйти, оставив без ответа эту новую колкость. Однако потом она подумала, что и равнодушие ее может также возбудить подозрение; она остановилась и громко ответила своей невестке:

— Так же, как вы больше понимаете в делах любви.

После этого она спустилась вниз.

IX

ДРАМА, РАЗЫГРАВШАЯСЯ ВОКРУГ КАЗАКИНА

— Запри все это здесь, Дайель. Мы пойдем на совет,— сказала молодая королева своему супругу, обрадованная тем, что вопрос такой важности, как назначение главнокомандующего, будет решаться в отсутствие королевы-матери.

Мария Стюарт оперлась на руку короля. Дайель вышла первой, что-то сказала пажам, и один из них, молодой Телиньи, который потом был убит в Варфоломеевскую ночь, закричал:

— Король!

Услыхав этот возглас, оба стрелка и оба пажа вышли вперед; они направились в зал совета, следуя туда между выстроившимися придворными и фрейлинами обеих королев. Затем все члены совета собрались у двери этого зала, который расположен неподалеку от лестницы. Гофмаршал, кардинал и канцлер вышли навстречу юной королевской чете. Король и королева улыбались фрейлинам и заговаривали с теми из придворных, кто пользовался их расположением. Но молодая королева с явным нетерпением увлекала Франциска в огромный зал совета. Когда тяжелый стук аркебуз возвестил, что королевская чета уже вошла в зал, пажи снова надели свои шапочки, а присутствующие там вельможи возобновили разговор о тех важных делах, которые должны были обсуждаться в этот день.

— Киверни послан за коннетаблем и до сих пор еще не вернулся.

— Нет ни одного принца крови,— заметил другой.

— Канцлер и кардинал Турнонский обеспокоены.

— Герцог велел передать хранителю печати, чтобы он непременно присутствовал на совете. Там, по всей вероятности, будут приняты какие-то постановления.

— Как это королева-мать может оставаться в такое время у себя!

— За каждым нашим шагом будут следить,— сказал Гроло, обращаясь к кардиналу Шатильонскому.

Словом, всюду почувствовалось оживление. Одни расхаживали взад и вперед по огромному залу, другие вертелись около фрейлин той и другой королевы, как будто можно было что-то расслышать сквозь стену трех футов толщины и сквозь двери, завешанные толстыми портьерами.

Усевшись за стол, находившийся посреди этого зала и покрытый голубым бархатом, король, возле которого заняла место молодая королева, ожидал свою мать. Роберте чинил перья. Оба кардинала, канцлер, хранитель печати, гофмаршал — словом, все члены совета устремили взоры на короля, недоумевая, почему он не приглашает их садиться.

— Прикажете начать наше совещание, не дожидаясь королевы-матери? — спросил канцлер, обращаясь к молодому королю.

Оба лотарингца решили, что Екатерина не присутствует на совете по вине их племянницы и что это какая-то хитрость молодой королевы. Поймав многозначительный взгляд короля, кардинал решительно спросил его:

— Не считает ли ваше величество, что совет может начаться и без ее величества королевы-матери?

Франциск II, не смея ничего решить сам, ответил:

— Садитесь, господа.

Кардинал в немногих словах рассказал об опасностях, грозивших стране. Этот великий политик с удивительной ловкостью поставил вопрос о необходимости назначения гофмаршала верховным главнокомандующим при гробовом молчании всех собравшихся. Франциск, несомненно, почувствовал, что это какое-то посягательство на его власть, и сообразил, что его мать знает и все права короля и все опасности, которые грозят трону. Поэтому на прямой вопрос кардинала он ответил:

— Подождем королеву-мать.

Загадочное опоздание королевы Екатерины мгновенно заставило Марию Стюарт вспомнить три мелких обстоятельства и все их сопоставить, и прежде всего необычно пухлую пачку счетов, представленных ее свекрови. Как ни была юная королева поглощена в ту минуту разглядыванием мехов, ее это поразило: женщины ведь настолько хитры, что равнодушие их часто бывает напускным. Она обратила внимание и на то, что Кристоф держал эти бумаги отдельно от счетов, поданных ей.

«Для чего бы это?» — подумалось Марии.

Наконец, она вспомнила, как холодно взглянул на нее этот юноша; холодность эту она приписала его ненависти к ней, как к племяннице Гизов, и решила, что это была ненависть реформата. «Не подослан ли он гугенотами?» — подсказывал ей внутренний голос. Повинуясь первому порыву, как это свойственно всем непосредственным натурам, она воскликнула:

— Я сама схожу за королевой-матерью!

Она быстро выбежала из зала, кинулась на лестницу, к великому удивлению собравшихся придворных и фрейлин, спустилась в покои своей свекрови, пробежала переднюю, потом с осторожностью вора открыла дверь спальни Екатерины и неслышно, как тень, проскользнула по ковру; королевы-матери не оказалось нигде,

Тогда Мария решила, что свекровь скорее всего в своем великолепном кабинете, находившемся между этой комнатой и молельней. И теперь еще ясно видно, где была расположена эта молельня, которая в домашней жизни той эпохи играла такую же роль, какую в наши дни играет будуар.

Если только вспомнить, в какое страшное разрушение пришел этот замок, то кажется просто необъяснимой случайностью, что замечательные резные панели кабинета Екатерины сохранились еще до сих пор и что среди всей этой тончайшей резьбы по дереву и сейчас еще можно разглядеть следы итальянской роскоши и обнаружить те потайные убежища, которые были устроены позади них королевой-матерью. Больше того, точное описание их расположения необходимо, чтобы понять все, что произошло в этих стенах. Там насчитывалось тогда около ста восьмидесяти маленьких продолговатых панелей, из которых около сотни сохранилось и посейчас. Все украшающие их разнообразные арабески созданы, по-видимому, под влиянием прелестнейших творений итальянского искусства. Панели эти сделаны из вечнозеленого дуба. Красная краска, обнаруженная под слоем извести, которой все было забелено по случаю угрозы холеры и которая ни в какой степени от нее не спасала, указывает на то, что фон этих панелей был в свое время покрыт позолотой. Кое-где остались места, не покрытые известью, и это позволяет думать, что отдельные арабески выделялись среди позолоты своей синей, красной и зеленой окраской. Панелей этих очень много; им намеренно придано сходство между собою, чтобы посторонний глаз не мог их отличить друг от друга. Сомневаться в преднамеренности этого не приходится: сторож замка, выставляя память Екатерины на поношение людям нашего времени, показывает посетителям под этими панелями на уровне пола довольно увесистую плиту, которая поднималась с помощью искусно подведенных под нее пружин. Нажав на незаметную для глаз кнопку, королева могла открывать известные ей одной панели, под которыми в стене были устроены тайники, по длине равные этим панелям, и во всяком случае, достаточно глубокие. Даже в наши дни самый искушенный глаз только с трудом находит среди всего множества панелей ту, которую нужно. Но со-

вершенно ясно, что для человека, внимание которого поглощено искусным сочетанием ярких красок с позолотой, маскирующих каждую щель, обнаружить одну или две панели среди двухсот других — вещь совершенно невозможная.

В ту минуту, когда Мария Стюарт коснулась рукой довольно замысловатого замка кабинета Екатерины, итальянка, успевшая уже познакомиться с грандиозными планами принца Конде, нажала скрытую в каменной плите кнопку, и одна из панелей откинулась. Королева-мать собиралась в эту минуту спрятать лежавшие на столе бумаги и проследить за тем, чтобы тайный посланец мог безопасно вернуться. Услыхав, что дверь отворилась, она сразу же догадалась, что явиться так, без предупреждения, могла только королева Мария.

— Ты погиб,— сказала она Кристофу, видя, что теперь она уже не успеет спрятать бумаги и быстро закрыть тайник и что все раскрыто.

Кристоф взглянул на нее полным благородства и решимости взглядом.

— Povero mio![1]— прошептала Екатерина, прежде чем повернуться к своей невестке.— Нас предали, и вот кто предатель! — закричала она.— Позовите сюда кардинала и герцога! Пусть сию же минуту его задержат,— сказала она, указывая на Кристофа.

Эта сообразительная женщина сразу решила, что ей следует выдать несчастного юношу: спрятать его она не могла, спасти его тем более было немыслимо. Это еще можно было бы сделать, если бы он явился неделю тому назад, но как раз в то самое утро Гизы уже узнали о заговоре: они, по-видимому, перехватили те списки, которые она сейчас держала в руках, и теперь готовили ловушку для реформатов. Поэтому королева-мать, обрадованная тем, что ее противники оказались людьми достаточно проницательными и оправдали ее ожидания, тем не менее вменила себе в заслугу раскрытие их замысла — политические соображения этого требовали.

Весь этот жестокий расчет был делом нескольких мгновений, пока молодая королева открывала дверь. В первую минуту Мария Стюарт не произнесла ни слова.

---

[1] Бедняжка *(итал.)*.

Взгляд ее утратил прежнюю веселость и приобрел особую проницательность, которая обычно появляется во взглядах людей, охваченных подозрениями, и которая была особенно заметна, потому что лицо молодой королевы переменило выражение за один миг. Она переводила взгляд с королевы-матери на Кристофа и с Кристофа на королеву-мать. Потом она позвонила. Явилась одна из фрейлин Екатерины.

— Мадмуазель де Руэ, позовите сюда дежурного капитана,— сказала Мария Стюарт. Она нарушала этикет, но на этот раз необходимость требовала им пренебречь.

В то время как молодая королева отдавала этот приказ, Екатерина впилась глазами в Кристофа. Взгляд ее говорил: «Мужайся!» Реформат его понял и ответил ей взглядом, означавшим: «Жертвуйте мною так же, как пожертвовали *они*!».

«Надейся на меня»,— знаком сказала ему Екатерина. После этого она принялась разглядывать бумаги. Невестка ее обернулась.

— Ты что, реформат? — спросила она Кристофа.

— Да, ваше величество,— ответил он.

— Значит, я не ошиблась,— пробормотала она, встретив во взгляде реформата все то же смирение, за которым скрывалась холодная ненависть.

Явился Пардальян; его послали сюда оба лотарингца и сам король; вслед за этим верным слугою Гизов шел вызванный Марией Стюарт капитан.

— Передайте от моего имени королю, гофмаршалу и кардиналу, чтобы они шли сюда, и скажите им, что я не позволила бы себе вызывать их, если бы обстоятельства этого не требовали. Ступайте, Пардальян. А ты, Льюистон, карауль этого предателя-реформата,— сказала она шотландцу на своем родном языке, указывая на Кристофа.

Молодая королева и королева-мать хранили молчание до прихода Лотарингцев и короля. Это были ужасные минуты.

Мария Стюарт невольно открыла свекрови во всей полноте ту роль, которую оба дяди заставили ее играть; ее постоянная и вошедшая в привычку неуверенность в себе была вдруг обнаружена, и, как она ни была молода, она отлично понимала, что во всем этом было что-то не-

достойное настоящей государыни. Что же касается Екатерины, то она выдала себя из страха: она боялась, что ее скомпрометируют, и трепетала за свое будущее. Обе королевы: одна — пристыженная и гневная, другая — исполненная ненависти и спокойная — подошли к амбразуре окна и облокотились на подоконник, одна справа, другая слева; взгляды их так ясно выражали обуревавшие их чувства, что они обе опустили глаза, а потом, притворяясь друг перед другом, стали смотреть на небо. Обе эти замечательные женщины в ту минуту опустились до уровня самых заурядных мещанок. Может быть, впрочем, так бывает каждый раз, когда обстоятельства подавляют человека. Перед большой катастрофой бывают минуты, когда даже гений ощущает свое ничтожество. Что же касается Кристофа, то он чувствовал, что летит куда-то в бездну. Льюистон, шотландский капитан, хранил молчание. Он взирал на сына меховщика и на обеих королев с чисто солдатским любопытством. Появление молодого короля и его двух дядей положило конец этой тягостной сцене. Кардинал направился прямо к королеве.

— Все нити заговора еретиков в моих руках: они послали ко мне этого мальчишку и поручили ему передать мне свое послание и вот эти документы,— сказала Екатерина вполголоса.

В то время как Екатерина объяснялась с кардиналом, Мария сказала несколько слов на ухо гофмаршалу.

— Что случилось? — спросил молодой король, который остался одиноким среди этих неистовых страстей, столкнувшихся друг с другом.

— Доказательства того, о чем я докладывал вашему величеству, не заставили себя ждать,— сказал кардинал, схватив бумаги.

Герцог Гиз отвел брата в сторону и, не прерывая его речи, сказал ему на ухо:

— Ну, отныне я верховный главнокомандующий, противиться никто не станет.

Вместо ответа кардинал многозначительно посмотрел на брата: взгляд этот говорил о том, что он уже знал, как использовать в своих целях ложное положение Екатерины.

— Кто тебя послал сюда? — спросил герцог Кристофа.

— Шодье, проповедник.

— Юноша, ты лжешь,— живо возразил ему герцог,— тебя послал принц Конде!

— Принц Конде, монсеньер? — с изумленным видом повторил Кристоф.— Я его и в глаза не видел. Я занимаюсь юриспруденцией у господина де Ту, я служу у него секретарем, и он даже не знает, что я принадлежу к Реформации. Склонил меня на это только проповедник.

— Довольно,— сказал кардинал.— Позовите господина Роберте,— приказал он Льюистону,—этот желторотый плут оказался хитрее старых политиков: он обманул и брата и меня; я готов был поверить, что он безгрешен.

— Черт возьми, это же не ребенок! — вскричал герцог.— Ну, теперь мы поговорим с тобой, как со взрослым.

— Эти люди хотели привлечь на свою сторону вашу августейшую мать,— сказал кардинал, обращаясь к королю и стараясь отвести его в сторону, чтобы заставить его действовать по своей указке.

— Увы,— сказала королева сыну, принимая вид оскорбленного достоинства и останавливая короля в ту минуту, когда кардинал уводил его в молельню, чтобы излить на него весь яд своего красноречия,— вот к чему привело положение, в которое меня поставили; они считают меня недовольной тем, что вы отстранили меня от всех дел, меня, мать четырех принцев из дома Валуа.

Молодой король насторожился. Мария Стюарт, видя, что ее супруг нахмурился, взяла его под руку и увела в амбразуру окна. Там она заговорила с ним вполголоса, называя его, должно быть, ласковыми именами, как час тому назад, когда он вставал с постели. Лотарингцы просматривали бумаги, полученные из рук Екатерины. Обнаружив в них сведения, которые были неизвестны их шпионам и г-ну де Брагелону, следователю тюрьмы Шатле, они готовы были поверить в искренность Екатерины Медичи. Явившийся вслед за тем Роберте получил секретные распоряжения относительно Кристофа. Тогда за юным реформатом, ставшим послушным исполнителем воли своих вождей, пришли четверо шотландских гвардейцев; они отвели его вниз и отдали в распоряжение

верховного прево, господина де Монтрезор. Этот страшный человек сам в сопровождении пятерых сержантов повел Кристофа в дворцовую тюрьму, расположенную под сводами башни, в настоящее время уже разрушенной. Сторож замка Блуа показывает вам эти развалины, и вы видите места, где в прежнее время находились тюремные камеры.

После подобного происшествия заседание государственного совета уже не могло идти своим чередом: оно стало только видимостью. Король, молодая королева, гофмаршал, кардинал Лотарингский вернулись в зал. С ними вместе туда вошла и побежденная Екатерина; все, что она говорила, свелось к простому одобрению тех постановлений, принятия которых требовали Лотарингцы. Несмотря на некоторое сопротивление канцлера Оливье, единственного лица, в словах которого слышалась необходимая в его положении самостоятельность, герцог Гиз был назначен верховным главнокомандующим королевства. Роберте принес указ о его назначении с такою поспешностью, которая свидетельствовала не только о его преданности, но и о его соучастии в этом деле.

Взяв под руку королеву-мать, король снова прошел через кордегардию и известил двор, что на следующий день он уезжает в замок Амбуаз. Эта резиденция пустовала с тех пор, как Карл VIII нашел в ней смерть: забыв нагнуться, он нечаянно ударился о карниз двери, который по его распоряжению украшали резьбой. Для того, чтобы замыслы Гизов оставались скрытыми, Екатерина объявила, что собирается закончить отделку замка Амбуаз для короля одновременно с отделкою замка в Шенонсо. Но выдумке этой никто не поверил. Двор ожидал больших событий.

X
ПЫТКА

Проведя около двух часов в темной камере, Кристоф в конце концов разглядел, что стены ее были обшиты неотесанными досками, которые, однако, были достаточно толстыми, чтобы в помещение не проникала сырость. Дверь была не больше, чем в свинарнике, и, чтобы вой-

ти в камеру, юноше пришлось низко нагнуться. Рядом с этой дверью было большое окно с решеткой, выходившее в коридор, откуда в камеру поступало немного воздуха и света. Расположение камер в этой тюрьме было настолько похоже на расположение венецианских подземелий, что не оставляло сомнения в том, что строитель замка Блуа принадлежал к той венецианской школе, которая в средние века поставляла архитекторов для всей Европы. Кристоф стал ощупывать стены и под деревянными панелями обнаружил кирпичную кладку; постучав по стене, чтобы узнать ее толщину, он с удивлением услышал чей-то ответный стук.

— Кто вы такой? — спросил его сосед, голос которого доносился через коридор.

— Я Кристоф Лекамю.

— А я,— отвечал голос,— капитан Шодье, брат проповедника. Меня арестовали сегодня ночью в Божанси. Но, к счастью, против меня нет никаких улик.

— Все раскрыто,— сказал Кристоф.— Теперь вы избавлены от участия в схватке.

— У нас сейчас собрано три тысячи человек в ванdomских лесах, чтобы захватить короля и королеву-мать во время пути. К счастью, Ла Реноди оказался хитрее меня, он спасся. Нас захватили сразу же после того, как мы с вами расстались.

— Но я не знаю никакого Ла Реноди...

— Как бы не так! Брат мне все рассказал,— ответил капитан.

После этих слов Кристоф сел на скамью и не стал отвечать ни на один из вопросов, которые ему задавал человек, называвший себя капитаном Шодье: он достаточно хорошо знал судейских, чтобы понимать, как осторожно следует вести себя в тюрьме. Глубокой ночью он вдруг услыхал грохот тяжелых замков — это открывали железную дверь подземелья. Вслед за этим он увидел, что коридор озарился бледным светом фонаря. Сам верховный прево явился за Кристофом. Это неожиданное внимание к человеку, которого бросили в тюрьму и даже не сочли нужным накормить, поразило Кристофа. Но хлопоты по случаю переезда двора помешали о нем вспомнить. Один из сержантов верховного прево связал ему веревкой руки и держал его за эту веревку до тех пор,

пока они не пришли в одно из низких помещений замка Людовика XII, по-видимому, служившее передней чьих-то апартаментов. Сержант и верховный судья посадили его на скамью, после чего сержант связал ему ноги, точно таким же образом, как были связаны руки. По знаку г-на де Монтрезора сержант вышел из комнаты.

— Выслушай меня внимательно, друг мой,— сказал Кристофу верховный судья, играя цепью Святого духа; он был в парадном одеянии, несмотря на столь поздний час.

Обстоятельства этого ночного вызова заставили сына меховщика призадуматься. Кристоф ясно увидел, что не все еще окончено. Ясно было, что пока еще его не собирались ни вешать, ни судить.

— Друг мой, ты можешь спасти себя от ужасных мучений, сказав сейчас все, что знаешь о связях принца Конде с королевой Екатериной. Ты не только будешь избавлен от страданий, но ты сможешь поступить на службу к верховному главнокомандующему, которому очень понравилось твое лицо. Королеву-мать отправят во Флоренцию, а принца Конде будут судить. Итак, верь мне: люди маленькие должны быть преданными своим великим правителям. Расскажи мне все, и положение твое улучшится.

— Увы, сударь,— отвечал Кристоф,— мне нечего рассказывать; все, что я знал, я уже рассказал господам Гизам в покоях королевы. Шодье уговорил меня передать бумаги королеве-матери, уверив меня, что дело идет о том, чтобы предотвратить войну.

— Так ты никогда не видел принца Конде?

— Никогда,— ответил Кристоф.

После этих слов г-н Монтрезор покинул Кристофа и отправился в соседнюю комнату. Но Кристоф недолго пребывал в одиночестве. Дверь, через которую его ввели, вскоре открылась, и в комнату вошло несколько человек; они оставили дверь неприкрытой, и со двора через нее доносился шум, не предвещавший ничего хорошего. Начали втаскивать какие-то доски и механизмы, по-видимому, это были орудия пыток, которым готовились подвергнуть посланца реформатов. Все эти приготовления, делавшиеся на глазах Кристофа, привлекли его внимание и заставили глубоко задуматься. Двое плохо

одетых грубых слуг выполняли распоряжения толстого, крепкого, коренастого человека. Войдя в комнату, человек этот посмотрел на Кристофа так, как людоед разглядывает свою жертву. Он смерил его глазами с головы до ног и с видом знатока прикинул его силы, чтобы определить, крепок ли он и долго ли сможет выдержать пытку. Это был палач тюрьмы Блуа. Его люди, часто переезжавшие с ним с места на место, привезли с собою матрац, деревянные молотки, угольники, доски и предметы, назначение которых было совершенно непонятно нашему несчастному юноше. Однако все они, по-видимому, предназначались для него, и у Кристофа кровь застывала в жилах от страшной, хотя пока еще и смутной догадки. Г-н де Монтрезор вернулся, и вслед за ним вошли еще двое людей.

— Значит, ничего еще не готово,— сказал верховный прево, с которым пришедшие почтительно поздоровались.— А ведь знаете,— добавил он, обращаясь к палачу и его двум помощникам,— господин кардинал уверен, что вы уже начали. Доктор,— сказал он одному из только что явившихся людей,— вот ваш человек.

И он указал на Кристофа.

Врач направился прямо к заключенному, развязал ему руки и хлопнул его по груди и по спине. Медицина должна была сказать свое властное слово, подтверждающее глазомер палача.

Тем временем слуга, одетый в ливрею дома Гизов, принес несколько кресел, стол и письменные принадлежности.

— Начинайте допрос,— сказал г-н де Монтрезор, указывая на стол одному из пришедших, одетому во все черное. Это был секретарь суда.

После этого он снова подошел к Кристофу и очень мягко сказал ему:

— Друг мой, канцлер, узнав, что ты отказываешься должным образом ответить на вопросы, приказал, чтобы ты был подвергнут пытке обычной и чрезвычайной.

— Здоров он? Выдержит? — спросил секретарь у врача.

— Да,— ответил медик. Это был один из врачей Лотарингского дома.

— Хорошо, тогда ступайте в соседнюю комнату. Мы

будем вас вызывать каждый раз, когда вы понадобитесь.

Врач вышел.

Когда первый испуг прошел, Кристоф собрал все свои силы: час пытки настал. С этой минуты он с холодным любопытством стал глядеть на все приготовления, которые делали палач и его помощники. После того как они внесли и установили кровать, они стали поспешно устанавливать так называемые *испанские сапоги*. Это был механизм, состоящий из нескольких досок. Ноги истязуемого помещали между этими досками, причем каждая нога заворачивалась в маленький матрасик. После этого обе ноги укладывали рядом. Тот, кто видел пресс, в который переплетчики укладывают книги, зажимая их между двумя досками и связывая веревкой, может себе представить, в каком положении находилась в этой машине та и другая нога. Всякий поймет, что получалось, когда между обоими укрепленными неподвижно с помощью канатов *сапогами*, в которые вставлены ноги, ударом молота вгонялся клин. Клинья эти вбивались на уровне коленных чашечек и возле лодыжек: делалось все так, как будто это было полено, которое предстояло расколоть. Оба эти места лишены мышечного покрова; клин, углубляясь, давит прямо на кости, и боль становится невыносимой. При обычной пытке забивали четыре клина: два — в лодыжки и два — в колени. Но при пытке чрезвычайной число их достигало восьми, если только врачи это допускали. В ту эпоху испанские сапоги надевались также и на руки. Однако на этот раз, ввиду того что приходилось торопиться, кардинал, верховный главнокомандующий и канцлер обошлись без этого. Допрос начался. Верховный прево продиктовал несколько фраз; расхаживая взад и вперед с задумчивым видом, он осведомился о точном имени Кристофа, о его возрасте и профессии. Потом он спросил, от кого Кристоф получил те бумаги, которые он передал королеве.

— От проповедника Шодье,— ответил юноша.

— А где он тебе их передал?

— У меня дома, в Париже.

— А когда он передавал эти бумаги, он говорил, что королева-мать примет тебя благосклонно?

— Нет, ничего этого он мне не говорил,— ответил

Кристоф.— Он только просил меня вручить их королеве Екатерине с глазу на глаз.

— Выходит, что ты часто встречался с Шодье, если ему было так хорошо известно о твоей поездке?

— От меня он мог только знать, что я везу королевам меха и что от имени моего отца я должен востребовать те деньги, которые ему должна королева-мать. Мне некогда было расспрашивать его, от кого он это узнал.

— Но ведь в бумагах, которые тебе доверили незапечатанными, содержался план сговора между мятежниками и королевой Екатериной. Ты не мог не знать, что за них тебя будут пытать, как пытают участников восстания.

— Да, я это знал.

— Люди, которые склонили тебя совершить эту измену, должно быть, обещали тебе награду и поддержку королевы-матери.

— Я все это сделал из чувства преданности к Шодье, единственному человеку, которого я видел.

— Ты, что же, продолжаешь упорствовать, утверждая, что не знаешь принца Конде?

— Да.

— А разве принц Конде не говорил тебе, что королева-мать готова действовать заодно с ним против господ Гизов?

— Я никогда не видел принца Конде.

— Берегись! Один из участников заговора, Ла Реноди, уже арестован. Как он ни был силен, он не устоял против пытки, которая ждет и тебя, и он в конце концов показал, что у него и у принца Конде было свидание с тобой. Если ты хочешь избежать всех мучений, которые тебе готовит пытка, я призываю тебя сказать правду. Может быть, тогда тебя даже помилуют.

Кристоф ответил, что не может утверждать того, чего никогда не знал, и приписывать себе сообщников, которых у него никогда не было. Услышав эти слова, верховный прево сделал знак палачу и вышел в соседнюю комнату. Кристоф понял этот знак: он наморщил лоб, нахмурил брови и приготовился терпеть муки. Он со страшной силой сжал кулаки и даже не почувствовал, что ногти впиваются в тело. Три человека подхватили его, перенесли на походную кровать и положили на нее так, что обе ноги

остались висеть в воздухе. В то время как палач привязывал его к столу крепкими веревками, помощники его укладывали ноги Кристофа в испанские сапоги. Вскоре с помощью особого приспособления веревки были затянуты, и так, что юноша не испытал при этом большой боли. Когда и та и другая нога были зажаты как бы в тиски, палач схватил молот и клинья и посмотрел сначала на истязуемого, а потом на секретаря.

— Ты по-прежнему все отрицаешь? — спросил секретарь.

— Я сказал правду,— ответил Кристоф.

— Что же, надо начинать,— сказал секретарь и зажмурил глаза.

Веревки стянули со страшной силой. Эти минуты были, пожалуй, самыми мучительными изо всей пытки: мягкие части ног за одно мгновение были стиснуты, вся кровь прилила к верхней части тела. Бедняга не мог удержаться, чтобы не закричать, казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Позвали врача. Он пощупал пульс Кристофа и сказал, что надо подождать около четверти часа, прежде чем начать забивать клинья, чтобы кровь отлила от головы и к истязуемому вернулась прежняя чувствительность. Секретарь милостиво разъяснил Кристофу, что если у него с самого начала не хватает силы выдерживать муки, избежать которых все равно нельзя, лучше пусть он признается во всем сразу. Но единственными словами, произнесенными Кристофом, были:

— *Королевский портной! Королевский портной!*

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил его секретарь.

— Видя, какие пытки мне предстоит вынести,— тихо сказал Кристоф, чтобы выиграть время и немного передохнуть,— я собираю все мои силы и стараюсь умножить их, вспоминая те мучения, которые перенес за святое дело Реформации портной покойного короля, которого пытали в присутствии герцогини де Валантинуа и короля; я постараюсь быть достойным его.

В то время как врач уговаривал несчастного не вынуждать палача прибегать к крайним средствам, пришли герцог и кардинал, снедаемые нетерпением узнать результаты допроса. Они потребовали, чтобы Кристоф немедленно сказал всю правду. Сын меховщика повторил то

немногое, что он решил сказать, и по-прежнему никого не назвал, кроме Шодье. Братья дали знак. По этому знаку палач и его первый помощник схватили молотки, каждый взял по клину и вбил его между зажатыми в тиски ногами Кристофа, один справа, другой слева. Палач стоял на уровне его колен, помощник — возле лодыжек. Глаза всех свидетелей этого ужасного истязания устремились на Кристофа, а юноша, в котором закипела кровь при виде Гизов, бросал на них сверкающие, огненные взгляды. Когда забили еще два клина, он испустил страшный стон. Когда же он увидел, что палачи берутся за клинья, предназначенные для пытки *чрезвычайной*, он замолк. Но взгляд его стал таким пронзительным, таким беспощадным, он источал на обоих братьев такую силу, что герцог и кардинал невольно опустили глаза. То же самое произошло с Филиппом Красивым, когда он велел в своем присутствии подвергнуть тамплиеров пытке чеканного пресса. Пытка эта состояла в том, что истязуемого ударяли в грудь коленами пресса, которым чеканили монеты; на каждое из колен были надеты кожаные наконечники. Один из рыцарей посмотрел тогда на короля таким пронзительным взглядом, что король, как завороженный, не мог оторвать от него глаз. После третьего удара железного стержня король вышел,— ему послышалось, что его вызывают на суд божий. Когда стали забивать пятый клин, с которого начиналась *чрезвычайная пытка*, Кристоф сказал кардиналу:

— Ваше преосвященство, велите прекратить пытку, она ни к чему не приведет.

Кардинал и герцог вернулись в зал, и в эту минуту Кристоф услыхал слова королевы Екатерины:

— Продолжайте, что бы там ни было,— перед вами еретик!

Она сочла нужным показать, что относится к своему сообщнику еще строже, чем его палачи.

Забили шестой и седьмой клин; Кристоф ни разу не застонал; глаза его сияли лучезарным блеском, восторг фанатика придавал ему неимоверную силу. Чем же еще можно объяснить подобную стойкость, сломить которую не могут никакие страдания, если не чувством? Когда палач взялся за восьмой клин, на лице Кристофа по-

явилась улыбка. Эта страшная пытка продолжалась уже целый час.

Секретарь пошел за врачом, чтобы узнать, можно ли вбивать восьмой клин, не подвергая опасности жизнь истязуемого. В это время в комнату снова вошел герцог.

— Черт возьми! Ты, видно, парень крепкий,— сказал он, наклонившись к уху Кристофа.— Люблю храбрых людей. Поступай ко мне на службу, ты будешь счастлив и богат, я сумею залечить раны на твоем истерзанном теле. Не думай, что я собираюсь уговаривать тебя совершить предательство — возвращаться к реформатам, а потом выдавать нам их планы; предатели всегда найдутся; доказательством этому тюрьмы замка Блуа. Скажи мне только, в каких отношениях королева с принцем Конде.

— Ваша светлость, я ничего об этом не знаю! — вскричал Лекамю.

Пришел врач. Он осмотрел несчастного и сказал, что он может выдержать восьмой клин.

— Забейте его,— приказал кардинал.— В конце концов, как верно заметила королева, это всего-навсего еретик,— добавил он, глядя на Кристофа, и на лице его заиграла отвратительная улыбка.

Медленным шагом Екатерина вышла из соседнего зала, остановилась возле Кристофа и холодно на него поглядела. Оба брата сразу же воззрились на нее, то и дело переводя взгляд с королевы-матери на заговорщика. Все будущее этой честолюбивой женщины зависело от того, как она поведет себя в эту решительную минуту: мужество Кристофа наполняло ее сердце восторгом, но глядела она на него сурово. Гизов она ненавидела, но приветливо им улыбалась.

— Что же,— сказала она юноше,— признавайся, ты виделся с принцем Конде, и тебя щедро вознаградят.

— Государыня, подумайте о том, какой совет вы даете! — воскликнул Кристоф, готовый ее пожалеть.

Королева задрожала.

— Он меня оскорбляет! Его надо повесить! — сказала она братьям Гизам, которые стояли, задумавшись.

— Что за женщина! — воскликнул герцог, стоя в амбразуре окна и бросая на брата многозначительный взгляд.

«Я останусь во Франции и еще сумею им отомстить»,— подумала королева.

— Продолжайте, и пусть он признается или умрет! — воскликнула она, обращаясь к г-ну де Монтрезору.

Верховный прево повернулся к Кристофу; палачи занялись своим делом; Екатерина улучила минуту и бросила на юношу взгляд, который, кроме него, никто не мог видеть. Взгляд этот был для Кристофа живительной росой. Ему показалось, что в глазах этой великой женщины он видит слезы. И действительно, в них появились две слезинки, которым она не дала скатиться. Начали забивать клин; в это время одна из досок сломалась. Кристоф издал ужасающий крик, после которого снова утих, и лицо его засияло: он думал, что это смерть.

— Пусть он умрет! — воскликнул кардинал, повторяя как будто с иронией последние слова королевы.— Нет! Не будем обрывать эту нить,— сказал он верховному судье.

Герцог и кардинал стали вполголоса совещаться между собой.

— Что с ним теперь делать? — спросил палач.

— Отправьте его в Орлеанскую тюрьму,— сказал герцог,— но только,— добавил он,— не вешайте его без моего приказа.

Чтобы выдержать пытку, Кристофу приходилось напрягать все свои силы, поэтому все чувства его обострились до крайнего предела, и он сумел расслышать следующие слова, которые герцог Гиз сказал на ухо кардиналу:

— Я еще не отказался от мысли выведать у этого молодца всю правду.

Когда Гизы ушли, палачи без всяких предосторожностей высвободили ноги своей жертвы.

— Видали вы когда-нибудь человека с такой силой воли? — сказал палач своим помощникам.— Этот упрямец выдержал восьмой клин, он мог умереть, и мне бы ничего за него не заплатили.

— Развяжите меня и перестаньте мучить, друзья мои,— сказал совершенно обессиленный Кристоф.— Когда-нибудь я сумею вас вознаградить.

— Да, пожалейте его! — воскликнул врач.— Герцог обеспокоен его участью и поручил его моим заботам.

— Я еду сейчас с моими помощниками в Амбуаз,— пробурчал палач,— занимайтесь им сами. А вот и тюремщик.

Палач ушел, оставив Кристофа на попечении врача, который всячески выражал ему свое притворное сочувствие и с помощью будущего тюремщика Кристофа положил юношу на кровать, заставил его выпить бульон, а потом уселся возле него, пощупал его пульс и стал успокаивать.

— Вы не умрете,— сказал он ему.— Вам должно быть радостно на душе оттого, что вы исполнили свой долг. Королева поручила мне заботиться о вас,— еле слышно добавил он.

— Королева действительно очень добра,— сказал Кристоф. После этих сверхчеловеческих страданий он ощущал какую-то удивительную внутреннюю просветленность, понимая, что самые страшные муки уже позади, и стараясь только теперь ничем себя не выдать.— Но королева могла бы спасти меня от страшных истязаний, не допустив, чтобы меня передали в руки моих врагов: она могла бы сообщить им те тайны, которых я не знаю.

Когда врач услышал эти слова, он тут же оделся и ушел, решив, что от человека такой закалки все равно ничего не добиться.

Смотритель тюрьмы Блуа распорядился, чтобы несчастного положили на носилки. Четверо солдат отнесли его в городскую тюрьму, где он впал в глубокое забытье, подобное тому сну, который, как известно, всегда почти приходит к женщине после пережитых ею родовых мук.

XI
МЯТЕЖ В АМБУАЗЕ

Переселив двор в замок Амбуаз, Лотарингцы никак не ожидали, что увидят там главу реформатов принца Конде, которому был послан вызов от имени короля, чтобы заманить его в западню. Будучи вассалом короля и принцем крови, Конде должен был подчиниться королевскому приказанию. Его отказ явиться в Амбуаз сочли бы изменой, но, явившись туда, он всецело отдавал себя во власть короля. А ведь в это время и король, и совет, и

двор — все было в руках герцога Гиза и кардинала Лотарингского. В этой трудной ситуации принц Конде проявил столько решимости и столько хитрости, что оказался достойным исполнителем воли Жанны д'Альбре и настоящим вождем реформатов. Он поехал в Вандом, все время держась позади заговорщиков, чтобы в случае успеха сразу же поддержать их. После того как, взявшись за оружие, реформаты при первой же схватке потерпели поражение и весь цвет французской знати, захваченный в сети Кальвина, погиб, принц Конде в сопровождении пятидесяти дворян прибыл в замок Амбуаз. Он явился туда на следующий день после упомянутого события, которое Лотарингцы, будучи хитрыми политиками, назвали мятежом в Амбуазе. Узнав о приезде принца, герцог и кардинал выслали ему навстречу маршала Сент-Андре в сопровождении сотни солдат. Когда Беарнец и его эскорт появились у ворот Амбуаза, маршал не разрешил свите принца переступить порог замка.

— Вам следует войти в замок одному, монсеньер,— сказали принцу канцлер Оливье, кардинал Турнонский и Бирага, которые находились по ту сторону рва.

— Почему?

— Вас подозревают в измене.

В эту минуту гвардия герцога Немурского окружила свиту принца. Тогда он спокойно ответил:

— Если так, я войду к кузену один и докажу ему, что ни в чем не повинен.

Он спешился и завязал самый непринужденный разговор с Бирагой, кардиналом Турнонским, канцлером Оливье и герцогом Немурским, прося их рассказать ему все подробности недавнего мятежа.

— Ваше высочество,— сказал герцог Немурский,— у мятежников были в Амбуазе свои люди. Капитан Лану имел здесь отряд вооруженных солдат: они-то и открыли им эти ворота. Реформаты вошли в город и овладели им...

— Вы хотите сказать, что им была устроена западня? — сказал принц, глядя на Бирагу.

— Если бы только состоялось нападение на ворота Бонзом, которое собирался осуществить капитан Шодье, брат парижского проповедника, мятежники непременно одержали бы верх,— ответил герцог Немурский.— Но по приказу герцога Гиза я занял столь выгодную позицию,

что капитану Шодье пришлось отступить, чтобы избежать боя. Вместо того, чтобы прибыть сюда глубокой ночью со всеми остальными, капитан явился только на заре, когда королевское войско уже одолевало вторгшихся в город мятежников.

— А разве у вас были еще войска в засаде, чтобы овладеть воротами, которые открыли врагу?

— Да, был еще маршал Сент-Андре и с ним полтораста человек его конницы.

Принц заявил, что такая распорядительность достойна самых высоких похвал.

— Но, чтобы привести в исполнение весь этот план,— добавил он,— герцог должен был хорошо знать все тайные замыслы реформатов. Совершенно ясно, что их кто-то предал.

Принца Конде встретил суровый прием. Как только он вступил в пределы замка, его разлучили со свитой, а когда он направился к лестнице, ведущей в покои короля, кардинал и канцлер преградили ему путь.

— Ваше высочество, король приказал проводить вас в отведенные для вас апартаменты.

— Разве я арестован?

— Если бы король собирался это сделать, вас не сопровождали бы ни его преосвященство, ни я,— ответил канцлер.

Оба они проводили принца в апартаменты, где к нему были приставлены гвардейцы якобы в качестве почетного караула. Он просидел так несколько часов, никого не видя. Он смотрел в окно на Луару и на чудесные луга, расположенные вокруг, и обдумывал свое положение, спрашивая себя, что предпримут по отношению к нему Лотарингцы, как вдруг услыхал, что дверь отворилась и в комнату вошел королевский шут Шико, ранее принадлежавший ему.

— Я слышал, что ты в немилости,— сказал принц.

— Вы не представляете себе, как поумнел весь двор после кончины Генриха II.

— Да, но королю-то хочется иногда посмеяться.

— Какому королю? Франциску II или Франциску Лотарингскому?

— Видно, ты не боишься герцога, если произносишь такие слова.

— Он не станет меня за них наказывать, ваше высочество,— улыбаясь, ответил Шико.

— А чего ради ты оказал мне честь своим посещением?

— А разве вы ее не заслужили тем, что сюда приехали? Я принес вам мою погремушку и мой колпак.

— Значит, мне нельзя уйти отсюда?

— Попытайтесь.

— А если мне это удастся?

— Тогда я скажу, что вы выиграли, нарушив правила игры.

— Ты меня пугаешь, Шико... Тебя, должно быть, послал кто-нибудь, кто интересуется мною?

В ответ Шико кивнул головой. Он подошел совсем близко к принцу и дал ему понять, что их подслушивают и за ним следят.

— Что же ты мне скажешь? — спросил принц Конде.

— Что одна только смелость может вас теперь спасти,— я передаю вам это от королевы-матери,— ответил шут на ухо принцу.

— Передай тем, кто тебя послал,— ответил принц,— что если бы мне было в чем себя упрекнуть и если бы я чего-нибудь боялся, я не был бы сейчас в замке.

— Я сейчас побегу и передам ваш смелый ответ! — воскликнул шут.

Прошло около двух часов. В час дня, незадолго до королевского обеда, канцлер и кардинал Турнонский пришли за принцем, чтобы проводить его к Франциску II, находившемуся в большой галерее, где перед этим заседал совет. Принца Конде поразила холодность, с которой его встретил король на глазах у всего двора, и он спросил, чему ее приписать.

— Любезный брат,— сурово возразила ему королева-мать,— вас обвиняют в том, что вы замешаны в заговоре реформатов, и, если вы не хотите навлечь на ваш дом гнев короля, вам следует доказать, что вы его верный слуга и добрый католик.

Услыхав эти слова, произнесенные среди всеобщего молчания Екатериной, опиравшейся на руку сына, в то время как слева от нее стоял герцог Орлеанский, принц с гордым видом отступил на три шага назад, взялся за рукоятку шпаги и поглядел на всех собравшихся в зале.

— Тот, кто это говорит, ваше величество,— в гневе воскликнул он,— нагло лжет!

Он бросил к ногам короля перчатку, говоря:

— Пусть тот, кто собирается подтвердить эту клевету, выходит вперед!

Всех присутствующих охватил трепет, когда они увидели, что герцог Гиз сошел со своего места. Но вместо того чтобы, как все этого ждали, поднять перчатку, он направился к бесстрашному горбуну.

— Если вам нужен секундант, принц, то окажите мне эту честь,—сказал он.— Я отвечаю за вас, и вы покажете реформатам, как они заблуждаются, собираясь провозгласить вас своим вождем...

Принц был вынужден протянуть герцогу руку. Шико поднял перчатку и передал ее принцу Конде.

— Кузен,— сказал юный король,— беритесь за шпагу только тогда, когда надо защищать короля; пойдемте обедать.

Удивленный поведением брата, кардинал Лотарингский увел его в свои покои. Принц Конде, избежав самой большой из грозивших ему опасностей, предложил руку Марии Стюарт и повел ее к столу. Всячески льстя молодой королеве, он думал о том, какую новую ловушку готовит ему сейчас хитрый Балафре. Но напрасно он ломал голову: он узнал о планах Лотарингца только тогда, когда королева Мария ему о них рассказала.

— Разве не было бы жаль,— сказала она, смеясь,— отрубить такую умную голову? Признайтесь же, что мой дядя — человек великодушный!

— Разумеется, государыня. Тем более, что голова моя сидит как следует только на моих плечах, хотя одно из них и выше другого. Но только великодушие ли это? Не слишком ли оно дешево? Неужели вы думаете, что принца крови так легко предать суду?

— Не все еще кончилось,— ответила Мария,— мы увидим, как вы будете себя вести, когда начнут казнить ваших именитых друзей, к которым совет постановил применить самые суровые меры.

— Я буду вести себя так, как будет вести себя король.

— Король, королева-мать и я — мы все будем присутствовать при казни вместе со всем двором и послами...

— Будет устроено празднество? — иронически спросил принц.

— Нет, больше, чем празднество. Это будет *актом веры*, актом высокой политики. Надо, чтобы французская знать подчинилась трону, чтобы у этих людей пропал вкус к интригам и ко всякой крамоле.

— Государыня, тем, что вы покажете им все эти ужасы, вы никак не укротите мятежный дух. Помните, что, затевая такую игру, вы рискуете королевской короной!— ответил принц.

По окончании обеда, который прошел в довольно торжественной обстановке, королева Мария, к несчастью, навела разговор на процесс тех вельмож, которые были захвачены с оружием в руках, и начала настаивать на том, чтобы над ними была учинена самая жестокая расправа.

— Государыня,— сказал Франциск II,— разве не достаточно уже королю Франции знать о том, что будет пролита кровь стольких знатных вельмож? Надо ли делать из этого празднество?

— Но, государь, это должно послужить примером всем остальным,— заметила Екатерина.

— У вашего отца и дяди был обычай присутствовать при сожжении еретиков,— сказала Мария Стюарт.

— Короли, которые царствовали до меня, поступали каждый по-своему, а я хочу поступить так, как нахожу нужным,— ответил король.

— Филипп II,— возразила Екатерина,— который, без сомнения, является великим монархом, недавно, будучи в Нидерландах, велел отложить акт веры до своего возвращения в Вальядолид.

— А вы что на это скажете, кузен? — спросил король принца Конде.

— Государь, вам этого все равно не избежать. Надо, чтобы при этом присутствовали и папский нунций и все послы. А если там собираются быть и дамы, то я охотно присоединюсь к ним...

Встретив взгляд Екатерины Медичи, принц Конде стал смелее: решение его было принято.

В то время как принц Конде въезжал в замок Амбуаз, придворный меховщик обеих королев прибыл из Парижа:

волнения последних дней повергли в тревогу всю его семью и семью Лалльe. Когда старик появился у ворот замка, в ответ на все его просьбы капитан дворцовой гвардии сказал ему:

— Слушай, старик, если ты не хочешь, чтобы тебя повесили, лучше не показывайся сейчас при дворе.

Услыхав эти слова, убитый горем отец отошел на несколько шагов от ворот, сел на перила и стал ждать, не пройдет ли кто-нибудь из слуг или служанок той или другой королевы, надеясь узнать от них что-нибудь о судьбе сына. Но за весь день он не увидел ни одного знакомого лица и вынужден был ни с чем возвратиться в город. Ему стоило немало труда снять комнату в гостинице, расположенной на площади, где совершались казни. Чтобы получить комнату с окнами на площадь, ему пришлось платить по ливру за сутки. На следующий день он набрался храбрости и стал смотреть из окна на казнь тех участников мятежа, которых, как людей не особенно значительных, приговорили к колесованию и повешению.

Синдик цеха меховщиков обрадовался уже тому, что среди осужденных на смерть сына его не оказалось. Когда казнь совершилась, он пошел навстречу секретарю суда. Назвав себя, он вручил ему туго набитый кошелек и просил его справиться, не было ли в числе казненных за эти три дня человека по имени Кристоф Лекамю. Секретарь, тронутый видом и голосом несчастного отца, привел его к себе. Тщательно просмотрев все списки, он заверил старика, что ни среди казненных, ни среди тех, которых должны были казнить в ближайшие дни, имени Кристофа не значилось.

— Дорогой мой,— сказал секретарь синдику,— верховный суд занят сейчас делами вельмож, замешанных в заговоре, и вождей мятежников. Поэтому весьма возможно, что ваш сын содержится сейчас в замковой тюрьме и будет казнен в день грандиозной казни, которую готовят наши вельможи — герцог Гиз и кардинал Лотарингский. В этот день должны будут отрубить головы двадцати семи баронам, одиннадцати графам и семи маркизам; все эти пятьдесят человек — знатные дворяне и вожди реформатов. Суд графства Турень неподведомствен парижскому парламенту, и поэтому, если вам непременно хо-

чется узнать все новости о вашем сыне, вам следует повидать канцлера Оливье, которому герцог Гиз дал большие полномочия для ведения процесса.

Несчастный старик три раза делал попытку пробраться к канцлеру и ожидал его во дворе в обществе многочисленных родственников осужденных, которые хлопотали за своих близких. В силу того, что титулованные особы пропускались к канцлеру в первую очередь, старику пришлось отказаться от мысли добиться аудиенции, хотя он и видел канцлера несколько раз, когда тот выходил из своего дома и отправлялся или в замок, или в созданную парламентом комиссию, пробираясь через густые ряды просителей, которых, стремясь очистить проход, оттесняла стража. Это была картина страшного человеческого горя: среди просителей были жены, дочери и матери, целые семьи, проливавшие слезы. Старик Лекамю пораздавал много золота дворцовым слугам, прося их вручить письмо или Дайель, камеристке королевы Марии, или камеристке королевы-матери. Но слуги принимали от него деньги, а потом по приказу кардинала передавали все письма придворному прево. Неслыханная жестокость, с которой оба Лотарингца расправлялись со своими врагами, заставляла их бояться отмщения, и никогда еще они не принимали таких мер предосторожностей, как теперь, во время пребывания двора в Амбуазе. Таким образом, ни подкуп, самое действенное из средств, ни все старания синдика что-либо узнать о судьбе сына ни к чему не привели. С горестным видом проходил Лекамю по улицам городка, глядя, как по приказу кардинала делались большие приготовления к страшным казням, при которых должен был присутствовать принц Конде. От Парижа и до Нанта народ зазывали туда всеми средствами, которые были в ходу в ту эпоху. Все церковные проповедники и все кюре, возвещая с церковных кафедр о победе короля над еретиками, объявляли о готовившейся расправе. На площадке замка Амбуаз, которая возвышалась прямо над местом, где должны были совершаться казни, были поставлены три богато украшенных помоста, из которых один в середине особенно выделялся своей роскошной отделкой. По обеим сторонам этой площадки сооружались деревянные трибуны для размещения огромной толпы народа. Его старались

привлечь сюда торжественностью, с которой был обставлен этот *акт веры*. Накануне этого страшного дня около десяти тысяч человек собрались в окрестностях города и разбили там лагерь. Все крыши домов были забиты людьми и окна нанимались по цене до десяти ливров, что для того времени составляло огромную сумму. Несчастный отец, как и следовало ожидать, занял одно из лучших мест, чтобы хорошо видеть ту арену, на которой должно было погибнуть столько знати. Посреди площади был воздвигнут огромный эшафот, покрытый черным сукном. Утром этого рокового дня туда была принесена плаха, на которую осужденный должен был класть голову, встав для этого на колени, и обитое черной материей кресло для секретаря суда, которому полагалось по очереди вызывать осужденных и оглашать приговор. Ограда площади с самого утра охранялась королевскими жандармами и ротой шотландской гвардии, чтобы не дать толпе заполнить площадь раньше, чем начнется казнь.

После того как в замке и в городских церквах были отслужены торжественные мессы, на площадь вывели знатных вельмож, последних из заговорщиков, которые еще оставались в живых. Всех этих людей, многим из которых пришлось перенести пытки, собрали у подножия эшафота. Монахи стали напутствовать осужденных; они пытались заставить их отречься от учения Кальвина. Однако ни один из заговорщиков не стал слушать этих посланцев кардинала Лотарингского, опасаясь, что среди них окажутся шпионы. Чтобы избавиться от преследования своих противников, они громко запели псалом, который поэт Клеман Маро переложил на французские стихи. Как известно, Кальвин постановил, чтобы в каждой стране богослужение совершалось на родном языке, руководствуясь при этом как здравым смыслом, так и стремлением подорвать традиции католицизма. Родственники приговоренных, стоявшие среди толпы и проливавшие слезы по своим близким, были поражены и растроганы, услыхав, как при появлении придворных мученики запели:

Отец наш, душам греховным
Прощенья мир подари
И светом своим любовным
Наш смертный час озари.

Все взгляды реформатов устремились на их вождя, принца Конде, которого нарочно посадили между королевой Марией и герцогом Орлеанским. Королева Екатерина Медичи сидела рядом с сыном, а слева от нее находился кардинал. Папский нунций стоял за спиною обеих королев. Верховный главнокомандующий разъезжал на коне возле помоста вместе с двумя маршалами Франции и своими генералами. Едва только появился принц Конде, как все осужденные на казнь дворяне, хорошо его знавшие, приветствовали его поклоном, и горбун бесстрашно ответил на их приветствия.

— Трудно заставить себя не быть учтивым к людям, которые идут на смерть,— сказал он, обращаясь к герцогу Орлеанскому.

Два других помоста были заполнены приезжими гостями, придворными и служащими двора. Все это были обитатели замка Блуа, которые переходили от празднеств к казням так же, как потом от радостей жизни к ужасам войны, с той удивительной легкостью, которая всегда будет благоприятствовать иностранцам в их политических сношениях с французами. Несчастный синдик парижского цеха меховщиков несказанно обрадовался, убедившись, что среди пятидесяти семи осужденных на казнь сына его не оказалось. По знаку герцога Гиза секретарь суда, поднявшись на эшафот, громким голосом объявил:

— Жан-Луи Альберик, барон де Роне, виновный в ереси, государственной измене, в выступлении с оружием в руках против его величества короля.

Высокий статный мужчина поднялся на эшафот, поклонился народу и двору и сказал:

— Это ложь. Я взялся за оружие, чтобы защитить короля от его врагов — Лотарингцев.

С этими словами он опустил голову на плаху — и голова его покатилась вниз.

Реформаты пели:

Господь, пред жизнью блаженной
Ты нам этот искус дал
И, как металл драгоценный,
Огнем сердца испытал.

— Робер-Жан-Рене Брикмо, граф де Вилльмонжи, виновный в государственной измене и в покушении на жизнь его величества короля,— объявил секретарь.

Граф смочил руки в крови барона де Роне и сказал:
— Да падет эта кровь на истинных виновников!
Реформаты пели:

Пускай нас враг обесславил,
Силками опутав нас,—
Те сети господь расставил,
Он души от плена спас.

— Признайтесь, господин нунций,— сказал принц Конде,— что если французские дворяне умеют устраивать заговоры, то они умеют и умирать.

— Какую ненависть, брат мой, вы навлекли на голову детей наших,— сказала герцогиня де Гиз кардиналу.

— Мне что-то нехорошо,— пробормотал молодой король, весь побледнев при виде разлившейся крови.

— Полно, ведь это мятежники!..— воскликнула Екатерина Медичи.

Пение продолжало звучать, а топор палача точно так же продолжал свое дело. В конце концов отвага и благородство людей, которые с песнями шли на смерть, и то впечатление, которое производили на толпу постепенно затихавшие песни, оказались сильнее страха перед Лотарингцами.

— Пощады! — закричал весь народ, когда слышен был только слабый голос сиятельного вельможи, который должен был умереть последним.

Он стоял один у лестницы, которая вела на эшафот, и пел:

Отец наш, душам греховным
Прощенья мир подари
И светом своим любовным
Наш смертный час озари.

— Послушайте, герцог,— сказал принц Конде герцогу Немурскому, устав от роли, которую ему пришлось играть,— вашими стараниями была одержана победа, и вы помогли захватить всех этих людей. Не находите ли вы, что теперь вам следовало бы просить о помиловании этого вельможи? Это Кастельно, и я слышал, что когда он

сдавался в плен, вы дали ему обещание обойтись с ним милостиво.

— Неужели вы думаете, что я до сих пор не пытался его спасти? — ответил герцог Немурский, задетый за живое жестоким упреком принца.

Секретарь очень медленно и, конечно, не без умысла растягивая слова объявил:

— Мишель-Жан-Луи, барон Кастельно-Шалос, обвиненный и уличенный в государственной измене и в покушении на жизнь его величества.

— Нет,— с гордостью возразил Кастельно.— Какое же это преступление — пойти против тирании Гизов и захвата власти, который они готовят?

Палач, который к тому времени уже устал, увидя какое-то замешательство среди присутствующих, отвел удар топора.

— Господин барон,— сказал он,— я не хочу вас попусту мучить, а ведь одно мгновение может оставить вас в живых.

Толпа снова закричала:

— Пощады!

— Быть по сему,— сказал король,— пощадим бедняг Кастельно, который спас герцога Орлеанского.

Кардинал сделал вид, что он не понял значения слов короля: «Быть по сему». Он дал знак палачу, и голова барона скатилась с плахи в ту самую минуту, когда король его помиловал.

— Человек этот на вашей совести, кардинал,— сказала Екатерина Медичи.

На следующий день после этой кровавой расправы принц Конде уехал в Наварру.

Через месяц после отъезда принца на одной из дверей замка с внутренней его стороны были наклеены следующие стихи:

На Иезавель, жену Ахава,
Походит Генриха жена.
У той — Израиля страна,
У этой — Франции держава.
Забыв об истинах священных,
Та чтила идолов презренных;

Портрет Кальвина. Школа Гольбейна.

Герцог Гиз

А эта всех из-за угла
Тиаре папской предала.
По-своему служили обе
Всю жизнь бесчестию и злобе.
У первой поднялась рука
На праведника-бедняка.
Но тысячи есть жертв невинных
На совести Екатерины.
Иезавель была жадна —
Корысть влекла ее одна;
А нашу, хоть корысть и гложет,
Одна лишь кровь насытить может.
Ты приговор прочти им сам:
Иезавель досталась псам;
Но дальше — не одно и то же,
Их участи не будут схожи:
Екатерины телеса —
Те смрадом отпугнут и пса.

Из этого можно видеть, что Гизы сумели возложить ответственность за все ужасы Амбуаза на Екатерину. Они так пристально следили за наваррским принцем, что за все время своего пребывания там ему ни разу не довелось говорить с королевой-матерью наедине. Однако эта крайняя подозрительность окончательно убедила реформатов, что в случае нужды можно рассчитывать на поддержку Екатерины Медичи.

Впечатление, произведенное этими казнями на Францию и на иностранные дворы, было огромно. Пролитые тогда потоки дворянской крови так тяжело подействовали на канцлера Оливье, что этот достойный государственный муж, увидев наконец, какие цели ставят себе Гизы, якобы защищая святую веру и трон, почувствовал, что он не в силах дать им должный отпор. Невзирая на то, что он был их ставленником, он не захотел жертвовать ради них своим долгом и королем и удалился на покой, сделав своим преемником Лопиталя. Узнав об отставке Оливье, Екатерина предложила назначить канцлером Бирагу и очень яро настаивала на этой кандидатуре. Кардинал, которому не было известно содержание письма Лопиталя Екатерине и который считал его по-прежнему верным Лотарингскому дому, отдал ему предпочтение, и Екатерина сделала вид, что на этот раз уступила Гизам. Едва только Лопиталь стал канцлером, он принял свои меры против инквизиции, которую кардинал

Лотарингский хотел учредить во Франции; он оказал решительное сопротивление всем антигалликанским политическим шагам Гизов и показал себя таким патриотом Франции, что, для того чтобы избавиться от него, Лотарингцам через три месяца после его назначения пришлось сослать Лопиталя в его поместье в Винье, близ Этампа.

Бедный Лекамю с нетерпением ожидал, когда двор покинет Амбуаз. Ему так и не удалось поговорить ни с королевой Марией, ни с королевой Екатериной, и он собирался улучить минуту, когда она, возвращаясь в Блуа, будет проезжать вдоль плотины. Боясь, чтобы его не приняли за шпиона, синдик переоделся бедным крестьянином и смешался с толпою нищих, которые выстроились на дороге. После отъезда принца Конде герцог и кардинал считали, что реформаты уже притихли, и не стали так внимательно следить за каждым шагом королевы-матери. Лекамю знал, что вместо того, чтобы пользоваться носилками, Екатерина предпочитала ездить верхом на лошади. Ездила она с так называемой *подножкой*, особым видом стремени, изобретенным кем-то специально для нее, впрочем, может быть, даже и ею самой: у Екатерины болела нога, и поэтому она садилась боком, просовывая одну ногу в особую прорезь в седле и упирая ступни в бархатную подушку. А так как у королевы-матери были очень красивые ноги, считалось, что мода эта придумана ею нарочно, чтобы иметь возможность выставить их напоказ. Именно в силу того, что она ехала, повернувшись на бок, меховщику удалось попасться ей на глаза. Но как только она его узнала, она сделала вид, что рассержена его появлением.

— Уходи сейчас же отсюда, старик, чтобы никто не видел, как я говорю с тобой,— сказала она ему в тревоге.— Пусть парижские цехи изберут тебя депутатом в Генеральные штаты, и, когда ты поедешь в Орлеан, будь там на моей стороне. К тому времени ты кое-что узнаешь о своем сыне...

— А он жив? — спросил старик.

— Увы,— ответила королева,— я могу только надеяться, что да.

Лекамю вынужден был вернуться в Париж, привезя с собою мрачные слова Екатерины и держа втайне изве-

стие о созыве Генеральных штатов, которое ему сообщила королева.

Спустя несколько дней кардинал Лотарингский получил доказательства того, что наваррский двор был причастен к заговору реформатов. В Лионе, в Мувансе, в Дофине реформаты под водительством самого предприимчивого из принцев Бурбонского дома сделали попытку поднять восстание. Эта дерзкая выходка, совершенная уже после кровопролитных казней в Амбуазе, напугала Лотарингцев, и они предложили созвать Генеральные штаты в Орлеане с тем, чтобы покончить с еретиками при помощи средств, которые они держали втайне. Екатерина Медичи, понимая, что национальное представительство может служить поддержкой ее политике, с радостью на это согласилась. Кардинал, который собирался захватить ускользнувшую от него добычу и уничтожить дом Бурбонов, созывал Генеральные штаты исключительно для того, чтобы вызвать в Орлеан принца Конде и короля Наваррского Антуана Бурбона, отца Генриха IV, и хотел воспользоваться Кристофом, чтобы уличить принца Конде в измене трону, если только удастся заставить его подчиниться власти короля.

После того как Кристоф провел два месяца в тюрьме Блуа, однажды утром его положили на носилки и перенесли в плоскодонную парусную лодку; подгоняемая западным ветром, лодка эта пошла по направлению к Орлеану. Кристоф прибыл туда вечером; его тут же отвезли в знаменитую башню Сент-Эньян. Юноша не мог понять, для чего его переводят в другое место, но у него было достаточно времени, чтобы подумать о том, как себя вести и что его ожидает в будущем. Он провел там еще два месяца, лежа на своей койке и не будучи в состоянии пошевелить ногами. Кости его были переломаны. Когда он попросил вызвать городского хирурга, тюремщик ответил, что в отношении его ему даны такие строгие распоряжения, что даже пищу приносить ему он должен только сам и не имеет права никому этого поручать. Строгость, к которой прибегли для того, чтобы скрыть ото всех местонахождение узника, поразила Кристофа: ему казалось, что его должны или повесить, или освободить.

Он ровно ничего не знал о событиях в Амбуазе. Несмотря на то, что Екатерина Медичи тайно сооб-

щила обоим принцам, что им лучше не покидать пределы своего королевства, оба они решили отправиться на заседание Генеральных штатов, настолько собственноручные письменные заверения короля их успокоили. И вот двор, расположившийся в Орлеане, не без удивления узнал от Гроло, канцлера Наваррского, о прибытии принцев крови.

Резиденцией Франциска II был дом Наваррского канцлера, являвшегося также и орлеанским бальи. Имя Гроло, который в силу каких-то причуд, свойственных этому времени, когда реформаты владели целыми аббатствами, совмещал две столь различные должности,— Гроло — орлеанского Жака Кера, одного из богатейших людей своей эпохи, было позабыто теми, в чьи руки перешел затем этот дом. Дом этот стал называться зданием суда, потому что он, по-видимому, был куплен у наследников Гроло или королем или местными властями, и в нем впоследствии помещался суд. Это прелестное здание, типичное жилище горожанина XVI века, отлично дополняет собой историю эпохи, когда король, знать и буржуазия состязались между собою в роскоши, изяществе и красоте жилищ, о чем свидетельствует Варанжевиль, роскошная усадьба Анго и так называемый дом Геркулеса в Париже, существующий еще и в наши дни, но в таком виде, который приводит в отчаяние археологов и любителей средневековой старины. Трудно быть в Орлеане и не заметить ратуши на площади Этап. Так вот, это и есть прежнее здание суда, дом Гроло, самое знаменитое здание в Орлеане и вместе с тем самое заброшенное.

Взглянув на то, что осталось от этого дома, археолог поймет, как великолепен он был в ту пору, когда дома горожан были в большинстве своем деревянными и когда одни только знатные дворяне имели право на *поместья* — слово, которое тогда говорило о многом. По-видимому, дом Гроло сделался тогда королевской резиденцией именно потому, что это было самое большое и самое роскошное здание во всем Орлеане. Как раз на площади Этап Гизы и король делали смотры городской страже, начальником которой на время пребывания короля в Орлеане был назначен г-н де Сипьер. Собор Святого Креста в то время еще только строился — он был завершен уже Генрихом IV, который хотел доказать этим искренность

своего обращения. Территория собора была загромождена камнем и строительными лесами; Гизы заняли дом епископа, который в наши дни уже разрушен.

В город были введены войска: Лотарингцы приняли такие меры, которые не оставляли сомнения в том, как мало свободы действий герцог и кардинал собирались предоставить Генеральным штатам. Депутаты Генеральных штатов, прибывшие в город, селились в самых жалких лачугах и платили за них втридорога. Поэтому придворные и городская стража, знать и горожане — все ждали какого-нибудь большого события, и ожидания их оправдались, едва только прибыли принцы крови. Когда оба принца появились в покоях короля, кардинал Лотарингский на глазах у всего двора повел себя вызывающе: заявляя во всеуслышание о своих притязаниях, кардинал не потрудился даже снять шапки, в то время как король Наваррский стоял перед ним с непокрытой головой. В эту минуту Екатерина Медичи опустила глаза, чтобы негодование ее не было замечено. Произошло крупное объяснение между юным королем и обоими представителями младшей ветви королевского рода; оно было коротким, ибо после первых же приветствий принца Конде Франциск II произнес страшные слова:

— Мои кузены, я думал, что с амбуазским делом покончено; оказывается, нет, и нам приходится сожалеть о нашей снисходительности.

— Это не ваши слова, а слова Гизов,— ответил принц Конде.

— Прощайте, принц,— оборвал его молодой король, покрасневший от гнева.

В большом зале два капитана королевской гвардии преградили принцу дорогу. Как только к нему приблизился капитан французской гвардии, Конде вынул из кармана письмо и сказал так, чтобы его слышал весь двор:

— Может быть, вы прочтете вслух то, что здесь написано, господин де Майе-Брезе?

— Охотно,—ответил капитан.

«Кузен мой, приезжайте совершенно спокойно, я даю вам мое слово короля, что вас здесь никто не тронет. Если вам нужен пропуск, подтверждающий это, вот он».

— А подпись есть? — спросил язвительный и бесстрашный горбун.

— Подписано: «Франциск»,— сказал Майе.

— Нет, не так,— возразил принц.— Подписано: «Любящий вас кузен и друг Франциск»! Господа,— крикнул он шотландской гвардии,— я последую за вами в тюрьму, куда приказал меня заключить король. В этом зале достаточно людей знатных, чтобы все это понять!

Воцарившееся в зале глубокое молчание должно было образумить Гизов, но правители меньше всего прислушиваются к молчанию.

— Ваше высочество,— сказал кардинал Турнонский, который после казней в Амбуазе всюду сопровождал принца,— в Лионе, в Мувансе, в Дофине вы поднимали восстание против короля. Король ничего об этом не знал, когда писал вам это письмо.

— Какие плуты! — вскричал горбун и расхохотался.

— Вы во всеуслышание заявили, что вы против мессы и за еретиков...

— Мы можем делать у себя в Наварре все, что хотим,— сказал принц.

— Вы хотите сказать в Беарне? Но вы должны уважать его королевское величество,— ответил ему президент парламента де Ту.

— Ах, так вы здесь, господин президент! — воскликнул принц, и лицо его приняло ироническое выражение.— Вы что, здесь вместе со всем парламентом?

Сказав это, принц бросил на кардинала исполненный презрения взгляд и покинул зал; он понял, что жизнь его в опасности. Когда на следующий день г-да де Ту, де Виоль, д'Эспесс, генеральный прокурор Бурден и секретарь суда дю Тилле вошли к нему в камеру, он разговаривал с ними стоя и выразил сожаление по поводу того, что они взялись за дело, которое их не касается. Потом он сказал секретарю:

— Пишите!

И продиктовал ему:

«Я, Луи Бурбон, принц Конде, пэр королевства, маркиз Конти, граф Суассонский, французский принц крови, решительно заявляю, что не признаю никакой комиссии, назначенной, чтобы меня судить, ибо существуют

привилегии, распространяющиеся на всякого члена королевской семьи, в силу которых допрашивать и судить меня может только парламент при участии всех пэров, всех палат и самого короля в качестве председателя».

— Вы должны это знать лучше других, господа. Вот все, что я имею вам сообщить. В остальном я полагаюсь на свои права и на господа бога.

Однако, невзирая на упорное молчание принца, судьи приступили к делу. Король Наваррский находился на свободе, но за ним следили. Его положение отличалось от положения его брата только тем, что тюрьма его оказалась просторнее. И он и принц Конде должны были сложить головы в один день.

Приказ кардинала и верховного главнокомандующего требовал содержать Кристофа в тюрьме в строгой тайне, чтобы судьи получили доказательства виновности принца. Письма, обнаруженные у Ла Саня, секретаря принца, понятные для государственных деятелей, были не очень ясны для судей. Кардинал задумал неожиданно свести принца с Кристофом. С этой-то целью он и поместил последнего в нижнюю камеру башни Сент-Энь-ян, окно которой выходило на тюремный двор. Кристоф неизменно и последовательно все отрицал, и в силу этого дело его затянулось до самого открытия Генеральных штатов.

XII
АМБРУАЗ ПАРЕ

Лекамю, которого горожане Парижа действительно избрали депутатом от третьего сословия, прибыл в Орлеан через несколько дней после ареста принца. Новость эта, которую ему сообщили в Этампе, удвоила его беспокойство, ибо он был единственным человеком, знавшим о свидании своего сына с принцем на Мосту Менял, и догадывался, что участь Кристофа неразрывно связана с участью бесстрашного вождя реформатов. Поэтому он решил приглядеться поближе к тем скрытым силам, которые, враждуя друг с другом, действовали при дворе с момента открытия Штатов, дабы найти какой-нибудь

способ спасти сына. О королеве Екатерине нечего было и думать: она ведь не захотела даже видеть своего меховщика. Ни один из придворных, которых он встречал, не мог ему сообщить ничего определенного о Кристофе, и старик дошел до такого отчаяния, что подумывал уже о том, чтобы обратиться к самому кардиналу, когда он вдруг узнал, что г-н де Ту запятнал свое имя, дав согласие быть одним из судей принца Конде. Синдик отправился к бывшему покровителю своего сына и узнал от него, что Кристоф еще жив, но находится в тюрьме.

Перчаточник Турильон, к которому Ла Реноди направил Кристофа, предложил сьёру Лекамю комнату у себя в доме на все время, пока будут заседать Штаты. Турильон считал, что меховщик, так же как и он сам, втайне придерживается религии реформатов. Но очень скоро он убедился, что отец, который боится потерять сына, уже не умеет различать оттенков религии: забыв обо всем на свете, он бросается в объятия бога и не задумывается над тем, в какие одеяния люди его облекают. Старик, все старания которого ни к чему не привели, как потерянный, бродил по улицам. Вопреки его ожиданиям, деньги ему нисколько не помогли. Г-н де Ту предупредил его, что при малейшей попытке подкупить кого-либо из ставленников Гизов он сразу же попадется, ибо герцог и кардинал зорко следят за всем, что касается Кристофа. Этот судья, чья слава несколько омрачается ролью, которую он тогда играл, попытался вселить в старика какую-то надежду. Но сам он был в такой тревоге за своего крестного сына, что все его утешения только еще больше напугали меховщика. Старик бесцельно бродил вокруг дома. За три месяца он совсем осунулся. Последней его надеждой были узы дружбы, издавна соединявшие его с Гиппократом XVI века. Однажды, выходя от короля, Амбруаз действительно попытался поговорить с королевой Марией. Но стоило ему только упомянуть имя Кристофа, как дочь Стюартов, которая предавалась мрачным мыслям о том, что случится с ней, если король погибнет, считая, что внезапная болезнь его вызвана попыткой реформатов его отравить, ответила:

— Если бы мои дяди слушались меня, этого фанатика давно бы повесили!

Вечером того дня, когда Паре сообщил этот ответ сво-

ему другу Лекамю на площади Этап, старик вернулся к себе, еле держась на ногах от горя; от ужина он отказался.

Турильон встревожился, поднялся наверх в комнату старика и застал своего постояльца в слезах. А так как набухшие края век на его старческом лице были изборождены морщинами и покраснели от слез, его хозяину показалось, что он плачет кровью.

— Успокойтесь, отец мой,— сказал реформат,— жители Орлеана возмущены тем, что солдаты господина де Сипьера охраняют наш город и ведут себя в нем как завоеватели. Знайте, что если только жизнь принца Конде будет в опасности, мы сейчас же разрушим башню Сент-Эньян; все население стоит за реформатов, и в городе вспыхнет восстание. Будьте в этом уверены!

— Пусть даже Лотарингцев повесят. Вернет ли мне их смерть моего сына? — спросил обезумевший от горя отец.

В эту минуту внизу кто-то тихонько постучал в дверь. Турильон спустился, чтобы открыть. Была уже ночь. В это тревожное время каждый владелец дома старался быть очень осторожным. Турильон посмотрел в маленькое решетчатое окошечко входной двери и увидел неизвестного ему человека, одетого во все черное. По акценту можно было определить, что это итальянец. Незнакомец сказал, что ему нужно переговорить с Лекамю по торговым делам. Турильон открыл дверь. Увидев вошедшего, Лекамю весь задрожал. Но незнакомец успел приложить палец к губам. Лекамю понял этот жест и сказал:

— Вы, конечно, хотите предложить мне меха?

— Si [1],— скромно ответил незнакомец по-итальянски.

Это был знаменитый Руджери, астролог королевы-матери. Турильон ушел к себе, понимая, что он здесь лишний.

— Где мы можем поговорить, не боясь, что нас услышат? — спросил осторожный флорентинец.

— Лучше всего было бы выйти за город,— ответил Лекамю,— но никто нас сейчас не выпустит. Вы знаете, как строго охраняются все ворота. Никому нельзя выйти из города без особого разрешения господина де Сипьера, даже мне, депутату Генеральных штатов. Надо будет

[1] Да *(итал.)*.

на завтрашнем заседании сказать о том, как здесь стесняют нашу свободу.

— Ройте землю, как крот,— только так, чтобы лап ваших никто не видел,— сказал ему хитрый флорентинец.— Завтрашний день действительно должен быть решающим. Мои наблюдения подсказывают мне, что завтра или послезавтра вы, может быть, вернете вашего сына.

— Да услышит вас господь, хоть и говорят, что дела у вас только с дьяволом!

— Тогда пойдемте ко мне,— улыбаясь, сказал астролог.— Чтобы я мог созерцать звезды, мне отвели башню сьёра Туше де Бове, помощника бальи, дочь которого очень нравится маленькому герцогу Орлеанскому. Я составил гороскоп этой девочки. Действительно, ее ждут великие почести и любовь короля. Помощник бальи — человек неглупый, он любит науки. Поэтому королева и поселила меня у этого молодца; он достаточно умен и, выдавая себя за ярого сторонника Гизов, ожидает, когда на престол взойдет Карл Девятый.

Меховщик и астролог, никого не встретив и никем не замеченные, дошли до дома сьёра Бове.

Флорентинец решил, что, если только кто-нибудь узнает о том, что Лекамю у него был, он все объяснит просьбой старика предсказать по звездам участь Кристофа. Когда они поднялись на башню, где был устроен кабинет астролога, Лекамю спросил:

— Могу ли я быть уверен, что сын мой жив?

— Да, он еще жив,— ответил Руджери,— но его надо спасти. Вы торгуете звериными шкурами. Так вот, знайте, что вашей несдобровать, если вы когда-нибудь в жизни хоть одним словом обмолвитесь о том, что я вам сейчас скажу.

— Предупреждать меня об этом не к чему. Я ведь был поставщиком двора еще при покойном Людовике Двенадцатом. Это уже четвертое царствование на моем веку.

— Вы скоро скажете — пятое,— промолвил Руджери.

— Что вам известно о моем сыне?

— Его подвергли пыткам.

— Мой бедный мальчик! — простонал старик и простер руки к небу.

— Ему немного подробили колени и лодыжки, но он

завоевал королевскую милость, и она не оставит его всю жизнь,—быстро сказал флорентинец, видя ужас на лице старика.— Ваш маленький Кристоф оказал услугу нашей великой королеве Екатерине. Если мы сумеем вырвать вашего сына из когтей Лотарингца, вы увидите, что он рано или поздно станет членом парламента. Стоит ведь переломать себе все кости, чтобы заслужить милость этой великой государыни, этой всесильной женщины, для которой не будет никаких препятствий. Я составил гороскоп герцога Гиза: через год он будет убит. Так вот, Кристоф видел принца Конде...

— Если вам открыто будущее, то разве прошедшее для вас тайна? — спросил меховщик.

— А я вас ни о чем не спрашиваю, я только учу вас, как поступить. Знайте, ваш сын завтра случайно встретится с принцем Конде, и если он узнает его или принц узнает вашего сына, принцу отрубят голову. И только господь ведает, что станется тогда с его сообщниками! Успокойтесь. Ни вашего сына, ни принца не казнят. Я составил их гороскоп: они будут жить. Я только не знаю, что их обоих спасет. Независимо от того, правильны или нет мои вычисления, мы примем необходимые меры. Завтра принц получит из верных рук молитвенник, в котором будет важная записка. Сына вашего предупредить мы не в силах. Да поможет ему господь быть осторожным! Один только взгляд будет стоить жизни принцу. Поэтому, хотя у королевы-матери и есть все основания полагаться на верность Кристофа...

— Его тяжело пытали! — воскликнул Лекамю.

— Не говорите так! Неужели вы думаете, что королева этим не озабочена? Именно поэтому она в своих действиях будет сообразоваться с тем, что Гизы решили казнить принца. И она правильно поступает, наша мудрая, рассудительная королева! Так вот, она рассчитывает на вашу помощь. Вы пользуетесь некоторым влиянием среди третьего сословия: вы избраны парижскими цехами. Если сторонники Гизов будут обещать вам освободить вашего сына, постарайтесь обмануть их и поднимайте все свое сословие против Гизов. Требуйте, чтобы королеву-мать сделали регентшей; завтра, во время заседания Генеральных штатов, король Наваррский даст на это свое согласие.

— А как же король?

— Король умрет,— ответил Руджери.— Я составил его гороскоп. Исполнить просьбу королевы в том, что касается Генеральных штатов,— дело совсем нехитрое. Но она ждет от вас еще и другой, более значительной услуги. Вы в свое время много помогали Амбруазу Паре, вы его друг.

— Амбруаз любит сейчас герцога Гиза больше, чем меня. И он прав: своим назначением он обязан ему. Но он хранит верность королю. Поэтому, несмотря на то, что он сочувствует Реформации, он никогда не поступится своим долгом.

— Черт бы побрал всех этих честных людей! — воскликнул флорентинец.— Амбруаз сегодня вечером хвастался, что вылечит молодого короля. А если король поправится, Гизы восторжествуют, принцев казнят, дом Бурбонов перестанет существовать, мы возвратимся во Флоренцию, вашего сына повесят, и Лотарингцы погубят немало других сынов Франции...

— Боже милосердный! — воскликнул Лекамю.

— Не надо ничему ужасаться, так может вести себя только мещанин, ничего не понимающий в придворной жизни. Ступайте сию же минуту к Амбруазу и узнайте, что он собирается предпринять, чтобы спасти короля. Если у вас будут какие-нибудь точные сведения, вы придете ко мне и расскажете, какую операцию он хочет сделать и почему он так в ней уверен.

— Но...— сказал Лекамю.

— Повинуйтесь слепо, дорогой мой, иначе вы растеряетесь.

«Он прав»,— подумал меховщик.

И он отправился к первому хирургу короля, который жил в особняке на площади Мартруа.

Политическое положение Екатерины Медичи в ту пору было столь же трудным, как и тогда, когда Кристоф видел ее в Блуа. Она окрепла в борьбе, она извлекла прекрасный урок из своего первого провала, но в то же время, хотя обстоятельства и не изменились, они стали более серьезными и более опасными, чем были до мятежа в Амбуазе. Вместе с ростом ее могущества росли и события. Несмотря на то, что в глазах людей Екатерина действовала заодно с Лотарингцами, она держала в

своих руках все нити искусно сплетенного заговора против своих страшных союзников и ждала благоприятной минуты, чтобы сбросить маску. Кардинал только что получил точные сведения о том, что Екатерина его обманула. Эта хитрая итальянка понимала, что младшая ветвь королевского дома мешает Гизам осуществить свои притязания. Поэтому, несмотря на то, что оба Гонди советовали ей не препятствовать кардиналу и герцогу учинить расправу с Бурбонами, она поступила иначе. Когда Лотарингцы, сговорившись с Испанией, задумали овладеть Беарном, она вовремя предупредила королеву Наваррскую об их планах, не дав им осуществиться. А так как об этой государственной тайне знали только Гизы и королева-мать, то герцог и кардинал, убедившись в двуличности их союзницы, хотели выслать ее во Флоренцию. Чтобы удостовериться в том, что Екатерина изменила государству (Лотарингский дом государством считал себя), Гизы сообщили ей свое намерение разделаться с Наваррским королем. Предосторожности, которые сразу же после этого были приняты Антуаном Бурбоном, окончательно убедили обоих братьев, что и эта тайна, которую знали только трое, была разглашена королевой-матерью. Кардинал Лотарингский не преминул сразу же упрекнуть Екатерину Медичи в том, что она нарушила верность Франциску II, и объявил ей, что если она и впредь будет вести себя столь же вероломно и ставить под угрозу свою страну, они издадут эдикт об ее изгнании из пределов Франции. Екатерине, положение которой стало крайне опасным, приходилось действовать с решимостью великого государя. И она оказалась способной на такую решимость. Надо только отдать должное ее приближенным — они оказали ей неоценимую помощь. Лопиталь прислал королеве записку следующего содержания:

«Не допускайте, чтобы принца крови казнили по решению комиссии: иначе скоро схватят и вас!»

Екатерина отправила Бирагу в Винье, чтобы вызвать на заседание Штатов канцлера, хотя он и был в то время в опале. Бирага прибыл в ту же ночь и остановился в трех лье от Орлеана вместе с Лопиталем, от которого ко-

ролева-мать получила столь грозное предостережение. Киверни, в верности которого Гизы имели уже все основания усомниться, бежал из Орлеана и после бешеной скачки, которая едва не стоила ему жизни, за десять часов добрался до Экуана. Он сообщил коннетаблю Монморанси об опасности, грозящей его племяннику принцу Конде, и о дерзости Лотарингцев. Анн де Монморанси пришел в ярость, узнав, что если бы не внезапная болезнь Франциска II, ставшая для него смертельной, принца уже не было бы в живых; он собрал полторы тысячи вооруженных всадников и сотню дворян и двинулся на Орлеан. Чтобы застать Гизов врасплох, он отправился в обход Парижа, из Экуана в Корбейль, а из Корбейля в Питивье через долину Эссонны.

«Полководцы воюют, страна горюет»,— сказал он по поводу этого стремительного марша войск.

Анн де Монморанси, спасший Францию, когда Карл V вторгся в Прованс, и герцог Гиз, приостановивший наступление императора на Мец, действительно были самыми крупными военачальниками этой эпохи. Екатерина выбрала наиболее подходящий момент, чтобы разжечь ненависть коннетабля, оттесненного Лотарингцами. Тем не менее маркиз де Симёз, командовавший гарнизоном в Жьене, узнав о прибытии значительных военных сил, возглавляёмых коннетаблем, вскочил на коня и поскакал в Орлеан, чтобы предупредить Гизов.

Уверенная, что коннетабль явится на помощь своему племяннику, и не сомневаясь в беззаветной преданности канцлера трону, королева-мать возродила надежды реформатов и подняла их упавший дух. Оба Колиньи и все друзья дома Бурбонов объединились со сторонниками королевы-матери. Внутри Штатов незаметно образовалась коалиция между двумя противоположными лагерями, которым грозил один общий враг. И тогда уже во всеуслышание стали говорить о том, чтобы назначить Екатерину регентшей королевства в случае, если Франциск II умрет. Екатерина, которая верила в астрологические предсказания больше, чем в таинства церкви, пошла на все, видя, что сын ее умирает и что событие это приходится как раз на сроки, указанные ей знаменитой гадалкой, которую Нострадамус привозил в замок Шомон.

За несколько дней до трагического окончания своего царствования Франциск II решил совершить прогулку по Луаре, чтобы не оставаться в городе, когда будут казнить принца Конде. После того как король передал принца в руки кардинала Лотарингского, он все время боялся, что вспыхнет восстание и что принцесса Конде явится к нему с мольбами. Когда Франциск II уже собирался садиться в лодку, ему надуло в ухо холодным ветром, какие обычно свирепствуют в долине Луары, когда приближается зима, и сильнейшая боль заставила его тут же вернуться. Его уложили в постель, и он уже больше не встал. Вопреки тому, что говорили врачи, которые, за исключением Шаплена, были его ярыми противниками, Паре уверял, что у короля в голове образовался гнойник и что чем раньше гнойник этот будет вскрыт, тем больше надежды на спасение жизни. Несмотря на то, что час уже был поздний и приказ тушить по ночам все огни строго применялся в Орлеане, городе, который находился на осадном положении, в окне Амбруаза Паре горел свет: врач не смыкал глаз. Лекамю окликнул его с улицы, и когда хирург услыхал, что его хочет видеть старый друг, он приказал открыть меховщику дверь.

— Я вижу, тебе и ночью нет покоя, Амбруаз, ты возвращаешь людям жизни, а свою, должно быть, хочешь укоротить,— сказал Лекамю, входя в комнату.

Глазам его предстали раскрытые книги и разбросанные везде инструменты. Хирург держал в руках продырявленную мертвую голову, которая, по-видимому, была отрезана от недавно похороненного трупа.

— Надо спасти короля.

— А ты твердо уверен, что это надо делать, Амбруаз? — воскликнул старик, весь дрожа.

— Как в том, что я сейчас жив. У короля, который всегда был моим покровителем, в голове образовался тяжелый гнойник, который давит на мозг, и смерть неизбежна. Но я хочу продолбить ему череп, рассчитывая тем самым выпустить гной и устранить это давление. Я уже трижды проделывал подобную операцию; изобрел ее один пьемонтец, и мне выпало счастье ее усовершенствовать. Первый раз я сделал ее во время осады Меца господину де Пьену, которого я этим спас и который с тех пор даже поумнел: гнойник у него образовался после того как

выстрелом его ранили в голову. Второй раз я спас жизнь одному бедняку — я решил проверить благотворное действие рискованной операции, которой был подвергнут господин де Пьен. И, наконец, в третий раз в Париже я повторил ее на одном дворянине, который после нее отлично чувствует себя и сейчас. Называется она трепанацией, но название это мало кому известно. Больные отказываются от нее из-за грубости инструментов, но мне в конце концов удалось усовершенствовать мои инструменты. И вот я делаю сейчас свою операцию на этой голове, чтобы завтра она удалась на голове короля.

— Ты, должно быть, очень твердо во всем уверен, так как твоей собственной голове не поздоровится, если...

— Ручаюсь жизнью, что он поправится,— ответил Амбруаз с той уверенностью, которая свойственна людям гениальным.— Ах, старина, нужны ли вообще такие предосторожности, чтобы пробуравить череп? Солдаты ведь обходятся без этого, когда они пробивают на войне черепа.

— Дорогой мой,— сказал храбрый меховщик,— а знаешь ли ты, что спасти короля — это значит погубить Францию? Знаешь ли ты, что, взявшись за это долото, ты водружаешь корону дома Валуа на голову Лотарингца, называющего себя наследником Карла Великого? Знаешь ли ты, что хирургия и политика сейчас на ножах? Да, великая победа твоего искусства принесет гибель всей нашей вере. Если Гизы останутся регентами, они снова зальют страну кровью реформатов! Будь же сейчас не великим хирургом, а великим гражданином и спи спокойно. Пусть здоровьем его величества занимаются другие врачи, ведь если они не вылечат короля, они вылечат Францию!

— Как! — воскликнул Паре.— Чтобы я дал умереть человеку, которого я в силах спасти? Нет! Нет! Даже если мне будет грозить виселица, как стороннику Кальвина, все равно завтра я ранним утром пойду во дворец. Ты разве не понимаешь, что единственная милость, которой я буду просить у короля, когда я его спасу,— это жизнь твоего Кристофа? Я уверен, что настанет минута, когда королева Мария мне ни в чем не откажет.

— Увы, друг мой,— ответил Лекамю,— разве молодой король не отказал принцессе Конде, умолявшей по-

миловать мужа? Не изменяй своей вере, оставляя в живых того, кто должен умереть.

— Ты что же, хочешь вмешаться в дела господа, который один знает грядущее? — воскликнул Паре.— У честных людей есть только одно правило жизни: «Исполняй свой долг, а там будь, что будет!» Этому правилу я следовал в Кале, когда приставил колено к лицу герцога. Его друзья, его слуги могли изрубить меня в куски, а вместо этого я стал придворным хирургом. Больше того, по убеждению я реформат, а Гизы мои друзья. Я спасу короля! — воскликнул хирург, полный светлой веры в свое дело, которая всегда свойственна гению.

В дверь постучали, и спустя несколько мгновений один из слуг Амбруаза передал Лекамю записку. Старик прочел вслух ее страшные слова:

«Близ монастыря францисканцев воздвигают эшафот, чтобы завтра казнить принца Конде».

Амбруаз и Лекамю переглянулись. Оба были охвачены ужасом.

— Сейчас я все выясню,— сказал меховщик.

Руджери, дожидавшийся Лекамю на площади, взял его под руку и стал выспрашивать, каким способом Амбруаз намеревался спасти короля. Но старик заподозрил, что его обманывают, и захотел сам увидеть эшафот. Тогда астролог и меховщик пошли вдвоем к монастырю францисканцев. Действительно, там при свете факелов работали плотники.

— Что это ты делаешь, друг мой? — спросил Лекамю плотника.

— Мы готовим виселицу для еретиков.

— Кровь, пролитая в Амбуазе, ничему их не научила,— ответил молодой монах-францисканец, наблюдавший за работой.

— Господин кардинал совершенно прав,— сказал осторожный Руджери.— В Италии с ними поступают иначе.

— А как?

— Брат мой, у нас их сжигают.

Лекамю вынужден был опереться на астролога. Он еле держался на ногах. Мысль о том, что завтра тело его сына будет болтаться на одной из этих виселиц, не вы-

ходила у него из головы. Несчастный старик стоял на распутье и не знал, что выбрать: обе науки — астрология и хирургия—обещали спасти Кристофа, а между тем эшафот уже воздвигался. Мысли его пришли в смятение, и теперь флорентинец мог вить из него веревки.

— Ну, так что же, досточтимый торговец беличьими шкурками, как вам нравятся эти лотарингские затеи?— спросил Руджери.

— О горе мне! Вы же знаете, что я дал бы содрать с себя шкуру, чтобы спасти сына!

— Такие слова действительно подходят для торговца горностаем,— ответил итальянец.— Расскажите мне как следует, что за операцию Амбруаз собирается делать королю, и я обещаю, что сын ваш будет жив...

— Неужели? — воскликнул старый меховщик.

— На чем же вам поклясться?..— спросил Руджери.

И несчастный старик рассказал тогда флорентинцу о своем разговоре с Амбруазом. Едва только тот узнал, каким секретом владел знаменитый хирург, он мгновенно скрылся, оставив убитого горем старика одного.

— Для чего ему, нечестивцу, все это понадобилось?— воскликнул старик, видя, как Руджери быстрыми шагами направился на площадь Этап.

Меховщик ничего не знал о страшной сцене, разыгравшейся у королевской постели; вслед за ней последовал приказ воздвигнуть эшафот для принца, приговор которому был вынесен, можно сказать, заочно и не приведен в исполнение только из-за болезни короля. В зале, на лестницах и во дворе суда находились только те, кто нес в это время службу. Толпа придворных заполнила резиденцию Наваррского короля: по существующим законам он должен был стать регентом. Французская знать, напуганная смелостью Гизов и видя, что королева-мать оказалась у них в рабском подчинении, чувствовала, что ей лучше всего держаться поближе к главе младшей ветви королевского дома. Они не могли понять, какова была политика итальянки. По тайному соглашению с Екатериной Антуан Бурбон должен был отказаться от регентства только после того, как по этому вопросу выскажутся Генеральные штаты. Когда, вернувшись с дозора, с которым он предусмотрительно обходил город, гофмар-

шал застал короля, окруженного одними только ближайшими друзьями, он не мог не заметить этого всеобщего отчуждения и встревожился. Комната, в которой поставили кровать Франциска II, примыкала к большому залу суда. В то время зал этот был отделан деревянной резьбой. Потолок был искусно выложен маленькими продолговатыми дощечками, затейливо разрисованными голубыми арабесками на золотом фоне. Часть этих дощечек, которые были отодраны около пятидесяти лет тому назад, досталась одному любителю древностей. Эта комната, стены которой были покрыты гобеленами, а пол застлан ковром, была сама по себе настолько темной, что зажженные канделябры были бессильны рассеять этот мрак. Огромная кровать на четырех столбах с шелковым занавесом походила на гробницу. По одну сторону этой кровати находилась королева Мария и кардинал Лотарингский. Екатерина сидела в кресле. Знаменитый Жан Шаплен, дежурный врач, которого сделали потом первым врачом Карла IX, стоял возле камина. В спальне царило гнетущее молчание. Франциск, изнуренный и бледный, так глубоко зарылся в одеяло, что его загримированное лицо было еле видно. Сидевшая рядом на табуретке герцогиня де Гиз помогала юной Марии, а г-жа Фьеско, стоя в амбразуре окна, следила за каждым словом и каждым взглядом королевы-матери, ибо она знала, как опасно положение Екатерины.

Несмотря на то, что был уже поздний час, г-н де Сипьер, наставник герцога Орлеанского, назначенный теперь губернатором города, сидел в углу возле камина вместе с обоими Гонди. Кардинал Турнонский, видя, что кардинал Лотарингский, бывший нисколько не выше его по сану, начинает смотреть на него сверху вниз, в эту критическую минуту перешел на сторону Екатерины. Он о чем-то разговаривал с обоими Гонди. Маршалы Вьельвиль и Сент-Андре, а также хранитель печати, который возглавлял Штаты, вполголоса обсуждали опасности, которые отныне грозили Гизам.

Гофмаршал прошел из одного конца залы в другой, быстро окинув взглядом всех присутствующих. Заметив среди них герцога Орлеанского, он поздоровался с ним.

— Монсеньер,—сказал он,— вот где вы можете на-

учиться распознавать людей; вся наша католическая знать собралась сейчас у принца-еретика, считая, что Генеральные штаты назначат регентом потомка того самого предателя, который столько времени держал в заключении вашего знаменитого деда!

После этих слов, которые были рассчитаны на то, чтобы глубоко задеть принца, он прошел в покои, где, погруженный в тяжелую дремоту, лежал молодой король. В обычное время герцог Гиз умел придавать приятное выражение своему страшному, обезображенному шрамом лицу, но в эту минуту, видя, как орудие его власти гибнет, он не нашел в себе сил улыбнуться. Кардинал, который был так же храбр в обществе, как его брат в бою, пошел навстречу верховному главнокомандующему.

— Роберте считает, что маленький Пинар продался королеве-матери,— шепнул он ему на ухо, уводя его в зал.— Им воспользовались, чтобы повлиять на членов Генеральных штатов.

— Ну и что же! Какое может иметь для нас значение предательство секретаря, если нас предают все вокруг!— воскликнул герцог.— Весь город за реформатов, и возмущение назревает. Да, эти *пройдохи* недовольны,— добавил он, называя жителей Орлеана их кличкой.— Если только Паре не спасет короля, поднимется страшное восстание. Очень скоро нам придется осаждать Орлеан, змеиное гнездо гугенотов.

— Я наблюдаю сейчас за этой итальянкой, она замерла и окаменела — она подстерегает смерть сына. Да простит ее господь! Я только думаю, не лучше бы нам было арестовать ее так же, как и короля Наваррского.

— Довольно и того, что мы посадили в тюрьму принца Конде,— сказал герцог.

У дверей здания суда послышался бешеный галоп лошади. Оба лотарингца подошли к окну, и при свете факелов, постоянно горевших у привратника и в кордегардии, герцог разглядел на шапке у всадника знаменитый лотарингский крест, носить который кардинал обязал всех своих сторонников. Он велел одному из находившихся в передней аркебузиров сказать, чтобы прибывшего впустили, и сам вместе с братом вышел встретить его на лестничную площадку.

— Что же случилось, милый Симёз? — завидев губернатора Жьена, спросил герцог с той особой приветливостью, с которой он всегда относился к людям военным.

— Коннетабль у ворот Питивье; он выехал из Экуана с полутора тысячами всадников и сотней дворян.

— А с ними есть и еще кто-нибудь? Они что, все со своими людьми? — спросил герцог.

— Да, монсеньер,—ответил Симёз,—их всего две тысячи шестьсот человек. Говорят, что Торе следует сзади со своей пехотой. Если коннетаблю придет в голову дожидаться сына, у вас будет время с ним разделаться...

— А больше ты ничего не знаешь? Что заставило их взяться за оружие?

— Анн не привык много говорить и много писать. Поезжайте ему навстречу, брат мой, а я буду его приветствовать здесь отрубленной головой его племянника,— сказал кардинал и отдал приказ послать за Роберте.

— Вьельвиль! — воскликнул герцог, обращаясь к маршалу, который шел к нему.— Коннетабль стал настолько дерзок, что явился к нам вооруженным. Можете вы отвечать за порядок в городе, если я сейчас двинусь ему навстречу?

— Стоит вам только уехать, как горожане возьмутся за оружие. И кто знает, чем окончится схватка конницы с горожанами здесь, в этих узеньких улочках?— ответил маршал.

— Монсеньер,— сказал Роберте, быстро взбегая наверх по лестнице,— канцлер внизу у дверей и хочет войти. Впускать его или нет?

— Впустите,— ответил кардинал Лотарингский.— Оставлять коннетабля с канцлером было бы слишком опасно. Надо их разъединить. Королева-мать ловко нас одурачила, избрав на эту должность Лопиталя.

Роберте кивнул головой капитану, который дожидался ответа внизу, и быстро обернулся, чтобы выслушать распоряжения кардинала.

— Монсеньер,— сказал он, сделав над собою еще одно усилие,— я беру на себя смелость думать, что всякий приговор должен быть *утвержден королем на его*

совете. Если только вы позволите себе нарушить закон в отношении принца крови, с законом перестанут считаться и тогда, когда речь зайдет о кардинале или о герцоге Гизе.

— Пинар тебя смутил, Роберте,— сурово сказал кардинал.— Разве ты не знаешь, что король подписал приговор в тот самый день, когда он был вынесен, и для того, чтобы мы привели его в исполнение.

— Что же, пускай, выполняя ваше поручение, которое, кстати сказать, надлежит выполнить городскому прево, я поплачусь головой, меня это не страшит, монсеньер. Я согласен.

Герцог с безразличным видом слушал весь этот спор. Потом он взял брата под руку и увел его в дальний угол зала.

— Разумеется,— сказал он,— наследники Карла Великого имеют право на корону, которую отнял у их дома Гюг Капет. Только в силах ли они это сделать? Груша еще не поспела. Племянник наш умирает, а весь двор сейчас у Наваррского короля.

— У короля не хватило духу, не то Беарнца просто бы закололи,— ответил кардинал,— и тогда нам легко было бы разделаться со всеми его детьми.

— Место мы выбрали неудачное,— сказал герцог.— Штаты будут поддерживать мятежников. Лопиталь, за которого мы так стояли, в то время как королева Екатерина его отвергала, стал нашим противником, а нам надо, чтобы закон был за нас. У королевы-матери слишком много сейчас сторонников, чтобы можно было ее сослать... Да к тому же остаются еще три принца!

— Она уже больше не мать, она прежде всего королева,— сказал кардинал.— Поэтому, мне думается, именно сейчас надо кончать с ней. Решимость и еще раз решимость! Вот мой девиз.

После этого кардинал вошел в покои короля. Его брат последовал за ним. Кардинал направился прямо к Екатерине.

— Вам передали содержание бумаг Ла Саня, секретаря принца Конде: вы знаете, что Бурбоны хотят лишить ваших сыновей престола? — спросил он.

— Я все это знаю,— ответила итальянка.

— Тогда прикажите арестовать Наваррского короля.

— Для этого есть верховный главнокомандующий королевства,— сказала Екатерина.

В эту минуту у Франциска II возобновились жестокие боли в ухе, и он начал жалобно стонать. Врач, который в это время грелся у камина, пошел осмотреть больного.

— Ну как? — спросил герцог, обращаясь к первому врачу.

— Я не могу решиться делать ему припарки, чтобы отвлечь воспаление. Господин Амбруаз обещал спасти короля операцией, я с этим не согласен.

— Отложим все до завтра,— равнодушно сказала Екатерина.— И пусть все врачи будут в сборе. Вы ведь знаете, сколько клеветы поднимается, когда умирают принцы.

Она поцеловала руку сына и удалилась.

— До чего же спокойно эта дерзкая купеческая дочь говорит о смерти дофина, которого отравил Монтекукулли, флорентинец из ее свиты! — воскликнула королева Мария Стюарт.

— Мария! — закричал молодой король.— Дед мой никогда не сомневался в ее невиновности!..

— Не допускайте ее завтра к королю,— шепотом сказала Мария Стюарт своим обоим дядям.

— А что будет с нами, если король умрет? — ответил кардинал.— Екатерина всех нас загонит в гроб.

Итак, в эту ночь вопрос о том, победит ли Екатерина Медичи или Лотарингцы, был поставлен со всей остротой. Прибытие канцлера и коннетабля означало мятеж, и следующее утро должно было все решить.

XIII
КАК УМЕР ФРАНЦИСК II

Утром королева-мать пришла первой. В спальне короля ее встретила только Мария Стюарт, бледная и усталая: она всю ночь провела у постели больного. Приней неотлучно находилась герцогиня де Гиз и придворные дамы, которые сменяли друг друга. Молодой король спал. Ни герцога, ни кардинала еще не было. Служитель церкви оказался решительнее солдата и в эту ночь

употребил всю свою энергию, чтобы убедить брата сделаться королем, однако старания его ни к чему не привели. Балафре знал, что Генеральные штаты уже в сборе и что ему грозит сражение с коннетаблем Монморанси, и нашел, что обстоятельства не позволяют ему сейчас проявить власть: поэтому он отказался арестовать короля Наварры, королеву-мать, канцлера, кардинала Турнонского, обоих Гонди, Руджери и Бирагу, считая, что подобное насилие неминуемо повлечет за собой мятеж. Он решил, что осуществить планы своего брата он сможет, только если Франциск II останется жив.

В спальне короля царило глубочайшее молчание. Екатерина в сопровождении г-жи Фьеско подошла к кровати. Она поглядела на сына, причем лицо ее изобразило разыгранную с большим искусством скорбь. Приложив к глазам платок, она ушла в амбразуру окна, куда г-жа Фьеско принесла ей кресло. Оттуда королева-мать стала внимательно следить за всем, что делается на дворе.

У Екатерины было условлено с кардиналом Турнонским, что, если коннетабль сумеет благополучно вступить в город, кардинал явится в сопровождении обоих Гонди, а если того постигнет неудача, он придет один. В девять часов утра оба лотарингских принца вместе со всеми вельможами, остававшимися в зале, направились к королю. Дежурный капитан предупредил их, что Амбруаз Паре только что прибыл туда вместе с Шапленом и еще тремя врачами, приглашенными Екатериной. Все четверо ненавидели Амбруаза.

Через несколько минут богато убранный зал суда стал выглядеть совершенно так же, как кордегардия в Блуа в день, когда герцог Гиз был назначен верховным главнокомандующим королевства и когда Кристофа подвергли пытке, с тою только разницей, что тогда королевские покои наполняла радость и любовь, в то время как теперь в них царила печаль и смерть, а Лотарингцы чувствовали, что у них из рук ускользает власть.

Фрейлины обеих королев, разделившись на два стана, расположились у противоположных углов большого камина, где полыхал яркий огонь. Зал был полон при-

дворных. Разнесенная кем-то весть о смелой попытке Амбруаза спасти жизнь короля привела во дворец всех вельмож, которые имели право там находиться, и они столпились на дворе и на лестнице зала суда. Придворных охватила тревога. Вид эшафота, воздвигнутого для принца Конде прямо против монастыря францисканцев, всех потряс. Люди говорили между собою тихо, и точно так же, как в Блуа, серьезное смешивалось с фривольным, пустое — с важным. Придворные начали уже привыкать к волнениям, к переменам, к вооруженным нападениям, к восстаниям, к неожиданно совершавшимся переворотам, заполнявшим собою те долгие годы, в течение которых угасала династия Валуа, как ни старалась Екатерина ее спасти. В комнатах, примыкающих к королевской спальне, охраняемой двумя вооруженным солдатами, двумя пажами и капитаном шотландской стражи, царила мертвая тишина. Антуан Бурбон, находившийся под арестом в своей резиденции, увидав, что все его покинули, понял, какие надежды лелеял двор. Узнав о приготовлениях к казни брата, сделанных за ночь, он глубоко опечалился.

В зале суда возле камина стоял один из самых благородных и значительных людей своего времени, канцлер Лопиталь, в простой, отороченной горностаем мантии и в полагавшейся ему по званию бархатной шапочке. Этот отважный человек, увидев, что его покровители готовят мятеж, перешел на сторону Екатерины, которая в его глазах олицетворяла трон, и, рискуя жизнью, отправился в Экуан совещаться с коннетаблем. Никто не осмеливался вывести его из раздумья, в которое он был погружен. Роберте, государственный секретарь, два маршала Франции, Вьельвиль и Сент-Андре, хранитель печати, стояли возле канцлера. Ни один из придворных не позволял себе смеяться, но в разговоре их то и дело слышались язвительные замечания, исходившие главным образом из уст противников Гизов.

Кардиналу удалось, наконец, арестовать шотландца, убийцу президента Минара, и дело это начало разбираться в Туре. Вместе с тем в тюрьмы замка Блуа и Турского замка было брошено немало скомпрометированных дворян, дабы внушить страх всей остальной знати, которая больше уже ничего не боялась. Обуреваемая

мятежным духом и проникнутая сознанием своего былого равноправия с королем, эта знать стала искать опоры в Реформации. Но вот пленникам тюрьмы Блуа удалось бежать, и в силу какого-то рокового стечения обстоятельств их примеру последовали и узники Турской тюрьмы.

— Сударыня,— сказал кардинал Шатильонский г-же Фьеско,— если вас интересует судьба турских узников, то знайте, им грозит большая опасность.

Услыхав эти слова, канцлер обернулся к придворным дамам королевы-матери.

— Да, молодой Дево, шталмейстер принца Конде, который сидел в Турской тюрьме и который бежал оттуда, пустил очень злую шутку. Говорят, что он написал герцогу и кардиналу следующую записку:

«Мы слышали, что ваши узники бежали из тюрьмы Блуа. Нас это так возмутило, что мы пустились им вдогонку: как только мы их поймаем, мы вам их доставим».

Хотя шутка эта и была в стиле кардинала Шатильонского, канцлер окинул говорившего суровым взглядом. В эту минуту из опочивальни короля послышались громкие голоса. Оба маршала, Роберте и канцлер направились туда, ибо речь шла не только о жизни и смерти короля,— весь двор уже знал об опасности, грозившей канцлеру, Екатерине и их сторонникам. Поэтому вокруг и воцарилась глубокая тишина. Амбруаз осмотрел короля, он находил, что есть все показания к операции и что, если ее сейчас не сделать, Франциск II может умереть с минуты на минуту. Едва только герцог и кардинал вошли, Паре объяснил им причины, вызвавшие заболевание короля, и, приведя доводы в пользу немедленной трепанации черепа как крайней меры, стал ждать распоряжения врачей.

— Что! Продырявить голову моего сына, как доску, и еще таким ужасным инструментом! — воскликнула Екатерина Медичи.— Нет, Амбруаз, я этого не допущу!

Врачи стали совещаться. Однако слова Екатерины были произнесены так громко, что их услыхали и в соседнем зале, а ей как раз это и было надо.

— Но что же делать, если другого средства нет? — сказала Мария Стюарт, заливаясь слезами.

— Амбруаз! — воскликнула Екатерина.— Помните, что вы отвечаете головой за жизнь короля.

— Мы не согласны с тем, что предлагает господин Амбруаз,— заявили все три врача.— Можно спасти короля, влив ему в ухо лекарство, которое оттянет весь гной.

Герцог, который внимательно следил за выражением лица Екатерины, подошел к ней и увел ее к окну.

— Ваше величество,— сказал он,— вы, должно быть, хотите смерти вашего сына, вы в сговоре с нашими врагами, и все это началось еще в Блуа. Сегодня утром советник Виоле сказал сыну вашего меховщика, что принцу Конде собираются отрубить голову. Этот юноша, несмотря на то, что под пыткой он упорно отрицал всякую связь с принцем Конде, проходя мимо его окна, попрощался с ним кивком головы. Когда вашего злосчастного единомышленника пытали, вы глядели на него с истинно королевским равнодушием. Сейчас вы хотите воспрепятствовать спасению вашего старшего сына. Это заставляет нас думать, что смерть дофина, после которой вступил на престол покойный король, ваш муж, не была естественной смертью и что Монтекукулли был вашим...

— Господин канцлер! — воскликнула Екатерина, и по ее знаку г-жа Фьеско распахнула двустворчатую дверь.

Тогда глазам всех предстала королевская опочивальня; там лежал молодой король, мертвенно бледный, с ввалившимися щеками, с потухшими глазами; единственным словом, которое он, не переставая, бормотал, было имя «Мария»; он не отпускал руки молодой королевы, которая плакала. Около постели стояла герцогиня Гиз, напуганная смелостью Екатерины; оба Лотарингца, точно так же встревоженные, находились подле королевы-матери: они решили арестовать ее, поручив это Майе-Брезе. Тут же находился знаменитый Амбруаз Паре, которому помогал королевский врач. В руках у Паре были инструменты, но начинать операцию он не решался,—для этого нужна была полная тишина, а равным образом и согласие всех врачей.

— Господин канцлер,— сказала Екатерина,— герцог и кардинал дают свое согласие подвергнуть короля странной операции. Амбруаз предлагает продырявить ему череп. Я, как мать и как член регентского совета, против этого протестую,—мне кажется, что это—преступление против особы короля. Остальные врачи стоят за то, чтобы сделать впрыскивание, что, по-моему, столь же действенно, но зато менее опасно, чем этот дикий способ Амбруаза.

Вслед за этими словами в зале послышался какой-то зловещий гул. Кардинал пропустил канцлера и закрыл за ним дверь.

— Но ведь я сейчас верховный главнокомандующий,— сказал герцог Гиз,— и вы знаете, господин канцлер, что королевский хирург Амбруаз отвечает за жизнь короля!

— Ах, вот оно что! — воскликнул знаменитый хирург.— Ну, хорошо, я знаю, что мне делать!

Он простер руку над постелью короля.

— И эта постель и жизнь короля сейчас принадлежат мне. Я здесь единственный хирург и отвечаю за все. Я знаю, как я должен поступить, и буду делать королю операцию, не дожидаясь, когда врачи мне это прикажут...

— Спасите короля,— сказал кардинал,— и вы будете самым богатым человеком во Франции.

— Так начинайте скорее! — воскликнула Мария Стюарт, крепко сжимая руку Амбруазу.

— Я не в силах этому помешать,— сказал канцлер,— но я должен засвидетельствовать, что королева-мать протестует.

— Роберте! — закричал герцог Гиз.

Когда Роберте явился, верховный главнокомандующий указал ему на канцлера.

— Вы назначаетесь канцлером Франции на место этого предателя,— сказал он.— Господин де Майе, отведите господина Лопиталя в ту тюрьму, где сидит принц Конде. Знайте, ваше величество, что протест ваш не принят, а вам не худо было бы задуматься над тем, что действия свои следует подкреплять достаточными силами. Я поступаю как верноподданный и как преданный

слуга господина моего, Франциска Второго. Начинайте, Амбруаз,— добавил он, поглядев на хирурга.

— Герцог Гиз,— сказал Лопиталь,— если вы только вздумаете применить силу к королю или к канцлеру Франции, то помните, что в этом зале находится достаточно французской знати, чтобы не дать воли изменникам...

— Послушайте, господа,— воскликнул знаменитый хирург,—если вы не прекратите сейчас ваших споров, вам скоро придется кричать: «Да здравствует король Карл Девятый!», — ибо король Франциск Второй умрет.

Екатерина продолжала бесстрастно смотреть в окно.

— Что же, нам придется применить силу, чтобы быть хозяевами в королевских покоях,— сказал кардинал, собираясь закрыть двери.

Но вдруг он ужаснулся: здание суда опустело, и все придворные, уверенные в том, что король вот-вот умрет, поспешили перейти к Антуану Наваррскому.

— Делайте же все скорее! — вскричала Мария Стюарт Амбруазу.— И я и герцогиня,— сказала она, указывая на герцогиню Гиз,— мы вас поддержим.

— Ваше величество,— сказал Амбруаз,— я был увлечен моим планом, но за исключением моего друга Шаплена все врачи настаивают на впрыскивании, и я обязан им подчиниться. Если бы я был первым врачом и первым хирургом, жизнь короля была бы спасена! Дайте, я все сделаю сам,— сказал он, беря из рук первого врача спринцовку и наполняя ее.

— Боже мой,— воскликнула Мария Стюарт,— я же вам приказываю...

— Что делать, ваше величество,— сказал Амбруаз,— я исполняю волю господ врачей!

Молодая королева вместе с герцогиней Гиз встала посредине между хирургом, врачами и всеми остальными. Первый врач приподнял голову короля, и Амбруаз сделал ему впрыскивание в ухо. Герцог и кардинал внимательно за всем следили, Роберте и г-н де Майе пребывали в неподвижности. Г-жа Фьеско, по знаку Екатерины, незаметно вышла из комнаты. В это мгновение Лопиталь стремительно распахнул двери королевской опочивальни.

Послышались чьи-то быстрые шаги, отдававшиеся эхом по залу. В ту же минуту в дверях королевской опочивальни раздался голос:

— Я прибыл как раз вовремя. Что же, господа, вы решили отрубить голову моему племяннику принцу Конде?.. Этим вы заставили льва выйти из своего логова, и вот он перед вами.

Это был коннетабль Монморанси.

— Амбруаз,— воскликнул он,— я не позволю вам копаться своими инструментами в голове моего короля! Короли Франции позволяют прикасаться к своей голове только оружию врага во время сражения! Первый принц крови Антуан де Бурбон, принц Конде, королева-мать и канцлер — все против этой операции.

К великому удовольствию Екатерины, следом за коннетаблем вошли король Наваррский и принц Конде.

— Что все это значит? — воскликнул герцог Гиз, хватаясь за кинжал.

— По праву коннетабля я снял стражу со всех постов. Черт возьми! Не враги же вас здесь окружают! Король, наш господин, находится среди своих подданных, а Генеральные штаты должны пользоваться в стране полной свободой. Я пришел сюда, господа, от имени Штатов! Я представил туда протест моего племянника принца Конде, которого триста дворян сейчас освободили. Вы хотели пролить королевскую кровь, чтобы погубить нашу знать. У меня больше нет доверия к вам, господа Лотарингцы. Вы приказываете вскрыть череп королю. Клянусь вот этим мечом, которым его дед спас Францию от Карла V, вам никогда этого не удастся сделать...

— Тем более,— сказал Амбруаз Паре,— что мы уже опоздали, гной разливается...

— Вашей власти пришел конец,— сказала Екатерина Лотарингцам, увидев по лицу Амбруаза, что надежды уже нет никакой.

— Вы убили вашего сына, государыня! — закричала Мария Стюарт.

Она, как львица, метнулась от постели к окну, с силой схватив за руку флорентинку.

— Милая моя,— ответила Екатерина, смерив ее холодным и пристальным взглядом, пропитанным нена-

вистью, которую она сдерживала уже в течение полугода,— причина смерти короля не что иное, как ваша неистовая любовь. Ну, а теперь вы поедете царствовать в свою Шотландию, и завтра же вашей ноги здесь не будет. Регентшей теперь стала я.

Врачи сделали какой-то знак королеве-матери.

— Господа,— сказала она, глядя на Гизов,— у нас условлено с господином Бурбоном, которого ныне Генеральные штаты назначили верховным главнокомандующим королевства, что всеми делами отныне ведаем мы. Господин канцлер!

— Король умер! — сказал гофмаршал, которому полагалось об этом объявить.

— Да здравствует король Карл Девятый!—вскричали дворяне, пришедшие вместе с королем Наваррским, принцем Конде и коннетаблем.

Церемониал, который обычно следует за смертью короля Франции, на этот раз совершался в тишине. Когда герольдмейстер после официального сообщения герцога Гиза трижды возвестил в зале: «Король умер!» — только несколько голосов повторили: «Да здравствует король!»

Едва только графиня Фьеско подвела к Екатерине герцога Орлеанского, которому через несколько мгновений суждено было стать королем Карлом IX, королева-мать ушла, держа сына за руку. За нею последовал весь двор. В комнате, где Франциск II испустил дух, оставались только двое Лотарингцев, герцогиня Гиз, Мария Стюарт и Дайель, два стража у дверей, пажи герцога и кардинала и личные их секретари.

— Да здравствует Франция! — воскликнули несколько реформатов. Это были первые крики противников Гизов.

Роберте, на которого герцог и кардинал возлагали большие надежды, напуганный как их планами, так и постигшей их неудачей, втайне примкнул к королеве-матери, навстречу которой вышли послы Испании, Англии, Священной римской империи и Польши. Их привел сюда кардинал Турнонский, который появился при дворе Екатерины Медичи в ту самую минуту, когда она стала протестовать против операции Амбруаза Паре.

— Итак, потомкам Людовика Заморского, наследникам Карла Лотарингского не хватило смелости,— сказал кардинал герцогу.

— Их все равно отправили бы в Лотарингию,— ответил тот.— Говорю тебе, Шарль, если бы мне надо было протянуть руку, чтобы взять корону, я бы этого не сделал. Пусть этим займется мой сын.

— А будет ли когда-нибудь у него в руках, как у тебя, и армия и церковь?

— У него будет больше, чем это.

— Что же?

— С ним будет народ!

— Я одна только плачу о нем. Мой бедный мальчик! Он так меня любил! — повторяла Мария Стюарт, не выпуская похолодевшей руки своего супруга.

— Кто поможет мне договориться с королевой? — спросил кардинал.

— Подождите, пока она поссорится с гугенотами,— ответила герцогиня.

Столкнувшиеся интересы дома Бурбонов, Екатерины, Гизов, реформатов — все это привело Орлеан в такое смятение, что, когда спустя три дня гроб с телом короля, о котором все позабыли, увезли на открытом катафалке в Сен-Дени, его сопровождали только епископ санлисский и двое дворян. Когда это печальное шествие прибыло в городок Этамп, один из служителей канцлера Лопиталя привязал к катафалку страшную надпись, которую история запомнила: «Танги-дю-Шатель, где ты? Вот ты был настоящим французом!» Этот жестокий упрек падал на голову Екатерины, Марии Стюарт и Лотарингцев. Какой француз не знал, что Танги-дю-Шатель истратил тридцать тысяч экю (на наши деньги миллион) на похороны Карла VII, благодетеля своего дома!

XIV
ЖЕНЕВА

Едва только звон колоколов возвестил орлеанцам о кончине Франциска II и едва только коннетабль Монморанси заставил открыть ворота города, Турильон под-

нялся к себе на чердак и направился к потайному убежищу.

— Так он действительно умер? — воскликнул перчаточник.

При этих словах человек, находившийся там, встал с пола и ответил: «Готов служить!» Это был девиз реформатов, сторонников Кальвина.

Человек этот был Шодье. Турильон рассказал ему о событиях последней недели: все это время проповедник сидел в одиночестве, не выходя из своего тайника, где единственной его пищей были оставленные ему двенадцать фунтов хлеба.

— Беги, брат мой, к принцу Конде, попроси его дать мне охранную грамоту и найди лошадь! — воскликнул проповедник.— Мне надо сейчас же ехать.

— Напишите записку к нему, чтобы он меня принял.

— Вот она,—сказал Шодье и передал ему клочок бумаги, на котором было написано несколько строк.— Возьми пропуск у короля Наваррского. Положение сейчас таково, что я должен спешить в Женеву.

Спустя два часа все было готово, и наш неистовый проповедник скакал уже в Швейцарию в сопровождении одного дворянина из свиты короля Наваррского; тот вез предписания реформатам Дофине; Шодье выдавал себя за его секретаря. Екатерина сумела использовать этот стремительный отъезд Шодье в своих интересах. Чтобы выиграть время, она предложила очень смелый план, который хранился в глубокой тайне. Этот удивительный план позволяет понять, почему ей сразу же удалось сговориться с главарями реформатов. Эта хитрая женщина, для того чтобы искренность ее не возбуждала сомнений, предложила согласовать все спорные вопросы, существовавшие между католиками и реформатами, путем созыва некоей конференции, которая, однако, не могла называться ни синодом, ни советом, ни собором,— необходимо было придумать для нее какое-то совершенно новое название и, что важнее всего, получить согласие Кальвина. Между прочим, как только ее тайный замысел стал известен, Гизы, как бы в противовес ему, объединились с коннетаблем Монморанси против Екатерины и короля Наваррского. Это был очень странный союз; в истории он известен под

именем триумвирата, ибо маршал Сент-Андре стал в нем третьим лицом. Союз состоял из одних католиков и явился как бы ответом на необычайный замысел королевы-матери. Гизы сумели тогда оценить по достоинству хитрую политику Екатерины: они поняли, что королеве конференция эта была нужна только для того, чтобы выиграть у своих союзников время, пока Карл IX не достигнет совершеннолетия. Этим они обманули коннетабля, убедив его, что у Екатерины есть тайное соглашение с Бурбонами, в то время как в действительности Екатерина обманывала их всех. Как это явствует из всего сказанного, власть королевы за короткое время значительно выросла. Распространенное тогда пристрастие ко всяческим дискуссиям и спорам оказалось исключительно благоприятной почвой для предложения Екатерины. Католикам и реформатам предстояло блеснуть друг перед другом в этом словесном турнире. Именно так и случилось. Разве не примечательно, что историки приняли самые тонкие маневры королевы за ее нерешительность! А на самом деле никогда еще Екатерина не шла таким прямым путем к своей цели, как именно тогда, когда все считали, что она от нее удаляется. Поэтому-то король Наваррский, не будучи в состоянии разгадать замыслы Екатерины, и направил с такой поспешностью к Кальвину проповедника Шодье, который все это время втайне следил за событиями в Орлеане, где в любую минуту его могли обнаружить и повесить без суда, как всякого человека, приговоренного к изгнанию. Средства передвижения были в то время таковы, что Шодье мог попасть в Женеву не ранее февраля, переговоры можно было завершить только в марте, а созыв конференции оказывалось возможным осуществить только в начале мая 1561 года. Екатерина решила тем временем занять внимание придворных и партий коронованием юного короля и его первым появлением в парламенте. Лопиталь и де Ту предъявили парламенту послание, в котором Карл IX поручал управление государством своей матери вместе с верховным главнокомандующим Антуаном Наваррским, самым безвольным принцем того времени!

Разве не странно видеть, как целое государство зависело от «да» или «нет» какого-то французского горожани-

на, долгие годы вообще никому не известного, а потом обосновавшегося в Женеве? Не странно ли, что Трансальпийский папа оказался в зависимости от папы Женевского? И что Лотарингцы, недавно еще столь могущественные, были совершенно парализованы в своих действиях этим мгновенно возникшим союзом первого принца крови с королевой-матерью и с Кальвином? Какой это полезный пример для всех королей! История учит их на этом примере распознавать людей, сразу же воздавать должное гению и искать его, как это сделал Людовик XIV, всюду, куда только господь направит его шаги.

Кальвин, настоящее имя которого было Ковен, был сыном бочара из Нуайона, в Пикардии. Сама страна, где вырос Кальвин, в какой-то мере объясняет то упорство и ту странную жизнеспособность, которая отличала этого вершителя судеб Франции XVI века. Как мало у нас знают об этом человеке, определившем собою и жизнь Женевы и весь дух ее народа! Жан-Жак Руссо, который был не очень сведущ в истории, ровно ничего не знал о влиянии этого человека на его родину. Дело в том, что влияние Кальвина, жившего в одном из самых захуда-

лых домов верхнего города, возле храма святого Петра, в последнем этаже дома плотника (вот первая черта, общая у него с Робеспьером), не пользовался в Женеве никаким особенным авторитетом. В течение долгого времени ненавидевшие его жители Женевы старались всячески ограничить его влияние. Одним из тех знаменитых граждан Женевы, которых никто на свете не знает, а нередко не знают и сами женевцы, в XVI веке был некий Фарель. Фарель призвал около 1537 года Кальвина в Женеву, указав ему на этот город как на самый надежный оплот для Реформации, призывающей к действию более решительно, чем учение Лютера. Фарель и Ковен считали лютеранство учением несовершенным, недостаточным и не имеющим для себя подходящей почвы во Франции. Женева, расположенная между Францией и Италией и говорящая на французском языке, была исключительно удобна для установления связей с Германией, Италией и Францией. Кальвин избрал Женеву своей резиденцией и начал в ней свою духовную деятельность. Он сделал этот город цитаделью

своего учения. Совет Женевы, по настоянию Фареля, в сентябре 1538 года разрешил Кальвину читать лекции по богословию. Кальвин поручил произносить проповеди Фарелю, своему ближайшему ученику, а сам стал терпеливо излагать основы своей доктрины. Влияние Кальвина, ставшее огромным в последние годы его жизни, утверждалось, по-видимому, с большим трудом. Трудности, которые пришлось преодолевать этому великому проповеднику, были настолько велики, что его даже на какое-то время изгнали из Женевы, и причиною изгнания была суровость его реформы. И среди людей честных там были такие, которые тяготели к прежним нравам и прежней роскоши. Но, как всегда бывает, эти порядочные люди боялись показаться смешными и не хотели, чтобы другие знали, чего они добиваются. Поэтому споры обычно уходили в сторону от основного предмета. Кальвин хотел, чтобы для причастия пользовались *дрожжевым хлебом* и чтобы, кроме воскресенья, других праздников не было. В Берне и в Лозанне эти новшества были встречены неодобрительно. Женевцам дали понять, что они обязаны соблюдать швейцарские обряды. Кальвин и Фарель упорствовали. Их *политические враги* воспользовались этими разногласиями, чтобы удалить их из Женевы, откуда они действительно были изгнаны на несколько лет. Позднее уже Кальвин торжественно вернулся, призванный туда своей паствой. Такие преследования неизменно становятся своего рода освящением духовной мощи писателя, если только он достаточно терпелив, чтобы ждать. Тот день, когда Кальвин вернулся в Женеву, знаменует собою как бы начало новой эры в жизни этого пророка. Начались преследования врагов, и Кальвин сам перешел к религиозному террору. На этот раз, как только новый властитель умов появился, женевские горожане его признали. Но даже по прошествии этих четырнадцати лет он все еще не был членом совета. В те дни, когда Екатерина послала к нему проповедника, этот король мысли именовался всего-навсего пастором Женевской церкви. Кальвин никогда не получал в год за все свои труды больше пятнадцати центнеров ржи, двух бочек вина и полутораста франков деньгами. У брата его, простого портного, была мастерская в нескольких шагах

от площади св. Петра, там, где сейчас находится одна из женевских типографий. Этого бескорыстия не хватает Вольтеру, Ньютону, Бэкону, но оно озаряет жизнь Рабле, Кампанеллы, Лютера, Вико, Декарта, Мальбранша, Спинозы, Лойолы, Канта, Жан-Жака Руссо. И не оно ли служит восхитительной оправой всем этим простым и гениальным натурам?

Единственный человек, чья жизнь может дать современникам ключ к жизни Кальвина,— это Робеспьер. Утверждая свою власть на тех же основаниях, швейцарец был столь же беспощадным, столь же непримиримым, как и адвокат из Арраса. Странное дело! Оба эти ярые реформаторы вышли из Пикардии, из ее городов Арраса и Нуайона! Всякий, кто захочет изучить причины жестоких расправ Кальвина с врагами, увидит, что все, происходившее тогда в Женеве, в той или иной степени напоминало 1793 год. По приказу Кальвина отрубили голову Жаку Грюэ за то, что он «богохульствовал в письмах, сочинял вольнодумные стихи и старался подорвать авторитет церкви». Задумайтесь над этим приговором. Спросите себя, выдвигали ли когда-либо самые ужасные из тираний такие смехотворные предлоги для разгула своих диких страстей. Валантен Жантилис, приговоренный к смерти за *непреднамеренную ересь*, избежал казни, только испросив себе прощения на еще более унизительных условиях, чем те, которые ставит католическое церковное покаяние. За семь лет до конференции, которую королева-мать предлагала созвать Кальвину, Мишель Серве, француз, находившийся в Женеве только проездом, был арестован, подвергнут суду, по распоряжению Кальвина, приговорен к смертной казни и заживо сожжен за то, что он допустил *нападки на таинство святой троицы* в книге, которая была написана и напечатана далеко за пределами Женевы. Вспомните, как защищал себя Жан-Жак Руссо, чье сочинение, написанное во Франции и опубликованное в Голландии, но распространившееся в Париже, обличало католическую религию. Дело ограничилось тем, что палач всего-навсего сжег книгу, автора же как *иностранца* изгнали из пределов страны, где он пытался подорвать основы религии и государственной власти. Сравните, как вел себя парламент и как действовал

женевский тиран. Наконец Больсе был точно так же предан суду «за то, что он понимал божественное предопределение иначе, чем Кальвин». Взвесьте все это и спросите себя, хуже ли поступал Фукье-Тенвиль. Дикая религиозная нетерпимость Кальвина в моральном отношении была более твердой, более безжалостной, чем политическая нетерпимость Робеспьера. На арене более обширной, чем Женева, Кальвин пролил бы больше крови, чем страшный апостол политического равенства, уподобленного равенству католическому. Еще за три столетия до того некий монах, тоже пикардиец, повернул весь западный мир против Востока. Петр Пустынник, Кальвин и Робеспьер, которых отделяли друг от друга промежутки по триста лет каждый, эти три пикардийца были в политическом смысле как бы рычагами Архимеда. Каждый из них воплощал определенную идею, которая встречала поддержку среди политических партий и среди отдельных людей.

Разумеется, не чем иным, как усилиями Кальвина, был сотворен этот мрачный город, именуемый Женевой, где десять лет тому назад один человек, указывая на ворота верхнего города, самые древние из женевских ворот (в былые времена существовали только одни калитки), сказал: «Вот через эти ворота роскошь вошла в Женеву!». Кальвин жестокостью своего учения и своих казней вызвал к жизни особый вид лицемерия, так метко названный *пустосвятством*. По мнению таких вот *пустосвятов*, вести правильный образ жизни — значит отказаться от искусства, от всех удовольствий жизни, питаться вкусно, но без чревоугодия, втихомолку копить деньги, но радоваться этим деньгам только так, как Кальвин радовался своей власти,— в мыслях. Кальвин облек всех своих сограждан в те же мрачные одежды, которые он избрал для своей собственной жизни. Он создал при своей консистории настоящий трибунал кальвинистской инквизиции, точь-в-точь похожий на революционный трибунал Робеспьера. Консистория передавала совету людей, которых ей надо было осудить, и Кальвин управлял советом через посредство консистории, точно так же как Робеспьер управлял конвентом через посредство якобинского клуба. Так вот одного видного женевского судью приговорили к двум месяцам тюрьмы, лишили его

должности и права поступить куда-либо на новое место *за то, что он вел распутную жизнь и находился в связи с врагами Кальвина.* В этом отношении Кальвин показал себя настоящим законодателем: он вызвал к жизни суровые, трезвые нравы, нравы бюргерские, до крайности скучные, но зато безупречные. Нравы эти, до наших дней сохранившиеся в Женеве, стали прототипом английских нравов, известных повсюду под названием пуританских, которые в Англии насаждали камеронцы— последователи Камерона, одного из французских докторов-кальвинистов, нравов, столь наглядно изображенных Вальтером Скоттом. Бедность человека, по сути дела, являвшегося правителем, который говорил с королями, как равный с равными, который требовал от них сокровищ, войск и полными пригоршнями черпал из их казны деньги для нищих, доказывает, что мысль там, где она является единственным средством господства над людьми, рождает политических скряг, людей, которые живут одним разумом, которые, подобно иезуитам, хотят власти ради власти. Питт, Лютер, Кальвин, Робеспьер — все эти гарпагоны владычества умирали без гроша в кармане.

Когда Кальвин умер, оказалось, что все оставшиеся после него вещи — а опись их сохранилась для истории — стоимостью своей не превышали пятидесяти экю, *включая книги.* После Лютера осталось не больше; одним словом, его вдова, знаменитая Катарина фон Бора, была вынуждена хлопотать о пенсии в сто экю, которую ей и назначил один немецкий курфюрст. Потемкин, Мазарини, Ришелье, эти люди мысли и действия, которые подготовляли создание империй или сами их создавали, оставили после себя каждый по триста миллионов. Эти люди умели жить сердцем, они любили женщин и искусство, они строили, побеждали, в то время как те, если только не считать, что у Лютера была жена, Елена этой протестантской «Илиады», не могут даже упрекнуть себя в том, что сердце их когда-нибудь билось от любви к женщине.

Это совсем краткое отступление было необходимо, чтобы объяснить, в каком положении Кальвин находился в Женеве.

XV
КАЛЬВИН

В начале февраля 1561 года, в один из тех мягких вечеров, которые бывают в это время года на Женевском озере, два всадника прибыли в Пре-Левек, место, названное так оттого, что там находился загородный дом женевского епископа, изгнанного оттуда тридцать лет тому назад. Эти два человека, которые, несомненно, знали законы Женевы, предписывающие запирать ворота города, законы, в то время необходимые, но достаточно смешные в наши дни, направились к Ривским воротам. Но внезапно они остановили своих лошадей, увидев человека лет пятидесяти, который шел, опираясь на руку служанки, и, по-видимому, возвращался в город; это был довольно полный мужчина, и шел он медленно, с трудом передвигая то одну, то другую ногу, причем, очевидно, ходьба причиняла ему боль; обут он был в тупоносые башмаки из черного бархата, отделанные кружевами.

— Это он,— сказал один из всадников своему спутнику. Спрыгнув с седла, он передал поводья Шодье и с раскрытыми объятиями устремился навстречу гулявшему.

Однако тот, а это действительно был не кто иной, как Кальвин, несколько отступил назад и очень сурово посмотрел на ученика. В свои пятьдесят лет Кальвин выглядел, как семидесятилетний старик. Высокий и тучный, он казался гораздо ниже своего роста; мучительные боли, причиняемые камнями в мочевом пузыре, вынуждали его ходить, согнувшись. Вдобавок он страдал еще тяжелыми приступами подагры. Лицо его, вселявшее во всех страх, было почти круглым, однако, несмотря на это, добродушия в нем было не больше, чем в страшном лице Генриха VIII, на которого к тому же Кальвин был очень похож. Никогда не отпускавшие его страдания запечатлелись в его чертах; две глубокие морщины, начинавшиеся с обеих сторон носа, шли параллельно усам и вместе с ними тонули в окладистой седой бороде. Несмотря на то, что лицо его было багровым и воспаленным, как лицо пьяницы, кожа кое-где была желтоватой. Шапочка из черного бархата на его огромной квадратной голове не закрывала красивого лба, под ко-

торым светились карие глаза, в минуты гнева извергавшие пламя. Либо от тучности, либо оттого, что у него была короткая толстая шея, либо, наконец, от постоянных бдений и трудов голова Кальвина уходила в широкие плечи, так что ему приходилось носить только небольшие плоеные брыжи, на фоне которых она выглядела как голова Иоанна-Крестителя на блюде. Между усами и бородой, подобно розану, выделялся его маленький, красивый, очень ясно очерченный, выразительный рот. Линия его четырехугольного носа была несколько изогнута, и он кончался довольно заметным бугорком, подчеркивавшим поразительную энергию, которой было преисполнено все его властное лицо. В чертах его нелегко было разглядеть следы еженедельных мигреней, которые бывали у Кальвина в промежутках между приступами мучившей его лихорадки; однако именно страдание, которое неустанно одолевалось усилием воли и упорным трудом, наложило на все свою печать: оно придавало этому похожему на маску и на первый взгляд цветущему лицу какой-то ужасный вид. Особенность эта объяснялась скорее всего окраской подкожного жирового слоя, отложившегося благодаря сидячему образу жизни и вместе с тем свидетельствовавшего о непрестанной борьбе его хилого тела с волею неимоверной силы, ибо это был один из самых деятельных людей, каких знала история человеческого духа. При всей своей красоте рот его говорил о жестокости. Целомудрие, которого требовали как его великие замыслы, так и его слабое здоровье, было написано на этом лице. Его могучий лоб свидетельствовал не только об уравновешенности, но и о горечи, а во взгляде его глаз, пугавших своим ледяным спокойствием, сквозила скорбь.

Кальвин носил одежду, на фоне которой лицо его выделялось особенно четко. Это была знаменитая черная суконная сутана, перехваченная черным же поясом с медной пряжкой, сутана, которая стала привычной одеждой для всех проповедников-кальвинистов, ибо она не останавливала на себе взгляда и все внимание слушателя неминуемо сосредоточивалось на лице.

— Сейчас я настолько плохо себя чувствую, что не могу тебя обнять, Теодор,— сказал Кальвин статному всаднику.

Теодор де Без, которому было тогда сорок два года и которого по настоянию Кальвина около двух лет назад сделали гражданином Женевы, представлял резкий контраст страшному пастырю, державшему его в своем подчинении. Кальвин, как и все люди простого происхождения, которые достигают господства над умами, и как все создатели социальных систем, был снедаем ревностью. Он ненавидел своих учеников, он не хотел, чтобы кто-нибудь сравнялся с ним, и не терпел ни малейшего противоречия. Однако различие между ним и Теодором де Безом было слишком велико. Этот стройный мужчина с приветливым лицом, изысканно вежливый, привыкший бывать при дворах, был настолько непохож на всех его фанатиков-единоверцев, что при встрече с ним Кальвин отрешался от присущей ему боязни соперничества. Он его, правда, никогда не любил, ибо этот жестокий законодатель вообще ни к кому не питал дружеских чувств. Однако у него не было страха, что Теодор захочет стать его преемником, и поэтому он всегда охотно любил играть с ним, так же как Ришелье любил играть с котом,— ему нравилось, что ученик его такой гибкий и легкий. Кальвин видел, что де Без отлично выполняет все возложенные на него поручения, и ему было приятно, что у него есть столь искусный слуга, который вдохновляется его волей. От таких привязанностей не могут, должно быть, освободиться даже самые угрюмые люди. Теодор был баловнем Кальвина, суровый реформатор никогда не бранил его, он прощал ему его распутную жизнь, его любовные увлечения, привычку красиво одеваться и выражаться изысканно. Может быть, Кальвину просто нравилось показывать на его примере, что реформаты могут состязаться в любезности с придворными. Теодор де Без хотел привить женевцам вкус к искусствам, литературе, поэзии; Кальвин выслушивал его планы и при этом даже не хмурил своих густых седых бровей. Таким образом, эти два знаменитых человека представляли разительную противоположность друг другу не только своей внешностью и характером, но и своим духовным миром.

Кальвин ответил на смиренное приветствие Шодье легким кивком головы. Шодье взял в правую руку поводья лошадей и последовал за этими двумя великими

людьми, идя несколько левее их. Теодор де Без шел по правую руку Кальвина. Служанка Кальвина побежала сказать, чтобы не закрывали Ривские ворота, и сообщила капитану стражи, что у пастора начался приступ острых болей.

Теодор де Без был родом из коммуны Везле, первой, которая приняла Реформацию,— ее интересную историю написал один из Тьерри. И, несомненно, буржуазный и мятежный дух, всегда существовавший в Везле, в какой-то мере сказался на великом движении реформатов, поскольку вождем его сделался этот человек — одна из интереснейших в истории ереси фигур.

— Вы по-прежнему чувствуете себя плохо? — спросил Теодор де Без.

— Католик ответил бы на это — как грешник в чистилище,— сказал вождь реформатов, и горечь сквозила в каждом его слове.— Да, дитя мое, мне уже пора уходить! Но что вы будете делать без меня?

— Мы будем сражаться, и ваша мысль будет светить нам,— сказал Шодье.

— Итак, вы привезли мне новости? — спросил Кальвин.— Много наших казнено? — спросил он, улыбаясь, и его карие глаза засветились радостью.

— Нет,— ответил Шодье,— все спокойно.

— Тем хуже, тем хуже! — воскликнул Кальвин.— Всякое примирение было бы гибелью, по счастью, каждый раз это только ловушка. Гонения — это наша сила. Что бы с нами было, если бы католическая церковь помирилась с реформатами?

— Но ведь именно этого добивается королева-мать,— сказал Теодор.

— Она на это способна,— сказал Кальвин.— Я изучаю эту женщину.

— Как, отсюда?

— А разве для духа существуют расстояния? — сурово оборвал его Кальвин, который счел это замечание знаком неуважения к себе.— Екатерина добивается власти, а когда женщины ставят себе такие цели, для них уже не существует ничего святого. Чего же она хочет?

— Она предлагает нам созвать конференцию,— начал Теодор де Без.

— Где-нибудь близ Парижа? — перебил его Кальвин.

— Да.

— Что ж, тем лучше! — сказал глава реформатов.— И мы попытаемся договориться друг с другом и слить воедино обе церкви. Ах, хорошо, если бы у нее хватило мужества отделить французскую церковь от римской курии и поставить во Франции патриарха, как в Византии! — вскричал Кальвин, и глаза его загорелись от одной мысли о том, что он может получить царскую власть.— Только, сын мой, можно ли верить племяннице папы? Она просто хочет выиграть время. А разве нам не нужно его выиграть, чтобы рассчитаться за наше поражение в Амбуазе и вызвать мощное сопротивление во всех концах страны?

— Она отправила на родину шотландскую королеву,— сказал Шодье.

— Одной стало меньше! —сказал Кальвин, проходя под арку Ривских ворот.— Елизавета английская ее там попридержит. Эти две королевы, живя по соседству, непременно затеют войну: одна хороша собою, а другая безобразна — вот вам первый повод для раздора. Да к тому же есть еще вопрос о законности рождения...

Он потер руки и так рассвирепел в своей радости, что де Без задрожал. Ему представились потоки крови — он догадался, что его учитель видит их в эту минуту перед собой.

— Гизы рассердили Бурбонов,— сказал де Без после паузы,— в Орлеане они повздорили.

— Сын мой,— сказал Кальвин,— ты мне не верил, когда перед твоей последней поездкой в Нерак я сказал тебе, что мы в конце концов заставим обе ветви королевского дома Франции воевать друг с другом не на жизнь, а на смерть! Итак, наконец на моей стороне и двор, и король, и королевское семейство! Мое учение уже воспринял народ. Горожане меня понимают, они начали называть идолопоклонниками тех, кто ходит к обедне, кто расписывает храмы и уставляет их статуями и образами. Да, народу легче разрушать дворцы и соборы, чем спорить об *искуплении верой* или о *вездесущности божества*. Лютер только говорил, а я действую силой оружия!

Он был всего только моралистом, а я создал систему! Словом, дети мои, это был самый обыкновенный забияка, в то время как я—Тарквиний. Да, ученики мои разрушат церкви, уничтожат образа, они превратят статуи в жернова, чтобы народ мог молоть муку. В Штатах представлены политические учреждения, а я хочу, чтобы там были живые люди! Учреждения до крайности неподатливы, они слишком ясно видят там, где масса слепа. Надо, чтобы к нашему воинствующему учению присоединились политические цели: этим оно укрепится, а ряды моих сторонников пополнятся. Я удовлетворил людей рассудительных и бережливых и тех, кто мыслит: я ввел богослужение, в котором нет ничего лишнего, которое очищено от мишуры и переносит религию в мир идей. Я убедил народ, как важно уничтожить обряды. Твое дело, Теодор, завоевывать нам новых политических сторонников. Вот твоя задача! Учение же создано, все сделано, и все сказано. Не добавляй к нему ни крупицы. Чего ради Камерон, этот захудалый гасконский пастор, берется сейчас за перо...

Кальвин, Теодор де Без и Шодье пошли по улицам верхнего города, среди толпы, причем народ не обратил на них ни малейшего внимания. А между тем ведь они поднимали во многих городах целые толпы народа, опустошали Францию! После этих страшных слов они шли молча и так добрались до площади св. Петра и направились к дому пастора. На втором этаже этого дома, который не особенно известен и которого вам сейчас никто не станет показывать в Женеве, где, впрочем, нет даже и памятника Кальвину, он занимал квартиру, состоявшую из трех комнат с полом из сосновых досок и с такими же стенами; тут же находились кухня и комната служанки. Как и в большинстве женевских домов, вход был через кухню; оттуда вела дверь в маленькую комнату с двумя окнами, служившую одновременно и гостиной, и салоном, и столовой. Рядом с ней был рабочий кабинет, где мысль Кальвина в течение четырнадцати лет боролась с его недугом. К ней же примыкала спальня. Вся меблировка состояла из четырех дубовых стульев, обитых материей, и длинного четырехугольного стола. Один угол этой комнаты был занят белой фаянсовой печью, распространявшей приятную теп-

лоту. Стены были обиты сосновыми досками и ничем не отделаны. Словом, неприхотливая обстановка гармонировала с умеренной и простой жизнью этого реформатора.

— Итак,— сказал де Без, входя в дом и воспользовавшись минутой, когда Шодье повел обеих лошадей на соседний постоялый двор и оставил их одних,— что же мне теперь делать? Вы согласны созвать конференцию?

— Разумеется,— сказал Кальвин.— Это тебе, дитя мое, придется подвизаться на ней. Будь же смел и непримирим. Ни королева, ни Гизы, ни я сам — мы никто не хотим, чтобы все завершилось перемирием, нам это не подходит. Я доверяю Дюплесси-Морнэ, надо будет получше использовать его в нашем деле. Мы сейчас одни,— сказал он, подозрительно поглядев в сторону кухни. Дверь туда была прйоткрыта, и видно было, как там на веревке сушатся две рубахи и несколько брыжей.— Закрой двери.

— Вот что,— добавил он, когда Теодор закрыл все двери,— надо заставить короля Наваррского присоединиться к Гизам и к коннетаблю, посоветовав им порвать с королевой Екатериной Медичи. Воспользуемся же всеми преимуществами, которые нам даст слабость этого жалкого государя. Если он вдруг изменит свои убеждения, итальянка, лишившись его поддержки, неминуемо заключит союз с принцем Конде и с Колиньи. Может быть, этот поворот настолько ее скомпрометирует, что ей придется перейти на нашу сторону...

Теодор де Без взял Кальвина за полу его платья и поцеловал ее.

— Учитель! — сказал он.— Вы великий человек!

— К несчастью, я уже умираю, мой милый Теодор. Если я умру и больше тебя не увижу,— сказал он шепотом на ухо своему министру иностранных дел,— подумай о том, чтобы нанести им решительный удар — пусть это сделает один из наших мучеников.

— Убить еще одного Минара?

— Нет, кое-кого повыше.

— Короля?

— Нет, еще выше: человека, который хочет стать королем.

— Герцога Гиза? — воскликнул Теодор, невольно вздрогнув.

— А что же,— вскричал Кальвин, который счел это нежеланием или сопротивлением с его стороны и не видел, как в это мгновение в комнату вошел проповедник Шодье,— разве мы не вправе ответить на удар ударом? Да так, как они, исподтишка? Разве мы не можем ответить раной на рану, смертью на смерть? Разве католики упускают хоть один случай, помогающий им заманить нас в силки, а потом предательски убить? Как бы не так! Жгите их! Действуйте, дети мои. Если у вас есть преданные вам юноши...

— Да, есть,— ответил Шодье.

— Да послужат они вам орудием войны! Для нашей победы все средства хороши. Балафре, этот страшный солдат, так же, как и я, больше, чем человек: он— это династия, а я — система. Он способен уничтожить нас! Итак, смерть Лотарингцу!

— Я предпочел бы мирную победу, одержанную временем и разумом,— сказал де Без.

— Временем? — воскликнул Кальвин, бросая на пол стул.— Ты что, с ума сошел? Разум! Одержать победу! Выходит, что ты ничего не понимаешь в людях, хоть постоянно возишься с ними. Ты просто глуп. Моему учению как раз вредит то, что оно основано на разуме. Да поразит тебя меч всемогущего, свет небесный, как грешника Савла! Тыква ты этакая, Теодор, ты что, не видишь разве, насколько сильнее стала Реформация после поражения в Амбуазе? Мысли растут только тогда, когда их поливают кровью. Убийство герцога Гиза повлечет за собой ужасные преследования, а я всей душой их призываю! Неудачи для нас лучше всякого успеха! У Реформации есть возможность их перенести, ты слышишь, ничтожество? Меж тем католичество погибнет от первой выигранной нами битвы. Но из кого же состоит армия? Это не люди, а какие-то мокрые тряпки, двуногая требуха, крещеные обезьяны. О господи, прожить бы мне еще десяток лет! Если я умру слишком рано, истинная религия погибнет с подобными олухами! Ты так же глуп, как Антуан Наваррский! Убирайся отсюда, я хочу, чтобы у меня был представитель по-

лучше. Осел, щеголь, стихоплет! Иди сочинять свои катуллады и тибуллады и акростихи! Пошел отсюда!

Боли в мочевом пузыре были совершенно укрощены вспыхнувшим в эту минуту гневом. Подагра присмирела перед этим ужасным негодованием. Лицо Кальвина приняло лиловатый оттенок и сделалось похожим на грозовое небо. Его широкий лоб блестел, глаза метали искры. Он весь переменился. Охваченный яростью, он весь трясся, что с ним случалось нередко. Однако, заметив, что оба его слушателя безмолвны, и услыхав, как Шодье шепнул де Безу: «Неопалимая купина Хорива»,— пастор сел, притих и закрыл лицо своими толстыми руками с обезображенными суставами; руки его дрожали.

Через несколько минут, все еще сотрясаясь от гневного чувства, порожденного целомудренной жизнью, он сказал дрогнувшим голосом:

— Все мои пороки мне легче укротить, чем *мое нетерпение!* О жестокий зверь! Неужели я так никогда и не справлюсь с тобой? — добавил он, ударяя себя в грудь.

— Дорогой учитель,— ласковым голосом сказал де Без, беря руку Кальвина и целуя ее,— Юпитер сердится, но он умеет и улыбаться.

Кальвин умиротворенно взглянул на своего ученика и сказал:

— Друзья мои, вы должны меня понять.

— Я вижу, какое тяжелое бремя несут пастыри народов,— ответил Теодор.— На ваших плечах лежит груз всего мира.

— У меня на примете есть три мученика, на которых мы можем рассчитывать,— сказал Шодье, повергнутый в раздумье реприманд учителя.— Стюарт, который убил президента, сейчас на свободе.

— Не это нам нужно! — мягко сказал Кальвин, улыбаясь, как все великие люди, лица которых преисполняются ясности, как будто от стыда за только что бушевавшую грозу.— Я знаю людей. Убивают *одного* президента, но не двух.

— А разве убийство совершенно необходимо? — спросил де Без.

— Вы опять за то же? — воскликнул Кальвин; ноздр-

ри его раздулись.— Послушайте, лучше уходите отсюда и не выводите меня из себя, я вам все сказал. Ты, Шодье, ступай своей дорогой и позаботься о своей пастве в Париже. Да благословит вас господь! Дина, посветите моим друзьям.

— Позвольте же мне поцеловать вас,— в умилении попросил Теодор.— Кто знает, что с нами будет завтра! Нас могут схватить, невзирая на наши охранные грамоты.

— А ты еще собираешься их щадить! — сказал Кальвин, целуя де Беза.

Взяв Шодье за руку, он сказал ему:

— Никаких гугенотов, никаких реформатов, будьте только кальвинистами! Говорите только о кальвинизме. Увы! Знайте, что это отнюдь не честолюбие, ведь я уже на краю могилы!.. Но необходимо разрушить все, что идет от Лютера, вплоть до самых слов «лютеране» и «лютеранство».

— Великий человек,— воскликнул Шодье,— вы заслужили эту честь!

— Храните единство учения, не позволяйте ничего пересматривать и переделывать. Если из наших рядов выйдут новые секты, мы погибли.

Чтобы осветить некоторые дальнейшие события этой повести и закончить разговор о Теодоре де Безе, который отправился в Париж вместе с Шодье, следует заметить, что Польтро, который восемнадцать месяцев спустя выстрелил из пистолета в герцога Гиза, признался под пыткой в том, что на это преступление его толкнул Теодор де Без. Однако, когда его стали пытать снова, он отрекся от этого признания. Поэтому Боссюэ, взвесив все исторические данные, не нашел возможным приписывать замысел этого убийства Теодору де Безу. Но уже после Боссюэ некий компилятор XVIII века, писавший с виду ничего не значащую статью по поводу одной знаменитой песенки, пришел к выводу, что куплеты, сложенные на смерть герцога Гиза и распевавшиеся по всей Франции гугенотами, были сочинены Теодором де Безом. Этим было доказано, что знаменитая песенка о Мальбруке не что иное, как плагиат песенки Теодора де Беза.

ПРОВОДЫ ГЕРЦОГА ГИЗА

Песенку я пою (Дважды)
О нашем великом Гизе;
Дин-да-да-да-да-дин,
Дон-до-до-ди-дон
О нашем великом Гизе!

(Последний стих, вне всякого сомнения, говорили и пели с комической интонацией)

Его положили в гроб

Его положили в гроб, (Дважды)
Накрыли черным покровом.
Дин-да . . . . . .
И четверо шли вослед.

И четверо шли вослед. (Дважды)
Нес первый шлем боевой,
Дин-да . . . . . .
Второй пистолеты нес.

Второй пистолеты нес, (Дважды)
А третий острую шпагу,
Дин-да . . . . . .
Что памятна гугенотам.

Что памятна гугенотам. (Дважды)
Но был и еще один
Дин-да . . . . . .
И тот больше всех скорбел.

И тот больше всех скорбел. (Дважды)
Вослед ему шли пажи,
Дин-да . . . . . .
За ними лакеи шли.

За ними лакеи шли, (Дважды)
И были в траур одеты
Дин-да . . . . . .
В сверкающих башмаках,

В сверкающих башмаках, (Дважды)
В чулках шерстяных отменных,
Дин-да . . . . . .
И в кожаных все штанах.

И в кожаных все штанах. (Дважды)
Потом вернулись домой
Дин-да . . . . . .
И спать улеглись в постели.

И спать улеглись в постели. (Дважды)
И кто туда лег с женой,
Дин-да . . . . . .
А кто улегся один.

XVI

ЕКАТЕРИНА У ВЛАСТИ

В тот день, когда Теодор де Без и Шодье прибыли в Париж, двор вернулся из Реймса, где состоялась коронация Карла IX. Эта церемония, которой Екатерина придала большую пышность и которую сопровождали роскошные празднества, дала ей возможность собрать вокруг себя вождей всех партий. Внимательно изучив цели различных партий, она встала перед альтернативой: либо сплотить их все вокруг трона, либо столкнуть друг с другом. Коннетабль де Монморанси, племянник которого принц Конде был вождем реформатов, а дети также тяготели к этой религии, сам оставался заядлым католиком и осуждал союз королевы-матери с реформатами. Гизы же старались привлечь на свою сторону короля Антуана Бурбона, человека бесхарактерного, уговорив его вступить в их партию. Жена Антуана, королева Наваррская, предупрежденная де Безом, им не противодействовала. Все эти трудности озадачили Екатерину. Для того чтобы укрепить свою растущую власть, ей нужна была какая-то передышка. Поэтому она с нетерпением ждала ответа Кальвина, к которому принц Конде, король Наваррский, Колиньи, д'Андело, кардинал Шатильонский и отправили де Беза и Шодье. Но вместе с тем королева-мать оставалась верна своим обещаниям, данным принцу Конде. Канцлер передал дело Кристофа в парижский парламент и тем самым добился его прекращения,— парламент отменил решение комиссии, объявив, что она неправомочна судить принца крови. Парламент занялся этим делом по настоянию Гизов и королевы-матери. Бумаги Ла Саня были переданы Екатерине,— она их сожгла. Передача этих бумаг была первой уступкой, которую Гизы сделали королеве-матери, уступкой, от которой они ничего не выиграли. Парламент, не имея перед глазами никаких доказательств, вос-

становил принца во всех правах, вернув ему его владения и все отнятые у него почести. С Кристофа уже в период событий в Орлеане, едва только на престол взошел новый король, сняли все обвинения. Чтобы вознаградить его за перенесенные страдания, де Ту постарался сделать его адвокатом парламента.

Триумвират, эта будущая коалиция сил, которым Екатерина, придя к власти, сразу же стала угрожать, создавался у нее на глазах. Точно так же, как в химии соединения несовместимых веществ распадаются на составные части при первом же встряхивании, так и в политике союзы противоречивых сил не могут длиться долго. Екатерина хорошо понимала, что рано или поздно ей понадобятся и Гизы и коннетабль, чтобы дать бой гугенотам. Конференция эта льстила самолюбию ораторов каждой партии; она должна была стать второй, не менее торжественной, чем коронация, церемонией и разукрасить кровавый ковер религиозной войны, тогда уже начинавшейся. Однако совершенная бесполезность ее была очевидна как Гизам, так и самой Екатерине. Католики на всем этом только проигрывали, ибо гугеноты под предлогом совещания получили возможность проповедовать свое учение перед всей Францией при покровительстве самого короля и его матери. Кардинал Лотарингский, которого Екатерина призывала поразить еретиков силою красноречия отцов церкви, склонил своего брата согласиться на эту встречу противников. Для королевы-матери полугодичное перемирие как-никак значило очень много.

Небольшое происшествие едва не подорвало власть Екатерины, доставшуюся ей с таким трудом. Вот что случилось в тот самый день, когда женевские посланцы прибыли на улицу Бюсси в дом Колиньи, близ Лувра. Историки свидетельствуют, что во время коронации Карл IX, очень любивший своего наставника Амио, назначил его на должность королевского попечителя бедных. С тою же любовью относился к нему герцог Анжуйский, будущий Генрих III, который тоже был учеником Амио. Екатерина узнала об этом от братьев Гонди по дороге из Реймса в Париж. Она рассчитывала, назначив на эту должность кого-либо по своему выбору, снискать себе этим поддержку церкви, иметь при ней

своего ставленника в противовес кардиналу Лотарингскому. Она прочила на это место кардинала Турнонского и хотела, чтобы он стал наряду с Лопиталем ее *вторым костылем*,—она употребляла именно это слово. Прибыв в Лувр, она тут же вызвала Амио. Когда она увидела, какой вред ее политике нанес этот тщеславный выскочка, сын сапожника, гнев ее был так велик, что она встретила его следующими словами, которые донесли до нас мемуаристы того времени:

— Как! Я заставляю склоняться перед собой Гизов, Колиньи, коннетаблей, Наваррский дом, принца Конде, и я буду еще думать о каком-то негодном попе, которому, оказывается, мало быть епископом Осера!

Амио стал оправдываться. Он сказал, что он вообще ни о чем не просил, что таково было желание короля и что он, бедный учитель, считал себя недостойным этой должности.

— Так знай же, учитель,— ответила Екатерина (этим именем называли великого писателя Карл IX и Генрих III),— что если ты сейчас же не заставишь твоего ученика изменить свое решение, тебе больше двадцати четырех часов эту должность исполнять не придется.

Поставленный в необходимость выбирать между смертью, которую ему обещали без всяких обиняков, и отказом от самой высокой должности, на которую только мог назначить король, сын сапожника, который был очень жаден до власти и, может быть, даже не прочь был дослужиться до кардинальской шапки, решил выгадать время: он спрятался в аббатстве Сен-Жермен. На своем первом же обеде Карл IX, не видя за столом Амио, спросил, что с ним. Кто-то из приспешников Гизов не замедлил сообщить королю обо всем, что произошло между Амио и королевой-матерью.

— Как! Только потому, что я назначил его королевским попечителем бедных, ему приходится теперь скрываться? — спросил Карл.

Он тут же направился к матери и повел себя как рассерженный ребенок, капризам которого начинают перечить.

— Государыня,— сказал он,— разве я не подписал обращение к парламенту, о котором вы меня просили и благодаря которому вы теперь царствуете? Когда вы

мне его показывали, вы обещали, что моя воля станет вашей. И вот теперь единственная милость, которую мне хотелось оказать, возбуждает в вас ревность. Канцлер говорит, что объявит меня совершеннолетним уже через три года, как только мне исполнится четырнадцать лет, а вы хотите сейчас обращаться со мной как с ребенком... Клянусь богом, я стану королем, и таким королем, как были мой отец и мой дед!

По тону и по интонации, с какими были сказаны эти слова, Екатерина сразу поняла, что за характер складывается у ее сына, и она проглотила свою обиду.

«Как он позволяет себе разговаривать со мной, а ведь это я сделала его королем!»— подумала она.

— Сын мой,— ответила она,— быть королем в такое время очень трудно, и ты еще не знаешь тех людей, с которыми тебе придется иметь дело. Ни в ком ты не найдешь такого верного и искреннего друга, как во мне, твоей матери. Ни в ком ты не найдешь таких преданных слуг, как в тех, кого я еще издавна приблизила к себе. Если бы они не помогли нам, тебя, может быть, не было бы на свете. Знай, что Гизы хотят лишить тебя трона и погубить. Если бы они могли зашить меня в мешок и бросить в реку,— сказала она, показывая на Сену,— они бы это сделали сегодня же вечером. Лотарингцы понимают, что я, как львица, охраняю своих маленьких львят и что я не даю их дерзким рукам дотянуться до короны. Для кого и для чего хлопочет твой наставник? Кто его союзники? Каким он пользуется влиянием? Какие услуги он тебе сможет оказать? Какой вес будут иметь его слова? Вместо того, чтобы воздвигнуть столп, на котором бы держалась твоя власть, ты лишаешь ее опоры. Кардинал Лотарингский тебе угрожает, он заправляет всем, он не считает нужным снимать шапку перед первым принцем крови. Надо в противовес ему поставить другого кардинала, у которого было бы больше власти. Разве Амио, этот сапожник, который готов завязывать ему ленты на башмаках, разве он будет в силах сломить ему хребет? Ну что же, ты любишь Амио, ты его назначил. Пусть же твоя первая воля будет исполнена, сын мой. Но, прежде чем захотеть, лучше дружески посоветуйся со мной. Подумай об интересах государства, и, может быть, когда ты поймешь, сколько трудностей впереди,

твой детский здравый смысл согласится с моим многолетним опытом.

— Значит, вы мне возвращаете моего наставника!— сказал король, который, видя, что мать осыпает его упреками, перестал ее слушать.

— Да, возвращаю, он вернется к тебе. Но знай, что ни он, ни этот мужлан Сипьер не способны научить тебя, как надо управлять страной.

— Управлять меня научите вы, матушка,— сказал мальчик, успокоенный своей победой, и лицо его потеряло обычное для него угрожающее и несколько презрительное выражение.

Екатерина послала Гонди на поиски Амио. Как только флорентинец обнаружил его убежище и епископу сказали, что его ищет придворный, посланный королевой, его охватил такой страх, что он отказался покинуть аббатство. Это обстоятельство вынудило Екатерину самолично ему написать, и в таких выражениях, что он согласился вернуться. Тогда он получил от нее уверение в том, что она его поддержит, но только при условии, если он беззаветно будет служить ей, находясь при Карле IX.

Когда эта домашняя буря улеглась, Екатерина вернулась в Лувр после более чем годичного отсутствия и стала совещаться со своими приближенными, как ей вести себя с молодым королем, которого Сипьер похвалил за твердость характера.

— Что мне делать? — спросила она обоих Гонди, Руджери, Бирагу и Киверни, который стал теперь наставником и канцлером герцога Анжуйского.

— Прежде всего,— сказал Бирага,— уберите Сипьера. Придворного из него все равно не выйдет, он никогда не будет поступать по вашему желанию и сочтет своим долгом во всем вам перечить.

— На кого же мне тогда положиться?! — вскричала королева.

— На кого-нибудь из нас,— ответил Бирага.

— Клянусь вам,— сказал Гонди,— что король будет в моих руках таким же покладистым, как король Наваррский.

— Вы дали погибнуть покойному королю, чтобы спасти ваших остальных детей. Воспитывайте же его так,

как константинопольские вельможи воспитывают своих детей: сумейте унять его гнев и его причуды,— сказал Альберто Гонди.— Он любит искусства, поэзию, охоту и маленькую девочку, которую он повстречал в Орлеане,— всего этого достаточно, чтобы его занять.

— Вы соглашаетесь стать наставником короля? — спросила Екатерина более талантливого из двух Гонди.

— Если вы хотите, чтобы я пользовался нужным для наставника авторитетом, вам, может быть, придется сделать меня маршалом Франции и герцогом. Сипьер — слишком незаметная фигура, чтобы оставаться на этой должности. В будущем наставник короля Франции должен быть по меньшей мере маршалом или герцогом.

— Он прав,— сказал Бирага.

— Поэт и охотник,— мечтательно проговорила Екатерина.

— Мы будем охотиться и любить! — воскликнул Гонди.

— К тому же,— сказал Киверни,— вы можете теперь быть уверены в Амио; он все время будет бояться, что его отравят, если он вас ослушается, а попав в руки Гонди, король никогда не сделает лишнего шага.

— Вы пожертвовали одним из ваших сыновей, чтобы спасти трех остальных и престол; теперь надо иметь мужество чем-нибудь занять другого сына, чтобы спасти королевство и, может быть, даже вас самих,— сказал Руджери.

— Сегодня он меня сильно обидел,— сказала Екатерина Медичи.

— Он еще не знает, чем он вам обязан. А если бы он это знал, вы были бы сейчас в опасности,— многозначительно сказал Бирага.

— Решено,— согласилась Екатерина, которую все сказанное очень встревожило,— Гонди, я назначаю вас наставником короля. Король должен оказать милость одному из моих приближенных за то, что я назначаю на новую должность этого бестолкового епископа. Этому дураку теперь никогда не носить кардинальской шапки. Пока я жива, я не допущу, чтобы папа удостоил его этой чести! Как мы были бы сильны, если бы на этом месте был кардинал Турнонский! Какая замечательная троица: королевский попечитель бедных, Лопиталь и

де Ту! Что же касается парижских горожан, то я мечтаю, что с помощью сына сумею обласкать их и они станут нашей опорой...

И спустя несколько дней Гонди действительно был произведен в маршалы и сделан герцогом де Ретцом и наставником короля.

Когда это тайное совещание уже кончалось, кардинал Турнонский доложил королеве о приезде посланцев Кальвина. Дабы в Лувре к ним отнеслись с бо̀льшим уважением, адмирал Колиньи взялся их сопровождать сам. Королева сразу же забрала с собой своих обольстительных фрейлин и перешла в тот парадный зал, который был построен ее мужем и которого уже больше не существует в теперешнем Лувре.

Лестница Лувра находилась тогда в Часовой башне. Покои Екатерины были расположены в старых зданиях, которые частично еще сохранились во дворе музея. Лестница нынешнего музея была построена на месте зала для балетов. Балеты были тогда особого рода драматическим представлением, в котором принимал участие весь двор. Революционеры в пылу страсти допустили нелепейшую ошибку в отношении Карла IX, и она как раз связана с Лувром. В годы революции господствовало враждебное отношение к этому королю, его изображали совсем не таким, каким он был в действительности, а чудовищно жестоким. Трагедия Шенье была написана под влиянием надписи, сделанной на окне здания луврского дворца, выходящего на набережную. Надпись эта гласила: «Из этого окна страшной памяти Карл IX стрелял во французских граждан». Следует заметить будущим историкам и всем рассудительным людям, что той части Лувра, которая сейчас носит название Старого Лувра, выступающей в виде топора на набережную и соединяющей салон и дворец при помощи галереи, называемой галереей Аполлона, и Лувр — с Тюильри при помощи зал музея, при Карле IX вовсе не существовало. Самая значительная часть площадки, на которой находился фасад, выходящий на набережную там, где разбит так называемый сад Инфанты, была занята дворцом Бурбонов, который принадлежал именно Наваррскому дому. Карл IX никак не мог стрелять из здания, построенного Генрихом, в барку, в которой гугеноты пе-

реезжали через реку, хотя он мог ясно видеть Сену из тех окон Лувра, которые ныне уже замурованы. Даже если бы в распоряжении ученых в библиотеках не оказалось планов Лувра эпохи Карла, где все обозначено с большой точностью, само ныне существующее здание легко спровергло бы это ошибочное представление. Ни один из королей, которые участвовали в постройке этого огромного здания, не забывал поместить где-нибудь свой вензель или анаграмму. Так вот в этой внушительной и в наше время совершенно потемневшей части Лувра, которая выходит в сад Инфанты и выдается на набережную, мы находим вензель Генриха III и Генриха IV, которые сильно отличаются от вензеля Генриха II, где H в соединении с двумя C Екатерины образует букву D, которая может сбить с толку людей малосведущих. Генрих IV сумел сделать принадлежавший ему дворец Бурбонов со всеми его пристройками и садами частью Лувра. Ему первому пришла мысль присоединить дворец Екатерины Медичи к Лувру с помощью этих недостроенных галерей, где расставлены драгоценные скульптуры, которые сейчас находятся в таком забросе. Но даже если бы не сохранились ни планы Парижа эпохи Карла IX, ни вензеля Генриха III и Генриха IV, различие скульптурных стилей все равно разоблачило бы эту клевету. Архитектура изъеденных червями каменных выступов здания тюрьмы Ла Форс и этой части Лувра носит черты перехода от архитектуры Возрождения к архитектуре эпохи Генриха III, Генриха IV и Людовика XIII. Это археологическое отступление, дополняющее описания, которые даны в начале этой повести, помогает разглядеть истинный облик этого уголка Парижа. Сейчас от него ничего не осталось, кроме одной только части Лувра, и великолепные барельефы, украшающие это здание, разрушаются день ото дня.

Когда при дворе узнали, что Екатерина собирается принять у себя Теодора де Беза и Шодье, представленных ей адмиралом Колиньи, все придворные, которые имели право входа в зал аудиенций, сошлись туда, чтобы присутствовать при этой встрече. Было около шести часов вечера. Адмирал только что пообедал и, ковыряя в зубах, поднимался по лестницам Лувра вместе с обоими реформатами. Пользование зубочисткой вошло у адми-

рала в привычку, он мог, например, прочищать свои зубы в разгаре битвы, когда он обдумывал отступление. «Бойтесь адмирала, когда он прочищает зубы, коннетабля, когда он говорит «нет», и Екатерины, когда она говорит «да»,— любили повторять в то время при дворе. После Варфоломеевской ночи, когда труп Колиньи трое суток висел на площади Монфокон, толпа злобно посмеялась над ним, воткнув ему в рот зубочистку. Летописцы рассказали нам об этой отвратительной забаве. Это маленькое происшествие на фоне такой огромной катастрофы характеризует прежде всего парижан, которые вполне заслуживают, чтобы, перефразировав смеха ради стих Буало, о них сказали:

Насмешливый француз придумал гильотину.

Парижанин всегда умел шутить — и до революции, и во время революции, и после нее.

Теодор де Без был одет, как придворный. Он был в чулках, в башмаках с прорезями, в полосатых штанах, в черном бархатном камзоле, на котором выделялись плоеные брыжжи. Он носил усы и маленькую бородку. На перевязи у него висела шпага, в руках он держал трость. Тот, кто видел галереи Версаля или собрания Одиевра, помнит его круглое, пожалуй, даже веселое лицо, с живыми глазами и высоким лбом, который так характерен для писателей и поэтов той эпохи. У де Беза была приятная внешность, и это ему очень помогало. Он был полной противоположностью Колиньи, строгое лицо которого всем хорошо известно, и суровому и желчному Шодье, который везде носил свое одеяние проповедника и кальвинистский нагрудник. Зная, что в наши дни происходит в палате депутатов и что, несомненно, происходило в Конвенте, легко можно понять, как при этом дворе в ту эпоху люди, которые спустя полгода взялись за оружие и дрались не на жизнь, а на смерть, могли сейчас встречаться, вежливо разговаривать друг с другом и даже шутить. Бирага, который с холодным спокойствием подал мысль устроить резню гугенотов в Варфоломеевскую ночь, кардинал Лотарингский, который потом потребовал от Бема, своего слуги, чтобы тот не промахнулся, стреляя в адмирала, вышли навстречу Колиньи, и пьемонтец сказал ему, улыбаясь:

— Итак, дорогой адмирал, вы решили представить нам этих господ женевцев?

— Вы, может быть, сочтете, что с моей стороны это преступление,— насмешливо ответил ему адмирал,— а ведь если бы за это дело взялись вы, вы вменили бы его себе в заслугу.

— Говорят, господин Кальвин серьезно болен? — спросил кардинал Лотарингский у Теодора де Беза.— Я надеюсь, что нас не станут подозревать в том, что мы его отравили?

— Монсеньер, вы бы слишком много тогда потеряли! — ответил хитрый де Без.

Герцог Гиз, внимательно рассматривавший Шодье, переглянулся с братом и с Бирагой. Обоих эти слова поразили.

— Ей-богу же,— воскликнул кардинал,— еретики совсем не дураки в политике!

Чтобы не попасть в затруднительное положение, королева, о приходе которой только что доложили, решила не садиться. Она заговорила с коннетаблем, который оживленно начал доказывать ей, что она не должна была принимать посланцев Кальвина.

— Вы же видите, дорогой коннетабль, что мы с ними не церемонимся.

— Ваше величество,— сказал адмирал, подходя к королеве,— вот два проповедника нового вероучения, которые были у Кальвина и привезли с собой его указания относительно конференции, где обе церкви Франции могли бы договориться между собою.

— Вот господин Теодор де Без, которого моя жена очень ценит,— сказал король Наваррский, появляясь в эту минуту и беря за руку Теодора де Беза.

— А вот Шодье! — воскликнул принц Конде.— *Мой друг*, герцог Гиз, знает капитана,— сказал он, глядя на Балафре,— может быть, ему будет приятно познакомиться и с проповедником.

Эта выходка в гасконском духе рассмешила весь двор и даже Екатерину.

— Клянусь вам,— ответил герцог Гиз,— что я очень рад видеть перед собой молодца, который отлично умеет подбирать людей и надлежащим образом их использовать. Один из ваших,— сказал он проповеднику,— вы-

держал чрезвычайную пытку и при этом остался жив и ни в чем не признался. Я считаю себя человеком храбрым, но не знаю, мог бы я выдержать ее так, как он!..

— Ну, положим,— воскликнул Амбруаз Паре,— вы даже не вскрикнули, когда в Кале я вытаскивал острие копья, что застряло у вас под глазом!

Екатерина, стоявшая в центре полукружия, который справа и слева образовывали ее придворные и фрейлины, хранила глубокое молчание. Она смотрела на обоих знаменитых реформатов; стараясь внимательно разглядеть их своими прекрасными и умными черными глазами, она изучала их.

— Один из них клинок, а другой — ножны,— шепнул ей на ухо Альберто Гонди.

— Господа,— сказала Екатерина, не в силах удержаться от улыбки,— насколько я понимаю, ваш учитель разрешил вам созвать конференцию, чтобы вы могли обратиться в истинную веру, слушая слова новых отцов католической церкви, которые составляют славу нашего государства?

— У нас нет другого учителя, кроме господа бога,— ответил Шодье.

— Но вы все-таки признаете какую-то власть за королем Франции? — спросила Екатерина с улыбкой, обрывая его на полуслове.

— И еще бо̀льшую за королевой,— сказал де Без, поклонившись.

— Вот увидите,— заметила Екатерина,— еретики будут моими самыми верными подданными.

— Ах, ваше величество,— воскликнул Колиньи,—что же станется с нашей страной! Европа все время выгадывает от наших внутренних распрей. Уже целых пятьдесят лет на глазах у нее одна половина Франции ополчается против другой.

— Что же, выходит, мы собрались здесь, чтобы выслушивать дифирамбы во славу еретиков? — грубо заметил коннетабль.

— Нет, чтобы заставить их покаяться,— шепнул ему на ухо кардинал Лотарингский.— Мы хотим попробовать привлечь их на свою сторону лаской.

— Знаете, как я бы поступил, если бы сейчас царствовал отец нашего короля? — сказал Анн де Монморан-

си.— Я позвал бы сейчас прево и без всяких разговоров повесил бы обоих этих подлецов на виселице около Лувра.

— Скажите, господа, кто из ваших богословов будет выступать против нас? — спросила королева, взглядом призывая коннетабля замолчать.

— Дюплесси-Морнэ и Теодор де Без,—сказал Шодье.

— Двор, скорее всего, поедет в замок Сен-Жермен, и так как не совсем удобно, чтобы эта конференция происходила в резиденции короля, мы устроим ее в маленьком городке Пуасси,— объявила Екатерина.

— Ваше величество, а мы будем там в безопасности?— спросил Шодье.

— Вы же всегда можете принять необходимые меры предосторожности,— не без наивности ответила королева.— Господин адмирал договорится об этом с моими кузенами Гизами и с Монморанси.

— Мне на это плевать! — буркнул коннетабль.— Соваться в эти дела я не стану.

— Как это вам удается воспитать в ваших адептах такую силу воли? — спросила королева, уводя Шодье на несколько шагов в сторону.— Сын моего меховщика вел себя как герой...

— С нами вера! — ответил Шодье.

В эту минуту присутствующие, разбившись на группы, обсуждали предстоящее совещание, которое с легкой руки королевы все стали уже называть «конференцией в Пуасси». Екатерина посмотрела на Шодье и тихо сказала ему:

— Да, новая вера!

— Ах, ваше величество, если бы вы не были ослеплены вашей близостью к папской курии, вы бы видели, что мы возвращаемся к истинному учению Иисуса Христа, который учил, что все души человеческие равны, и поэтому дал нам, людям, равные права здесь, на земле.

— А вы что, тоже считаете себя равным Кальвину? — ехидно спросила Екатерина.— Полноте, мы равны лишь перед церковью. Но подумать только, разорвать нити, связующие народы и его правителей! — воскликнула Екатерина.— Вы не просто еретики: проповедуя неповиновение папе, вы тем самым восстаете против повиновения королю!

Она стремительно покинула его и вернулась к Теодору де Безу.

— Я полагаюсь на вас, сударь,— сказала она,— и хочу, чтобы вы провели эту конференцию по совести. Обдумайте все как следует.

— Я считал, что к государственным делам здесь относятся серьезнее,— сказал Шодье, обращаясь к принцу Конде, королю Наваррскому и адмиралу Колиньи.

— О, мы-то хорошо знаем все, что нам нужно! — сказал принц Конде, многозначительно переглянувшись с Теодором де Безом.

Горбун покинул своих соратников и отправился на любовное свидание. Знаменитый принц Конде, вождь реформатов, имел огромный успех у придворных дам. Две знаменитейшие красавицы того времени с таким ожесточением оспаривали его друг у дружки, что жена маршала Сент-Андре, будущего триумвира, даже отдала ему свое великолепное поместье в Сен-Валери, лишь бы только отбить его у герцогини Гиз, жены того, кто еще совсем недавно собирался отрубить ему голову на эшафоте. Эта женщина, будучи не в силах отвлечь герцога Немурского от его любовной связи с мадмуазель де Роан, сделала своим избранником вождя реформатов.

— Как все это непохоже на Женеву! — воскликнул Шодье, когда они с Теодором де Безом проходили один из мостиков Лувра.

— Разумеется, здесь повеселее. Я только не могу понять, почему они до такой степени продажны! — сказал де Без.

— Мы рассчитаемся с ними той же монетой,— ответил Шодье на ухо Теодору.— В Париже у меня есть *мои святые*, на которых я могу положиться. Я докажу, что Кальвин — настоящий пророк. Кристоф поможет нам избавиться от наших опаснейших врагов.

— Королева-мать, ради которой этот несчастный перенес пытку, сразу же сделала его адвокатом парламента, а адвокаты чаще становятся доносчиками, чем убийцами. Вспомните Авенеля, который предал наше первое восстание.

— Кристофа я знаю,— уверенно сказал Шодье, расставаясь с посланцем Женевы.

XVII
НАГРАДА

Через несколько дней после беседы Екатерины с тайными посланцами Кальвина, в конце того же самого года, ибо год начинался тогда с пасхи, а теперешний календарь был принят только в царствование Карла IX, Кристоф лежал в кресле у огня в той большой и мрачной комнате, где протекала жизнь его семьи и откуда берет начало вся эта драма. Ноги он положил на табурет. Г-жа Лекамю и Бабетта Лалье только что сменили ему примочки. Примочки эти делались из смеси, привезенной Амбруазом, который следил за его здоровьем по поручению Екатерины. Вернувшись в лоно семьи, юноша сделался там предметом самых нежных забот. Бабетта с разрешения отца приходила сюда утром и возвращалась домой только поздно вечером. Подмастерья смотрели на Кристофа с восхищением; он делался притчей во языцех всего квартала: о нем начали слагать легенды, окружавшие его ореолом таинственности. Ведь у него хватило сил выдержать пытки, а знаменитый Амбруаз Паре употребил все свое искусство на то, чтобы его вылечить. Чем же он все это заслужил? Ни сам Кристоф, ни его отец не обмолвились об этом ни словом. Екатерина, которая была тогда всемогуща, была заинтересована в том, чтобы молчать, равно как и принц Конде. Частые посещения Амбруаза, хирурга короля и дома Гизов, которому королева-мать и Лотарингцы разрешили лечить юношу, обвиненного в ереси, сбивали людей с толку, и в этом деле никто ничего не мог понять. К тому же кюре церкви Сен-Пьер-о-Беф неоднократно приходил проведать сына своего церковного старосты,— от этого все казалось еще более загадочным.

У старого синдика были на этот счет свои соображения; когда собратья по ремеслу, торговцы, друзья начинали расспрашивать его о сыне, он отвечал каждый раз уклончиво:

«Какое счастье, куманек, что он остался жив! Ты ведь знаешь пословицу: не клади палец между молотом и наковальней. А он положил свою руку на костер, и костер едва не спалил весь наш дом! Люди воспользовались его неопытностью, а ведь когда мы, простые горожане, свя-

зываемся со знатными господами, дело никогда не обходится без беды и позора. Вот почему я решил сделать моего мальчика адвокатом. Там, в суде, его научат соразмерять свои слова и поступки. Молодая королева, та, что теперь в Шотландии, здесь тоже руку приложила. Но, может быть, сын и сам был неосторожен!.. Сколько мне всего пришлось пережить... Может быть, я и вообще-то теперь закрою лавку, больше я уже ведь ни за что не явлюсь ко двору... Да и Кристоф по горло сыт этой Реформацией, из-за нее ему и руки и ноги переломали. Что бы я теперь стал делать без Амбруаза?»

Подобные слова старика и его благоразумное поведение убедили всех соседей, что Кристоф уже больше не якшается с еретиками. Они сочли вполне естественным, что старый синдик хочет сделать сына адвокатом, и посещения кюре перестали их удивлять. Тем, кто думал о несчастье синдика, даже в голову не приходило, что им движет честолюбие,— это бы всех ужаснуло. Молодой адвокат, который уже провел девяносто дней лежа в кровати, поставленной для него в старой комнате, только неделю тому назад начал вставать, и чтобы передвигаться, ему нужны были костыли. Любовь Бабетты и нежные заботы его матери трогали Кристофа до глубины души. Пока он лежал в постели, обе женщины наперебой отчитывали его за то, что он отошел от католической веры. Президент де Ту посетил своего крестника и был с ним по-отечески ласков. Разумеется, чтобы стать адвокатом парламента, Кристофу следует исповедовать католическую веру, он ведь должен принести присягу. Однако президент, который не сомневался в том, что юноша остался правоверным католиком, многозначительно добавил:

— Дитя мое, ты прошел тяжелое испытание. Я даже не знаю, что заставило герцога и кардинала так жестоко поступить с тобой. Прошу тебя, живи теперь спокойной жизнью и не впутывайся ни в какие заговоры. Знай, что ни королева, ни король не станут наделять своими милостями тех, кто сеет бурю. Ты не такой большой человек, чтобы ставить королю какие-то условия, как это делают Гизы. Помни, для того, чтобы когда-нибудь стать советником парламента, надо быть по-настоящему преданным королю.

Однако ни разговоры с президентом де Ту, ни чары Бабетты, ни наставления матери не поколебали веры этого мученика Реформации. Страдания, перенесенные им во имя этой веры, сделали его еще более стойким ее поборником.

— Отец никогда не согласится, чтобы я вышла замуж за еретика,— шептала ему на ухо Бабетта.

На это Кристоф отвечал ей только слезами, и девушка становилась задумчивой и молчаливой.

Старик Лекамю сохранял свое достоинство отца и синдика; он приглядывался к сыну и говорил мало. Отвоевав своего любимца Кристофа, он был все же немного недоволен собой, он сожалел о том, что дал своему единственному сыну увидеть, как тот ему дорог; меж тем в глубине души он им восхищался. Никогда в жизни синдик не пускал в ход столько механизмов, чтобы достичь своей цели, ибо он видел, что зерно, которое он посеял с таким трудом, взошло, и хотел во чтобы то ни стало собрать свою жатву. За несколько дней до этого утра у него был долгий разговор с сыном: ему хотелось разгадать причину его упорства. Кристоф, которому честолюбие было не чуждо, верил в принца Конде. Благородные слова принца, который вел себя не хуже, чем любой другой принц, запечатлелись в его сердце. Но он не знал, что в ту самую минуту, когда он трогательно прощался с Конде, сидя за решеткой Орлеанской тюрьмы, тот посылал его ко всем чертям и только думал: «Гасконец бы меня понял!»

Это чувство восхищения перед принцем не мешало Кристофу испытывать глубочайшее уважение к великой королеве Екатерине, которая одним взглядом сумела убедить его в необходимости принести себя в жертву и которая потом, во время пытки, другим взглядом, в котором проступали слезы, обещала ему все, что могла тогда обещать. Все эти девяносто дней и девяносто ночей, которые будущий адвокат провел в полнейшей тишине, он вспоминал все, что с ним было в Блуа и в Орлеане. Помимо воли он мысленно сравнивал обоих своих покровителей: он не знал, кому отдать предпочтение—королеве или принцу. Несомненно, он оказал бо́льшую услугу Екатерине, чем Реформации, но юношу влекло и сердцем и разумом к этой королеве не только поэтому, а прежде всего

потому, что она была женщиной. В подобных случаях мужчина всегда ждет большего от женщины, а не от мужчины.

«Ради нее я принес себя в жертву, чем же теперь она вознаградит меня за все?»

Помимо воли он снова задавал себе этот вопрос, припоминая те интонации, с которыми она произнесла слова: «Povero mio» [1].

Просто невероятно, до какой степени человек, пригвожденный болезнью к постели, становится индивидуалистом! Все окружающее и даже заботы близких о его здоровье заставляют его сосредоточиться на мыслях о себе. Кристофу казалось, что принц Конде чувствует себя обязанным по отношению к нему и что теперь он назначит его на какую-нибудь должность при Наваррском дворе. Этот юноша, еще не искушенный в политике, забывал о том, чем обычно бывают поглощены вожди партий, с какою стремительностью они перешагивают через головы людей и через события. В немалой степени этому способствовало и то, что, затворенный в своей полутемной комнате, он был отрезан от мира, как в тюрьме. Когда партия идет в наступление, она неминуемо становится неблагодарной; она тем более неблагодарна тогда, когда одержит победу, ибо появляется слишком много людей, которые требуют награды. Солдаты готовы помириться с этой неблагодарностью, но зато все главари становятся в оппозицию к своему новому начальнику, с которым они так долго были на равных правах. Кристоф был единственным из всех, кому довелось, оставшись в живых, вспоминать о своих страданиях; причисляя себя к мученикам Реформации, он возомнил себя одним из ее вождей. Старик Лекамю, этот хитрый купец, человек столь опытный и проницательный, в конце концов разгадал тайные чаяния своего сына. Поэтому весь свой расчет он построил на тех сомнениях, которые одолевали тогда Кристофа.

— А ведь правда, неплохо выйти замуж за советника парламента,— сказал он накануне Бабетте в присутствии всех родных,— тебя стали бы звать *сударыней!*

— Да вы совсем с ума сошли, куманек! — возразил

---

[1] Бедняжка *(итал.)*.

Лалльe.— Во-первых, где это вы возьмете десять тысяч экю земельной ренты, которую надлежит иметь советнику, и у кого вы купите эту должность? Надо, чтобы этим вплотную занялась сама королева-мать, наша регентша. Тогда, может быть, его еще и приняли бы в парламент, но как же допустить туда человека, замаравшего себя связью с еретиками?

— А что бы вы дали за то, чтобы видеть вашу дочь женою советника?

— Вы хотите знать, сколько у меня всего денег, хитрец вы эдакий! — сказал Лалльe.

Советник парламента! Кристоф весь задрожал от этих слов.

Однажды утром, уже много времени спустя, когда Кристоф смотрел в окно на реку, напомнившую ему ту сцену, с которой началась наша повесть, а также принца Конде, Ла Реноди, Шодье, путешествие в Блуа—словом, все его былые надежды, синдик вошел в комнату и подсел к нему на кровать. Он старался оставаться серьезным, но ему трудно было скрыть свою радость.

— Сын мой,— сказал он,— после того, что произошло между тобой и виновниками восстания в Амбуазе, Наваррский дом достаточно обязан тебе и ему не мешало бы подумать о твоем будущем.

— Разумеется,— ответил Кристоф.

— Ну, так вот,— сказал отец,— я без всяких обиняков попросил их купить для тебя должность судьи в Беарне. Наш добрый друг Паре взялся передать письма, которые я написал от твоего имени принцу Конде и королеве Жанне. А теперь прочти, что на них отвечает Наваррский вице-канцлер г-н де Пибрак.

«Сьёру Лекамю, синдику цеха меховщиков.

Его высочество принц Конде просит меня передать вам, что, к сожалению, ничего не может сделать для своего товарища по башне Сент-Эньян. Он помнит о нем и предлагает ему занять сейчас должность в своей гвардии, а это даст ему возможность, как человеку храброму, продвинуться дальше.

Королева Наваррская ждет, что ей представится слу-

чай вознаградить сьёра Кристофа, и не преминет им воспользоваться.

Да хранит вас господь бог, господин синдик.

Нерак *Пибрак,*
Наваррский канцлер»

— Нерак, Пибрак, вот так так! — воскликнула Бабетта.— От гасконцев ждать нечего, они только о себе думают.

Старый Лекамю насмешливо поглядел на сына.

— И он еще предлагает садиться в седло насчастной жертве, человеку, которому из-за него же переломали ноги! — вскричала г-жа Лекамю.— Какое возмутительное издевательство!

— Что-то я не вижу, чтобы тебя назначили советником в Наварру,— сказал синдик меховщиков.

— Я бы хотел знать, что сделает для меня королева Екатерина, если я ее попрошу,— сказал пораженный Кристоф.

— Она ничего тебе не обещала,— сказал старик,— но я уверен, что она не станет насмехаться над тобой и вспомнит о том, сколько ты выстрадал. Только подумай, может ли она сделать советником парламента простого горожанина-протестанта?..

— Но Кристоф ведь не отрекался от нашей веры! — воскликнула Бабетта.— А его настоящие религиозные убеждения — это его личное дело.

— Принц Конде вел бы себя, вероятно, немного пообходительнее с советником парижского парламента,— сказал Лекамю.

— Советником, отец! Да возможно ли это?

— Да, если только ты не станешь препятствовать тому, что я хочу для тебя сделать. Мой кум Лалльe дает двести тысяч экю, если и я дам столько же на покупку хорошего дворянского поместья при условии, что оно будет переходить по наследству от отца к сыну. И это поместье мы тебе дадим в качестве свадебного подарка.

— А я еще кое-что добавлю, чтобы ты мог купить себе дом в Париже,— сказал Лалльe.

— Так что же, Кристоф? — спросила Бабетта.

— Вы ведь все это решили без королевы,— ответил молодой адвокат.

Через несколько дней после этого довольно горького разочарования один из учеников вручил Кристофу лаконическую записку:

«Шодье хочет видеть своего духовного сына!»

— Пусть войдет! — воскликнул Кристоф.

— О мой великомученик! — сказал проповедник, обнимая нашего адвоката.— Ну, как ты, поправился?

— Да, милостью Паре.

— Милостью господа бога, который дал тебе силы перенести пытку! Но я не верю своим ушам! Мне сказали, что ты согласился стать адвокатом, что ты дал присягу, что ты признал эту блудницу, католическую апостольскую церковь и папу?..

— Этого захотел мой отец.

— Да, но разве мы не должны оставлять наших отцов, наших детей, наших жен, всех на свете, во имя святого дела кальвинизма, вынести все страдания!.. Ах, Кристоф, Кальвин, великий Кальвин, вся наша партия, весь мир, будущие поколения — все рассчитывают на твою храбрость и на величие твоей души. Нам нужна твоя жизнь.

Душа человека такова, что тот, кто наиболее предан своей идее, отдавая ей жизнь, в минуты страшнейшей опасности бывает полон самых несбыточных надежд. Когда на реке под Мостом Менял принц, солдат и проповедник попросили Кристофа отвезти Екатерине послание, юноша, хоть он и отлично знал, что рискует жизнью, понадеялся на свою сообразительность, на свой разум, наконец, на судьбу и смело ринулся туда, где две страшные партии: Екатерины и Гизов — чуть не раздавили его в своих тисках. Во время пытки он еще продолжал говорить себе: «Я все выдержу, это ведь только боль!»

Но теперь, когда от него, еще совершенно слабого и больного, едва оправившегося от пытки и особенно остро полюбившего жизнь, после того, как он так близко видел смерть, прямо потребовали: «Умри!» — он уже не верил никаким иллюзиям. Кристоф спокойно ответил:

— Что от меня требуется?

— Храбро выстрелить из пистолета, как Стюарт стрелял в Минара.

— В кого?

— В герцога Гиза.

— Значит, убийство?

— Месть! Разве ты забыл, как в Амбуазе казнили сотню дворян, всех на одном эшафоте? Юный д'Обинье, совсем еще мальчик, увидав эту бойню, сказал: «Они погубили всю Францию».

— Надо сносить все удары, но не отвечать на них, так учит нас Евангелие,— возразил Кристоф.— Для чего же нам Реформация, если мы собираемся сами поступать, как католики?

— Ах, Кристоф, они из тебя сделали адвоката, ты теперь стал рассуждать! — сказал Шодье.

— Нет, друг мой,— ответил ему юноша.— Но принцы — люди неблагодарные, и вы сами и все ваши сторонники будете игрушками в руках у Бурбонов.

— Знай, Кристоф, что если бы ты услышал Кальвина, ты бы понял, что они нам послушны. Бурбоны — всего-навсего перчатки, а руки — это мы.

— Читайте,— сказал Кристоф, протягивая проповеднику ответ Пибрака.

— Дитя мое, ты стал честолюбцем, ты уже не согласен отдать жизнь за дело веры... Как мне тебя жаль!

Сказав эти красивые слова, Шодье ушел.

Через несколько дней после этого семьи Лекамю и Лалльe собрались по случаю помолвки Бабетты и Кристофа в той же мрачной комнате. Кристоф уже встал с постели, он был даже в состоянии подниматься наверх и начинал отвыкать от костылей.

Было девять часов вечера, и все ждали Амбруаза Паре. За столом, на котором лежали договоры, сидел нотариус. Лекамю продавал дом и лавку своему старшему приказчику, который сразу же платил ему сорок тысяч ливров; чтобы рассчитаться также и за товар, тот закладывал дом и таким образом мог внести двадцать тысяч ливров наличными.

Лекамю приобретал великолепный каменный дом, построенный Филибером Делормом, на улице Сен-Пьер-о-Беф и отдавал его сыну в качестве свадебного подарка. Помимо этого, синдик и Лалльe давали ему из своих денег по двести пятьдесят тысяч ливров на приобретение прекрасного дворянского поместья в Пикардии, за которое с него просили пятьсот тысяч ливров. Это поместье входило в состав королевских ленных владений, и для

покупки его надо было не только уплатить значительную пошлину и налог, но также иметь на руках грамоту короля. Таким образом, бракосочетание приходилось отложить до получения этой королевской милости. Несмотря на то, что парижским горожанам было даровано право покупать дворянские поместья, тайный совет установил некоторые ограничения там, где дело касалось земель, входивших в состав ленных владений короля, а поместье, в течение десяти лет привлекавшее Лекамю, являлось именно одним из таких исключений. Амбруаз взялся принести королевскую грамоту в тот же вечер. Старик Лекамю ходил взад и вперед, снедаемый нетерпением, которое показывало, насколько он был тщеславен. Наконец, появился Амбруаз.

— Вот что, дружище,— сказал хирург, озабоченно озирая столы,— посмотрим, как у тебя столы накрыты. Ну, ничего. Только знаешь, свечи зажги восковые. Да поторапливайся! А посуду приготовь самую лучшую.

— Что все это значит? — спросил кюре церкви Сент-Пьер-о-Беф.

— К вам на ужин сегодня пожалует королева-мать вместе с молодым королем,— ответил первый хирург.— Королева и король ждут к себе старого советника, чья должность покупается для Кристофа, и господина де Ту, который заключал эту сделку. Только смотрите, не подавайте виду, что вас об этом предупредили. Я еле-еле выбрался из Лувра.

В одно мгновение в доме все было поднято на ноги. Мать Кристофа и Бабетта бегали туда и сюда и отчаянно суетились, как бывает с застигнутыми врасплох хозяйками. Несмотря на замешательство, которое это сообщение внесло в оба семейства, все приготовления были сделаны с молниеносной быстротой. Кристоф, оторопевший от подобной милости, ошеломленный и смущенный, не мог вымолвить ни слова и смотрел на все как-то безучастно.

— Подумать только, королева с королем у нас в доме! — говорила старуха-мать.

— Королева! — повторяла Бабетта.— Как мне себя с ней держать, о чем говорить?

За какой-нибудь час прежней комнаты было не узнать. Все было убрано, и стол блестел. В это время на улице по-

слышался топот лошадей. Увидав всадников с зажженными факелами, жители всего квартала повысовывались из окон. Всадники промчались мгновенно. Под навесом остались только королева-мать с сыном, королем Карлом IX, Карло Гонди, назначенный гардеробмейстером и наставником короля, г-н де Ту, старый советник, государственный секретарь Пинар и двое пажей.

— Добрые люди,— сказала королева, входя в дом.— Король, мой сын, и я, мы приехали сюда подписать брачный контракт сына нашего меховщика. Но это при условии, что он останется католиком. Надо быть католиком, чтобы стать членом парламента, надо быть католиком, чтобы купить себе поместье, которое является ленным владением; надо быть католиком, чтобы сидеть за одним столом с королем. Не правда ли, Пинар?

Государственный секретарь вошел вслед за ними и вынул указы.

— Если окажется, что здесь собрались не только католики,— сказал юный король,— то Пинар бросит все эти бумаги в огонь. Но мы ведь все здесь католики, не правда ли? — добавил он, не без гордости поглядывая на всех собравшихся.

— Да, ваше величество,— сказал Кристоф Лекамю, хоть и с трудом, но все же преклоняя колено и целуя руку, которую ему протянул молодой король.

Королева Екатерина, которая также протянула Кристофу руку, вдруг сделала ему знак подняться и, отведя его в угол комнаты, сказала:

— Смотри только, мой мальчик, не хитри с нами, мы ведь с тобой откровенны!

— Я обещаю вам, ваше величество,— ответил он, тронутый щедрой наградой и той честью, которую теперь оказывала ему эта королева, умеющая ценить услуги.

— Итак, господин Лекамю, король, мой сын, и я, мы разрешаем вам вступить в исполнение обязанностей нашего доброго Гроле, советника парламента, который здесь присутствует,— сказала королева.— Я надеюсь, что вы будете исправно нести службу под началом первого президента.

Де Ту выступил вперед и заявил:

— Ваше величество, я за него отвечаю.

— Тогда, нотариусы, приступите к делу.

— Раз король, наш господин, оказывает нам такую милость, подписывая брачный договор моей дочери,— воскликнул Лалльe,— я оплачиваю сполна всю стоимость поместья!

— Дамы могут садиться,— любезно разрешил король.— В виде свадебного подарка невесте я, с соизволения моей матери, отказываюсь от моих прав на лен.

Старик Лекамю и Лалльe бросились на колени и поцеловали королю руку.

— Подумайте, ваше величество, сколько денег у этих горожан! — шепнул Гонди на ухо королю.

Молодой король расхохотался.

— Раз ваши величества сейчас в хорошем расположении духа,— сказал старый Лекамю,— может быть, они позволят мне представить им моего преемника и вручат ему королевский указ о назначении меховщиком королевских домов?

— Хорошо,— сказал король.

Тогда Лекамю подвел к ним своего бывшего приказчика, совершенно бледного от волнения.

— С соизволения государыни мы сядем сейчас за стол,— сказал молодой король.

Старику Лекамю захотелось оказать внимание королю, и он поднес ему серебряный кубок, стоивший не менее двух тысяч экю. Кубок этот он получил от Бенвенуто Челлини в то время, когда тот жил во Франции в замке Нель.

— Посмотрите, матушка, какая замечательная работа! — воскликнул юный король, поднимая кубок за ножку.

— Это сделано во Флоренции,— сказала Екатерина.

— Простите меня, ваше величество,— сказал Лекамю,— это действительно сделано одним флорентинцем, но только у нас, во Франции. Все флорентинское в нем будет принадлежать королеве, все французское — королю.

— Я принимаю этот подарок,— воскликнул Карл IX,— отныне я буду пить из этого кубка!

— Он достаточно хорош,— сказала королева, разглядев этот шедевр искусства,— чтобы занять место среди сокровищ короны.

— Скажите мне, господин Амбруаз,— тихонько спро-

сила королева своего хирурга, указывая ему на Кристофа — вам удалось его вылечить? Ходить он будет?

— Он будет летать,— улыбаясь, ответил хирург.— Ах, во что вы его превратили!

— Из-за одного человека дело не останавливается,— ответила королева с тем легкомыслием, в котором ее всегда упрекали и которое в действительности было только напускным.

Ужин прошел весело; королева нашла Бабетту хорошенькой и с великодушием, которое ей всегда было свойственно, сняла с пальца бриллиантовое кольцо и подарила ей, чтобы отблагодарить за кубок, поднесенный старым меховщиком. Король Карл IX, который впоследствии чрезмерно пристрастился к тому, чтобы так вторгаться в дома к своим подданным, поужинал с большим аппетитом. Потом, послушав своего нового наставника, которому, как говорят, было велено заставить его позабыть о всех добродетельных поучениях Сипьера, он так напился вместе с первым президентом, старым, вышедшим в отставку советником, государственным секретарем, кюре, нотариусом и хозяевами дома, что королева Екатерина при виде этого веселья, которое стало переходить все границы, решила, что пора уходить. Когда королева поднялась из-за стола, Кристоф, его отец и обе женщины взяли факелы и проводили ее до самого порога лавки. Там Кристоф набрался смелости. Он дотронулся до широкого рукава королевы и приложил палец к губам. Екатерина остановилась, сделала знак старику Лекамю и обеим женщинам удалиться и спросила Кристофа:

— Что ты хочешь сказать?

— Если вы сможете, ваше величество, извлечь из моих слов какую-то пользу, то знайте: герцога Гиза хотят убить...

— Ты верный человек,— улыбаясь, сказала Екатерина,— и я тебя никогда не забуду.

Она протянула ему руку, славившуюся своей удивительной красотой, и сняла перчатку, что можно было счесть знаком особой милости. И Кристоф, целуя эту прелестную руку, почувствовал, что стал роялистом.

«Значит, они хотят избавить меня от этого солдафона, и даже не спрашивая моего согласия!» — подумала королева, надевая перчатку.

Она села на мула и вернулась в Лувр в сопровождении своих двух пажей.

Кристоф выпил немало, но вино не рассеяло его грусти. Суровое лицо Амбруаза было живым упреком его отступничеству. Однако последующие события показали, что старый синдик был прав. Кристофу никоим образом не удалось бы спастись от Варфоломеевской ночи, его богатства и его поместья прельстили бы убийц. История сохранила в памяти ужасную участь жены преемника Лалльe. Эту красивую женщину убили, и тело ее, раздетое донага, привязали за волосы к одному из столбов Моста Менял, где оно провисело три дня. Бабетта трепетала при мысли о том, что с ней могло произойти то же самое, если бы Кристоф продолжал оставаться кальвинистом,— этим именем вскоре стали называть всех реформатов. Честолюбие Кальвина было удовлетворено, но уже после его смерти.

Вот каково происхождение знаменитого парламентского дома Лекамю. Тальман де Рео ошибается, утверждая, что они происходят из Пикардии. Просто впоследствии представители этого рода были заинтересованы в том, чтобы связывать происхождение своих предков с самым замечательным своим поместьем, находившимся как раз в Пикардии. Сын Кристофа, который в царствование Людовика XIII сделался его преемником, был отцом того богатого президента Лекамю, который при Людовике XIV воздвиг свой великолепнейший дворец. Дворец этот наряду с домом Ламбер вызывает восторги иностранцев и парижан и по праву считается одним из красивейших зданий в Париже. Дворец Лекамю стоит и по сей день на улицеТориньи, хотя в начале Революции, из-за того, что он принадлежал парижскому архиепископу г-ну де Жюиньи, он был разграблен. Вся роспись была уничтожена, а впоследствии в нем устроили пансионат, и это довершило его внутреннее разрушение. Здание это, построенное на средства, приобретение которых началось еще в старом доме на улице Лепельтри, и сейчас еще свидетельствует о том, какие прекрасные творения мог некогда создавать старинный уклад семейной жизни. Да позволят мне усомниться в том, что индивидуализм нашего времени, когда все наследства делятся на равные доли, сумеет оставить после себя столь замечательные памятники.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТАЙНА БРАТЬЕВ РУДЖЕРИ

I

ДВОР ПРИ КАРЛЕ IX

В конце октября 1573 года, между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, два итальянца из Флоренции, два брата, Альберто Гонди, маршал Франции, и Карло Гонди, гардеробмейстер Карла IX, сидели на крыше одного из домов по улице Сент-Оноре, на краю каменного желоба. Такие желоба в то время проходили всюду вдоль крыш; в нескольких местах они обычно пересекались каменными водостоками в виде фантастических животных с разинутой пастью. Несмотря на все усердие, с каким нынешнее поколение уничтожает старинные дома, таких желобов в Париже было еще немало до тех пор, пока уже в самое недавнее время их окончательно не убрали по приказу полиции и не заменили водосточными трубами. Однако и сейчас еще осталось несколько желобов скульптурной работы, причем главным образом в квартале Сент-Антуан,— квартиры здесь были настолько дешевы, что владельцы домов не имели возможности надстраивать над ними новые этажи.

Может показаться очень странным, что двое вельмож, занимавших столь высокие посты, вели себя в эту минуту, как коты. Но достаточно порыться в исторической сокровищнице того времени, когда вокруг трона сплеталось столько интриг, что французскую политику можно было сравнить с клубком перепутанных ниток, чтобы

увидеть, что у этих двух флорентинцев, сидевших на краю желоба, действительно было какое-то сходство с котами. Их преданность Екатерине Медичи — королеве, которая дала им такое высокое положение при французском дворе, не позволяла им отступать ни при каких обстоятельствах. Но чтобы понять, почему эти двое придворных очутились в таком положении, надо вернуться к той сцене, которая разыгралась в двух шагах от этого желоба в Лувре, в чудесном коричневом зале, едва ли не единственном из всего, что осталось от апартаментов Генриха II. После ужина в этом зале обычно проводили время обе королевы и король. В ту эпоху горожане ужинали в шесть часов, вельможи — в семь, но самым изысканным считалось ужинать между восемью и девятью часами. Этот ужин соответствовал нашему обеду. Многие заблуждаются, думая, что этикет был введен во Франции Людовиком XIV,— он был установлен там Екатериной Медичи и был при ней настолько строг, что коннетаблю Анну де Монморанси оказалось легче получить свое звание, чем добиться права въезда верхом на лошади во двор Лувра. Этой последней привилегии его удостоили лишь в знак уважения к его преклонному возрасту. В царствование первых двух королей из дома Бурбонов этикет соблюдался менее строго, но зато при нашем великом короле он принял чисто восточный характер, перейдя к нам из Византии, которая, в свою очередь, заимствовала его в Персии. В 1573 году мало того, что только немногие придворные имели право войти во двор Лувра со своими слугами и с факелами, подобно тому, как в царствование Людовика XIV одни лишь герцоги и пэры могли въезжать в каретах под перистиль, но в расчет принимались еще и звания, которые давали право на вход в королевские покои после ужина. Маршал де Ретц, тот самый, который в эту минуту сидел на краю желоба, предложил однажды тысячу тогдашних экю стражу королевских покоев за возможность добиться аудиенции у Генриха II в такое время, когда он на это не имел права. Какими же смешными покажутся после этого настоящему историку виды внутреннего двора замка Блуа, на которых художники, например, изображают придворных верхом на конях!

Итак, в этот час в Лувре находилось только самое

избранное общество. Королева Елизавета Австрийская и ее свекровь Екатерина Медичи сидели в левом углу у камина. В другом углу зала король, сидя в глубоком кресле, изображал на своем лице равнодушие, которое легко можно было приписать пищеварению, ибо поужинал он так, как полагается государю после целого дня охоты. Может быть, впрочем, ему просто не хотелось разговаривать в присутствии лиц, старавшихся подстеречь не только его слова, но и мысли. Придворные с непокрытыми головами стояли в глубине зала. Иные из них разговаривали вполголоса, другие следили за королем, ожидая от него кто взгляда, кто слова. Иногда королева-мать подзывала кого-нибудь и обменивалась с ним несколькими фразами. Кое-кто набирался смелости обратиться с вопросом к королю, который отвечал на все кивком головы или небрежно брошенным словом. Немецкий вельможа, граф фон Солерн, стоял в углу у камина подле внучки Карла V, которую он провожал во Францию. Возле молодой королевы сидела на табурете графиня Фьеско, происходившая из рода Строцци, родственница королевы-матери. Красавица г-жа де Сов, которая вела свое происхождение от Жака Кёра и которая поочередно становилась любовницей короля Наваррского, короля Польского и герцога Алансонского, была также приглашена на ужин; но сидеть она не имела права, так как муж ее был всего лишь государственным секретарем. Стоя позади этих двух дам, оба Гонди разговаривали с ними. Среди всей этой удручающей скуки они одни были веселы. Альберто Гонди, которого сделали герцогом де Ретц и камер-юнкером двора его величества и который получил маршальский жезл, никогда не командовав армией, замещал короля и был фиктивным женихом королевы в Шпейере. Этим объясняется то, что он, так же как и его брат, был в числе немногих, которым обе королевы и король разрешали некоторые фамильярности. Около короля находились маршал де Таванн, прибывший ко двору по делам; Невилль де Вилльруа, один из самых ловких дипломатов того времени, который положил начало процветанию своего дома; г-да Бирага и Киверни, первый — ставленник королевы-матери, второй — канцлер Анжу и Польши. Этот последний, зная, кого из сыновей предпочитает Екатерина, был предан Генриху III,

брату Карла IX, которого король считал своим врагом; здесь был Строцци, кузен королевы-матери, и еще несколько вельмож; среди них выделялись старый кардинал Лотарингский и его племянник, молодой герцог Гиз. Король и королева старались не приближать их к себе. Эти два вождя Священного союза, основанного за несколько лет до этого совместно с Испанией и впоследствии превратившегося в Лигу, старались казаться полезными, как слуги, которые ждут первой возможности стать господами. Екатерина и Карл IX с одинаковым вниманием следили друг за другом.

Весь двор короля был столь же мрачен, как и зал, где сейчас собрались упомянутые нами лица. У каждого из них были свои причины предаваться задумчивости или грусти. Молодую королеву мучила ревность. Как она ни старалась ее скрыть, улыбаясь мужу, которого она, будучи женщиной благочестивой и до чрезвычайности доброй, горячо любила, ей это плохо удавалось. Мари Туше, единственная любовница Карла IX, которой он был порыцарски верен, уже больше месяца, как вернулась из замка Файе в Дофине, куда она уезжала, чтобы родить. Она привезла Карлу IX его единственного сына (других у него больше никогда не было), Карла Валуа, ставшего сначала графом Овернским, а затем герцогом Ангулемским. Несчастная королева страдала не только оттого, что у ее соперницы родился сын, в то время как у нее самой была только дочь,— она чувствовала себя униженной тем, что король мгновенно к ней охладел. Однако во время отсутствия своей любовницы король вдруг снова воспылал такою страстью к жене, что история упоминает об этом как об одной из причин его смерти. С возвращением Мари Туше благочестивая австриячка, наконец, поняла, как мало было в этой страсти настоящей любви. Но это было отнюдь не единственным разочарованием, которое в связи с этим постигло молодую королеву. До того времени она была уверена, что Екатерина Медичи к ней благоволит, а сейчас она убедилась, что ее свекровь покровительствует измене короля и оказывает предпочтение любовнице перед законной женой. И вот почему.

Когда Карл IX признался своей матери в своем чувстве к Мари Туше, Екатерина встала на сторону этой

девушки, ибо политически это было в ее интересах. Мари Туше, чуть ли не с детских лет окунувшаяся в придворную жизнь, переживала теперь пору расцвета всех чувств, свойственных молодости. Короля она любила ради него самого. Памятуя о той бездне, в которую честолюбие ввергло герцогиню де Валантинуа, более известную под именем Дианы де Пуатье, Мари, разумеется, боялась королевы Екатерины и готова была отказаться от всякой пышности во имя счастья. Может быть, она решила, что и сама она и король настолько еще молоды, что бороться с королевой-матерью им будет не по силам. К тому же Мари, единственная дочь Жана Туше, сьёра де Бове и дю Кийара, советника короля и помощника орлеанского бальи, занимая среднее положение между горожанами и низшим дворянством, не принадлежала, по сути дела, ни к настоящим дворянам, ни к горожанам. Поэтому ей было чуждо врожденное честолюбие каких-нибудь Писле или Сен-Валье, девушек, прославившихся в истории, которые умели направить тайное оружие любви на защиту интересов своего дома. Увлечение короля Мари Туше, у которой вообще не было никаких высокопоставленных родных, позволяло Екатерине Медичи избежать опасного соперничества со стороны представительниц знатных родов, одна из которых могла легко стать любовницей ее сына. Жан Туше, один из блестящих умов своего времени, которому поэты посвящали свои стихи, никогда не стремился играть роль при дворе.

Именно поэтому Мари, безвестная молодая девушка, столь же образованная и умная, сколь простодушная и прямая, желания которой не могли идти вразрез с интересами королевской власти, была особенно по душе Екатерине, которая ее по-настоящему полюбила. Екатерина сама настояла, чтобы парламент признал королевским сыном ребенка, родившегося в апреле этого года у Мари Туше, и разрешила ему именоваться графом Овернским, объявив Карлу IX, что она собирается завещать внуку ее собственные владения — графство Овернь и Лорагэ. Когда Маргарита, бывшая в то время королевой Наваррской, впоследствии стала королевой Франции, она опротестовала это завещание, и парламент его отменил. Однако в дальнейшем Людовик XIII, в знак уважения к дому Валуа, вознаградил графа Овернского, даровав ему

герцогство Ангулемское. Екатерина уже подарила Мари Туше, которая, впрочем, ничего не просила, поместье Бельвиль. Поместье это не давало никакого звания, но оно граничило с Венсенном, и любовница короля могла приезжать туда каждый раз, когда после охоты король оставался ночевать в замке. Карл IX провел в этой мрачной крепости бо́льшую часть последних лет своей жизни и, как полагают некоторые историки, окончил там свои дни точно так же, как Людовик XII. Вряд ли приходится удивляться, что, охваченный таким сильным чувством, человек расточает перед женщиной, которую боготворит, новые доказательства своей любви, вместо того чтобы раскаиваться в супружеской неверности. Однако Екатерина, на какое-то время вернув своего сына королеве, стала снова отстаивать интересы Мари Туше так, как это умеют делать женщины, и еще раз бросила короля в объятия его любовницы. Все, чем бы ни занимался Карл IX и помимо политики, близко затрагивало Екатерину. Впрочем, это благожелательное отношение к только что родившемуся ребенку еще раз обмануло Карла IX, который уже начинал видеть в матери свою соперницу. Мотивы, руководившие в этом деле Екатериной Медичи, ускользнули от доньи Изабеллы, которая, по словам Брантома, была одной из самых кротких королев, когда-либо царствовавших на свете. Изабелла никогда никому не причинила зла и *даже молитвенник свой читала втайне*. Но эта чистая душою принцесса начинала уже видеть пропасти, разверстые вокруг трона,— ужасное открытие, от которого у нее мог помутиться рассудок. Она, должно быть, испытала и более сильное потрясение, если могла ответить одной из дам, сказавшей ей после смерти короля, что будь у нее сын, она могла бы стать королевой-матерью и регентшей.

— Ах, благословим господа за то, что он не послал мне сына. Что бы с ним сталось? Несчастного ребенка лишили бы всего, поступив с ним так, как хотели поступить с королем, моим супругом, и виновницей этого была бы я... Господь пожалел нашу страну и все сделал к лучшему.

Эта принцесса — чей портрет, должно быть, хотел написать Брантом, утверждавший, что цвет лица некоей королевы был столь же красив и нежен, как и у ее

придворных дам, и производил на всех самое приятное впечатление и что она была невысокого роста, но хорошо сложена — не имела ни малейшего влияния при дворе. Но так как образ жизни Карла IX давал его жене полную возможность предаваться своему двойному горю, видом своим она еще больше усиливала мрачное впечатление, производимое всей этой сценой, которую при других обстоятельствах она могла бы оживить своим присутствием. Благочестивая Елизавета примером своим доказывала, что качества, которые способны только украсить женщину незнатную, могут оказаться роковыми для государыни. Карлу IX действительно нужна была помощница и подруга, и совсем не такая, которая проводила бы все ночи за молитвенником. А так у него не было опоры ни в любовнице, ни в жене.

Что касается Екатерины, то все внимание ее было направлено на сына, который за ужином был очень весел; веселье это показалось ей притворным — она была уверена, что в душе его таится неприязнь к матери. Внезапно овладевший королем порыв веселости слишком явно контрастировал с тем нервным напряжением, которое не могли скрыть ни все неистовства охоты, ни работа в кузнице, где он с упорством маньяка чеканил железо, чтобы сбивать с толку Екатерину. Не будучи в состоянии угадать, кто именно из государственных деятелей участвовал во всех этих переговорах и приготовлениях, ибо Карл IX умел выслеживать шпионов, подосланных его матерью, Екатерина была, однако, уверена в том, что существовал какой-то план, направленный против нее. Неожиданное появление Таванна, прибывшего одновременно с вызванным ею Строцци, заставило ее сильно задуматься. Тонкость расчетов Екатерины давала ей власть над всеми обстоятельствами, но какое-нибудь неожиданное покушение всегда могло застать ее врасплох. Ввиду того, что многие совершенно не представляют, каково было тогда положение дел, столь усложнившееся в силу существования различных партий, будораживших Францию, причем у каждого вождя были свои особые интересы, необходимо в нескольких словах очертить ту опасную игру, в которую была втянута королева-мать. Показав личность Екатерины Медичи в новом свете, мы тем самым доберемся до самой сути этого события. Есть два слова,

и в них заключена разгадка этой интереснейшей натуры, этой женщины, оказавшей такое огромное влияние на судьбы Франции. Эти два слова — *Власть* и *Астрология*. Екатерина Медичи была до крайности честолюбива и обуреваема только одною страстью — повелевать. Будучи натурой суеверной и фаталисткой, как очень многие правители, она, по сути дела, верила в одни только оккультные науки. Не разгадав этой двойственности, мы никогда не сможем ее понять. А говоря о ее вере в астрологию, приходится осветить и ту роль, которую во всем этом играли два персонажа, имеющие для настоящей повести некую философскую значимость.

Существовал один человек, который для Екатерины был дороже всех ее сыновей; этим человеком был Козимо Руджери. Она поселила его в своем дворце в Суассоне, она сделала его своим верховным советником, который должен был говорить ей, согласуются ли со звездами суждения и здравый смысл ее земных советников. Весьма любопытные обстоятельства предшествовали возвышению Руджери, который, приобретя власть над своей госпожой, сохранял эту власть до конца ее жизни. Не подлежит сомнению, что одним из ученейших людей XVI века был домашний врач Лоренцо Медичи, герцога Урбино, отца Екатерины. Врача этого звали Руджеро-Старший (vecchio Ruggiero, или Роже-Старший у французских авторов, которые писали об алхимии), в отличие от двух его сыновей — Лоренцо Руджери, которого авторы книг о кабалистике называли Великим, и Козимо Руджери, астролога Екатерины, которого многие французские историки равным образом называли Роже. Более употребительным стало имя Руджери, точно так же как во Франции Екатерину Медичи стали преимущественно звать Екатериной Медисис. Руджери-Старший пользовался таким уважением в доме Медичи, что оба герцога, Козимо и Лоренцо, стали даже крестными отцами двоих его детей. Вместе со знаменитым математиком Базилем, Руджери, будучи математиком, астрологом и домашним врачом дома Медичи — качества, которые нередко тогда объединялись в одном лице,— составил гороскоп Екатерины. В ту эпоху оккультные науки изучались с таким рвением, которое способно поразить наших современников, ни во что не верящих и привыкших полагаться толь-

ко на разум. Может быть, впрочем, они увидят в этих древних науках зачатки положительных знаний, расцветших в XIX веке, но уже без того ореола величия, который окружал дерзновенных искателей XVI века; эти люди, вместо того чтобы добиваться практических выгод, служили высокому искусству и оплодотворяли мысль. Покровительство, которое тогда во всех странах оказывали этим наукам государи, было, помимо всего прочего, оправдано удивительными открытиями того времени, когда, занимаясь поисками философского камня, исследователи приходили к самым неожиданным результатам. Вот почему никогда еще правители не были столь падки до этих тайн. Фуггеры, которые были предшественниками всех современных Лукуллов и в которых наши банкиры не могут не признать своих законодателей, были, разумеется, людьми проницательными, обмануть которых было не так легко. И вот, оказывается, эти столь уравновешенные люди, которые ссужали капиталы всей Европы государям XVI века, так же погрязшим в долгах, как и правители наших дней,— эти знаменитые друзья Карла V субсидировали опыты Парацельса. В начале XVI века Руджери-Старший возглавлял тот тайный университет, откуда вышли Кардано, Нострадамус, Агриппа, которые один за другим становились придворными врачами Валуа, словом, все астрологи, астрономы, алхимики, окружавшие в это время христианских государей и пользовавшиеся покровительством Екатерины Медичи. В гороскопе, составленном Базилем и Руджери-Старшим, основные события жизни Екатерины были предсказаны с поразительной точностью, непонятной для тех, кто отрицает оккультные науки.

Гороскоп этот предвещал те несчастья, которыми было отмечено начало ее жизни и которые относились ко времени осады Флоренции: ее выход замуж за принца крови, неожиданный приход этого принца к власти, рождение детей и их число. Троим из ее сыновей суждено было стать по очереди королями, двум ее дочерям — королевами, и все они должны были умереть, не оставив потомства. Все предсказания этого гороскопа исполнились с такой точностью, что многие историки считали, что он был составлен задним числом.

Всем известно, что Нострадамус привез в замок Шо-

мон, куда Екатерина удалилась во время заговора Ла Реноди, некую женщину, которая владела даром предвидения. Таким образом, во время царствования Франциска II, когда все четыре сына королевы были еще детьми и совершенно здоровыми, до того как Елизавета Валуа вышла замуж за испанского короля Филиппа II, а Маргарита Валуа за Генриха Бурбона, короля Наваррского, Нострадамус и его подруга подтвердили все предсказания этого пресловутого гороскопа. Эта гадалка, вне всякого сомнения владевшая даром ясновидения и принадлежавшая к великой школе неутомимых искателей философского камня, женщина, жизнь которой не оставила никаких следов в истории, утверждала, что последний из ставших королями сыновей Екатерины будет убит. Посадив королеву перед магическим зеркалом, отражавшим прялку, на одном из концов которой вырисовывались, одно за другим, лица каждого из сыновей королевы, колдунья вращала прялку, а королева считала число оборотов. Каждый оборот прялки соответствовал одному году царствования того или иного из ее сыновей. Когда затем появилось изображение Генриха IV, прялка сделала двадцать два оборота. Эта женщина (некоторые историки считают, что это был мужчина) сказала испуганной королеве, что Генрих Бурбон действительно будет царствовать во Франции и царствование его продлится именно столько лет. Едва только Екатерина узнала, что Беарнец взойдет на престол тогда, когда будет убит последний из Валуа, она воспылала к нему смертельной ненавистью. Когда королеве захотелось узнать, какою смертью умрет она сама, ей было сказано, что она должна остерегаться Сен-Жермена. С этого дня, думая, что ее или заключат в тюрьму замка Сен-Жермен, или убьют в этом замке, она ни разу туда не показывалась, несмотря на то, что замок этот был бы для нее в силу своей близости к Парижу во много раз удобнее, чем все другие, в которых она вместе с королем укрывалась во время смут. Когда через несколько дней после убийства герцога Гиза в Штатах Блуа она захворала, напутствовать ее пришел некий прелат. Она захотела узнать, как его зовут, ей ответили, что имя его Сен-Жермен.

— Значит, я умру! — воскликнула она.

На следующий день она умерла, прожив ровно столько лет, сколько ей было предсказано всеми ее гороскопами.

Эти предсказания, ставшие известными кардиналу Лотарингскому, который считал, что Екатерина занимается колдовством, теперь сбывались. Франциск II процарствовал только два оборота прялки, а Карл IX в это время завершал свой последний круг.

Вещие слова «Ты скоро вернешься!», сказанные Екатериной своему сыну Генриху, когда тот уезжал в Польшу, следует приписать ее вере в тайные науки, а отнюдь не ее намерению отравить Карла IX. Маргарита Французская была королевой Наварры, Елизавета — королевой Испании, герцог Анжуйский был королем Польши.

Было и немало других обстоятельств, которые укрепили веру Екатерины в оккультные науки. Накануне турнира, на котором Генрих II был смертельно ранен, Екатерина видела роковой удар во сне. Ее совет астрологов, состоявший из Нострадамуса и братьев Руджери, предсказал ей, что король должен умереть. Истории известно, что Екатерина несколько раз упрашивала Генриха II не принимать участия в турнире. Предсказание и навеянный этим предсказанием сон сбылись. Мемуары этого времени повествуют и еще об одном, не менее странном событии. Курьер, который вез известие о победе при Монконтуре, прибыл во дворец ночью после бешеной скачки, загнав при этом трех лошадей. Когда королеву-мать разбудили, она сказала: «Я это знала». И по словам Брантома, она действительно еще накануне рассказывала о победе своего сына и о некоторых обстоятельствах битвы. Астролог дома Бурбонов объявил, что младший из многих принцев, отпрысков святого Людовика, сын Антуана Бурбонского, станет королем Франции. Это предсказание, о котором свидетельствует Сюлли, также исполнилось в установленные гороскопом сроки. Как раз по поводу него Генрих IV сказал, что с помощью лжи астрологи наталкивались на правду. Что бы там ни было, если большинство здравомыслящих людей того времени верило кропотливой науке, которую ученые астрологи называли *магией*, а все прочие *колдовством*, то вере этой способствовали удачные предсказания гороскопов.

Именно для Козимо Руджери, своего математика, своего астронома, своего астролога и даже, если угодно, своего чародея, Екатерина воздвигла колонну, примыкающую к Хлебному рынку, единственное, что осталось от дворца Суассон. Подобно исповедникам, Козимо Руджери обладал каким-то таинственным влиянием на людей, и, подобно им, он находил в нем удовлетворение. К тому же он лелеял честолюбивую мечту, далеко превосходившую то, о чем обыкновенно мечтают честолюбцы. Этот человек, которого романисты и драматурги любят изображать каким-то фокусником, в действительности был владельцем богатого аббатства в Сен-Маэ, в Нижней Бретани, и в свое время отказался от высоких церковных должностей. Для осуществления его тайного замысла у него было достаточно золота: эпоха его была настолько суеверна, что оно лилось к нему отовсюду. В то же время покровительство королевы охраняло его от всякого зла, и ни один волос на его голове не мог упасть безнаказанно.

Властолюбие обуревало Екатерину. Желание обладать властью было в ней настолько сильно, что для того, чтобы захватить эту власть, она объединилась с Гизами, которые были врагами трона, а для того, чтобы удержать в своих руках бразды правления, воспользовалась всеми доступными ей средствами и пожертвовала не только своими друзьями, но и собственными детьми.

Подобно тому, как игрок живет только интересами игры, для этой женщины весь смысл жизни был в политических интригах. Несмотря на то, что она была итальянкой и принадлежала к страстному роду Медичи, даже кальвинисты, которые возвели на нее столько клеветы, не могли приписать ей ни одного любовника. Будучи поборницей девиза «Разделяй и властвуй», она в течение двенадцати лет училась непрерывно сталкивать одну враждебную ей силу с другой. Не успела она принять бразды правления, как ей пришлось поддерживать вражду двух домов, чтобы привести в равновесие силы обеих сторон и спасти престол. Эта необходимая тактика оправдала предсказание относительно Генриха II. Екатерина придумала эту игру в политические качели, которую потом переняли у нее все находившиеся в аналогичном положении государи, противопоставляя кальвинистов

Гизам, а Гизов — кальвинистам. После того как она столкнула две религии друг с другом в самом сердце страны, Екатерина начала противопоставлять герцога Анжуйского Карлу IX. Столкнув друг с другом враждебные стороны, она начала потом сталкивать между собою отдельных людей, держа в своих руках все нити интриг. Но в этой страшной игре, которая требует ума Людовика XI или Людовика XVIII, правитель неизбежно вызывает к себе ненависть всех партий, и эта ненависть обязывает его каждый раз непременно побеждать — ведь первое же проигранное сражение обращает всех против него самого, если, конечно, своими прежними победами он не успел уничтожить остальных игроков. Бо́льшая часть царствования Карла IX являла собою торжество семейной политики этой удивительной женщины. Сколько ей понадобилось ловкости, чтобы поручить командование армиями герцогу Анжуйскому при короле, который был молод, храбр, честолюбив, талантлив и великодушен, и при коннетабле Анне де Монморанси! Европейские политики считали, что герцогу Анжуйскому досталась вся слава Варфоломеевской ночи, в то время как весь ее ужас достался Карлу.

Внушив королю тайную ревность к Генриху, Екатерина воспользовалась этой страстью, стремясь сделать так, чтобы все большие способности Карла IX ушли на сплетение интриг, направленных против брата. Сипьер, первый наставник Карла IX, и Амио, его учитель, сделали из него такого примечательного человека, подготовили его к такому прекрасному царствованию, что королева возненавидела сына с первого же дня, когда она стала бояться потерять власть, доставшуюся ей с таким трудом. На основании этого большинство историков считает, что королева-мать оказывала известное предпочтение Генриху III, однако все тогдашнее поведение Екатерины не оставляет сомнений в ее полном равнодушии к своим детям. Когда герцог Анжуйский отправился царствовать в Польшу, она лишилась средства держать Карла IX в постоянном напряжении теми домашними интригами, которые все это время нейтрализовали его энергию и дава́ли выход обуревавшим его чувствам. Тогда Екатерина толкнула Ламоля и Коконна́ на заговор с участием герцога Алансонского, который по восшествии на престол

своего брата стал носить титул герцога Анжуйского и который всему этому легко поддался,— честолюбие его росло и поощрялось в нем его сестрою Маргаритой, королевой Наваррской. Этот заговор, который к тому времени сделался уже таким, каким его хотела видеть Екатерина, имел целью поставить молодого герцога и его шурина короля Наваррского во главе кальвинистов. Участники заговора собирались захватить Карла IX и держать в тюрьме этого короля, у которого не было сына-наследника,— корона неизбежно перешла бы тогда к герцогу Анжуйскому, стремившемуся насадить во Франции кальвинизм.

За несколько дней до смерти Кальвина его честолюбие было удовлетворено — в честь его Реформацию стали называть *кальвинизмом*. Если бы даже трудами Лелабурера и всех самых рассудительных авторов не было уже доказано, что Ламоль и Коконна, арестованные через пятьдесят дней после ночи, с которой начинается наш рассказ, и обезглавленные в апреле следующего года, явились жертвами политики королевы-матери, участие в этом деле Козимо Руджери не оставляет сомнений насчет того, что люди эти действовали по указке Екатерины. Этот человек, к которому король относился крайне подозрительно, ненавидя его по причинам, которые здесь будут в достаточной мере объяснены, вместе с остальными предстал перед судом. Он признался в том, что добыл для Ламоля восковую фигурку короля и двумя иглами проткнул ее в сердце. Такой способ *энвольтования* в ту эпоху считался преступлением, каравшимся смертью. В самом слове этом заключается одно из самых ярких выражений адской ненависти. К тому же оно отлично объясняет магнетическую операцию, которую производит в оккультном мире человеческая воля, непрестанно концентрирующаяся вокруг лица, приговоренного ею к смерти, операцию, за действием которой можно все время следить, имея перед глазами эту восковую фигурку. Правосудие того времени не без основания считало, что всякая материализация мысли есть посягательство на особу короля. Карл IX потребовал, чтобы флорентинца казнили. Екатерина, которая в то время пользовалась большою властью, с помощью советника Лекамю добилась от парламента смягчения приговора — астролог был

приговорен к каторжным работам. После смерти короля Козимо Руджери был помилован указом Генриха III, который возвратил ему доходы и позволил снова жить при дворе.

Екатерина в то время уже столько раз пронзала сердце своего сына, что он был полон нетерпения освободиться от ее ига. После отъезда Мари Туше Карл IX, не будучи ничем занят, принялся наблюдать за всем, что творилось вокруг него. Он с большой ловкостью расставлял ловушки людям, в которых был уверен, чтобы лишний раз убедиться в их преданности. Он внимательно следил за действиями своей матери и скрывал от нее свои собственные, пользуясь, для того, чтобы обмануть Екатерину, теми недостойными средствами, которые он перенял от нее же. Обуреваемый желанием как-то загладить ужасное впечатление, которое произвели во Франции события Варфоломеевской ночи, он энергично занимался делами, председательствовал в совете и пытался с помощью ряда хорошо продуманных действий захватить бразды правления в свои руки. Хотя королева всячески противостояла намерениям сына, использовав для этого всю силу своего материнского влияния и весь свой авторитет, подозрительность короля дошла до таких пределов, что о возврате к прежнему не могло быть и речи. В тот день, когда ему сообщили о словах, сказанных Екатериной королю Польши, Карл IX чувствовал себя настолько плохо, что предался самым мрачным мыслям, а когда подобные подозрения охватывают душу сына и к тому же еще короля, их уже невозможно развеять. И вот, когда он лежал на смертном одре, Екатерине пришлось прервать его последние слова, воскликнув: «Не говорите этого, сын мой!» Это было как раз в ту минуту, когда, поручая Генриху IV жену и дочь, он хотел предупредить короля Наваррского, чтобы тот не доверялся Екатерине. Несмотря на то, что Карл IX до этого неукоснительно соблюдал все внешние знаки почтения, в отношении которых его мать была до такой степени щепетильна, что никогда не называла ни одного из своих сыновей-королей иначе, чем «государь», в течение последних месяцев Екатерина заметила, что в обращении с нею сына сквозит плохо скрытая ирония, свидетельствующая о желании мстить.

Однако чтобы захватить Екатерину врасплох, требовалось много умения. Она держала наготове заговор герцога Алансонского и Ламоля, дабы возобновившееся соперничество с братом отвлекло Карла IX от стремления освободиться из-под ее опеки. Но прежде чем приступить к делу, она хотела рассеять ту подозрительность, при которой всякое примирение ее с сыном было бы невозможно: мог ли он оставить власть в руках матери, способной его отравить? На этот раз, почувствовав, какая серьезная опасность ей угрожает, она призвала к себе Строцци, своего родственника, человека исключительной энергии. Она устраивала тайные совещания с Бирагой и братьями Гонди, и никогда еще она не советовалась так часто во дворце Суассон со своим оракулом. Несмотря на то, что привычка к притворству, точно так же как и годы, надела на Екатерину эту маску аббатисы, сделав ее лицо высокомерным и аскетически-суровым, мертвенно-бледным и вместе с тем исполненным глубокой мысли, сдержанным и проницательным, столь запоминающимся тому, кто вглядывался в ее портрет,— придворные стали замечать на этом флорентинском зеркале какие-то тучи. Ни одна правительница не выглядела столь властной, как эта женщина, с того дня, когда после смерти Франциска II ей удалось обуздать Гизов. Ее головной убор из черного бархата — она до конца дней носила траур по Генриху II,— подобно монашескому капюшону, облегал ее властное и холодное лицо, которому она умела в случае надобности придавать все обаяние итальянки. Она была так хорошо сложена, что ввела для женщин особую посадку на лошади, при которой видны были ноги: достаточно сказать, что она была обладательницей красивейших в мире ног. Европа издавна следовала во всем французским модам, и женщины всех европейских стран стали ездить на лошади *с подножкой.* Достаточно представить себе ее высокую фигуру, чтобы видеть, как величественно выглядел в эту минуту весь зал. Эти две королевы, столь отличные друг от друга по духу, по красоте, по одежде и, пожалуй, уже находившиеся в ссоре между собой (одна— простодушная и задумчивая, другая — задумчивая и серьезная, как будто отрешенная от всего), в этот вечер были слишком заняты своими мыслями, чтобы дать

придворным тот сигнал к началу веселья, которого те ждали.

Глубоко скрытая ото всех драма, которая уже в течение полугода разыгрывалась между матерью и сыном, была угадана кое-кем из придворных. Но особенно пристально за ней следили итальянцы, ибо они знали, что всем им придется плохо, если Екатерина проиграет игру.

Вполне понятно, что сейчас, когда стало очевидно, что мать и сын стараются всеми средствами обмануть друг друга, взгляды всех присутствующих обращались в сторону короля. В этот вечер Карлу IX, утомленному продолжительной охотой и какими-то серьезными занятиями, которые он скрывал ото всех, можно было на вид дать сорок лет. Он был уже совершенно изъеден болезнью, от которой и умер и которая дала потом некоторым важным лицам повод думать, что его отравили. Де Ту, этот Тацит династии Валуа, пишет, что хирурги обнаружили на теле Карла IX какие-то подозрительные пятна (ex causa incognita reperti livores). Похороны этого государя прошли еще более незаметно, чем похороны Франциска II. Из Сен-Лазара в Сен-Дени тело короля провожали только Брантом и несколько стрелков королевской гвардии, которыми командовал граф фон Солерн. Это обстоятельство, точно так же, как и ненависть к сыну, которая, по мнению де Ту, снедала тогда королеву-мать, может служить подтверждением ее виновности. Оно, во всяком случае, подтверждает высказанное здесь мнение о том, что Екатерина не любила своих детей. Черствость ее объясняется не чем иным, как верою в астрологические предсказания: эта женщина не могла быть заинтересована в тех орудиях, которые ей изменят, Генрих III был последним королем, над которым она властвовала — вот и все. В настоящее время можно смело утверждать, что Карл IX умер естественной смертью. Его излишества, его образ жизни, слишком быстрое развитие, его отчаянные попытки захватить бразды правления в свои руки, его жажда жить, его крайнее переутомление, его последние страдания и последние наслаждения — всего этого достаточно, чтобы доказать людям непредубежденным, что король умер от болезни груди, недуга, который в те времена врачи еще не умели распознавать и недостаточно изучили и симптомы которого были таковы,

что могли заставить самого Карла IX думать, что его отравили. Но в действительности тем ядом, которым его отравила мать, явились роковые советы приставленных к нему придворных; под влиянием их наущений он растратил все свои физические и нравственные силы; это и послужило причиной его болезни, приобретенной и никак не врожденной. В этот период его жизни больше, чем когда-либо, Карла IX отличала какая-то мрачная торжественность, которая, пожалуй, даже украшает королей. Величие его тайных мыслей отражалось на его лице, итальянским цветом которого он походил на мать. Эта бледность цвета слоновой кости, такая прекрасная при свете свечей, так хорошо сочетающаяся с грустью, резко контрастировала с его иссиня-черными, горящими, как уголь, глазами.

Глаза эти были окаймлены тяжелыми веками, и взгляд их приобретал от этого особую проницательность и остроту, которые в нашем воображении неотъемлемо связаны с королевским взглядом, а темный цвет этих глаз как бы помогал скрывать мысли. Глаза эти казались особенно страшными благодаря высоко поднятым бровям, гармонировавшим с его открытым лбом, бровям, которые он мог поднимать и опускать по желанию. Нос у него был широкий и длинный, утолщенный на конце, совсем как у льва; уши большие, волосы белокурые с рыжеватым оттенком, алый, как у чахоточного, рот. Изгиб его тонкой верхней губы выражал скрытую иронию, а довольно полная нижняя губа позволяла поверить в его душевную доброту. Морщины, бороздившие этот лоб, лоб человека, чья молодость была отравлена мучительными заботами, обладали какой-то притягательной силой. Иные из них запечатлелись на нем после бесплодных злодеяний Варфоломеевской ночи, на которые его коварно принудили согласиться,— это были следы угрызений совести. Но на лице его были еще две морщины, которые рассказали бы очень многое ученому, чей особый талант позволил бы распознать их значение с точки зрения современной физиологической науки.

Каждая из этих двух морщин переходила в глубокую борозду, начинавшуюся у скулы и кончавшуюся в углу рта, свидетельствуя об усилиях воли человека, переутомленного работой мысли и наслаждениями плоти.

Карл IX был изнурен. Королева-мать, видя плоды своих трудов, должна была бы испытывать раскаяние, если только политика вообще не сводит на нет это чувство у людей, которым выпадает на долю носить багряницу. Может быть, если бы Екатерина знала, какое действие окажут все ее интриги на сына, она бы отказалась от своих замыслов.

Какое ужасное зрелище! Этот король, столь крепкий по натуре, совсем ослабел, его могучий дух был сломлен подозрительностью: этот человек, несший бремя власти, чувствовал себя лишенным опоры, этот твердый характер потерял веру в себя. Его храбрость постепенно превращалась в свирепость, скрытность — в притворство. Нежная любовь, столь свойственная роду Валуа, уступала место ненасытному вожделению. Этот незаурядный человек, никем не признанный, совращенный с пути, раньше времени истрепавший свою многоликую душу, правитель без власти, рыцарь без друзей, весь раздираемый противоречивыми чувствами, производил тяжелое впечатление. В двадцать четыре года разочарованный, презирающий все на свете, он готов был все поставить на карту, даже жизнь. Совсем недавно он понял свое назначение, убедился в том, какой он располагает властью, какими средствами, и увидел, как его мать мешает ему умиротворить страну, воздвигая всяческие преграды. Но разум его был подобен свече, горящей в разбитом фонаре.

Два человека, которых король любил до такой степени, что одного из них он спас от Варфоломеевской ночи, а к другому ходил обедать как раз тогда, когда врачи сочли его отравителем короля, его первый врач Жан Шаплен и его хирург Амбруаз Паре, вызванные Екатериной и поспешно прибывшие сюда из провинции, находились при нем в этот поздний час. Оба они озабоченно глядели на короля, кое-кто из придворных о чем-то их спрашивал. Однако оба врача, отвечая на вопросы, тщательно взвешивали каждое слово и не оглашали своего приговора. Время от времени король приподнимал свои отяжелевшие веки и, стараясь быть незамеченным своими придворными, взглядывал на королеву. Но вдруг он быстро поднялся и подошел к камину.

— Господин Киверни,— спросил он,— почему вас до

сих пор именуют канцлером Анжуйским и Польским? Кому же вы служите? Нам или нашему брату?

— Я предан вам, государь,— сказал Киверни и поклонился.

— Приходите ко мне завтра, я хочу вас отправить в Испанию. При мадридском дворе творится что-то странное, господа.

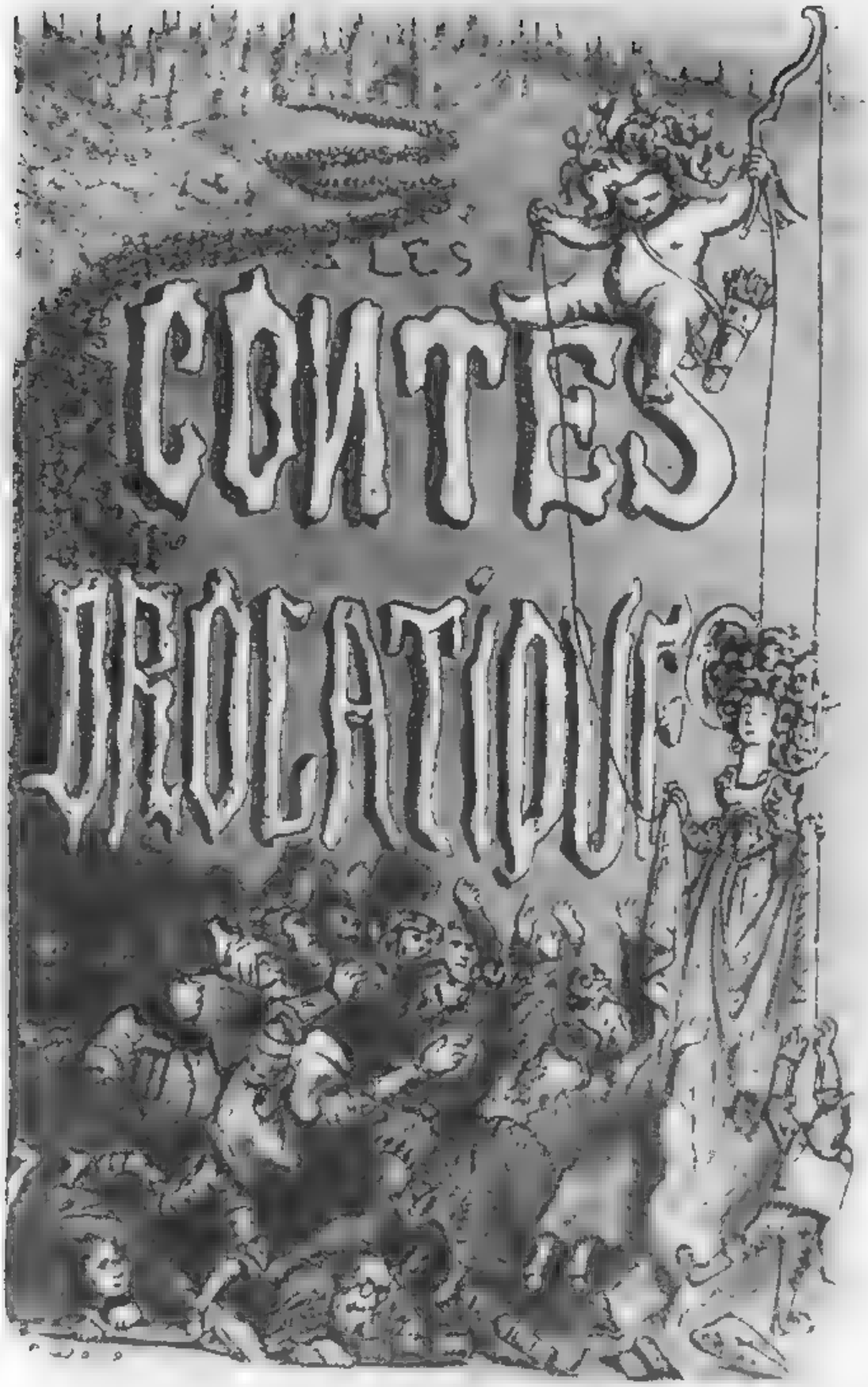
Король поглядел на жену и откинулся в кресло.

— Странные вещи творятся всюду,— тихо сказал маршал де Таванн, один из фаворитов его юности.

Король поднялся, чтобы увести приятеля своих детских игр в амбразуру окна в углу зала, и сказал ему:

— Ты мне нужен, подожди, пока все уйдут. Я хочу узнать, за меня ты или против меня. Нечего удивляться. Я не хочу больше быть на поводу. Все зло здесь идет от моей матери. Через три месяца я либо умру, либо стану настоящим королем! Только заклинаю тебя, молчи! Тайну эту знаешь ты, Солерн и Вилльруа. Выболтать ее может только один из вас трех. Не оставайся долго около меня, поухаживай за моей матерью, скажи ей, что я умираю и что ты меня жалеешь потому, что я никуда не годный государь.

Карл IX прогуливался взад и вперед, опираясь на плечо своего бывшего фаворита и делая вид, что разговаривает с ним о своих болезнях, чтобы этим обмануть любопытных. Потом, боясь, что его холодность станет слишком заметной, он подошел поговорить с обеими королевами и подозвал Бирагу. В это мгновение Пинар, один из государственных секретарей, появился в двери и, проскользнув, как угорь, вдоль стен, незаметно подкрался к Екатерине. Он что-то шепнул на ухо королеве-матери, и та ответила ему кивком головы. Король не стал ее спрашивать, что̀ это означало; он снова уселся в кресло и, бросив на всех придворных взгляд, исполненный ревности и гнева, погрузился в молчание. Этому маленькому происшествию было придано большое значение. Приказ, отданный без ведома короля, стал последней каплей, переполнившей стакан с водою. Королева Елизавета и графиня Фьеско удалились, и король этого даже не заметил. Но королева-мать проводила свою невестку до самой двери. Несмотря на то, что разлад между матерью и сыном пробуждал во всех огромный интерес к



Фронтиспис к «Озорным рассказам»
Париж, изд. Гарнье, 1881.

«КРАСАВИЦА ИМПЕРИА»

каждому их жесту и взгляду, к каждой позе Екатерины и Карла IX,— увидав, как они оба холодны и спокойны, все придворные поняли, что присутствие их излишне. Вслед за молодой королевой они покинули зал. В десять часов там оставались только приближенные короля и королевы: оба Гонди, Таванн, граф фон Солерн, Бирага и королева-мать.

Король был в самом мрачном расположении духа. Молчание его всех утомляло. Екатерина, казалось, была этим смущена; она хотела уйти и ждала, что сын ее проводит, но король все не выходил из своей задумчивости. Тогда она встала, чтобы проститься с ним. Карл IX был вынужден встать. Она взяла его под руку и, пройдя с ним несколько шагов, улучила минуту, чтобы шепнуть ему на ухо:

— Государь, я должна сообщить вам нечто важное.

Перед тем как уйти, королева-мать подмигнула Гонди, и тот увидел в зеркале этот знак, ускользнувший от взгляда ее сына, который в эту минуту сам перемигивался с графом Солерном и Виллруа. Таванн погрузился в раздумье.

— Ваше величество,— сказал маршал де Ретц, выходя из своего забытья,— я вижу, что вам нестерпимо скучно: вы, должно быть, больше не развлекаетесь? Боже мой! Где же то время, когда мы вечерами бродили по улицам?

— Да, это были хорошие времена,— сказал король и вздохнул.

— Почему бы вам не погулять и теперь? — предложил Бирага, уходя и переглядываясь с обоими Гонди.

— Я всегда вспоминаю с удовольствием эти дни! — воскликнул маршал де Ретц.

— Да, для вас это самое подходящее дело — лазать по крышам, господин маршал,— сказал Таванн.— Проклятый итальянский кот, хоть бы ты сломал себе шею! — добавил он на ухо королю.

— Я не знаю, легче ли мне или одному из вас перескочить через улицу или двор. Но зато я знаю, что ни вы, ни я не боимся смерти,— ответил герцог де Ретц.

— Что ж, государь, пойдемте-ка пошататься по городу, как в дни вашей молодости! — сказал гардеробмейстер короля.

Так вот, в свои двадцать четыре года этот несчастный король никому больше не казался молодым, даже своим льстецам. Таванн и король, как настоящие школьные товарищи, стали вспоминать свои веселые прогулки по Парижу, и компания быстро собралась. Обоих итальянцев вызвали на то, чтобы перепрыгивать с крыши на крышу с одной стороны улицы на другую, и они бились об заклад, что не отстанут от короля. Все они переоделись забулдыгами. Граф Солерн, оставшись наедине с королем, изумленно на него посмотрел. Этот добрый немец угадывал, в каком положении находился король Франции, и сочувствовал ему, но хотя он и был воплощением порядочности и верности, сообразительностью он не отличался. Окруженный враждебными ему людьми, не решаясь никому довериться, даже жене, ибо та несколько раз вела себя неосторожно, не зная, что действия королевы-матери и ее приспешников направлены против короля, Карл IX был счастлив тем, что нашел в лице графа Солерна такую преданность, которая позволяла ему быть до конца откровенным. Таванн и Вилльруа знали тайные замыслы короля только наполовину. Граф Солерн был единственным человеком, которому Карл IX доверился целиком. К тому же граф был очень полезен своему повелителю тем, что у него было несколько осторожных и верных ему слуг, которые выполняли все его приказания. Он имел в своем распоряжении гвардейских стрелков и в течение последних дней подобрал людей, исключительно преданных королю, чтобы составить из них особую роту. Король все обдумал.

— Ну вот, Солерн,— сказал Карл IX,— нам ведь нужен был предлог, чтобы провести ночь в городе? У меня, правда, есть там госпожа де Бельвиль, но так будет лучше, а то моя мать может узнать обо всем, что касается Мари.

Граф Солерн, который должен был сопутствовать королю, попросил разрешения взять с собой на прогулку кое-кого из своих немцев, и король согласился. Около одиннадцати часов ночи развеселившийся король вместе с тремя придворными начал обходить квартал Сент-Оноре.

— Я застану врасплох мою милую,— сказал Карл IX Таванну, проходя по улице Отрюш.

II

ХИТРОСТЬ ПРОТИВ ХИТРОСТИ

Чтобы сцена эта стала понятной тем, кто не представляет себе топографии старого Парижа, надо рассказать, где находилась улица Отрюш. Во времена Генриха II здание Лувра окружали разные дома и целые кучи мусора. На месте того крыла, которое в наши дни выходит на Мост Искусств, тогда был сад. На месте колоннады были рвы и тот подъемный мост, на котором впоследствии был убит флорентинец маршал д'Анкр. В конце этого сада возвышались башни дворца Бурбонов, где жили принцы этого дома вплоть до того дня, когда коннетабль изменил королю.

Франциск I, не желая вмешиваться в тяжбу между своей матерью и коннетаблем Бурбонским, приказал секвестровать состояние коннетабля. Измена коннетабля положила конец этой тяжбе, оказавшейся для Франции столь роковой,— все богатства его были конфискованы. Замок этот, очень красиво расположенный на берегу реки, был разрушен только при Людовике XIV. Улица Отрюш начиналась от улицы Сент-Оноре, а кончалась зданием дворца Бурбонов на набережной. Эта улица, носившая на некоторых старых планах Парижа название Отриш, или Острюк, исчезла с планов города так же, как и многие другие. По-видимому, на месте теперешней улицы де Пули и были расположены тогда те дома, которые выходили на улицу Сент-Оноре. Относительно этимологии этого названия идут споры. Одни считают, что оно происходит от некоего дома Остриш (Osterrichen), названного так по имени собственников этого дома: молодая девушка из этой семьи в XIV веке была выдана замуж за одного французского сеньора. Другие утверждают, что на этом месте находился королевский птичник и что однажды все парижане сбежались туда поглазеть на страуса. Но так или иначе, эта извилистая улица была известна тем, что там находились дома некоторых принцев крови, расположившихся вокруг Лувра. Когда французские короли покинули предместье Сент-Антуан, где они жили в течение двух столетий под охраной Бастилии, и переселились в Лувр, многие из вельмож все еще продолжали жить в этих местах.

Симметрично с дворцом Бурбонов со стороны улицы Сент-Оноре был расположен Алансонский дворец. Являясь резиденцией графов, носивших это имя, и входя в состав апанажа, дворец этот принадлежал тогда четвертому сыну Генриха II, который впоследствии получил титул герцога Анжуйского и умер в царствование Генриха III, причинив своему брату-королю немало хлопот. После его смерти весь апанаж перешел королю, а вместе с ним и старый дворец, который вслед за тем был снесен.

В те времена дворец какого-нибудь принца являлся целой усадьбой, состоявшей из многочисленных построек. Чтобы представить себе, как выглядела такая усадьба, достаточно увидеть, какое пространство и сейчас еще занимает в Париже дворец Субиз в Марэ. В состав такой усадьбы входили различные здания, необходимые при той жизни на широкую ногу, которую вел ее владелец, жизни, которая кажется невероятной для многих наших современников, знающих, что за жалкое зрелище представляет из себя какой-нибудь принц в наши дни. Это были огромные конюшни, помещения для врачей, библиотекарей, хранителей печати, священников, казначеев, пажей, наемных служащих и челяди, состоящих при резиденции принца. Неподалеку от улицы Сент-Оноре в одном из садов усадьбы был хорошенький домик, построенный в 1520 году знаменитой герцогиней Алансонской, вокруг которого купцы впоследствии воздвигли свои особняки. В этом-то домике король и поселил Мари Туше. Хотя герцог Алансонский и замышлял тогда свергнуть брата, он не посмел ему в этом перечить.

Так как спуститься вниз по улице Сент-Оноре, которая, начиная с заставы Сержантов, становилась очень удобной для воров, нельзя было, не пройдя мимо домика любовницы короля, Карлу IX трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Ища случай потехи ради ограбить какого-нибудь запоздалого прохожего или побить стражника, король заглядывал во все этажи и во все освещенные закоулки, чтобы высматривать, где что творится, и подслушивать разговоры. Оказалось, однако, что его город, как бы назло ему, мирно спит. Но когда они подошли к дому, где жил известный придворный парфюмер Рене, и когда король увидел яркий свет в крайнем окне чердачного этажа, его вдруг осенила одна из тех

неожиданных мыслей, которым обычно предшествуют какие-то прежние наблюдения.

Этот парфюмер был на сильном подозрении. Говорили, что он с успехом залечивал богатых дядюшек, когда они сказывались больными. Придворные приписывали ему изобретение знаменитого *эликсира для получения наследств*, и его обвиняли в том, что он отравил Жанну д'Альбре, мать Генриха IV, которую, как рассказывает один из современников, невзирая на строгий приказ короля, *похоронили без вскрытия*. Уже целых два месяца король обдумывал, каким способом выведать тайны лаборатории Рене, где часто бывал Козимо Руджери. Король решил, что если только он что-либо заподозрит, он будет действовать самолично, не прибегая ни к помощи полиции, ни к суду, которые его мать может запугать или подкупить.

Несомненно, что в XVI веке, как и в предшествовавшие и последовавшие за ним годы, изготовление ядов достигло такой высоты, которой не знает наша современная химия. Историки это установили. Италия, эта колыбель всех наших наук, в ту пору открывала тайны природы и владела секретами, большинство которых утрачено ныне. В этом причина той славы, которая оставалась за Италией в течение двух последующих столетий. Писатели столько злоупотребляли этой славой, что чуть ли не каждый раз, когда в романах выводятся итальянцы, они представлены отравителями и убийцами. Коль скоро Италия умела в те времена производить незаметно действующие яды, о которых нам повествуют некоторые историки, следовало бы попросту признать за этой страною первенство в области токсикологии, как и во всех искусствах и науках, в которых она опередила Европу. Нельзя относить к Италии все преступления той эпохи: она просто служила страстям своего времени, совершенно так же, как она воздвигала великолепные здания, командовала армиями, писала чудесные фрески, пела романсы, любила королев, нравилась королям, устраивала празднества, давала балеты и управляла политикой. Во Флоренции это страшное искусство довели до такого совершенства, что был случай, когда в руках у женщины оказалось золотое лезвие, один конец которого был отравлен; разрезав им

персик, она съела одну его половину, а другой отравила бывшего с ней герцога. Смертельный яд через надушенные перчатки проникал в поры кожи. Букет живых роз умели отравить так, что понюхавший его умирал мгновенно. Говорят, что дон Хуан Австрийский был отравлен с помощью башмаков.

Можно себе представить, какое любопытство снедало короля Карла IX и как мрачны были одолевавшие его чувства: король горел нетерпением захватить Рене с поличным.

На углу улицы Арбр-Сек был старый высокий фонтан, по нему все эти знатные гуляки влезали на крышу дома, соседнего с домом Рене; Карл IX сказал своим спутникам, что хочет зайти в этот дом. Вместе с ними он принялся перебираться с крыши на крышу и, разбудив спящих горожан, перепугал их насмерть. Наши мнимые воры называли их разными забавными именами, подслушивали все, что творилось в каждой семье, а кое-где даже взламывали замки. Когда итальянцы увидели, что король и Таванн взобрались на крышу, маршал де Ретц, сказав, что он устал, сел отдохнуть; его брат остался возле него.

«Тем лучше»,— подумал король и с радостью расстался с обоими шпионами.

Таванн в душе посмеялся над флорентинцами, которые остались одни среди глубокой ночи в таком месте, где над головами их было небо и где услышать их могли только бродячие коты.

Итальянцы же, в свою очередь, воспользовались этим обстоятельством, дабы обменяться мыслями, возникшими под влиянием событий этого вечера, мыслями, которые они нигде в другом месте не высказали бы друг другу.

— Альберто,— сказал Карло Гонди брату,— король одержал верх над нашею королевой, и нам придется худо, если мы будем по-прежнему верны Екатерине. Если мы перейдем на сторону короля теперь, когда он ищет поддержки в борьбе с матерью и когда ему так нужны люди, нас потом не станут гнать, как зверей. Нас не тронут даже тогда, когда королеву-мать отправят в изгнание, посадят в тюрьму или казнят.

— С такими мыслями далеко не уйдешь, Карло,— ре-

шительно ответил ему маршал.— Ты хочешь стать по гроб верным королю, а ведь он долго не протянет, он совсем изможден. Козимо Руджери сказал, что жить ему осталось не больше года.

— Бывает, что, кабан, умирая, убивает охотника,— сказал Карло Гонди.— В этом заговоре герцога Алансонского, короля Наваррского и принца Конде, о котором так хлопочут Ламоль и Коконна, больше риска, чем пользы. Во-первых, король Наваррский, которого королева-мать собиралась захватить врасплох, стал остерегаться ее и не хочет во все это вмешиваться. Он хочет извлечь выгоду из этого заговора, ничего не ставя на карту. К тому же, сейчас все думают о том, чтобы посадить на престол герцога Алансонского, который собирается стать кальвинистом.

— Budelone![1] Неужели ты ничего не понимаешь? Этот заговор покажет нашей королеве, что́ гугеноты могут сделать с герцогом Алансонским и что́ король хочет сделать с гугенотами. Ведь король пытается сговориться с ними! Но для того, чтобы он промахнулся, Екатерина завтра же сообщит ему об этом заговоре. Это сведет на нет все его планы.

— Да! — воскликнул Карло Гонди.— Пользуясь нашими советами, она стала теперь сильнее, чем мы. Это хорошо.

— Хорошо для герцога Анжуйского, которому больше хочется царствовать во Франции, чем в Польше; я все ему расскажу.

— Значит, ты уезжаешь, Альберто?

— Да, завтра. Разве мне не было поручено сопровождать короля польского? Я застану его в Венеции; его величество там сейчас развлекается.

— Ты воплощенная осторожность.

— Che bestia![2] Клянусь тебе, что здесь при дворе нам не грозит ни малейшей опасности. Неужели ты думаешь, что иначе я бы уехал? Я бы остался возле нашей доброй повелительницы.

— Доброй! — повторил Карло Гонди.— Эта женщина не станет жалеть своих слуг, которые сделали все, что от них требовалось.

---

[1] Обжора! *(итал. ругат.)*

[2] Какой ты глупый! *(итал.)*

— O coglione![1] Ты хочешь стать солдатом, а боишься смерти. Каждое ремесло к чему-то обязывает, а у нас есть свои обязательства перед троном. Начав служить королям, без которых на земле не стало бы власти, королям, которые даруют нашим семьям покровительство, возвышение, богатство, мы должны питать к ним любовь, от которой возгорается пламенем сердце мученика, нам надо уметь пострадать за них. Когда они приносят нас в жертву своему величию, мы можем погибнуть, ибо мы умираем не только ради них, но и ради самих себя,— семьи наши не погибают. Ecco[2].

— Ты прав, Альберто, ты ведь получил старинное герцогство Ретц.

— Послушай,— сказал герцог де Ретц.— Королева возлагает большие надежды на искусство Руджери, чтобы помириться с сыном. Когда наш болван не захотел больше звать к себе Рене, эта хитрая бестия отлично поняла, что заподозрил ее сын. Но кто знает, что сейчас у короля на уме? Может быть, он просто еще не решил, какую казнь избрать для матери. Он ее ненавидит, ты понимаешь? Он о чем-то проговорился королеве, та разболтала все госпоже Фьеско, а Фьеско сообщила об этом королеве-матери. И вот теперь король скрывает свои планы даже от жены.

— Давно уже пора это сделать,— сказал Карло Гонди.

— Сделать что? — спросил маршал.

— Занять короля,— ответил Карло Гонди; хоть он и не пользовался таким доверием Екатерины, как его брат, он был, однако, не менее прозорлив.

— Карло, я помог тебе проложить дорогу в жизни,— многозначительно сказал Альберто Гонди,— но если ты хочешь стать герцогом, как я, будь так же, как и я, слепо предан нашей повелительнице. Она останется королевой, она здесь сильнее всех. Госпожа де Сов сделает все, что она захочет, а король Наваррский и герцог Алансонский сделают все, что захочет госпожа де Сов. Екатерина будет всегда вить из них веревки, как при этом короле, так и

---

[1] О дурак! *(итал.)*
[2] Вот что *(итал.)*.

при Генрихе III. Да будет угодно господу, чтобы он не был столь неблагодарным.

— Почему?

— Его мать слишком много для него делает.

— Чу, на улице Сент-Оноре какой-то шум! — воскликнул Карло Гонди.— Это у Рене закрывают дверь! Ты что, не слышишь, сколько там народу? Обоих Руджери арестовали.

— Ах! Diavolo![1] Вот что значит действовать осторожно! Король на этот раз не дал воли своим чувствам, как он это делал всегда. Только в какую тюрьму он их посадит? Нужно пойти посмотреть, что там творится.

Оба брата добрались до угла улицы Отрюш в ту минуту, когда король входил в дом своей любовницы. При свете факела, который держал привратник, они увидели Таванна и обоих Руджери.

— Скажите, Таванн,— воскликнул Карло Гонди, догоняя друга короля, который возвращался в Лувр,— что там такое случилось?

— Мы нашли тут целый синклит колдунов. Двоих мы арестовали. Это ваши друзья, и они смогут объяснить французским вельможам, каким путем вам, двум иностранцам, достались такие высокие должности,— сказал Таванн наполовину в шутку, наполовину серьезно.

— А что же король? — спросил Карло Гонди, делая вид, что недружелюбный тон Таванна нимало его не беспокоит.

— Он остается у своей возлюбленной.

— Мы достигли всего беззаветной преданностью нашим господам; это высокий и благородный путь, по которому идете и вы, мой дорогой герцог,— ответил маршал де Ретц.

Все трое шли молча. Едва только они расстались, найдя каждый своих людей, которые должны были проводить их домой, два каких-то человека неслышно проскользнули вдоль стен по улице Отрюш. Это были король и граф Солерн; они быстро вышли на берег Сены в том месте, где их ждала лодка с несколькими гребцами, подобранными Солерном. Несколько взмахов весла — и они достигли противоположного берега.

---

[1] Дьявол! *(итал.)*

— Моя мать еще не ложилась,—воскликнул король,— она нас заметит, мы неудачно выбрали это место для встречи!

— Она скорее всего подумает, что это какая-нибудь дуэль,— успокоил его Солерн.— На таком расстоянии нас все равно не узнать.

— Ничего, пускай она меня увидит,— воскликнул Карл IX,— сейчас я уже решился на все!

Король и его верный друг взбежали на горку и быстро пошли в сторону Пре-о-Клерк. Едва только граф Солерн, шедший впереди, дошел до этого места, как он наткнулся на стражника. Перекинувшись с графом несколькими словами, стражник вернулся к своим. Вскоре двое мужчин, которых, по тому почтению, с которым их везде встречали, можно было принять за принцев, покинули свой пост — а стояли они за какой-то плохонькой изгородью — и, подойдя к королю, преклонили пред ним колена. Но Карл IX поднял их, не дав им коснуться земли, и сказал им:

— Не надо никаких церемоний, здесь все мы дворяне.

К этим трем дворянам присоединился еще почтенного вида старец, которого можно было принять за Лопиталя, если бы не знать, что канцлер умер еще год тому назад. Все четверо шли быстро, стремясь скорее попасть в такое место, где разговор их не мог быть услышан, а Солерн следовал за ними на небольшом расстоянии, чтобы никого не подпускать к своему господину. Этот верный слуга короля держался очень настороженно, чего нельзя было сказать про самого короля, которому уже наскучила жизнь. Этот вельможа был, со стороны Карла IX, единственным свидетелем совещания, которое вскоре началось.

— Ваше величество,— сказал один из его участников, коннетабль де Монморанси,— лучший друг вашего отца, которому покойный государь поверял все свои тайны, вместе с маршалом Сент-Андре пришли к заключению, что королеву Екатерину надо было зашить в мешок и бросить в реку. Если бы мы это сделали, немало достойных людей осталось бы в живых.

— У меня и так на совести достаточно казней, сударь,— ответил король.

— Знайте, ваше величество,— сказал самый молодой из всех четырех,— находясь в изгнании, королева Екатерина всегда сумеет мутить воду; она найдет себе там союзников. Разве нам всем не следует бояться Гизов, которые уже девять лет как взлелеяли план создания Католической Лиги? Ведь ваше величество они в этот план не посвятили, а он угрожает трону. Союз этот придумала Испания, она все еще не оставила мысли уничтожить границу на Пиренеях. Ваше величество, кальвинизм спасет Францию, воздвигнет нравственный барьер между ней и нацией, которая мечтает о владычестве над миром. Поэтому, если королеву-мать отправят в изгнание, она станет опираться на Испанию и на Гизов.

— Господа,— сказал король,— знайте, что когда с вашей помощью будет установлен мир и спокойствие в стране, я сумею заставить всех меня бояться. Черт возьми, довольно подозрений! Пора наконец королю быть королем! Запомните, что в этом моя мать права, это касается вас так же, как и меня. Ваши богатства, ваши привилегии — все это связано с властью короля; если вы допустите, чтобы наша вера была попрана, те руки, которые сейчас вам послушны, протянутся к трону. Я больше не хочу воевать с идеями оружием, которым их нельзя поразить. Посмотрим, пойдет ли протестантство вперед, когда мы предоставим его самому себе. А главное, поглядим, против чего ополчится разум этих мятежников. Адмирал, царство ему небесное, не был моим врагом. Он клялся мне, что это будет только восстанием духа и что в мире земном страной по-прежнему будет править король, а подданные ему будут послушны. Господа, если это еще в вашей власти, подайте пример, помогите вашему государю успокоить бунтарей, которые мешают всем нам жить спокойно. Война лишит всех нас доходов и разорит Францию. Я так устал от всех этих смут, что если только это будет необходимо, я пожертвую моей матерью. Я пойду еще дальше, я оставлю подле себя равное число протестантов и католиков, а над ними повешу топор Людовика XI, чтобы права их сравнялись. Если Гизы замышляют создать свой Священный союз для того, чтобы посягать на корону, палач с них и начнет. Я понял, отчего мой народ несчастен, и я решил расправиться как следует с теми из вельмож, которые ведут страну к гибе-

ли. Мне дела нет до того, кто как думает; с этих пор я хочу, чтобы у меня были послушные подданные и чтобы они трудились на благо государству так, как я это прикажу. Господа, даю вам десять дней, чтобы договориться с вашими, перестать строить козни и возвратиться ко мне, вашему отцу. Если вы на это согласитесь, произойдут неожиданные перемены. Я найду себе маленьких людей, которые по одному моему слову ринутся на вельмож. Я последую примеру короля, который навел порядок в стране,— он сумел низвергнуть людей повыше вас, когда они стали ему помехой! Если мне не хватит солдат-католиков, я могу обратиться к моему брату — испанскому королю и с его помощью удержусь на престоле; наконец, если у меня не будет верного слуги, чтобы выполнять мою волю, он пришлет ко мне герцога Альбу.

— В таком случае, ваше величество, нам придется бросить на ваших испанцев немцев,— ответил один из собеседников.

— Кузен,— холодно заметил Карл IX,— я женат на Елизавете Австрийской, и с этой стороны ты можешь потерпеть неудачу. Только послушайся меня, будем лучше драться одни и не станем призывать иностранцев. Моя мать тебя ненавидит, а ты мне достаточно близкий человек, чтобы я мог сделать тебя своим секундантом на дуэли, которая у меня с ней состоится. Так вот, слушай. Ты настолько достоин уважения, что я предлагаю тебе должность коннетабля. Ты не способен к измене так, как другие.

Принц, к которому обращался Карл, крепко пожал ему руку и сказал:

— Черт с ними, забудем все старое, брат мой! Только знайте, государь, голова ничего не может одна, без хвоста, а хвост наш не так-то легко сдвинуть с места. Десяти дней нам мало, нужен по крайней мере месяц, чтобы договориться с нашими. Когда этот срок пройдет, хозяевами будем мы.

— Ну, хорошо, пусть это будет месяц. Единственным моим представителем будет Вилльруа; что бы кто ни говорил, верьте ему одному.

— Месяц,— повторили вместе все трое незнакомцев,— это как раз то, что нам надо.

— Господи,— сказал король,— нас здесь пятеро, пя-

теро благородных людей. Если будет измена, мы будем знать, откуда она.

Прощаясь с Карлом IX, все трое были очень почтительны и поцеловали ему руку. Когда король переехал на другой берег Сены, часы Лувра пробили четыре. Королева Екатерина все еще не ложилась.

— Моя мать все еще не спит,— сказал Карл графу Солерну.

— У нее, видно, тоже есть кузница,— сказал немец.

— Дорогой граф, что вы скажете о короле, который вынужден вступить в заговор? — с горечью сказал Карл IX, немного помолчав.

— Я вот думаю, ваше величество, что если бы вы мне позволили бросить эту женщину в реку, как говорил этот юнец, Франция скоро успокоилась бы.

— Как, граф, вы предлагаете мне матереубийство? И это после Варфоломеевской ночи? — сказал король.— Нет! Нет! Отправим ее в изгнание. Стоит ей только потерять власть, как у нее не будет ни слуг, ни сторонников.

— Ну, раз так, ваше величество,— ответил граф Солерн,— то прикажите мне сейчас же арестовать ее и вывезти из Франции. Иначе завтра она подчинит всех своей воле.

— Хорошо,— сказал король,— пойдемте в мою кузницу, там нас никто не услышит; притом я вовсе не хочу, чтобы моя мать могла догадаться об аресте Руджери. Зная, что я здесь, она ничего даже не заподозрит, а мы с вами обсудим, как лучше ее арестовать.

Войдя вместе с графом Солерном в низенькую комнату, где была устроена мастерская, король с улыбкой показывал своему спутнику на кузницу и на все свои инструменты.

— Вряд ли среди всех будущих королей Франции окажется еще один, которому придется по вкусу подобное ремесло. Но когда я стану полновластным королем, я не буду выковывать шпаги, я вложу их все в ножны.

— Ваше величество,— сказал граф Солерн,— усталость после игры в мяч, работа в этой кузнице, охота и, да позволено мне будет сказать, любовная страсть — все это кабриолеты, которые подсовывает вам дьявол, чтобы вы поскорее добрались до Сен-Дени.

— Солерн! — с горечью воскликнул король.— Если бы ты знал, как у меня горит сейчас сердце и все тело! Этого огня не потушить ничем. А ты уверен в гвардейцах, которые караулят обоих Руджери?

— Как в самом себе.

— Ну, хорошо, в течение дня я все решу. Подумай о том, как исполнить наше намерение; все мои последние приказы ты получишь в пять часов у госпожи Бельвилль.

Когда с первыми лучами зари огни мастерской побледнели, король, которого граф Солерн оставил там одного, услыхал, как кто-то открывает дверь, и увидел свою мать, появившуюся в предрассветных сумерках, словно привидение. Как он ни был нервен и впечатлителен, Карл IX даже не вздрогнул, хотя в такие минуты это видение должно было показаться особенно фантастическим и страшным.

— Государь,— сказала она,— вы себя убиваете.

— Я только помогаю сбыться предсказаниям гороскопа,— сказал король с горькой усмешкой.— Но вы ведь, матушка, тоже не спите по ночам, как и я?

— Да, мы оба сегодня бодрствовали, государь, но только с разными целями. Когда ты шел совещаться на открытом воздухе со своими злейшими врагами, втайне от твоей матери, взяв с собою разных Таваннов и Гонди, и притворялся, что отправился на ночную прогулку, я читала донесения с доказательствами страшного заговора, в котором участвует твой брат, герцог Алансонский, твой шурин, король Наваррский, принц Конде, половина всей нашей знати. Они хотят ни больше, ни меньше, как низложить тебя и захватить в плен. Они уже собрали пятьдесят тысяч отборных войск.

— Ах, вот как! — недоверчиво протянул король.

— Твой брат хочет стать гугенотом,— сказала королева.

— Мой брат переходит к гугенотам? — воскликнул Карл, раскаляя железо, которое он держал в руках.

— Да, герцог Алансонский, ставший гугенотом в душе, вскоре станет им и на деле. У твоей сестры, королевы Наваррской, не осталось почти никакого чувства к тебе. Она любит герцога Алансонского, она любит Бюсси, она любит также маленького Ламоля.

— Что у нее за сердце! — сказал король.

— Маленький Ламоль,— продолжала королева,— хочет выразти и решил, что ему это лучше всего удастся, если он поставит над Францией короля по своему выбору. Его тогда могут сделать коннетаблем.

— Проклятая Марго! — воскликнул король.— Вот что значит сделаться женою еретика!

— Все это было бы еще ничего. Но они в союзе с главою младшей ветви дома, которого ты вопреки моему желанию приблизил к престолу и которому хочется, чтобы вы все поубивали друг друга. Род Бурбонов враждует с родом Валуа, знайте это, государь! Представителей младшей ветви королевского дома следует всегда держать в крайней бедности: это ведь заговорщики от рождения. И просто глупо давать им оружие тогда, когда у них его нет, и позволять им брать его самим. Надо, чтобы никто из принцев младшей ветви не мог поднять голову; вот закон, которому должны следовать короли. Так поступают все азиатские султаны. Все доказательства сейчас у меня в кабинете, я просила тебя подняться туда еще вчера вечером. Но у тебя были другие планы. Если мы сейчас в течение месяца не наведем порядок, тебя ждет участь Карла Простоватого.

— В течение месяца! — воскликнул Карл, ошеломленный совпадением этого срока с тем, что этой же ночью просили принцы. «*Через месяц мы станем хозяевами*...» — подумал он, припоминая их слова.— А доказательства у вас есть, государыня? — спросил он громко.

— Они неопровержимы, мессир,— они идут от дочери моей Маргариты. Она испугалась возможных последствий этого заговора, и, несмотря на нежные чувства, которые она питала к твоему брату, герцогу Алансонскому, она на этот раз ближе к сердцу приняла интересы трона и всего дома Валуа. В награду за все она просит, чтобы мы пощадили Ламоля. Но, по-моему, это опасный негодяй, с которым надо разделаться, так же как и с графом де Коконна, приближенным твоего брата. Что же касается принца Конде, то этот мальчишка готов согласиться на все, только бы меня кинули в реку; может быть, он просто после свадьбы хочет отблагодарить меня за то, что я нашла ему такую хорошенькую жену. Это — серьезное обстоятельство, мессир. Ты говоришь о предсказаниях!.. Мне известно одно из них,

которое гласит, что трон Валуа перейдет к Бурбонам, и, если мы не примем мер, пророчество это осуществится. Не ополчайся только на сестру, она себя достойно вела в этом деле. Сын мой,— сказала Екатерина, помолчав и придав голосу выражение нежности,— существует немало злонамеренных сторонников Гизов. Они хотят посеять рознь между тобой и мной. А ведь наши интересы во всем совпадают, и таких, как мы, во всем государстве только двое! Подумай об этом. Я знаю, ты упрекаешь себя за Варфоломеевскую ночь, ты обвиняешь меня в том, что я толкнула тебя на эту расправу с гугенотами. Так знай, католичество должно служить связующим звеном между Испанией, Францией и Италией — тремя странами, которые, если только они будут умело следовать определенному тайному плану, могут объединиться со временем под началом дома Валуа. Не лишай себя этой возможности, не выпускай из рук те нити, которыми единая вера объединит все три государства. Почему бы дому Валуа и дому Медичи не использовать во имя собственной славы план Карла V, государя, которому не хватило на это разума? Отправим в Америку потомков Иоанны Безумной: они ведь туда стремятся. Став хозяевами во Флоренции и в Риме, Медичи сумеют подчинить тебе всю Италию. Они закрепят все твои привилегии договором о торговле и о союзе, признав твои сюзеренные права на земли Пьемонта, Милана и Неаполя. Вот, сын мой, те причины, которые заставили нас не на жизнь, а на смерть драться с гугенотами. Почему ты заставляешь нас все это повторять тебе снова и снова? Карл Великий совершил ошибку, двинувшись на Север. Да, сердце Франции — в Лионском заливе, а Испания и Италия — это ее две руки. И этими руками можно обнять Средиземное море, которое подобно корзине, куда падают сокровища Востока и откуда из-под носа Филиппа II их сейчас вытаскивают венецианцы. Если дружба с Медичи и твои законные права позволят тебе завладеть Италией, то, применив силу, ты сделаешь своей Испанию; впрочем, ты, может быть, даже унаследуешь ее корону. Надо в этом опередить честолюбивый Австрийский дом, которому гвельфы готовы были продать Италию и который и по сию пору еще мечтает об Испании. Не беда, что твоя жена происходит из этого дома,—

низвергни Австрию, задуши ее в своих объятиях. Австрийцы — враги Франции, это они ведь оказывают помощь реформатам. Не слушай людей, которые радуются нашей размолвке и которые мутят тебе голову, стараясь убедить, что в доме у тебя есть враг и что этот враг — я! Разве я препятствовала тебе иметь наследников? Почему у твоей любовницы родился сын, а у королевы — дочь? Почему у тебя нет сейчас троих сыновей, которые пресекли бы чаяния всех бесчисленных заговорщиков? Что я могу на это ответить? Разве герцог Алансонский вступил бы в заговор, если бы у тебя был сын?

Сказав это все, Екатерина вперила в Карла IX магнетический взгляд хищной птицы, которая нацелилась на свою жертву. Дочь Медичи была в эту минуту хороша своей ни с чем не сравнимой красотой: ее настоящие чувства сверкали на ее лице, где, как на лице игрока, увидевшего зеленый стол, возгорались сотни самых страстных желаний. Для Карла IX она в эту минуту перестала быть просто матерью: он увидел в ней мать армий и империй (mater castrorum), как ее тогда называли. Екатерина расправила крылья своего гения и смело воспарила в сферы высокой политики всех Медичи и Валуа, развертывая перед сыном головокружительные планы, которыми она в свое время напугала Генриха II. Планы эти, перешедшие потом от Медичи к Ришелье, так и остались лежать в кабинетах Бурбонов. Но Карл IX, видя, сколько мер предосторожности приняла его мать, втайне думал, что меры эти действительно необходимы, и не мог только решить, с какою целью она их принимала. Опустив глаза, он задумался. Слова эти, каковы бы они ни были, не могли рассеять его подозрений. Екатерина была поражена, увидав, как глубоко гнездится эта подозрительность в душе ее сына.

— Итак, сын мой, ты, видно, не понимаешь меня? Что мы значим оба, ты и я, перед лицом вечности королевского трона? Неужели ты думаешь, что у меня есть иные стремления, кроме тех, которые ставят себе целью господство над миром?

— Государыня, я пойду с вами в ваш кабинет. Надо действовать...

— Действовать! — воскликнула Екатерина.— Нет, пусть действуют они, а мы поймаем их с поличным, и тогда правосудие избавит тебя от всего. Бога ради, сын мой, сделай вид, что мы ничего не знаем!

Королева ушла. Король некоторое время оставался один. Он был глубоко удручен.

— «Кто же из них расставляет мне западни? — подумал он.— Ее ли это сторонники обманывают меня или те, другие? Deus! Discerne causam meam [1],— стал молиться он со слезами на глазах.— Как тяжко мне жить! Пусть это будет естественная смерть или насильственная, все равно какая, лучше она, чем эти мучительные терзания,— добавил он, ударив молотом по наковальне с такою силой, что своды Лувра задрожали.— Господи! — сказал он, выходя на воздух и глядя на небо.— Во имя твоей святой веры я сейчас борюсь, ниспошли же мне ясность твоего взгляда, дабы проникнуть в намерения моей матери, когда я буду допрашивать Руджери!

III

МАРИ ТУШЕ

Маленький домик на улице Отрюш, где жила г-жа де Бельвиль и куда Карл IX велел отвести своих пленников, был вторым домом от угла улицы Сент-Оноре. Выходившие на эту улицу ворота дома, к которым с обеих сторон примыкали два маленьких кирпичных павильона, имели очень скромный вид, хотя вообще-то в эту эпоху и ворота и все пристройки к ним сооружались очень затейливо. Эти простые ворота состояли из двух каменных пилястров, сложенных из граненых камней, и арки, украшенной статуей лежащей женщины с рогом изобилия в руках. В этих воротах с тяжелой железной оковкой на высоте человеческого роста был устроен глазок, через который можно было глядеть на улицу. В каждом из павильонов жило по привратнику. Верный своим причудам и в люб-

---

[1] Господи! Разреши мои сомнения *(лат.)*.

ви, король Карл требовал, чтобы привратник дежурил днем и ночью. При доме был маленький мощеный дворик в венецианском вкусе. В ту эпоху, когда кареты еще не были в употреблении, дамы обычно или ездили верхом, или пользовались носилками, и ни лошади, ни кареты не портили тогдашних великолепных дворов. Надо все время помнить об этом, чтобы понять, почему в то время улочки были так узки, а дворы так малы. Этим объясняются и еще некоторые особенности тогдашнего быта.

Дом, в котором было два этажа, был увенчан скульптурным фризом, на который опирались крыши в четыре ската; верхняя часть этой крыши представляла собою ровную площадку, на каждом из скатов были чердачные окна с замысловатыми, покрытыми арабесками надоконниками и косяками, созданными резцом большого художника. Каждое из трех окон второго этажа было точно так же разукрашено каменными узорами, рельефно выделявшимися на кирпичной стене. Двойной подъезд очень изящного вида, с верхней площадкой, украшенной восьмеричным узлом, вел к входной двери с косяками из граненого камня венецианской работы! Такие же украшения были в правом и левом окнах.

Сад, разбитый по моде того времени, пестревший множеством редких цветов, занимал сзади дома такое же пространство, как и двор. Стены дома были увиты виноградом. Посреди газона возвышалась серебристая сосна. Между этим газоном и цветочными клумбами были проложены извилистые аллеи; они вели в глубину сада, к маленькому боскету из подрезанных кустов тисса. Мозаика, украшавшая эти стены, выложенная разноцветными камнями, была, по правде говоря, довольно грубой, но тем не менее она привлекала взгляд богатством красок, гармонировавших с пестротою цветов вокруг. В домике этом было два прелестных лепных балкона, из которых один выходил в сад, а другой — во двор. Балконы эти были устроены прямо над дверью и служили украшением срединного окна. И с той и с другой стороны боковые украшения этого главного окна, выступая на несколько футов вперед, поднимались до самого фриза и образовывали небольшой павильон, по форме напо-

минавший фонарь. Подоконники всех других окон были инкрустированы драгоценным мрамором, вделанным в стену.

Несмотря на то, что во всем здесь чувствовался безупречный вкус, дом этот имел мрачный вид. В комнатах было темно: соседние дома и крыши Алансонского дворца бросали тень на двор и на сад. К тому же дом этот всегда бывал погружен в глубокую тишину. Но тишина и полумрак и эта отчужденность от всего живого приносили успокоение душе, которая могла здесь отдаваться какой-то одной мысли, как в монастыре, где предаются размышлениям, или в уединенном убежище, где любят.

Всякий поймет теперь, какою изысканностью отличалось внутреннее убранство этого дома, единственного уголка земли, где предпоследний Валуа мог кому-то изливать свою душу, высказывать свои горести, наслаждаться искусством и предаваться своему любимому занятию — поэзии, словом, освобождаться на время от самых тяжких забот, которые когда-либо выпадали на долю короля. Только там умели ценить величие его души и его храбрость, только там в течение нескольких быстро пролетавших месяцев, последних месяцев его жизни, он мог изведать радости отцовства, упиваясь своей любовью к сыну с тем исступлением, которое предчувствие близкой и страшной смерти накладывало на все его поступки.

На следующий день, уже около полудня, Мари была занята завершением своего туалета, которое происходило в молельне, служившей в те времена также и будуаром. Она поправляла свои прекрасные черные локоны, чтобы потом украсить их новым бархатным бантом, и внимательно разглядывала себя в зеркало.

«Скоро уже четыре. Этот нескончаемый совет наконец окончился,— думала она.— Жакоб вернулся из Лувра; там сейчас поднялся переполох из-за того, что было вызвано столько советников и что все это длилось так долго. Что же случилось? Уж не несчастье ли какое? Господи, знает ли он, как томится душа, когда приходится ждать понапрасну! Или, может быть, он уехал на охоту? Если он это время развлекался, все будет хорошо. Только бы увидеть его веселым, и я обо всем забуду».

Она провела рукою по платью, разглаживая какую-то крохотную складку и потом повернулась боком, чтобы посмотреть, как сидит на ней это платье. В эту минуту она вдруг увидела короля — он сидел на кушетке. Разостланные всюду ковры так заглушали шаги, что ему удалось прокрасться в комнату совсем неслышно.

— Как ты меня напугал! — сказала она, невольно вскрикнув от изумления, но сейчас же замолкла.

— Ты думала обо мне? — спросил король.

— А когда же я о тебе не думаю? — спросила она, садясь возле него.

Она сняла с него шляпу и плащ и запустила руки ему в волосы, как бы собираясь их расчесать. Карл покорно молчал. Изумленная Мари опустилась на колени, чтобы внимательнее разглядеть бледное лицо своего господина и короля, и увидела на нем следы крайней усталости и смертельной грусти; ей не раз приходилось уже рассеивать эту грусть, но таким, как в этот день, она его никогда не видала. Сдерживая набегающие слезы, она молчала, дабы опрометчивым словом не вызвать в нем еще новых, неведомых ей страданий. Она поступила так, как в этих случаях поступают нежные жены: она поцеловала этот лоб, изборожденный преждевременными морщинами, эти ввалившиеся щеки, пытаясь передать его озабоченной душе всю свежесть своей и успокоить его ласками, которые, однако, были бессильны. Приподнявшись немного, она нежно обняла своими тонкими руками голову короля и тихо прильнула лицом к его груди; видя, что он болен и чем-то расстроен, она выжидала удобной минуты, чтобы расспросить его обо всем.

— Милый мой Шарло, расскажи, наконец, твоей несчастной подруге, от каких мыслей хмурится твой лоб, отчего побледнели твои прекрасные алые губы?

— Если не считать Карла Великого,— ответил он глухим и слабым голосом,— все французские короли, носившие имя Карл, кончили плохо.

— Как? — удивилась Мари.— А Карл VIII?

— В расцвете лет,— ответил король,— этот несчастный король ударился головой о косяк двери в замке Амбуаз, внутренней отделкой которого он был тогда занят,

и умер в страшных страданиях. С его смертью корона перешла к нашему дому.

— Карл VII вернул себе королевство.

— Глупышка, в этом королевстве он умер,— король понизил голос,— от голода, боясь, что его отравит дофин, который перед этим уже умертвил красавицу Агнессу. Отец боялся сына. А сейчас вот сын боится матери!

— Почему ты столько копаешься в прошлом? — спросила она, думая об ужасной жизни Карла VI.

— А как же, моя милая? Не прибегая к услугам предсказателей, короли сами могут узнавать судьбу, которая их ждет: надо только заглянуть в историю. Сейчас вот я думаю о том, как мне избежать участи Карла Простоватого, который лишился короны и умер в тюрьме после семи лет плена.

— Карл V прогнал англичан! — сказала Мари с торжеством.

— Нет, не сам он, а Дюгеклен. Отравленный Карлом Наваррским, он влачил жалкие дни.

— А Карл IV? — спросила она.

— Тот три раза был женат, и у него так и не было детей, несмотря на всю мужественную красоту, которая отличала сыновей Филиппа Красивого. С окончанием его царствования прекратилась старшая ветвь дома Валуа, а младшие Валуа кончат так, как он; королева родила мне только одну дочь, она больше уже не забеременеет от меня, я умру, а ведь нет ничего хуже для государства, чем несовершеннолетний король. Да если бы у меня и родился наследник, кто знает, выжил бы он или нет. Карл — это несчастливое, роковое имя. Все счастье, которое это имя могло принести, целиком досталось на долю Карла Великого. Если бы мне снова довелось стать королем Франции, мне страшно было бы назвать себя Карлом X.

— А кто же посягает на твою корону?

— Мой брат, герцог Алансонский, в заговоре. Вокруг меня всюду одни только враги...

— Мессир,— сказала Мари, скорчив прелестную рожицу,— мне хотелось бы послушать что-нибудь повеселее.

— Любимая моя,— быстро оборвал ее король,—

никогда не называй меня мессиром, даже в шутку; этим ты напоминаешь мне мою мать. Говоря так, она на каждом шагу оскорбляет меня: мне кажется, что, произнося его, она лишает меня короны. Она говорит «сын мой» герцогу Анжуйскому, а ведь он король Польши.

— Государь,— сказала Мари, складывая руки как будто для молитвы,— на свете есть одно королевство, где вас обожают. Ваше величество наполняет его своей славой, своей силой; и в этом королевстве «мессир» означает: мой горячо любимый повелитель.— Она разомкнула объятия и кокетливо коснулась пальчиками сердца короля. Вся ее речь была так нежно *смодулирована* (слово, которое употребляли тогда, говоря о музыке любви), что Карл обнял Мари, поднял ее в неистовом порыве страсти, которые по временам охватывали его, посадил ее к себе на колени и прижался к ее лбу, на который ниспадали кокетливо уложенные локоны.

Мари решила, что сейчас наступил благоприятный момент, и отважилась несколько раз его поцеловать. Карл скорее перенес, чем принял эти поцелуи, но сам на них не ответил. Потом, между двумя поцелуями, она сказала:

— Если мои люди не обманывают меня, ты всю эту ночь прошатался по Парижу, как в те времена, когда ты был младшим в семье и вел разгульную жизнь. Разве не ты ударил стражника и ограбил нескольких честных горожан? Кто эти люди, которых сейчас сторожат в моем доме и которых ты считаешь такими тяжелыми преступниками, что даже запретил кому бы то ни было их видеть? Никогда еще ни одну девушку не охраняли так неусыпно, как стерегут сейчас этих людей,— им не дают ни хлеба, ни воды. Немцы из свиты Солерна никого и близко не подпускают к той комнате, куда ты их посадил. Что это все, в шутку или всерьез?

— Да, вчера вечером,— сказал король, выходя из состояния задумчивости,— я действительно пустился бегать по крышам вместе с Таванном и братьями Гонди; мне хотелось провести эту ночь с товарищами моих былых проказ, но ноги уже стали не те; мы не рискнули прыгать через улицы. Два раза мы, правда, все-таки перепрыгнули через дворик с одной крыши на другую. На

последнем дворе в двух шагах отсюда, когда мы перескочили на конек крыши и прижались к трубе, мы с Таванном решили, что с нас хватит. Каждый из нас, будь он один, вероятно, ни за что бы не прыгнул.

— Ручаюсь, что ты прыгал первый! (Король улыбнулся.) Я ведь знаю, почему ты себя не бережешь.

— О моя милая провидица!.. Съешь пес всех колдунов! Они меня всюду преследуют,— сказал король, снова становясь серьезным.

— Мое единственное колдовство — это любовь,— сказала Мари, улыбаясь.— Разве, начиная с того счастливого дня, когда ты меня полюбил, я не угадывала каждый раз твои мысли? А если ты позволишь мне сказать все, что я думаю, то знай: мысли, которые тревожат тебя сейчас, недостойны короля.

— А разве я король? — сказал Карл с горечью.

— Но ты ведь можешь стать им! А как сделал Карл VII, имя которого ты носишь? Он слушался своей возлюбленной, мессир, и он вернул себе королевство, захваченное тогда англичанами, так же как твое теперь захвачено реформатами. Последние твои действия начертали тебе путь, которым надо следовать. Уничтожь еретиков.

— Ты же не одобряла моего плана,— сказал Карл,— а теперь вдруг...

— Он уже осуществлен,— сказала Мари,— притом я держусь того же мнения, что и королева Екатерина: лучше было сделать все своими руками, чем поручать это Гизам.

— Карлу VII приходилось воевать всего-навсего с людьми, в то время как против меня ополчились идеи,— ответил король.— Человека можно убить, но слова убить нельзя. Император Карл V отказался бороться с ними; именно они довели до изнеможения его сына, дона Филиппа; все мы, короли, погибнем в этой борьбе. На кого мне опереться сейчас? Справа — стан католиков: оттуда мне угрожают Гизы; слева — кальвинисты: они никогда не простят мне убийства несчастного адмирала Колиньи, которого я называл отцом, и все августовское кровопролитие. К тому же они хотят уничтожить королевскую власть. И, наконец, прямо передо мной моя мать...

— Арестуй ее, царствуй один,— прошептала Мари на ухо королю.

— Вчера еще я собирался это сделать, а сегодня я уже не хочу. Тебе-то хорошо говорить об этом.

— Между дочерью аптекаря и дочерью врача расстояние не так уж велико,— сказала Мари Туше, которая любила пошутить над своим мнимым происхождением.

Король нахмурил брови.

— Не говори таких дерзостей, Мари. Екатерина Медичи — моя мать, и тебе следовало бы трепетать...

— А чего же ты боишься?

— Того, что меня отравят! — сказал, наконец, король в ярости.

— Бедное дитя мое! — воскликнула Мари, еле сдерживая слезы. Она увидела, что огромная внутренняя сила уживается в короле со слабостью духа, и это ее растрогало.

— Ах! Ты заставляешь меня ненавидеть королеву Екатерину,— сказала она,— а я считала ее такой доброй. Сейчас во всех ее добрых деяниях я вижу одно коварство. Иначе для чего бы ей быть такой ласковою со мной и вместе с тем причинять тебе столько горя? За время моей жизни в Дофине я много всего узнала о начале твоего царствования. Ты все от меня скрываешь, а ведь королева-мать — причина всех твоих бед.

— Почему? — озабоченно спросил король.

— Женщина, у которой душа и намерения чисты, использует хорошие стороны любимого человека, чтобы приобрести власть над ним. Но если женщина не хочет кому-то добра, она овладевает этим человеком, потакая его дурным наклонностям. А королева превратила многие твои достоинства в пороки и вместе с тем заставила тебя считать свои дурные качества добродетелями. Допустимо ли, чтобы так поступала родная мать? Стань же тираном, таким, каким был Людовик XI, сумей внушить к себе ужас. Последуй примеру дона Филиппа, прогони итальянцев, устрой охоту на Гизов и конфискуй все земли у кальвинистов. В этом одиночестве ты возвысишься и спасешь свою корону. Обстоятельства тому благоприятствуют. Брат твой в Польше.

— В политике мы оба с тобою дети,— с горечью ска-

вал Карл,— мы умеем только любить друг друга. Увы, моя милая, вчера я обо всем этом думал и многое хотел совершить. И что же! Это был карточный домик, и моя мать разрушила его одним дуновением. Когда глядишь на все эти вопросы издалека, они кажутся вершинами гор, очертания которых ясно рисуются в небе. И так легко сказать себе: я покончу с кальвинизмом, я призову к порядку Гизов, я порву связи с папской курией, я буду опираться только на мой народ, на горожан. Словом, издалека все кажется таким простым. Но стоит только начать подниматься в горы и приближаться к этим вершинам, как трудности осаждают тебя. Главари наваррской партии меньше всего пекутся о кальвинизме, а герцоги Гизы, эти закоренелые католики, пришли бы в отчаяние, если бы кальвинисты потерпели вдруг неудачу. Каждый прежде всего отстаивает свои интересы, и религиозные убеждения служат только ширмой ненасытному честолюбию. Партия Карла IX самая слабая из всех. Партия короля Наваррского, короля польского, герцога Алансонского, принцев Конде, герцогов Гизов, моей матери — все они объединяются одна с другой и оставляют меня без поддержки даже в моем совете. Среди всех этих враждующих начал моя мать оказалась сильнее всех, она только что доказала мне всю несостоятельность моих планов. Наши подданные издеваются над правосудием. Нам нужен топор Людовика XI, того самого короля, которого ты сейчас называла. Парламент не способен осудить ни Гизов, ни короля Наваррского, ни принцев Конде, ни моих братьев: он сочтет это разжиганием пожара в стране. Надо быть храбрым, чтобы начать убивать людей. Королю ничего другого и не остается делать, когда он окружен всеми этими наглецами, уничтожившими всякое правосудие. Но где же найти верных слуг? После того, как я утром побывал на совете, мне все опротивело: всюду одни измены, одна вражда. Я устал быть королем, я хочу только одного — умереть в покое.

И Карл IX снова погрузился в какую-то мрачную дремоту.

— Все опротивело! — с горечью повторила Мари Туше, боясь потревожить впавшего в глубокое оцепенение короля.

IV

РАССКАЗ КОРОЛЯ

Карл действительно пребывал в полной прострации и тела и духа: он от всего устал и во всем изверился. Горе его было необъятно, он перестал уже надеяться, что выйдет победителем из этой борьбы, а трудности росли с такой неимоверною быстротою, что способны были устрашить даже гения. Огромный душевный подъем, который был у короля несколько месяцев тому назад, повлек за собою столь же стремительный спад. К этому присоединился и очередной приступ болезни, которой он страдал. Приступ этот начался, едва только он покинул зал, где происходило заседание государственного совета. Мари увидела, что король был в эту минуту в таком состоянии, когда больно и неприятно все, вплоть до любви. Она стала перед ним на колени, уткнув голову в колени короля, погрузившего руку в ее волосы, и оба они застыли так, не проронив ни одного слова, не испустив ни единого вздоха. Карл IX погрузился в какую-то летаргию бессилия, а Мари вся оцепенела от отчаяния, которое охватывает любящую женщину, когда она видит ту грань, за которой кончается любовь. Оба они долго пребывали в глубочайшем молчании. Это был один из тех часов, когда любая мысль причиняет боль, когда тучи душевной бури затемняют все, даже самые светлые воспоминания. Мари готова была считать и себя виновницей этого ужасающего упадка сил. Она в страхе спрашивала себя: не могло ли быть так, что все безмерные радости любви, которые испытал с ней король, что вся его неистовая страсть, с которой у нее не было сил бороться, подорвали телесные и душевные силы Карла IX? Когда она подняла глаза, которые, как и все ее лицо, были в слезах, она увидела слезы на глазах и на совершенно бледных щеках короля. Это внутреннее единение, которое сопутствовало им всегда, даже в скорби, до такой степени растрогало Карла IX, что он вышел из своего оцепенения, как конь, боков которого коснулись шпоры. Он обнял Мари и, прежде чем она могла угадать его намерение, уложил ее на кушетку.

— Я не хочу больше быть королем,— сказал он,— я хочу только быть твоим любовником, чтобы, наслаж-

даясь, забывать обо всем на свете! Я хочу умереть счастливым, а не поглощенным государственными заботами.

Тон, которым были произнесены эти слова, и огонек, неожиданно загоревшийся в потухших глазах Карла IX, не только не понравились Мари, но причинили ей жестокую боль; в это мгновение она корила себя за свою любовь, считая ее одной из причин болезни, от которой теперь умирал король.

— Ты позабыл про твоих узников,— напомнила она ему, вскакивая с кушетки.

— А что мне сейчас эти люди? Пускай они убивают меня.

— Как, это убийцы? — вскричала Мари.

— Не беспокойся, дорогая, они в наших руках. Думай сейчас не о них, а обо мне. Или ты меня больше не любишь?

— Государь! — воскликнула она.

— Государь! — повторил Карл IX, и глаза у него загорелись,— так велика была ярость, вызванная этой несвоевременной почтительностью его возлюбленной.— Видно, ты заодно с моей матерью!

— Господи! — воскликнула Мари, взглянув на изображение мадонны и пытаясь стать на колени и прочесть молитву.— Помоги ему меня понять!

— Вот как! — мрачно сказал король.— Тебе, значит, есть в чем каяться? — Потом, сжимая ее в своих объятиях, он стал медленно вглядываться в глаза своей любовницы.— Мне рассказывали, что один из д'Антрагов без ума от тебя,— сказал он рассеянно,— и что с тех пор, как капитан Бальзак, который им приходится дедом, женился в Милане на одной из Висконти, эти негодяи не сомневаются в своем успехе.

Мари так гордо посмотрела на короля, что ему стало стыдно. В эту минуту послышался плач маленького Карла Валуа, который, очевидно, только что проснулся и которого кормилица принесла в соседнюю комнату.

— Входи же сюда, бургундка! — крикнула Мари, беря ребенка из ее рук и поднося его к королю.— Ты еще больше дитя, чем он,—сказала она, наполовину еще гневно, наполовину уже успокоившись.

— Какой он красавец! — сказал Карл IX, беря сына на руки.

— Я одна только знаю, как он на тебя похож,— сказала Мари,— у него уже и сейчас твои манеры, твоя улыбка...

— У такого-то малютки? — улыбаясь, спросил король.

— Мужчины не хотят этому верить,— сказала Мари,— но только возьми его, Шарло, поиграй с ним, посмотри на него... Ну, разве я не права?

— А ведь правда!—воскликнул король, пораженный каким-то движением ребенка, которое, как ему показалось, в миниатюре повторило один из его привычных жестов.

— Мой милый крошка!—сказала мать.— Он никогда меня не покинет! Он никогда не причинит мне горя!

Король забавлялся с сыном, подбрасывал его на руках, осыпал его поцелуями, разговаривал с ним теми забавными непонятными для окружающих звукоподражательными словами, которые умеют придумывать матери и кормилицы. Голос его стал каким-то детским. Лоб его наконец прояснился, его печальное лицо засияло радостью. Когда Мари увидела, что ее любимый обо всем позабыл, она опустила голову ему на плечо и прошептала на ухо:

— Может быть, ты мне все-таки скажешь, милый Шарло, для чего тебе понадобилось держать этих убийц в моем доме? Что ты собираешься с ними делать? И чего это ради ты лазил по крышам? Надеюсь, здесь не замешана женщина?

— Ты все так же меня любишь! — сказал король, пораженный ясностью ее взгляда, одного из тех вопрошающих взглядов, которыми женщины так умеют пользоваться в нужную минуту.

— А ты в чем-то еще меня подозреваешь? — сказала она, и слезы заискрились в ее красивых глазах.

— В моих приключениях участвовали и женщины, но все это были колдуньи. Но на чем я остановился?

— Как ты оказался в двух шагах отсюда, на коньке крыши,— сказала Мари.— Только на какой это было улице?

— На улице Сент-Оноре, моя милая,—сказал король.

Он как будто успокоился и, собравшись с мыслями, решил рассказать своей любовнице о том, что должно было произойти у нее в доме.— Когда вчера вечером я отправился бродить по городу, мое внимание привлек яркий свет в окнах чердачного этажа того дома, где живет Рене, парфюмер и перчаточник моей матери, да и твой тоже, да и всего двора. Все, что творится в доме этого человека, внушало мне самые серьезные подозрения, и если я буду отравлен, то только ядом, приготовленным там.

— Больше никаких дел у меня с ним не будет,— сказала Мари.

— Ах, так, значит, у тебя с ним все еще были какие-то дела, после того как я с ним покончил! — воскликнул король.— Здесь была моя жизнь,— добавил он мрачно,— как видно, здесь мне уготована и смерть.

— Но послушай, милый, я же вернулась из Дофине с нашим дофином,— сказала она, улыбаясь,— и Рене ничего не поставлял мне после смерти королевы Наваррской... Так рассказывай дальше... Ты взобрался на крышу дома Рене?

— Да,— сказал король.— За одно мгновение я вместе с Таванном нашел место, откуда имел возможность, оставаясь незаметным, разглядеть всю эту дьявольскую кухню и увидеть там то, что заставило меня принять эти меры. Разве ты никогда не обращала внимания на чердачное помещение в доме этого проклятого флорентинца? Окна, выходящие на улицу, постоянно закрыты, кроме последнего, откуда видны дворец Суассон и башня, построенная моей матерью для ее астролога Козимо Руджери. На этом чердаке есть жилые комнаты и галерея, все окна которых выходят на двор. Поэтому, чтобы увидеть, что там творится, надо взобраться туда, куда ни один человек не полезет,— на самый верхний край стены, которая возвышается до уровня крыши дома Рене. Люди, которые устроили там свою кухню, где они цедят яды, считали, что все парижане — трусы и никто не залезет так высоко. Но они забыли, что есть на свете Карл Валуа. Я пробрался туда по желобу и смог заглянуть в одно из окон, прижавшись к косяку и обхватив рукою каменную обезьяну, украшение этого окна.

— И что же ты там увидел, любимый мой? — спросила Мари в испуге.

— Лабораторию, где изготовляются адские зелья. Первым, кто бросился мне там в глаза, был сидевший на стуле высокий старец с великолепной седой бородой, вроде той, что была у старика Лопиталя, и одетый, как тот, в черную бархатную мантию. Ярко пылавший светильник хорошо освещал его высокий, изборожденный глубокими морщинами лоб, венец седых волос, спокойное, сосредоточенное лицо, побледневшее от трудов и беспрерывных ночных бдений. Он внимательно читал старинный манускрипт, написанный на пергаменте, которому, должно быть, уже было несколько сот лет, и то и дело поглядывал на горевшие печи, где варилось какое-то страшное месиво. В этой лаборатории трудно было что-либо разглядеть — столько к потолку было подвешено чучел, столько всюду было скелетов, пучков сушеных трав и разложенных вдоль стен минералов и разных снадобий. В одном углу — книги, реторты, сундуки с различной колдовскою утварью и астрологическими таблицами, в другом—гороскопы, колбы, восковые фигуры для энвольтования и, может быть, яды, которыми он снабжает Рене, чтобы отблагодарить перчаточника моей матери за гостеприимство и покровительство. Уверяю тебя, и меня и Таванна этот колдовской арсенал просто ошеломил. Стоит только взглянуть на все это, и уже подпадаешь сам под власть бесовского наваждения. И если бы я не был королем Франции, я, наверное, бы струсил.

— Трепещи за нас обоих! — шепнул я Таванну.— Но Таванн не мог оторвать глаз от еще более загадочного зрелища. Возле старика лежала высокая девушка удивительной красоты, тонкая, как уж, белая, как горностай, бескровная, как покойница, недвижная, как изваяние. Может быть, девушку эту только что вырыли из могилы, и она была нужна старику для каких-то опытов — нам показалось, что она была завернута в саван. Глаза ее были устремлены в одну точку, она не дышала. Старик не обращал на нее никакого внимания. Я смотрел на него до того пристально, что мне казалось, что дух его вселяется в меня. Чем дольше я его разглядывал, тем больше восхищался его глазами. Взгляд их был та-

ким живым, таким глубоким, таким решительным, несмотря на столь преклонные годы. Очертания его рта выражали движение мыслей, порожденных, казалось, одной-единственной страстью, запечатлевшейся во множестве морщинок, испещрявших его лицо. Весь облик этого человека говорил о надежде, которую ничто не в силах поколебать, о воле, которую ничто не остановит. Сидел он не шевелясь, но какой-то трепет пробегал по всему его телу. Эти одухотворенные черты, как бы изваянные страстью, взявшей в руки резец скульптора, эта мысль, воплотившаяся в искании, научном или преступном, этот пытливый разум, погнавшийся за тайной природы, побежденный этой природой, но не сломленный тяжким бременем своего дерзания, верный ему до гроба, разум, угрожающий всему сущему тем самым огнем, который он зажег от него...— все это на какое-то время меня заворожило. Я увидел, что этот старик больше король, чем я, ибо его взгляд охватывает весь мир и этим миром владеет. Я решил, что больше не стану ковать мечи, я хочу воспарить над бездной, как этот старец. Его знания та же королевская власть, но только с незыблемою основой. Словом, я начал верить в оккультные науки.

— Как! Ты, старший в роде, ревнитель святой католической апостольской римской церкви? — спросила Мари.

— Да, я.

— Что же такое случилось? Продолжай. Хоть мне и страшно, будь ты храбр за меня!

— Взглянув на часы, старец поднялся,— продолжал король,— и вышел неизвестно каким путем, я только слышал, как открылось окно, выходящее на улицу Сент-Оноре. Вскоре блеснул свет, и тут я увидел, как на башне дворца Суассон вспыхнул ответный сигнал. Свет этот озарил башню, и там наверху я увидел Козимо Руджери.— Ах, у них все условлено между собой! — сказал я Таванну, которому все это показалось до чрезвычайности подозрительным; он согласился со мной, и мы решили захватить этих людей и немедленно же тщательно обыскать их чудовищную мастерскую. Но прежде чем их арестовать, нам хотелось увидеть до конца все, что произойдет. Через какие-нибудь четверть часа дверь ла-

Замок мессира Брюина

«НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ»

И сенешал Брюин, любуясь этой прелестнейшей девицей, ножки которой едва касались пола и которая резвилась в невинности своих семнадцати лет, подобно стрекозе, настраивающей свою скрипочку, почувствовал вдруг, как дряхлую плоть сводит судорога старческого неодолимого желания.

«НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ»

боратории открылась, и Козимо Руджери, ближайший советник моей матери, этот бездонный колодец, который поглощает все тайны двора, тот самый, кто помогает женщинам привораживать мужей и любовников, кто дает советы обманутым любовникам и мужьям, кто торгует будущим и прошедшим, получает деньги от всех, продает гороскопы и слывет всеведущим,— этот наполовину человек и наполовину дьявол вошел в дом и приветствовал старика словами: «Здравствуй, брат мой!» Он привел с собой горбатую беззубую старуху, согнутую и скрюченную, как колдунья из сказки, но с виду еще страшнее. Лицо у нее было сморщенное, как печеное яблоко; кожа желтая, как шафран; подбородок доставал до самого носа; рот ее был едва заметной, тонкой черточкой; глаза походили на черные бисеринки; лоб носил отпечаток какой-то горечи; волосы седыми прядями выбивались из-под чепца; шла она, опираясь на клюку; разумеется, это была ведьма. Мы оба с Таванном испугались. Ни он, ни я не хотели согласиться с тем, что это просто старуха: таких женщин господь еще не создавал. Она уселась на скамеечку возле красавицы-ужа, которая пленила Таванна. Ни тот, ни другой брат не обращали внимания ни на старуху, ни на девушку, которые составляли вместе страшную пару. Одна являла собой мертвую жизнь, другая — живую смерть.

— Мой милый поэт!—воскликнула Мари, целуя короля.

— Здравствуй, Козимо! — приветствовал брата старый алхимик. Оба посмотрели на печи.— Ну как сегодня луна? — спросил старик.

— Caro Lorenzo [1],— ответил ему астролог моей матери,— сентябрьские приливы и отливы еще не кончились, все спуталось, и узнать ничего нельзя.

— А какие вести прислал нам вчера *восток*?

— Он открыл,— ответил Козимо,— творящую силу в воздухе: сила эта возвращает земле все, что она оттуда берет; он сделал из этого тот же вывод, что все здесь постепенно меняется, но что все многообразие мира только формы одной и той же субстанции.

— Именно так думал мой предшественник,— ответил

---

[1] Милый Лоренцо *(итал.)*.

Лоренцо.—Сегодня утром Бернар де Палисси сказал мне, что металлы произошли в результате сжатия и что огонь, который все разделяет, точно так же все собирает в одно целое. Человек этот прозорлив.

Несмотря на то, что они никак не могли меня видеть, Козимо взял мертвую девушку за руку и сказал:— Возле нас кто-то есть! Кто же это? — спросил он.— Король! — ответила девушка. Я сразу же постучал в окно, Руджери растворил его, и я вместе с Таванном прыгнул прямо в эту адскую кухню. «Да, король,— сказал я флорентинцам, которые глядели на меня, охваченные ужасом.— Ни ваши печи, ни ваши колдуньи, ни вся ваша наука не предупредили вас о моем посещении. Я рад видеть знаменитого Лоренцо Руджери, о котором всегда с такой таинственностью говорит королева, моя мать,— сказал я старику, который встал и поклонился.— Только я ведь не давал вам разрешения находиться во Франции. Ради кого вы здесь трудитесь, вы, чьи отцы и дети хранили верность дому Медичи? Послушайте, к вам притекает столько денег, что, находясь на вашем месте, самый алчный человек давно бы уже насытился золотом. Вы слишком хитры, чтобы безрассудно пускаться на преступления, но вы же ведь не очертя голову кинулись сейчас в эту адскую стряпню? Значит, вас не прельщает ни золото, ни власть — у вас есть иные тайные замыслы? Кому вы служите? Богу или дьяволу? Что вы изготовляете здесь? Я хочу знать всю правду: помните, я человек, который поймет ее и сумеет сохранить втайне все ваши деяния, как бы преступны они ни были. Итак, вы без притворства должны рассказать мне все. Если же вы меня обманете, я поступлю с вами по всей строгости. Будь вы язычники или христиане, кальвинисты или магометане, даю вам мое слово короля, что вас беспрепятственно выпустят за пределы нашей страны, даже если за вами будут кое-какие грехи. Словом, даю вам на размышление весь остаток сегодняшней ночи и завтрашнее утро. Ибо вы сейчас мои пленники и вы последуете за мной в такое место, где вас будут стеречь, как стерегут сокровище.

Прежде чем повиноваться моему приказанию, флорентинцы многозначительно переглянулись; тогда Лоренцо Руджери сказал мне, что никакими пытками мне

у них не вырвать признания, ибо, несмотря на то, что физически они оба выглядят слабыми, ни страдание, ни чувства, присущие людям, не властны над ними. Только доверие может заставить их раскрыть свои тайны. Не приходилось удивляться, что в эту минуту они говорили, как с равным, с королем, который выше себя считал только бога: ведь от бога зависели также все их мысли. Поэтому они просили меня так же довериться им, как сами они доверятся мне. Прежде чем обещать мне, что они чистосердечно ответят на мои вопросы, они попросили меня вложить мою левую руку в руку молодой девушки, а правую — в руку старухи. Я не хотел давать им повод думать, что я боюсь колдовства, и повиновался. Лоренцо взял мою правую руку, Козимо — левую, и они оба вложили их в руки обеих женщин, так что я походил на Христа между двумя разбойниками. В то время как колдуньи рассматривали линии моих рук, Козимо подал мне зеркало и попросил поглядеть в него. Брат его стал говорить с молодой девушкой и старухой на каком-то незнакомом мне языке. Ни Таванн, ни я не могли уловить в его словах никакого смысла. Прежде чем привести их сюда, мы опечатали все двери этой лаборатории, и Таванн взялся сторожить ее до тех пор, пока по моему особому приказанию туда не прибудут специально вызванные для этого Бернар де Палисси и мой врач Шаплен; они должны тщательно осмотреть все зелья, которые там готовятся и хранятся. Для того, чтобы итальянцы не знали, что у них на кухне обыск, и чтобы они ни с кем не могли общаться — иначе они донесли бы обо всем моей матери,— я тайком привел этих дьяволов к тебе в дом, а охрану их поручил немцам Солерна, которые сто́ят самых крепких тюремных стен. Рене сидит под стражей у себя в комнате; его и обеих колдуний охраняет конюх Солерна. Вот что, моя милая, раз у меня теперь в руках эти ведуны каббалы, эти короли нищих, эти великие маги, эти богемские князья, эти повелители будущего, эти последователи всех знаменитых пророков, я хочу расспросить их о тебе, узнать твою душу; так или иначе, они скажут нам, что нас ждет!

— Для меня будет счастьем, если они сумеют показать тебе мою душу,— совершенно спокойно сказала Мари.

— Я знаю, почему колдуны тебе не страшны: ты ведь сама колдунья.

— Съешь персик! — сказала она и протянула ему чудесные плоды на вермелевом блюде.— Посмотри, какой виноград, какие груши! Я все это сама собирала в Венсене.

— Я буду есть, ибо если они ядовиты, то только от твоих рук, источающих чары любви.

— Тебе надо есть побольше фруктов, Карл: это освежит тебе кровь, которую ты иссушаешь своими безумствами.

— А может быть, мне надо меньше любить тебя?

— Может быть,— ответила она.— Если бы я знала, что тебе действительно что-то вредит — а это, должно быть, так,— я бы нашла в моей любви достаточно сил, чтобы отказать тебе в твоих желаниях. Я обожаю Карла еще больше, чем люблю короля, и я хочу, чтобы ты жил без тех мук, от которых человек становится задумчивым и мрачным.

— Королевская власть меня губит.

— Да,— сказала она.— Шурин твой, король Наваррский, только и знает, что бегает за юбками; у него нет ни гроша за душой; он владеет одним только жалким королевством в Испании, куда он теперь уже больше не покажется, да Беарном во Франции, которого ему едва хватает на жизнь. И все-таки, если бы ты был обыкновенным принцем, как он, я была бы счастлива, во много раз счастливее, чем если бы я в самом деле стала королевой Франции.

— Но разве ты не больше, чем королева? Для той король Карл существует только как правитель страны, ибо быть королевой — это всегда значит заниматься политикой.

Мари улыбнулась и, сделав прелестную гримаску, сказала:

— Все это знают, государь. А сонет ты для меня написал?

— Милая моя, стихи писать так же трудно, как издавать указы для того, чтобы рассеять смуту в стране. Я скоро закончу то, что я обещал тебе. Господи, как легко мне живется здесь у тебя, как мне не хочется уходить отсюда! Однако надо же идти допрашивать флорентин-

цев. Черт бы их всех не видал!.. Я ведь думал, что мне довольно хлопот и с одним Руджери, а вот их, оказывается, двое. Послушай, моя крошка, ты ведь совсем не глупа, из тебя бы вышел отличный судья, ты все умеешь угадывать.

— Государь мой, мы ведь всегда допускаем то, чего боимся, и возможное для нас часто становится непреложной истиной. Вот в двух словах вся наша хитрость.

— Хорошо! Так помоги же мне выпытать тайны у этих двух итальянцев. Все мои решения зависят сейчас от результатов этого допроса. Виновны они или нет? За их спиною стоит моя мать.

— Я слышу на лестнице голос Жакоба,— сказала Мари.

Жакоб был любимым камердинером короля и обычно сопровождал его во всех похождениях. Он пришел спросить, не желает ли его величество поговорить со своими пленниками.

Король кивнул ему головой, а хозяйка дома отдала все необходимые распоряжения.

— Жакоб,— сказала она,— выпроводи всех слуг из дома, оставь здесь только кормилицу и дофина Овернского. Сам оставайся внизу. Но сначала закрой все окна, задерни занавески в гостиной и зажги свечи.

Нетерпение короля было так велико, что, не дожидаясь, пока окончатся все эти приготовления, он уселся в кресло возле высокого белого мраморного камина, в котором пылал яркий огонь. Его прелестная возлюбленная поместилась рядом с ним. Над камином на месте зеркала висел портрет короля в красной бархатной раме. Карл IX уперся локтями в ручки кресла, чтобы ему было удобнее разглядывать флорентинцев.

Закрыв ставни и задернув занавески, Жакоб зажег свечи в высоких подсвечниках, или, точнее говоря, в высоких серебряных канделябрах художественной работы и поставил их на стол, за который должны были сесть оба флорентинца; им нетрудно было узнать в этих канделябрах творчество Бенвенуто Челлини, их соотечественника; при свете их богатое убранство этого зала, который Карл IX отделал по своему вкусу, ярко заблестело. Коричневато-красные ковры были сейчас еще эффектнее, чем при дневном освещении. Мебель из черного дерева,

очень тонкой работы, отражала колыхание свечей и пламя камина. Умеренно и умело положенная позолота блистала то тут, то там и оживляла коричневые тона, которые царили в этом жилище влюбленных.

V
АЛХИМИКИ

Жакоб постучал два раза и, получив разрешение войти, ввел в комнату обоих флорентинцев. Мари Туше сразу же поразил величественный облик Лоренцо, который приковывал к себе внимание не только сильных мира, но и людей заурядных. Лоб этого почтенного старца, с серебряной бородой, которая контрастировала с черной бархатной шубой, напоминал собою мраморный купол. Его строгое лицо с черными, пронзавшими вас насквозь глазами передавало весь трепет гения, вышедшего из глубокого одиночества и еще более могущественного от того, что общение с людьми не притупило его духовной силы. Его можно было сравнить с железным клинком, который еще ни разу не вынимали из ножен.

Козимо Руджери был одет так, как одевались при дворах той эпохи. Мари знаком дала понять королю, что тот ничего не преувеличил в своем рассказе, и поблагодарила его за то, что он показал ей этого необыкновенного человека.

— Я хотела бы видеть колдуний,— шепнула она на ухо королю.

Снова погруженный в раздумье, Карл IX ей ничего не ответил: он старательно стряхивал хлебные крошки, которые оставались у него на камзоле и на штанах.

— Ваша наука не имеет власти над небом. Она не может приказать солнцу не светить, господа флорентинцы,—сказал король, указывая на занавески, которые пришлось опустить, так как погода в Париже стояла пасмурная.— Совсем темно.

— Наши знания, государь, позволяют нам создавать небо по своему произволу,— сказал Лоренцо Руджери.— Для того, кто трудится в лаборатории при свете печей, погода всегда хороша.

— Это правда,— ответил король.— Так вот, отец

мой,— сказал он, называя его так, как он привык называть всех стариков,— расскажите мне обстоятельно о цели ваших трудов.

— А кто нам поручится, что нас потом не накажут?

— Король,— ответил Карл IX, любопытство которого было до крайности возбуждено.

Лоренцо Руджери как будто задумался. Тогда Карл воскликнул:

— Кто же станет вас наказывать? Мы здесь одни!

— Здесь король Франции? — спросил маститый старец.

Карл с минуту подумал, а потом ответил:

— Нет.

— И он не придет сюда? — спросил Лоренцо.

— Нет,— ответил Карл, подавляя порыв гнева.

Тогда старец придвинул стул и сел. Козимо, пораженный этой смелой выходкой, не решился последовать его примеру.

— Короля здесь нет,— сказал Карл IX с глубокой иронией в голосе.— Но здесь присутствует женщина, и следовало попросить ее позволения, прежде чем садиться.

— Сударыня,— сказал старец,— тот, кого вы видите перед собой, настолько же выше всех королей, насколько короли выше своих подданных, и, узнав, насколько велико мое могущество, вы убедитесь, что я с вами достаточно учтив.

Услыхав эти дерзновенные слова, произнесенные с итальянским акцентом, Карл и Мари переглянулись и посмотрели оба на Козимо, который не сводил глаз с брата. Казалось, он был озабочен тем, как тот выйдет из столь трудного положения.

В действительности же ни король, ни его юная любовница, которую старец старался заворожить своей смелостью, не могли увидеть тогда, до чего хитер был Лоренцо Руджери и с каким искусством он приступил к разговору. Единственным человеком, видевшим его насквозь, был его брат Козимо Руджери. Несмотря на то, что последний превосходил своим могуществом всех хитрейших царедворцев и даже покровительницу свою, Екатерину Медичи, астролог с большим почтением относился к брату, считая его своим учителем.

Пребывая все время в уединении, этот мудрый старец хорошо понимал государей. Он видел, что едва ли не все они измучены непрестанными поворотами политики, которые в ту эпоху были такими внезапными, такими бурными и такими непоправимыми. Он знал, как устали эти правители, как им опротивела власть. Не они ли увлекались у него на глазах всем, что ново, необычно и странно, не они ли с величайшей охотой устремлялись в область умозрения, чтобы избежать каждодневных столкновений с людьми и с событиями? Тем, кто исчерпал себя в политике, остается одно — область чистой мысли. Живой пример этому Карл V, отказавшийся от престола. Карл IX выковывал шпаги и слагал сонеты, чтобы отвлечься от высасывающих из него все соки государственных дел. Он царствовал в такое время, когда ход событий ставил под угрозу не только личность короля, но и существование трона: он принял на себя все тяготы власти и не ведал радостей, которые эта власть может дать. Поэтому та дерзость, которую себе позволил Лоренцо, пренебрегши его королевским достоинством, неожиданно вывела Карла IX из его оцепенения. Католическая религия подвергалась в то время таким нападкам, что непочтение к ней никого бы не удивило. Но потрясение основ всей христианской веры, на место которой ставилось поклонение какой-то таинственной силе, должно было несказанно поразить короля и отвлечь его от всех одолевавших его мучительных забот. К тому же сама победа над человеком была для Руджери намного важнее всего остального. От того, удастся ли им внушить свою идею королю, зависело их оправдание и свобода: просить о ней братья Руджери уже не могли — ее надо было добиться! Надо было сделать так, чтобы Карл IX забыл о своих подозрениях и погнался за какой-то новой идеей.

Оба итальянца отлично понимали, что в этой необыкновенной игре на карту поставлена их жизнь. Поэтому их гордые и в то же время смиренные взгляды, в ответ на подозрительные и настороженные взгляды Мари и короля, сами по себе уже являли замечательное зрелище.

— Государь,— сказал Лоренцо Руджери,— вы хотите узнать от меня истину, но, чтобы я мог показать вам

эту истину в ее чистом виде, мне надо, чтобы вы заглянули в тот условный колодец, в ту воображаемую бездну, откуда она должна явиться. Пусть дворянин, пусть поэт простит нам слова, которые первенец церкви счел бы за богохульство! Я не верю, что бог может вмешиваться в дела людей!..

Несмотря на то, что Карл IX твердо решил сохранить приличествующую королю невозмутимость, при этих словах он вздрогнул от удивления.

— Если бы я не был в этом убежден, я не мог бы верить в то чудесное дело, которому я себя посвятил. А чтобы довести его до конца, нужна вера в него, и если только допустить, что перст божий управляет всем миром, меня надо счесть безумцем. Пускай король знает все! Речь идет о победе, которую надо одержать над человеческой природой в ее теперешнем состоянии. Я алхимик. Только не думайте вместе с чернью, что я стремлюсь открыть способ добычи золота! Добыча золота для меня отнюдь не цель. Это только случайная находка среди всех исследований. Они ведь не напрасно называются п о и с к а м и ф и л о с о ф с к о г о к а м н я!

Философский камень — это нечто поважнее золота. Поэтому, если бы я допустил мысль о божественности материи, огонь моих печей, зажженный несколько столетий тому назад, завтра же погас бы. Но только поймите меня верно: отрицать вмешательство бога в нашу жизнь вовсе не значит отрицать самого бога. Все религии унижают бога, но они не в силах унизить его так, как мы возвышаем того, кто сотворил вселенную. Не обвиняйте в атеизме тех, кто добивается бессмертия. Подобно Люциферу, мы хотим сами быть такими, как бог. А разве это не свидетельствует о нашей любви к нему? Но, несмотря на то, что на этом учении основано все, что мы делаем, далеко не все алхимики исповедуют эту доктрину. Козимо, например,— сказал старик, показывая на своего брата,— человек благочестивый. Он заказывает мессы за упокой души нашего отца и молится сам. Астролог вашей матери верит в божественность Христа, непорочное зачатие, в пресуществление даров. Он верит, что папа может отпускать грехи, что есть преисподняя. Да мало ли всего, во что он верит!.. Его час еще не настал! У меня ведь составлен на него гороскоп: он

доживет до ста лет; он должен пережить еще два царствования, двух королей Франции, которые будут убиты...

— Кто же эти короли? — спросил Карл IX.

— Последний Валуа и первый Бурбон,— ответил Лоренцо.— Но Козимо изменит свои убеждения и примет мои. Можно ли быть алхимиком и католиком одновременно, верить и в деспотическую власть человека над миром и во всемогущество духа?

— Козимо доживет до ста лет? — переспросил король. Он нахмурил брови, и черты лица его опять исказились.

— Да, государь,— уверенно ответил Лоренцо,— он спокойно умрет в своей постели.

— Если вы способны предвидеть, какова будет ваша смерть, как же вы не знаете, к чему приведут ваши опыты? — спросил король.

Карл улыбнулся и с торжествующим видом посмотрел на Мари Туше.

Оба брата быстро переглянулись, глаза их засияли радостью.

«Он интересуется алхимией,— подумали они в эту минуту,— значит, мы спасены!»

— Наши предсказания основаны на существующих сейчас взаимоотношениях человека и природы; но речь идет как раз о том, чтобы в корне их изменить,— ответил Лоренцо.

Король задумался.

— Но если вы уверены, что умрете сами, то, значит, вы уверены в том, что вас постигнет неудача,— сказал Карл IX.

— Точно так же, как и наши предшественники! — ответил Лоренцо, подняв руку и многозначительно и торжественно ее опустив, как бы для того, чтобы подтвердить этим высоту своего духа.— Но в мыслях ваших вы забежали слишком далеко вперед, нам надо вернуться к тому, о чем мы только что говорили, государь. Когда вы узнаете, на какой почве строится наше здание, вы будете утверждать, что оно неминуемо рухнет и та наука, которой на протяжении столетий занимались величай-

шие из людей, будет для вас всего-навсего тем, чем она выглядит в глазах черни.

Король кивнул головой в знак согласия.

— Я утверждаю, что земля принадлежит человеку, который является ее господином и может использовать в своих целях все ее вещества и все ее силы. Человек отнюдь не изделие рук господних, а продукт некоей субстанции, разбросанной в безграничном эфире, где от нее рождаются мириады созданий, меняющихся в зависимости от того, какое небесное тело они населяют, ибо условия жизни на разных планетах неодинаковы. Да, государь, истоки того едва заметного движения, которое мы называем жизнью, лежат далеко за пределами видимого мира; различные существа приобщаются к ней в той или иной мере, в зависимости от условий, в которых они живут, и самые ничтожные из тварей точно так же участвуют в жизни, на свой страх и риск беря от нее все, что могут: они сами спасают себя от смерти. В этом суть всей алхимии. Если бы человек, совершеннейшее из всех животных земного шара, заключал в себе частицу божества, он не мог бы погибнуть — а он погибает. Чтобы разрешить это противоречие, Сократ и его школа придумали душу. Я, ученик стольких неведомых людям великих царей, усилиями которых развилась эта наука, я, поборник старинных учений и противник новых, я утверждаю, что материя переходит из одного состояния в другое, ибо это совершается на моих глазах, и я отрицаю немыслимое бессмертие души, ибо я его не вижу. Я не признаю невидимого мира. Если бы мир этот существовал, все вещества, так великолепно сочетающиеся в вашем теле, мессир, и делающие вас, сударыня, столь прекрасной, не подвергались бы после вашей смерти сублимации и не возвращались бы каждый в свое изначальное состояние: вода к воде, огонь к огню, металл к металлу, подобно тому, как вот этот уголь, когда он сгорит, теряет свои свойства и распадается на простейшие молекулы. Если вы утверждаете, что со смертью мы не уничтожаемся целиком, то знайте: это уже нечто другое, ибо все, что составляет наше настоящее «я», гибнет! А ведь я как раз стремлюсь к тому, чтобы существование этого настоящего «я» не было ограничено сроком нашей теперешней жизни. Я хочу, чтобы имен-

но эта земная жизнь длилась гораздо дольше. Как! Деревья живут столетия, а люди только десятки лет, а ведь деревья способны лишь воспринимать влияния извне, тогда как люди все время в действии, те недвижны и бессловесны, а эти умеют ходить и владеют даром речи! Ни одно творение не должно превосходить человека ни продолжительностью своей жизни, ни могуществом. Наши чувства уже расширили свои пределы, мы стали узнавать тайны небесных тел! Теперь мы должны продлить нашу жизнь! Жизнь важнее, чем любое могущество. На что нам власть, если нам не дано наслаждаться жизнью? Человек здравомыслящий должен не заботиться о какой-то другой жизни, а искать тайну нашего земного существования, чтобы всякий раз по желанию его удлинить! Именно это желание и довело меня до седин. Но я иду во мрак ночи, не зная страха, и веду за собою всех, кто разделяет мою веру. Рано или поздно мы обретем власть над жизнью.

— Но чем же вы этого достигнете? — воскликнул король, стремительно вскакивая с кресла.

— Первое условие нашей веры — это признать, что мир принадлежит человеку. Вам надлежит согласиться с этой посылкой,— сказал Лоренцо.

— Хорошо, пусть это так,— нетерпеливо ответил Карл Валуа, уже начиная подпадать под влияние старца.

— Так вот, государь, если мы исключим из этого мира бога, что нам тогда останется? Человек! Давайте же внимательно рассмотрим, чем нам предстоит заняться! Весь материальный мир состоит из стихий; каждая стихия содержит в себе некие простейшие начала. В основе каждого из этих начал лежит нечто единое, и оно наделено свойством, называемым движение. Всем созданиям присуща тройственность: Материя, Движение, Результат!

— Постойте, а чем же вы это докажете? — воскликнул король.

— А разве результаты вам не видны? — ответил Лоренцо.— Мы подвергли исследованию желудь, из которого вырастает дуб, и эмбрион, который постепенно становится человеком. В этой крохотной субстанции возникло целое начало, к которому присоединилась сила, за-

ставившая его прийти в движение. А раз никакого бога не существует, то каждому такому началу приходится последовательно творить для себя все формы, из которых состоит наш мир. Ибо жизнь протекает одинаково повсюду. Да, жизнь металлов подобна жизни живых существ, жизнь растений подобна жизни людей; жизнь начинается с невидимого для глаз зародыша, который развивается сам по себе. Существует некое простейшее начало! Надо добраться до него там, где оно действует на самого себя, там, где оно одно, где оно, еще не превратившись в живое существо, остается всего лишь началом, причиной, еще не ставшей следствием. В этом виде оно абсолютно, безлично, способно принять любую из тех форм, в которых мы ее зрим. Когда мы останемся один на один с этой атомной частицей и когда нам удастся уловить ее изначальное движение, мы познаем ее законы. С этой минуты мы властны выбирать для нее ту форму, которую нам захочется: в наши руки потечет золото, мы овладеем миром и продлим свою жизнь на долгие столетия для того, чтобы наслаждаться ею. Вот чего добиваюсь я и все мои единомышленники. Все наши силы, все наши мысли отданы этим поискам, ничто не способно отвлечь нас от них. Если бы мы хоть на час позволили себе отдаться какой-то иной страсти, мы этим обворовали бы себя и нанесли ущерб величию нашего дела! Так же, как у вас на охоте собака ни разу не забывала о звере, которого травят, и о туше, брошенной ей в награду, так ни один из моих терпеливых помощников ни разу не отвлекся от цели, соблазнившись женщиной или золотом. Если алхимику понадобятся деньги и могущество, то, знайте, этого потребовали наши нужды; он берет эти деньги, как мучимая жаждой собака лакает на бегу воду. Он делает это потому, что ему надо расплавить в своей печи алмаз или превратить слитки золота в порошок. У каждого есть свое дело! Один исследует тайны растительного царства, он исподволь следит за развитием растений, он примечает движение, общее различным видам, и одинаковые условия их питания. Он находит, что всюду, чтобы оплодотворить их и чтобы питать, необходимы солнце, вода и воздух. Другой изучает кровь животных, третий — законы всеобщего развития и связь их с движением небесных тел. Едва ли не все

упрямо пытаются обуздать неподатливую природу металлов, ибо, если все земное и состоит из различных элементов, металлы, даже в своих мельчайших частицах, сходны друг с другом. Вот почему у людей существует такое ошибочное представление о том, что мы делаем. Взгляните только на всех этих терпеливых тружеников, на этих неутомимых борцов, которых постоянно постигают неудачи и которые, однако же, снова и снова возвращаются на поле боя! Человечество, государь, следует за нами так, как у вас на охоте псарь следует за сворой собак. Оно взывает к нам: «Торопитесь! Не упускайте ничего! Жертвуйте всем, даже другими людьми, раз вы пожертвовали собой! Торопитесь! Снесите *смерти* голову и отрубите ей руки, ведь это враг!» Да, государь, нами движет сознание, что от этих усилий зависит счастье будущих поколений. Мы уже похоронили немало людей, и каких людей! Они погибли, гонясь за истиной. Мы вступили на эту стезю, а ведь, может быть, нам и не придется воспользоваться плодами наших трудов! Может быть, мы погибнем, так и не раскрыв этой тайны! А вы знаете, какая смерть ждет того, для кого не существует жизни за гробом! Наше мученичество овеяно славой, в сердцах наших эгоизм всего человеческого рода, мы живем во имя наших потомков. Попутно мы делаем открытия, которые становятся достоянием различных искусств и ремесел. Языки пламени, которые вырываются из наших печей, снабжают государства более совершенными орудиями. Из наших реторт вышел порох. Мы победим молнию. Наши терпеливые труды чреваты переворотами в политике.

— Возможно ли это? — воскликнул король, снова приподнявшись с места.

— Разумеется, да! — сказал великий магистр нового ордена тамплиеров.— Tradidit mundum disputationibus! [1]. Бог отдал мир в наши руки. Повторяю вам еще раз, поймите меня: человек здесь хозяин, и все земное принадлежит ему. Все силы, все средства в его распоряжении. Кем же мы сотворены? Движением. Какая сила поддерживает в нас жизнь? Движение. Почему же науке не овладеть им? Ничто не теряется, ничто не исчезает—

[1] Споры погубили мир! *(лат.)*

все остается на нашей планете. Иначе небесные тела упали бы друг на друга. Так и воды потопа остались все на земле, и ни одна капля их не утрачена. Вокруг нас, у нас над головами, у нас под ногами находятся те частицы, которые создало все бесчисленное множество людей, топтавших нашу землю до и после потопа. Что же нам надлежит сделать? Уловить ту силу, которая все разделяет? Нет, напротив, мы уловим ту, которая соединяет все воедино. Мы сами являемся результатом того, что совершается сейчас. Когда воды покрыли нашу планету, люди обрели необходимые условия для жизни в оболочке земли, в воздухе и в пище. Следовательно, начало всех перемен, претерпеваемых человеком, заложено в земле и в воздухе; перемены эти происходят у нас на глазах, и определяющие их условия точно так же доступны нашему наблюдению. Выходит, что мы можем овладеть этой тайной, не ограничиваясь в наших исследованиях одним человеком, а строя их на изучении жизни всего человечества. И вот мы сейчас единоборствуем с материей, в тайны которой я, великий магистр ордена, хочу проникнуть и верю, что мне это удастся. Христофор Колумб открыл королю Испании новый мир, а я хочу открыть королю Франции тайну самой жизни! Перешагнув границу, отделяющую нас от познания сути вещей, тщательно наблюдая атомы, я разрушаю формы, я расчленяю все их соединения, уподобляясь смерти, чтобы суметь потом воссоздать жизнь! Словом, я непрерывно стучусь в двери природы и буду стучаться до последнего моего дыхания. Когда я умру, мой молот перейдет в другие, столь же неутомимые руки, точно так же, как ко мне он перешел из рук неведомых гигантов. Образы баснословных и не понятых людьми героев, подобных Прометею, Иксиону, Адонису, Пану и другим, без которых не обходится ни одна религия, ни одна страна ни в одну эпоху своей истории, доказывают нам, что эти чаяния искони присущи всему человечеству. Халдея, Индия, Персия, Египет, Греция, мавры переняли друг у друга тайны магии, величайшей из всех оккультных наук, которая умеет беречь плоды трудов и бдений каждого поколения. Вот кто был в союзе с мощным и величественным орденом тамплиеров! Когда один из ваших предков, государь, сжег тамплиеров на костре, он уничтожил толь-

ко людей — все их тайны перешли к нам. Воссоздание этого ордена — вот девиз никому не ведомого сообщества, целой плеяды бесстрашных искателей, взоры которых направлены в сторону Жизненного начала! Все они братья и неотделимы один от другого; всех их объединяет одна идея, на всех лежит отпечаток упорного труда. Я первый среди этих людей, но не по рождению, я — их избранник. Я направляю всех их к истоку жизни. Великий магистр, розенкрейцеры, подмастерья, алхимики — все мы гонимся за этой крохотной молекулой, которая ускользает от наших печей и пока еще невидима глазу. Но мы создадим себе другие глаза, более зрячие, чем те, которыми нас наделила природа; мы доберемся до простейшего атома, до этой мельчайшей частицы, за которой с таким упорством охотились все жившие до нас мудрецы. Государь, когда человек чувствует себя как дома над этой бездной и когда он распоряжается такими пловцами, как мои братья, без страха прыгающими в пучину, все, чем озабочены остальные люди, начинает казаться ничтожным. Поэтому мы ни для кого не опасны. Мы далеки от религиозных споров и от политических распрей, мы находимся по ту сторону их. Тот, кто единоборствует с природой, не позволяет себе вступать в драку с людьми. И даже незначительные успехи в этой борьбе нам дороги и нужны — мы можем точно их измерить и предсказать. Что же касается сочетаний людей и их интересов, то здесь все до чрезвычайности шатко. Мы испытаем алмаз на огне, мы создадим его сами, мы создадим золото! С помощью воды и огня мы приведем в движение суда, подобно тому, как это сделал один из наших братьев в Барселоне! Мы обойдемся без ветра, мы сами создадим ветер, мы сами создадим свет; новые отрасли промышленности изменят весь лик земли! Но мы никогда не унизимся до того, чтобы завладеть троном и навлечь на себя *проклятие* народов!

Несмотря на то, что король решил твердо не поддаваться хитростям флорентинцев, и он и простодушная Мари были уже опутаны всеми увертками и обиняками пышного и велеречивого бахвальства этого старика. Глаза обоих любовников заблестели, они мысленно представили себе все эти таинственные сокровища; им казалось, что они видят целую анфиладу подземелий, где

трудятся гномы. Любопытство и нетерпение взяло в обоих верх над прежнею подозрительностью.

— Но если это так,—воскликнул король,—вы, должно быть, великие политики, и вы можете многое нам сказать.

— Нет, государь,— простодушно ответил Лоренцо.

— Почему? — спросил Карл IX.

— Государь, никому не дано предвидеть, к чему приведет сообщество нескольких тысяч людей: мы можем узнать, как поступит один человек, сколько он проживет, будет он счастлив или несчастен, но мы не в силах сказать, во что выльются усилия нескольких людей, соединившихся вместе: рассчитать непрерывно меняющиеся соотношения различных сторон еще труднее, ибо сочетания эти определяются не только людьми, но и событиями. А грядущее открывается нам только в уединении. Протестантство, которое готово сейчас поглотить вас, будет, в свою очередь, поглощено изменившейся под его влиянием материальной жизнью людей, и эти его последствия тоже рано или поздно превратятся в теорию. Сегодня вся Европа ополчилась против религии, завтра она захочет свергнуть королевскую власть.

— Значит, Варфоломеевская ночь была нужна!..

— Да, государь, ибо, если народ одержит верх, он устроит свою Варфоломеевскую ночь. Когда религия и королевская власть будут низвергнуты, народ расправится со знатью, а потом с богачами. В конце концов, когда Европа превратится в бестолковое скопище людей и на смену власти придет безначалие, ее поглотят насильники, явившиеся издалека. Так уже много раз бывало в мире, и теперь все это повторится в Европе. Идеи способны поглотить целые столетия, подобно тому, как страсть поглощает человека. Когда исцелится каждый человек в отдельности, исцелится, может быть, и все человечество. Наука — душа человечества, мы — жрецы этой науки. А тот, кто занят душою, не особенно заботится о теле.

— А чего же вы все-таки добились? — спросил король.

— Мы медленно продвигаемся вперед, но мы не теряем ни одной из наших побед.

— Так, значит, вы король колдунов,—сказал король, задетый тем, что сам он так ничтожен в присутствии этого старца.

Великий магистр смерил Карла IX грозным, уничтожающим взглядом.

— Вы король в царстве людей, а я король в царстве мыслей. Впрочем, если бы настоящие колдуны существовали, вам бы не удалось их сжечь,—не без иронии заявил он.— У нас тоже есть свои мученики за веру.

— Но как вам удается составлять гороскопы? — снова спросил король.— Как это вы можете узнать, что человек возле вашего окна—король Франции? Какая сила дала возможность одному из вас рассказать моей матери о судьбе ее трех сыновей? Можете ли вы, великий магистр ордена, который хочет переиначить весь мир, можете ли вы сказать мне, о чем в настоящую минуту думает королева, моя мать?

— Да, государь.

Ответ этот последовал раньше, чем Козимо успел дернуть своего брата за рукав, чтобы заставить его молчать.

— Вы знаете, зачем приезжает сюда мой брат, король Польши?

— Да, государь.

— Зачем?

— Чтобы занять ваше место.

— Самые страшные враги — это наши ближние!— воскликнул король. Вне себя от ярости, он вскочил с кресла и принялся быстро расхаживать взад и вперед по комнате.— У королей нет ни сыновей, ни братьев, ни матери. Колиньи был прав. Палачей моих надо искать не среди протестантов, а в Лувре. Вы оба или обманщики, или цареубийцы! Жакоб, позовите сюда Солерна.

— Государь,— сказала Мари Туше,— вы же дали братьям Руджери слово чести. Вы хотели отведать плоды древа познания, а теперь вы жалуетесь, что плод этот полон горечи?

Король улыбнулся презрительно и горько. Вся его власть над людьми показалась ему ничтожной перед лицом огромной власти старого Лоренцо Руджери над мыслями. Карлу IX с трудом удавалось управлять одной Францией. Великий магистр ордена розенкрейцеров по-

велевал целым миром существ и понятливых и послушных.

— Будьте откровенны со мной, и вот мое слово чести: если даже вы признаетесь мне в ужасных преступлениях, я буду вести себя с вами так, как будто я ничего не слыхал. Скажите, вы изготовляете яды?

— Чтобы знать, что заставляет человека жить, надо знать, что заставляет его *умирать*.

— Вы владеете тайной многих ядов?

— Да, государь, но только в теории, а не на практике. Мы их знаем, но никогда не используем.

— А моя мать просила у вас яду? — задыхающимся голосом прошептал король.

— Государь,—ответил Лоренцо,—королева Екатерина слишком хитра, чтобы пользоваться подобными средствами. Она знает, что государь, пустивший в ход яд, от яда и погибнет. А как опасны эти презренные средства, лучше всего можно видеть на примере рода Борджа и Бьянки, великой герцогини Тосканской. При дворе всегда все известно. Так можно уничтожить разве только какого-нибудь простолюдина, но кому это надо? Разве можно что-то замыслить против человека с положением, так, чтобы об этом никто не узнал? В Колиньи могли стрелять только потому, что это было приказано вами, или королевой, или Гизами. Выстрел этот никого не обманул. Верьте мне, в политике нельзя и двух раз безнаказанно пользоваться ядом. У государей всегда бывают наследники. А что касается людей незнатных, обретших власть могуществом мысли, подобно тому, как ее обрел Лютер, то можно уничтожить их самих, но учение их остается жить. Королева — флорентинка, она знает, что яд — это только орудие личной мести. Мой брат не покидал ее с самого ее приезда во Францию, и он помнит, сколько горя причинила ей госпожа Диана. А ведь королева никогда не пыталась ее отравить, хотя ей ничего не стоило это сделать. И король, ваш отец, не стал бы ее карать: никогда ведь ни одна женщина не имела на это больше права и не могла быть так уверена в том, что ее не накажут. Госпожа де Валантинуа жива и сейчас.

— А энвольтование? — продолжал король.

— Государь,—ответил Козимо,—это настолько невинное средство, что мы применяем его, когда имеем дело со слепыми страстями, подобно тому, как врачи дают воображаемым больным пилюли из хлебного мякиша. В порыве отчаяния какая-нибудь женщина готова поверить, что, пронзая изображение своего неверного любовника в сердце, она этим навлекает на него беду. Что делать? Это наши доходы!

— Папа ведь и тот продает индульгенции,— улыбаясь, сказал Лоренцо.

— Моя мать применяла энвольтование?

— Нужны ли эти пустые затеи той, которая всемогуща?

— А могла бы королева Екатерина спасти вас сейчас? — мрачно спросил король.

— Нам не грозит никакой опасности, государь,—спокойно ответил Лоренцо Руджери.— Еще до того, как я вошел в этот дом, я уже знал, что выйду отсюда цел и невредим; равным образом я знаю, как и за что через несколько дней король начнет преследовать моего брата. Но если даже брату и будет грозить опасность, она ему не страшна. Если король утверждает свою власть мечом, он утверждает ее также и справедливостью! — добавил он, намекая на знаменитый девиз на медали, отлитой для Карла IX.

— Вы знаете все, я скоро умру, да и хорошо, что это так,— ответил король, весь дрожа, как в лихорадке, и скрывая свой гнев нетерпением.— Но какою же смертью умрет мой брат, который, если вам верить, должен стать королем Генрихом III?

— От руки убийцы.

— А герцог Алансонский?

— Он не будет царствовать.

— Значит, на престол вступит Генрих Бурбон?

— Да, государь.

— А как он умрет?

— От руки убийцы.

— А что станется с нею после моей смерти? — спросил король, указывая на Мари Туше.

— Мадам де Бельвиль выйдет замуж, государь.

— Вы обманщики! Государь, уберите их сейчас же отсюда! — воскликнула Мари Туше.

— Милая, я же дал им мое слово чести! — сказал король, улыбаясь.— А что, у Мари будут дети?

— Да, государь, госпожа де Бельвиль проживет больше восьмидесяти лет.

— Не лучше ли их обоих повесить? — спросил король у своей любовницы.— А что сын мой, граф Овернский? — обратился он к старцу и отправился за малюткой.

— Как вы смели сказать ему, что я выйду замуж?— воскликнула Мари Туше, как только король вышел.

— Сударыня,— ответил с достоинством Лоренцо,— король потребовал от нас правды, мы и говорим ее вам.

— Так, значит, все это верно? — спросила она.

— Так же верно, как то, что губернатор Орлеана любит вас *до безумия*.

— Но я-то его не люблю! — вскричала Мари.

— Это правда, сударыня,— сказал Лоренцо,— но гороскоп ваш гласит, что вы выйдете замуж за человека, который вас любит сейчас.

— Неужели вы не могли бы хоть чуточку солгать ради меня? — улыбаясь, сказала она.— Ведь если король поверит вашим предсказаниям...

— А разве не надо, чтобы он точно так же поверил в нашу невиновность? — сказал Козимо, бросая на фаворитку короля лукавый взгляд.— Те меры предосторожности, которые принял король в отношении нас, заставили нас обоих, в то время как мы сидели арестованные в вашем прелестном домике, задуматься над тем, что оккультные науки оклеветаны и король поверил этой клевете.

— Будьте спокойны,— ответила Мари,— я ведь его знаю: его подозрения уже рассеялись.

— Мы невиновны! — гордо произнес старец.

— Тем лучше,— сказала Мари,— а то король послал сейчас опытных людей осматривать вашу лабораторию, ваши печи и ваши флаконы.

Оба брата посмотрели друг на друга и улыбнулись. Мари Туше сочла эту улыбку доказательством их невиновности, в то время как в действительности она означала: «Несчастные глупцы, неужели вы думаете, что, если мы умеем изготовлять яды, мы не умеем их прятать?»

— А где сейчас королевская свита? — спросил Козимо.

— У Рене,— ответила Мари.

Козимо и Лоренцо переглянулись. Взгляд того и другого выражал одну и ту же мысль: дворец Суассон неприкосновенен!

Король окончательно позабыл обо всех своих подозрениях, когда взял на руки сына и когда Жакоб остановил его, чтобы передать ему записку от Шаплена; он был совершенно уверен, что врач его после тщательного осмотра лаборатории ничего не нашел в ней, кроме того, что необходимо для занятий алхимией.

— Скажите, он будет счастлив? — спросил король, показывая братьям Руджери своего сына.

— Об этом спросите у Козимо! — сказал Лоренцо, кивая в сторону брата.

Козимо взял ручку малютки и стал внимательно ее разглядывать.

— Отец мой,— сказал Карл IX старцу,— для того, чтобы поверить в осуществимость ваших замыслов, вам приходится отрицать человеческий разум. Как же вы можете сомневаться в том, что составляет источник вашей силы? Ведь мысль, которую вы хотите упразднить,— это факел, который светит вам во время ваших исследований. Ну! Ну! Не то же ли это самое, что двигаться и наряду с этим отрицать всякое движение? — воскликнул король, довольный тем, что нашел этот довод, и торжествующе поглядел на свою подругу.

— Мысль—это свойство некоего внутреннего чувства, точно так же, как способность видеть предметы и различать их форму и цвет есть свойство нашего зрения,— ответил Лоренцо Руджери.— Она не имеет никакого отношения к тому, что называют загробной жизнью. Мысль — это способность, которая может быть нами утрачена даже при жизни с утратою тех сил, которыми она обусловлена.

— Вы рассуждаете последовательно,— сказал изумленный король.— Но ведь алхимия — наука атеистическая.

— Материалистическая, государь, а это совсем другое. Материализм возник из индийских учений, перешедших через мистерии Изиды в Халдею и в Египет и за-

несенных в Грецию Пифагором, одним из полубогов человечества: его учение о превращениях — это математика материализма, тот закон, по которому он переходит из одной фазы в другую. Каждое из существ, которые все вместе составляют наш земной мир, может задерживать движение, которое увлекает его в мир иной.

— Выходит, что алхимия — это наука всех наук! — в восторге воскликнул Карл IX.— Я хочу видеть ваши опыты.

— Как только вам это будет угодно, государь. Увлекшись ими, вы только последуете примеру королевы, вашей матери...

— Ах, вот почему она так вас любит! — воскликнул король.

— Дом Медичи уже почти целое столетие оказывает тайное покровительство нашим опытам.

— Государь,— сказал Козимо,— этот мальчик будет жить около ста лет. У него в жизни будут невзгоды, но в конце концов он станет счастлив и почитаем, ибо в жилах у него течет кровь Валуа...

— Я еще приду к вам,— сказал король, к которому возвратилось его хорошее настроение.— Можете идти.

Попрощавшись с Мари и Карлом IX, оба брата вышли. Они медленно спустились по лестнице, не произнеся ни слова, не взглянув друг на друга. Когда они очутились во дворе, они даже не обернулись, чтобы посмотреть на окна,— они были уверены, что король все время следит за ними. И действительно, когда, выходя из калитки, они бросили взгляд в сторону, они увидели в окне Карла IX. Едва только алхимик и астролог очутились на улице Отрюш, они внимательно огляделись вокруг. Они хотели убедиться, действительно ли их никто не подкарауливает и не идет за ними следом. Они дошли до самого рва, окаймляющего здание Лувра, не проронив ни слова. Но там, когда они остались одни, Лоренцо сказал брату на флорентинском наречии своего времени:

— Affè d'iddio! come le abbiamo infinocchiato! (Черт возьми, здорово же мы его окрутили!)

— Gran mercès a lui sta di spartojarsi... (Пускай теперь сам выпутывается, помогай ему бог) — сказал Козимо.— Пусть и королева отблагодарит нас за все; мы ведь неплохо ее выручили.

Через несколько дней после этой сцены, поразившей Мари Туше так же, как и короля, в одну из тех минут, когда полнота наслаждения как бы освобождает дух из-под власти тела, Мари воскликнула:

— Карл, я теперь хорошо представляю себе Лоренцо Руджери. Но ведь Козимо все время молчал!

— Это верно,— ответил король, пораженный ее внезапной догадкой,— в словах их было столько же правды, сколько и лжи. У этих хитрых итальянцев ум так же тонок, как шелк, который они выделывают.

Это подозрение может объяснить, почему король так возненавидел Козимо, когда заговорщиков Ламоля и Коконна предали суду. Убедившись, что Козимо Руджери был одним из участников этого заговора, он сообразил, что итальянцы его обманули, ибо у него в руках были доказательства, что астролог его матери занимается не одними только небесными телами, порошком для добычи золота и поисками атомов. Лоренцо покинул Францию.

Хоть большинство людей и не верит в подобные предсказания, надо заметить, что события, которые последовали за этой сценой, подтвердили пророчества Руджери. Через три месяца король умер.

Граф Гонди последовал за Карлом IX в могилу, как ему сказал его брат маршал де Ретц, друг Руджери, который верил в их гороскопы.

Мари Туше вышла замуж за Шарля де Бальзака, маркиза д'Антрага, губернатора Орлеана, от которого у нее родились две дочери. Одна из них, единоутробная сестра графа Овернского, стала любовницей Генриха IV и прославилась тем, что во время заговора Бирона хотела лишить Бурбонов престола и сделать своего брата королем.

Граф Овернский, став герцогом Ангулемским, видел царствование Людовика XIV. Он чеканил у себя в поместье свои монеты, ставя на них то один, то другой титул, но Людовик XIV ему в этом не препятствовал: он слишком чтил в нем кровь Валуа.

Козимо Руджери дожил до царствования Людовика XIII и был свидетелем падения дома Медичи во Флоренции и падения Кончини. Историки установили в точности, что умер он атеистом, иначе говоря, материалистом.

Маркиза д'Антраг умерла, когда ей было за восемьдесят.

Учеником Лоренцо и Козимо Руджери был знаменитый граф Сен-Жермен, который наделал столько шума при Людовике XV. Этому знаменитому алхимику было не менее ста тридцати лет — возраст, до которого, по данным некоторых биографов, дожила Марион Делорм. Из уст братьев Руджери граф Сен-Жермен, по-видимому, слышал кое-какие подробности о Варфоломеевской ночи и о царствовании дома Валуа, и он находил удовольствие в том, что изображал себя современником этих событий, рассказывая все как бы от своего лица. Граф Сен-Жермен — последний из той плеяды алхимиков, которые лучше всего изложили основы этой науки. Но сам он ничего не писал. Всем, что в этом этюде рассказано о кабалистическом учении, автор обязан этой таинственной личности.

Странная вещь! Трех человеческих жизней — жизни старика, от которого получены все эти сведения, жизни графа Сен-Жермена и жизни Козимо Руджери — достаточно для того, чтобы охватить всю историю Европы от Франциска I до Наполеона. Каких-нибудь пятидесяти жизней хватило бы, чтобы дойти до самого древнего периода истории народов, о котором мы знаем. «А значат ли что-нибудь пятьдесят поколений для того, кто изучает тайну человеческой жизни?» — говорил граф Сен-Жермен.

Париж, ноябрь — декабрь 1836 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДВА СНА

В 1786 году никто из парижан не привлекал к себе столько внимания и не вызывал такого множества толков своим роскошным образом жизни, как Бодар Сен-Жам, бывший тогда казначеем морского ведомства. Он строил тогда в Нейи свой знаменитый «Каприз», а жена его для отделки балдахина над своей кроватью приобрела какие-то необыкновенные перья, цена которых напугала самое королеву. В те времена, в отличие от наших дней, ничего не стоило сделаться человеком популярным и заставить говорить о себе весь Париж. Достаточно было какой-нибудь удачной остроты или женской причуды.

У Бодара был на Вандомской площади великолепный особняк, тот самый, из которого незадолго до этого пришлось выехать откупщику Данже. Этот знаменитый эпикуреец умер, и в день его похорон господин де Бьевр, его ближайший друг, умудрился пошутить, сказав, что теперь людям нечего бояться проходить по Вандомской площади [1]. Кроме этого намека на крупную игру, которая велась в доме покойного, над его гробом никаких речей не говорилось. Здание это находится напротив Государственной канцелярии.

Еще два слова о Бодаре. Ему не повезло: он разорился вслед за принцем Гемене, потеряв при этом четырнадцать миллионов. Событие это прошло для всех незамеченным в силу того, что, как выразился Лебрен-Пиндар,

---

[1] Игра слов: Данже (Danger) по-французски означает «опасность».

ему не удалось опередить сиятельного банкрота. Он умер, подобно Бурвале, Буре и многим другим, на чердаке.

Госпожа де Сен-Жам кичилась тем, что принимает у себя в доме одних только людей знатных,— это глупо, но люди всегда этим хвастают. Для нее и сам президент парламента не очень-то много значил — в своем салоне она хотела видеть только титулованных особ, и уж, во всяком случае, гости ее должны были иметь доступ в Версаль. Нельзя сказать, что у жены финансиста бывало особенно много высшей знати, но зато можно быть уверенным в том, что она в самом деле удостоилась милостей коекого из представителей рода Роанов, доказательством чему явилось получившее чересчур уж громкую известность дело об ожерелье.

Однажды вечером, по-моему, это было в августе 1786 года, к моему большому удивлению, в салоне этой казначейши, с такой осмотрительностью подбиравшей своих гостей, я встретил двух неизвестных мне людей, принадлежавших, как мне показалось, едва ли не к подонкам общества. Хозяйка дома подошла ко мне в амбразуру окна, где я намеренно уединился.

— Скажите мне, пожалуйста,— обратился я к ней, вопросительно глядя на одного из незнакомцев,—что это за личности? Каким образом они могли очутиться у вас в доме?

— Но это же чудесный человек.

— Вы видите его, если не ошибаюсь, сквозь призму любви?

— Вы не ошиблись,— ответила она, смеясь,— он уродлив, как гусеница. Но он оказал мне самую большую из всех услуг, которую мужчина может оказать женщине.

Заметив мой лукавый взгляд, она поспешно добавила:

— Он окончательно вылечил меня от этих отвратительных красных пятен, которые были у меня на лице и делали меня похожей на простолюдинку.

Я брезгливо пожал плечами.

— Должно быть, это какой-нибудь шарлатан! — воскликнул я.

— Нет,— ответила она,— это придворный хирург. Уверяю вас, что это человек очень умный. К тому же он еще и пишет. Это опытный врач.

— Стиль его, должно быть, похож на его лицо,— сказал я с улыбкой.— Ну, а другой?

— Какой другой?

— А вот этот низенький, краснощекий, щеголевато одетый господин, у которого такой вид, как будто он съел лимон?

— Но это человек из довольно хорошей семьи,— ответила она.— Он родом из... из какой, бишь, провинции... Ах, да, он из Артуа, ему поручено довести до конца одно дело, касающееся кардинала, и его преосвященство сам представил его господину Сен-Жаму. Оба они предложили Сен-Жаму рассудить их. Между прочим, провинциал этот оказался не очень-то проницателен. Но хороши же и те, кто поручил ему вести это дело! Он кроток, как ягненок, и робок, как девушка. Его преосвященство очень милостив к нему.

— Из-за чего же идет спор?

— Из-за трехсот тысяч ливров,— ответила хозяйка дома.

— Так, выходит, это адвокат! — воскликнул я, едва не подпрыгнув от удивления.

— Да,— сказала она.

Несколько смущенная своим унизительным признанием, г-жа Бодар вернулась к карточному столу, где шла игра в фараон.

Все уже нашли себе партнеров. Делать мне было нечего; я только что проиграл две тысячи экю господину де Лавалю, с которым я встретился у одной *содержанки*. Я подошел к камину и бросился на стоявшую возле него кушетку. Изумлению моему не было границ, когда я увидел, что напротив меня, по другую сторону камина, сидел генеральный контролер. Казалось, господин де Калонн дремлет, а впрочем, может быть, он предавался раздумью, которое нередко одолевает государственных деятелей. Когда я жестом указал на него Бомарше, который в эту минуту подошел ко мне, творец «Женитьбы Фигаро», не говоря ни слова, разъяснил мне эту загадку. Он показал сначала на мою собственную голову, а потом на голову Бодара довольно язвительным жестом, раздвинув два пальца и сжав в кулак остальные. Первым моим побуждением было подойти к Калонну и как-нибудь подшутить над ним. Но я не сдви-

нулся с места, во-первых, потому, что все еще обдумывал, как мне лучше разыграть этого фаворита, а во-вторых, потому, что Бомарше удержал меня, взяв за руку.

— Что это значит? — спросил я его.

Он подмигнул мне, указывая на контролера.

— Не будите его,— сказал он шепотом,— это большое счастье, когда он спит.

— Но ведь и во сне он, должно быть, тоже занимается своими финансами,— сказал я.

— Разумеется,— ответил нам государственный муж, который угадал наши слова по одному движению губ.— Дал бы бог нам поспать подольше, тогда у нас не было бы того пробуждения, которое вам теперь доведется увидеть.

— Сударь,— сказал Бомарше,— я должен поблагодарить вас.

— За что это?

— Господин Мирабо уехал в Берлин. И я боюсь, как бы в этих *Водах* мы не потонули с ним оба.

— У вас чересчур хорошая *память*, но вы человек неблагодарный,— сухо заметил министр, рассерженный тем, что один из его секретов разглашен в моем присутствии.

— Очень может быть,— сказал Бомарше, задетый за живое,— но у меня есть миллионы, которые помогут мне рассчитаться сполна.

Калонн сделал вид, что не расслышал его слов.

Когда кончили играть в карты, было уже половина первого. Все сели за стол: нас было десять человек. Бодар и его жена, генеральный контролер, Бомарше, двое незнакомцев, две хорошенькие женщины, которых не следует здесь называть, и какой-то откупщик,— кажется, его звали Лавуазье. У г-жи Сен-Жам было человек тридцать гостей, но к этому времени большинство уже разошлось, и за столом собрались только эти десять. Да и то две незнакомых мне личности остались ужинать лишь по особому настоянию хозяйки: одного ей хотелось угостить в благодарность за свое исцеление, другого же она пригласила скорее всего для того, чтобы доставить этим удовольствие мужу. С мужем своим она кокетничала, и я не мог понять, для чего ей понадобилось это делать. В конце концов, господин Калонн был одним из силь-

ных мира, и если кому и надо было огорчаться, так, вероятно, мне.

Вначале за ужином царила смертельная скука. Присутствие этих двух незнакомцев и откупщика нас стесняло. Я подмигнул Бомарше, чтобы тот напоил сына Эскулапа, сидевшего по правую руку от него, дав понять, что адвоката я беру на себя. Так как больше развлечься было нечем, нам оставалось только позабавиться несуразным поведением обоих незнакомцев, и мы уже предвкушали это удовольствие. Калонн встретил мой план с улыбкой. Все три дамы мгновенно примкнули к нашему вакхическому заговору. Многозначительными взглядами они дали нам понять, что соглашаются играть свои роли, и силлерийское вино не раз увенчивало бокалы своей серебристой пеной. С хирургом все обстояло просто, но сосед мой, едва только я собрался налить ему второй бокал, с холодной вежливостью ростовщика заявил мне, что больше пить не будет.

В эту минуту, не помню уж по какому поводу, г-жа де Сен-Жам стала рассказывать о необыкновенных ужинах у кардинала де Роана, на которых присутствовал граф Калиостро. Я не особенно внимательно слушал рассказы хозяйки дома; ответ, который я услыхал из уст моего соседа, заинтриговал меня, и я с большим любопытством стал разглядывать его тонкое бледное лицо, с заостренным и вместе с тем вздернутым носом, который по временам придавал ему сходство с куницей. Когда он услыхал, что г-жа де Сен-Жам спорит с г-ном Калонном, щеки его сразу же зарделись.

— Уверяю вас, сударь, что я видела наяву Клеопатру! — гордо сказала г-жа де Сен-Жам.

— Я готов вам поверить,— ответил мой сосед.— Мне, например, довелось разговаривать с Екатериной Медичи.

— Однако! — воскликнул г-н де Калонн.

Маленький провинциал произнес эти слова голосом совершенно удивительной звучности, если только здесь можно применить это слово. Эта необычайная чистота и отчетливость интонаций у человека, который до этого говорил чрезвычайно мало и всегда намеренно тихо и скромно, нас всех поразила.

— Подумайте, он заговорил! — воскликнул хирург, которого Бомарше достаточно уже подпоил.

— Должно быть, его сосед нажал какую-то кнопку,— ответил сатирик.

Несмотря на то, что слова эти были сказаны полушепотом, тот, кого они имели в виду, их услышал и слегка покраснел.

— И как же выглядела покойная королева? — спросил Калонн.

— Я не берусь утверждать, что та женщина, с которой я вчера обедал, действительно была Екатерина Медичи собственной персоной. Это было бы чудом, непостижимым для христианина, да и для философа тоже,— ответил адвокат, слегка упершись кончиками пальцев в поверхность стола и откидываясь на спинку стула, как человек, который собирается начать длинный рассказ.— И тем не менее я могу поклясться, что женщина эта до такой степени походила на Екатерину Медичи, что их можно было бы принять за родных сестер. Та, которую я видел, была в платье черного бархата, как две капли воды, похожем на платье Екатерины, знакомое нам по портретам ее во дворце короля. На голове у нее была та самая бархатная шапочка, в которой ее постоянно изображали художники. Лицо ее было, как всегда, мертвенно-бледно. Я не мог не рассказать об этом его преосвященству. Быстрота, с которой явилось это видение, показалась мне тем более чудесной, что господин граф Калиостро не в силах был угадать имени той женщины, с которой я хотел повстречаться. Я был совершенно ошеломлен. Этот ужин, на котором появлялись знаменитые женщины прошлого, заворожил меня своим волшебством, и я окончательно потерял присутствие духа. Я слушал и не смел ни о чем спросить. Когда около полуночи я освободился от власти этих чар, во мне уже больше не было прежней веры в себя. Но все эти видения были просто ничем в сравнении с необычайной галлюцинацией, которую мне после этого довелось пережить. Не знаю даже, какими словами описать вам мое состояние; только я с полной искренностью должен заявить всем: теперь меня уже нисколько не удивит, что некогда находились души достаточно слабые или, напротив, достаточно сильные, чтобы верить в тайны магии и в могущество дьявола. Я, например, будучи более полно обо всем осведомлен, считаю вполне вероятными все те

явления, о которых рассказывают Кардано и разные чудотворцы.

В голосе его звучала такая убежденность, что слова эти не могли не возбудить крайнего любопытства всех присутствующих. Поэтому наши взоры обратились в сторону рассказчика и все вокруг замерло. Только глаза наши, в которых отражалось пламя свечей, напоминали о жизни. Мы пристально вглядывались в незнакомца, и нам казалось, что поры его лица и особенно лба как бы раскрываются, чтобы дать выход внутреннему чувству, которое его наполняет. Этот человек, на вид холодный и сдержанный, как будто таил внутри себя какой-то скрытый очаг огня, и пламя этого очага проникало теперь в наши души.

— Может быть, вызванный мною призрак, сделавшись невидимым, последовал тогда за мной, этого я не знаю. Но едва только голова моя коснулась подушки, огромная тень Екатерины явилась передо мною. Я почувствовал, что попадаю в какое-то облако света,— глаза мои, устремленные на королеву, были пригвождены к ней, и я видел только ее одну. Вдруг она наклонилась ко мне.

При этих словах дамы одновременно вздрогнули, любопытство обуревало их всех.

— Я, право, не знаю,— сказал адвокат,— продолжать мне сейчас или нет. Ведь как бы я ни был уверен, что все это только сон, мне предстоит говорить о вещах очень важных.

— Это касается религии? — осведомился Бомарше.

— Наверное, что-нибудь непристойное? — спросил Калонн.— Ну ничего, дамы вас простят.

— Это касается правительства,— ответил адвокат.

— Говорите же,— сказал министр.— Вольтер, Дидро и их товарищи начали уже приучать кое к чему наш слух.

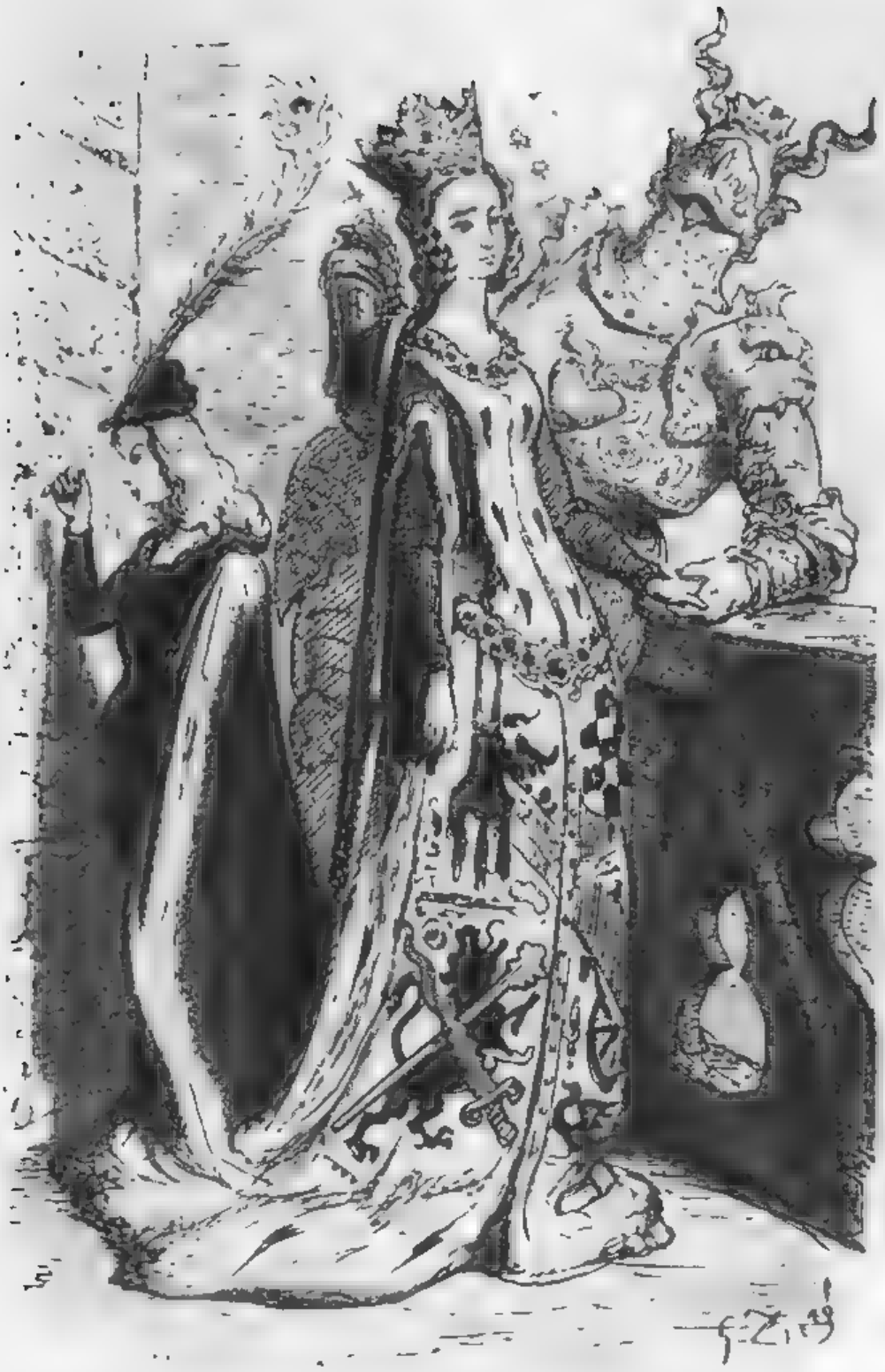
Контролер весь обратился во внимание, его соседка, г-жа де Жанлис, насторожилась. Провинциал все еще не решался начать. Тогда Бомарше весело воскликнул:

— Будьте же посмелее! Разве вы не знаете, что, когда законы так притесняют свободу мысли, народ отыгрывается на свободе нравов!..

Незнакомец продолжал:

..а командование над своими людьми препоручил старому рубаке, с коим немало натворил дел в Палестине и в иных странах.

«НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ»



Она впала в глубокую тоску и все повторяла:
— Где же он, бедный мой, не сносить ему головы, всем он пожертвовал из любви ко мне.

«НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ»

— То ли в душе у меня бродили какие-то неведомые мне самому мысли, то ли это было какое-то наитие, но я сказал ей: «Сударыня, у вас на совести огромное преступление».

«Какое же?» — спросила она печально.

«То, которое совершилось 24 августа, когда в церкви Сен-Жермен ударили в колокол».

Она презрительно улыбнулась, и на ее желтовато-бледных щеках обозначилось несколько глубоких морщин.

«И вы это называете преступлением?—сказала она.— Это было несчастье. Все было сделано не так, как надо, и замысел наш потерпел неудачу. Поэтому-то он и не принес ни Франции, ни Европе, ни католической церкви того блага, которого мы от него ожидали. Что вы хотите? Приказы были выполнены плохо. У нас не оказалось столько Монлюков, сколько нам было нужно. Потомству нет дела до того, что средства сообщения были тогда недостаточны и что, осуществляя нашу идею, мы не смогли сразу же привести в движение все силы, а ведь это необходимо при всяком государственном перевороте. Вот в чем наша беда! Если бы 25 августа во Франции не осталось ни одного гугенота, я бы, даже для самого далекого будущего, продолжала быть прекрасным олицетворением воли божьей. Сколько раз ведь ясновидящие души Сикста V, Ришелье, Боссюэ втайне обвиняли меня в том, что, найдя в себе достаточно смелости, чтобы решиться на этот шаг, я все же не сумела довести начатое мною дело до конца! А сколько людей сожалели о моей смерти! Через тридцать лет после Варфоломеевской ночи бедствие все еще длилось. За это время во Франции было пролито крови в десять раз больше той, которую не удалось пролить 26 августа 1572 года. Отмена Нантского эдикта, в честь которой вы отлили медали, стоила больше слез, больше крови и больше денег. Три Варфоломеевские ночи не нанесли бы Франции такого ущерба, как она. Одним росчерком пера Летелье сумел превратить в эдикт те принципы, которыми после моей смерти втайне руководствовались все короли. Но если 25 августа 1572 года эти поголовные убийства были нужны, 25 августа 1685 года все это уже не имело никакого смысла. При втором сыне Генриха Валуа ересь едва толь-

ко забеременела; при внуке Генриха Бурбона эта плодовитая мать распространила свое потомство по всей вселенной. Вы обвиняете меня в преступлении и в то же время воздвигаете памятники сыну Анны Австрийской! А ведь мы оба стремились к одной и той же цели. Но только ему это удалось, а мне нет. Однако при Людовике XIV протестанты были безоружны, а ведь в мое время в их распоряжении были могущественные армии, свои политики, свои военачальники, и вся Германия стояла за них».

Говорила она все это очень медленно, и я почувствовал, что меня охватывает трепет. Мне казалось, что я слышу запах дымящейся крови множества человеческих жертв. Екатерина выросла на моих глазах. Каким-то злым гением она стояла передо мной, и мне мерещилось, что она хочет пробраться в мою совесть, чтобы там и остаться.

— Конечно, он все это видел во сне,— прошептал Бомарше,— он не мог этого придумать!

«Я ничего не могу понять,— сказал я королеве.— Вы ставите себе в заслугу деяние, которое целых три поколения людей осуждают, покрывают позором...»

«Добавьте к этому,— продолжала она,— что все те, кто об этом писал, были еще более несправедливы ко мне, чем мои современники. Никто не встал на мою защиту. Меня, у которой было все: и богатство и слава,— обвиняют в тщеславии. Меня называют жестокой, а ведь на совести у меня только две отрубленные головы! А для людей беспристрастных я до сих пор еще составляю загадку. Неужели вы думаете, что мною владела одна только жажда мести, что я была полна ненависти и злобы? — Она презрительно улыбнулась.— Я была спокойна и холодна, как сам разум. Я не знала жалости к гугенотам, но не знала и ожесточения; они были для меня просто гнилью, которую следовало выкинуть из корзины. Будь я королевой английской, я поступила бы точно так же с католиками, если бы они подняли вдруг мятеж. В эту эпоху, чтобы власть могла удержаться, стране нужен был единый бог, единая вера, единый господин. По счастью, я когда-то произнесла слова, которые могут служить оправданием всей моей жизни. Когда Бирага, решив обмануть меня, сказал, что битва при Дре про-

играна, я ответила ему: «Ну, что же, мы станем протестантами». За что мне было ненавидеть кальвинистов? Я относилась к ним с уважением, но близко я никого ведь из них не знала. Омерзение мне внушали только некоторые государственные деятели, этот подлый кардинал Лотарингский, его брат, хитрый и грубый солдафон; оба они подсылали ко мне шпионов. Они-то и были врагами моих сыновей — они хотели завладеть их короной. С Лотарингцами я виделась каждый день, и они доводили меня до изнеможения. Если бы мы не устроили Варфоломеевской ночи, Гизы сделали бы то же самое с помощью Рима и своих монахов. Лига, которая получила силу только тогда, когда я состарилась, была основана в 1573 году».

«Сударыня, почему же, вместо того чтобы устраивать эту страшную резню (простите меня за откровенность), вы не использовали тех огромных политических возможностей, которые у вас тогда были, и не проявили той мудрости, с которой Генрих IV узаконил положение реформатов, прославив свое царствование тем миром, который он принес Франции?»

Она опять улыбнулась, пожала плечами, и в глубоких морщинах, бороздивших ее бледное лицо, можно было прочесть иронию, смешанную с горечью.

«После самых ожесточенных сражений народы нуждаются в покое,— сказала она.— Вот в чем тайна этого царствования. Но Генрих IV совершил две непоправимые ошибки. Ему не следовало ни отрекаться от протестантства, ни оставлять Францию католической страной, после того как он сам стал католиком. Он был единственным, кто бы мог преобразить Францию без потрясений. Либо ни одной протестантской проповеди, либо ни одной католической епитрахили! Вот на что ему следовало решиться! Оставляя два враждующих начала в стране и не умея ничем их уравновесить, король совершает преступление, которое ведет за собой революцию. Только богу дана власть постоянно сталкивать между собою добро и зло. Но, может быть, именно такое решение составляло суть политики Генриха IV, может быть, оно-то и явилось причиною его смерти. Нельзя допустить, чтобы Сюлли не взирал с вожделением на огромные богатства, которыми владело духовенство, владело, правда,

не целиком, ибо знать проматывала по меньшей мере две трети его доходов. Сюлли был сам реформатом, но у него было, вероятно, столько же аббатств, сколько у них».

Она замолчала и как будто над чем-то задумалась.

«Требуя меня к ответу за то, что я католичка, вы, должно быть, забыли, что я племянница папы?»

Она снова замолчала.

«В конце концов, я охотно бы сделалась кальвинисткой,— сказала она, пожав плечами.— Неужели умные люди вашего века все еще продолжают думать, что религия вообще что-нибудь значила для этого движения, самого мощного из всех, которые когда-либо потрясали Европу, для той огромной революции, которую задерживали различные мелкие помехи, но которая все равно грянет над миром?! Я ведь не потушила ее пожара! Революции,— сказала она, обратив на меня свой глубокий взгляд,— которая идет на нас и которую ты можешь довести до конца. Да, *ты*, который слушаешь меня сейчас!»

Я весь задрожал.

«Как?! Никто еще до сих пор не понял, что в борьбе старого с новым знаменем становится Римская церковь и Лютер! Как?! Не для того ли, чтобы избежать подобной борьбы, Людовик IX увлек за собой в сто раз больше людей, чем я их казнила; он погреб их в песках Египта и заслужил за это право называться святым, а я? Но все дело в том,— сказала Екатерина,— что я потерпела неудачу».

Она опустила голову и некоторое время молчала. Это была уже не королева, а скорее одна из тех друидесс древности, которые приносили в жертву людей и умели, откапывая из могил реликвии прошлого, читать в книге грядущего. Но вскоре она подняла голову — лицо ее было исполнено царственности и величия.

«Обращая внимание всех горожан на злоупотребления римской церкви,— сказала она,— Лютер и Кальвин тем самым пробуждали в Европе дух исследования, который толкал народы на то, чтобы проверять решительно все с помощью разума. А такая проверка вселяет в человека сомнение. Вместо необходимой обществу веры они понесли за собой в века свою странную философию, вооруженную молотом, жаждущую разрушения. Из ло-

на ереси вышла светящаяся своим обманным светом наука. Речь шла не столько о том, чтобы реформировать церковь, сколько о том, чтобы даровать человеку безграничную свободу, а ведь это означает гибель всякой власти. Я все это видела. Последствия успехов, достигнутых реформатами в борьбе с католичеством, которое уже взялось за оружие и стало более грозною силой, чем сам король, сокрушили власть монарха, которую Людовик XI с таким трудом утвердил на развалинах феодализма. Мы стояли перед угрозой уничтожения религии и королевской власти; на их обломках буржуазия всего мира хотела договориться между собой. Таким образом, борьба эта вылилась в войну не на жизнь, а на смерть — между новыми силами и узаконенной старой верой. Католики выражали материальные интересы государства, знати и духовенства. Это был поединок до победного конца, поединок между двумя гигантами. Варфоломеевская ночь, к несчастью, была только одною раною, нанесенною в этой битве. Вспомните только, во что обходятся те несколько капель крови, которые в нужный момент мы боимся пролить,— ведь впоследствии приходится проливать эту кровь потоками! Человеческому разуму, который витает над государством, грозит неминуемая беда: когда он обессиливает под тяжестью какого-либо события, он не находит себе равных, чтобы те справедливо его рассудили. У меня очень мало равных мне: большинство состоит из глупцов — этими словами объясняется все. Если Франция осыпает меня сейчас проклятиями, виною этому та посредственность, которая преобладает там и преобладала во все века. Потрясения, пережитые мною, слишком велики — царствовать в мое время отнюдь не значило давать аудиенции, устраивать смотры и подписывать указы. Я могла совершать ошибки. Я ведь все-таки женщина! Но почему же тогда не нашлось ни одного мужчины, который умел бы стать выше своего века? Герцог Альба был бесчувствен, как камень, Филипп II под влиянием католичества совсем одурел, Генрих IV был игроком и распутником, адмирал — упрямым тупицей, Людовик XI явился слишком рано, Ришелье — слишком поздно. Все равно, добродетельна я или преступна, виновна в Варфоломеевской ночи или нет, я готова принять на себя вину, пускай же я буду звеном никому не

известной цепи, соединяющей этих двух великих людей. Когда-нибудь писатели со склонностью к парадоксам спросят себя: не случалось ли иногда так, что тот, кого в народе принято было считать палачом, в действительности являлся жертвой? Сколько раз люди предпочитали уничтожить божество, которому они поклонялись, лишь бы не обвинить в чем-нибудь самих себя. Все вы готовы плакать, когда во имя нужного дела гибнут какие-то две сотни простолюдинов, но вы никогда не прольете слез над бедствиями поколения, эпохи, целого мира. Словом, вы забываете, что политическая свобода, что спокойствие страны, что даже наука — это дары, за которые судьба неминуемо заставляет нас расплачиваться кровью!»

«Но разве народы не смогут когда-либо дешевле покупать свое счастье?» — воскликнул я со слезами на глазах.

«Истины приходят к нам из своих глубин только для того, чтобы купаться в крови, которая их освежает. А само христианство, которое, происходя от бога, составляет основание всякой истины, разве не в муках оно утверждалось? Разве кровь не лилась тогда потоками? И может ли настать время, когда она вовсе не будет литься? Ты это узнаешь, ты, который должен стать одним из каменщиков, воздвигающих общественное здание, строить которое начали еще апостолы! Пока ты будешь размахивать уровнем над головами людей, тебя встретят рукоплесканиями. Но стоит тебе взять в руки мастерок, и ты будешь убит».

«Кровь! Кровь!» Это слово звенело у меня в ушах, подобно погребальному колоколу.

«Тогда выходит,— сказал я,— что протестанты вправе рассуждать так же, как и вы?»

Фигура Екатерины приняла вдруг гигантские размеры, а потом исчезла, как будто дуновение ветра погасило тот сверхъестественный свет, который позволил моему духу ее увидеть. Я сразу же убедился, что какой-то частью своего «я» я соглашался с ужасными выводами, которые сделала итальянка. Я проснулся весь в поту, я заливался слезами, в то время как разум мой, торжествуя, заверял меня тихим голосом, что ни королю, ни даже всему народу никто не дал права исповедовать эти прин-

ципы и годны они только для тех, кто вовсе не верит в бога...

— А чем же тогда спасти монархию, которая гибнет? — спросил Бомарше.

— Для этого существует бог,— ответил мой сосед.

— Итак,— сказал г-н де Калонн со столь присущим ему невероятным легкомыслием,— нам остается только считать себя орудием в руках всевышнего, как этому нас учит Евангелие Боссюэ.

Как только дамы заметили, что весь рассказ адвоката свелся к разговору его с королевой, они начали перешептываться между собою. Я не обращал внимания на те восклицания, которые время от времени у них вырывались. Однако до слуха моего все же долетели фразы: «Можно умереть от скуки!» «Дорогая моя, когда же он, наконец, кончит!»

Когда незнакомец кончил говорить, дамы смолкли. Господин Бодар спал. И только молодой хирург, который уже опьянел, Лавуазье, Бомарше и я все это время сосредоточенно слушали. Калонн был занят своей соседкой. В наступившей тишине была какая-то особенная настороженность. Мне показалось, что свечи стали светить необычным таинственным светом. Одно и то же чувство связало нас с этим человеком. После его слов я впервые понял, какою грозною силой может стать фанатизм. И только глухой, замогильный голос второго незнакомца, соседа Бомарше, вывел нас всех из оцепенения.

— И я видел однажды сон! — воскликнул он.

В эту минуту я внимательно посмотрел на хирурга, и меня охватил неизъяснимый ужас. Землистый цвет его лица, грубые, лишенные всякого благородства черты — все это обличало в нем *плебея*, если вы позволите мне употребить это слово. На лице у него было несколько синеватых и черных пятен, похожих на следы грязи. В глазах его горел огонь. Напудренный парик придавал его лицу еще более мрачный вид.

— Этот доктор, должно быть, отправил на тот свет немало больных,— сказал я моему соседу.

— Я бы ему и собаки своей не доверил,— отвечал тот.

— У меня к нему какая-то инстинктивная ненависть.

— А я его презираю.

— И все-таки мы к нему несправедливы,— продолжал я.

— Ах, боже мой! Послезавтра он может стать такою же знаменитостью, как и актер Воланж,— заметил сосед.

Господин де Калонн указал на хирурга жестом, который, казалось, говорил: «По-моему, это человек занятный».

— А вы что, тоже видели во сне королеву? — спросил его Бомарше.

— Нет, я видел целый народ,— произнес он с пафосом, который заставил нас улыбнуться.— Я лечил тогда одного больного, и на следующий день мне предстояло ампутировать ему бедро.

— И вы обнаружили этот народ в бедре вашего больного? — спросил г-н Калонн.

— Да,— ответил хирург.

— Какой он забавный! — воскликнула графиня де Жанлис.

— Меня немало изумило,— сказал оратор, не обращая внимания на возгласы присутствующих и засовывая пальцы в карманы штанов,— что я нашел себе столько собеседников в этом бедре. Я умел входить к моему больному совершенно особым образом. Когда в первый раз я забрался к нему под кожу, я увидел там целый рой крохотных живых существ, которые копошились, что-то думали, о чем-то рассуждали. Одни из них жили в теле этого человека, другие в его сознании. Мысли его тоже были самостоятельными существами; они рождались на свет, росли, умирали; среди них можно было встретить больных, здоровых, веселых, грустных — словом, у каждой из них было свое, ни на что не похожее лицо. Существа эти сражались друг с другом или друг друга ласкали. Были и такие мысли, которые вырывались наружу и уходили жить в мир идей. Я понял тогда, что существуют две вселенные — видимая и невидимая, что у земли, так же как и у человека, есть тело и душа. Вся природа открылась передо мной. Я ощутил всю ее необъятность, едва только глазам моим предстали эти мириады живых существ, которые где вперемешку, а где разделившись на отдельные виды заполняют наш мир, являя собою повсюду одну и ту же одушевленную материю, будь то глыба мрамора или сам господь бог. Какое это восхититель-

ное зрелище! Словом, вся вселенная была там. Когда я вонзил нож в это пораженное гангреной бедро, я уничтожил тысячи таких тварей. Вам смешно, сударыни, слышать, что и вас тоже вот так поедают живьем.

— Пожалуйста, без личностей,— сказал г-н Калонн.— Рассказывайте только о себе и о вашем больном.

— Мой больной, приведенный в ужас криками этих микроскопических существ, попросил меня прервать операцию. Но я не стал его слушать, сказав ему, что эти вредоносные твари проникли далеко вглубь и гложут его кости. Не понимая, что я хочу ему только добра, он пытался вырваться, и мой нож впился мне в бок.

— Он не умен,— сказал Лавуазье.

— Он просто хватил лишнего,— ответил Бомарше.

— А знаете, господа, ведь мой сон не лишен смысла! — воскликнул хирург.

— Ох, ох! — простонал Бодар, пробуждаясь.— Я ногу себе отсидел.

— Сударь,— шепнула ему жена,— ваши твари сдохли.

— У этого человека есть свое призвание! — воскликнул мой сосед, который в продолжении всего рассказа не сводил своего бесстрастного взгляда с хирурга.

— Мой сон,— продолжал уродливый незнакомец,— относится к сну этого господина, как действие к слову, как тело к душе.

Но тут его отяжелевший язык стал заплетаться, и он смог произнести только какие-то бессвязные слова.

На наше счастье, разговор перешел на другие предметы. Через полчаса мы уже позабыли о придворном хирурге. Когда мы встали из-за стола, разразился отчаянный ливень.

— Адвокат не так уже глуп,— сказал я, обращаясь к Бомарше.

— Да, но это человек без сердца и тугодум. Однако вы могли убедиться, что в провинции остались простаки, которые принимают за чистую монету политические теории и историю нашей Франции. Это закваска, которая еще взойдет.

— А вы в карете приехали? — спросила меня г-жа Сен-Жам.

— Нет,— сухо ответил я,— я не знал, что она мне сегодня понадобится. Вам, может быть, угодно, чтобы я проводил домой господина контролера? Он что, приехал к вам *налегке?*

Так в то время говорили о человеке, который, отправляясь в Марли, переодевался кучером и правил сам лошадьми. Г-жа Сен-Жам мгновенно покинула нас, позвонила, потребовала карету Сен-Жама и обратилась к адвокату:

— Господин Робеспьер, будьте настолько любезны, отвезите господина Марата домой, он еле держится на ногах,— попросила она.

— Охотно, сударыня,— любезно ответил г-н Робеспьер,— я был бы рад, если бы вы поручили мне даже какое-нибудь более трудное дело.

Париж, январь 1828 г.

ОЗОРНЫЕ РАССКАЗЫ

КРАСАВИЦА ИМПЕРИА

Отправляясь на Констанцский собор, архиепископ города Бордо принял в свиту свою турского священника — прелестного обхождением и речами юношу, который считался сыном куртизанки некоего губернатора. Епископ Турский с охотою уступил юношу своему другу, когда тот через город Тур следовал, ибо архипастыри привыкли оказывать друг дружке подобные услуги, ведая, как досадить может богословский зуд. Итак, молодой священнослужитель прибыл в Констанц и поселился в доме у своего прелата, мужа преученого и строгих правил.

Наш священник, прозывавшийся Филиппом де Мала, положил вести себя добронравно и со всем тщанием служить своему попечителю, но вскоре увидел он, что многие, прибывшие на славный Собор, самую рассеянную жизнь вели, за что не только индульгенций не лишались, а даже более их имели, нежели иные разумные, добропорядочные люди, а сверх того удостоивались еще и золотых монет и прочих доходов. И вот как-то в ночь, роковую для добродетели нашего монаха, дьявол тихохонько шепнул ему на ухо, чтобы он от благ земных не отвращался, ибо каждый да черпает в неоскудеваемом лоне святой нашей матери церкви, и таковое неоскудение есть чудо, доказывающее наивернейшим образом бытие божие. Наш священник внял советам дьявола. И тут же порешил обойти все констанцские кабачки, всех немецких удовольствий испробовать даром, если представится случай, ибо у него за душой не было ни гроша. А так

как до той поры Филипп был поведения скромного, во всем следуя престарелому своему пастырю, который — не по доброй воле, а по немощи своей — плотского греха чурался и даже через это прослыл святым, наш юноша часто терзался жгучим вожделением и впадал в великое уныние. Причиной тому было множество прелестных полнотелых красоток, весьма, впрочем, к бедному люду суровых и обитавших в Констанце ради просветления умов святых отцов, участников Собора. И тем сильнее распалялся Филипп, что не знал, как подступиться к сим роскошным павам, кои помыкали кардиналами, аббатами, аудиторами, римскими легатами, епископами, герцогами и маркграфами разными, словно самой последней церковной братией. Прочитав вечернюю молитву, юноша твердил мысленно разные нежные слова, предназначенные для прелестниц, упражняясь в пресладостном молитвословии любви. Тем самым подготовлялся он ко всем возможным случаям. А на следующий день, если он, направляясь ко всенощной, встречал какую-либо из этих принцесс, прекрасную собою, надменно возлежащую на подушках в своих носилках, в сопровождении горделивых пажей при оружии, он останавливался, разиня рот, словно пес, нацелившийся на муху. И от созерцания холодного лица красавицы его еще пуще бросало в жар.

Секретарь епископа, дворянин из Перигора, как-то раз поведал ему, что все эти святые отцы, прокуроры и аудиторы римские, желая попасть в дом к такой красотке, весьма щедро одаряют ее, и отнюдь не святыми реликвиями и индульгенциями, а напротив того — драгоценными камнями и золотом, ибо тех кошечек соборные вельможи лелеют и оказывают им высокое покровительство. Тогда наш бедный туренец, как ни был он прост и робок, стал припрятывать под матрац жалкие свои гроши, получаемые от епископа за то, что перебелял его бумаги, в надежде, что со временем соберется у него довольно денег, дабы хоть издали взглянуть на кардинальскую наложницу, а далее он уповал на милость божию. И будучи сущим младенцем по разуму, он столько же сходствовал с мужчиною, сколько коза в ночном мраке похожа на девицу. Однако, влекомый желанием своим, бродил он вечерами по улицам Констанца, нимало об

опасностях не помышляя, ни даже о мечах грозной стражи, и дерзко выслеживал святых отцов, когда они к любовницам своим пробирались. И тут он видел, как зажигались в доме огни, как освещались окна и двери. Потом внимал он веселью блаженных аббатов и других прочих, когда те, отведав роскошных вин и яств, затягивали тайную аллилуйю, рассеянным ухом внимая музыке, которой их угощали. Повара на кухне совершали поистине чудеса, как бы творя Обедни наваристых супов, Утрени окорочков, Вечерни лакомых паштетов и вознося Славословие сладостей; а уж после возлияний пресвятые отцы умолкали. Младые их пажи играли в кости у порога, ретивые мулы брыкались на улице. Все шло отменно. И вера и страх божий всему сопутствовали. А вот беднягу Гуса предали огню. За какую вину? За то, что полез рукою без спроса в блюдо. Зачем было соваться в гугеноты до времени, раньше других?

Премиленький наш монашек частенько получал затрещины или хватал тумаки, но дьявол поддерживал и укреплял в нем надежду, что рано или поздно настанет и его черед и выйдет он сам в кардиналы у какой-нибудь кардинальской наложницы. Возгоревшись желанием, стал он смел, словно олень по осени, и даже настолько, что как-то вечером пробрался в красивейший из домов Констанца, на лестнице коего он часто видел офицеров, сенешалов, слуг и пажей, с факелами в руках ожидающих своих господ — герцогов, королей, кардиналов и епископов.

«Ага! — сказал про себя наш монах.— Здешняя прелестница, должно быть, самая прекрасная и есть!»

Вооруженный страж пропустил Филиппа, думая, что юноша состоит в свите баварского электора и, верно, послан с каким-нибудь поручением от оного герцога, только что покинувшего дом красавицы. Быстрее гончего пса в любовном раже взбежал наш монашек по ступеням, влекомый сладостным запахом духов, до самой той комнаты, где раздевалась хозяйка, болтая со своими служанками. И встал он как вкопанный, трепеща, словно вор, застигнутый стражником. Красавица скинула уже платье. Служанки хлопотали, разувая и раздевая ее и столь проворно и откровенно обнажили ее прекрасный стан, что зачарованный монашек успел только гром-

кое «ах!» воскликнуть, и в этом возгласе была сама любовь.

— Что нужно вам, мой мальчик? — спросила дама.

— Душу мою вам предать,— ответствовал тот, пожирая ее взором.

— Можете прийти завтра,— промолвила она, желая потешиться над юношей. На что Филипп, весь зардевшись, отвечал:

— Долгом своим почту!

Хозяйка громко засмеялась. А Филипп, в блаженном смятении не трогаясь с места, взором ласкал ее прелести, зовущие любовь: волосы, ниспадающие вдоль спины, слоновой кости глаже, а сквозь кудри, рассыпавшиеся по плечам, кожу белее снега, отливавшую атласом. На чистом челе красавицы горел рубиновый подвесок, но огненными своими переливами он уступал блеску ее черных очей, увлажненных слезами, кои вызваны были неудержимым смехом. Играючи, она даже подкинула востроносую туфельку, всю раззолоченную, словно дароносица, и, от хохота изогнувшись, показала свою босую ножку, величиной с лебяжий клювик. К счастью для юного попика, красавица была в тот вечер весела, а то вылететь бы ему прямо из окна, ибо и знатнейшего епископа могла при случае постичь та же участь.

— У него красивые глаза,— промолвила одна из служанок.

— Откуда он взялся? — вопросила другая.

— Бедное дитя! — воскликнула Империа.— Его, наверное, мать ищет. Надобно нам наставить его на путь истинный!

Расторопный наш туренец, нимало не теряясь, с упоением воззрился на ложе, покрытое золотой парчой, где собиралась отдыхать прекрасная блудница. Влажный его взгляд, умудренный силою любви, разбудил воображение госпожи Империи, и, покоренная красавчиком, она не то шутя, не то всерьез повторила: «Завтра...» — и отослала его, властно махнув рукою, мановению которой покорился бы сам папа Иоанн, тем более сейчас, когда был он подобен улитке, лишенной раковины, ибо Констанцский собор только что его обезватиканил.

— Ах, госпожа, вот и еще один обет целомудрия

полинял от любовного жара,— промолвила прислужница.

Смех возобновился, шутки посыпались градом. Филипп ушел, стукнувшись головой о косяк, и долго не мог опомниться, как напуганная ворона,— столь пленительна, подобно сирене, выходящей из вод, была госпожа Империа. И, запомнив зверей, искусно вырезанных на дверных наличниках, Филипп вернулся к своему добродушному пастырю с дьявольским вожделением в сердце и ошеломленный виденным до самой глубины своего естества. Поднявшись в отведенную ему каморку, он всю ночь напролет считал и пересчитывал свои гроши, но больше четырех монет, называемых «ангелами», ничего не обнаружил, и так как не было у бедняги иного состояния, понадеялся он ублаготворить красавицу, отдав ей все, чем владел в этом мире.

— Что с тобою, сын мой? — спросил его добрый архиепископ, обеспокоившись возней и вздохами монашка.

— Ах, монсеньер,— ответствовал бедный,— я дивлюсь, как сие возможно, чтобы столь легковесная и красивая дама таким непереносимым грузом лежала на сердце!

— Какая же? — спросил архиепископ, отложивший требник, который читал он для виду.

— Господи Иисусе, вы станете укорять меня, отец мой и покровитель, за то, что я посмел улицезреть возлюбленную кардинала, а может, и того знатнее. И я возрыдал, увидя, как мало имею я этих треклятых монет, дабы с благословения вашего наставить грешницу на путь добра.

Архиепископ собрал на челе своем, над самым носом, морщины наподобие треугольника и не изрек ничего. А смиренный Филипп дрожал всем телом оттого, что отважился исповедоваться пред своим высоким наставником. Святой отец только вопросил его:

— Стало быть, она весьма дорогая?

— Ах,— воскликнул монашек,— она обчистила немало митр и облупила не один жезл!

— Итак, Филипп, ежели отречешься от нее, я выдам тебе тридцать «ангелов» из казны для бедных.

— Ах, святой отец, это будет для меня весьма убы-

точно,— ответствовал юноша, пылая при мысли о наслаждениях, каковые обещал себе изведать.

— О Филипп,— промолвил добрый пастырь,— неужели ты решился предать себя в лапы дьявола и прогневать господа, уподобившись всем нашим кардиналам?

И учитель, сокрушенный скорбью, стал молить святого Гатьена, покровителя девственников, дабы тот оградил смиренного слугу своего. А молодому грешнику приказал коленопреклоненно молить заступника своего Филиппа; но окаянный монах просил у небесного своего предстателя совсем иного: помочь ему не оплошать, когда отдаст он себя на милость и волю прелестницы. Добрый архиепископ, видя прилежное моление юноши, воскликнул:

— Крепись, сын мой! Небо тебя услышит.

Наутро, пока старец, покровитель Филиппа, изобличал на Соборе распутство христианских апостолов, юноша истратил свои тяжким трудом добытые денежки на благовония, притирания, паровую баню и на иные суеты и стал до того хорош, что можно было его принять за любовника какой-нибудь куртизанки. Через весь город Констанц направился он отыскивать дом королевы своего сердца, и когда спросил у прохожих, кому принадлежит названное жилище, те засмеялись ему в лицо, говоря:

— Откуда такой сопляк взялся, что никогда не слыхал о красавице Империи?

Услышав имя Империи, он понял, в сколь ужасную западню лезет себе на погибель, и испугался, что прикопленные им «ангелы» он сам дьяволу под хвост выбросил.

Изо всех куртизанок Империа почиталась самой роскошной и слыла к тому же взбалмошной, и вдобавок была она прекрасна, словно богиня; и не было ее ловчее в искусстве водить за нос кардиналов, укрощать свирепейших вояк и притеснителей народа. При особе ее состояли лихие капитаны, лучники, дворяне, готовые служить ей во всяком деле. Единое ее гневное слово любому не угодившему ей могло стоить головы. И такую же погибель несла любезная ее улыбка, ибо не единожды мессир Бодрикур, военачальник, на службе короля французско-

го состоявший, вопрошал, нет ли такого, кого сей же час ради нее надлежит убить, чтобы посмеяться над святыми отцами.

Важнейшим особам духовного звания госпожа Империа вовремя умела ласково улыбнуться и вертела всеми, как хотела, будучи бойка на язык и искусна в любви, так что и самые добродетельные, самые холодные сердцем попадались, как птица в тенета. И потому она жила любима и уважаема, не хуже родовитых дам и принцесс, и, обращаясь к ней, называли ее госпожа Империа. Одной знатной и строгого поведения даме, которая посетовала на это, сам император Сигизмунд ответствовал, что они-де, благородные дамы, суть блюстительницы мудрых правил святейшей добродетели, а госпожа Империа хранит сладостные заблуждения богини Венеры. Слова, доброго христианина достойные, и благородные дамы несправедливо ими возмущались.

Итак, Филипп, вспоминая прелести, кои он с восторгом лицезрел накануне, опасался, что этим дело и кончится, и тяжко огорчался. Он бродил по улицам, не пил, не ел, ожидая своего часа, хотя был достаточно привлекателен собою, весьма обходителен и мог найти себе красавиц менее жестокосердых и более доступных, нежели госпожа Империа.

С наступлением ночи молодой наш туренец, подстрекаемый самолюбием и обуреваемый страстью, задыхаясь от волнения, проскользнул, как уж, в жилище истинной королевы Собора, ибо пред нею склоняли главы свои все столпы церкви, мужи закона и науки христианнейшей.

Дворецкий не признал Филиппа и хотел было вытолкать его вон, когда служанка крикнула сверху лестницы:

— Эй, мессир Имбер, это дружок нашей госпожи!

И бедняга Филипп, вспыхнув, как факел в брачную ночь, поднялся по лестнице, спотыкаясь от счастья и предвкушая близкое уже блаженство. Служанка взяла его за руку и повела в залу, где в нетерпении ждала госпожа Империа, одетая, как подобает жене многоопытной и чающей удовольствий. Империа, сияя красотой, сидела за столом, покрытым бархатною скатертью, расшитой золотом и уставленной отменными напитками. За-

мороженные вина во флягах и кубках, одним своим видом возбуждающие жажду, бутыли с гипокрасом, кувшины с добрым кипрским, коробочки с пряностями, зажаренные павлины, приправы из зелени, посоленные окорочка — все это восхитило бы взор влюбленного монашка, если бы не так сильно любил он красавицу Империю. А она сразу же приметила, что юноша очей от нее не может оторвать. Хоть и не в диковинку были ей поклонения бесстыжих попов, терявших голову от ее красоты, все же она возрадовалась, ибо за ночь совсем влюбилась в злосчастного юнца, и весь день он не давал покоя ее сердцу. Все ставни были закрыты. Хозяйка дома была в наилучшем расположении духа и в таком наряде, словно готовилась принять имперского принца. И наш хитрый монашек, восхищенный райскою красою Империи, понял, что ни императору, ни бургграфу, ни даже кардиналу, накануне избрания в папы, не одолеть его в тот вечер, его, бедного служку, у коего за душой нет ничего, кроме дьявола и любви. Он поспешил поклониться с изяществом, которому мог позавидовать любой кавалер. И за то дама сказала, одарив его жгучим взором:

— Садитесь рядом со мною, я хочу видеть, переменились ли вы со вчерашнего дня.

— О да,— ответствовал Филипп.

— А чем же?

— Вчера,— продолжал наш хитрец,— я любил вас, а нынче вечером мы любим друг друга, и из бедного страдальца я стал богаче короля.

— Ах ты, малыш, малыш! — воскликнула она весело.— Ты, я вижу, и впрямь переменился: из молодого священника стал старым дьяволом.

И они сели рядышком возле жаркого огня, от которого по всему телу еще сильнее разливалось любовное опьянение. Они так и не начинали ужинать, не касались яств, глаз не отрывали друг от друга. И когда, наконец, расположились привольно и с удобством, раздался неприятный для слуха госпожи Империи шум, будто невесть сколько людей вопили и дрались у входа в дом.

— Госпожа,— доложила вбежавшая служанка,— а вот еще другой!

— Кто? — вскричала Империа высокомерно, как разгневанный тиран, встретивший препону своим желаниям.

— Куарский епископ хочет поговорить с вами.

— Чтоб его черти побрали! — ответствовала Империа, взглянув умильно на Филиппа.

— Госпожа, он заметил сквозь ставни свет и расшумелся.

— Скажи ему, что я в лихорадке, и ты не солжешь, ибо я больна этим милым монашком, так он мне вскружил голову.

Но не успела она произнести эти слова, пожимая с чувством Филиппу руку, пылавшую от любовного жара, как тучный епископ Куарский ввалился в залу, пыхтя от гнева. Слуги его, следовавшие за ним, внесли на золотом блюде приготовленную по монастырскому уставу форель, только что выловленную из Рейна, затем пряности в великолепных коробочках и тысячу лакомств, как-то: ликеры и компоты, сваренные святыми монахинями из аббатства Куарского.

— Ага! — громогласно возопил епископ.— Почто вы, душенька, торопите меня на вертел к дьяволу, я и сам сумею к нему отправиться во благовремение.

— Из вашего брюха когда-нибудь сделают изрядные ножны для шпаги,— ответствовала Империа, нахмуря брови, и всякого, кто узрел бы грозное ее чело, еще недавно ясное и приветливое, пробрала бы дрожь.

— А этот служка ныне уже участвует в обедне? — свирепо вопросил епископ, поворачивая к прекрасному Филиппу свое широкое и багровое лицо.

— Монсеньер, я здесь, дабы исповедовать госпожу Империю.

— Как, разве ты канона не ведаешь? Исповедовать дам в сей ночной час положено лишь епископам. Чтобы духу твоего здесь не было! Иди пасись с монахами своего чина и не смей носа сюда показывать, иначе отлучу тебя от церкви.

— Ни с места! — воскликнула, разъярясь, госпожа Империа, еще прекраснее в гневе, нежели в любви, а в то мгновение в ней сочетались и любовь и гнев.— Оставайтесь, друг мой, вы здесь у себя.

Тогда Филипп уразумел, что он воистину ее возлюбленный.

— Разве не поучает нас писание и премудрость евангельская, что вы оба равны будете перед ликом господним в долине Иосафатской? — спросила госпожа Империа у епископа.

— Сие есть измышление дьявола, каковой своих адских выдумок к библии подмешал, но так и впрямь написано,— ответствовал тупоумный толстяк, епископ Куарский, поспешая к столу.

— Ну, так будьте же равны передо мною, истинной вашей богиней на земле,— промолвила Империа,— а то я прикажу вас превежливо задушить чрез несколько дней, сдавив хорошенько то место, где голова к плечам приделана. Клянусь в том всемогуществом моей тонсуры, которая ничуть не хуже папской! — И, желая присовокупить к трапезе форель, принесенную епископом, равно как и пряности и сласти, она сказала: — Садитесь и пейте.

Но хитрой девке не впервой было проказничать, и она подмигнула милому своему, как бы говоря ему: пренебреги этим тевтоном, чем больше он отведает разных вин, тем скорее придет наш час.

Прислужница усадила епископа за стол и захлопотала вокруг него; тем временем Филипп онемел от ярости, ибо видел уже, что счастье его рассеивается как дым, и в мыслях посылал епископа ко всем чертям, коих сулил ему больше, чем существует монахов на земле. Трапеза близилась к концу, но наш Филипп к яствам не прикоснулся, он алкал одной лишь Империи и, прижавшись к ней, сидел, не говоря ни слова, кроме как на том прекрасном наречии, которое ведомо всем дамам и не требует ни точек, ни запятых, ни знаков восклицания, ни заглавных букв, заставок, толкований и картинок. Тучный епископ Куарский, весьма сластолюбивый и превыше всего радеющий о своей бренной шкуре, в каковую его заправила покойная мать, пил гипокрас, щедро наливаемый ему нежною рукою хозяйки, и уже начал икать, когда раздался громкий шум приближавшейся по улице кавалькады. Топот множества лошадей, покрики пажей — го! го! — возвещали, что прибывает некий вельможа, одержимый любовью. И точно. Вскоре в залу вошел

кардинал Рагузский, которому слуги Империи не посмели не открыть дверей. Злосчастная куртизанка и ее любовник стояли в смущении и расстройстве, словно пораженные проказой, ибо лучше было бы искусить самого дьявола, нежели отринуть кардинала, тем паче в тот час, когда никто не ведал, кому быть папой, ибо три притязателя на папский престол уже отказались от тиары к вящему благу христианского мира.

Кардинал, хитроумный и весьма бородатый итальянец, слывший ловким спорщиком в богословских вопросах и первым запевалой на всем Соборе, разгадал, долго не раздумывая, альфу и омегу этой истории. Поразмыслив с минуту, он уже придумал, как действовать, чтобы ублажить себя без излишних хлопот. Он примчался, гонимый монашеским сластолюбием, и, чтобы заполучить свою добычу, не дрогнув, заколол бы двух монахов и продал бы свою частицу святого креста господня, что, конечно, достойно всяческого осуждения.

— Эй, дружок,— обратился он к Филиппу, подзывая его к себе.

Бедный туренец, ни жив ни мертв от страха, решив, что сам дьявол вмешался в его дела, встал и ответствовал грозному кардиналу:

— К вашим услугам!

Последний взял его под руку, увел на ступени лестницы и, поглядев ему прямо в глаза, начал, не мешкая:

— Черт возьми, ты славный малый, так не вынуждай же меня извещать твоего пастыря, сколько весят твои потроха. Могу же я потешить себя на старости лет, а за содеянное расквитаться благочестивыми делами. Посему выбирай: или сочетаться тебе крепкими узами до окончания дней своих с некиим аббатством, или с госпожой Империей на единый вечер и за то принять наутро смерть.

Бедный туренец в отчаянии промолвил:

— А когда, монсеньер, пыл ваш уляжется, дозволено будет мне сюда вернуться?

Кардинал хоть и не рассердился, однако ж ответил сурово:

— Выбирай — виселица или митра!

Монашек лукаво улыбнулся:

— Дайте аббатство покрупнее да посытнее.

Услышав это, кардинал вернулся в залу, взял перо и нацарапал на обрывке пергамента грамоту французскому представителю.

— Монсеньер,— сказал наш туренец кардиналу, пока тот выводил наименование аббатства.— Куарский епископ не уйдет отсюда так быстро, как я, ибо у него самого аббатств не менее, нежели в граде Констанце найдется солдатских кабачков; вдобавок он уже вкусил от лозы виноградной. Посему, думается мне, дабы возблагодарить вас за столь славное аббатство, должен я дать вам благой совет. Вам, конечно, известно, как зловреден и прилипчив проклятый коклюш, от которого град Париж жестоко претерпел; итак, скажите епископу, что вы сейчас напутствовали умирающего старца, вашего друга — бордоского архиепископа. И вашего соперника выметет отсюда, как пучок соломы ветром.

— Ты достоин большей награды, нежели аббатство!— воскликнул кардинал.— Черт возьми, мой милый, вот тебе сто экю на дорогу в аббатство Турпенэй, я их вчера выиграл в карты, прими от меня их в дар.

Услыхав эти слова и видя, что Филипп де Мала удаляется, не ответив даже, как она уповала, на нежный взгляд ее глаз, из коих струилась сама любовь, красавица Империа запыхтела подобно дельфину, ибо догадалась, почему отрекся от нее пугливый монашек. Она еще не была столь ревностной католичкой, чтоб простить любовнику, раз он изменил ей, не желая умереть ради ее прихоти. И в змеином взоре, коим Империа смерила беглеца, желая его унизить, была начертана его смерть, что весьма позабавило кардинала: распутный итальянец почуял, что аббатство, подаренное им, вскоре обратно к нему вернется. А наш туренец, нимало не обращая внимания на гнев Империи, выскользнул из дома, как побитый пес, которого отогнали от господского стола. Из груди г-жи Империи вырвался стон; в тот час она бы жестоко расправилась со всем родом человеческим, будь это в ее власти, ибо пламя, вспыхнувшее в ее крови, бросилось ей в голову, и огненные искры закружились в воздухе вокруг нее. И не мудрено: впервые случилось, что ее обманул какой-то жалкий монах. А кардинал улыбался, видя, что теперь дело пойдет на лад. Ну и хитер был

кардинал Рагузский, недаром заслужил он красную шляпу.

— Ах, дражайший мой собрат,— обратился он к епископу Куарскому,— я не нарадуюсь, что нахожусь в столь прекрасной компании, и паче рад, что прогнал отсюда семинариста, недостойного быть в обществе госпожи Империи,— особенно потому, что, коснувшись его, моя красавица, бесценная моя овечка, вы могли бы умереть самым недостойным образом по вине простого монаха.

— Но как это возможно?

— Он писец у архиепископа Бордоского, а наш старичок нынче утром заразился...

Епископ Куарский разинул рот, словно собираясь проглотить круглый сыр целиком.

— Откуда вы это знаете? — спросил он.

— Мне ли то не знать,— ответил кардинал, взяв за руку простодушного немца,— я только что исповедал его и напутствовал. И в сей час наш безгрешный старец готовится прямым путем лететь в рай.

Тут епископ Куарский доказал, сколь люди тучные легки на подъем. Доподлинно известно, что праведникам, особливо пузатым, господь по милости своей и в возмещение их тягот дарует кишки весьма растяжимые, как рыбьи пузыри. И вышеназванный епископ, подпрыгнув, отпрянул назад, обливаясь потом и до времени кашляя, будто бык, которому в корм подмешали перья. Потом, вдруг побледневши, бросился он вниз по лестнице, не сказав даже «прости» госпоже Империи. Когда двери захлопнулись за епископом и он уже припустился бегом по улице, кардинал Рагузский рассмеялся и сказал, желая позабавиться:

— Ах, милочка моя, ужель недостоин я стать папою и — того лучше — быть хоть на сегодня твоим возлюбленным?

Увидев, что Империа нахмурилась, он приблизился к ней, желая заключить ее в объятия, приголубить, прижать к груди по-кардинальски, ибо у кардиналов руки лучше подвешены, чем у прочих людей, лучше даже, чем у вояк, по той причине, что святые отцы в праздности живут и силы свои зря не расточают.

— Ах,— воскликнула Империа, отшатнувшись,— ты

ищешь моей смерти, митроносец безумный! Для вас превыше всего ваше распутство, бессердечный грубиян! Что я тебе? Игрушка, служанка твоей похоти? Ежели страсть твоя меня убьет, вы причислите меня к лику святых, только и всего. Ты заразился коклюшем и смеешь еще домогаться меня! Ступай прочь, поворачивай отсюда, безмозглый монах, а меня и перстом коснуться не смей,— кричала она, видя, что он к ней приближается,— не то попотчую тебя этим кинжалом!

И лукавая девка выхватила из кошелька свой тонкий стилет, коим она при надобности умела владеть.

— Но, птичка райская, душечка моя,— молил кардинал,— ужели ты не поняла шутки? Надобно же было мне выпроводить прочь престарелого Куарского быка.

— Да, да, сейчас я увижу, любите вы меня или нет. Уйдите немедля. Если вас уже взял недуг, погибель моя вас нимало не тревожит. Мне достаточно знаком ваш нрав, знаю я, какую цену вы готовы заплатить ради единого мига услады; в тот час, когда вам придет пора помирать, вы всю землю без жалости затопите. Недаром во хмелю вы сами тем похвалялись. А я люблю только себя, свои драгоценности и свое здоровье. Ступайте! Придите завтра, если только до утра не протухнете. Сегодня я тебя ненавижу, добрый мой кардинал,— добавила она, улыбаясь.

— Империа! — возопил кардинал, падая на колени.— Святая Империа, не играй моими чувствами!

— Да что вы! — отвечала куртизанка.— Никогда я не играю предметами священными.

— Ах ты, тварь! Завтра же отлучу тебя от церкви!

— Боже правый! Да ваши кардинальские мозги совсем свихнулись!

— Империа, отродье дьявольское! Нет! Нет! Красавица моя, душенька!

— Уважайте хоть сан свой! Не стойте на коленях. Глядеть противно!

— Ну, хочешь, я дам тебе отпущение грехов in articulo mortis [1]? Хочешь, подарю тебе свое состояние

---

[1] На случай внезапной смерти *(лат.)*.

или, того лучше, частицу животворящего креста господня? Хочешь?

— Нынче вечером мое сердце не купить никакими богатствами, ни земными, ни небесными,— смеясь, отвечала Империа.— Я была бы последней из грешниц, недостойной приобщаться святых тайн, не будь у меня своих прихотей.

— Я сожгу твой дом! Ведьма! Ты приворожила меня и за то сгоришь на костре... Выслушай меня, любовь моя, моя душенька, обещаю тебе лучшее место на небесах. Ну скажи! Не хочешь? Так смерть тебе, смерть, колдунья!

— Вот как? Я убью вас, монсеньер!

Кардинал даже задохнулся от ярости.

— Да вы безумны,— сказала Империа.— Ступайте прочь, вы последних сил лишитесь.

— Погоди, вот буду папою, ты за все заплатишь!

— Все равно и тогда из моей воли не выйдешь!

— Скажи, чем могу я угодить тебе сегодня?

— Уйди.

Она вскочила, проворная, словно трясогузка, порхнула в свою спальню и заперлась на замок, предоставив кардиналу бушевать одному, так что пришлось ему в конце концов удалиться. Когда же красавица Империа осталась в одиночестве перед очагом у стола, убранного к трапезе, покинутая своим юным монашком, она разорвала на себе в гневе все свои золотые цепочки.

— Клянусь всеми чертями, рогатыми и безрогими, раз этот негодный мальчишка побудил меня задать кардиналу подобную трепку, за что меня завтра могут отравить, а сам мне никакого удовольствия не доставил, клянусь, я не умру прежде, чем не узрю своими глазами, как с него живого шкуру будут сдирать. Ах, сколь я несчастна! — горько плакалась она, на сей раз непритворными слезами.— Лишь краткие часы радости урываю я то здесь, то там и должна оплачивать их тем, что подлым ремеслом занимаюсь, да еще душу свою гублю!

Так Империа горестные пени свои изливала, словно телок, ревущий под ножом мясника, и вдруг увидела она в венецианском зеркале румяное лицо монашка, который ловко проскользнул в комнату и тихонько встал за ее спиной. И тогда воскликнула она:

— Ты самый распрекрасный из монахов, самый миленький монашек на свете, который когда-либо монашничал, монашился, монашулил в сем священном любвеобильном городе Констанце! Поди ко мне, мой любезный друг, любимый мой сынок, яблочко мое, услада моя райская. Хочу выпить влагу очей твоих, съесть тебя хочу, убить любовью. О мой цветущий, благоуханный мой, лучезарный бог! Тебя, простого монаха, я сделаю королем, императором, папой римским, и будешь ты счастливее их всех! Твори тогда твою волю, рази мечом, пали огнем! Я твоя и докажу тебе это, ибо станешь ты вскорости кардиналом, хоть бы пришлось мне отдать всю кровь сердца, чтобы в алый цвет окрасить твою черную шапочку!..

Дрожащими руками наполнила она греческим вином золотую чашу, принесенную толстяком епископом Куарским, и поднесла, счастливая, своему дружку; желая услужить ему, опустилась перед ним на колени, она, чью туфельку принцы находили куда слаще для уст своих, чем папскую туфлю.

Но туренец молча смотрел на красавицу взором, столь алчущим любви, что она сказала ему, трепеща от блаженства:

— Ни слова, милый. Приступим к ужину!

НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК СТАРЫЙ БРЮИН ВЫБРАЛ СЕБЕ ЖЕНУ

Мессир Брюин, тот самый, что достроил замок Рош-Корбон ле Вувре на Луаре, был в молодости отчаянным повесой. Еще юнцом он портил девчонок, пустил по ветру родительское достояние и дошел в своем негодяйстве до того, что родного отца барона де ла Рош-Корбон засадил под запор; став сам себе господином, он денно и нощно бражничал и блудил за троих. Порастряс он свою мошну, погряз в распутстве с продажными девицами, провонял вином, предал запустению свои поместья и был отринут честными людьми,— остались ему друзьями лишь ростовщики, коим отдавал он в заклад последнее добро. Но лихоимцы весьма скоро стали скупы, и ничего из них нельзя было выжать, как из сухой ореховой скорлупы, когда увидели они, что ему нечем больше отвечать, кроме как фамильным замком де ла Рош-Корбон, ибо этот «Рюпес-Корбонис» находился под опекой самого короля. Тогда Брюин взбесился, бил правого и виноватого, сворачивая людям скулы, норовил по пустякам затеять драку. Видя это, аббат Мармустьерского монастыря, его сосед, весьма острый на язык, сказал ему, что такие поступки — верные признаки вельможных качеств и мессир стоит на правильном пути, но куда разумнее будет к вящей славе господней бить мусульман, поганящих святую землю; без сомнения, он вернется в

Турень, нагруженный сокровищами и индульгенциями, или же проследует прямо в рай, откуда и ведут свое происхождение все бароны.

Названный барон, восхищаясь великим умом аббата, отбыл, снаряженный в дорогу попечением монахов, благословляемый аббатом и при громком ликовании своих соседей и друзей. Тогда пустился он грабить многие города Азии и Африки, избивать нехристей, без зазрения совести резать сарацин, греков, англичан и прочих, не заботясь о том, друзья они или нет и откуда они берутся, ибо, к чести своей, мессир Брюин не страдал излишним любопытством и спрашивал, с кем бился, лишь после того, как уже сразил противника. В этих трудах, весьма приятных господу, королю и ему самому, Брюин заслужил славу доброго христианина, верного рыцаря и немало развлекся в заморских странах, поскольку охотнее он давал экю девкам, нежели медный грош беднякам, хотя чаще встречал честных бедняков, чем заманчивых девиц. Но как истый туренец, не брезгал он никакой похлебкой. Наконец, пресытившись турками, священными реликвиями и прочей добычей, захваченной в святой земле, Брюин, к великому изумлению жителей Вувриль она, воротился из крестового похода, нагруженный золотом и драгоценными камнями, не в пример тем, которые уезжают с набитым кошелем, а возвращаются отягченные проказой и с пустой мошной. На обратном пути из Туниса король наш Филипп наградил его графским титулом и назначил сенешалом в нашей округе и в Пуату. С тех пор его весьма полюбили, и стал он уважаем всеми по той причине, что, кроме всех прочих своих заслуг, основал собор Карм-Дешо в Эгриньольском приходе, чувствуя себя должником перед небесами за все грехи своей молодости, чем в полной мере снискал расположение самого господа и святой церкви. Оплешивев, наш гуляка и злодей образумился и зажил честно, а если и блудил, то лишь втихомолку. Редко он гневался, разве только когда роптали при нем на бога, чего не терпел, ибо сам в безумные годы своей младости был завзятым богохульником. И уж, конечно, ни с кем больше он теперь не ссорился, да и не с кем было — кто не уступит сенешалу по первому его слову? А раз все желания твои исполняются, тут и сам черт ангелом сделается.

Был у графа замок сверху донизу в живописных надстройках, подобный испанскому камзолу. Замок сей был расположен на вершине холма, откуда смотрелся он в воды Луары. Внутри все покои разукрашены были роскошными шпалерами, мебелью разной, драгоценными занавесями, всякими сарацинскими диковинками, на которые не могли налюбоваться турские жители и сам архиепископ с монахами обители святого Мартина, коим граф подарил стяг с бахромой из чистого золота. Вокруг того замка жались разного рода постройки, мельницы, амбары с зерном и всевозможные службы. Это был военный склад всей провинции, и Брюин мог выставить тысячу копий в распоряжение нашего короля. Если случалось местному бальи, склонному к короткой расправе, приводить к старому графу бедного крестьянина, заподозренного в каком-либо проступке, то старик говорил, улыбаясь:

— Отпусти этого, Бредиф, за него уже поплатились те, коих я в свое время по легкомыслию обидел...

Нередко, правда, и сам он приказывал вздернуть кого-нибудь без долгих слов на ближайшем дубовом суку или же на виселице. Но происходило это лишь во славу правосудия, чтоб добрый обычай не забывался в его владениях. Посему народ там был благоразумен и смирен, подобно монашкам, некогда здесь обитавшим, люди жили в спокойствии, зная, что сенешал защитит их от разбойников, злоумышленников, коим и впрямь он не мирволил, помня, какая язва оные проклятые хищники. А впрочем, сенешал весьма был привержен господу и прекрасно управлялся со всем: и с церковной службой, и с хорошим вином, и суд чинил по-турецки, заводя веселую болтовню с тем, кто проигрывал тяжбу, и даже некоторых к трапезе приглашал, им в утешение. Повешенных хоронили по его повелению в освященной земле, наравне с людьми, чистыми перед богом, ибо он рассуждал так: повешенному и той кары довольно, что жизни своей лишился. Что же касается евреев, то притеснял он их лишь по мере надобности, когда слишком уж они жирели, давая деньги в рост и набивая мошну. Потому и дозволял им собирать свою дань, как пчелы собирают свою, говоря, что они лучшие сборщики податей. Обирал же их только на благо и

пользу служителей церкви, короля, провинции или себя самого.

Такое добродушие привлекало к нему все сердца от мала до велика. Когда барон, отсидев положенное время на своем судейском кресле, с улыбкой возвращался домой, то аббат мармустьерский, тоже глубокий старец, говорил:

— Что-то вы нынче веселы, мессир, наверно, вздернули кого-нибудь.

А когда барон проезжал верхом по дороге из Рош-Корбона в Тур, через предместье святого Симфориона, люди промеж себя говорили:

— Вот едет наш добрый барон вершить суд!

И без страха смотрели на него, как он трусил рысцой на статной белой кобыле, которую вывез с Востока. На мосту мальчишки прерывали игру в камушки и кричали:

— День добрый, господин сенешал!

И он отвечал шутя:

— Играйте себе на здоровье, детки, пока вас не высекли.

— Слушаем, господин сенешал!

Так по милости его весь наш край был весьма доволен и забыл, какие такие бывают воры, и даже в приснопамятный год наводнения на Луаре в течение всей зимы повесили лишь двадцать два злоумышленника, не считая одного еврея, каковой был сожжен в округе Шато-Неф за то, что украл хлеб причастия или купил его, как говорили в народе, ибо все знали о несметном его богатстве.

В следующем году, в канун Ивана Купалы, или святого Ивана Косаря, как говорится у нас в Турени, появились в наших краях египтяне или цыгане, а может, и другие воровские шайки, каковые святотатственно обокрали обитель святого Мартина и как раз у подножия статуи госпожи нашей богородицы, желая оскорбить и поглумиться над истинной нашей верой, оставили дьявольски красивую девчонку, совершенно голую, такую же фиглярку и черномазую, как они сами. За сие неслыханное преступление, по решению королевских судей, равно как и церковных, юная мавританка должна была расплатиться. Ее приговорили к сожжению живьем на пло-

«ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ»

И шел ли он позади или впереди, справа или слева, жена коннетабля не переставала бросать ему огненные взоры

«ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ»

щади святого Мартина, рядом с колодцем, что на зеленном рынке. Тогда добряк Брюин наперекор прочим искусно доказал, что было бы весьма угодно господу разумно и выгодно эту африканскую душу приобщить к истинной религии. Ибо если дьявол уже вошел в оное женское тело и упорно гнездится в нем, то ни на каких кострах его не сожжешь. Архиепископ признал сие соображение весьма мудрым и канонически правильным, полностью согласным с христианским милосердием и евангелием. Однако ж городские дамы и иные влиятельные особы громко выражали свое неудовольствие, сетуя, что их лишают торжественной церемонии, ибо мавританка, говорили они, так горько оплакивает в тюрьме свою участь, кричит, как связанная коза, и, не раздумывая, согласится принять христианство, лишь бы остаться в живых, и, дай ей волю, проживет с вороний век. На это сенешал ответствовал, что если чужеземка пожелала бы, как это и должно, принять христианскую веру, то по установленному обряду состоится куда более торжественная церемония, и он обещал устроить все с королевским великолепием, сказав, что сам будет восприемником на крестинах, кумой же должна быть девственница, чтобы в полной мере угодить господу, так как он, Брюин, «непосвященный».

В нашем краю, в Турени, так называют молодых людей — холостяков или считающихся таковыми, в отличие от женатых и вдовцов. Но бойкие бабенки превосходно узнают их без всякого прозвища по тем признакам, что оные молодые люди легкомысленнее и веселее, чем иные прочие, закосневшие в брачной жизни.

Мавританка не колебалась в выборе между огнем костра и водой крещения. Она предпочла жить христианкой, нежели сгореть египтянкой. За это нежелание пожариться единый краткий миг обречена она была усохнуть сердцем на всю жизнь, ибо для вящей уверенности в ее благочестии новообращенную поместили в монастырь рядом с Шардонере, где она и произнесла монашеский обет. Церемония крещения завершилась в доме архиепископа, где был задан бал, на нем плясали без устали в честь спасителя рода человеческого дамы и дворяне Турени, которая тем и славится, что там забавляются, едят, блудят, устраивают шумные игры и всякие увеселения

чаще, чем где-либо на свете. Добрый сенешал захотел покумиться с дочкой мессира д'Азе-ле-Ридель, коего в ту пору просто называли Азе-сгоревший. Рыцарь этот участвовал в битве под Акром, городом весьма отдаленным, и попал в руки сарацина, потребовавшего за него королевский выкуп по той причине, что названный рыцарь отличался важностью осанки.

Супруга мессира Азе заложила родовое свое поместье ломбардщикам и ростовщикам, чтоб собрать нужные деньги, осталась без единого гроша и в ожидании своего господина ютилась в жалком городском жилище, где даже коврика не имелось, но была горда, как царица Савская, и смела, как борзая, защищающая добро своего хозяина. Узнав о великой ее нужде, сенешал поспешил весьма деликатно пригласить мадмуазель д'Азе в крестные матери к названной египтянке и тем приобрести право помочь г-же д'Азе. Он приберег тяжелую золотую цепь, доставшуюся ему при взятии Кипра, которую и собирался надеть на шейку миленькой своей куме; но вместе с цепью отдал он ей все свои поместья, седовласую голову, свою казну и белых кобылиц — одним словом, отдал все, как только увидел Бланш д'Азе танцующей павану среди турских дам. И хотя мавританка, расплясавшаяся напоследок, удивила все общество быстрыми поворотами, круженьем, прыжками, порханьем и разными фокусами, однако ж Бланш превзошла ее, по общему мнению, своей целомудренной грацией в танцах.

И сенешал Брюин, любуясь этой прелестнейшей девицей, ножки которой едва касались пола и которая резвилась в невинности своих семнадцати лет, подобно стрекозе, настраивающей свою скрипочку, почувствовал вдруг, как дряхлую его плоть сводит судорога старческого неодолимого желания, разливая жар по всем суставам, от пят до самого затылка, пощадив лишь голову, ибо трудно любви растопить снег, коим время осыпало кудри. И Брюин задумался, поняв, что не хватает жены у него в доме, и дом показался ему еще более печальным, чем когда-либо. Что хорошего, когда в замке нет хозяйки... Словно колокол без языка. Жена — вот его последнее желание, которое оставалось неисполненным. А последнее желание надо исполнить не мешкая: ведь если г-жа

д'Азе станет откладывать да тянуть, ему не миновать стать перебраться из здешнего мира в иной. И пока шумели гости на крестинах, он забыл, что изувечен в битвах и что уже перешагнул восьмой десяток, отчего реже стали его седые кудри. Мессир Брюин думал, что все еще достаточно зорки его глаза, коли он видит ясно свою куму, которая, следуя приказу матери, привечала его улыбкой и ласковым взглядом, полагая, что такой старый кум — соседство неопасное. Вследствие чего Бланш, невинная простушка в отличие от всех туренских девушек, шаловливых, как майское утро, позволила старцу поцеловать сначала ручку, а потом и шейку, ниже дозволенного, по свидетельству архиепископа, обвенчавшего их неделю спустя. И до чего же прекрасную сыграли свадьбу, но прекраснее всего была сама невеста.

Названная Бланш была тонка и свежа несравненно, и лучше того — девственна, как сама девственность! До того девственная, что не имела понятия, что такое любовь и зачем и как она творится. До того была она невинна, что удивлялась, зачем это супруги нежатся в постели, и думала, что младенца находят в кочне капусты. Мать ее воспитала в полном неведении, и если что объясняла, то разве только как ложку до рта донести. И так выросла Бланш цветущей и нетронутой, веселой, простодушной, словом, чистым ангелом, коему не хватало лишь крыльев, чтоб улететь в рай. И когда она, выехав из бедного жилища, где оставила плачущую мать, направилась на торжество бракосочетания в собор святого Гатьена и святого Маврикия, окрестные жители собрались поглазеть на невесту и на ковры, разостланные вдоль улицы Селери, и говорили они, что впервые столь крошечные ножки ступают по туренской земле и впервые глядят в туренское небо такие глазки. А такого праздника с цветами и коврами старожилы не запомнят. Городские девки, те, что из квартала святого Мартина и из пригорода Шато-Неф, завидовали густым золотистым косам невесты, коими Бланш, по их разумению, и подцепила себе графство; но еще больше хотелось им иметь платье, затканное золотом, и заморские драгоценности, и бриллианты, и цепи, коими Бланш поигрывала и кои навсегда приковали ее к названному сенешалу. Старый вояка подбодрился, стоя

рядом с невестой, весь сиял, счастье так и сквозило сквозь все его морщины, так и светилось во взгляде его и в каждом движении. Хотя мессир Брюин и походил фигурой на кривой тесак, он все же старался вытянуться во фронт перед Бланш, не хуже ландскнехта, отдающего честь на параде; и все прикладывал к груди руку, будто от счастья у него спирало дыхание. Внимая перезвону колоколов, любуясь процессией и пышным свадебным поездом, о котором начали говорить уже на следующий день после праздника в архиепископском доме, вышеназванные девки размечтались—подавай им охапками мавританские души да уйму старых сенешалов, и чтобы градом сыпались крестины египтянок; но тот случай так и остался единственным в Турени, ибо наш край далеко от Египта и от Богемии. Г-же д'Азе после церемонии была вручена немалая сумма денег, с которой она и отправилась незамедлительно навстречу своему супругу по направлению к городу Акру, сопровождаемая начальником стражи и алебардщиками, которых граф де ла Рош-Корбон снарядил на свой счет. Благородная дама тронулась в путь сразу же после свадьбы, передав свою дочь с рук на руки сенешалу, слезно прося при том поберечь ее. Вскоре она вернулась со своим супругом, рыцарем д'Азе, каковой оказался зараженным проказой, и она излечила мужа, усердно ухаживая за ним и не боясь, что проказа пристанет к ней. Сей поступок вызвал всеобщее одобрение.

По окончании свадебных празднеств, длившихся три дня, к великой радости туренцев, мессир Брюин с почетом повез Бланш в свой замок. Следуя обычаю, он торжественно уложил новобрачную в постель, каковую заблаговременно благословил мармустьерский аббат. После чего и сам Брюин возлег на супружеское ложе, которое возвышалось в огромной фамильной спальне де ла Рош-Корбонов, обтянутой зеленой парчой с золотыми нитями. Когда, весь надушенный, старик Брюин очутился бок о бок со своей хорошенькой женой, он сперва поцеловал ее в лобик, потом в грудку, белую, пухленькую, в то самое место, где недавно с ее разрешения застегнул пряжку тяжелой золотой цепи, и тем дело и кончилось. Старый распутник, слишком много о себе возомнив, надеялся довершить остальное, но, увы, пришлось отпустить

амура на все четыре стороны. Напрасно из нижних зал, где все еще продолжались танцы, доносились веселые свадебные песни, эпиталамы и шутки. Брюин пожелал подкрепиться и хлебнул свадебного напитка из золотого кубка, тоже получившего по обычаю соответствующее благословение, однако же оное питье согрело ему лишь желудок, но отнюдь не воскресило того, что почило навеки. Бланш даже и не заметила такого обмана со стороны супруга, ибо она была девственна душою и в супружестве видела лишь то, что зримо глазам молоденькой девушки, как-то: наряды, празднества, коней, а также то, что тебя называют дамой, госпожой, что ты графиня, что можешь веселиться и приказывать. Наивное дитя, она перебирала пальчиками золотую бахрому полога и восхищалась пышностью усыпальницы, где предстояло увянуть цвету ее молодости.

Слишком поздно осознав свою вину, но, не теряя надежды на будущее, хотя оно день за днем должно было разрушить и то малое, чем мог он еще располагать для утехи жены, сенешал решил попробовать заменить действие словом. И вот он стал развлекать Бланш разговором, сказал, что к ней перейдут ключи от всех шкафов, чердаков, баулов, полная и неограниченная власть над всеми его домами и поместьями,— словом, сулил ей и синицу в руки и журавля в небе. И поняв, что она будет кататься как сыр в масле, Бланш решила, что ее супруг самый любезный кавалер на всем свете.

Усевшись в кровати, она с улыбкой любовалась зеленым парчовым пологом и радовалась, что будет отныне еженощно почивать на столь прекрасном ложе.

Видя, что Бланш разыгралась, хитрый вельможа, который с девушками знался редко, а водился чаще с куртизанками, помнил лишь, что женщины весьма бойки в постели, и убоялся игры прикосновений, случайных поцелуев и других выражений любви, на которые в былые времена достойно умел ответить, а ныне—увы!—они могли взволновать его не более, чем заупокойная месса о почившем папе. Итак, он отодвинулся к самому краю постели, опасаясь даров любви, и сказал своей слишком пленительной супруге:

— Ну, что ж, моя милочка, вот вы теперь и супруга сенешала и, в сущности, неплохо осенешалены.

— О нет! — ответила она.

— Как нет! — возразил Брюин в испуге.— Разве вы не дама?

— Нет,— повторила она.— Я буду дама, только когда у меня родится ребенок.

— Видели вы поля по дороге сюда? — заговорил старичок.

— Да,— сказала она.

— Ну, так они теперь ваши.

— Вот как! — ответила Бланш со смехом.— Я там буду бабочек ловить, резвиться.

— Вот и умница! — промолвил граф.— А как же лес?

— Ах, я туда одна не пойду, вы меня будете сопровождать. Но,— прибавила она,— дайте мне немножечко того ликера, который варили для нас с таким старанием.

— А к чему он вам, душенька? От него внутренности жжет.

— Пусть жжет,— воскликнула она в раздражении,— ведь я хочу подарить вам как можно скорее ребеночка, а питье тому поможет.

— О моя малютка! — сказал сенешал, поняв, что Бланш была девственна до кончиков ногтей.— Для сего дела прежде всего необходимо соизволение господа, и жена должна быть готова к принятию своего сеятеля.

— А когда же это будет? — спросила она улыбаясь.

— Когда того возжелает природа,— ответил он шутки ради.

— А что для того надо делать?

— О, тут нужны некие действия, каббалистические и алхимические, кои далеко не безопасны.

— А-а! — протянула она с задумчивым видом.— Вот почему матушка плакала, ожидая моего превращения, но Берта де Прейли ужасно важничает оттого, что сделалась женщиной, и она говорила мне, что ничего нет проще на свете.

— Сие зависит от возраста,— ответил старик.— Но скажите, видели вы на конюшне белую кобылицу, о коей там много говорят по всей Турени?

— Да, видела. Очень смирная и статная лошадка.

— Так я вам дарю ее, и вы на ней будете скакать, когда вам захочется и сколько вам угодно.

— О, вы очень добры. Я вижу, что мне не солгали, когда так говорили о вас.

— Здесь, моя милочка,— продолжал он,— у меня есть эконом, капеллан, казначей, начальник конюшни, начальник кухни, бальи и даже кавалер Монсоро, молодой слуга по имени Готье, мой знаменосец, и он сам и его люди, командиры, солдаты и кони — все вам подвластны и будут исполнять ваши желания беспрекословно, под страхом виселицы.

— Но,— возразила она,— что касается того алхимического действия, разве нельзя его произвести немедля?

— О нет,— сказал сенешал.— Для сего требуется, чтобы сначала на нас обоих снизошла благодать, иначе у нас родится злосчастный ребенок, отягченный грехами, что воспрещается законами церкви. Потому-то на свете и расплодилось такое множество неисправимых, негодных мальчишек. Неблагоразумные родители, видно, не стали дожидаться, пока очистятся их души, и чадам своим передали дурные наклонности. Прекрасные и добродетельные дети рождаются лишь от безупречных отцов. Вот почему мы и попросили мармустьерского аббата благословить наше ложе. Не нарушали ли вы в чем-либо предписаний святой церкви?

— О нет! — с живостью возразила Бланш.— Перед обедней я получила отпущение всех моих грехов, и с тех пор я не совершила даже самого маленького грешка.

— Вы, значит, вполне добродетельны!..— воскликнул хитрый сенешал.— И я в восторге, что у меня такая жена, но я-то бранился и сквернословил, как язычник.

— О, почему же?

— По той причине, что танцы слишком затянулись, и я не мог вас заполучить, привести сюда и поцеловать!

И он припал весьма изысканно к ее ручкам, осыпал их поцелуями и развлекал ее разными пустяками, чем она осталась очень довольна.

Так как Бланш чувствовала себя утомленной от танцев и всех церемоний, она снова прилегла, сказав сенешалу:

— Завтра я сама буду следить за тем, чтоб вы больше не грешили.

И она уснула, предоставив очарованному старцу любоваться ее светлой красотой, ее нежным телом; и все

же был он в большом смущении, понимая, что сохранить ее в столь приятном для него неведении окажется не легче, чем объяснить, почему быки непрестанно жуют свою жвачку. И хотя будущее не сулило ему ничего доброго, он так возгорелся, созерцая дивные совершенства Бланш, прелестной в невинном своем сне, что решил сохранить ее для себя одного и зорко оберегать сей чудесный перл любви. И со слезами на глазах стал он целовать ее мягкие золотистые волосы, прекрасные веки, ее алые и свежие уста, действуя с превеликой осторожностью, в страхе, что она проснется... Вот и все, что он познал в первую брачную ночь,— немые услады жгли ему сердце, а Бланш не шелохнулась. И бедняга горько оплакивал зимний хлад своей старости и понял, что бог подшутил над ним, дав ему орехов в ту пору, когда у него уже не осталось зубов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАК СЕНЕШАЛ БРЮИН УКРОЩАЛ СВОЮ ДЕВСТВЕННУЮ СУПРУГУ

В течение первых дней медового месяца сенешал придумывал разные глупые отговорки, злоупотребляя похвальным неведением своей супруги. Прежде всего сослался он на докуку сенешальских своих обязанностей, которые побуждают его столь часто оставлять ее одну. Потом отвлек ее сельскими забавами, повез на сбор винограда в свои виноградники близ Вувре и все старался убаюкать всякими россказнями. То он утверждал, что людям благородного звания не следует вести себя как всякой мелкоте, что зачатие графских детей происходит лишь при известном расположении небесных светил, каковое определяется учеными астрологами. Или же говорил, что надо воздерживаться от зачатия детей в праздники, ибо сие есть тяжелый труд. Он же соблюдает праздники, желая без помехи попасть в рай. А то заявлял, что если на родителей не снизошла благодать божья, то ребенок, зачатый в день святой Клары, родится слепым, а если в день святого Генуария, то тогда у него будет водянка, а в день святого Анания — парша, а святого Рока — непременно чума. Потом стал объяснять, что зачатые в фев-

рале — мерзляки, в марте — драчуны, в апреле — никудышные, а хорошие мальчики все майские. Словом, он, сенешал, хочет, чтоб его ребенок был совершенством, семи пядей во лбу, а для сего требуется благоприятное совпадение всех обстоятельств. Иной раз он говорил Бланш, что мужу дано право дарить ребенка своей жене, когда на то будет его воля, и ежели она добродетельная женщина, то и должна подчиняться желанию своего супруга. Потом, оказывается, надо было дождаться, чтоб мадам д'Азе вернулась, дабы могла присутствовать при родах. Из всего этого Бланш уразумела лишь одно: сенешал недоволен ее просьбами и, должно быть, прав, ибо он стар и умудрен опытом. Итак, она покорилась, но думала про себя о столь желанном младенце, вернее, только о нем и думала, как всякая женщина, если что-нибудь ей в голову взбредет, и не подозревала, что уподобляется в своей настойчивости куртизанкам и девкам, каковые, не стесняясь, гонятся за удовольствиями. Однажды вечером Брюин случайно заговорил о детях, хотя обычно избегал таких речей, как кошка воды, но тут, забывшись, стал жаловаться на слугу, наказанного им поутру за важный проступок.

— Наверно,— сказал сенешал,— этот малый произошел от родителей, обремененных смертными грехами.

— Что ж,— возразила Бланш,— если вам угодно подарить мне ребенка, то не бойтесь, не ждите отпущения грехов, я направлю нашего младенца на стезю добродетели, и вы будете довольны.

Тут граф понял, что жена его одержима своим желанием и что настало время вступить в борьбу, дабы одолеть его, вытравить, обуздать, пришибить, усыпить, загасить.

— Как это так, милочка, вы хотите стать матерью,— сказал он,— а еще не знаете дамского ремесла и не привыкли быть хозяйкой замка.

— Ах! — воскликнула она. — Значит, чтоб стать настоящей графиней и носить во чреве маленького графа, я должна сначала уметь изображать даму! Ну что ж, я и этому научусь наилучшим образом.

Итак, Бланш, желая добиться потомства, стала охотиться за оленями и дикими козами, перепрыгивала через рвы, скакала на белой своей кобылице по долинам

и холмам, через поля и леса. Она с удовольствием глядела, как кружат ее соколы, сама снимала с них колпачок, ловко держала их на своем маленьком кулачке, охотилась с утра до ночи. Сбылось пожелание сенешала! Но Бланш меж тем копила силы, нагуливая себе волчий аппетит. Иной раз, читая надписи на дорогах или же разлучая смертоносной стрелой птиц и диких зверей, застигнутых в любовной близости, Бланш подвергалась алхимическому действию самой природы, которая окрашивала румянцем ее лицо и волновала ей кровь. Это не способствовало умиротворению ее воинственной натуры, а лишь сильнее раздражало ее желание, выражавшееся смехом, трепетом и шаловливыми фантазиями. Сенешал, надеясь обезоружить мятежное девство супруги, отправил ее гарцевать по полям, но обман не привел к добру, по той причине, что неизведанная страсть, кипевшая в жилах охотницы, этой скачкой лишь подстегивалась, требуя игр и турниров, как паж, только что посвященный в рыцари. Добрый сенешал уразумел тогда, что он просчитался и что не бывает прохладного местечка на жаровне. И не знал, какую еще задачу задать могучей амазонке, ибо, чем больше старался он утомить ее, тем крепче она становилась. В этом бою один должен пасть от дьявольских козней, так пусть с божьей помощью избегнет он сего унижения, пусть оно падет на его голову лишь после смерти.

Бедный сенешал уже и сейчас с превеликим трудом сопровождал супругу свою на охоту. Он потел под своей амуницией и едва был жив от усталости, а ловкая его графиня набиралась сил и веселилась. Случалось, что во время ужина ей вдруг приходила охота танцевать. Старик под тяжестью расшитого камзола изнемогал от упражнений, в коих обязан был принимать участие,— то подавай жене руку, когда она выплясывает не хуже мавританки, то держи перед ней зажженный факел, когда она исполняет танец с подсвечником, и, невзирая на боли в пояснице, чирьи и ревматизмы, улыбайся, произноси любезности и расточай похвалы после всех этих прыжков, гримас и комических пантомим, которыми она развлекалась. Брюин был без ума от своей супруги — попроси она у него хоругвь из храма, он побежал бы за ней во всю прыть.

Однако ж в один прекрасный день почувствовал он, что старые его кости не дают ему бороться с резвой натурой супруги. И униженно признав свое бессилие перед ее девственностью, махнул он на все рукой, хотя и рассчитывал в душе на стыдливость и христианскую чистоту Бланш. Но все же он лишился сна, ибо подозревал, что господь бог сотворил девушек для любви, подобно тому, как куропатки созданы для вертела. Однажды в хмурое утро, когда после обильного дождя улитки выползают на дорогу и все навевает меланхолическую истому, Бланш отдыхала в креслах, погруженная в мечты, ибо ничто так не согревает плоть до последнего суставчика, будь то даже зелье самое сладостное, самое жгучее, проникающее, пронизывающее и живительное, нежели ласковое тепло, что накапливается меж пуховой подушкой и нежным пушком, покрывающим девичью кожу. Не ведая сама, что с ней творится, графиня тяготилась своей девственностью, которая нашептывала ей всякую ересь и досаждала сверх меры.

Видя, как томится его супруга, старик огорчился и решил, что пора рассеять думы, кои уводят любовь от супружеского ложа.

— Что за причина вашего уныния, милочка? — спросил он.

— Стыд.

— Чего же вы стыдитесь?

— Позор моей добродетели, ежели у меня до сих пор нет ребенка, а у вас потомства! Какая же это дама без детей? Никакая. Взгляните, у всех наших соседок есть дети. Я вышла замуж, желая стать матерью, а вы женились, желая стать отцом. Все дворяне Турени многодетны, их жены родят целыми выводками. Вы один бездетный. Над нами будут смеяться. Что станется с вашим именем, с вашими родовыми землями, кто наследует ваш титул? Ребенок — драгоценное сокровище матери; великая радость для нас завертывать его, пеленать, одевать, раздевать, ласкать, качать, баюкать, будить поутру, укладывать ввечеру, кормить, и, чувствую, что, достанься мне хоть плохонький, я бы целые дни его укачивала, ласкала, свивала, развивала на нем пеленки, подбрасывала его и смешила, как и все замужние дамы.

— Но нередко случается, что при родах женщина умирает, а вы, чтоб родить, еще слишком тонки и не развились, не то вы давно уже были бы матерью,— ответил сенешал, ошеломленный сим словесным фонтаном.— Не хотите ли купить готовенького? Он ничего не будет вам стоить — ни страданий, ни боли...

— Нет,— сказала она,— я хочу страдания и боли, без того он не будет нашим. Я отлично знаю, что он должен выйти из меня, ибо слышала в церкви, что Иисус— плод чрева матери своей, пресвятой девы.

— Тогда давайте помолимся, чтоб так и было,— воскликнул сенешал,— и обратимся к святой деве Эгриньольской. Многие женщины зачали после девятидневной молитвы, почему бы и нам тоже не попробовать.

В тот же день Бланш отправилась в Эгриньоль, к божьей матери. Она выехала из дома, будто королева, на красивой своей кобылице, в зеленом бархатном платье, зашнурованном тонкой золотой тесьмой и открытом до самых персей. У нее были алые манжеты, крошечные сапожки, высокая шапочка, расшитая драгоценными камнями, и золоченый пояс, обхватывавший ее талию, гибкую, как тростинка. Бланш намеревалась подарить свой наряд госпоже деве Марии и обещала преподнести свой дар божьей матери в день очистительной молитвы после родов. Мессир Монсоро гарцевал перед ней, сверкая ястребиным взором, оттеснял народ и наблюдал со своими всадниками за безопасностью пути. Август выдался знойный, и Брюин, разомлев от жары, задремал, неуклюже покачиваясь на своем иноходце. Увидя веселую и хорошенькую жену рядом с таким старым хрычом, крестьянка, присевшая на пень напиться водички из глиняного кувшина, спросила у беззубой ведьмы, которая подбирала рядом колосья, кляня свою бедность:

— Не едет ли это принцесса, чтоб Смерть утопить?

— Ничуть,— ответила старуха,— это наша госпожа Рош-Корбон, супруга сенешала Пуату и Турени, и едет она вымаливать себе ребенка.

— Ах! — воскликнула молодая девка и, зажужжав, как взбесившаяся муха, указала на статного красавца Монсоро, ехавшего во главе поезда. — Ну, если этот молодец за дело примется, то она много денег на свечи и на попов не истратит.

— Ах, моя красавица,— продолжала старая ведьма,— дивлюсь я, что это графине вздумалось к Эгриньольской божьей матери ехать, священники там не ахти как хороши. Ей бы лучше остановиться на часок, посидеть у мармустьерской колокольни, сразу бы и понесла, уж очень там святые отцы резвы.

— Черт с ними, с монахами,— вмешалась третья крестьянка.— Взгляните на кавалера Монсоро — и горяч и пригож, ему ли не открыть сердце оной дамы, тем паче, что в нем уже трещинка есть.

И тут наши кумушки залились хохотом. Юный Монсоро хотел было их повесить на первой осине в наказание за непотребные речи, но Бланш воскликнула:

— О мессир, пока не вешайте их, они не все еще досказали. На обратном пути послушаем, тогда и решим.

И она вся зарумянилась, а Монсоро взглянул на нее в упор, как бы желая вселить в ее сердце тайное понимание любви. Но от речей бойких кумушек уже взбудоражились все мысли графини Брюин, и немудреные слова уже пустили росток в ее сердце. Девственность ее стала подобна труту — от одного слова могла вспыхнуть. Только теперь юная Бланш увидела приметные различия между внешними достоинствами старого ее супруга и совершенствами Готье Монсоро, которого не слишком тяготили его двадцать три года, так что держался он в седле прямо, как кегля, и был бодр, как первый звон к заутрене, меж тем как сенашал все время подремывал. Готье был ловок и расторопен в том, в чем хозяин его сдавал. Соседство таких горячих молодцов некоторые красотки предпочитают всем своим ночным уборам, полагая, что оно вернее предохраняет от блох. Некоторые их за это поносят, чего делать не следует, ибо каждый вправе спать, как ему заблагорассудится.

Много дум передумала графиня в пути и додумалась до того, что, подъезжая к турскому мосту, уже воспылала к Готье страстью, тайной и безрассудной, как может любить лишь девица, не знающая, что такое любовь. Итак, стала она доброжелательной, ибо пожелала добра ближнего своего, самого лучшего, чем обладает мужчина. Она впала в любовный недуг, опустясь в мгновение ока на самое дно страданий, ибо весь путь, от первого до по-

следнего вздоха вожделения, охвачен огнем. А ведь до того она не знала, что стало ей ведомо теперь: что через взоры может передаваться некий тончайший бальзам, причиняющий жестокие потрясения во всех уголках сердца, бегущий по всем жилкам, по мышцам, вплоть до корней волос, вызывая испарину во всем естестве, проникая в самые мозги, в поры кожи, во все внутренности, гипохондрические сосуды и прочее; и все в ней сразу расширилось, загорелось, взыграло, прониклось сладкой отравой, взбунтовалось и затрепетало, словно ее кололи тысячи иголок. И столь опьянило девственницу вполне понятное волнение, что затуманился ее взор и вместо своего старого супруга видела она Готье, которого природа наградила столь же щедро, как иного аббата, коему она дарует второй подбородок сверх положенного человеку. Когда наш старец въехал в город, его разбудили приветственные клики толпы, и весьма торжественно со всей своей свитой он проследовал в собор Эгриньольской богоматери, каковую в старые времена называли «Достойнейшая». Бланш направилась к часовне, где у господа бога и девы Марии вымаливают дамы себе потомство, и, по обычаю, вошла туда одна, а сенешал, свита его и любопытные остались за решеткой. Когда графиня увидела старика монаха, в обязанность коего входило служить молебствия об избавлении от бесплодия и выслушивать обеты богомольцев, спросила она названного монаха, много ли есть на свете женщин бесплодных. На что монах ответил, что жаловаться на сие было бы грех, ибо младенцы приносят изрядный доход святой церкви.

— А часто ли вам случается видеть,— продолжала Бланш,— молодых женщин, у которых были бы столь старые супруги, как сенешал?

— Редко,— ответил монах.

— Но дождались ли сии женщины когда потомства?

— Всенепременно,— ответил монах с улыбкой.

— А те, у которых мужья помоложе?

— А те не всегда.

— О, значит, с таким супругом, как сенешал, дело обстоит вернее?

— Вне сомнения,— ответил монах.

— А почему?

— Потому, госпожа,— с важностью промолвил монах,— что до сего возраста единый бог в это дело вмешивается, а после участвуют в нем люди.

В те времена, как известно, вся ученая премудрость была достоянием духовных лиц. Бланш произнесла обет, и дар ее был одним из самых богатых, ибо одежды ее стоили не менее двух тысяч золотых.

— Вы весьма веселы,— сказал ей граф, когда на обратном пути она поднимала на дыбы, горячила и заставляла плясать свою кобылицу.

— О да, отныне я верю, что рожу ребенка. Но раз нужны для того чьи-либо труды, как сказал мне монах, то решила я обратиться к Готье...

Старик тут же возжелал убить монаха, но одумался, ибо такое преступление слишком дорого ему стоило бы, и он порешил отомстить с помощью архиепископа, самому же остаться в стороне. Еще не доехав до Рош-Корбона, он приказал мессиру де Монсоро отправляться к себе на родину поискать ветра в поле, что молодой Готье не преминул выполнить, помня былые подвиги своего хозяина.

А на место названного Готье Брюин призвал сына дворянина Жаланж, поместье коего входило в феод Рош-Корбон. То был юноша по имени Ренэ, еще не достигший четырнадцати лет, и граф назначил его пажом, полагая позднее произвести в оруженосцы, а командование над своими людьми препоручил старому рубаке, с коим немало натворил дел в Палестине и в иных странах. Действуя так, граф надеялся оградить себя от ношения налобника с ветвистыми рогами и решил попытаться обуздать, укротить, осадить непокорное девство своей супруги, по причине коего она металась, как кобылица, запутавшаяся в аркане.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ НЕВОЛЬНЫЙ

В воскресенье, следующее за прибытием юного Ренэ в замок ла Рош-Корбон, отправилась Бланш на охоту, оставив дома старого Брюина, и когда въезжала в лес неподалеку от монастыря Карно, то увидела монаха, который прижал девушку с ретивостью, не безопасной

для жизни бедняжки, и потому, пришпорив лошадь, графиня пустилась вскачь, крикнув своим людям:

— Эй, помогите, как бы он ее не убил!

Но, подскакав поближе, круто повернула, ибо зрелище того, что совершил монах, испортило ей всю охоту. В раздумье воротилась она домой, и с той поры мозг ее озарился, словно зажгли в темноте фонарь, и в лучах его предстали изображения на стенах церкви и другие картины, строки фаблио, сказы трубадуров и повадки птиц. И нежданно уразумела она сладостную тайну любви, о который рассказывает природа на всех сущих языках, даже на языке безгласных рыб. Нет большего безумия, чем скрывать сию науку от девственниц! Бланш легла спать в ранний час и, отходя ко сну, сказала мужу:

— Брюин, вы меня обманули! Вы должны поступить со мной, как тот монах с девушкой.

Старый Брюин догадался, о чем идет речь, и почуял, что настал роковой час. И, кинув на Бланш обжигающий взгляд, в коем страсть все еще не хотела сдаваться, тихо промолвил:

— Увы, милочка, когда брал я вас в жены, любви в моем сердце было много, а силы в теле мало, и понадеялся я на вашу милость и добродетель. Вся беда моя в том, что могу я любить теперь лишь сердцем. И беда эта приблизит мою кончину, так что скоро вы станете свободной. Подождите же, когда я отойду в мир иной. Вот единственная просьба, с которой обращается к вам ваш господин, тот, кто мог бы приказывать вам, но желает быть лишь вашим подданным, слугой вашим. Не позорьте же моих седин. Случалось, что в подобных обстоятельствах мужья убивали своих жен.

— Увы, значит вы меня убьете? — промолвила она.

— Нет, я слишком люблю тебя,— ответил старец.— Ведь ты цветок моей старости, радость моей души. Ты моя возлюбленная дочь! Твоя краса — отрада моих очей, и от тебя я все приму, и горе и счастье. Я дал тебе полную свободу, докажи, что ты не так уж ненавидишь бедного Брюина, который сделал тебя важной дамой, богатой и всеми чтимой. А какая прекрасная из тебя выйдет вдова! Поверь, счастье твое облегчит мне мою кончину.

И на глаза его, не знавшие слез, набежала горячая слеза и скатилась по щеке его, бурой, как сосновая шишка, и упала на руку жены; тронутая великой любовью старца, готового лечь в могилу ей в угоду, она воскликнула со смехом:

— Полно, полно, не плачьте, я подожду.

Тогда сенешал стал лобзать ее ручки и улещать жену нежными словечками, произнося с волнением в голосе:

— Если б ты знала, Бланш, голубка моя, как я ласкал, как целовал тебя, пока ты спала, вот сюда и вот тут...

И старый сатир поглаживал ее обеими руками, костлявыми, как руки скелета.

— Но я,— продолжал он,— не смел разбудить зверя, который оскорбил бы мою честь, ибо в любовном моем приближении участвовало только сердце.

— Ах, вы можете меня ласкать,— перебила она супруга,— даже когда я не сплю, мне от этого вреда не будет.

В ответ на эти слова бедный граф взял с ночного столика маленький кинжал и, подавая его Бланш, произнес в неистовой ярости:

— Убей меня или скажи, что ты меня любишь, хоть самую малость!

— Да, да, я постараюсь крепко вас полюбить! — воскликнула она в испуге.

Вот так-то молодая девственница поработила его, забрала власть над стариком и с хитростью, свойственной женскому полу, стала гонять взад и вперед бедного графа, словно мельник своего осла: вот, мол, тебе за то, что оставил невозделанным прекрасное поле Венеры... Брюин... Брюин, милый, подай мне то... Брюин, подай мне се... скорее, Брюин! И туда Брюин, и сюда Брюин, так что Брюин исстрадался более от милостей своей супруги, нежели от ее немилости. То вдруг ей понравится пурпуровый цвет, и надо немедля все в доме менять, то вдруг нахмурит брови, и тогда развязывай мошну. А когда она бывала грустна, граф, сидя в своем судейском кресле, приказывал: «Вешать!» — правого и виноватого. Другой на его месте пропал бы, как муха, в этой бабьей войне, но Брюин оказался железной по-

роды, и добить его было нелегко. Однажды перевернула Бланш весь дом вверх дном, загоняла людей и скотину и своими капризами могла бы довести до отчаяния самого отца небесного, у коего терпение неиссякаемо, ибо он терпит нас грешных. А ложась спать, сказала она сенешалу:

— Мой добрый Брюин, меня одолели всякие фантазии, они жалят и колют меня, добираются до сердца, до мозга и толкают меня на злые поступки, а по ночам мне все чудится монах из Карно.

— Голубка моя,— ответил сенешал,— все это чертовщина и соблазн, против чего умеют защищаться монахи и монахини. Потому, ради спасения вашего, следует вам пойти на исповедь к достойному мармустьерскому аббату, соседу нашему; он даст вам совет и отечески наставит вас на путь истины.

— Я завтра же отправлюсь,— ответила она.

Едва забрезжило утро, как Бланш отправилась в монастырь благочестивых братьев, которые, дивясь посещению такой прелестной дамы, совершили вечером не один грех, но в тот час весьма учтиво проводили ее к достойному аббату.

Бланш застала названного аббата во внутреннем саду, под цветущей аркой, около утеса. Она остановилась в благоговении, пораженная строгой осанкой святого отца, хотя и не привыкла трепетать перед почтенными сединами.

— Храни вас господь, графиня,— сказал аббат,—что ищете вы, такая молодая, столь близко от смерти?

— Ваших драгоценных советов,— ответила та, приседая перед ним.— И если вы соблаговолите наставить заблудшую овцу, я буду весьма счастлива иметь такого мудрого духовника.

— Дочь моя,— отвечал монах, с которым старый Брюин заранее сговорился, прося его слукавить и сыграть комедию пред молодой графиней.— Если б над моей лысеющей головой не пронеслось сто студеных зим, не стал бы я слушать ваших грехов... но говорите. И если вы попадете в рай, пусть сие совершится с моей помощью.

Тогда супруга сенешала выбросила перед ним всю мелкую рыбешку из своего сачка и, очистившись от ма-

лых докук, дошла до главной причины, приведшей ее на исповедь.

— Ах, отец мой, я должна вам открыть, что ежедневно я мучима желанием зачать ребенка... грех ли это?

— Нет,— ответствовал аббат.

— Но по воле природы супругу моему не дано открыть кошель и подать на бедность, как говорят нищие на дорогах,— промолвила графиня.

— В таком случае вы должны жить в чистоте, бежать от помыслов подобного рода, воздерживаться,— отвечал аббат.

— Но я ведь слышала проповедь в церкви богоматери Жаланжской, что нет в том греха, если не извлекаешь ни прибыли, ни удовольствия.

— И удовольствие вы получите,— сказал аббат,— и ребенка, а его можно счесть прибылью! Посему уразумейте и запомните, что смертный грех пред богом и преступление пред людьми совершает та женщина, что зачнет от мужчины, с которым ее не соединила церковь; оные жены, нарушающие святые законы брака, понесут великую кару на том свете, отданы будут на произвол страшных чудовищ с острыми когтями, с вилами; теми вилами вкинут они грешницу в огненную пещь за то, что в земной жизни накаляла она свое сердце свыше того, чем дозволено.

На что Бланш, почесав себе за ушком и немного подумав, вопросила:

— А как поступила дева Мария?

— О, сие есть чудо,— ответствовал аббат.

— А что такое чудо?

— Нечто необъяснимое и во что следует верить, не рассуждая.

— А почему бы мне не совершить чуда?

— Сие чудо случилось лишь однажды, ибо родившийся был сын божий,— сказал священник.

— Неужели, отец мой, мне, по воле божьей, суждено умереть или из разумной и здоровой женщины стать помешанной, а ведь это мне угрожает! Не только вся я томлюсь и сгораю, но мысли мои мутятся и ничто мне не мило; чтобы приблизиться к мужчине, я готова лезть через стены, бежать через поля, ничуть не стыдясь, и ни-

чего бы не пожалела, лишь бы узнать, чего добивался монах из Карно. И когда накатит на меня такое и начнет терзать мое тело и душу, тогда нет мне ни бога, ни черта, ни мужа,— вся дрожу, бегу, врываюсь в трапезную, бью посуду, мчусь на птичий или на скотный двор, все крушу, так что и передать нельзя. Но я не стану сознаваться вам во всех своих проступках по той причине, что меня от слов одних в жар бросает, и чувствую я нестерпимый зуд, будь он проклят. Пусть уж лучше я совсем ума лишусь и добродетели вместе с ним. Неужели бог, вложивший в мою плоть эту великую любовь, проклянет меня?

В ответ на эти слова теперь уж священник почесал у себя за ухом, весьма дивясь, что девство может порождать столь жалобные пени, глубокие мысли и рассуждения.

— Дочь моя,— сказал он,— бог отличил нас от животных и создал рай, каковой есть наша награда, потому-то и дан нам разум, кормило средь бурь, управляющее нашими суетными желаниями. Есть еще и другие способы обуздать плотское буйство — посредством поста, усиленных трудов и прилежания. И вместо того чтоб сновать и метаться, как сорвавшийся с цепи сурок, вам следует молиться деве Марии, спать на голых досках, заботиться о хозяйстве, а не пребывать в праздности.

— Ах, отец мой, когда я в церкви сижу на своей скамье, я никого не вижу, ни священника, ни алтарь, а только младенца Христа, и одолевает меня все то же желание. А что, если вдруг закружится у меня голова, помрачится мой рассудок, ведь могу я попасть в силки любви?

— Если б то случилось с вами,— вымолвил неосторожно аббат,— вы уподобились бы святой Лиодоре, которая однажды крепко заснула, немного раскинувшись по случаю большой жары, притом же и одета была весьма легко. К ней подкрался юноша, исполненный скверных намерений, овладел ею во время сна, и зачала она. И поскольку названная святая в неведении оставалась о своей беде, то весьма удивилась, когда подошло ей время родить, ибо полагала, что чрево ее пухнет по причине какого-нибудь тяжкого недуга. Она покаялась, и дано

ей было отпущение, как от греха невольного, раз не испытала она никакой утехи от сего преступного насилия, ибо не проснулась и была неподвижна, как свидетельствовал перед казнью сам злодей, каковой и был обезглавлен.

— Ах, отец мой, можете не сомневаться в том, что я не шелохнусь не хуже вашей святой.

С этими словами Бланш, улыбнувшись, поспешила уйти, веселясь и играя, и все думала, как бы и ей совершить невольный грех. Вернувшись из обители, она увидела во дворе юного пажа, которого обучал старик конюший лихому наездничеству; юноша, гарцуя по кругу на чистокровном коне, как бы сросся с ним, подымал его на дыбы, бросал вперед, проделывая всякие вольты, посылая коня то галопом, то рысью, скакал, приподнимаясь на седле, и был до того миловиден, ловок, поворотлив, что и описать невозможно. Словом, мог бы он соблазнить самую добродетельную Лукрецию, лишившую себя жизни после совершенного над нею насилия.

«Ах, жаль, что нашему пажу еще не минуло пятнадцати лет, я бы крепко уснула где-нибудь поблизости от него»,— подумала Бланш.

Но, несмотря на слишком юный возраст красивого пажа, во время вечерней трапезы она заглядывалась на черные его кудри, на белизну и румянец, на изящные движения; особенно ей полюбились его глаза, где играла прозрачная влага и живой огонь, который он, как дитя малое, страшился обнаружить перед посторонними.

Позднее, вечером, когда супруга сенешала сидела, задумавшись, в креслах у огня, старый Брюин спросил, чем она озабочена.

— Я думаю,— ответила она,— что вы, должно быть, весьма рано начали свои любовные похождения, если стали такой развалиной.

— О,— ответил он, улыбаясь, как все старцы, когда их просят припомнить шалости юных лет.— Мне не было и четырнадцати, когда я обрюхатил служанку моей матери.

Бланш только того и нужно было, она подумала, что и паж Ренэ, должно быть, вошел уже в силу, и, развеселясь, стала теребить старого графа, затаив в себе желание слаще меда сладчайшего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАКИМ ОБРАЗОМ И С ЧЬЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ НЕКИЙ МЛАДЕНЕЦ

Супруге сенешала недолго пришлось раздумывать, как пробудить скороспелую любовь в отроке, она раскинула ловушки, куда сам собой попадает наисильнейший зверь. И вот как это произошло. В жаркий полдень старый граф имел обыкновение возлежать после трапезы по сарацинскому обычаю и привычки этой никогда не изменял со времени своего возвращения из святой земли. В тот час Бланш либо гуляла одна в поле, либо развлекала себя женским рукоделием, как-то: вышиванием и шитьем. Но чаще всего, не покидая замка, наблюдала за стиркой или за уборкой скатертей, а то бродила по замку. Тогда-то ей и пришло в голову посвятить сей тихий час досуга занятиям с пажем, дабы довершить его воспитание чтением книг и повторением молитв. И вот на другой же день, как только сенешал уснул, изнемогая от солнца, которое так и палит в этот час на холмах Рош-Корбона (да что и говорить, полезнее было старику сонуть, чем крутиться, вертеться и терпеть муку от дьявольских проделок неугомонной девственницы), Бланш взобралась на парадное графское кресло, решив, что это высокое сиденье будет ей очень кстати, если кто случайно поглядит снизу; лукавая особа весьма удобно расположилась в этом кресле, подобно ласточке в гнездышке, и склонила милое свое личико на руку, словно уснувшее дитя. Но, приготовляясь таким образом, она смотрела вокруг себя жадными, веселыми глазами, улыбаясь заранее всяким тайным радостям, каковые принесут ей вздохи и смущенные взоры юного пажа, ибо она собиралась усадить его у своих ног на расстоянии не большем, чем может прыгнуть старая блоха. И впрямь, она весьма ловко разостлала бархатный четырехугольный коврик, где должен был преклонить колени бедный мальчик, жизнью и душой коего Бланш собиралась всласть наиграться, здраво рассудив, что даже святой, вытесанный из камня, ежели заставить его взирать на складки атласных юбок, не преминет заприметить и залюбоваться совершенством прекрасной ножки, обтянутой белым чулком. И не мудрено, что слабый паж попался в силки, из ко-

торых и богатырь не стал бы вырываться. Вертясь и пересаживаясь то так, то этак, Бланш, наконец, нашла положение, при котором названные силки были наилучшим образом расставлены, и тут тихонько позвала: «Ренэ! Ренэ!» ,— зная, что мальчик находится рядом в зале, где помещалась стража. Он тотчас прибежал на ее зов, и вот чернокудрая голова уже показалась между драпировками входной двери.

— Что вам будет угодно приказать? — спросил паж.

И он стоял, учтиво нагнувшись и держа в руке свой бархатный алый берет, а румяные свежие щеки его с ямочками были еще алее берета.

— Подойдите сюда,— позвала она прерывающимся голосом, взволнованная его присутствием до того, что совсем не помнила себя. Да и то сказать, не было на свете драгоценных каменьев, которые блистали бы подобно очам Ренэ, не было полотна белее его кожи, не было даже у женщин столь изящного сложения. И он казался ей сугубо пленительным от близкой возможности исполнить свое желание. Легко можно себе представить, как увлекательна игра любви, когда она разгорается при свете юных глаз и солнца, при тишине и прочем.

— Читайте мне славословие богородице,— сказала она, протягивая пажу открытую книгу, лежавшую на пюпитре.— Мне надобно знать, хорошо ли обучает вас ваш учитель. Как прекрасна дева Мария, не правда ли? — спросила Бланш, улыбаясь, когда он взял в руки часослов, страницы которого были расписаны лазурью и золотом.

— Это же картинка,— ответил он скромно, бросая робкий взгляд на свою прелестную госпожу.

— Читайте, читайте!

Тогда Ренэ стал прилежно произносить сладостную мистическую хвалу, но ответные слова Бланш: «Ora pro nobis» [1]—звучали все слабее и слабее, подобно отдаленному пению рога, и когда Ренэ с жаром повторил: «О, роза сладчайшая»,—графиня, прекрасно слышавшая сии слова, ответила легким вздохом. Вследствие сего Ренэ подумал, что супруга сенешала уснула. Он не мог оторвать от нее восхищенных взоров, смело ею любовался, и ему

---

[1] Молись за нас (*лат.*).

не надо было иных песнопений, кроме гимнов любви. От счастья стучало и чуть не разрывалось сердце его. И, понятно, два чистых пламени горели один другого жарче, и если б кто увидел их вместе, понял бы, какая им грозит опасность. Ренэ наслаждался лицезрением Бланш и находил тысячу прелестей в этом пышном цветке любви. Забывшись в восторге, уронил он книгу и тут же устыдился, словно монах, застигнутый врасплох за детским грехом, но благодаря сему происшествию понял, что Бланш и в самом деле крепко уснула, ибо она не шелохнулась. Она не открыла бы глаз и при большей опасности и надеялась, что свалится нечто иное, чем часослов. Известно, что желание понести дитя есть одно из самых навязчивых желаний! Итак, юноша заметил ножку своей госпожи, обутую в крохотную голубую туфельку. Ножка поставлена была на скамеечку необычным образом по той причине, что графиня сидела слишком высоко в креслах своего супруга. Ножка была узенькая, с красивым изгибом и шириной не более чем в два перста, а длиной с воробышка, с миниатюрнейшим носком, одним словом, ножка, для наслаждения созданная, истинно девичья, достойная поцелуя, подобно тому, как разбойник достоин петли, и такая многообещающая ножка, что ангела могла бы низвести с небес, сатанински дразнящая, и, глядя на нее, хотелось создать еще хоть пару подобных ножек, точь-в-точь таких же, дабы умножить на сей земле прекрасные творения господа. Так бы и разул эту красноречивую ножку. Собираясь исполнить задуманное, перебегал он взорами, где светилась пылкая юность, от названной ножки к лицу спящей дамы и обратно. Так раскачивается язык колокола, прежде чем ударить. Ренэ прислушивался к ее сну, пил ее дыхание и не мог решить, что слаще — прильнуть ли поцелуем к ее свежим алым устам, или же поцеловать заманчивую ножку. И, наконец, из уважения ли, а может быть, убоясь ее гнева, или от великой любви выбрал он ножку и поцеловал ее крепко, но еще несмело и тут же схватил книгу, чувствуя, что краснеет все более и более, и, задыхаясь от восторга, закричал, как слепой на паперти: «O, Ianua coeli!»[1] Но Бланш отнюдь не проснулась, ожидая, что

---

1 «О небесные врата!» *(лат.)*.

паж от ножки вознесется к колену, а оттуда прямо в небеса. И почувствовала она глубокое разочарование, когда молитвословие кончилось, не принеся ей дальнейшего ущерба, и когда Ренэ, решивший, что счастья перепало ему на целую неделю, убежал, испарился, более обрадованный сим похищенным поцелуем, чем самый дерзкий вор, унесший кружку с пожертвованиями для бедных.

Оставшись одна, супруга сенешала испугалась в глубине души своей, что юноша, пожалуй, никогда не дойдет до дела, ежели они ограничатся чтением «Magnificat». Тогда она придумала, что на следующий день чуть приподнимет ножку, дабы краешком показать совершенства, кои туренцы называют «нетленными» по той причине, что они от воздуха никогда не портятся и свежести не теряют.

Уж поверьте, что после вчерашнего дня паж, воспламененный своим желанием, а еще более воображением, нетерпеливо поджидал часа чтения требника любви. И он не ошибся, его призвали, и снова началось славословие, за которым Бланш не преминула заснуть. На этот раз наш Ренэ провел рукою по прелестной ножке и осмелился даже проверить, насколько гладко колено и везде ли так же атласна кожа. В чем он и убедился, но страх столь сильно сковал его желания, что он едва прикоснулся к ножке робким поцелуем и тут же притаился. Уловив эти колебания чутким сердцем и понятливой плотью, графиня, изо всех сил сдерживаясь, чтобы остаться неподвижной, крикнула пажу:

— Ну же, Ренэ, я сплю!

Приняв ее возглас за суровый укор, испуганный паж убежал, бросив книгу и начатое дело. По сему случаю супруга сенешала присовокупила к славословию следующую свою молитву:

— Святая дева, как трудно с детьми!

Во время обеда паж обливался холодным потом, когда ему приходилось прислуживать своему господину и его супруге, и как же он был удивлен, поймав взгляд графини, самый красноречивый и жаркий из всех взглядов, когда-либо брошенных женщиной, и какая же сила заключалась в этом взгляде, если им невинный отрок был сразу превращен в смелого мужчину. Вечером этого же

дня, по той причине, что Брюин задержался дольше обычного по своим судейским делам, паж отправился разыскивать Бланш и, найдя ее спящей, подарил ей дивный сон. Он освободил ее от того, что так ее тяготило, и столь щедро ее одарил, что сего дара хватило бы с избытком не на одного младенца, а на двойню. После чего Бланш обняла своего милого и, прижав его к себе, воскликнула:

— Ах, Ренэ, ты меня разбудил!

И впрямь, сие разбудило бы и мертвую, и любовники подивились, до чего крепкий сон у святых угодниц. От того случая, безо всякого чуда, а лишь в силу благостного свойства, спасительного для супругов, на голове у почтенного мужа стало появляться некое изящное и нежное украшение, которое со временем вырастает в рога, не причиняя носителю их ни малейшего беспокойства.

С того приснопамятного и счастливого дня супруга сенешала с удовольствием предавалась в полдень отдохновению на французский лад, меж тем как Брюин храпел на сарацинский лад. Но после каждого такого отдохновения Бланш убеждалась все тверже, насколько паж ей милее старых сенешалов, и ночью куталась в покрыва-

ла, лишь бы не слышать противного духа, который шел от чертова графа. И так день ото дня, засыпая и просыпаясь после многих выше названных отдохновений и многих акафистов, супруга сенешала однажды почувствовала, как зародилась в ее прекрасном лоне та жизнь, о которой она так долго воздыхала, но отныне она более возлюбила сами усилия, нежели их плоды.

Заметим, что Ренэ научился бегло читать и не только в книгах, но и в глазах своей прелестной госпожи, ради которой он охотно бросился бы в огонь, если б она того пожелала. После многих встреч, число коих уже давно перевалило за сто, супруга сенешала задумалась и забеспокоилась о будущем любимого своего пажа. И вот в одно пасмурное утро, когда они, словно невинные дети, играли в ладошки, Бланш, которая все время проигрывала, сказала:

— Послушай, Ренэ, я ведь совершаю грех невольный, ибо творю его во сне, а ты совершаешь смертный грех.

— Ах, сударыня,— воскликнул Ренэ,— куда же гос-

поду богу девать всех грешников, ежели это называется грехом!

Бланш расхохоталась и, поцеловав его в лоб, промолвила:

— Молчи, гадкий мальчишка, дело идет о рае, и надобно нам туда попасть обоим, если хочешь вечно быть со мной!

— О, рай мой здесь!

— Перестань же, богохульник, ты забыл, что я люблю тебя более всего на свете! Разве ты не знаешь, что я ношу ребенка, которого скоро так же трудно будет скрыть, как нос на лице? А что скажет аббат, что скажет мой супруг! Он может казнить тебя, если прогневается. Мой совет таков, мой милый, ступай к мармустьерскому аббату, покайся в твоих грехах и предоставь ему решать, как следует тебе поступить при встрече с моим сенешалом.

— Увы, если я выдам ему тайну нашего счастья, то он наложит запрет на нашу любовь,— сказал хитрый паж.

— Пусть так, твое вечное блаженство мне слишком дорого.

— Итак, вы сами этого хотите, моя милая!

— Да,— ответила она не очень твердым голосом.

— Ну что ж, я пойду, но прошу вас, усните еще раз на прощание.

И юная чета принялась усердно творить прощальное славословие, как бы предвидя, и тот и другая, что любви их суждено кончиться в расцвете своей весны. На следующее утро, более для того, чтоб спасти свою бесценную госпожу, чем для собственного своего спасения, а также дабы доказать ей делом свое послушание, отправился Ренэ де Жаланж в Мармустьерский монастырь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КАК ЗА ГРЕХ ЛЮБВИ НАЛОЖЕНО БЫЛО СТРОГОЕ ПОКАЯНИЕ И НАСТУПИЛА ЗАСИМ ВЕЛИКАЯ ПЕЧАЛЬ

— Боже праведный! — воскликнул аббат, выслушав из уст пажа пространную хвалу сладостным его прегрешениям. — Ты повинен в страшном обмане, ты предал господина своего! Знаешь ли ты, злосчастный, что за

прегрешения сии будешь ты гореть на том свете вечно и во веки веков? И ведомо ли тебе, что лишаешься ты навсегда блаженства небесного за единый преходящий миг земной услады? Несчастный, я уж зрю, как ввергают тебя в преисподнюю, если не искупишь ты еще на сем свете грехи твои перед господом!

Сказав это, добрый старик аббат, который был из того теста, из коего пекутся святые, и пользовался большим почетом по всей Турени, стал стращать юношу, описывая всевозможные бедствия, христианнейше его увещевал, приводил церковные наставления, говорил горячо и многословно, не уступая в том самому дьяволу, который, задумав за шесть недель соблазнить девственницу, не мог бы превзойти его в красноречии, так что Ренэ предался в руки аббата, надеясь заслужить отпущение грехов. Названный аббат, желая наставить на путь святой добродетели юного грешника, повелел ему, не раздумывая, пасть в ноги своему господину и во всем ему повиниться. Засим, если его минует расправа, незамедлительно вступить в ряды крестоносцев, отправиться в святую землю и не менее пятнадцати лет подряд сражаться против неверных.

— Увы, святой отец,— воскликнул паж, потрясенный его проповедью,— а хватит ли пятнадцати лет, дабы заслужить прощение за столько изведанных утех! Ах, если мерить сладостью, от них вкушенной, потребовалось бы добрых тысячу лет.

— Бог милосерден, иди,— ответствовал аббат,— и впредь не греши. Сего ради eqo te absolvo...[1]

Бедный юноша вернулся в замок в великом унынии духа и первым увидел во дворе самого сенешала, который присматривал, как начищают его вооружение: шлем, налокотники и остальные доспехи. Восседая на мраморной скамье под открытым небом, Брюин любовался блеском своих щитов и нагрудников, кои сверкали в лучах солнца, приводя ему на память веселые походы в святую землю, удалые дела, любовные забавы и прочее. Когда Ренэ подошел к нему и преклонил колени, старик весьма удивился.

— Что это значит? — спросил он.

---

[1] Ныне отпущаю тебе... *(лат.)*

— Монсеньор, прикажите слугам удалиться,— ответил Ренэ.

И когда монсеньор отпустил людей, Ренэ признался ему в своей вине, поведал, как овладел преступно графиней во время ее сна, и она зачала от него по примеру той святой, с коей так же поступил некий злодей; и пришел он, Ренэ, к господину своему по повелению духовника, дабы отдать себя в руки оскорбленного мужа. Сказав это, Ренэ замолк и потупил прекрасные свои глаза, от коих и пошли все беды, склонился до земли без страха, опустив руки, обнажив голову, покорный воле божьей, ожидая своего часа. Сенешал хоть и был бледен, да не настолько, чтоб пуще не побледнеть, посему он и побледнел как полотно и слова не мог произнести от ярости; а затем старик, в жилах коего не хватило жизненных соков, чтоб дать отпрыск роду своему, ощутил в себе в тот страшный миг больше сил, чем нужно, чтобы убить человека. Он схватил волосатой своей дланью тяжелую палицу, поднял ее, размахнулся, поиграл ею, будто легковесным кегельным шаром, и уже приготовился опустить ее на голову Ренэ, который, признавая свой грех перед господином, спокойно подставил шею, надеясь искупить и в сем мире и в будущем вину своей милой.

Но цветущая его юность и обаяние столь естественного, нежного злодейства тронули суровое старческое сердце; Брюин отвел руку и, швырнув палицу в собаку, уложил ее на месте.

— Пусть тысячи миллионов когтей терзают во веки веков осганки той, что породила того, кто посадил дуб, из коего сколотили мое кресло, на котором ты наставил мне рога. Разрази господь тех, кто породил тебя, злополучный паж. Ступай к черту, откуда ты и пришел. Убирайся с глаз моих, прочь из замка, прочь из нашего края и не задерживайся здесь дольше, чем нужно, а не то я сумею придумать тебе страшную казнь, сожгу тебя на медленном огне, и ты по двадцать раз в минуту будешь проклинать гнусную свою похоть.

Услышав такие речи сенешала, к коему в этот миг вернулась молодость, ежели судить по брани и проклятиям, паж, не теряя времени, пустился наутек, и мудро

поступил. Брюин, задыхаясь от ярости, бросился в сад; топча все на своем пути, все сокрушая направо и налево и богохульствуя, он даже опрокинул три лохани, в которых слуга нес корм собакам, и в таксе впал беспамятство, что убил бы легавую вместо зайца. Наконец, нашел он свою лишившуюся девственности супругу, которая смотрела на дорогу, ведущую в монастырь, поджидая своего пажа, и — увы! — не подозревала, бедняжка, что никогда больше его не увидит.

— Ах, сударыня! Пусть меня тут же проткнет дьявол своими раскаленными вилами. Я, слава богу, уже давно не верю басням и давно уже не дитя. Неужто вы так несчастливо созданы природой, что вас целым пажем не разбудишь... Чума ему на голову! Смерть!

— Это правда,— ответила она, поняв, что все открылось.— Я все отлично почувствовала, но раз вы сами не научили меня ничему, вот я и подумала, что это мне только снится.

Тут гнев сенешала растаял, как снег на солнце, ибо и божий гнев смягчила бы единая улыбка Бланш.

— Тысячи миллионов чертей побери того ублюдка! Клянусь, что...

— Ну, ну, зря не клянитесь! — воскликнула супруга.— Если он не ваш, зато мой, а разве вы не говорили сами в тот вечер, что будете любить все, что от меня исходит?

И тут же она ловко сбила с толку своего супруга, наговорила множество ласковых слов, жалоб, упреков, столько пролила слез, произнесла все, что положено женщинам по их псалтырю: дескать, родовое поместье их никогда не будет подлежать возврату королю, и никогда ни один младенец не был зачат в большей невинности, и то, и другое, и тысячи разных разностей, и столько их насказала, что добрый наш рогоносец смягчился, а Бланш, воспользовавшись передышкой, спросила:

— Где паж?

— У черта в зубах!

— Как! Вы убили его?

Побледнев, она чуть не упала.

Брюин не знал, что и делать, когда увидел, что отрада его старческих дней гибнет, и готов был ради спа-

сения жены сам привести к ней ее пажа. Потому он и послал за ним. Но Ренэ несся, словно на крыльях; боясь казни, он отправился прямо в заморские страны, исполняя свой обет. Когда графиня узнала от аббата, какое на ее милого наложено послушание, она впала в глубокую тоску и все повторяла:

— Где же он, бедный мой, не сносить ему головы, всем он пожертвовал из любви ко мне.

И она звала его, как ребенок, не дающий покоя матери, пока не исполнят его каприз. Слушая ее жалобы, старик чувствовал, сколь он виноват, и суетился, стараясь угодить чем только мог, кроме одного, в чем угодить он был не в силах, но ничто не могло заменить ей прежних ласк пажа...

И вот в один прекрасный день появился на свет долгожданный младенец. Легко себе представить, что это было истинным праздником для рогоносца, ибо ребенок — плод прекрасной любви, лицом был в пригожего отца. Бланш утешилась, и со временем вернулась к ней милая ее веселость и та свежесть невинности, которая была утехой старости сенешала. Любуясь младенцем, его играми и смехом, которому вторил счастливый смех матери, сенешал в скором времени полюбил ребенка и разгневался бы сверх меры на всякого, кто бы усомнился в его отцовстве.

Коль скоро слух о приключении Бланш и ее пажа не перешел за ограду замка, то и говорили по всей Турени, что старый Брюин еще сумел родить себе сына. Честь Бланш посему осталась незапятнанной, а сама она с внезапной прозорливостью, которую черпала в женской своей природе, поняла, сколь необходимо ей хранить в тайне невольный грех, павший на голову ее сына. Вследствие сего стала она сдержанной, разумной и прослыла весьма добродетельной женщиной. Однако ж, немилосердно испытывая терпение своего супруга, она и близко его к себе не подпускала, считая, что навсегда принадлежит Ренэ. В награду за старческое обожание Бланш лелеяла Брюина, расточала ему улыбки, развлекала его, нежно льстила ему, как то обычно делает женщина с обманутым мужем; а сенешал чем дальше жил, тем больше привыкал к жизни и никак не желал умирать. Но однажды вечером старый Брюин все-таки начал отходить,

не зная сам, что с ним такое, и настолько даже, что сказал Бланш:

— Ах, моя милочка, я тебя не вижу, разве уже настала ночь?

То была смерть праведника, и сенешал заслужил ее в награду за свои бранные труды в святой земле.

Бланш после его кончины долго носила траур, оплакивая супруга, как родного отца. Так она не выходила из печального раздумья, не склоняя слуха к просьбам искателей ее руки, за что хвалили ее добрые люди, не ведавшие того, что у нее был тайный друг, супруг сердца, и что жила она надеждой на будущее и на самом деле пребывала вдовою и для людей и для себя самой, ибо, не получая вестей от своего возлюбленного крестоносца, считала его погибшим. Нередко бедной графине снилось, что он лежит распростертый на земле где-то там далеко, и она пробуждалась вся в слезах. И так прожила она долгих четырнадцать лет воспоминаниями об одном счастливом миге. Однажды сидела она в обществе туренских дам, беседуя с ними после обеда, и вот вбегает ее сын, которому шел тогда четырнадцатый год, и был он похож на Ренэ более чем мыслимо ребенку походить на отца, ничего не унаследовав от Брюина, кроме фамилии. И вдруг мальчик, веселый и приветливый, какой была в юности его мать, вбегает из сада весь в поту, разрумянившись, толкая и сшибая все на своем пути; по детскому обычаю и привычке бросается он к любимой матери, припадает к ее коленям и, прерывая беседу дам, восклицает:

— О матушка, что я вам скажу! На дворе я встретил странника, он схватил меня и обнял крепко, крепко.

Графиня строго взглянула на дядьку, которому поручено было следовать за молодым графом и охранять его бесценную жизнь.

— Я ведь запретила вам допускать чужих людей к моему сыну, будь то даже святой. Уходите прочь из моего дома!

— Госпожа моя, тот человек не мог причинить ему зла,— ответил смущенно старый дядька,— ибо, целуя молодого графа, обливался горючими слезами...

— Он плакал? — воскликнула графиня.— Это отец!..

Она уронила голову на подлокотник кресла,

— О боже,— прошептала графиня, бледнея от ужаса,— Савуази умирает сейчас из-за меня.

«ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ»

Жером Корниль, главный пенитенциарий и судья по делам духовным.

того самого, где, как вы уже догадались, совершился ее грех.

Услышав странные ее слова, дамы всполошились и не сразу разглядели, что бедная вдова сенешала мертва. И никто никогда не узнал, произошла ли эта скоропостижная смерть от горя, что ее милый Ренэ, верный своему обету, удалился, не ища встречи с ней, или же от великой радости, что он жив и есть надежда снять с него запрет, коим мармустьерский аббат разбил их любовь.

И все погрузились в великий траур; мессир де Жаланж лишился чувств, когда предавали земле останки его возлюбленной. Он удалился в Мармустьерский монастырь, который называли в то время Маимустье, что можно было понять как maius Monasterium, то есть самый славный монастырь, и поистине не было во всей Франции монастыря прекраснее.

НАСЛЕДНИК ДЬЯВОЛА

В те времена, о которых идет речь, в соборе Нотр-Дам служил некий добрый старый каноник, проживавший в прекрасном собственном доме близ ограды собора на улице св. Петра, что при быках. Каноник этот прибыл в Париж простым священником, нищ и гол, как нож без ножен. Будучи весьма красивым мужчиной, всеми ценными качествами обладая и отличаясь столь крепким сложением, что мог исполнять работу один за многих, без особого при том утомления, он посвятил себя с чрезвычайным рвением исповеданию дам; тоскующим давал сладостное отпущение, недугующим драхму своего бальзама, а всем оказывал какую-либо приятность. И столь он прославился своей скромностью, делами благотворительными и иными добродетелями, пастыря украшающими, что и при дворе нашлась ему паства. Дабы не возбудить ревности начальствующих лиц, а равно мужей и иных прочих,— короче сказать, желая облечь покровом святости благие и угодные иным деяния, супруга маршала Декуэрда подарила ему кость святого Виктора, и благодаря той кости происходили все чудеса, творимые каноником, а любопытствующие неизменно получали ответ: «Кость его исцеляющую силу имеет». На что никто и возразить не смел, ибо неприличным считалось сомневаться в чудодейственной силе реликвий. Под прикрытием рясы наш каноник достиг самой доброй славы мужа, «страха в бою не знающего». Посему и жил он, как король, зашибая деньгу кропилом и обращая святую воду в вино. Кроме того, нотариусы во все завещания в

разделе «Иным прочим» вписывали его имя, а также упоминали его в конце завещания в Caudicile — слово, происходящее от cauda, что означает «хвост», и следует понимать это так: «В хвосте завещания». Иные же ошибочно пишут Codicille, что означает «приписка».

Итак, добрый наш священник мог бы стать архиепископом, скажи он хотя бы шутки ради: «Не худо бы мне митру вместо шапки надеть, дабы голову не застудить». Однако ж он отвергал все предлагаемые ему блага и выбрал приход самый неприметный, желая сохранить за собой приятный доход от своих исповедниц. Но в один прекрасный день трудолюбивый наш каноник ощутил некую слабость в чреслах по той причине, что минуло ему шестьдесят восемь лет, а к тому же в исповедальнях он не щадил себя. И вот, перебрав в памяти все свои святые дела, он решил покончить с апостольским служением, тем паче, что скопил приблизительно сто тысяч экю, если не более, заработанных в поте тела своего. С того дня исповедовал он лишь женщин знатного происхождения и прекрасных собой. При дворе толковали, что при всем своем рвении даже молодым священникам никак не угнаться за каноником с улицы св. Петра, что при быках, так как он искуснее прочих мог обелить душу любой высокородной госпожи. Со временем каноник стал согласно законам природы благообразным девяностолетним старцем, убеленным сединами; был он широк в плечах и грузен, как башня, но руки его тряслись. Множество раз в жизни он плевал, не кашлянув, а теперь он кашлял, а сплюнуть не мог, и не вставал больше с кресел за своей кафедрой,— он, столько раз встававший на призыв ближнего. Однако ж старик пил и ел на славу, пребывая в молчании, храня полную видимость живого каноника из собора Парижской богоматери.

По причине неподвижности названного каноника, по причине дурной молвы о прошлом его житии, которой невежественные простолюдины с некоторых пор стали внимать, по случаю его молчаливого затворничества, его цветущего здоровья, крепкой старости и многого другого, о чем и не скажешь, некие люди во славу колдовства и ради поругания святой нашей веры распространили слух, будто настоящий каноник скончался и что больше пятидесяти лет тому назад в тело святого отца вселился

дьявол. И то сказать, былые его прихожанки ныне утверждали, что, видно, только дьявол великим своим жаром способен был производить ту алхимическую перегонку, каковая передавалась им от каноника, когда они того желали, и что у доброго духовника бес уже и в ту пору сидел в ребре. Но так как дьявол был изрядно ими обобран, измотан и не двинулся бы даже ради красавицы в двадцать лет, то люди разумные и смышленые, равно как и буржуа, которые обо всем любят судить и у плешивого на лысине найдут вошь, вопрошали: чего ради дьяволу принимать обличье каноника? Зачем ему ходить в собор богоматери в час, когда там собираются каноники, и как осмеливается он вдыхать запах ладана, пробовать святую воду и прочая, и прочая? Отвечая на эти еретические речи, одни говорили, будто дьявол пожелал обратиться на путь истины, другие же — что он принял образ каноника, намереваясь сыграть шутку с тремя племянниками и наследниками достойного каноника и принудить их до дня их собственной кончины пребывать в ожидании богатого наследства от дяди, к которому наведывались они ежедневно взглянуть, не закрыл ли старичок глаза. Но находили его неизменно бодрым, взирающим на них оком ясным, живым и пронзительным, подобно оку василиска, и это их, казалось, весьма радовало, ибо на словах они очень любили своего дядюшку.

По сему поводу некая старуха утверждала, что каноник, наверное, дьявол и есть. Убедилась она в этом, когда двое его племянников — прокурор и капитан — провожали дядю ночью домой без факелов и фонарей после ужина у пенитенциария и в пути по нечаянности толкнули старика на преогромную кучу камней, заготовленных для подножия статуи святого Христофора. При падении старца сначала раздался как бы выстрел, засим крики дражайших племянников, и при свете фонарей, принесенных от вышеназванной старухи, обнаружено было, что дядя стоял прям, как кегля, и весел был, словно кобчик, приговаривая, что доброе вино господина пенитенциария дало ему силу претерпеть подобный удар и что кости его довольно еще крепки и в более опасных переделках бывали. Добрые племянники, полагая, что старик уже мертв, были весьма удивлены и поняли, что времени

не скоро удастся сломить их дядю, если даже камни и те сплоховали, недаром они называли дядю добрым дядей, ибо был он скроен из доброго материала. Люди злоязычные говорили, будто каноник наш столь много камней встречал на своем пути, что почел за благо сидеть дома, дабы не заболеть от камней или подвергнуться иной, более страшной опасности. Это и является причиной его затворничества.

Из всех этих пересудов и толков следует, что старый священник, будь он дьявол или нет, сидел дома, умирать не желал, хотя имел трех наследников, с которыми мирился, как с коликами, простелами и иными тяготами человеческой жизни.

Один из наследников был нерадивейшим из вояк, когда-либо рожденных материнской утробой, и он разорвал оную, вылупливаясь на свет божий, по той причине, что уродился весьма зубастым и весь был покрыт шерстью. Ел он за два времени разом: за настоящее время и на будущее. И девок постоянно имел, которым оплачивал попорченные головные уборы. С дядей он сходствовал в протяженности, мощи и верной службе того, что часто в употреблении бывает. Во время больших стычек старался побольше противнику тумаков надавать, сам их не получая, что есть и всегда пребудет главнейшей задачей в ратном деле, которого он не избегал, и, не имея иных качеств, кроме своей храбрости, стал капитаном части копейщиков и весьма полюбился герцогу Бургундскому, который не слишком беспокоился, увы, чем заняты его солдаты в неурочный час. Старший племянник дьявола звался капитаном Драчем, а кредиторы, ростовщики, буржуа и прочие, которым он очищал карманы, прозвали его Гориллой по той причине, что был он столь же хитер, сколь и силен, не говоря уж о горбе, украсившем его спину от рождения, и горе было тому, кто бы осмелился пройтись насчет его горба: тут уж спуску не жди.

Второй племянник изучал право и с помощью дяди своего стал искусным прокурором, выступал в палате, где обделывал дела тех дам, коих в свое время каноник наиудачнейшим образом исповедовал. Племянника этого в насмешку прозвали Рвачом. Плотью Рвач был немощен и, казалось, выливает только холодную воду, а ли-

цом бледен, и черты имел острые, наподобие мордочки хорька. Однако ж был он чуть получше своего братца и к дяде своему даже питал некоторую привязанность, но за последние два года сердце его мало-помалу рассохлось, и вытекла оттуда капля за каплей вся его благодарность. В ненастье любил он, сунув ноги в дядины туфли, вкусить мысленно от плодов вожделенного наследства. Однако оба брата почитали свою часть наследства весьма скудной ввиду того, что по закону, по праву, по разуму, по справедливости, по природе и на деле требовалось третью часть выделить бедному двоюродному брату — сыну другой сестры каноника, хотя старик не особенно жаловал этого наследника, пастуха, бродившего по нантерским полям. Названный страж скотов, простой крестьянин, прибыл в город Париж по совету своих братьев, которые с умыслом поселили его у дяди, уповая, что дурью своей и грубостью, а равно как невежеством и бестолковостью, досадит он канонику, и тот вычеркнет его из своего завещания. И вот бедный Жук Пестряк, как прозвали пастуха, жил один со своим стариком дядей уже целый месяц и находил более прибыльным и приятным стеречь одного каноника, нежели целое стадо баранов. Он стал псом священника, слугой его, посохом старости, он говорил ему: «Спаси вас господь», когда тот пускал ветры, «Будьте здоровы», когда тот чихал, и «Помилуй вас бог», когда тот рыгал. Он бегал взглянуть, идет ли дождь и где кошка аббатова. Молча внимал старику, не отвращая лица от его кашля, любовался старцем, как если бы тот был прекраснейшим из каноников, и все от чистого сердца и чистой души, сам не понимая, что он дядюшку холит, как собака, вылизывающая своих щенят. Дядюшка же, которого не приходилось учить, от чего все это проистекает, гнал от себя злосчастного Пестряка, заставлял его крутиться волчком, не давал ему вздохнуть. А двум другим племянникам твердил, что вышеназванный Пестряк — мужлан, остолоп и непременно его в гроб вгонит. Слыша такие слова, Пестряк лез из кожи, желая угодить дядюшке, ломал себе голову, как бы лучше услужить ему. Но так как у него пониже поясницы помещались как бы две огромные тыквы и был он весьма широк в плечах, конечностями толст и неповоротлив, то и походил более на Силена, нежели на

легкокрылого Зефира. Одним словом, бедный наш пастух в простоте душевной не мог самого себя переделать и оставался, как был, тучным и жирным, ожидая, что с получением наследства приобретет желанную худобу.

Однажды вечером беседовал наш каноник о дьяволе, о тяжких муках, пытках, терзаниях, уготованных богом для проклятых грешников. И добрый Пестряк, слушая эти рассуждения, таращил свои круглые, как печные отдушины, глаза, но ничему не верил.

— Разве ты не христианин? — спросил каноник.

— Как же, христианин,— ответил Пестряк.

— Ну, так коли есть рай для добрых, разве не нужен ад для злых?

— Ад-то нужен, святой отец, а вот дьявола нету. Будь у вас какой злодей и переверни у вас все вверх дном, разве вы не выкинули бы его вон из дому?

— Да, верно.

— Так как же, дядюшка, не такой уж бог простак, чтобы терпеть в этом мире, столь мудро устроенном его попечениями, какого-то мерзкого дьявола, который только и знает, что все портить. Чепуха это — не признаю я никакого дьявола, раз есть господь благий,— уж поверьте мне! Хотел бы я видеть черта... Хо, хо, не боюсь я его когтей!

— Думай я, как ты, не стал бы я в мои молодые годы тревожиться, исповедуясь по десяти раз на дню.

— Исповедуйтесь и теперь, господин каноник, и будьте уверены, что это зачтется вам на небесах.

— Ну, ну, ужели правда?

— Да, господин каноник.

— И ты не страшишься отвергать дьявола, Пестряк?

— Да я его ни во что не ставлю.

— Смотри, как бы с тобой худого не приключилось от такой ереси.

— Ништо мне! Бог меня от дьявола защитит, ибо я верую, что он помудрее и подобрее, чем говорят о нем ученые люди.

В ту минуту вошли два других племянника, и, поняв по голосу дядюшки, что не так уж мерзок ему Пестряк и вечные жалобы на пастуха—одно лишь притворство, имеющее целью скрыть сердечную склонность, оба

братца немало удивились, переглянулись, затем, увидя, что дядюшка смеется, спросили:

— Если бы вам пришлось писать завещание, кому вы оставите дом?

— Пестряку.

— А владение ваше по улице Сен-Дени?

— Пестряку.

— А арендованный у города Парижа участок?

— Пестряку.

— Что ж,— сказал капитан грубым своим голосом,— все, значит, достанется Пестряку?

— Нет,— отвечал каноник, улыбаясь.— Как бы ни тщился я составить свое завещание по всей справедливости, добро мое перейдет наихитрейшему из вас троих. Я уже так близко подошел к земному своему пределу, что ясно провижу ваши судьбы.— И прозорливый старец бросил на Пестряка лукавый взгляд, наподобие уличной потаскухи, завлекающей щеголя в вертеп.

Пронзительный взор каноника просветил разум пастуха, и слух и очи его отверзлись, как то бывает с девицей наутро после брачной ночи. Прокурор и капитан, приняв эту болтовню за евангельское пророчество, откланялись и вышли из дому, весьма уязвленные нелепыми намеками каноника.

— Что ты думаешь о Пестряке? — спросил прокурор у Гориллы.

— Я думаю, думаю...— ответил мрачно вояка,— думаю засесть в засаду на Ерусалимской улице, да и скинуть ему голову наземь, к ногам поближе. Пусть чинит, коли желает.

— Ох,— воскликнул прокурор,— от твоей руки удар ни с чьим другим не спутаешь, так и скажут, что это дело рук Драча. А я подумываю иное: приглашу-ка его отобедать и после обеда затеем игру, в какую у короля играют. Залезают в мешок, а все прочие судят, кто дальше в таком наряде прошагает. А мы на Пестряке мешок зашьем, да и бросим дурака в Сену — не угодно ли, мол, поплавать.

— Это следует обдумать хорошенько,— сказал вояка.

— Тут и думать нечего,— продолжал прокурор.— Двоюродного братца отправим к черту, а наследство поделим с тобой пополам.

— Охотно,— согласился Драч,— но мы должны быть заодно, как две ноги одного тела, ибо если ты тонок, как шелк, то я крепок, как железо. Шпага петли не хуже... Запомните сие, дражайший братец.

— Да,— ответил адвокат.— На том и порешим. Теперь скажи, вервие или железо?

— Будь я проклят, авось не на короля идем! Ради какого-то мужлана, косолапого пастуха, столько слов тратить? Ну что, по рукам? Двадцать тысяч франков вперед в счет наследства тому из нас, кто его раньше порешит. Я ему честно скажу: «Голову свою подбери».

— А я скажу: «Поплавай-ка, любезный!» — воскликнул прокурор и захохотал, разевая рот до ушей.

Потом оба пошли ужинать. Капитан к своей девке, а прокурор к жене одного ювелира, в любовниках у которой он состоял.

А знаете, кого речи эти в изумление повергли? Пестряка. Бедный пастух услышал смертный свой приговор из уст двоюродных братьев, когда они на паперти прогуливались и беседовали, открывая друг другу свои мысли, как богу на молитве. И пастух наш силился уразуметь, то ли слова их до слуха его достигали, то ли уши его до паперти дотянулись.

— Слышите ли вы, господин каноник?

— Да,— ответствовал тот,— слышу, как дрова потрескивают в печи.

— О,— воскликнул пастух,— если я не верю в дьявола, то верю зато в святого Михаила, моего ангела-хранителя, и поспешу туда, куда он зовет меня.

— Ступай, дитя мое,— сказал каноник,—только будь осторожен, не промокни, да и голову свою береги, а то мне слышится, будто журчит вода. Разбойники с большой дороги еще не самые опасные злодеи.

Словам этим Пестряк весьма удивился и, посмотрев на каноника, заметил, что на вид тот вполне весел, глазом по-прежнему востер, а ноги все так же у него скрючены. Но ввиду того, что надобно было отвратить смерть, ему грозившую, он подумал, что успеет еще налюбоваться каноником или ему угодить, и пустился поспешая через город, как женщина, что трусит рысцой, в чаянии близкого удовольствия.

Оба двоюродных братца, отнюдь не подозревая, что

Пестряк обладает той прозорливостью, какою подчас наделены пастухи, нередко предугадывающие близость непогоды, зачастую обсуждали в его присутствии грязные свои проделки, ни во что не ставя Пестряка.

Как-то раз вечером, желая развлечь каноника, Рвач поведал ему, какова в любви жена ювелира, которому она очень ловко наставляет рога, точеные, полированные, резные, фигурные, не хуже королевских солонок. Эта прелестница, по словам его, была истинным кладезем наслаждений. Смелая насчет свиданий, она успевала согрешить, пока супруг ее поднимался по лестнице, ничего не подозревая; и подарки она поглощала, будто проглатывала ягодку за ягодкой, думала лишь о том, как бы наблудить; вертлявая, игривая, приветливая со всеми, будто самая добронравная жена, которая ни о чем худом и не помышляет, она умела ублажить своего добряка мужа, который души в ней не чаял. И такая она была тонкая-претонкая пройдоха, что уже целых пять лет благополучно вела свой дом, свои любовные шашни и слыла добродетельной, завладела доверием мужа, ключами от всех замков, кошельком и всем прочим.

— А когда же вы играете на нежной флейте? — спросил священник.

— Все вечера. Часто я остаюсь у нее и на ночь.

— Но как? — удивился каноник.

— А вот как: в соседней с ее спальней каморке стоит большой сундук, в котором я прячусь. Когда добрый ее супруг возвращается от кума своего, суконщика, с которым он ужинает каждый вечер по случаю того, что часто занимается с суконщицей, моя милая, сославшись на легкое недомогание, оставляет его одного в постели и приходит исцелять свой недуг в названную каморку с сундуком. А поутру, когда ювелир трудится у своей плавильной печи, я убегаю. И так как в доме два выхода — один на мост, другой на улицу, то я тем выходом всегда пользуюсь, где не встретишь мужа, а к нему заглядываю как бы для того, чтоб побеседовать о его делах, которые веду я в наилучшем порядке, не предвидя им конца. Это рогоносное дело для меня весьма доходно, ибо мелкие расходы и пошлины по тяжбам обходятся ему не меньше, чем содержание целой конюшни. Меня он очень любит, как и положено всякому рогоносцу, обя-

занному любить того, кто помогает ему вскапывать, поливать, удобрять, обрабатывать прекрасный сад Венеры; так что без меня он и шагу не ступит.

И вот эти-то речи и пришли на ум пастуху, когда его осенило в час опасности и разум подсказал ему, как спасти свою жизнь, ибо даже скотам отпущено достаточно понимания, без которого до времени порвалась бы нить их жизни.

Вот Пестряк и побежал на улицу Каландр, где ювелир должен был ужинать со своей кумой. Он постучался и, когда открылось в двери маленькое решетчатое оконце, ответил на вопрос: «Кто там?», назвавшись тайным королевским гонцом, после чего был допущен в жилище суконщика. Тут, приступив прямо к делу, он вызвал из-за стола веселого ювелира, отвел его в угол и сказал:

— Ежели бы один из ваших соседей наставил вам ветвистые рога и был бы вам выдан связанным по рукам и ногам, бросили бы вы его в реку?

— Ну, разумеется,— ответил ювелир,— но ежели вы надо мной потешаетесь, то отведаете моих кулаков.

— Тише, тише,— продолжал Пестряк,— я друг ваш и пришел предупредить вас, что столько раз, сколько вы предпочли супругу суконщика вашей жене, столько же раз она отдавала предпочтение Рвачу перед вами, и ежели вы вернетесь к вашей плавильной печи, то увидите, какой там жаркий разведен огонь! При вашем возвращении тот, кто подметает там, куда лишь вы имеете право проникать, спрячется в большой сундук для платья. Вы же сделайте вид, будто я хочу приобрести у вас названный сундук и будто я ожидаю на мосту со своей тележкой, по вашему приказанию.

Ювелир схватил плащ, шапку и, даже не простившись с кумой, без дальних слов пустился бегом, словно отравленная крыса к себе в нору.

Он прибегает, стучится, ему отпирают, он входит, одним махом поднимается по лестнице, видит на столе два прибора, слышит, как хлопнула крышка сундука, видит жену, выходящую из комнаты любовных утех, и говорит ей:

— Милочка, тут два прибора.

— А что же, душенька, разве нас не двое?

— Нет, нас трое,— отвечает он.

— А разве кум ваш придет? — спрашивает она и с невинным видом поглядывает на лестницу.

— Нет, я говорю про того кума, который сидит в сундуке.

— Какой сундук? —отвечает та.— В уме ли вы? Где вы видите сундук? Разве сажают кумовьев в сундуки? Разве такая я женщина, что стану кумовей в сундуки совать? С каких это пор кумовья живут в сундуках? Что вы с ума, что ли, сошли, путаете кумовьев с сундуками? Я знаю только одного вашего кума — мэтра Корнеля, суконщика, а из сундуков — лишь один сундук с нашей одеждой.

— Ох,— вздохнул ювелир,— дражайшая моя женушка, один негодный проходимец явился ко мне и уведомил меня, что ты взяла себе в любовники прокурора нашего и что сидит он сейчас у нас в сундуке.

— В сундуке?! — воскликнула она.— Зачем вы слушаете всяких сплетников? Они всегда зря болтают.

— Да, да, милочка,— продолжал ювелир,— я знаю тебя, как добрую жену, на что нам с тобой ссориться из-за какого-то дрянного сундука. К тому же незваный советчик оказался столяром, и я продал ему этот проклятый сундук, я больше здесь его и видеть не желаю. А покупатель взамен дает мне два маленьких, хорошеньких сундучка, где младенец и тот не уместится, и сплетни клеветников, завидующих добродетели твоей, сами собой иссякнут.

— Вы очень порадовали меня! Я отнюдь не дорожу моим сундуком, к тому же случайно он пустой. Наше белье в прачечной. Завтра поутру не составит большого труда вынести этот злосчастный сундук. Хотите ужинать?

— Нет,— ответил он,— я охотнее поем без сундука.

— Я вижу,— сказала она,— что легче выйти сундуку из дому, нежели из вашей головы.

— Эй! — крикнул ювелир, зовя подмастерьев и рабочих,— идите сюда!

В тот же миг появились люди, и хозяин коротко приказал им вынести сундук. Сундук, послуживший любви, быстро протащили через залу, но во время переноски прокурор очутился в сундуке вверх ногами и, не будучи к тому привычен, забарахтался.

— Ничего, ничего,— промолвила жена,— это лестница шатается.

— Нет, моя милочка, это не лестница, а шкворень.

И без лишних слов сундук был пущен весьма ловко вниз по ступенькам.

— Эй, возница! — крикнул ювелир, и наш Пестряк, посвистывая на мулов, вместе с добрыми подмастерьями вскинул злокозненный сундук на тележку.

— Э-э!..— завопил прокурор.

— Хозяин, сундук-то наш разговаривает! — заметил один из подмастерьев.

— А на каком таком языке? — вопросил ювелир, дав подмастерью изрядный пинок в зад, каковой, к счастью, не был стеклянным. Подмастерье повалился на ступеньку лестницы, и тем было прервано его изучение сундучьего языка.

Пастух в сопровождении доброго ювелира отвез кладь к берегу реки. Не слушая красноречивых увещеваний говорящего сундука, они привязали к нему парочку-другую камней, и ювелир скинул груз прямо в Сену.

— Поплавай, любезный! — крикнул насмешливо пастух в тот миг, когда сундук, зачерпнув воды, нырнул в реку, подобно утке.

А наш Пестряк продолжал свой путь до улицы Сен-Ландри, что близ монастыря Нотр-Дам. Здесь разыскал он дом, признал дверь и крепко постучался.

— Откройте,— возопил он,— откройте именем короля!

Услышав эти слова, к двери подошел старец, который был не кто иной, как известный всему Парижу ростовщик по имени Версорис.

— Что там такое? — спросил он.

— Я послан сюда начальником квартала предуведомить вас, чтобы вы были начеку нынче ночью,— ответил Пестряк,— а он, со своей стороны, поднимет в нужный час стражу. Ограбивший вас горбун вернулся, держитесь крепко, он уж сумеет отнять у вас то, чего не успел унести раньше.

Сказав так, добрый наш пастух вновь побежал, но на сей раз на улицу Мармузе, где капитан Драч пировал со своей Маргариткой, самой пригожей из уличных красоток и самой неистощимой на смелые выдумки, по мне-

нию подружек. Взгляд ее, живой и острый, разил, словно удар кинжала, а все повадки были столь соблазнительны, что и жители райских кущ возгорелись бы любовным пылом. И была она к тому же нимало не пуглива, как и положено женщине, у которой не осталось иной добродетели, кроме дерзости.

Бедный Пестряк впал в великое смущение, зайдя в квартал Мармузе, ибо опасался не найти того дома, где жила Маргаритка, и еще пуще страшился застать наших голубков в постели. Но некий добрый ангел споспешествовал ему во всех его делах. И вот как. Выйдя на улицу Мармузе, пастух увидел яркий свет во всех окнах. Отовсюду выглядывали головы в ночных колпаках и чепцах: девки, красотки, хозяйки, мужья, девицы, покинув постель, смотрели друг на друга с удивлением, словно по улице при свете факелов вели вора на виселицу.

— Эй, что случилось? — спросил пастух одного горожанина, который спешил с алебардой в руке встать на страже у своих дверей.

— Да ничего,— ответил тот.— Мы было подумали, что арманьяки бесчинствуют, а это, оказывается, Горилла избивает Маргаритку.

— Где же они? — спросил пастух.

— Вот в том прекрасном доме,— видите на столбах пасти крылатых жаб, весьма искусной работы? Слышите, какой там шум подняли слуги и служанки?

И впрямь только и слышались крики: «Помогите! Спасите, убивают!» Тем временем в доме сыпались удары, и Горилла вопил грубым своим голосом: «Смерть блудодейке! Подожди, стерва, денег захотела, вот тебе деньги, вот!» А Маргаритка стонала: «Ой, ой, умираю! Помогите, ой, ой!»

Потом что-то стукнуло, зазвенело железо, и на пол тяжело упало нежное тело молодой прелестницы. Затем наступила тишина, погасли огни. Слуги, служанки, гости и все прочие вошли в дом, и вовремя подоспевший пастух поднялся по лестнице вместе со всем честным народом. Однако ж в просторном зале увидели они лишь разбитые бутылки, изрезанные шпалеры, скатерть, сорванную со стола вместе со всеми яствами, и окаменели.

Пастух наш, не зная страха, влекомый единой мыс-

лью, распахнул двери нарядной опочивальни Маргаритки. Он увидел девицу всю растерзанную. С распущенными волосами, с нагою грудью, она лежала, распростершись на ковре, залитом кровью, и тут же стоял капитан; присмиревший, озабоченный вояка, не зная, как ему выпутаться, бормотал:

— Полно, милая моя, будет тебе представляться мертвой. Ничего, я тебя подштопаю, куколка моя, шалунья. Мертвая или живая, ты все равно прелесть, так бы тебя и съел...

Промолвив эти слова, хитрый вояка схватил девушку и бросил ее на постель. Она упала, как чурбан, словно висельник, сорвавшийся с крюка. Увидя это, храбрец наш решил, что пора уходить подобру-поздорову, и, однако ж,— до чего хитер был! — прежде чем уйти, воскликнул:

— Бедная Маргаритка, как это я мог порешить девицу, которую я так любил! Да, я убил ее, дело ясное, ведь если бы она осталась жива, уж никогда бы она не допустила, чтоб поник прелестный ее сосочек. Видит бог, он болтается, словно грош на дне мошны.

От таких слов Маргаритка приоткрыла один глазок и чуть наклонила головку, желая увидеть свое белое тело. И, ожив окончательно, влепила здоровую пощечину капитану.

— Вот тебе за то, что клевещешь на мертвых,— сказала она, улыбаясь.

— А за что он убил вас, сестрица? — вопросил пастух.

— За что? Завтра сержанты нагрянут сюда и опишут все мое добро. А он не имеет ни денег, ни чести, а туда же, попрекает меня за то, что собиралась я принять одного красавчика дворянина, который обещал спасти меня от судебных приставов.

— Эй, Маргаритка, смотри, кости переломаю!

— Ну, ну! — сказал Пестряк, и тут только капитан признал его.— Было бы за что! Постой-ка, друг мой, я тебе добуду немалую толику денег.

— А где? — спросил изумленный капитан.

— Подойдите, я скажу вам на ушко. Ежели, скажем, вы, проходя ночью, под грушевым деревом заметили бы на земле тридцать тысяч экю, неужто вы не нагну-

лись бы подобрать их, чтобы не пропал понапрасну этакий клад?

— Пестряк, я убью тебя, как собаку, ежели ты со мной задумал шутки шутить, или же поцелую тебя туда, куда сам захочешь, ежели укажешь, где взять эти тридцать тысяч, пусть даже ради этого придется в темном уголку пристукнуть любого нашего горожанина, а то и троих.

— Вам не придется никого и пальцем тронуть. Вот в чем суть дела: есть у меня подружка, которой я, как самому себе, доверяю,— это служанка ростовщика, живущего в Ситэ, неподалеку от дома нашего дядюшки. Итак, я узнал из верных рук, что добродетельный ростовщик отбыл нынче утром за город, зарыв перед тем в своем саду, под грушею, четверик золота, полагая, что за этим занятием никем, кроме ангелов господних, он замечен не был. Но подружка моя, у которой в ту пору разболелись зубы, подошла к чердачному окошку подышать воздухом и проследила случайно старого выжигу. А потом, желая мне приятное сделать, обо всем мне поведала. Если вы поклянетесь по чести со мной поделиться, вот вам мои плечи, можете взобраться на стену и со стены прыгнете в сад, прямо на грушевое дерево, что рядом с оградой. Ну, скажите-ка после этого, что я деревенщина и дурак бестолковый!

— Ничуть, ты честный малый, человек благородный, и ежели когда-либо захочешь врага отправить на тот свет, только свистни — ради тебя я лучшего своего друга укокошу. Я более не двоюродный брат тебе, а родной твой брат. Живей, дорогая Маргаритка,— крикнул Горилла,— накрой опять на стол, утри свою кровь... она принадлежит мне! Я расплачусь за нее и дам тебе своей крови во сто раз больше, чем у тебя выточил. Вели достать бутыль доброго вина, забудем распрю, оправь живо свои юбки и смейся, слышишь?.. Вели собрать ужин, и продолжим наши вечерние молитвы с того места, где остановились. Завтра я одарю тебя богаче, чем королеву. Вот мой двоюродный брат, я желаю его угостить, хоть бы пришлось для этого весь дом перевернуть вверх дном. Эй, всё мечи на стол! Не бойся, завтра у нас в погребах всего будет вдосталь.

Тогда, в срок меньший, чем требуется монаху, чтобы

прочесть «господи помилуй», весь курятник забыл слезы и залился смехом, так же как недавно, забывши смех, ударился в слезы.

Только в вертепах разврата любовь чередуется с ударами кинжала и в четырех стенах разыгрываются и стихают бури. Но этого не понять благовоспитанным дамам нашим. Капитан развеселился, как школьник, сбежавший с уроков, и поил любезного своего родича, который пил все без разбору и, представляясь пьяным, болтал всякий вздор: вот завтра он скупит весь Париж, даст взаймы самому королю сто тысяч экю, станет купаться в золоте. Одним словом, наплел такую чушь, что капитан, опасаясь, как бы братец не сказал чего-нибудь лишнего, и, решив, что он вовсе ума лишился, вывел его вон с добрым намерением, когда дело дойдет у них до дележа, чуть-чуть подпороть брюхо двоюродному братцу, дабы посмотреть, нет ли у него там губки, ибо названный пастух высосал не одну кварту доброго сюренского вина. По дороге они обсуждали различные богословские вопросы, весьма запутанные, и, наконец, подкрались к ограде сада, где было спрятано золото ростовщика. Здесь Драч воспользовался широкими плечами Пестряка, словно мостом, и перескочил через ограду на грушевое дерево, как и подобает опытному воину, не раз бравшему приступом города. Однако ж ростовщик, подстерегавший его, сделал ему на затылке зарубку — одну, другую, да с такой силой, что после третьего удара покатилась голова капитана, но еще успел он в смертный свой час услыхать звучный голос пастуха:

— *Подбери голову свою, друг мой!*

После сего щедрый наш пастух, в лице которого вознаграждена была добродетель, рассудил, что разумнее всего будет вернуться в дом к доброму канонику, ибо, милостью божьей, труд по составлению завещания с каждым часом все упрощался. Итак, пастух со всех ног пустился на улицу св. Петра, что при быках, и вскоре заснул, как новорожденный младенец, забыв даже, что означают слова «двоюродный брат». На следующее утро встал он, как обычно встают пастухи, с восходом солнца и пошел в торницу к дядюшке, желая справиться, какая у него мокрота, кашлял ли он, хорошо ли ему спалось? Но старая служанка сообщила, что каноник, услыша звон

к утрене в честь святого Маврикия, одного из покровителей собора Парижской богоматери, по благочестию своему отправился в храм, дабы принять участие в завтраке, который дает архиепископ Парижский всему капитулу.

На это Пестряк ответил:

— Уж не лишился ли господин каноник ума, ведь этак недолго и занедужить, простуду схватить или насморк. Видно, ему жизнь не мила. Пойду разведу огонь пожарче, чтобы дядюшка получше согрелся, вернувшись домой.

И добряк направился в залу, где охотно сиживал каноник, но, к великому своему удивлению, увидел, что дядя расположился в кресле у кафедры.

— Вот уж наболтала вздору ваша сумасшедшая Бюретта! Никогда не поверю, что столь рассудительный муж, как вы, пошли бы в такую рань и стали бы там торчать на амвоне.

Старик молчал. Пастух, подобно всем людям, любящим наблюдать и размышлять, был прозорлив душою и знал поэтому, что у стариков иной раз бывают мудрые причуды. Они беседуют с миром вещей сокровенных и до того под конец заговариваются, что начинают бормотать нечто, к делу вовсе не идущее. Посему из чувства благоговения к престарелому чудаку, погруженному в размышления, пастух отошел в сторонку, ожидая, когда старец придет в себя, и молча стал измерять взглядом длину ногтей дядюшки, которые, казалось, вот-вот продырявят его башмаки. Затем, приглядевшись со вниманием к ногам дражайшего каноника, ужаснулся, увидев, что кожа его ног багрово-красного оттенка и проглядывает сквозь нитяные петли чулок, точно опаленная огнем, отчего даже сами чулки казались красными.

«Он помер»,— подумал пастух.

В ту минуту открылась дверь, и наш Пестряк увидел на пороге все того же каноника, возвращающегося из собора с обмороженным носом.

— Эге, дядюшка, да в уме ли вы? — воскликнул Пестряк.— Извольте обратить внимание, что вам не пристало стоять у двери, коли вы сидите за кафедрой в креслах у камина, и что на свете двух каноников, во всем сходствующих между собой, существовать не может.

— Было время, Пестряк, когда мне весьма хотелось пребывать в двух местах одновременно. Но сие не в человеческой власти, слишком уж это было бы хорошо. А у тебя, друг, в глазах двоится, ибо я здесь в единственном числе.

Тогда Пестряк повернулся к кафедре, и как же он удивился, увидя, что кресло пусто, а еще более, когда подошел ближе и заметил на полу кучку пепла, который слегка дымился, распространяя запах серы.

— Ой! — воскликнул пастух, потрясенный этим видением.— Признаюсь, что дьявол вел себя как благородный человек по отношению ко мне. Я помолюсь о нем богу!

И тут же простодушно поведал канонику, каким образом дьявол, приняв канониково обличье, развлекался, играя роль провидения, и помог ему, Пестряку, честно избавиться от своих злодеев, двоюродных братьев. Это показалось старому канонику назидательным и достохвальным, ибо он, будучи в здравом уме, сам помнил, что не раз приходилось ему наблюдать действия, в коих дьявол проявлял себя с наилучшей стороны. И далее старец присовокупил, что всегда зло содержит в себе добро — в такой же доле, в какой зло содержится в добре; из чего следует, что не стоит слишком уж беспокоиться о загробной жизни. Превредная ересь, каковую не один собор осудил со всею строгостью.

Вот как разбогател род Пестряков, и ныне смогли они, с пользой употребив наследство предка, помочь в сооружении моста св. Михаила, где дьявол, нисколько не проигрывает от соседства архангела. Мост этот построен в память изложенной нами истории, причисляемой к подлинным происшествиям.

ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ

Из честолюбия и расчета, стремясь добиться самого высокого положения, коннетабль д'Арминьяк женился на графине Бонн, которая еще до замужества была страстно влюблена в юного Савуази, сына камергера его величества короля Карла VI.

Коннетабль, суровый вояка, был невзрачен на вид и нравом весьма крут, густо оброс волосами, лицо имел топорное и морщинистое, вечно кричал и сквернословил, то вздергивал на виселицу какого-нибудь разбойника, то потел в жарких баталиях, а в часы досуга придумывал всякие военные хитрости, любовными же делами пренебрегал. Нимало не стараясь скрасить супружескую жизнь какою-либо острой приправой, сей грубый рубака обнимал красавицу жену равнодушно, как человек, голова которого занята куда более важными материями; а подобное хладнокровие всегда возбуждает в дамах вполне законное негодование, ибо для них приятности мало, если на нежности их и порывы страсти отзывается только супружеская кровать.

Посему не приходится удивляться, что, сделавшись женой коннетабля, графиня вся предалась любви к вышеназванному Савуази, коей было полно до краев ее сердце, что не осталось, разумеется, незамеченным ее другом.

Горя желанием запеть вдвоем одну и ту же нежную песню, они быстро настроили в лад свои лютни и с превеликим успехом стали разбираться в колдовских письменах любви. И вот в скором времени до сведения коро-

левы Изабеллы дошло, что лошади красавца Савуази гораздо чаще стоят в конюшнях ее кузена д'Арминьяка, нежели у дворца Сен-Поль, где проживал старый камергер после того, как было разрушено его прежнее обиталище,— по приказу Парижского университета, как это всем известно. Опасаясь, как бы с графиней Бонн не приключилась какая-нибудь беда, ибо вышеназванный коннетабль с такой же легкостью привык играть кинжалом, как священник раздавать благословения, сия бдительная и разумная государыня, обладавшая умением бросить при случае искусный намек, однажды при выходе от вечерни обратилась к своей кузине графине д'Арминьяк, когда та подошла с молодым Савуази окропить себя святой водой:

— Мой друг, не замечаете ли вы крови в этой воде?

— Ба! — бросил в ответ королеве Савуази.—Любовь любит кровь, ваше величество.

Королева нашла эту мысль весьма удачной и тотчас же ее записала, а позднее увидела ее в действии, когда король Карл, ее супруг и повелитель, жестоко расправился с ее возлюбленным, о восхождении звезды которого вы услышите в нашем повествовании.

Из многочисленных наблюдений известно, что в весеннюю пору любви кавалеры и дамы всегда страшатся выдать тайну своего сердца и, отчасти из благоразумия, отчасти ради приятной забавы морочить людей, скрывают от них свои похождения, и оба наперерыв стараются играть в прятки. Но довольно бывает одного мгновения рассеянности — и прахом пойдут все долгие предосторожности.

И вот в самом разгаре любовных радостей несчастная женщина попадается, как птичка в сети, или же друг ее при своем посещении — иногда прощальном — оставит после себя след в виде шпор, забытых по роковой случайности, или перевязи, или иных принадлежностей мужского костюма. А тогда удар шпаги разрывает те милые узы, в которые они оба усердно вплетали золотые нити любовных услад! Но покуда жизнь насыщена страстью, нечего думать о кончине, да и разве пасть от шпаги ревнивого супруга — не прекрасная смерть для любовника, ежели только смерть бывает прекрас-

ной! Именно так и суждено было оборваться любовному счастью графини.

Однажды утром, когда у коннетабля д'Арминьяка выдался свободный часок благодаря нежданному бегству из Ланьи герцога Бургундского, ему вздумалось пожелать своей супруге доброго утра, и он вознамерился разбудить ее достаточно нежным способом, чтобы она не рассердилась, и вот графиня, погруженная еще в сладкую утреннюю дремоту, не подымая век, пробормотала в ответ на его прикосновение:

— Ах, оставь меня, Карл!

— Ого! — изумился коннетабль, услыша имя святого, который вовсе не числился среди его небесных покровителей.— Что это за Карл у вас в голове?

Не прикасаясь больше к жене, он вскочил с кровати и с пылающим от гнева лицом, обнажив шпагу, бросился по лестнице наверх,— туда, где спала служанка графини, подозревая в ней сообщницу преступления.

— Эй ты, чертова потаскуха! — закричал он, давая волю своему гневу.— Читай молитву, сейчас я прикончу тебя. Какой такой Карл повадился ходить ко мне в дом?

— Ах, сударь,— отвечала служанка,— кто вам сказал об этом?

— Ну, держись! Я уничтожу тебя безо всякой пощады, коли ты не расскажешь мне все подробно, как и когда они встречались, как договаривались о свиданиях. Но если ты будешь вилять да спотыкаться на каждом слове, я сумею в один миг пригвоздить тебя к полу своим кинжалом... Говори!

— Пригвоздите же, коли так,— отвечала служанка.— Все равно вы ничего от меня не узнаете!

Разъярясь еще больше от сего благородного ответа, коннетабль и в самом деле пригвоздил ее, после чего снова бросился в комнату своей супруги, приказав повстречавшемуся ему на лестнице оруженосцу, которого разбудили вопли служанки:

— Ступай наверх, я немножко круто проучил Бильетту.

Прежде чем вновь явиться к жене, коннетабль пошел к маленькому сыну, мирно в ту пору спавшему, и, грубо схватив его, потащил к матери. Та открыла глаза,— и,

как вы можете себе представить, весьма широко открыла,— услыша детский плач. С превеликим волнением увидела она своего малютку на руках у коннетабля; правая рука д'Арминьяка была в крови, и красными от ярости глазами поглядывал он то на мать, то на сына.

— Что с вами? — молвила графиня.

— Сударыня,— обратился к ней с вопросом ее скорый на расправу супруг,— от кого рожден сей ребенок? Мой он или друга вашего, Савуази?

При словах этих графиня Бонн побледнела и бросилась к своему сыну так стремительно, как бросается в воду испуганная лягушка.

— Разумеется, он наш! — отвечала она.

— Коли вы не желаете, чтобы голова его покатилась к вашим ногам,— продолжал муж,— сознайтесь во всем и отвечайте прямо: есть у меня по вашей милости помощник?

— Да.

— Кто же это?

— Это вовсе не Савуази, но я не назову вам никогда имени этого человека, я его не знаю.

Тут коннетабль вскочил с места и, схватив жену за руку, хотел было перерезать ей глотку, но, кинув на него гордый взгляд, она воскликнула:

— Что ж, убивайте, только не смейте прикасаться ко мне!

— Нет, я не стану лишать вас жизни,— возразил супруг,— у меня припасено для вас такое наказание, что будет хуже смерти.—И, произнеся эти жестокие и язвительные слова, коннетабль удалился, опасаясь хитростей и обманов, к коим охотно прибегают женщины в затруднительных случаях, и их никогда не поймать в ловушку, ибо они заранее, и денно и нощно, в одиночку или с подружками, обдумывают и изобретают на такой случай всяческие увертки.

Немедля пошел он допрашивать своих слуг, приводя их в ужас своим разгневанным, грозным ликом, и все они отвечали ему, как богу-отцу в судный день, когда будет держать ответ каждый из нас. Никто из слуг и не подозревал, какая великая беда таилась под покровом кратких вопросов и коварных выпытываний их господи-

на, но из всего, что было ими сказано, коннетабль мог сделать вывод, что ни один мужчина из обитателей дома тут не повинен ни сном, ни духом; лишь один слуга, которому было поручено стеречь сад, хранил упорное молчание. Ничего от этого стража не выведав, коннетабль схватил мерзавца за горло и в ярости задушил его. И тогда коннетабль умозаключил, что непрошенный его помощник проникал в замок через сад, куда вел с берега реки потайной ход. Тем, кто не знает расположения замка д'Арминьяков, мы сообщим, что он занимает обширную усадьбу по соседству с великолепными строениями дворца Сен-Поль. Позднее на том месте был возведен замок Лонгвиль. В то время, о коем идет речь, жилище графа д'Арминьяка через монументальные каменные ворота имело выход на улицу Сент-Антуан; замок был отлично укреплен, и высокие стены ограды, тянувшиеся по берегу реки против Коровьего острова — там, где ныне находится пристань Грев,— были снабжены башнями. Все это можно было видеть на рисунке, долгое время хранившемся у кардинала Дюпра, королевского канцлера.

Коннетабль ломал себе голову; перебрав в уме все известные ему испытанные способы засады, он выбрал, наконец, наилучший из них и приспособил его столь умело к данному случаю, что обольститель неминуемо должен был попасться, как заяц в силок.

— Черт возьми! — воскликнул он.— Тот, кто наставил мне рога, теперь не вырвется из моих рук, и у меня еще хватит времени поразмыслить, как расправиться с ним!

И бородатый, храбрый воин, не раз одерживавший верх над самим Иоанном Бесстрашным, обдумал порядок сражения, которое решил дать своему неведомому врагу.

Отобрав изрядное количество самых преданных и ловких стрелков, коннетабль разместил их внутри башен, выходивших к реке, и под угрозой жесточайшего наказания приказал стрелять без разбора в любого обитателя замка — за исключением своей супруги,— кто выйдет из садовой калитки и кто будет днем или ночью пропускать любовника через потайную дверь. Такие же распоряжения были отданы и тем людям графа, кто сторожил вход в замок со стороны улицы Сент-Антуан.

Слугам и даже капеллану было велено, под страхом смерти, не выходить никуда из жилищ своих. А поскольку с обоих флангов оборона замка поручена была стрелкам из личной охраны коннетабля, которым было приказано не спускать глаз с боковых улиц, то неведомому любовнику, наградившему коннетабля рогами, неминуемо предстояло быть схваченным в тот самый миг, когда, ничего не подозревая, он придет в условный час дерзко водрузить свое знамя в самом сердце законных владений графа. В такую западню не мог не попасться даже самый ловкий человек, разве только что он оказался бы под особым покровительством божьим, как наш добрый апостол Петр, коему спаситель не дал утонуть в волнах Тибериадского озера в тот достопамятный день, когда ему вздумалось испытать, не окажется ли вода столь же твердой, как суша.

У коннетабля оказались дела в Пуасси, и он должен был тотчас после обеда сесть на коня; зная о намерении своего супруга, графиня еще накануне решила пригласить своего юного поклонника на приятное состязание, в коем сила всегда оказывалась на ее стороне.

Пока коннетабль готовил, как было описано выше, засаду в своем замке и расставлял вокруг потайной двери зоркую стражу со смертоносным оружием в руках, дабы схватить обольстителя, откуда бы тот ни явился, жена коннетабля тоже не сидела сложа руки и не зевала по сторонам.

Надо сказать, что пригвожденная служанка вскоре «отгвоздилась», привстала с пола, а затем, дотащившись кое-как до своей госпожи, сообщила ей, что рогоносный сеньор пока ничего не знает, и, раньше чем отдать богу душу, она утешила дорогую свою госпожу, заверив, что та во всем может положиться на ее сестру, которая служит в замке прачкой и охотно даст изрубить себя на мелкие кусочки, как мясо для колбасы, лишь бы угодить госпоже; камеристка сказала, что сестра ее была самой ловкой и продувной бабенкой во всей округе и славилась от Турнеля до Траугара среди простого люда как женщина весьма изобретательная на разные выдумки в запутанных сердечных делах.

Тогда, не переставая оплакивать кончину верной своей служанки, графиня призвала к себе прачку и, прика-

зав ей бросить стирку, начала вместе с нею так и сяк раскидывать умом, желая спасти Савуази даже ценой всего счастья, что суждено ей в жизни. Прежде всего женщины стали обдумывать, как бы его уведомить о подозрениях коннетабля и предупредить, чтобы он вел себя осторожно.

И вот услужливая прачка, нагруженная, словно мул, грудой белья, попыталась выйти из замка. Но у ворот она наткнулась на вооруженного человека, не желавшего внимать никаким ее доводам и мольбам. Тогда из великой преданности своей госпоже прачка решила атаковать солдата с наиболее уязвимой стороны и своим бойким заигрыванием вскоре так растормошила его, что он весьма охотно позабавился с ней, хотя и был при всех своих воинских доспехах. Но и после этого он ни за что не соглашался пропустить прачку на улицу, и, как ни старалась она вслед за тем получить разрешение на выход из замка от других, самых красивых молодцов, думая, что они будут полюбезнее, ни один из стрелков и прочих вооруженных стражей так и не осмелился открыть перед ней хотя бы самую узенькую лазейку.

— Вы скверные, неблагодарные люди,— с возмущением воскликнула прачка,— не хотите отплатить мне добром за добро!

По счастью, благодаря шашням с воинами она обо всем разузнала и, с большой поспешностью воротясь к своей госпоже, поведала ей о черных замыслах графа.

Тогда они стали снова держать совет, но беседа их обо всех этих военных приготовлениях, о грозных графских приказах, о его тайных, пагубных, дьявольски коварных распоряжениях, о страже и обороне замка заняла времени не более, чем его требуется для того, чтобы дважды пропеть аллилуйю,— и обе уже поняли тем шестым чувством, коим наделена каждая женщина, что бедному любовнику грозит великая опасность.

Как только графиня узнала, что лишь ей одной дозволено выходить из замка, она не мешкая воспользовалась своим правом, однако ж ей не удалось отойти от дома и на расстояние стрелы, пущенной из самострела, ибо коннетабль велел четырем пажам своим ни на шаг не отходить от графини, а сверх того приказал находиться

при ней неотлучно двум офицерам из своей личной стражи. Тогда бедная супруга коннетабля вернулась к себе в покои и заплакала горше всех Магдалин, изображения коих мы видим в храмах.

— Увы! — сокрушалась она.— Милого моего убьют, и я больше его не увижу!.. А сколько нежности было в речах его, сколько прелести в его ласках!.. Так неужто же прекрасная голова, что так часто покоилась на моих коленях, будет мертвой, холодной? О, зачем не могу я швырнуть моему жестокому супругу пустую и никудышную голову вместо бесценной, полной очарования головы моего друга!.. Голову смрадную — вместо благоуханной! Ненавистную — вместе горячо мною любимой!

— Ах, сударыня,— воскликнула прачка,— что, если нам напялить господское платье на сына повара, который влюблен в меня по уши и очень мне докучает? А потом, нарядивши этак молодчика, мы выпроводим его через потайную дверь...

Тут сообщницы обменялись взглядом, выдававшим их кровавый замысел.

— А когда поваришку убьют,— продолжала прачка,— все солдаты разлетятся, как журавли.

— Хорошо. Но что, если граф опознает беднягу? — И в глубоком волнении графиня, покачав головой, воскликнула: — Нет, нет, дружок! Здесь должна быть пролита без всякой жалости благородная и только благородная кровь!

Затем, подумав немного, она, чуть не прыгая от радости, обняла прачку.

— Знаешь, своим советом ты подала мне хорошую мысль, как спасти моего милого, и за это я так щедро тебя награжу, что ты будешь жить припеваючи до конца дней своих!

Засим графиня осушила слезы, придала своему лицу выражение невинное, как у целомудренной невесты, взяла молитвенник, сумку для раздачи милостыни и направилась к церкви Сен-Поль, откуда уже доносился благовест, возвещавший начало вечерней службы. Надо сказать, что сей долг благочестия всегда свято выполнялся графиней, ибо она, как и все придворные дамы, была изрядной ханжой.

Мессу эту недаром прозвали в народе «расфуфыренной мессой»: здесь можно было встретить только щеголей и красавцев, молодых дворян и нарядных придворных дам, от которых веяло тончайшими ароматами; словом, здесь нельзя было увидеть одеяния без гербов, шпор без позолоты.

Итак, графиня Бонн направилась в церковь, приказав оставшейся в замке ошеломленной прачке быть начеку.

Вскоре она с большой торжественностью, в сопровождении пажей, двух лейтенантов и стражей, явилась в храм.

Надо сказать, что среди блестящих рыцарей, увивавшихся в церкви вокруг дам, у графини было немало воздыхателей, преданных ей всем сердцем и готовых, как это водится у молодых людей, поставить все на кон в надежде на желанный выигрыш.

В числе сих соколов и ястребов, которые точили жадный клюв на прекрасную добычу и чаще шныряли глазами по скамьям, чем обращали их к алтарю и священнослужителям, был один юноша, коего графиня порою милостиво дарила беглым взглядом, ибо он был менее назойлив и, казалось, был уязвлен ею сильнее, чем остальные.

Юноша этот держал себя скромно, стоял неподвижно, всегда возле одной и той же колонны и с немым восхищением взирал на ту, которую избрал он дамой своего сердца. Бледное лицо его было подернуто дымкой меланхолии. Оно говорило о сердце, способном глубоко чувствовать, как чувствуют люди, которые живут жгучими страстями и находят тайную усладу даже в безнадежной любви. Таких людей на свете весьма немного, и куда чаще встречаются мужчины, предпочитающие всем известные грубые утехи тем неизреченным восторгам, что таятся и расцветают в сокровенной глубине души.

Жене коннетабля казалось, что юноша этот, хотя одежда его была опрятна, сшита складно и даже носила отпечаток тонкого вкуса, был всего-навсего бедным рыцарем, не имевшим иного достояния, кроме плаща и шпаги, и приехавшим из дальних краев попытать счастья. И вот, догадываясь о его бедности и страстной его любви к

ней и видя, как хорош собою этот стройный юноша с темными кудрями до плеч и какое у него кроткое, робкое выражение лица, супруга коннетабля от всей души желала, чтобы ему всегда сопутствовала благосклонность женщин и фортуны.

По обычаю хороших хозяек, у коих ничто зря не пропадает, она полагала, что пренебрегать поклонниками не следует, и стала по прихоти своей разжигать в нем страсть — то легкой улыбкой, то быстрым взглядом, скользившим невзначай в его сторону, словно ядовитая змейка. Не жаль ей было насмеяться над счастьем сей юной жизни,— властительная особа, она привыкла играть куда более важными людьми, чем простой рыцарь. А разве супруг ее, коннетабль, не рисковал иной раз судьбою целого королевства, не ставил ее на карту, как вы ставите мелкую монету, играя в пикет?

И вот прошло не более трех дней, как при выходе от вечерни супруга коннетабля, указывая глазами королеве на молодого искателя любви, с усмешкой промолвила:

— Какой достойный человек!

Словцо это сохранилось в языке знати. Позднее им стали обозначать придворных особ. Именно графине д'Арминьяк, а не кому-либо иному обязан французский язык сим метким выражением.

Случайно графиня оказалась права в своем мнении о молодом дворянине. То был рыцарь Жюльен де Буа-Буредон, еще не служивший ни под чьими знаменами. Унаследовав от родителей поместье, где леса не хватило бы даже на зубочистку, и не располагая никакими ценными благами, кроме прекрасных даров природы, коими его весьма кстати одарила покойная матушка, он задумал извлечь из них при дворе выгоду и прибыль, зная, как падки придворные дамы до естественных сих богатств и как дорого ценят их, предоставляя их обладателю получать с них верный доход от вечерней зари до утренней. Немало подобных ему молодых людей, вступив на узкую стезю женской благосклонности, пробивали себе дорогу в жизни, но Буа-Буредон был далек от того, чтобы тратить свой любовный пыл расчетливо и скупо,— нет, он израсходовал его сразу, лишь только увидел на «расфуфыренной мессе» графиню Бонн во всем ве-

ликолепии ее красоты. С первого же мгновения он воспылал к ней истинною любовью — к вящей выгоде для своего кошелька, ибо нашего рыцаря совсем отбило от еды и питья. А такая любовь всего хуже, ибо она побуждает нас к воздержанию в пище все время, покуда длится воздержание в любви,— два недуга, из коих довольно и одного, чтобы свести человека в могилу.

Таков был молодой рыцарь, о котором вспомнила прекрасная супруга коннетабля, и поспешила прийти в храм, дабы предложить влюбленному умереть ради нее.

Войдя в храм, она тотчас увидела бедного своего обожателя, который, как всегда, стоял, прислонясь к колонне, и с радостным волнением поджидал графиню, всем существом своим устремляясь к ней, как страждущий больной тянется к солнцу, к весне и к свету. Отведя от него взгляд, графиня хотела подойти к королеве и попросить ее о помощи в столь отчаянном положении, ибо ей стало жаль юношу, но тут один из сопровождавших графиню воинов весьма почтительно обратился к ней:

— Сударыня, мы получили распоряжение не допускать вас до разговора ни с женщинами, будь то даже королева, ни с мужчинами, будь то даже ваш духовник. Нарушив сей приказ, мы рискуем собственной жизнью.

— А разве звание ваше,— возразила жена коннетабля,— не обязывает вас умирать?

— Оно также обязывает нас повиноваться приказам,— отвечал воин.

Тогда графиня, сев на свое обычное место, приступила к молитве; взглянув украдкой на своего обожателя, она нашла, что он сильно похудел и осунулся.

«Ну что ж,— подумала она про себя,— тем меньше будет мне с ним хлопот и волнений: ведь он уже и сейчас чуть жив».

С этой мыслью она бросила на рыцаря, стоявшего у колонны, жгучий взгляд, какой может дозволить себе лишь принцесса или распутница, и притворная страсть, которою загорелись вдруг ее прекрасные глаза, причинила воздыхателю, стоявшему у колонны, сладкую боль. Да и кто же останется равнодушным к жаркой вол-

не жизни, когда вся кровь кипит и бурно приливает к сердцу?

И с радостью, для женской души вечно новой, жена коннетабля убедилась в могуществе своего великолепного взгляда по безмолвному ответу рыцаря. Яркий румянец, вспыхнувший на его щеках, был красноречивее самых превосходных речей греческих и римских ораторов, и не удивительно, что графиня с удовольствием заметила его и отлично все поняла.

Желая удостовериться, что сие не было случайной игрой природы, она решила испытать, как далеко простирается магическая сила ее взоров. Раз тридцать обжигала она поклонника пламенем глаз своих и окончательно уверилась в том, что рыцарь храбро умрет за нее. Мысль эта столь сильно ее взволновала, что посреди молитв ею трижды овладевало желание подарить ему разом все доступные человеку наслаждения, обратив их в единый фонтан любви, дабы ей никогда не могли бросить упрека в том, что она не только отняла жизнь у бедного рыцаря, но и лишила его блаженства.

Когда священнослужитель, оборотясь лицом к своей раззолоченной пастве, провозгласил: «Изыдите с миром»,— жена коннетабля направилась к выходу из храма с той стороны, где стоял у колонны ее обожатель, прошла мимо него и метнула пламенный взгляд, повелевавший ему следовать за нею; затем, желая подтвердить, что он правильно толкует и понимает значение еле заметного ее зова, хитрая женщина, уже миновав колонну, чуть-чуть обернулась, как бы вновь подзывая его. Она приметила, что юноша подался со своего места, но из скромности не осмеливается идти за нею; однако ж от последнего ее знака он осмелел и, уже не боясь показаться дерзким, присоединился к свите графини, двигаясь бесшумно и осторожно, как невинный юнец, с опаской вступающий в одно из тех соблазнительных мест, кои зовутся злачными. И шел ли он позади или впереди, справа или слева, жена коннетабля не переставала бросать ему огненные взоры, дабы вернее заманить его и привлечь к себе; она была подобна рыболову, который, приподымая тихонько леску, пробует, клюет ли рыбка. Короче говоря, графиня искусно выполняла ремесло распутных девиц, когда они трудятся, не жалея сил, чтобы подвести святую

воду к своим мельницам, и, глядя на нее, вы могли бы сказать: «До чего похожи на потаскух высокородные дамы!»

Перед входом в замок графиня с минуту поколебалась, затем снова обернулась к несчастному рыцарю, как бы приглашая его следовать за собой, и стрельнула в него таким сатанинским взглядом, что он тотчас же ринулся к владычице своего сердца, поняв, что она призывает его к себе. Тут графиня подала ему руку, и они оба, дрожа и волнуясь по причинам совсем различным, очутились внутри замка. В тот роковой час в г-же д'Арминьяк заговорила совесть, ей стало стыдно, что она прибегает к столь низким уловкам, посылая человека на смерть, и намеревается изменить Савуази, чтобы вернее спасти его, но известно, что малые укоры совести, равно как и великие, хромают на обе ноги и оттого всегда приходят с опозданием. Видя, что на карту поставлено все, жена коннетабля крепко оперлась на руку своего обожателя и сказала:

— Пойдемте скорей в мою опочивальню, нам надо поговорить...

Он же, не ведая, что вскоре ему предстоит расстаться с жизнью, онемел и не мог ответить ни слова, задыхаясь от предвкушения близкого счастья.

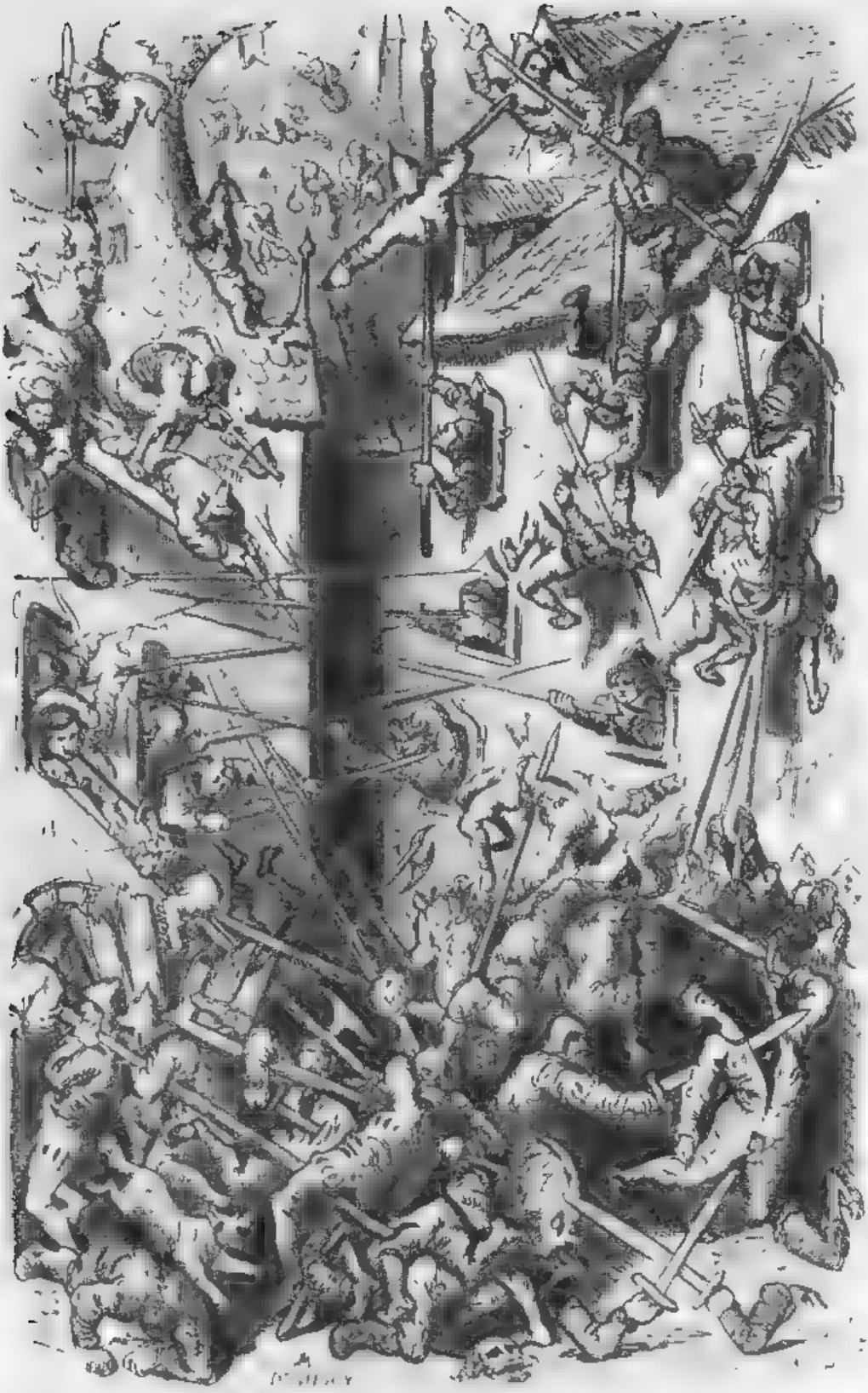
Когда прачка увидела прекрасного рыцаря, коего столь быстро поймала ее госпожа, она подумала: «Ну и ловко обделывают такие дела придворные дамы!» И она отвесила опрометчивому воздыхателю низкий поклон, не то насмешливый, не то почтительный, каким мы удостаиваем храбреца, готового умереть из-за ничтожной безделицы.

— Пикарда,— молвила жена коннетабля, притянув к себе прачку за юбку,— у меня не хватает силы признаться, чем собираюсь я заплатить ему за безмолвную его любовь и благородное доверие к женской честности...

— Ах, сударыня, да к чему же и говорить ему об этом? Порадуйте его, а потом выпустите через потайную дверь. Сколько мужчин умирает на войне из-за пустяков! Так почему бы такому прекрасному рыцарю не умереть ради ваших милостей! А для вас я мигом раздобуду другого, коли захотите утешиться.

Жеан де ла Гэ, викарий церкви св. Маврикия.

«ВЕДЬМА»



Приговор этот оказался причиной многих волнений, кровавых стычек во всем городе.

— Подожди! Я ему все расскажу,— воскликнула графиня,— пусть это будет мне наказанием за мой грех...

Полагая, что дама его сердца потихоньку отдает своей служанке какие-нибудь тайные распоряжения, дабы ничто не могло помешать обещанной ему беседе, влюбленный рыцарь скромно держался в отдалении и, взирая на потолок, считал мух. Про себя он все же дивился смелости графини, но, как сделал бы даже горбун на его месте, находил сотни разных причин для ее оправдания и, разумеется, почитал себя вполне достойным страсти, толкнувшей красавицу на столь безумный поступок. От сих приятных размышлений его оторвала жена коннетабля, отворив дверь в свою спальню и пригласив рыцаря войти. Здесь эта властительная особа вдруг сбросила с себя все величие и, превратясь в простую женщину, упала к ногам юноши.

— Увы, дорогой рыцарь,— сказала она,— велика вина моя перед вами! Знайте, что при выходе из этого дома вас ожидает смерть... Безумная любовь, которую я питаю к другому, ослепила меня, вы не можете заменить его в моем сердце, но вы должны встать на его место перед лицом его убийц. Спасите мое счастье, умоляю вас!

— О! — отвечал Буа-Буредон, затаив в глубине души мрачное отчаяние.— Я полон признательности к вам за то, что вы располагаете мною, как своей собственностью. Я люблю вас, так люблю, что был бы готов, подобно женщине, дарить вам вседневно то, что можно отдать лишь раз... Возьмите же мою жизнь!

И, говоря это, несчастный рыцарь, не отрываясь, смотрел на графиню, словно хотел на нее наглядеться за все долгие дни, которые он мог бы ее созерцать, ежели бы остался жив. Услыхав его смелую, пылкую речь, графиня вскочила:

— Ах, если б не было Савуази, как я любила бы тебя!

— Увы, судьба моя свершилась,— ответил Буа-Буредон.— Мой гороскоп предсказал мне, что я умру из-за любви к знатной даме. О боже! — воскликнул он, сжимая рукоять шпаги.— Я дорого продам свою жизнь, но рад буду умереть с мыслью, что кончина моя оградит счастье той, которую я люблю. Я умру, но что из этого! Я останусь жить в вашей памяти...

Жену коннетабля восхитил решительный жест и дышавший отвагою облик юноши, и сердце ее воспылало любовью. Вскоре, однако, она почувствовала себя задетой за живое тем, что он, видимо, думал расстаться с ней, не потребовав от нее даже самого скромного знака благосклонности.

— Подойдите, дайте мне вооружить вас! — молвила она, открывая ему объятия.

— О повелительница моя! — промолвил юноша, и слезы увлажнили его пламенный взор.— Или вы желаете сделать для меня невозможной смерть, подарив мне бесценное сокровище жизни?

— Подожди! — воскликнула она, покоренная его жаркой любовью.— Не знаю, что нас ждет, но сейчас приди ко мне! А там,— пусть мы все погибнем у потайного хода!

Единым пламенем зажглись их сердца, единые волшебные созвучья наполнили слух, и, сжимая друг друга в объятиях, в бреду той сладостной лихорадки, которая, надеюсь, вам известна, они забыли обо всех опасностях, подстерегавших Савуази и их самих, забыли о коннетабле, о смерти, о жизни, обо всем на свете.

Тем временем люди, стоявшие в дозоре у ворот замка, пришли доложить коннетаблю о приходе любовника и рассказали, что обезумевший от любви рыцарь не посчитался с выразительными взглядами, которые во время мессы и по дороге в замок бросала ему графиня, чтобы предостеречь его и спасти от гибели. Коннетабля они встретили на дороге к потайной двери, куда он направлялся с большой поспешностью, ибо стрелки, поставленные у набережной, тоже подавали издали сигналы, говорившие о том, что любовник вот-вот появится из сада.

И в самом деле, Савуази пришел в назначенный для свидания час; помышляя, как все любовники, только о своей милой, он не заметил графских соглядатаев и тихо проскользнул в потайную дверь.

Одновременное появление двух любовников и было причиной того, что коннетабль оборвал на полуслове дозорных с улицы Сент-Антуан, заявив им с властным жестом и непререкаемой уверенностью:

— Я знаю, зверь уже попался в западню.

И, подымая страшный шум, все ринулись к потайной двери с криками:

— Смерть ему!.. Смерть!..

Солдаты, стрелки, офицеры, сам коннетабль — все побежали за Савуази, внуком короля, и преследовали его по пятам вплоть до окон графини, и вопли несчастного молодого человека, выделявшиеся среди рева солдат, смешивались со вздохами и стонами страсти влюбленных, спешивших насладиться и объятых превеликим страхом.

— О боже,— прошептала графиня, бледнея от ужаса,— Савуази умирает сейчас из-за меня.

— Но зато я буду жить для вас,— отвечал Буа-Бурдон,— и буду почитать себя счастливым, если мне придется заплатить за восторги любви той же ценой, какою он расплачивается сейчас за свое блаженство.

— Спрячьтесь скорее сюда, в шкаф! — вскричала графиня.— Я слышу шаги коннетабля!

И в самом деле, вскоре в покои графини явился сеньор д'Арминьяк, держа в руке голову Савуази; положив эту окровавленную голову на камин, он обратился к жене:

— Вот полезное зрелище, сударыня, оно научит вас соблюдать свой супружеский долг.

— Вы убили невинного,— отвечала, нимало не смутясь, графиня.— Савуази вовсе не был моим любовником.

И, произнося эти лживые слова, она гордо глядела на коннетабля, женским притворством и дерзостью так ловко скрыв на лице свои чувства, что супруг ее смутился, словно девица, испустившая неподобающий звук в многолюдном обществе; и тут ему вдруг явилась мысль, что он совершил непоправимое несчастье.

— О ком же тогда вы грезили нынче утром? — спросил он жену.

— Мне снился король,— отвечала она.

— Но почему же, мой друг, вы мне этого не сказали?

— Да разве вы поверили бы мне? На вас напал тогда такой лютый гнев!

Пропустив слова ее мимо ушей, коннетабль продолжал:

— А как же очутился у Савуази ключ от нашей потайной двери?

— Ах, откуда мне это знать! — отрезала она.— Да и хватит ли у вас уважения ко мне, чтобы поверить моим словам?

И, делая вид, что идет распорядиться по хозяйству, жена коннетабля повернулась на каблучках с такой легкостью, как поворачивается на ветру флюгер.

Можно представить себе, в сколь затруднительном положении оказались граф д'Арминьяк, не знавший, что делать ему с головой несчастного Савуази, и Буа-Буредон, который, боясь выдать себя нежданным кашлем, слушал, как граф, оставшись один, бормочет какие-то несвязные слова. Наконец, граф дважды стукнул изо всей силы кулаком по столу и громко сказал:

— Ну, теперь, Пуасси, держись!

И он ускакал, а Буа-Буредон, переодетый в чужую одежду, с наступлением ночи исчез из замка.

О несчастном Савуази было пролито немало слез его дамой, сделавшей решительно все, что может сделать женщина ради спасения своего друга, а немного позднее пришлось ей не только его оплакивать, но и сильно пожалеть о своей потере, ибо когда жена коннетабля рассказала обо всем случившемся королеве Изабелле, та освободила Буа-Буредона от служения своей кузине и взяла его на службу к себе,— так была она растрогана стойкостью, мужеством и прочими достоинствами молодого рыцаря.

Что касается Буа-Буредона, то сама смерть вручала дамам его судьбу. Попав в милость к королеве, он стал весьма заносчив со всеми и однажды позволил себе непочтительно обойтись даже с самим королем Карлом — в один из тех дней, когда к несчастному безумцу возвращался рассудок,— и придворные, завидуя успехам Буа-Буредона, сообщили королю о том, что молодой рыцарь сделал его величество рогачом. В один миг Буа-Буредон был зашит в мешок и, как известно, сброшен в Сену неподалеку от переправы Шарантон. Нечего и говорить, что с того дня, как коннетаблю вздумалось столь опрометчиво пустить в ход кинжал, любезная жена его так ловко намекала на два убийства, совершенные им, так часто попрекала ими мужа, что сделала его мягким, как кошачья шерстка, и вертела им, как хотела, направляя свою супружескую жизнь в желанное ей русло. Граф же неустан-

но превозносил свою супругу, называя ее женщиной честной и благонравной, каковой она и была в действительности.

Поскольку в книге сей мы должны, следуя правилам великих писателей древности, не только позабавить людей, но и дать им нечто полезное, преподать им поучение тонкого вкуса, я скажу вам, что главная суть настоящего повествования заключается в следующем: ни при каких, самых трудных, обстоятельствах женщинам не следует терять голову, помня, что бог любви никогда не оставит их, особенно коли они молоды, хороши собой и благородного происхождения; засим повесть наша учит, что, отправляясь в назначенный час на свидание, любовникам не годится быть бесшабашными ветрениками, что им надобно вести себя осторожно и осмотрительно, дабы не угодить в какую-нибудь ловушку и уберечь себя от гибели, ибо после прелестной женщины самое драгоценное сокровище на свете — красивый молодой человек.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВОЗГЛАС

Красавица прачка из Портильона, что близ города Тура, острословие коей поминалось уже в сей книге, была одарена такой хитростью, что при случае могла бы заткнуть за пояс полдюжину попов и трех кумушек, а то и более. Зато и воздыхателей у ней было превеликое множество, и вились они вкруг нее густым роем, как пчелы, летящие ввечеру в свой улей.

Престарелый красильщик шелков, проживавший на улице Монфюмье в собственном великолепном доме, както раз возвращался верхом со своей мызы Гренадьер, расположенной на одном из живописных холмов Сен-Сира, и, держа путь к Турскому мосту, проезжал через вышеназванный Портильон. Вот тут-то красильщик и увидал прекрасную прачку, которая вышла теплым летним вечерком посидеть на крылечке, и воспылал к ней неистовою страстью. С давних пор помышлял он втайне об этой милой девице и порешил теперь сочетаться с нею законным браком. Так в скором времени наша прачка стала супругой красильщика, почтенной горожанкой Тура, и всего было у нее вдоволь: и кружев, и тонкого белья, и разной утвари; и хоть жила она с немилым, но была счастлива, научившись весьма искусно водить своего супруга за нос.

Был у красильщика друг, механик, мастеривший всякие приборы для обработки шелка,— человек низкорослый, горбатый и весьма коварный. Так в самый день свадьбы сказал он красильщику:

— Ты, кум, отлично сделал, что женился: теперь у нас с тобой будет славная женка!..

За сим последовали и прочие весьма вольные шуточки, какими водится у нас угощать новобрачных.

Горбун и впрямь принялся волочиться за красильщицей; а та, питая по натуре своей неприязнь к несладно скроенным мужчинам, начала высмеивать домогательства механика, едко подтрунивая над всякими пружинами, станками и шпульками, от которых негде было повернуться в его мастерской. Ничто, однако, не могло остудить любовный пыл горбуна, и в конце концов до того он надоел красильщице, что она замыслила исцелить его какой-либо хитрой проделкой.

И вот однажды вечером, наскучив назойливыми приставаниями влюбленного мастера, велела она ему подойти около полуночи к боковой двери их дома, пообещав открыть пред ним все входы и щели... А надо заметить, что дело происходило студеною зимней ночью; улица Монфюмье ведет к Луаре, и здесь, словно в горном ущелье, даже летней порою бушуют ветры, сотнями колких игл вонзающиеся в прохожего. Наш горбун, закутавшись хорошенько в плащ, не преминул явиться до срока и в ожидании любовной встречи, чтобы не закоченеть, стал прогуливаться возле дома. Около полуночи он совсем продрог, разъярился, как три дюжины чертей, угодивших ненароком под поповскую епитрахиль, и уже готов был отступиться от своего счастья, как вдруг сквозь щели ставен пробежал слабый свет и скользнул вниз, к двери.

— О, это она!..— сказал себе горбун.

И надежда тотчас согрела его. Он прильнул к двери и услыхал знакомый голосок.

— Вы здесь? — спросила красильщица.

— Да!

— Покашляйте, чтобы я уверилась...

Горбун покашлял.

— Нет, это не вы!

Тогда горбун громко воскликнул:

— Как не я?! Разве не узнаете вы моего голоса? Откройте!

— Кто там? — спросил красильщик, отворяя окно.

— Увы! Вы разбудили моего супруга, он нежданно-негаданно возвратился нынче вечером из Амбуаза...

Красильщик же, заприметив при свете луны какого-то человека возле двери своего дома, выплеснул на него из окна ведро холодной воды и закричал: «Держи вора!»,— так что горбуну не оставалось ничего иного, как пуститься в бегство. Но с перепугу он весьма неловко перепрыгнул через цепь, протянутую в конце улицы, и свалился в смрадную канаву, каковую градоправители наши не удосужились еще в ту пору заменить желобом для стока нечистот в Луару. От нечаянного купания механик наш чуть было тут же не испустил дух и проклинал в душе своей Ташеретту, как обитатели Тура любезно называли прелестную жену красильщика, имя коего было Ташеро.

Карандас, механик, изготовлявший разные приспособления, годные для того, чтобы ткать, прясть, наматывать и свертывать шелка, далеко не был простаком: он не поверил в невиновность красильщицы и поклялся прежестоко ей отомстить. Однако ж несколько дней спустя, оправившись от своего купания в грязных, многоцветных водах, что стекают из красильных мастерских, зашел он к своему куму поужинать. Тут красильщица так искусно его заговорила, сумела вложить в иные слова свои столько меду, обольстила горбуна столь заманчивыми обещаниями, что подозрения его рассеялись. И вновь стал он молить ее о свидании, а прекрасная Ташеретта, посмотрев на своего воздыхателя так, словно она сама только о том и помышляет, сказала:

— Приходите завтра ввечеру, муж мой уедет на три дня в Шенонсо. Королева пожелала отдать в краску старые ткани и будет держать с ним совет, в какие цвета их окрасить; времени на то уйдет немало...

Карандас облекся в самый лучший свой наряд и, нимало не мешкая, явился к назначенному часу в дом красильщика, где ожидал его славный ужин. На столе, накрытом белоснежной скатертью,— уж кого-кого, а нашу Ташеретту нечего было учить, как стирать и крахмалить! — красовались миноги, вино из Вувре и прочие заманчивые яства; словом, все было так заботливо подготовлено, что горбун с умилением взирал на блестящие оловянные тарелки, вдыхал запахи вкусных кушаний, а пуще всего любовался, как по комнате бегает и хлопочет милая Ташеретта — ловкая, нарядная, аппетитная,

словно наливное яблочко в жаркий день! И вот, распалясь в предвкушении близких утех, горбун уже вознамерился было приступом завладеть красильщицей, как вдруг в дверь с улицы послышался громкий, хозяйский стук.

— Ах,— воскликнула Ташеретта,— что бы это могло приключиться? Спрячьтесь скорее в шкаф! Ведь однажды мне уже из-за вас досталось, и если мой муж застанет вас здесь, он может так разъяриться, что, чего доброго, тут же прикончит вас!

И она поспешно вталкивает горбуна в шкаф, запирает его там, прячет ключ и идет встречать своего муженька, который, как ей ведомо было заранее, намеревался к ужину воротиться из Шенонсо. Едва красильщик вошел в дом, Ташеретта жарко расцеловала его в оба глаза и в обе щеки, а он, заключив свою милую женушку в объятия, принялся осыпать ее звонкими, смачными поцелуями.

Затем супруги сели ужинать; они болтали, весело смеялись и наконец улеглись в постель; механик наш все это слышал, а сам всю ночь должен был простоять на ногах, не смея ни кашлянуть, ни пошевелиться. Был он стиснут в грудах одежды, словно сардинка в бочке, а воздуху доходило до него не более, чем доходит солнечного света до рыб в пучине морской. Но зато он мог на славу потешить себя, внимая всей музыке страсти, томным вздохам красильщика и сладкому лепету Ташеретты. Наконец, когда горбун порешил, что кум его забылся сном, он начал потихоньку приналегать изнутри на дверцу шкафа.

— Кто там? — промолвил красильщик.

— Что с тобой, мой дружок? — спросила жена, высовывая носик из-под одеяла.

— Слышу я, будто кто-то скребется.

— Видно, завтра быть дождю: это скребется кошка,— отвечала жена.

И доверчивый супруг вновь опустил голову на подушку, убаюканный нежными речами обманщицы.

— Ну и чуткий же сон у вас, друг мой! Попробуй проведи такого муженька!.. Спи же, будь паинькой! Ой-ой-ой, папаша, да ведь у тебя совсем съехал на сторону колпак! Давай-ка оденем его как следует, мой дру-

жок, ведь и спящему надо быть красивым. Ну, что, теперь хорошо тебе?

— Да.

— Ты спишь? — спросила она, целуя мужа.

— Да.

Утром красильщица отперла потихоньку шкаф и выпустила оттуда механика, который был бледнее мертвеца.

— Ох! Воздуху, воздуху! — только и мог пробормотать он. И убежал, исцеленный от жгучей страсти, унося в сердце своем столько злобы, сколько можно унести зерна в мешке.

Вскоре после того наш горбун покинул Тур и отправился в город Брюгге, куда пригласили его местные купцы, задумав оснастить в вышеназванном городе мастерскую для изготовления кольчуг. Во время долгой своей отлучки Карандас, в жилах коего текла мавританская кровь, ибо род свой он вел от некоего древнего сарацина, тяжко раненного в битве меж маврами и французами, разыгравшейся в общине Баллан, на том самом месте, где лежит ныне огромная пустошь, именуемая ландами Карла Великого, и где ничто не произрастает, поскольку погребены там неверные, и от тамошних треклятых трав отвращается даже скот,— итак, обретаясь в чужих краях, Карандас и спать ложился и вставал с единой мыслью — как бы утолить ему свою жажду мщения; днем и ночью думал он об этом и порешил не успокаиваться, пока не насладится гибелью красавицы-прачки из Портильона, и то и дело твердил про себя:

— Уж я отведаю ее мясца! Черт возьми! Велю изжарить ее розовый сосочек и буду грызть его даже безо всякой приправы!

То была черная ненависть, чернее монашеской рясы, ненависть разозленной осы или старой девы; да, все, какие только есть виды ненависти, все слились в одну-единую ненасытную ненависть, и она клокотала и бурлила в душе горбуна, обратилась в некий эликсир, вскипевший на самом жарком адском огне, ядовитое зелье, в состав коего вошли все злобные чувства, что нашептывает нам лукавый; словом сказать, такой лютой, неуемной ненависти свет еще не видывал.

И вот в один прекрасный день наш Карандас возвра-

тился в Турень с полной мошной денег, нажитых во фландрских краях, где промышлял он тайнами своей механики. Он приобрел себе превосходный дом на улице Монфюмье, каковой и поныне стоит там, возбуждая удивление прохожих весьма занятными изображениями, высеченными на каменных его стенах. Злобствующий Карандас нашел изрядные перемены в доме своего кума-красильщика... Старина уже обзавелся двумя славными ребятишками, у коих по странной случайности нельзя было приметить никакого сходства ни с отцом, ни с матерью; но коль скоро надобно, чтобы дети на кого-нибудь да походили, то всегда найдутся умники, которые приметят у ребят — о льстецы! — сходные черты хотя бы с прадедами, разумеется, ежели те были красивы... Что до нашего красильщика, то, в простоте душевной, он полагал, что оба сынка имеют превеликое сходство с его дядей, служившим во время оно священником в церкви Эгриньольской богоматери; по словам же иных зубоскалов, малютки были живым подобием некоего красавчика попика из церкви Ларишской богоматери, что находится в прославленном приходе меж Туром и Плесси.

Одно мне хочется запечатлеть в мозгу вашем, и если вы извлечете, вынесете и почерпнете из нашего повествования только эту истину, основу всех истин,— вам и то надлежит почитать себя счастливыми. Истина же сия гласит, что никогда ни один смертный не сможет обходиться без носа, id est, что он будет всегда сопляком, иначе сказать, останется на веки вечные верным своей природе и, стало быть, во все грядущие времена будет пить и веселиться, ни на йоту не становясь ни лучше, ни хуже того, чем был, и тем же заниматься будет, чем занимался доселе. Рассуждения наши пусть послужат для того, чтобы вы лучше усвоили и уразумели, что двуногая тварь, именуемая человеком, будет вечно верить тому, что льстит ее страстям, что питает ее ненависть и благоприятствует ее любви. Вот вам и вся мораль!

Посему в первый же день, когда вышеназванный Карандас увидал детей своего куманька, увидал смазливого попика, красавицу Ташеретту, красильщика Ташеро — словом, все семейство за трапезой, а также, к великой досаде своей, заприметил, как Ташеретта лучшие куски рыбы подкладывает своему дружку, с лукавством притом

на него поглядывая, наш механик сказал себе: «Моему куманьку наставили рога, его жена слюбилась со своим красавчиком духовником, детки были сотворены при помощи его святой водицы. Ну, а я докажу им, что у горбунов имеется кое-чего побольше, чем у прочих людей!»

И было то сущей правдой, как правда то, что Тур стоит и всегда будет стоять, погрузив стопы свои в Луару, словно купающаяся красотка, которая играет с волнами и плещется, звонко похлопывая по воде белоснежными своими ручками; ибо Тур есть город веселья и смеха, город цветущий, влюбчивый, веющий свежестью, благоуханный более, нежели все иные города на белом свете, недостойные даже умастить власы ему или омыть ноги! Знайте, коли вы туда поедете, что как раз посреди города вы увидите прямую, как стрела, улицу, где прогуливаются все горожане, где для каждого есть и ветер, и солнце, и тень, и дождь, и любовь. Да, да, не смейтесь, а побывайте-ка лучше там! Улица эта вовек не надоест, она королей достойна, императоров достойна, она поистине гордость нашей Турени, эта улица о двух тротуарах, открытая с обоих концов, ровная от самого начала до конца и столь широкая, что никогда не кричат на ней: «Берегись!», улица, которой воистину износу нет и не будет! Улица эта ведет к аббатству Гран-Мон и ко рву, через который живописно перекинут мост, а дальше расстилается обширное ярмарочное поле; это искусно вымощенная, красиво застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как зеркало, улица, оживленная и многолюдная в одни часы, пустынная и притихшая в другие, прикрытая, словно кокетливым ночным чепцом, нарядными голубыми крышами; короче сказать, та самая улица, где я впервые увидел свет, царица всех улиц, мирно покоящаяся меж небом и землей, улица с фонтаном, улица, коей дано все, дабы стать самой прославленной улицей в мире!

И верно, это единственная улица в Туре, достойная так называться. Ежели там и существуют другие улицы, то они грязны, кривы, узки, сыры, и все они сбегаются, чтобы почтительно приветствовать благородную сию улицу, как свою повелительницу и госпожу. Да, на чем, бишь, я остановился, куда забрел?.. Такова уж наша улица: как попал на нее, так и не захочешь уйти, до того она

хороша! По-сыновнему чтя ее, я хотел воздать этим, прямо из сердца вылившимся, описанием восторженную хвалу моей родимой улице, на углах коей не хватает лишь изображений достославного моего учителя Рабле и господина Декарта, как видно, неизвестных уроженцам наших мест.

Итак, когда вышеназванный Карандас воротился из Фландрии, его с радостью встретили и приятель его красильщик и все прочие, кому по сердцу приходились язвительные насмешки, бойкие шуточки и словечки горбуна. По видимости, наш механик исцелился от прежней страсти; как истинный друг, толковал он о том, о сем с Ташеретой и с попиком, ласкал малюток; но, оставшись однажды с глазу на глаз с красильщицей, он привел ей на память ночь, которую пришлось ему провести в шкафу, и другую, с купанием в зловонной яме, и воскликнул:

— Ох, сколь жестокие шутки вы надо мной шутили!

— И поделом было вам! — отвечала Ташеретта, смеясь.— Ведь ежели бы из великой любви ко мне вы дали бы тогда еще денек-другой поморочить вас, подразнить и помучить, то и вы, может статься, потешили бы себя не хуже, чем иные прочие.

Карандас посмеялся в ответ, но в душе он бесился. Когда же взгляд его упал на шкаф, где он когда-то чуть не задохся, наш горбун и вовсе рассвирепел, тем паче, что за истекшие годы прекрасная жена красильщика стала еще прекраснее, как то бывает со всеми женщинами, кои свою свежесть и красоту свою возрождают, непрестанно погружаясь в воды юности, а таковые не что иное суть, как живые родники любви.

Готовясь отмстить за себя, наш механик прилежно стал высматривать, как наставляют рога его куманьку, ибо сколько есть на свете семейных очагов, столько и способов найдется в этом искусстве, и хотя все любовные истории похожи одна на другую, как и все мужчины меж собою схожи, пора бы уразуметь мудрецам, толкующим умозрительно о житейских делах, что, к вящему удовольствию особ прелестного пола, каждая любовь по-своему протекает и ладится, и ежели нет на свете ничего более сходственного, чем мужчина с мужчиною, то нет также ничего и различнее их. Вот что постоянно сбивает нас с толку и вот чем объяснять должно всевозможные прихо-

ти женщин, кои с превеликим упорством стараются сыскать для себя наилучшего из мужчин, познавая притом множество радостей и множество мук, и последних, увы, куда более отпущено им судьбою.

Как же осуждать бедняжек за беспокойные их порывы, поиски, пробы и перемены? Ведь все в самой природе находится в вечном коловращении, все движется, все меняется, так неужто же потребуете вы, чтобы женщина, одна из всего сущего, пребывала в неподвижности?! Кто с достоверностию может сказать, что лед холоден и не обман ли это наших чувств? Никто. Тем более неведомо нам, не суть ли рога мужей просто дело счастливого случая, всегда благоприятствующего обладателям ума изощренного и изворотливого? Лишь глупец один не видит под небесами иных услад, кроме наслаждений чревоугодия!. Я знаю, что могу нанести ущерб философической репутации сей глубокомысленной книги — пусть! — но я утверждаю и буду утверждать, что шарлатан, бродящий от дома к дому с криком: «А вот крыс морю»,— смыслит куда более, нежели те, кто предерзостно тщится подглядеть сокровенные тайны природы, ибо природа — гордячка и капризница, допускающая лицезреть себя лишь в той мере и лишь в те часы, когда ей заблагорассудится. Хорошенько усвойте это! Ведь недаром же природа, особа в высшей степени непостоянная, плодовитая и неистощимая на выдумки, обозначается на всех языках словом женского рода!

В скором времени Карандас уверился, что для женщин самый надежный и удобный способ наставить мужу рога — это взять себе в любовники лицо духовного звания. И вот как устраивала свои любовные дела прекрасная наша красильщица. Накануне воскресных дней отправлялась она на мызу Гренадьер, что возле Сен-Сира, оставляя своего супруга дома заканчивать дела, проверять счета и расплачиваться с работниками. Наутро Ташеро тоже приезжал на мызу и неизменно заставал на столе вкусный завтрак, а супругу свою в самом веселом расположении духа; с собою он прихватывал всякий раз и молодого попика. Хитряга еще накануне переплывал на челне Луару, и, согревая красильщицу в своих объятиях, удовлетворял исправно все ее желания, дабы ночью ей слаще спалось,— занятие, к которому молодые люди

бывают весьма способны. А поутру сей укротитель страстей благополучно возвращался восвояси еще до того часа, как Ташеро, по своему обычаю, заходил за ним, чтобы вместе ехать для приятного отдыха на мызу Гренадьер, и посему наш рогоносец всегда заставал попика в постели. Лодочник, щедрую мзду получая, молчал, и о проделках тех не знала ни одна живая душа, ибо любовник переправлялся на другой берег, в Гренадьер, лишь ночной порой, а возвращался тем же путем в воскресенье, едва забрезжит свет.

Проведав, что эти любовные встречи совершаются в урочные часы и по взаимному сговору, Карандас стал выжидать того дня, когда любовники, после вынужденного перерыва, сойдутся, особенно сильно стосковавшись друг по другу. Случай не замедлил представиться, и, снедаемый любопытством, горбун заприметил однажды внизу у берега близ канала святой Анны челн, поджидавший вышеупомянутого попика,— а попик был юноша белокурый, стройный и на диво сложенный, напоминавший изящного и томного любовника, воспетого господином Ариосто. Механик тотчас же поспешил к старому красильщику, который по-прежнему любил жену и полагал, что только он один опускает свой перст в бесценную чашу со святою водой.

— Добрый вечер, кум! — сказал Карандас.

В ответ Ташеро приподнял свой колпак.

Тут горбатый механик стал повествовать куманьку о любовных утехах его супруги, совершаемых втайне, вертывая притом разные словечки, бередившие душу красильщика. Наконец, видя, что тот распалился и готов убить свою жену и попика, Карандас ему говорит:

— Дорогой сосед, из фландрских краев я привез отравленную шпагу, малейшая от нее царапина причиняет мгновенную смерть; стоит вам прикоснуться той шпагой к вашей потаскухе и ее дружку — и оба они умрут.

— Так пойдем же скорее за этой шпагой!—вскричал красильщик. И они поспешили в дом горбуна, захватили с собою шпагу и побежали что есть духу на мызу.

— А мы застанем их уже в постели? — вопрошал с тревогою Ташеро.

— Коли нет, так подождем,— отвечал горбун, смеясь про себя над кумом.

Однако ж рогоносец был избавлен от тяжких мук — ему не пришлось долго ожидать начала любовной игры. Прекрасная красильщица и ее возлюбленный, уже давно предаваясь приятному занятию, ловили в знакомом вам прелестном саду маленькую птичку, которая порхает то туда, то сюда. Они старались, как могли, поймать ее, громко смеялись и начинали сызнова.

— О миленький мой,— говорила Ташеретта, крепко сжимая в объятиях своего дружка, словно навсегда желала его к себе припечатать.— Столь велика моя любовь к тебе, что я хотела бы тебя съесть! А пуще того мне хотелось бы вобрать тебя во все поры тела моего, чтобы ты вовек не расставался со мною!

— Я и сам того желал бы,— ответствовал попик,—но, увы, сие для меня невозможно! Уж придется тебе довольствоваться лишь частицей естества моего...

В этот сладчайший миг и вошел супруг, размахивая над головой обнаженною шпагой. Прелестная красильщица достаточно хорошо изучила лицо своего мужа и сразу поняла, что для возлюбленного ее настал последний час. Нимало не медля, ринулась она навстречу своему супругу, почти нагая, с растрепавшимися волосами, прекрасная от стыда и еще того прекраснее от любви, восклицая:

— Остановись, несчастный! Не убивай отца детей своих!

Тут наш красильщик, ослепленный отцовским величием рогоносца, а равно и пламенными взорами своей жены, уронил шпагу прямо на ногу горбуну, шедшему за ним по пятам, и тем убил его.

Сие учит нас, что не должно быть злым и мстительным.

ВЕДЬМА

ПРОЛОГ

Некие жители преславной Турени, прослышав о том, что автор сей книги с великим рвением изучает древности, а равно забавные случаи и любовные похождения, происшедшие в нашем благословенном краю, заключили, что все, касающееся Турени, должно быть автору известно, и однажды после обильных возлияний приступили к нему с вопросом, установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине одна из улиц города Тура прозывается «Горячей», возбуждая тем немалое любопытство. В ответ на это автор выразил удивление, что турские старожилы могли запамятовать об изрядном числе монастырей, расположенных по вышеназванной улице, стены коих так долго накалялись от строгого воздержания монахов и монахинь, что стоило иной порядочной женщине не замедлить ненароком шаг, совершая вблизи тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени оказывалась в тягости. Один дворянчик, желая блеснуть своими познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены были все городские притоны. Другой пустился в научные лабиринты, заговорил красно, да непонятно, сопрягая старину с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как их следует употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как алхимик, разбирал древние языки со времен потопа: еврейский, халдейский, египетский, греческий и латинский,— приплел к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что ежели из слова

chauld (горячий) выбросить две буквы h и l,—получится слово cauda, означающее «хвост», из чего следует, что в этом деле замешан чей-то хвост; турские дамы из всей этой премудрости только о хвосте и поняли.

А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе старое время бил горячий источник, откуда пивал воду его прапрадед. Словом, в срок меньший, чем требуется, чтобы слюбиться мухе с мухой, нагромоздили целую кучу этимологических объяснéний, где истину было труднее обнаружить, нежели найти вошь во всклокоченной бороде капуцина. Но ученый муж, прославленный своими скитаниями по монастырям, немало истребивший масла в лампе, светившей ему при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж документов, хартий, актов, протоколов и исследований по истории Турени собравший больше, чем собирает хлебопашец колосьев на ниве в августе месяце,— сей ученый муж, сидя безмолвно в углу, старый, хилый, согбенный подагрой, вдруг презрительно усмехнулся и внятно произнес: «Чепуха!» Услышав это восклицание, автор понял, что старику ведома некая достоверная история, которой можно будет порадовать читателя.

И действительно, на другой день подагрик сказал автору:

— Своей поэмой, озаглавленной «Невольный грех», вы навсегда завоевали мое уважение, ибо все в ней истинная правда, с начала до конца, а сие, по моему разумению, есть наиценнейшее качество в подобных материях. Но как я вижу, вам неизвестны приключения мавританки, обращенной в христианскую веру мессиром Брюином де ла Рош-Корбон. Мне она известна, и, ежели вас занимает объяснение названия «Горячая улица», а также судьба монахини-египтянки, я вручу вам некий любопытный свод древних документов, позаимствованных мною в архиве архиепископства, библиотека коего немного пострадала в те дни, когда никто из нас не мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены. Не правда ли?

— Еще бы,— ответил автор.

Таким образом, автор получил в пользование от прилежного собирателя древностей несколько прекрасных

запыленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами церковного суда, и не без труда перевел их на французский язык, считая, что доподлинное восстановление этого средневекового судебного дела, которое раскрывает бесхитростное простодушие далекой старины, будет как нельзя более любопытным. Итак, внимайте! Вот в каком порядке были расположены документы, которые автор истолковал в меру своего разумения, ибо всех дьявольских премудростей языка понять не мог.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
КТО БЫЛА ВЕДЬМА

In nomine Patris, et Filii et Spiritur Sancti. Amen[1].

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова нам, Жерому Корнилю, главному пенитенциарию и судье по делам духовным, к сему призванному членами капитула при соборе св. Маврикия в городе Туре, надлежало представить на рассмотрение нашего владыки архиепископа Жеана де Монсоро жалобы и пени горожан, прошения коих будут к сему приложены. Некоторые знатные особы, а также горожане и простолюдины со всей епархии явились с показаниями о бесчинствах дьявола, подозреваемого в принятии женского обличья, и о великом зле, им содеянном душам христианским. В настоящее время оный дьявол ввергнут в темницу при капитуле. Дабы убедиться в справедливости сих жалоб, мы приступили к настоящему опросу 11 декабря сего года, в понедельник после обедни, имея в виду показания каждого свидетеля оному дьяволу сообщить и, допросив его о возводимых на него обвинениях, судить его по законам contra daemonios[2].

Для ведения и составления протокола вызван нами из капитула рубрикатор Гильом Турнебуш, муж весьма ученый.

Первым явился к нам для показания некий Жеан, именуемый Тортебра, или Ловкач, турский горожанин, с разрешения властей содержащий гостиницу под вывес-

---

[1] Во имя отца и сына и святого духа. Аминь *(лат.)*.
[2] Против дьявола *(лат.)*.

кой «Аист», что на площади у моста; Тортебра поклялся спасением души своей, положа руку на святое евангелие, что не произнесет ничего, чего бы он сам не слышал и не видел, и он показал следующее:

— Свидетельствую, что около двух лет тому назад под Иванов день, когда жгут праздничные костры, незнакомый мне дворянин, состоящий по всей видимости на королевской службе и находящийся у нас по пути следования из святой земли, выразил желание нанять у меня дом, выстроенный мною за городом, с разрешения капитула, возле места, именуемого полем Сент-Этьен. Этот дом я сдал ему на девять лет за три безанта чистым золотом.

В упомянутом доме названный рыцарь поселил девку, видом пригожую, одетую на иноземный лад — по-сарацински или по-мавритански. Он прятал ее ото всех и не допускал никого к дому на расстояние выстрела из лука. Все же я рассмотрел, что голова ее разубрана пестрыми перьями, цвет кожи сверхъестественной красоты, глаза же ее так пылали, что описать не берусь и думаю, что бил из них адский пламень.

По той причине, что покойный рыцарь угрожал смертью каждому, кто посмел бы сунуть нос в ее жилище, я с великим страхом покинул свой собственный дом и по нынешний день втайне хранил сомнения, опасаясь, не дьяволица ли оная чужеземка, столь привлекательного обличья, что среди женщин я еще не видывал ей равных.

Так как многие люди всякого звания подозревали, что рыцарь был уже мертв и держался на ногах лишь силою ворожбы, заклинаний, волшебного зелья и прочих сатанинских чар этого подобия женщины, желавшей укорениться в нашем краю, то и заявляю, что сколько ни видел я того рыцаря, всегда был он бледен, точно восковая пасхальная свеча. Люди же гостиницы «Аист» знают, что оный рыцарь был предан земле на девятый день по своем прибытии. По словам конюха, покойный его хозяин, запершись в доме, крепко любился с мавританкой, семь дней подряд не выходя от нее, в чем, к ужасу нашему, и признался на смертном одре.

Тогда говорили, будто дьяволица привязала к себе названного рыцаря своими длинными волосами, якобы

наделенными теми горячительными свойствами, посредством коих адский огонь охватывает христиан, под видом огня любовного, и они предаются плотскому неистовству, пока душа не выйдет вон из тела и попадет прямо в руки сатане. Я же утверждаю, что ничего подобного не видел, разве только видел покойного рыцаря изнуренным, зачахшим, не могущим пошевелить перстом. И все же он до последнего часа, не внимая уговорам духовника, рвался к своей девке. И люди признавали в нем кавалера де Бюэль, сражавшегося в святой земле и, по слухам, встретившего в азиатской стране, в Дамаске или еще где-то, околдовавшего его дьявола.

Как бы то ни было, я оставил мой дом в распоряжение незнакомки, согласно условиям договора при сдаче дома в наем. После кончины рыцаря я решил справиться у названной чужеземки, желает ли она остаться у меня в доме или нет. С большими затруднениями я был наконец допущен к ней в сопровождении некоего диковинного человека— чернокожего, полуголого и белоглазого. Тогда-то я увидел мавританку в уборе, сверкающем золотом и драгоценными камнями, освещенную ярким светом, в легкой одежде и возлежащей на азиатском ковре с другим дворянином, тоже погубившим ради нее свою душу. И я не осмеливался взглянуть на нее, ибо глаза ее мигом принудили бы меня покориться ей,— если уж от одного ее голоса у меня похолодало нутро, помутилсь в голове и душа рванулась к ней. В таком смятении, страшась господа, а равно и ада, выбежал я вон, покинув свой дом на ее произвол,— столь губительно было видеть ее басурманскую смуглость, пышущую дьявольским зноем, слышать ее голос, ущемляющий сердце, не говоря уже, что ножки ее были гораздо меньше тех, какие пристало иметь женщине обыкновенной; и с того дня я больше не хожу в мой дом, боясь адовых мук. Я все сказал.

Названному Тортебра мы показали некоего абиссинца, эфиопа или нубийца, черного с головы до пят, лишенного вовсе тех примет мужского пола, коими обычно одарены все христиане. И ввиду того, что сей эфиоп, многократно подвергнутый всяким пыткам и даже огню, упорствовал в молчании, хоть и стонал громко, было установлено, что он языка нашей страны не знает. На-

званный Тортебра сообщил, что язычник абиссинец проживал в его доме вместе с дьяволицей и содействовал ей в колдовстве.

Вышеуказанный Тортебра, ревностно исповедующий великую католическую веру, заявил, что больше знать ничего не знает и говорит с чужих слов, и все это известно остальным прочим, и что, не являясь свидетелем, он свидетельствует лишь о том, что слышал.

Вторым по нашему вызову явился Матвей по прозвищу Пустобрех, поденщик с фермы, находящейся близ Сент-Этьена, каковой, поклявшись на святом евангелии говорить одну лишь правду, признался, что всегда видел яркий свет в окнах у чужеземки и слышал непотребный и сатанинский хохот днем и ночью, и в праздники и в постные дни, равно и в святую седьмицу и в сочельник, словно там пировало видимо-невидимо народу. Засим сообщил, что в окнах дома видел множество растений всякого рода, цветущих среди зимы, и особенно много роз в морозную пору и других прочих цветов, коим требуется изрядная жара, так что тут не обошлось без магии. Однако ж этим он удивлен отнюдь не был, ибо от самой чужеземки исходил зной, и когда прогуливалась она под вечер вдоль его стены, то наутро на грядках до срока поспевали овощи. И не раз в деревах начиналось брожение соков лишь от одного прикосновения ее одежды, и росли они вдвое быстрее положенного. Названный Пустобрех закончил тем, что ничего не знает, ибо трудится с раннего утра и ложится спать с курами.

Засим была опрошена жена поденщика Пустобреха и после клятвы сообщила все, что известно ей по сему делу. Она принялась хвалить чужеземку за то, что якобы по ее прибытии муж стал лучше с ней обращаться, и все благодаря соседству доброй дамы, разливающей вокруг себя любовь, как солнце свои лучи. Она говорила еще много несуразного, чего мы здесь приводить не намерены. Пустобреху, равно как и его жене, был предъявлен вышеупомянутый неизвестный африканец, которого они признали, ибо не раз видели его в саду около дома, и, по их разумению, он слуга дьявола.

Третьим явился мессир Гардуэн V, сеньор де Маильe, к коему мы почтительно обратились с просьбой разъяснить происшедшее для представления его показаний

святой церкви, на что он ответил согласием и дал клятву доблестного рыцаря говорить лишь то, что видел собственными глазами. Он показал, что впервые увидел дьявола, о коем идет речь, во время крестового похода в городе Дамаске, где встретил покойного рыцаря де Бюэля, дравшегося на поединке за обладание оной девкой, ибо эта девка, или дьявол, принадлежала тогда мессиру Жофруа IV де ла Рош-Позе, привезшему ее из Турени, хоть и была она сарацинкой, чему рыцари Франции премного дивились, так же как и ее красоте, вызывавшей немало толков и даже кровопролитных драк в лагере крестоносцев. Во время похода девка эта была причиной многих смертей, ибо де ла Рош-Позе уложил не одного крестоносца, пожелавшего отбить прелестницу, ведь, по словам рыцарей, тайно добившихся ее ласк, наслаждения, даримые ею, ни с какими иными сравнить невозможно. Но под конец рыцарь де Бюэль убил Жофруа де ла Рош-Позе и стал обладателем сей губительницы. Он укрыл ее в монастыре, или же в гареме, по сарацинскому обычаю. До того ее многие видели и слышали, как говорила она во время пиршеств на всяких заморских языках— и по-арабски, и по-гречески, и по-латыни, и по-мавритански, и по-французски, превосходя всех, кто среди христиан знает одно лишь наречие Франции, отчего и прошла молва, будто познания ее от дьявола.

Названный рыцарь Гардуэн признал, что не имел в святой земле притязаний на дьявола отнюдь не из робости, или по равнодушию, или по какой-либо другой причине; приписывает же он свою удачу тому, что носил при себе кусок древа от креста господня, и, кроме того, участию одной знатной дамы родом из греческой земли, которая спасла его от опасности, лишая силы по утрам и вечерам, ибо забирала от него все, не оставляя ничего другим ни в сердце его, ни в иных местах.

Названный рыцарь засвидетельствовал, что женщина, проживавшая в доме Тортебра на поле Сент-Этьен, действительно есть сарацинка, прибывшая из Сирии, в чем он уверился, будучи приглашен к ней на пирушку рыцарем де Круамар, который преставился на седьмой день и, по словам его матери, г-жи де Круамар, был разорен дотла названной девкой, от ласк коей иссякли его жизненные силы, а от нелепых прихотей иссяк кошелек.

После чего рыцарь Гардуэн был спрошен нами в качестве мужа рассудительного, ученого, уважаемого, что думает он о названной женщине, и, побуждаемый нами говорить все по совести, потому что речь идет о богомерзком случае, враждебном вере христианской и божественному правосудию, он ответил:

— Иные крестоносцы во время похода сообщили ему, будто чертовка эта девственна для всякого, кто находится с ней, что будто в нее вселился сам Маммон и для каждого нового любовника возобновляет ее девственность, и много других небылиц говорилось, что говорят мужчины спьяну, из чего не составишь пятого евангелия. Но верно одно, что он, уже старик, не приемлющий больше удовольствий, почувствовал себя вдруг молодым человеком во время последнего ужина, коим угостил его барон де Круамар. И что голос чертовки проник ему в сердце еще прежде, нежели достиг слуха, и зажег во всем его теле такой пламень страсти, что жизнь его стала исходить тем же путем, откуда она берется. И если б не прибег он к помощи кипрского, если б не напился, чтобы закрыть глаза, свалиться под стол и не видеть пламенного взора дьяволицы — хозяйки дома — и не погубить себя ради нее, он уж, наверно, убил бы юного де Круамара, чтобы хоть раз насладиться ласками этой сверхъестественной женщины. После сего случая он поспешил исповедаться в нечистых своих помыслах. И по совету свыше взял у жены своей реликвию — кусок древа креста господня — и не выезжал более из своего поместья; но, даже вопреки христианской стойкости, голос дьяволицы нет-нет да и прозвучит в его ушах, а по утрам вставала она в его памяти с огневеющей грудью. По той причине, что разжигающий вид мавританки взбодрил бы его, как юношу, его, полумертвого старца, и лишил бы последних жизненных сил, названный рыцарь Гардуэн просит нас не вызывать при нем на допрос сию владычицу любовных чар, коей если не дьявол, то сам бог-отец даровал непонятную власть над мужчинами. После чего рыцарь удалился, прочитав в протоколе свое показание и признав чернокожего африканца слугой и пажом вышеуказанной дамы.

Четвертым был вызван к нам еврей Соломон аль Ратшильд, которого мы заверили именем капитула и нашего

архиепископа, что он не будет подвергнут ни пытке огнем, ни прочим пыткам, а также не будет ему от нас никакого беспокойства и вторичного вызова на допрос, принимая во внимание, что он собрался в путь по делам своей коммерции. Дав показание, он может удалиться совершенно свободно.

Названный еврей, Соломон аль Ратшильд, сколь ни мерзка его вера и личность, был нами выслушан с целью узнать от него все, касающееся распутства названной ведьмы. Ввиду того, что он, Соломон, стоит вне христианской церкви, отделен от нас пролитой кровью нашего спасителя (trucidatus Salvator inter nos), то никакой присяге не был он принуждаем.

На вопрос, почему явился он без зеленой ермолки и без желтого колеса на кафтане, нашиваемого на месте сердца, согласно постановлению святой церкви и короля, Соломон аль Ратшильд, предъявил нам письменный указ нашего короля, разрешающий ему это, с подтверждением сенешала Турени и Пуату. После чего вышеупомянутый еврей показал, что поставлял на крупные суммы товары даме, проживающей в доме Тортебра, хозяина гостиницы. Так, он продал ей золотые подсвечники в несколько ветвей, изящной чеканки, несколько серебряных позолоченных блюд, кубки, украшенные драгоценными камнями — изумрудами и рубинами. С востока выписал для нее множество роскошных тканей, персидских ковров, шелковых материй и тонкого полотна. Словом, вещи столь роскошные, что ни одна королева христианского мира не могла бы похвастаться лучшим подбором драгоценностей и домашней утвари. На триста тысяч турских ливров приобрел он для нее цветов из Индии, попугаев, птиц, перьев, пряностей, вин из Греции и бриллианты.

На вопрос наш, доставлял ли он ей какие-либо предметы для дьявольских заклинаний, как то: кровь новорожденных, черные книги и другие предметы, обычно употребляемые колдуньями, аль Ратшильд, предупрежденный нами, что он может давать показания, не боясь, что будет за то взыскано с него, поклялся своей иудейской верой, что никогда ничем подобным не торговал. По словам его, он ведет слишком крупные дела, чтоб заниматься такими пустяками, ибо он поставляет драгоценности

для некоторых весьма могущественных особ, как то: маркиз де Монфера, английский король, король Кипра и Иерусалима, граф Прованский, знатные венецианцы и многие германские князья. Его торговые галеры ходят в Египет под защитою султана, привозят слитки золота и серебра, почему он и посещает монетный двор города Тура. Притом он заявил, что считает даму, о коей идет речь, весьма честной особой и самой обыкновенной женщиной, только невиданной красоты и изящества. Слухи о ее одержимости считает пустой выдумкой сумасбродов. Еще показал он, как, наслышавшись о ее дьявольском очаровании, поддался игре воображения, прельстился ею и предложил ей свои услуги в тот день, когда она случайно вдовела, и был принят. Хотя после той ночи он долго чувствовал себя разбитым, но не ощутил, как утверждают иные, что, мол, живым от нее не вернешься и расплавишься, словно свинец в тигле алхимика.

После сего заявления названному Соломону было разрешено удалиться, согласно охранной грамоте, хотя из показаний его явствует, что сам он близок с дьяволом, ибо сумел выйти цел оттуда, где погибали добрые христиане. Аль Ратшильд предложил капитулу собора нижеследующую сделку относительно помянутого дьявола: буде ее приговорят к сожжению живьем, он, Соломон, обязуется заплатить выкуп, столь значительный, что можно будет на ту сумму достроить самую высокую башню воздвигаемой ныне церкви св. Маврикия.

Что и занесено в протокол для того, чтоб в свое время обсудить на соборе капитула.

Удаляясь, Соломон аль Ратшильд не пожелал указать свое местожительство, сказав, что решение капитула ему сообщит некий еврей из еврейской общины города Тура по имени Товий Натан. Перед уходом еврея ему был предъявлен африканец, в котором он признал пажа дьяволицы и сообщил, что у сарацин есть обычай оскоплять своих слуг, коим поручен надзор за женщинами, и что об этом древнем обычае есть указания у историков: случай с Нарцесом, полководцем константинопольским, и многими другими.

На следующий день после обедни к нам явилась *пятая свидетельница*, весьма высокородная дама де Круа-

мар. Названная дама поклялась святой верой, и принесла присягу на евангелии, и сказала, проливая слезы, что похоронила своего старшего сына, который скончался вследствие уму непостижимой страсти к дьяволу женского пола. Оный молодой дворянин, имея от роду двадцать три года, был отменного здоровья, весьма мощен и бородат, подобно своему покойному отцу. И, несмотря на свое могучее сложение, через три месяца побледнел и зачах, замученный ведьмой с Горячей улицы, как прозывают ее в народе; а мать лишилась всякой власти над ним. И в последние свои дни он стал похож на жалкого, высохшего червяка, каких нередко обнаруживают рачительные хозяйки, подметая свое жилище. И все же, пока еще мог он держаться на ногах, ходил к этой проклятой и отдавал ей последние свои силы и последние червонцы. Когда же он слег и ждал смертного часа, то изрыгал хулу и брань на голову своей сестры, брата и родной матери, хохотал в лицо духовнику; он отрекся от бога и пожелал умереть нераскаянным, чем весьма огорчились его слуги и, дабы спасти душу господина и извлечь ее из ада, заказали в соборе две ежегодных заупокойных мессы. А за право погребения его в освященной земле семья де Круамар обязалась в течение ста лет жертвовать капитулу воск для нужд часовни и церкви к празднику святой троицы. В заключение мать покойного заявила, что, кроме непотребных слов, произнесенных в присутствии досточтимого брата Людовика По, мармустьерского монаха, пришедшего напутствовать названного барона де Круамара, она от сына не слышала никаких иных слов, касающихся дьяволицы, изводившей его. И, сказав это, высокородная дама в глубоком трауре удалилась.

Шестой явилась к нам по вызову нашему некая судомойка Жакета, по прозвищу Чумичка, которая ходит по домам чистить кухонную посуду и живет в настоящее время в рыбном квартале. Поклявшись святой верой не говорить ничего такого, чего бы сама не считала за правду, заявила она следующее. Однажды зашла она на кухню к чертовке, ибо не боялась ее, ввиду того, что оная чертовка вредила лишь мужскому полу. Судомойка свободно могла рассмотреть сего дьявола в женском обличье. Роскошно одетая, она прогуливалась в саду в обще-

стве рыцаря, болтая с ним и смеясь, словно обыкновенная женщина. В ней судомойка признала мавританку, обращенную в христианство покойным сенешалом Турени и Пуату мессиром Брюйном, графом де ла Рош-Корбон и отданную в монастырь Эгриньольской богоматери. Мавританка эта была найденышем, подобранным у подножия статуи святой девы Марии, пречистой матери нашего спасителя. Видимо, ее ребенком похитили цыгане. В то время происходили волнения в Турени, и никто не думал заботиться об этой девчонке, коей исполнилось двенадцать лет, когда покойный сенешал и его супруга спасли ее от костра, где ей не миновать было жариться,—они окрестили ее и стали восприемниками сей дщери ада. В ту пору Чумичка работала прачкой в монастыре и подтверждает, что через двадцать месяцев после поступления в монастырь оная цыганка бежала из него столь ловко, что никто не мог понять, как это произошло. Тогда было признано, что она с помощью дьявола улетела по воздуху, ибо, несмотря на все розыски, никаких следов побега в помещении монастыря не обнаружилось и все вещи оставались на своих местах.

Судомойке был показан все тот же африканец. Она заявила, что его не видала в глаза, хотя и не прочь была поглядеть, ибо он сторожил то помещение, где мавританка неистовствовала, дюжинами губя своих любовников.

Седьмым нами из заключения был вызван для показаний Гюг дю Фу, двадцати лет от роду, сын мессира де Бридоре, отданный своему отцу на поруки по уплате его светлостью соответствующего залога. Гюг дю Фу был застигнут на месте преступления, когда он в сообществе нескольких негодных юнцов напал на тюрьму архиепископства и капитула, осмеливаясь противиться решению церковного правосудия и намереваясь устроить побег дьяволу, о коем идет речь. Невзирая на нежелание юноши отвечать, мы приказали названному Гюгу дю Фу свидетельствовать с полной искренностью обо всем, что известно ему о дьяволе, в сношениях с коим он сильно подозревается, и пояснили, что дело идет о его спасении и о жизни названной ведьмы; тогда он, принявши присягу, сказал:

— Клянусь спасением моей души и святым еванге-

лием, лежащим под моей рукой, я считаю женщину, в коей подозревают дьявола, истинным ангелом, считаю женщиной безупречной телом и еще более того — душою. Она живет совершенно честной жизнью, исполнена очарования и искусна в любви. Она никому не причиняет зла, наоборот, щедра, помогает бедным и обездоленным. Заявляю, что она искренними слезами оплакивала кончину друга моего рыцаря Круамара, и так как она в тот день дала обет пресвятой деве не допускать до любовных утех слишком слабых плотью юношей, то неизменно и с превеликой стойкостью отказывала мне в наслаждениях телесных и разрешила лишь обладать ее сердцем, признав меня его властелином. После сего любезного дара, сдерживая мои разгорающиеся чувства, она жила в одиночестве, я же проводил в ее доме почти все свои дни, счастливый уж тем, что могу видеть и слышать ее. И я упивался, дыша единым с нею воздухом, любуясь светом, коим все озаряли ее прекрасные очи, испытывая больше радости за сим занятием, чем небожители в раю. Избрав ее навсегда дамой моего сердца, в ожидании того дня, когда она станет моею милой голубкой, моей женой, единственной моей подругой, я, несчастный безумец, не получил от нее даже залога будущих наслаждений, а, напротив, слышал только множество добродетельных советов: как достигнуть мне славы доброго рыцаря, как стать сильным и прекрасным, никого не бояться, кроме бога, почитать женщин, служить лишь одной даме и любить прочих в ее честь; впоследствии, когда я окрепну в бранных трудах и если будет она по-прежнему мила мне, только тогда она станет моею, ибо любит меня одного и вопреки всему дождется меня.

И, говоря так, заплакал молодой рыцарь Гюг и, плача, присовокупил, что при мысли об этой прелестной и хрупкой, как тростинка, женщине, чьи руки казались ему слишком слабыми даже для легкого бремени золотых запястий, он не мог совладать с собой, ибо представил себе железные оковы, разрывающие ее нежную кожу, и прочие муки, коим она была предательски подвергнута и кои вызывают его возмущение. И раз уж дозволено говорить о своем горе пред лицом правосудия, он заявляет, что жизнь его навеки связана с жизнью его прелест-

ной возлюбленной и подруги, и если б ей угрожала беда, он твердо решил умереть.

И названный молодой дворянин возносил всякую хвалу дьяволице, что свидетельствует, сколь глубоко проникла в него порча, а также показывает всю мерзость и неисцелимую греховность в его жизни и коварство чар, коими он был опутан, что и будет повергнуто на суд господина нашего архиепископа, дабы спасти от адских сетей покаянием и через изгнание беса эту молодую душу, если только дьявол окончательно не завладел ею.

Названного молодого человека передали в руки его родителя, после того как он показал, что африканец— слуга обвиняемой.

Восьмой предстала пред нами, введенная с большим почетом слугами господина нашего архиепископа, достопочтенная и высокородная дама Жаклина де Шаневрие, аббатиса кармелитского монастыря пресвятой девы. Даме этой была поручена покойным сенешалом Турени, отцом монсеньора графа де ла Рош-Карбон, ныне покровителя названного монастыря, цыганка, при святом крещении нареченная Бланш Брюин.

Мы объяснили досточтимой госпоже аббатисе нижеследующее: что дело идет о святой церкви, о вящей славе господней и о вечном спасении людей нашей епархии, угнетенных кознями дьявола, равно как о жизни одной из тварей господних, невинность коей еще может быть доказана. После сего объяснения мы просили госпожу аббатису свидетельствовать обо всем, что было ей известно касательно таинственного исчезновения ее дочери во Христе Бланш Брюин, обрученной нашему спасителю под именем сестры Клары. Тогда досточтимая госпожа аббатиса сообщила то, что следует ниже.

Происхождение сестры Клары ей, свидетельнице, неизвестно. Но подозревается, что родилась она от родителей еретиков, врагов господа нашего. Она действительно была отдана в монастырь, управлять коим поручено ей, аббатисе, духовной властью, хотя она себя и считает сего недостойной. Названная сестра стойко отбыла срок послушания и произнесла монашеский обет по святому уставу ордена. Но по произнесении обета погрузилась в

глубокую грусть и чрезвычайно побледнела. Спрошенная ею, аббатисой, о причинах уныния, названная сестра, обливаясь слезами, ответила, что причины сего ей самой неизвестны; что уже тысячу и один раз проливала она слезы, оплакивая свои прекрасные волосы, и что, помимо того, она жаждет свежего воздуха и не может сдержать желания бегать, карабкаться на деревья и резвиться, как ее к тому приучила жизнь под открытым небом; что ночи свои она проводит в слезах, мечтая о темном бо-ре, под сенью коего ей случалось не раз ночевать. И, вспоминая о прежних днях, возненавидела она монастырский воздух, от которого спирает дыхание; исподволь в ней накоплялись греховные мысли, и подчас мечты отвлекали от молитв, лишая ее всякого покоя. Свидетельница тогда же преподала ей святые поучения, предписываемые церковью, напомнила ей о вечном блаженстве, вкушаемом в раю девственницами, и сколь преходяща жизнь наша на этом свете и сколь безгранична милость божья, дарующая за каждую утраченную нами горькую радость уготованные нам награды любви вечной. Несмотря на эти мудрые материнские советы, злой дух все же упорствовал в названной сестре Кларе, и она по-прежнему любовалась листвой дерев, зеленью лугов, глядя на них в церковные окна во время богослужения и в часы молитв. Она, коварная, напускала на себя мертвенную бледность, лишь бы остаться ей в постели, а иной раз носилась по монастырскому двору, подобно козе, сорвавшейся с привязи. В конце концов она исхудала, утратила свою неописуемую красу и блуждала как тень. «По этой причине мы, аббатиса, ее духовная мать, опасаясь рокового исхода, поместили сестру Клару в лазарет. И в одно зимнее утро она исчезла, не оставив за собой никаких следов побега, как то: взломанных дверей, замков, открытых окон, ничего, что доказывало бы ее бегство. Ужасное это происшествие мы отнесли за счет пособничества дьявола, терзавшего и соблазнявшего ее. Тогда отцами нашей церкви дано было заключение, что сия дочь ада, назначенная отвращать монахинь от их святой жизни, но ослепленная блеском их добродетелей, пролетев по воздуху, вернулась на шабаш ведьм, которые, желая надругаться над нашей святой верой, подбросили сию цыганку на площадь у статуи девы Марии».

Сказав это, аббатиса с великим почетом, по приказанию господина нашего архиепископа, была отвезена в свой монастырь.

Девятым пришел вызванный нами для показания Жозеф, по прозвищу Рыбак,— меняла, лавка коего находится у моста под вывеской «Золотой безант». Меняла поклялся своей католической верой не говорить ничего другого, кроме правды, известной ему, по поводу дела, ведомого церковным судом. И он свидетельствовал следующее:

— Я несчастный отец, ввергнутый святою волей господа в великую скорбь. До появления здесь ведьмы с Горячей улицы было у меня единственное сокровище— мой сын. Он был красив, не хуже дворянина, и учен, как писец; более дюжины совершил он путешествий в чужие страны и к тому же был добрый католик; он бежал любовных игр, ибо решил остаться в безбрачии, разумея, что он моя единственная опора на старости лет, свет моих очей и радость моего сердца. Таким сыном гордился бы сам король Франции. Добрый и смелый малый, лучший мой советник во всех делах торговли, веселье моего дома, одним словом, сокровище бесценное, ибо я одинок на этом свете, потеряв в недобрый час подругу жизни, и слишком я ныне стар, чтобы родить себе еще сына. И что же, монсеньер, сокровище это, не имеющее себе равного, взято дьяволом и ввергнуто в ад. Да, господин судья, как только мой сын увидел сии ножны от тысячи кинжалов, сию дьяволицу ненасытную, в коей все — орудие погибели, тенета соблазна и сладострастия, бедняга запутался в них, и с того дня жил между колонн Венеры, и протянул недолго из-за нестерпимого зноя, там царящего, ибо никому не утолить жажды ненасытной прорвы, хоть вливай в нее потоки всего мира! Увы, бедный мой мальчик все свое состояние, все надежды на потомство, на вечное блаженство самого себя целиком, да и не только себя, вверг в бездну, словно крупицу проса в пасть быка. И я, сирота на старости лет, я, здесь свидетельствующий, не хочу иной радости, как только видеть, как зажарят сего дьявола, вскормленного кровью и золотом, паука, запутавшего в свои тенета, сгубившего больше молодых супругов, больше семейных уз и сердец, больше добрых христиан, чем найдется прокаженных во

И вдруг откуда-то взялись у нее силы, она сорвала с себя веревки и бросилась бежать по церкви и, припомнив прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на хоры, порхая, как птица, вдоль колонок и резных фризов.

«ВЕДЬМА»

..и сердце его стучало так сильно, что он слышал его биение.

— У вас отличная корова,— промолвил он.

— Не угодно ли молочка? — ответила крестьянка.

«НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБВИ»

всем христианском мире. Жгите, терзайте сию блудницу, сего вампира, растлевающего души, кровожадную тигрицу, факел любовный, кипящий ядом всех гадюк. Завалите яму сию бездонную. Жертвую свои деньги капитулу на хворост для костра, предлагаю руку мою, чтоб бросить в огонь первую вязанку. Держите крепко, господа судьи, оного дьявола, ибо огонь его сильнее всякого земного огня. Само адское пекло в лоне ее. Сила ее, сила Самсонова, в ее волосах, а в голосе ее — как будто райская музыка. Она пленяет, чтоб убить и тело и душу. Она улыбается, чтоб укусить, она лобзает, чтобы пожрать. Одним словом, она и святого может привязать к себе и заставить отречься от бога. Сын мой, сын мой, где ты сейчас, цвет моей жизни, цветок, срезанный дьявольскими чарами! Святой отец, зачем призвали вы меня? Кто отдаст мне моего сына, душу коего поглотило чрево, дарующее смерть всем и никого не родившее, ибо один лишь дьявол прелюбодействует без зачатия. Вот мое показание, которое прошу мэтра Турнебуша записать, не сокращая ни на йоту, и дать мне его в списке, дабы я мог читать его богу, ежевечерне вознося молитвы, наполнить слух его воплями о крови невинного, дабы умолить его простить моему сыну в бесконечном милосердии своем.

Засим следует еще двадцать семь показаний, передать которые в их настоящем виде и полноте было бы слишком долго и докучно. Это запутало бы нить достопамятного дела, меж тем как, по правилам старины, рассказ должен идти прямо к цели, как вол в ярме по знакомой дороге. Вот в коротких словах главная суть этих показаний.

Немало добрых христиан, горожан и горожанок славного города Тура показали, что оная дьяволица проводит все дни в разгуле и пирах, затмевающих пышностью королевские забавы. Никогда никто не видел ее в церкви, бога она хулила, над священнослужителями смеялась. Никогда и нигде не сотворила она крестного знамения, и говорит она на всех языках мира, что разрешил господь лишь святым апостолам. Не раз носилась она верхом на звере неизвестного вида, взлетая под самые облака. Она не стареет, и лицо ее вечно молодо. В один и тот же день она дарит любовью отца и сына, не считая

это за грех; от нее исходит дух лукавый, чья пагубная власть проявилась на некоем пекаре, который однажды вечером сидел на скамье у крыльца своего дома и, увидав ее, проходящую мимо, чуть не задохнулся от любовного жара, поспешил домой, лег в постель и заключил в объятия свою хозяйку с неистовой страстью. Поутру же нашли его мертвым. И мертвый он все еще любодействовал. Говорили еще, что многие старцы отдавали остаток своих сил и червонцев, чтобы проникнуть к ней и вкусить от греха, как в дни своей юности, и что умирали они, как мухи, отвернувшись от неба, и тут же чернели точно мавры. Дьяволица никогда не появлялась ни к обеду, ни к ужину, ибо питалась лишь в одиночку, поедая человеческие мозги. Не раз видали ее на кладбище, куда она ходила по ночам глодать кости молодых мертвецов, желая насытить дьявола, каковой бешено брыкался и ярился в ее лоне, чем и объясняются ее убийственные, губительные, сокрушительные, язвящие, жалящие лобзания и объятия, любовные судороги и корчи, после коих многие мужчины уходили помяты, скрючены, искусаны, исцарапаны, пришиблены. Словом, с того дня, как наш спаситель загнал легион бесов в стадо свиней, не родилось на земле более зловредной, ядовитой и хищной твари. И если бы бросить весь наш богоспасаемый город Тур на эту ниву Венерину, превратился бы он в семя городов, и уж не преминула бы эта чертовка проглотить его, как ягоду.

Последовало еще множество заявлений, донесений, показаний, жалоб, из которых обнаружилась дьявольская природа этой женщины — дочери, бабки, сестры, любовницы, ублюдка сатаны. Помимо того, показания сии заключали длинный перечень бед и несчастий, навлеченных ею на все семьи. И если можно было бы передать здесь все, согласно протоколам, хранящимся у старика, коему мы обязаны их обнаружением, то до читателя дошли бы вопли ужаса, подобные воплям египтян на седьмой день казней египетских. Протоколы, подписанные мэтром Гильомом Турнебушем, поистине делают честь его имени.

На десятом заседании следствие было закончено, достигнув должной полноты и убедительности доказательств, украсившись подлинными документами и в до-

статочной мере разбухнув приложениями — жалобами, отводами, возражениями, доверенностями, поручительствами, вызовами, заочными свидетельствами, всенародными и тайными признаниями, клятвами, очными ставками и показаниями,— на все это дьяволица должна была дать ответы. Недаром горожане говорили, что если она действительно дьяволица, изводящая мужчин, то и тогда ей придется пробираться через лавину исписанных пергаментов, прежде чем она вернется цела и невредима в свое адское пекло.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ТОМ, КАК ПОСТУПИЛИ С ОНЫМ ДЬЯВОЛОМ ЖЕНСКОГО ПОЛА

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова перед нами, Жеромом Корнилем, великим пенитенциарием и духовным судьей, облеченным сим званием святою церковью, явились: мессир Филипп д'Идре — бальи города Тура и провинции Турени, жительствующий в собственном доме на улице Ротисери; мэтр Жеан Рибу — староста братства и мастер цеха суконщиков, жительствующий на набережной Бретани, у коего на вывеске изображен св. Петр в оковах; мессир Антуан Жаан—староста цеха менял, жительствующий на площади у моста, имеющий на вывеске своей изображение св. Марка, считающего деньги — турские ливры; мэтр Мартин Бопертюи — капитан городских лучников, жительствующий в замке; Жеан Рабле — корабельный конопатчик, жительствующий при верфях острова св. Иакова, казначей братства луарских корабельщиков; Марк Жером по прозвищу Железная Петля — вязальщик, председатель коллегии мастеров, у коего на вывеске изображен св. Севастьян; Жак, называемый Вильдомер,— кабатчик и винодел, жительствующий на Большой улице, где он и содержит питейное заведение «Сосновая шишка». Названному мессиру д'Идре, бальи, равно как и остальным вышеперечисленным турским горожанам, зачитали мы следующее прошение, составленное ими, обсужденное и подписанное для направления в церковный суд:

Прошение

«Мы, нижеподписавшиеся, жители города Тура, пришли в дом господина д'Идре — бальи Турени, ввиду отсутствия нашего мэра, с просьбою выслушать жалобы наши и пени о злодеяниях и кознях, излагаемых ниже. Заявление направляем в суд архиепископа, разбирающий преступления против католической церкви, к коим и относится поднятое нами дело.

С некоторых пор в нашем городе появился зловредный дьявол в образе женщины, проживающей на усадьбе Сент-Этьен в доме хозяина гостиницы Тортебра, построенном на земле соборного капитула, каковая земля подчинена судебным установлениям, действующим в архиепископских владениях. Сия женщина, чужеземка, ведет жизнь блудницы, позволяя себе злоупотребления и излишества всякого рода, доходя до столь злокозненного распутства и продажности, что поступки ее грозят разрушить веру католическую в нашем граде, ибо те, кто посещает ее, возвращаются с душой безнадежно загубленной, отказываются от наставлений святой церкви, изрыгая непристойную хулу на нее.

Посему, принимая во внимание, что многие из тех, кто ее навещал, скончались и что, явившись в наш город, она не имела никакого иного имущества, кроме самой себя, а накопила, как о том идет молва, несметные богатства и сокровища, равные королевским, отчего и возникло подозрение, что приобретаются они путем колдовства или краж при помощи волшебных чар, исходящих, противу естества человеческого, от сей сладострастной чужеземки;

принимая во внимание, что дело идет о чести, безопасности наших семей, что никогда еще в нашем крае не было столь жадной и похотливой блудницы, которая столь вредоносно исполняла бы свое поганое ремесло и столь явно и страшно угрожала жизни, кошельку, нравам, добродетели, религии и всему достоянию жителей нашего города;

принимая во внимание необходимость расследовать личность и поведение оной преступницы, дабы проверить, законны ли ее любострастные действия и не проистекают ли они, как то видно из ее поведения, от внушения

злого духа, посещающего нередко христианский мир в женском обличье, о чем учит нас святое писание, где сказано, что наш спаситель был вознесен на гору сатаной, именуемым Люцифером, или Астаротом, показавшим ему в краткое мгновение времени плодоносные долины Иудейские, и что во многих местах видны были тогда суккубы, или демоны женского обличья, каковые демоны, не желая вернуться в преисподнюю, остались на земле и, храня в себе неугасимый огонь, пытаются освежить себя и насытиться, пожирая души человеческие;

принимая во внимание, что в случае, касающемся названной женщины, имеются тысячи доказательств бесовского наваждения, о коих горожане говорят открыто, и что полезно даже для спокойствия самой обвиняемой привести дело к полному выяснению, дабы она не подверглась преследованию от людей, разоренных ее кознями;

посему молим вас соблаговолить представить нашему духовному владыке и отцу нашей епархии премилостивому и пресвятому архиепископу Жеану де Монсоро на рассмотрение жалобы страждущей его паствы и испросить его вмешательства. Тем вы исполните положенное вам по сану, как мы исполняем долг стражей, бдящих о безопасности города, каждый, согласно вверенным его попечению делам.

К сему руку приложили в год от рождества господа нашего тысяча двести семьдесят первый, в день всех святых, после обедни».

После того как мэтр Турнебуш закончил чтение сего прошения, мы, Жером Корниль, вопросили жалобщиков.

— Мессиры, настаиваете ли вы и ныне на вами изложенном? Есть ли у вас иные доказательства, кроме тех, каковые вы нам представили? Готовы ли вы поклясться перед богом, людьми и перед обвиняемой в истинности ваших слов?

Все, кроме мэтра Жеана Рабле, настояли на своем заявлении, а названный Рабле отказался от обвинения, сказав, что он считает мавританку вполне натуральной и славной девкой, у которой нет иных пороков, как только доводить любовь до чрезвычайно высоких градусов.

Посему мы, судья, по зрелом размышлении решили дать ход прошению означенных горожан и постановляем предъявить женщине, заключенной в узилище капитула, обвинение, допросить ее и судить по статьям законов, канонических правил и ордонансов contra daemonios.

Приказ с изложением обвинений будет обнародован городским глашатаем на всех перекрестках города при звуке труб, дабы всем было ведомо и дабы каждый мог прийти с показанием, согласно своей совести, и быть сведен в очной ставке с дьяволицей и дабы обвиняемая могла обеспечить себя, согласно закону, защитником для ведения сего дела подобающим образом.

Подписали: *Жером Корниль.*
А ниже:
Турнебуш

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Христова, в десятый день февраля месяца после обедни по-нашему, Жерома Корниля духовного судьи, приказу была приведена из тюрьмы капитула женщина, взятая в доме хозяина гостиницы Тортебра, что во владениях капитула собора св. Маврикия, и посему подлежащая правосудию Турского архиепископства. По сути же ее преступления имеет быть судима церковным судом, о чем она и была поставлена нами в известность.

После того как ей были внятно прочитаны и ею хорошо усвоены: во-первых, прошение города, во-вторых, жалобы, обвинения, свидетельства, против нее изложенные в двадцати двух тетрадях мэтром Турнебушем, о чем было ранее нами упомянуто, мы, призывая имя божье и святую церковь, приняли решение обнаружить истину посредством допроса названной обвиняемой.

Во-первых, мы спросили обвиняемую, из какой страны и города она родом?

На что ответ дала: «Из Мавританской страны».

Потом мы спросили, есть ли у нее отец и мать или какая-нибудь родня?

На что ответ дала, что родителей своих не знает.

Мы спросили, как ее имя?

На что ответ дала: «По-арабски — Зульма».

Мы спросили, откуда она знает наш язык?

На что ответ дала: «Знаю, потому что переселилась в вашу страну».

Мы спросили, когда это было?

На что ответ дала: «Приблизительно двенадцать лет тому назад».

Мы спросили, сколько лет ей было тогда?

На что ответ дала: «Пятнадцать лет без малого».

Мы сказали: «Итак, вы признаете, что вам двадцать семь лет?»

На что ответ дала: «Признаю».

Мы сказали ей, что она та самая мавританка, найденная у подножия статуи владычицы-девы, крещенная архиепископом; восприемниками ее были покойный сенешал де ла Рош-Корбон и госпожа д'Азе, его супруга. Мы сказали ей, что она была отдана в монастырь кармелиток, где дала обед девственности, бедности, молчания и любви к господу под благим покровительством святой Клары.

На что ответ дала: «Это правда».

Тогда мы спросили, признает ли она за правду показания высокочтимой и благородной госпожи аббатисы монастыря кармелиток, а также показания Жакетты, по прозвищу Чумичка, кухонной судомойки.

На что ответ дала, что большей частью это правда.

Мы сказали ей: «Значит, вы христианка?»

На что ответ дала: «Да, отец мой!»

Тогда ей было предложено осенить себя крестным знамением и почерпнуть святой воды из кропильницы, каковую подал ей Гильом Турнебуш, что она и сделала на наших глазах, чем установлено было с очевидностью, что Зульма-мавританка, именуемая в нашей стране Бланш Брюин,— монахиня из монастыря кармелиток, нареченная сестрой Кларой, подозреваемая в том, что она — дьявол, принявший женский облик, в нашем присутствии засвидетельствовала свою веру и тем самым признала правомочность над собой церковного суда.

Тогда нами были сказаны ей следующие слова:

— Дочь моя, над вами тяготеет грозное подозрение, что дьявол споспешествовал вашему исчезновению

из монастыря, ибо свершилось оно сверхъестественным путем.

На что ответ дала, что бегство ее произошло вполне естественным путем — через выходную дверь, после вечерни, под плащом монаха-доминиканца Жеана де Марселис, посетившего монастырь. Доминиканец поселил ее в своей каморке на улице Купидона, поблизости одной из городских башен. Сей монах длительно и упорно обучал ее любовным ласкам, о коих в то время она не имела никакого представления. К этим ласкам она чрезвычайно пристрастилась и находила в них великую приятность. Мессир Амбуаз увидел ее в окошко и воспылал к ней страстью. Она полюбила его от всего сердца, больше, чем монаха, и бежала из конуры, где доминиканец прятал ее удовольствия своего ради. Оттуда она попала в Амбуаз, где развлекалась охотой, танцами и имела наряды королевской пышности. Однажды мессир де ла Рош-Позе был приглашен бароном Амбуазом попировать и повеселиться. Барон Амбуаз, без ведома ее, показал ее приятелю, когда она нагая выходила из ванны. Увидев ее, мессир де ла Рош-Позе охвачен был любовным недугом и на следующий же день сразил на поединке барона Амбуаза, а ее против воли, не внимая слезам, увез с собой в святую землю, где она вела жизнь женщин, чья красота привлекала к ним всеобщую любовь и поклонение. После многих приключений вернулась она, обвиняемая, в нашу страну, презрев мрачные предчувствия, ибо такова была воля ее господина и повелителя барона де Бюэля, чахнувшего в азиатской стране от тоски по родному замку. Он обещал оградить ее от всяких преследований. Она доверилась ему, тем паче что любила его крепко. Но по приезде своем в эту страну рыцарь де Бюэль, к великому ее прискорбию, занемог и скончался; не прибегал он ни к каким лекарям, невзирая на настойчивые ее мольбы, ибо ненавидел врачей, знахарей и аптекарей, и сие есть истинная правда.

Тогда мы спросили обвиняемую, признает ли она за правду все сказанное добрым рыцарем Гардуэном и хозяином гостиницы Тортебра. На что ответ дала, что признает сказанное правильным в большинстве своем, но многое в то же время назвала злословием, клеветой и глупостью. Тогда обвиняемой было предложено нами

заявить, была ли у нее любовь и плотская близость со всеми теми рыцарями и прочими, о чем свидетельствуют жалобы и заявления жителей города Тура. На что она весьма дерзко ответила: «Насчет любви признаюсь, насчет плотской близости не помню».

Тогда мы сказали, что все те мужчины умерли по ее вине. На что ответ дала, что неповинна в их смерти, ибо всегда отказывала им. И чем более избегала их, тем они яростнее ее домогались, но когда овладевали ею, то, по милости божьей, она отдавалась любви от всего сердца, ибо испытывала радости, ни с чем не сравнимые. Затем она заявила, что созналась в тайных чувствах своих лишь потому, что призвали ее говорить всю правду и она говорила, страшась костра и палачей.

Тогда мы спросили ее, под страхом пыток, что она имела в чувствах, когда какой-нибудь благородный рыцарь умирал вследствие близости с нею. На что ответила, что сие повергало ее в тоску и она просила себе смерти и молила бога, святую деву и угодников принять ее к себе в рай, тем паче что встречалась лишь с мужчинами прекрасной и чистой души и, видя их гибель, премного скорбела, считая себя вредоносным созданием, жертвою злого рока, который передавался другим, как чума.

И тогда мы спросили у нее, где она молилась?

На что ответ дала, что молилась у себя дома в молельне, преклоняя колени перед богом, который, согласно евангелию, видит и слышит все и пребывает везде.

Мы спросили ее, почему она не посещает церковных богослужений и не соблюдает праздников. На что ответ дала, что те, которые посещали ее для любви, выбирали праздничные дни, и она следовала их желанию.

Возражая на это, мы христиански наставили ее, что, поступая так, она больше покорялась воле людей, нежели заповедям божьим.

На что ответ дала, что ради тех, кто горячо любил ее, она бросилась бы в огонь, не имея никаких иных побуждений к любви, кроме своего желания. За все золото мира не отдала бы она своего тела и своих ласк даже королю, не полюбив его всем сердцем, всем существом, от головы до пят, от кончиков ногтей до корней волос.

Словом сказать, никогда не была продажной, ни одной крупицы своей любви не отдавала мужчине, не избранному ею. И тот, кто хоть один час держал ее в своих объятиях или поцеловал ее хоть однажды в уста, обладал ею до конца своих дней.

Мы спросили, откуда у нее драгоценности, золотые и серебряные блюда, драгоценные камни, роскошная утварь, ковры и прочее — стоимостью в двести тысяч дублонов, согласно оценке, каковые вещи, обнаруженные в ее жилище, переданы в казну капитула. На что ответ дала, что на нас она надеется, как на самого бога, но не смеет отвечать на этот вопрос, ибо он касается одной из сладчайших сторон любви, которой она неизменно жила.

Спрошенная вторично, она ответила, что если б судья знал, каким обожанием она окружала возлюбленного, с какой покорностью следовала за ним во всех его начинаниях, благих и скверных, если б он знал, с каким усердием ему подчинялась, с какой радостью исполняла желания возлюбленного, внимая, как закону, каждому слову, которым он дарил ее, если б судья знал, каким поклонением пользовался этот мужчина, то мы сами, старый судья, сочли бы вслед за ее возлюбленным, что никакими деньгами не оплатить эту великую привязанность, которой ищут все мужчины. Затем она сказала, что никогда ни у одного из них не просила ни подарка, ни платы и довольствовалась тем, что жила в их сердцах, в чем и находила непрерывное, невыразимое наслаждение. Она чувствовала себя богатой, обладая сердцем возлюбленного, и не помнила ни о чем ином, как только о том, чтобы воздать ему большей радостью, большим счастьем, нежели то, что от него получила.

Но, вопреки ее запрету, влюбленные своим долгом считали всегда любезно ее благодарить. То один приходил к ней, дарил ей жемчужную пряжку, говоря: «Вот доказательство, что я не ошибся и атласная твоя кожа своей белизной превосходит жемчуга». Говоря так, он надевал жемчуг ей на шею, целуя ее страстно. Она, утверждающая сие, сердилась на подобные безрассудства, но не могла отказаться от драгоценных украшений, дабы не лишать возлюбленного услады любоваться ожерельями и запястьями, блиставшими на ее теле. Каждый по-своему ее наряжал, у каждого были свои прихоти. Од-

ному нравилось рвать на ней роскошные одежды, в которые она облекалась лишь ему в угоду. Другой украшал ее сапфирами, покрывал ими ее руки, ноги, шею, волосы. Иной укладывал ее на ковер, завернув в длинный хитон из черного шелка или бархата, и целыми днями мог восторгаться совершенством ее красоты. Все прихоти ее любовников доставляли ей неизъяснимое удовольствие, ибо сие радовало их. Затем она сказала, что ничто нам так не мило, как наше собственное наслаждение, и мы стремимся к тому, чтобы все сверкало красотой и дышало гармонией вокруг нас и в наших сердцах, а потому все ее любовники одинаково желали украсить ее жилище самыми богатыми дарами; побуждаемые этим желанием, с такою же охотой, как и она сама, убирали они золотом ее жилище, расстилали шелка, расставляли цветы. Ввиду того, что это никому не мешало, не было у нее ни намерения, ни возможности запретить рыцарю или даже влюбленному в нее богатому горожанину поступать по своей воле, и таким образом она принуждена была принимать от них в дар редкие благовония и иные приятности, от которых сама была без ума; таково происхождение золотых блюд, ковров и драгоценных камней, изъятых у нее по приказу церковного суда.

Здесь кончается первый допрос названной сестры Клары, подозреваемой в том, что она дьявол. Кончается допрос по той причине, что мы, судья, а также Гильом Турнебуш стали изнемогать, слушая голос помянутой обвиняемой, и почувствовали даже некоторую истому. Нами, судьей, назначен второй допрос на третий день от сего числа для нахождения доказательств бесовской одержимости обвиняемой. Согласно приказу судьи, названная обвиняемая препровождена обратно в узилище под охраной мэтра Турнебуша.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

В день тринадцатый указанного месяца февраля перед нами, Жеромом Корнилем, и прочая, и прочая предстала обвиняемая сестра Клара для допроса о деяниях ее и вменяемых ей преступлениях.

Мы, судья, сказали обвиняемой, что из различных

ответов, данных ею на предыдущем допросе, суд выводит заключение, что не во власти обыкновенной женщины, буде даже разрешено ей предаваться плотскому греху во угождение всем, доводить стольких до смерти, столь искусно соблазнять чарами,— невозможно сие без содействия вошедшего в нее беса, коему продана ее душа по взаимному с ним договору. Отсюда следует, что под внешним ее обличьем живет и действует дьявол, виновный в сих бесовских делах, а посему от нее требуется ныне: заявить, сколько было ей лет, когда приняла она в себя дьявола, сознаться, какие условия были заключены между нею и дьяволом, и правдиво рассказать об их совместных злых кознях. И тут обвиняемая заверила, что готова отвечать нам, смертному, как богу, нашему общему судье, и после чего утверждала, что никогда не видела дьявола, не говорила с ним и не имела желания его видеть; никогда не занималась ремеслом блудницы, ибо предавалась всевозможным наслаждениям, каковые изобретает любовь, не иначе как побуждаемая желанием того удовольствия, которое творец небесный вложил в оное занятие; и двигала ею не столько неутолимая похоть, сколько стремление излить нежность и доброту сердца на возлюбленного господина своего. Но, если таково было ее хотение, она молит нас подумать о том, что она по рождению бедная африканка, в жилы которой господь влил горячую кровь и дал ей столь сильную склонность к любовным усладам, что не могла она сдержать сердечного волнения при одном взгляде мужчины. Если вожделевший к ней рыцарь касался ее, она сразу, замерев, подпадала, помимо своей воли, под его власть. От оного прикосновения просыпалось в лоне ее предчувствие и воспоминание всех утех любви и возникало жгучее волнение, так что пламя пробегало по жилам и вся она с головы до ног обращалась в любовь и радость. И с того дня, когда доминиканец — монах Марселис — первым открыл ей понимание сих вещей, не стало у нее другой мысли, и она уразумела, в сколь совершенном соответствии находится любовь с данными ей природой особыми качествами, что она, конечно, бы зачахла в том монастыре без мужчины и естественной близости с ним. В доказательство она утверждала с уверенностью, что после ее бегства из названного монасты-

ря не случалось ей не только одного дня, но и одной минуты проводить в тоске или грусти; всегда была она весела, исполняя тем святую волю господню, пожелавшего вознаградить ее за все время, потерянное в монастыре.

На сие мы, Жером Корниль, возразили оному дьяволу, что подобный ответ есть явное богохульство, ибо все мы сотворены для вящей славы творца и рождены на свет, дабы служить господу и чтить его, помнить его благие заповеди и жить в святости, в чаянии вечного блаженства, а не валяться вечно на ложе, совершая то, что даже тварь всякая делает в положенное ей время года. На что названная сестра ответила, что всегда почитала господа во всех странах, где была, и всегда пеклась о старых и недужных, подавая им и деньгами и платьем, и сочувствовала им в их нищете, и что надеется в день Страшного суда предстать перед творцом в сопутствии немалого числа добрых дел, угодных богу, кои взывать будут о прощении ей грехов. Далее она сказала, что если б не смирение и не страх прогневить святых отцов капитула, то с превеликой радостью отдала бы она свое имущество, чтобы достроить собор св. Маврикия, и сделала бы постоянный вклад ради спасения своей души, для чего готова отрешиться от самой себя и своих радостей, и что мысль о благом деле давала бы ей двойную усладу, ибо каждая любовная ночь закладывала бы лишний камень в воздвигаемую базилику. Ради каковой цели, а также ради ее вечного спасения все любящие ее с великой охотой пожертвовали бы своим достоянием.

На что мы ответствовали сей ведьме, что она не может оправдаться в своем бесплодии, ибо, несмотря на столь частое плотское сближение, не родилось от нее ни одного младенца, что доказывает присутствие в ее теле дьявола. Единственно Асторот или какой-либо святой апостол мог бы говорить на всех языках, она же говорила на языках всех стран, и это тоже доказывает присутствие в ней дьявола. На это ответила, что касается знания языков, то по-гречески ничего не знает, кроме лишь Кири элейсон (господи помилуй), и к сим словам прибегала нередко. По-латыни же ведомо ей одно лишь слово, *amen*, и обращалась она с этим словом к господу, молясь об освобождении из узилища. Говоря об осталь-

ном, она заявила, что весьма сетовала на свое бесплодие, и если добродетельные жены рождают, то происходит это, по ее разумению, лишь оттого, что мало радости черпают они в любви, меж тем как она наслаждается даже чрезмерно. Но такова, видно, воля господа бога, коему ведомо, что избыток счастья грозил бы миру гибелью.

Услышав это и еще тысячи подобных объяснений, достаточно доказующих присутствие дьявола в теле оной монахини, ибо таково свойство Люцифера, что доводы его, зиждясь на ереси, кажутся правильными, мы приказали подвергнуть в нашем присутствии обвиняемую геенне и пытке, дабы смирить дьявола страданием и подчинить его церковной власти. В свидетели сего мы вызвали на допрос Франсуа де Ганжеста, врача капитула, желая поручить ему обследовать свойства женского естества (virtutes vulvae) обвиняемой, религии нашей ради выяснить, не обнаружатся ли у нее какие-либо приспособления для ловли особым путем христианских душ.

Мавританка сначала горько плакала, потом, несмотря на оковы, бросилась на колени с криком и стонами, моля об отмене нашего приказа, доказывая, что ее тело в таком состоянии слабости и кости ее столь хрупки, что расколются подобно стеклу. Потом она предложила в качестве выкупа за себя отдать капитулу все свое состояние и обещала незамедлительно покинуть страну.

На что мы повелели ей заявить добровольно, что она всегда была дьяволицей, то есть, что она из породы ведьм, кои суть дьяволы женского пола,— на них адом возложено соблазнять христиан порочными ласками и пагубными обольщениями любви. На что она ответила, что подобное заявление было бы отвратительной ложью, ибо ее женское естество сотворено в согласии с природой.

Когда же оковы были сняты с нее палачом, обвиняемая преднамеренно и по злому умыслу распахнула свои одежды и помрачила, смутила наш разум и произвела потрясение в наших мыслях видом своего тела, поистине оказывающего на мужчин сверхъестественное действие.

Тут мэтр Гильом Турнебуш, не в силах побороть при-

роду свою, бросил перо и вышел вон, объяснив нам, что не может присутствовать при истязании обвиняемой, не испытывая невообразимого соблазна, язвящего его мозг, ибо чувствует, как его одолевает бес.

Тут закончился второй допрос, ввиду того что гонец и привратник капитула доложили, что мэтр Франсуа де Ганжест в отъезде. Пытка и допрос отложены до завтра и произойдут в полдень после обедни. Сие занесено нами, Жеромом Корнилем, в отсутствие мэтра Гильома Турнебуша, что подписью удостоверяю

Жером Корниль,
великий пенитенциарий.

АКТ

Сего дня четырнадцатого числа месяца февраля пришли к нам, Жерому Корнилю, следующие граждане: Жеан Рибу, Антуан Жаан, Мартен Мопертюи, Жером Железная Петля, Жак де Виль д'Омер и мессир д'Идре, замещающий мэра города Тура в его отсутствие. Каковым жалобщикам, подписавшим прошение о судебном преследовании, составленное в городской ратуше, мы объявили нижеследующее. Бланш Брюин, постригшаяся, как она ныне призналась, в монастыре кармелиток под именем сестры Клары и обвиняемая ныне в дьявольской одержимости, просит подвергнуть ее божьему суду и для своего оправдания вызывается пройти испытание водой и огнем в присутствии членов капитула и всего города Тура, дабы доказать свою естественную женскую природу и свою невиновность.

На сие прошение названные обвинители ответили согласием и приняли на себя обязанность, как представители города, подготовить место, пригодное для костра, и одобрили назначение восприемников обвиняемой. После чего нами, судьей, был назначен срок испытания на первый день нового года, совпадающий с праздником пасхи, в полдень, после обедни. Обе стороны признали, что срок этот вполне достаточен. Согласно их желанию, настоянию и за их счет, настоящее решение будет оглашено по всем городам, селам и замкам Турени и по всей Франции.

Жером Корниль.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ТОМ, ЧТО СДЕЛАЛА ВЕДЬМА, ДАБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ДУШОЙ СТАРОГО СУДЬИ, И ЧТО ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИЕ СЕГО ДЬЯВОЛЬСКОГО НАВАЖДЕНИЯ

Сие есть предсмертная исповедь, совершенная в первый день марта месяца 1271 года от рождества господа нашего спасителя Жеромом Корнилем, священником, каноником капитула собора св. Маврикия, великим пенитенциарием, признающим себя сих званий и сана недостойным. Оный Жером Корниль, достигнув последнего часа жизни и будучи отягчен бременем прегрешений, злодеяний, беззаконий и мерзости всякой, пожелал, чтоб признания его были обнародованы и сим послужили торжеству истины, славы божьей и правосудия церковного суда, дабы снискать облегчение кары своей на том свете.

Для выслушания исповеди названного Жерома Корниля, лежавшего на смертном одре, были призваны Жеан де ла Гэ (Гаагский) — викарий церкви св. Маврикия, Пьер Гюар — казначей капитула, назначенный нашим господином архиепископом Жеаном де Монсоро записывать слова умирающего, засим доминиканец Людовик По, монах Мармустьерского монастыря, избранный умирающим в духовные отцы и исповедники. К сим троим присоединился великий ученый, уважаемый доктор Гильом де Цензорис, римский архидиакон, присланный (Legatus) святейшим отцом нашим папой и находящийся временно в нашей епархии. Сверх сего присутствовало большое число верующих, пришедших, дабы стать свидетелями при кончине названного Жерома Корниля, ввиду его желания принести всенародное покаяние, ибо он отходит в дни великого поста и слова его могут открыть глаза христианам, ослепленным страстями, ведущими в ад.

И так как Жером Корниль по крайней телесной слабости своей говорить не мог, вместо него Людовик По, доминиканец, прочел нижеследующую исповедь, к великому смятению всех присутствующих:

«Братья мои, до семьдесят девятого года жизни, какового возраста я ныне достиг, не знал я за собой особых грехов, кроме тех мелких прегрешений, в коих виновен перед господом каждый христианин, сколь праведен

бы он ни был, и подобные грехи не столь уж трудно искупить покаянием.

Полагаю, что вел я жизнь христианскую и заслужил то звание и положение, кои присуждены мне всей епархией, где я облечен был высоким саном великого пенитенциария, коего я оказался недостоин. Ныне же, страшась предстать пред лицом господа, трепеща перед муками, кои уготованы злодеям и клятвопреступникам в аду, я решил, приближаясь к последнему моему часу, облегчить чудовищный груз своих злодеяний самым искренним покаянием, на какое я только способен. Посему вымолил я у церкви, той церкви, от коей отступился, кою предал, поправ ее правосудие и могущество, разрешение снизойти к моей просьбе и дозволить мне, по примеру древних христиан, исповедаться всенародно. Хотелось бы мне найти в себе довольно сил, чтобы раскаяние свое усугубить: встать на паперти собора, где и подвергнуться глумлению от всех братьев моих; целый день провел бы я там, коленопреклоненный, со свечой в руке, с вервием вокруг шеи, босой, ибо много блуждал я по адским тропам, нарушая заповеди господни. Но да будет в этом великом крушении зыбкой моей добродетели поучение вам,— страшитесь, братья, соблазна и козней дьявольских, ищите прибежище в единоспасающей церкви. Я столь был соблазнен Люцифером, что лишь ради вашего предстательства, о коем я взываю, господь наш Иисус Христос смилуется надо мной, бедным заблудшим христианином, чьи очи исходят слезами. О, если бы мог я прожить вторую жизнь, дабы трудом и молитвою искупить мои грехи. Итак, внимайте и трепещите от великого страха.

Я был избран капитулом для выяснения дела, поднятого против некоего дьявола в женском обличье, действующего в образе беглой монахини, гнусной богоотступницы. Имя ее Зульма в языческой стране, откуда она прибыла; в нашей епархии известна она как сестра Клара, монахиня монастыря кармелиток, повергшая в смятение весь город, соблазнившая великое множество мужчин, дабы захватить их души во власть Маммоны, Астарота и сатаны — князей тьмы. Достигала она сего, отправляя доблестных мужей на тот свет в состоянии смертного греха и причиняя им смерть тем путем, каковым да-

ется жизнь. А я, судья, старец, чье сердце остужено годами, попался на закате дней своих в ту же западню, и потерял разум, и предательски нарушил обязанности, возложенные на меня капитулом. Узнайте же, сколь лукав дьявол, и остерегайтесь его козней. На первом допросе оной ведьмы я увидел в ужасе, что оковы не оставили следа на ее ногах и руках, и я был поражен скрытой ее силой при внешней ее слабости. Ум мой помрачился внезапно, когда я увидел телесные совершенства, коими облекся дьявол. Я внимал музыке ее речей, согревавших меня с головы до ног, голос ее вызывал во мне желание быть молодым, дабы отдаться этому дьяволу, и мне уже казалось, что единый час, проведенный с нею, радость любви в ее нежных объятиях стоят вечного блаженства. Тогда пренебрег я твердостью духа, коей должен быть вооружен судья. Сей дьявол, допрашиваемый мною, опутал меня такими словами, что на втором допросе уверился я, будто совершу преступление, ежели подвергну пыткам и мукам хрупкое создание, плакавшее подобно невинному ребенку. Тогда голос свыше указал мне исполнить долг свой, ибо позлащенные словеса и речи, звучавшие, будто арфа небесная, суть дьявольские уловки; сие тело, столь стройное, столь цветущее, обратится в отвратительное косматое чудовище, с острыми когтями, а глаза, столь ласковые,— в адские угли; сзади вытянется чешуйчатый хвост, а прелестные уста станут пастью крокодила. И тут я вновь решил пытать названную дьяволицу до тех пор, пока не признается она в своей скверне, ибо такое воздействие принято в христианской церкви. Но когда, готовая к пытке, она предстала предо мною во всей наготе своей, я вдруг почувствовал себя силою волшебства в ее власти. Я почувствовал, как хрустнули старые мои кости, по телу разлился жар; в сердце закипела молодая кровь, все естество мое возликовало, и яд, проникший в меня через глаза, растопил снега моих седин. Я забыл свою христианскую жизнь и как будто вновь обратился в школяра, что, сбежав из класса, весело резвится в полях и ворует яблоки. Я не мог поднять руки для крестного знамения и уж не помнил ни церкви, ни бога-отца, ни сладчайшего спасителя. Во власти подобного помрачения шел я по улицам, вспоминая нежность оного голоса, нашептывающего мне мерзкие слова, и гнусную

красоту тела сего демона. И вот тогда-то схватил меня дьявол, воткнувши свои вилы в мой мозг, как топор в сердцевину дуба, и я почувствовал, что меня словно силой толкают в узилище, невзирая на моего ангела-хранителя, который то и дело дергал меня за руку и защищал от соблазна, но я противился его святому увещеванию и помощи, и вот потащили меня миллионы когтей, кои вонзились мне в сердце, потащили прямо в темницу. И двери ее открылись предо мною, но не узнал я мрачных ее сводов, ибо ведьма с помощью злых духов или колдовства построила себе шатер из пурпурных шелковых тканей, полный аромата цветов и благовоний; в шатре возлежала она, роскошно одетая, и не было на ней ни ошейника, ни цепей на руках и ногах. Я позволил снять с себя рясу и опустился в душистую ванну, после чего дьяволица обрядила меня в мавританское платье и угостила редкостными яствами, поданными на драгоценных блюдах и в золотых чашах... Азиатские вина, волшебное пение и музыка, тысячи льстивых слов проникали через мой слух в мою душу, а возле меня была она, ведьма, и ее нежные и мерзостные прикосновения вызывали в моем теле все новые и новые желания. Мой ангел-хранитель покинул меня! С той минуты я жил лишь страшными лучами мавританских очей, упивался жаркими объятиями прелестных рук, лобзаниями румяных губ, каковые казались мне человеческими устами, и нисколько не боялся укуса жемчужных зубов, тянувших меня в самую глубину ада. Мне приятно было чувствовать на себе ни с чем не сравнимую ласку ее рук, и я не думал о том, что руки эти — сатанинские когти, я загорался, как молодой супруг подле новобрачной, не помышляя о том, что обручаюсь с гибелью вечной. Я нимало не помышлял о мирских делах и господе, я лишь мечтал о любви, о нежных персях этой женщины, которая жгла меня огнем, и об адских вратах, куда мне не терпелось кинуться. Увы, братья мои, три дня и три ночи я был прикован к ней, любодействовал, и не истощалась сила чресл моих; руки ведьмы вонзались в меня, подобно жалу исторгая из моего дряхлеющего тела, из моих сохнущих костей все новые любовные соки. Сначала сия чертовка, дабы привлечь меня, пролила в меня некую медовую сладость, блаженство сотнями игл пронзало

мои кости, и мозг костей, и жилы, и за оной игрой воспламенилась помраченная мысль моя, моя кровь и плоть. И начал я поистине гореть адским огнем, словно клещами растягивались мои суставы, и несказанная, нестерпимая мерзость сладострастия разрешила узы моей жизни. Волосы сей дьяволицы, кои она рассыпала по бедному моему телу, лизали меня языками пламени, и косы ее казались мне прутьями раскаленной решетки. В этом смертельном наслаждении я видел перед собой ее пылающее лицо, она смеялась и говорила мне дразнящие слова. Я ее рыцарь, ее властелин, ее копье, светлый день, ее радость, ее молния, ее жизнь, и лучше меня не было у нее возлюбленного. Она хочет еще теснее слиться со мной, войти в меня, или пусть лучше я войду в нее. Слушая то, я, ужаленный ее языком, высасывающим мою душу, еще глубже опускался в ад, где не мог сыскать дна. И когда у меня в жилах не осталось ни единой капли крови, когда душа моя едва трепетала в теле и жизнь стала меня покидать, чертовка, все такая же свежая, белая, румяная, сияющая, заулыбалась и сказала:

— Бедный дурень, вот ты думаешь, что я дьявол, а если я скажу тебе: продай мне душу свою за один поцелуй, разве ты не сделаешь того с радостью?

— Да,— сказал я.

— А если б тебе пришлось, чтобы и впредь быть со мною, испить крови новорожденных младенцев, набираясь сил, которые будешь расточать на моем ложе, ужели не стал бы ты сосать эту кровь?

— Да,— сказал я.

— А если бы ты захотел всегда оставаться моим любовником, веселым, как юноша в свои цветущие года, полным жизни, упоенным наслаждениями, погруженным в глубины удовольствия, как пловец в волны Луары... разве ты для этого не отрекся бы от бога и не плюнул бы в лицо Иисуса?

— Да,— сказал я.

— И если б тебе предстояло еще двадцать лет монастырской жизни, разве не променял бы ты эти двадцать лет на два года обжигающей любви всегда в таком приятном движении?

— Да,— сказал я.

И тогда я почувствовал, будто сотни острых когтей

раздирают мою грудь и тысячи клювов хищных птиц клюют ее с клекотом. Затем меня внезапно подняли над землей, ведьма уносила меня, махая крылами, и говорила: «Скачи, скачи, мой наездник, крепко сиди в седле, держись за гриву, за шею твоей кобылицы, мчись, мой наездник, скачи, смотри — все скачет...»

И я увидел, как в тумане, земные города и, получив особый дар прозрения, увидел многих и многих мужчин в объятиях ведьм, блудодействующих в великой разнузданности, выкрикивая слова любви, и все, вцепившись друг в друга, сопрягались в страшных корчах. Тогда моя кобылица, с головой мавританки, мчась над облаками, показала мне землю, соединявшуюся с солнцем, порождавшим мириады звезд, где миры женского начала сочетались с мирами мужского начала, и вместо слов, кои говорят твари божии, оные миры грохотали громами, меча молнии. Я несся все выше и видел над вселенной женское естество всех вещей, сочетающееся в любви с державным источником движения. И ведьма, издеваясь, кинула меня в самое средоточие сей ужасающей вековечной схватки, и я пропал там, как песчинка в море. А моя белая кобылица подгоняла меня: «Скачи, скачи, мой славный наездник, смотри—все скачет». И уразумел я тогда, сколько ничтожен священнослужитель в том вихре зачинающихся миров, где во все времена притягиваются друг к другу металлы, камни, воды, эфиры, громы, растения, рыбы, животные, люди и духи, миры и планеты, и отрекся я от веры католической. И ведьма показала мне громадное пятно туманности, растекающееся по небу; то был, сказала она, Млечный Путь — капля небесного семени, отделившаяся от потока, пролитого в сопряжении миров. И я скакал дальше на взбесившейся ведьме при свете тысячи миллионов звезд и жаждал в этом стремлении слиться с природой миллионов существ. И от сего великого усилия любви я упал, сраженный, и, падая, слышал раскаты сатанинского хохота. Я пришел в себя, лежа в своей постели. Меня окружали мои слуги, сии мужественные люди вступили в борьбу с дьяволом, вылив на мою постель ведро святой воды, возносся горячие молитвы господу богу. Но при всей их помощи я должен был еще выдержать ужасную борьбу с ведьмой, когти коей впились в мое сердце, причиняя мне невыносимые

муки. Однако ж, ободренный словами моих слуг, родных и друзей, силился я перекреститься, но ведьма, прячась в моей постели, в изголовье, в ногах — везде, щекотала меня, подсмеиваясь, кривляясь, вызывая передо мной множество бесстыдных видений и возбуждая во мне гнусные желания. Наконец, монсеньер архиепископ сжалился надо мной и велел принести ко мне мощи святого Гатьена, и как только святой ларец коснулся моего изголовья, названная дьяволица обратилась в бегство, оставив после себя адский серный смрад, от коего у моих слуг и друзей першило в горле целые сутки. Божественный свет, просиявший в моей душе, открыл мне, что я на пороге смерти вследствие моих прегрешений и борения моего с лукавым. И я молился о даровании мне милости продлить дни мои хоть немного, во славу господа и его церкви, во имя неоцененных заслуг Иисуса, на кресте умершего ради спасения всех христиан. За сию молитву была мне дарована милость восстановления моих сил для покаяния в грехах и позволено воззвать ко всем членам капитула собора святого Маврикия, дабы они содействовали мне в спасении из чистилища, где в страшных муках предстоит мне искупить грехи мои. В конце сей испове-
ди заявляю, что решение мое призвать суд божий по делу названной дьяволицы испытанием водой и огнем есть не что иное, как попустительство, случившееся от лукавого наущения дьяволицы, ибо сие предоставило бы ей возможность ускользнуть от правосудия архиепископа и капитула. Дьяволица тайно созналась мне в том, что ею подговорен, для замены ее, иной дьявол, приученный к подобным испытаниям. А еще заявляю, что жертвую капитулу собора святого Маврикия все мое состояние и все имущество на построение часовни при оном храме. Прошу выстроить ее, украсить и освятить в честь святого Жерома и святого Гатьена. Первый из них мой покровитель, а второй — спаситель души моей».

Сие показание, выслушанное присутствующими, было представлено церковному суду Жеаном де ла Гэ (Иоганном Гаагским).

Мы, Жеан де ла Гэ (Иоганн Гаагский), великий пенитенциарий капитула святого Маврикия, избранный собранием всех членов капитула, согласно правилам и

обычаю сего храма и назначенный возобновить следствие по делу дьяволицы, заключенной в темнице капитула, приказываем вновь приступить к допросам и розыску. Будут выслушаны все те граждане нашей епархии, коим известно что-либо к сему относящееся. Объявляем ранее произведенное судебное следствие, а также допросы и постановления недействительными и от имени собрания членов капитула, решение коего непреложно, упраздняем их. Заявляем, что нет основания для божьего суда, о котором просила дьяволица, ввиду дерзко задуманного ею обмана. Сей приказ должен быть обнародован глашатаем при звуке труб в тех же местах епархии, где в прошлом месяце были обнародованы ложные решения—всего числом два, принятые по наущению дьявола, в чем и признался покойный Жером Корниль. Да помогут все христиане нашей святой церкви и да исполнят ее заповеди!

Жеан де ла Гэ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАК УСКОЛЬЗНУЛА ИЗ РУК ПРАВОСУДИЯ МАВРИТАНКА С ГОРЯЧЕЙ УЛИЦЫ И СКОЛЬ ВЕЛИКИХ ТРУДОВ СТОИЛО СЖЕЧЬ И ЗАЖАРИТЬ ЕЕ ЖИВЬЕМ НАПЕРЕКОР АДУ

Написано в мае 1360 года в качестве завещания

«Мой дорогой и горячо любимый сын, когда ты прочтешь эти строки, я, твой отец, буду лежать в могиле в надежде, что ты станешь молиться обо мне. Заклинаю тебя вести себя в жизни так, как указывает мое письмо, заключающее в себе разумное наставление твоей семье и ради твоего счастья и благополучия, ибо составлено оно в то время, когда еще свежа в моей памяти великая несправедливость людская. В молодые свои годы я питал честолюбивые замыслы: подняться высоко в церковной иерархии и удостоиться больших почестей, и ни одна иная стезя не казалась мне столь заманчивой. Побуждаемый подобным замыслом, научился я читать и писать и ценою больших трудов приготовился вступить в ряды духовенства. Но, не имея ни покровителя, ни муд-

рого советчика для успехов на этом поприще, задумал я достичь цели, предложив свои услуги в качестве секретаря, писца или рубрикатора капитулу собора св. Мартина, где числились самые богатые и влиятельные особы христианского мира. Там мог я вернее всего оказать услуги лицам высокородным и тем самым снискать себе руководителей и покровителей, с помощью коих я, приняв монашество, добился бы митры, как всякий другой, и мог бы занять где-нибудь епископское кресло. Но я, честолюбивый, метил слишком высоко, и ошибку эту указал мне сам господь на деле. Мессир Жеан де Вильдомир, ставший впоследствии кардиналом, перебил мне дорогу, и я был с позором отстранен. В тот печальный час я получил поддержку и помощь доброго Жерома Корниля, пенитенциария собора, о коем я часто вам рассказывал. Добряк уговорил меня пойти в писцы в капитул св. Маврикия, архиепископства города Тура, и я с честью исполнял эту обязанность, ибо славился как искусный писец. В год, когда я должен был стать священником, произошло приснопамятное разбирательство по делу дьявола с Горячей улицы, о чем и по сей день вспоминают старики, рассказывая по вечерам молодым эту историю, каковая обошла в свое время всю Францию. Чая, что за оказанную мною услугу капитул продвинет меня на почетное место и честолюбие мое будет удовлетворено, добрый мой учитель возложил на меня все письмоводство по сему важному делу.

Сперва монсеньер Жером Корниль — старец, приближавшийся к восьмидесяти годам, муж великого ума, справедливости и опыта — заподозрил наличие злого умысла со стороны обвинителей, хотя не терпел похотливых девок и в жизни своей, святой и добродетельной, никогда не имел дела с женщинами. Святость монсеньера Жерома Корниля и была причиной избрания его в судьи. После рассмотрения всех показаний и выслушав ответы бедной девки, убедился он, что, хотя сия жизнелюбивая продажная тварь есть беглая монахиня, ни в каких бесовских деяниях она неповинна, зато великие ее богатства стали предметом вожделения ее врагов и иных прочих, которых не назову тебе здесь из осторожности. В то время все считали ее столь богатой и серебром и золотом, что она могла бы, по их догадкам, купить все графство

Турени, ежели б ей то заблагорассудилось. Оттого-то тысячи лживых и нелепых толков и поклепов ходили об этой девке и почитались непреложными вроде евангельской истины, тем более, что порядочные женщины завидовали ей безмерно. Удостоверясь, что эта девка не одержима никаким иным бесом, разве только любовным, монсеньер Жером Корниль уговорил ее удалиться в монастырь до конца своих дней. Затем, узнав, что некоторые смелые рыцари, стойкие в бою и богатые поместьями, вызвались сделать все возможное, дабы спасти мавританку, он тайно научил ее обратиться к обвинителям и просить суда божьего, пожертвовав при том капитулу все свое состояние и тем заставив злые языки умолкнуть. Таким образом был бы спасен от костра прелестнейший из цветов, когда-либо распускавшийся под нашими небесами. Грешила же она лишь тем, что с излишней нежностью и состраданием врачевала раны любви, которые взоры ее причиняли сердцу ее обожателей. Но дьявол истинный под видом монаха вмешался в оное дело. И вот как это произошло. Жеан де ла Гэ, злейший враг добродетелей благонравия и святости, присущих монсеньеру Жерому Корнилю, проведал, что бедная девка живет в тюрьме, как королева, и облыжно обвинил великого пенитенциария в сообщничестве с нею и в потворстве ей якобы в благодарность за то, что, по словам сего злоязычного пастыря, она сделала старца молодым, влюбленным и счастливым. Не выдержав клеветы, несчастный старец скончался от горя, поняв, что ла Гэ поклялся погубить его, домогаясь для себя его сана. Действительно, наш господин архиепископ посетил тюрьму и увидел мавританку в прекрасном помещении, на удобном ложе и без оков, ибо, запрятав бриллианты туда, где никому и в голову не пришло их искать, купила она себе расположение тюремщика. Говорили также, что оный тюремщик пленился ею и из любви к ней, а вернее, из страха перед молодыми баронами, любовниками этой женщины, подготовлял ей побег. Бедняга Жером Корниль был уже при смерти. Стараниями Жеана де ла Гэ капитул решил следствие, произведенное пенитенциарием, а также его заключение по этому делу объявить недействительными. Названный Жеан де ла Гэ, в то время простой викарий собора, доказал, что для того требуется признание старика на смертном одре

при свидетелях. Тут господа сановники капитула собора св. Маврикия и монахи из Мармустье через архиепископа и папского легата стали мучить и терзать полумертвого старца, дабы он к вящей выгоде церкви отрекся от своего решения, на что он не пожелал согласиться. Долго терзали его, и была, наконец, мучителями составлена всенародная исповедь, при чтении коей присутствовали самые знатные лица города. Исповедь сия вызвала ужас и смятение неописуемые. По всей епархии в церквах читались для прихожан молитвы об избавлении от напасти, и каждый опасался, как бы дьявол не проник к нему в дом через печную трубу. На самом же деле признания эти исторгнуты были у бедного моего наставника, когда он уже лежал в забытьи и твердил в бреду, что кругом кишит всякая нечисть. Очнувшись и узнав от меня, как гнусно его обманули, умирающий старик возрыдал. Он испустил дух на моих руках в присутствии своего лекаря, преисполненный отчаяния от шутовского посрамления его седин. Нам же успел он сказать, что уходит и, припав к стопам творца, будет молить господа отвратить сию бесчеловечную несправедливость. Несчастная мавританка весьма тронула его сердце слезами и раскаяниями, ибо до того, как объявить о суде божьем, он частным образом исповедал ее, благодаря чему ему открылось, сколь прекрасна душа, обитавшая в прекрасном теле. И он говорил о ней, как об алмазе, достойном украшать святой венец господа, после того как она расстанется с жизнью, раскаявшись должным образом. И вот, дражайший мой сын, поняв из того, что говорилось в городе, и из немудреных ответов несчастной мавританки всю подоплеку оного дела, решил я по совету мэтра Франсуа де Ганжеста, лекаря нашего капитула, притвориться больным и оставить свою службу в соборе св. Маврикия и в архиепископстве, не желая обагрять рук своих в невинной крови, каковая вопиет к богу и будет взывать к нему до дня Страшного суда. Тогда выгнали прежнего тюремщика и на место его назначили второго сына палача. Он вверг мавританку в каменный мешок и, безжалостный истязатель, надел ей на руки и на ноги оковы весом в пятьдесят фунтов, а также деревянный пояс. Тюрьму стерегла стража из городских арбалетчиков и стража архиепископства. Девку мучили и пытали, дробили ей кости;

сломленная страданием, она призналась в том, в чем обвинял ее Жеан де ла Гэ, и была приговорена к сожжению на поле Сент-Этьен после стояния на церковной паперти в рубахе, пропитанной серой. Богатство ее должно было перейти к капитулу и прочая и прочая.

Приговор этот оказался причиной многих волнений, кровавых стычек во всем городе, ибо трое молодых рыцарей Турени поклялись умереть за несчастную, но освободить ее любою ценой. Они вошли в город в сопровождении тысячной толпы нищих, поденщиков, старых вояк, солдат, ремесленников и прочих, коим названная девка в свое время помогала, спасая их от голода и иных бед. Рыцари обшарили все городские трущобы, где ютились те, которых она облагодетельствовала; все они поднялись и пошли к подножию горы Мон-Луи под заслоном военной силы названных рыцарей; в их ряды затесались беспутные молодцы и проходимцы, собравшиеся со всех окрестностей, и в одно прекрасное утро они окружили тюрьму архиепископства, с криками требуя выдачи мавританки, как бы для того, чтобы предать ее казни, на деле же тайно вызволить и, посадив на коня, вернуть ей свободу, ибо скакала она верхом, как наездник. В страшном людском водовороте, заполнившем все пространство меж стен архиепископства и мостами, кишело больше десяти тысяч человек, да еще сколько забралось на крыши домов и высовывалось из окон, желая видеть мятеж. Даже на другой берег, за стены дальнего монастыря св. Симфориона, явственно доносились крики христиан,— тех, кои шли, не думая худого, и тех, кои осаждали тюрьму, намереваясь освободить бедную девку. Толкотня и давка в толпе горожан, жаждущих крови несчастной, к ногам которой упали бы все до одного, имей они счастье ее лицезреть, были столь велики, что задавили насмерть семерых детей, одиннадцать женщин и восемь мужчин: их нельзя даже было опознать, ибо останки их втоптали в грязь. И вот пасть сего толпища, сего Левиафана, яростного чудовища, разверзлась, и вопли его слышались даже в Монтиз-ле-Туре: «Смерть дьяволице! Выдайте нам ведьму! Мне кусок ее мяса! А мне клок шерсти! Мне ногу! Тебе гриву! Мне голову! Мне то, чем она блудила! Давай сюда... Какой он дьявол — краснорожий? Покажут ли его нам? Зажарить его! Смерть, смерть ему!» Каждый

кричал свое, но крики: «Жив бог, смерть дьяволу!»—неслись над толпой с такой яростью и ожесточением, что у людей стучало в висках и кровью обливалось сердце; вдобавок глухо доносились вопли из прилегающих домов. Дабы успокоить бурю, грозившую все опрокинуть, архиепископ догадался выйти из собора, с великой торжественностью неся перед собой святые дары. Это спасло капитул, ибо бунтари и названные дворяне поклялись разрушить и сжечь монастырь и перебить всех каноников. Хитрость архиепископа принудила нападающих отступить и ввиду недостатка съестных припасов разойтись по домам. Тогда туренские монахи, дворянство и горожане, опасаясь, как бы не начались наутро грабежи, сговорились на ночном сборище и отдали себя в распоряжение капитула. Множество солдат, лучников, рыцарей и горожан устроили облаву на бродяг, на бездомных, на пастухов, которые, узнавши о беспорядках в Туре, вышли на подмогу бунтарям. Многие из них были убиты. Гардуэн де Маилье, старый дворянин, вступил в переговоры с рыцарями, любовниками мавританки, и воззвал к их благоразумию. Он вопрошал их: неужто хотят они предать всю Турень огню и залить ее кровью ради смазливой девчонки? И если даже победа будет за ними, сумеют ли они совладать с проходимцами, которых привели с собой? Ведь эти разбойники с большой дороги, ограбив замки врагов, доберутся и до владений предводителей. И если уж рыцари, поднявши восстание, не одолели сразу, то могут ли они одержать верх сейчас, когда улицы очищены? Уж не думают ли они одолеть церковный капитул города, который не преминет обратиться за помощью к королю? И названный дворянин привел еще тысячи подобных доводов. Молодые рыцари возразили ему, говоря, что капитулу ничего не стоит дать узнице скрыться ночью, чем и будет устранена причина мятежа. На это мудрое и человечное заявление ответил монсеньер де Цензорис, папский легат, разъяснивший, что должно силе остаться за церковью и религией. И расплатилась за все бедная девка. Обе стороны договорились на том, что не будет никаких розысков против бунтарей, тогда уж капитул беспрепятственно мог приступить к расправе над оной девкой. А на сию церемонию стали стекаться зрители за десять лье в окружности. В тот день, когда после

обедни дьяволицу должны были предать в руки властей для всенародного сожжения на костре, не только какой-нибудь простолюдин, но и аббат за ливр золота не нашли бы себе жилья в городе Туре. Многие приехали накануне того дня и ночевали за городом в палатках, на соломе. Съестных припасов не хватало, и многие, приехав с набитым брюхом, вернулись домой, щелкая зубами от голода, так ничего и не увидев, кроме полыхания костра. А всякий сброд немало поживился на дорогах, останавливая прохожих и проезжих.

Бедная куртизанка была замучена до полусмерти. Волосы ее поседели, она превратилась в скелет, обтянутый кожей, и оковы ее были тяжелее, нежели она сама. Если она в жизни и вкусила радостей, то дорогой ценой за них теперь расплачивалась. Те, мимо которых ее вели, рассказывали, что она так громко плакала и кричала, что сжалился бы над ней самый яростный ее мучитель. В церкви пришлось заткнуть ей рот, и она грызла кляп, как ящерица палку. Потом палач привязал ее к столбу, чтобы поддержать, ибо она падала с ног от слабости. И вдруг откуда-то взялись у нее силы, она сорвала с себя веревки и бросилась бежать по церкви и, припомнив прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на хоры, порхая, как птица, вдоль колонок и резных фризов. Еще немного, и она спаслась бы на крыше, но какой-то страж выстрелил в нее из арбалета и всадил ей стрелу в щиколотку. Столь велик был страх бедной девки перед костром, что даже с такою, почти совсем отбитой ступней она еще долго бегала по церкви, невзирая на свою рану, наступая на раздробленную кость и обливаясь кровью. Наконец ее поймали, связали, бросили в телегу и повезли к костру. Криков ее больше никто не слышал. Рассказ о беге ее по церкви утвердил в народе веру, что она действительно дьяволица. Нашлись такие, что клялись, будто летала она по воздуху. Когда городской палач бросил ее в огонь, она раза два-три высоко подпрыгнула и упала в глубь костра, который горел весь день и всю ночь.

На следующий день вечером я пошел взглянуть, осталось ли что от этой женщины, столь нежной и любящей, но ничего не нашел, кроме маленького обломка грудной кости, сохранившего, несмотря на столь сильный

жар, еще некую влажность, и, по словам горожан, кость эта еще трепетала, как женщина, охваченная страстью. Я не сумею передать тебе, дражайший сын, какое великое огорчение лежало бременем на моей душе еще не менее десяти лет, ибо не мог я забыть этого ангела, загубленного злыми людьми, и всечасно видел перед собой глаза, полные любви; словом, неизъяснимая краса бесхитростного этого создания сверкала и днем и ночью в моей памяти; я молился за оную женщину в церкви, где ее терзали. Наконец, скажу и то, что не мог я без содрогания и ужаса смотреть на великого пенитенциария Жеана де ла Гэ. Он умер, заеденный вшами. Проказа покарала судью. Огонь сжег дом и жену менялы Жаана. И всех, причастных к тому костру, постигло наказание.

Все это, мой возлюбленный сын, и породило у меня те мысли, какие я изложил здесь, дабы они навсегда служили правилом поведения в нашей семье.

Я оставил духовное поприще и женился на вашей матери; с нею изведал я сладость чувств и делил с ней жизнь, имущество и душу мою — словом, все. И она согласилась со мной в справедливости следующих предписаний. *Во-первых,* чтоб жить счастливо, надо держаться подальше от служителей церкви. Их надо чтить, но не пускать к себе в дом, равно как и всех, кои по праву, а то и без всякого права мнят себя выше нас. *Во-вторых,* занять надо скромное положение, не стремясь возвыситься, либо казаться богаче, чем ты есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не задевать никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто силен, подобно дубу, глушащему кустарник у своего подножия. Да и то не избежать гибели, ибо дубы в человеческой роще весьма редки, и не следует Турнебушам называть себя дубами, ибо они просто Турнебуши. *В-третьих,* не тратить больше четверти своего дохода, скрывать свой достаток, молчать о своей удаче, не брать на себя высоких должностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про себя свои мысли, ибо таким образом они останутся при вас и не попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекраивают на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. *В-четвертых,* всегда оставаться Турнебушем, и только, а Турнебуши суть суконщики и пребудут таковыми во веки веков. Выдавать им дочерей за отменных су-

концников, сыновей посылать суконщиками в другие города Франции, снабдив сим наставлением в благоразумии, вырастить их во славу суконного дела, обуздывая их честолюбивые мечтания. *Суконщик, равный Турнебушу,*— вот слава, к коей должны они стремиться, вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая навеки суконщиками, Турнебуши навсегда останутся безвестными, ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз угнездившись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и в тиши и в мире разматывают до конца свою нить. *В-пятых,* никогда не говорить ни о чем другом, как только о суконном деле, не спорить ни о религии, ни о правительстве. И если даже правительство государства, наша провинция, наша религия и сам бог перевернутся или вздумают шататься вправо или влево, вы, Турнебуши, спокойно оставайтесь при своем сукне. Итак, никому в городе не мозоля глаза, Турнебуши будут жить скромно, окруженные Турнебушами-младшими, платя исправно церковную десятину и все, что их вынудят платить силой,— богу или королю, городу или приходу, с коими никогда не следует ссориться. Итак, надо беречь отцовское богатство, чтобы жить в мире, купить себе мир и никогда не должать, иметь всегда запас в доме и жить припеваючи, держа все двери и окна на запоре.

Тогда никто не одолеет Турнебушей — ни государство, ни церковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг по нескольку золотых, не надеясь их увидеть вновь (я имею в виду золотые). Зато все и во все времена года будут любить Турнебушей, будут смеяться над Турнебушами, над мелкими людишками Турнебушами, над мелкотравчатыми Турнебушами, над безмозглыми Турнебушами... Пусть болтают глупцы что им вздумается! Турнебушей не будут жечь и вешать на пользу короля, церкви или еще на чью-нибудь пользу. И мудрые Турнебуши будут жить потихоньку, беречь денежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме, от всех сокрытая.

Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету: живи скромно и неприхотливо. Храни сие завещание в твоем семействе, как провинция хранит свои грамоты. И пусть после твоей смерти твой родопродолжатель блю-

дет мое наставление, как святое евангелие Турнебушей, до тех пор пока сам бог не захочет, чтобы род Турнебушей перевелся на земле».

Письмо это было найдено при описи, произведенной в доме Франсуа Турнебуша сеньора де Верез, канцлера его высочества дофина, приговоренного парижским парламентом в дни мятежа против короля к казни через отсечение головы с конфискацией всего имущества. Письмо было передано губернатору Турени как историческая достопримечательность и приобщено к судебным протоколам Турского архиепископства мною, Пьером Готье, купеческим старшиной и старостой цеховых мастеров.

Когда автор настоящего повествования завершил, наконец, переписывание, разбор пергаментов и перевод их на французский язык с того малопонятного языка, на котором они написаны, даритель этих документов сообщил ему, что Горячая улица, по мнению некоторых лиц, обязана своим названием тому, что она бывает освещена солнцем дольше, нежели другие улицы в городе. Но вопреки такому толкованию люди проницательного ума увидят в этом наименовании пламенный след, оставленный дьяволицей. Автор разделяет их мнение. Рассказанное здесь наставляет нас не злоупотреблять плотскими радостями, а пользоваться ими разумно, радея о спасении своей души.

Монсеньер приор Гюгон де Сенектер, коему уже было девяносто три года.

«НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБВИ»

Тут они запели, по выбору Жеана, тенсону Кристины Пизанской, где от первого до последнего слова все дышало любовной страстью.

«РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ»

ОТЧАЯНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО

Когда королю Карлу VIII пришла фантазия разукрасить свой Амбуазский замок, то он привез туда итальянских рабочих — каменщиков, ваятелей, живописцев, зодчих, каковые обратили галереи замка в истое творение искусства, но плоды трудов их по небрежению ныне пришли в ветхость.

Итак, королевский двор находился в ту пору в названном живописном краю, и молодой король, по всем известной его склонности, с превеликой охотой следил за трудами искусных художников, умело воплощавших свои замыслы. Среди прибывших иноземных ваятелей и граверов был некий молодой флорентинец по имени мессир Анжело Каппара, выделявшийся высоким дарованием, ибо многие дивились, что на заре своих юных лет достиг он такого мастерства в искусстве ваяния. На нежном его подбородке едва лишь пробивался пушок, по которому узнается юноша, вступающий в пору возмужалости. Все придворные дамы млели, взирая на молодого итальянца, ибо он был пленительно красив, задумчив и грустен, подобно голубю, осиротевшему в своем гнезде. И вот откуда проистекала его печаль. Ваятель наш страдал тяжким недугом, называемым бедностью, который ежечасно отравляет человеку жизнь. И правду сказать, трудно ему приходилось, не каждый день ел он досыта и, стыдясь своей бедности, с отчаяния еще ретивее предавался своему искусству, стремясь во что бы то ни стало добиться привольной жизни, которой нет прекраснее для человека, поглощенного возвышенными трудами. Из тщеславия

несчастный Каппара являлся ко двору роскошно одетый, но по юношеской робости он не смел попросить у короля плату за свой труд, а король, видя его в столь великолепном наряде, полагал, что юноша живет в полном достатке. Придворные кавалеры и дамы любовались прекрасными творениями художника, равно как и прекрасным их творцом, но червонцев от того в мошне у ваятеля не прибавлялось. Все, особливо дамы, находили, что природа и так богато его одарила, а юность щедро украсила черными кудрями и светлыми очами, так что красавицы, заглядываясь на него, и не вспоминали о золотых червонцах, а думали лишь о всех его прелестях. И то сказать, даже меньшие преимущества доставили не одному придворному богатые поместья, золото и всякие блага.

Хотя был Анжело совсем юным с виду, ему уже исполнилось двадцать лет, он обладал светлым умом, горячим сердцем, и голова его была полна поэтическими замыслами, высоко уносившими его на крыльях фантазии; но, чувствуя себя униженным, как то бывает с людьми бедными и чрезмерно щепетильными, он отступал в тень, видя преуспеяние бесталанных неучей. К тому же, воображая, что он плохо сложен, не привлекателен лицом и мало к чему способен, он таил про себя свои мысли. Полагаю, что, оставаясь один на холодном своем ложе, он делился ими с ночным мраком, с богом, с чертом и со всей вселенной. В эти ночи он плакал о том, что сердце его слишком горячо и, разумеется, женщины будут сторониться его, как раскаленного железа. А то вдруг он мечтал, как жарко он станет любить свою прекрасную избранницу, как будет ее чтить, как будет ей верен, каким вниманием окружит ее, как будет выполнять все ее капризы и искусно сумеет рассеять легкие облачка грусти, набегающие в пасмурные дни. И до того ясно рисовался ему милый образ, что он бросался к ее ногам, обнимал их, ласкал, приникал к ним поцелуями, и так живо он чувствовал и видел все это перед собой, подобно тому как узник, припав глазом к щелке и разглядев дорогу среди зеленой муравы, видит себя бегущим через поля. Потом он нежно уговаривал воображаемую красавицу, хватал ее в объятия, чуть не душил ее, опрокидывал, сам ужасаясь собственной дерзости, и от неистовой страсти

кусал подушку, простыни, одерживая в своих мечтаниях сладчайшую победу; но насколько смел он был в одиночестве, настолько робел поутру, услышав шорох женского платья. Однако ж, горя огнем любви к воображаемым красавицам, он запечатлевал в мраморе форму прелестной груди, вызывая жажду к сему сочному плоду любви, создавал и многие иные прелести, округлял, полировал, ласкал их своим резцом, отделывал с великим старанием, придавая им изгибы, указующие дивные соблазны, в назидание девственнику, дабы в тот же самый день он девственность свою утратил. Любая из придворных дам узнавала себя в этих изображениях красоты, и все они произвели Анжело в ангелы. Он касался их лишь взглядом, но дал себе клятву, что от красавицы, позволившей ему поцеловать ее пальчик, он добьется всего.

Одна из самых знатных дам спросила его как-то, почему он такой скромный, робкий и как случилось, что никому из придворных прелестниц не удалось его приручить. Вслед за тем она любезно пригласила его навестить ее вечерком.

Не теряя зря времени, Анжело надушился, купил себе плащ из тисненого бархата на атласной подкладке, взял у приятеля рубаху с пышными рукавами, расшитый камзол и шелковые чулки; он взбежал по лестнице, не чуя под собою ног, задыхаясь от волнения, полный надежды, что сбудется, наконец, его мечта, и, как ни старался, не мог умерить биение сердца, которое прыгало и металось в его груди, как дикая козочка; словом, был он уже охвачен любовью с головы до пят, и его даже бросало в жар и холод.

Дама его и в самом деле была красива. Каппара это тем более понимал, что как ваятель мог оценить округлость плеч и линии гибкого стана и невидимые глазу, но угадываемые тайные совершенства красоты, достойные Венеры Каллипиги. Дама эта отвечала всем тонкостям и законам искусства, притом она была бела и стройна, и голос ее был способен всколыхнуть источники жизни, разжечь сердце, мозг и все прочее. Словом, умела она вызвать в воображении мужчины соблазнительные картины любовных утех, храня при том самый скромный вид, как сие свойственно проклятым дочерям Евы.

Ваятель наш застал ее сидящей у камина в глубоком

кресле, и дама тут же стала болтать весьма непринужденным образом, меж тем как он не смел вымолвить ни слова по-французски, кроме как «да» и «нет». Не мог он выдавить из глотки ни единого звука и не находил ни единой мысли у себя в мозгу; он охотно разбил бы себе голову о край камина, не будь он столь счастлив, внимая словам красавицы, которая играла и резвилась, подобно мушке под лучами солнца.

И так пребывал он в немом любовании, и оба незаметно досидели до полуночи, неспешно углубляясь в цветущую долину любви. В полночь наш юный ваятель, счастливый, отправился домой, рассуждая следующим образом: если благородная дама продержала его у своих юбок битых четыре часа, до глубокой ночи, значит, сущих пустяков не хватает, чтобы она оставила его у себя до утра. Основываясь на подобных посылках, он вывел несколько благоприятных заключений и решил завоевать ее как самую обыкновенную женщину. Он был готов убить всех: супруга ее, ее самое или себя, если не удастся ему изведать хотя бы единый час наслаждения. Он и в самом деле был глубоко уязвлен любовью, и думалось ему, что вся его жизнь — ничтожная ставка в любовной игре и один день блаженства стоит тысячу жизней.

Флорентинец долбил камень, вспоминая счастливый вечер, и по той причине, что мысли его витали далеко, немало мраморных носов было им перепорчено. Видя такую неудачу, он бросил резец и, надушившись, отправился внимать милой болтовне своей красавицы, в надежде, что слова ее обратятся в действие. Но как только оказался он перед своей королевой, царственное величие красоты совсем ослепило его, и бедный Каппара, такой смелый разбойник у себя дома, обратился в барашка, робко взирая на свою жертву.

Рано или поздно наступает все же час, когда одно желание воспламеняет другое, и Анжело подсел поближе к даме, крепко ее обнял, вымолил у нее поцелуй и получил его; начало оказалось удачным, ибо нередко дамы, подарив один поцелуй, наотрез отказывают в дальнейших; зато, украв поцелуй, влюбленный может хоть тысячу раз повторить свою дерзость. Вот потому-то дамы любят, чтоб их заставали врасплох. Наш флорентинец по-

хитил изрядное количество поцелуев, и по всему было видно, что дело идет на лад. Но дама всячески затягивала игру и вдруг вскрикнула: «Мой муж идет!»

И вправду хозяин дома вернулся с королевской игры в мяч. Ваятель поспешно удалился, получив в награду взгляд, который красноречиво говорил: «Сколь я сожалею о прерванном блаженстве». В течение целого месяца Анжело только и жил такими встречами, наслаждался и развлекался ими, но каждый раз, как бывал он близок к своему счастью, неизменно являлся ненавистный супруг в ту самую минуту, которая у дамы следует за прямым отказом и посвящается смягчению оного разными уловками, милыми проделками, предназначенными для того, чтобы воскрешать или подогревать любовь. И вот, потеряв терпение, художник решил начинать осаду с первых же минут свидания, рассчитывая одержать победу до появления мужа, которому затянувшаяся канитель служила лишь на пользу. Но ловкая дама, читая в глазах ваятеля его тайные намерения, затевала с ним ссору, за коей следовали бесконечные объяснения. Она начинала с притворной сцены ревности, в расчете услышать в ответ лестные дамам проклятия влюбленного. Засим она охлаждала его гнев нежным поцелуем. А там она принималась что-то ему доказывать, и хитростям ее не видно было конца. Она настаивала, что ее любовник должен вести себя благонравно и все желания ее исполнять, иначе не может она отдать ему свою душу и свою жизнь. И отнюдь не считает она столь уж щедрым для себя даром страстное желание влюбленного; куда более достойна похвалы она сама, ибо, любя сильнее, она больше приносит жертв. И между прочим, с видом королевы она небрежно бросала: «Перестаньте»,— и в ответ на упреки Каппара сердито говорила: «Ежели вы не будете таким, как мне угодно, я разлюблю вас!»

Хоть и поздно, но все же бедный итальянец понял, что такая любовь не была честной любовью, той любовью, что не отсчитывает даримые ею радости, как скряга червонцы, что его дама просто играет им, допуская его во все владения любви, лишь бы он не завладел потаенным сокровищем. От сего унижения Каппара пришел в неистовый гнев и, позвав с собою нескольких своих друзей-художников, уговорил их совершить нападение на

супруга красавицы, когда тот будет возвращаться домой вечером после королевской игры в мяч. Распорядившись таким образом, флорентинец явился в обычный час к своей даме. Когда в самом разгаре были сладостные игры любви, упоительные поцелуи, забава с распущенными и вновь заплетенными косами, когда в порыве страсти кусал он ей руки и даже ушки, одним словом, когда все уже было испытано, за исключением того, что высоконравственные сочинители наши не без основания называют предосудительным, флорентинец меж двумя особенно жгучими поцелуями спросил:

— Голубка моя, любите ли вы меня больше всего на свете?

— Да,— отвечала она, ибо прелестницам слова недорого стоят.

— Так будьте ж моею! — взмолился влюбленный.

— Но муж мой скоро вернется,— возразила дама.

— Значит, иной помехи нет?

— Нет...

— Мои друзья задержали его на дороге и отпустят лишь тогда, когда в этом окне появится светильник. Ежели супруг ваш пожалуется потом королю, то друзья мои объяснят, что они по ошибке приняли его за одного из наших художников и решили над ним подшутить.

— Ах, друг мой,— сказала дама,— дайте я пойду взглянуть, все ли в доме спокойно и спят ли слуги? — Она поднялась, а свечу поставила на подоконник указанного окна.

Увидя то, Каппара вскочил, задул свечу и, схватив свою шпагу, встал перед женщиной, обнаружившей перед ним всю глубину своего презрения и коварства. Он сказал ей так:

— Я не убью вас, мадам, но оставлю такую отметку на вашем лице, что вам не придется более ни обольщать бедных влюбленных юношей, ни играть их жизнью. Вы меня бессовестно обманули, ваши поступки не достойны порядочной женщины! Знайте же, что поцелуй никогда не изгладится из сердца истинно влюбленного и целованные уста снимают все запреты. Вы навсегда отравили мне жизнь, она опостылела мне, посему я хочу, чтоб вы до конца дней своих помнили о моей смерти, в которой вы будете повинны. Отныне всякий раз, как вы

взглянете в зеркало, вы увидите и мое лицо рядом со своим.

Он взмахнул шпагой, собираясь отсечь кусочек ее нежной щечки, на которой еще горели его поцелуи.

Но тут дама сказала, что он бесчестен...

— Молчите! — воскликнул он.— Вы твердили, что любите меня больше всего на свете, сейчас вы говорите иное. Каждый вечер вы поднимали меня ступень за ступенью к небесам и вот сегодня одним ударом низвергли меня в ад и надеетесь еще, что ваша женская слабость спасет вас от гнева любовника! Нет!

— Мой Анжело, я твоя! — воскликнула дама, сраженная силой его ярости.

А он, отступив от нее на три шага, сказал:

— Ах ты, придворная кукла!.. Пустое сердце! Тебе дороже твоя краса, чем твой возлюбленный, так получай же!

Она побледнела и покорно обратила к нему лицо, ибо поняла, что запоздалая ее любовь не может искупить прежней лжи. Флорентинец нанес ей удар шпаги, как задумал, затем бежал из дома и покинул страну. Муж красавицы, которому так и не пришлось испытать нападения флорентинцев, ибо они увидели свет в окне его дворца, спокойно вернулся домой и нашел жену раненой — без левой щеки. Превозмогая боль, она не обмолвилась ни словом, ибо с минуты своего наказания полюбила Каппара больше жизни. Муж, однако ж, стал доискиваться виновника ее ранения. И по той причине, что никто не заходил без него в дом, кроме флорентинца, он принес королю жалобу. Король послал погоню за ваятелем с приказом поймать его и повесить, что и должно было произойти в городе Блуа. В день казни некая благородная дама пожелала спасти от петли смелого юношу, предположив, что он может оказаться отличным любовником. Она обратилась к королю с прошением о помиловании Каппара, на что король милостиво дал согласие.

Но наш флорентинец доказал, что он глубоко предан даме, чей образ завладел им навсегда. Он удалился в монастырь, постригся в монахи, позднее стал кардиналом, прославился как ученый и, дожив до старости, любил повторять, что жизнь его красна воспоминаниями о

радостях, выпавших ему в годы бедной и несчастной молодости, когда некая дама подарила ему столько блаженства и столько муки.

Иные рассказывают, что названному Каппара довелось еще раз встретиться со своей дамой, щека коей зажила, и что на сей раз он не ограничился лишь прикосновением к ее юбкам, но я тому не верю, ибо знаю, что сердцем он был благороден и высоко чтил святые восторги истинной любви.

Из всего вышеизложенного никакого поучения нельзя извлечь, разве только то, что бывают в жизни вот такие несчастные встречи, ибо повествование наше истинно от начала до конца. Ежели случалось автору иной раз погрешить против правды, то сей рассказ заслужит ему прощение на соборе влюбленных.

НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБВИ

В начале тринадцатого века по рождестве нашего божественного спасителя, или около того, в городе Париже произошла любовная история, которой немало дивились все горожане, равно как и королевский двор. Что касается лиц духовного звания, которые сохранили нам память об этом приключении, то из последующего вы узнаете, какое участие приняли они в оном деле.

Героем нашей истории был уроженец города Тура. Простолюдины называли его попросту туренцем, ибо родился он в нашей пресветлой Турени, настоящее же его имя было Ансо. На старости лет добрый наш туренец воротился в свой родной край и стал мэром города Сен-Мартен, если верить летописям города и аббатства, но в Париже был он славным мастером золотобитного дела. Итак, в ранней молодости Ансо благодаря великой своей честности, трудолюбию и иным качествам сделался гражданином города Парижа и подданным короля, покровительство коего он купил, как то часто водилось в те времена. Рядом с церковью Сен-Ле, на улице Сен-Дени, был у него свой дом, который он построил беспошлинно, и туда в его мастерскую приходили многие горожане, привлеченные его прекрасными изделиями. Хотя мастер и был туренец и сил его хватило бы на двоих, поведением он отличался примерным. Жил он, как истинный святой, несмотря на все соблазны большого города, и даже в цветущую пору молодости ни разу не переступил порога парижских вертепов. Многие скажут, что это, мол, превышает понимание человеческое, которое гос-

подь бог даровал нам, дабы могли мы воспринимать веру, поддерживаемую таинствами святой религии; посему является необходимым разобраться получше в причинах целомудрия нашего ювелира. И прежде всего примите во внимание, что пришел он в Париж пешком, по свидетельству старожилов, был беднее Иова и, в отличие от прочих туренцев, которые, возгоревшись, тут же гаснут, обладал железным характером и в настойчивости не уступал монаху, решившему отомстить недругу. Будучи подмастерьем, трудился он с превеликим усердием; став мастером, трудолюбие свое умножил, всюду перенимать старался новые приемы ремесла своего, сам придумывал способы поискуснее и на пути исканий набрел на многие открытия. Еженощно запоздалые прохожие, ночной дозор или же бездомные бродяги видели в окне его мастерской тихое сияние лампы и самого неутомимого мастера, который стучал своим молотком, точил, подпиливал, резал, гнул, вытачивал, долбил со своим подмастерьем, держа двери мастерской на запоре, а слух отверстым. Нужда породила труд, труд породил высокое знание, знание породило богатство. Слушайте же вы, о дети Каина, вы, пожиратели червонцев, зря жизнь прожигающие! Если даже и случалось нашему мастеру загораться смутными желаниями, кои нет-нет да и начнут терзать бедного одинокого человека, когда дьявола уже трудно отогнать крестным знамением,— туренец с сугубым усердием стучал своим молоточком по металлу и, укрощая мыслью духов соблазна, принимался творить прелестные, изящные, тончайше выточенные фигурки из золота и серебра, тем самым успокаивая бурлившую в жилах кровь. Прибавьте к этому, что туренец, был человек простой и самых бесхитростных понятий. Во-первых, он боялся бога, потом воров, еще больше вельмож, но пуще всего опасался всяческих передряг и беспокойств. Хоть имел он две руки, но более одного дела зараз никогда не делал. Говорил он скромно, как невеста перед венцом. И хотя духовные пастыри, военные люди и прочие видные особы отнюдь не считали его человеком ученым, он превосходно знал свой родной язык, любил и умел поговорить. Со временем парижане научили его идти своей дорогой и не бегать по чужим делам, по одежке протягивать ножки, самому не должать и соседу взай-

мы не давать, держать ухо востро, не позволять очки себе втирать, не болтать о том, что делаешь, слово свое всегда держать крепко, зря даже воды не выливать, не быть беспамятным, будто муха, никому не доверять ни своих забот, ни своего кошелька, по сторонам не зевать, а изделия свои продавать дороже, чем самому обходятся. Сии правила житейской мудрости помогли ему набраться опыта столько, сколько необходимо, чтобы честно торговать себе на пользу. Что он и делал, никого не обижая. Видя, как живет мэтр Ансо, многие говорили: «Хотел бы я быть на его месте, черт возьми! Даже если б для того пришлось бы мне целый век месить парижскую грязь». Иной вот этак не прочь стать королем Франции! А ты вот сначала имей такие руки, как у того золотобита были —крепкие, жилистые, волосатые и с такой могучей хваткой, что когда он сжимал кулаки, то самый сильный подмастерье не мог бы и клещами их разжать. Ясно, что если такой молодец захочет что удержать, то уж оного не выпустит. Зубами своими туренец железо мог разжевать, желудок его мог то железо принять, пропустить, кишечник — переварить и выбросить из себя, ничего в пути не повредив. На плечи туренцу можно было бы взвалить земной шар, как то случилось с тем вельможей языческого мира, коему эта забота была некогда поручена, и лишь Иисус Христос своим появлением вовремя его от сей службы избавил. Правду сказать, туренец был из тех людей, которые созданы как бы одним ударом, из одного куска вытесаны, а такие всегда превосходят тех, за которых принимаются по нескольку раз. Этих приходится подправлять, и никуда они не годны со своими заплатками. Одним словом, мэтр Ансо был мужчина крепкого закала, сущий лев, а из-под бровей его смотрели такие глаза, что от взгляда их могло бы и золото расплавиться, если пламени не хватит в горне, но взор его был подернут некой прозрачной влагой по воле того, кто всему знает меру, и она охлаждала великий пыл туренца, а иначе он испепелил бы все кругом. Ну скажите, чем плох был наш туренец?

Ознакомившись с добродетелями золотобита, иной спросит, почему же наш мастер остался одиноким, как улитка, когда природные свойства его могли быть оценены всякими и всякой. Но знают ли упрямые крити-

ки, что есть в мире любовь? Нет, наверняка не знают... Влюбленному положено куда-то идти, откуда-то возвращаться, слушать, подстерегать, молчать, говорить, то съежиться, то развернуться, то расти, то сократиться и совсем невидимому стать, угождать, бренчать на каком-нибудь инструменте, каяться, таскаться к черту на рога, лезть из кожи вон, птичье молоко добывать, в ступе воду толочь, вздыхать при луне, ласкать *ее* кошечку и собачку, дружить с *ее* друзьями, осведомляться о коликах и ревматизмах *ее* тетушки и заверять старуху: «У вас отменный вид, да вы нас всех переживете!» А там пронюхать, что нравится родне, не наступать никому на ноги, не бить посуды, доставать луну с неба, переливать из пустого в порожнее, молоть вздор, лезть в огонь и в воду, и, восхищаясь нарядами своей возлюбленной, восклицать: «Чудо как красиво!» или: «Ах, мадам, как вы прекрасны в сем наряде, честное слово!» И повторять это на тысячи ладов. Самому напомадиться и расфрантиться, как придворному кавалеру. Шутить метко и остро, со смехом претерпевать все страдания, причиняемые дьяволом. Душить в себе свой гнев, обуздывать свой нрав, следовать за божьим перстом и чертовым хвостом. Одаривать мать, одаривать кузину, одаривать служанку, ходить с утра до ночи с самой умильной миной, а ведь известно, что особам женского пола угодить трудно,— вильнут хвостом и прощай — даже не объяснят, чем вы их прогневили. А в конце концов человек, влюбившись в самое кроткое создание, сотворенное всевышним под хорошую руку, может и красноречием ее поразить, и прыгать вкруг нее блохой, и вертеться волчком, и музыкой ее услаждать, не хуже чем царь Давид, через тысячу адских мук пройти, построить в ее честь целую сотню всяких чертовых колонн коринфийского лада, и все-таки, если не угодит ей в чем-то самом сокровенном — а ведь она и сама толком не знает, чего ей надо, зато с возлюбленного требует, чтобы он это знал,— она убежит от него, как от проказы. Она в своем праве — ничего тут не поделаешь. Иные мужчины при таких обстоятельствах мрачнеют, злобствуют, с ума сходят так, что и представить себе нельзя. А некоторые даже лишают себя жизни из-за юбки. Этим мужчина и отличается от животного, ибо никогда животное не спятит от несчастной любви. Вот

вам неопровержимое доказательство того, что у скотов нет души. Влюбленный должен быть и на все руки мастер: он и фокусник, и вояка, и шарлатан, и балагур, вельможа, шут, король, бездельник, монах, простак, кутила, лгун, хвастун, доносчик, пустомеля, вертопрах, волокита, мот, глупец, юродивый; от таких дел отказался Иисус, и, подражая ему, пренебрегают любовью люди благоразумные. Предаваясь этому занятию, уважающие себя мужчины прежде всего вынуждены тратить: время, жизнь, кровь, заветные слова, не считая сердца, души, мозга, до коего бабы жадны превыше меры. И когда они болтают меж собой без умолку, то говорят друг другу: «Если мужчина не отдал мне всего, что имеет, значит, он мне ничего не дал». А бывают и такие гримасницы, что нахмурят бровки и еще недовольны, что ее возлюбленный ради нее расшибся в лепешку: «Что за пустяки, плохо старается!» А все потому, что женщины ненасытны, тиранки и самодурки, все им мало... Закон этот был, есть и будет в силе в городе Париже, где младенцам женского пола при крещении перепадает куда больше соли, нежели в каком-либо другом месте земного шара. Потому они в Париже и лукавы от самого рождения.

А мэтр Ансо у своей плавильной печи плавил серебро, чеканил золото, но никак не мог достаточно возгореться сердцем, чтобы засверкали в нем фантастические узоры любви, не мог он разукрасить ее, отразиться в ней и разыграться в затейливых выдумках, ибо нигде не находил себе живой модели! Само собой разумеется, что в Париже девственницы не падают ни с того, ни с сего в объятия мужчин, равно как не сыпятся нам с неба жареные куропатки. Пусть даже мужчины будут королевскими золотобитами, а наш туренец, как уже ранее было сказано, сверх того имел и другое преимущество— целомудрие. Однако мэтр Ансо не мог не видеть всех прелестей, коими столь щедро одарила природа иных высокородных дам и буржуазок, покупавших у него драгоценности. И часто, наслушавшись веселой болтовни покупательниц, кои улещали его, заигрывали с ним, желая добиться какой-нибудь уступки, шел он домой мечтательный, как поэт, тоскующий, подобно кукушке без гнезда! И говорил про себя: «Пора мне обзавестись женой, она станет подметать жилье, готовить обед, следить за бель-

ем, штопать, станет распевать веселые песенки, будет мучить меня, заставляя исполнять ее прихоти, скажет мне, как все они говорят своим мужьям, когда им приглянулась какая-нибудь безделушка: «Глянь, миленький мой, на эту вещицу — разве не прелесть?!» И всякий сосед сразу будет узнавать мою жену и думать про меня: «Вот счастливец!» Затем — все в мыслях — он устраивал свадьбу, ласкал и лелеял свою женушку, рядил ее в роскошные платья, дарил ей золотую цепь, любил ее всю, с головы до ног, предоставляя ее усмотрению все хозяйство, за исключением личных своих сбережений. Поместит он ее в свою спальню наверху. Там хорошие, застекленные рамы, на полу циновки, стены обиты шпалерами; в комнате он поставит великолепный шкаф и кровать необъятной ширины, с витыми колонками и шелковым пологом лимонного цвета, купит прекрасные зеркала. И к дверям своего дома наш ювелир подходил, имея уже десяток ребят от воображаемой жены. Но жена и дети исчезали от постукивания молотка, и Ансо, сам того не замечая, превращал создания своей тоскующей мысли в причудливые рисунки, а любовные мечты воплощал в диковинные безделки, весьма одобряемые покупателями, которые и не подозревали, сколько жен и детей таится в его творениях. И чем больше наш мастер проявлял свой талант, тем глубже замыкался в себе. Не сжалься тогда над ним господь бог, он покинул бы сей мир, так и не изведав любви, но познал бы ее в мире ином, где любовь, не зная тлена, сияет вечно, как тому учит достопочтенный Платон — человек высоких качеств, но, не будучи христианином, заблуждавшийся. Увы, предварять свое повествование различными рассуждениями, значит, допускать излишние отступления и ненужные толкования, каковыми маловеры принуждают нас укрывать свою сказку, как кутают младенца в пеленки, тогда как младенцам куда больше пристало бегать нагишом. Да поставит сатана любителям болтовни три клистира своими раскаленными вилами. А теперь приступим к рассказу без обиняков.

И вот что случилось с мэтром Ансо на сорок первом году его жизни. В один прекрасный день, прогуливаясь по левому берегу Сены, он, погрузившись в размышления о браке, не заметил, как добрел до поля,

впоследствии получившего наименование Причетникова поля и входившего во владения аббатства Сен-Жермен, а не в университетские владения. Идя своей дорогой, туренец оказался посреди лужка, где ему повстречалась бедно одетая девушка, которая, приняв Ансо по виду за знатного горожанина, поклонилась ему, промолвив: «Спаси вас господь, монсеньер!» И в девичьем ее голоске прозвучала столь приветливая доброта, что ювелир восхитился сей небесной мелодией, и зародилась в нем любовь к этой девушке, чему все способствовало в ту пору, особенно же мысль о браке, не дававшая ему покоя. Но, раздумывая таким образом, он все же прошел мимо девушки, не смея повернуть обратно, ибо был робок, как стыдливая девственница, готовая скорее повеситься на своем поясе, чем развязать его, удовольствия своего ради. И вот когда мэтр Ансо оказался на расстоянии выстрела от девицы, он справедливо рассудил, что человек, принятый еще десять лет тому назад в цех золотых дел мастеров, ставший зажиточным горожанином Парижа и прошедший добрую половину жизненного пути, имеет право заглянуть женщине в лицо, тем паче, если воображение его не на шутку разыгралось. И он круто повернул, пошел навстречу девушке и осмелился взглянуть на нее... Она тянула за обрывок веревки тощую свою коровенку, а та щипала траву у самого края придорожной канавы.

— А, милочка,— спросил он,— вы, наверно, очень бедны, раз руки ваши не знают отдыха даже в воскресный день. Разве вы не боитесь попасть в тюрьму?

— Господин мой,—отвечала девушка, опустив глаза,— мне нечего бояться, потому что я принадлежу аббатству. Милостивый аббат разрешает нам выгонять корову после вечерни.

— Корова, видно, вам дороже спасения души?

— Вы правы, господин мой, корова эта — единственная наша поилица и кормилица.

— Дивлюсь, дитя мое, видя вас в такой нищете! В этих лохмотьях... в изношенном тряпье, среди поля, босая даже в воскресенье, меж тем как вы обладаете бóльшими сокровищами, чем можно их узреть, обойдя все владения аббатства. Наверно, горожане преследуют вас и досаждают вам своей любовью?

— Ничуть, господин мой. Ведь я принадлежу аббатству,— повторила девушка и показала ювелиру обруч на левой руке; подобный обруч одевается скоту, пасущемуся в поле, только у девушки был он без колокольчика.

Красавица взглянула на мастера, и глаза ее выражали такое отчаяние, что он остановился, потрясенный. Известно, что сильная сердечная скорбь передается от сердца к сердцу через глаза.

— А что это? — спросил он, решив все узнать от нее самой, и тронул обруч. Хотя на том обруче было изображение герба аббатства, притом довольно выпуклое, у ювелира не было желания рассматривать его.

— Господин мой, я дочь крепостного раба, а потому всякий, кто женился бы на мне, даже горожанин Парижа, тоже станет рабом. Все равно он будет принадлежать аббатству душой и телом. Если бы человек тот соединился со мною, не женясь, то и тут дети считались бы за аббатством. Вот почему я оставлена всеми, брошена, как скотина в поле. Но особенно мне обидно, что, по желанию приора аббатства, и в тот час, когда ему заблагорассудится, меня сведут с таким же крепостным человеком, как и я. И будь я даже не столь безобразна, как сейчас, и полюби меня кто-нибудь всей душой, все равно, увидев на мне вот этот обруч, он убежит прочь, как от черной чумы.

И сказав так, девушка потянула за веревку свою корову.

— Сколько вам лет? — спросил ювелир.

— Не знаю, господин мой, но у нашего владельца, монсеньера приора, есть запись.

Столь жестокая доля растрогала нашего мастера, тоже немало вкусившего от горького хлеба нищеты. Он шел рядышком с девицей, и так дошли они в глубоком молчании до ручья. Ювелир любовался прекрасным челом девушки, ее крепкими покрасневшими руками, величавой осанкой, смотрел на ее запыленные ноги, будто изваянные для статуи девы Марии. Тонкие, нежные ее черты восхищали его — ему казалось, что перед ним живой портрет святой Женевьевы, покровительницы Парижа и крестьянских девушек. Заметьте себе, что наш девственник, чистый сердцем и помыслами, угадывал прелести белоснежной груди, которые девица прятала с оча-

ровательной стыдливостью под грубым платком, и они возбуждали его жажду, как в жаркий день соблазняет школьника наливное яблочко.

И то сказать, все, что доступно было его взорам, свидетельствовало, что девица эта — чистое сокровище, как и все, впрочем, чем владеют монахи. И чем строже был запрет касаться сего цветка, тем сильнее Ансо томился любовью, и сердце его стучало так сильно, что он слышал его биение.

— У вас отличная корова,— промолвил он.

— Не угодно ли молочка? — ответила крестьянка.— Нынче май жаркий выдался, а до города далеко.

И впрямь небо было синее, без единого облачка, и дышало жаром, как плавильная печь. Все кругом сверкало молодостью — листва, воздух, девушки, юноши. Все пылало, зеленело, благоухало. Простодушное приглашение, сделанное без всякого расчета, ибо никаким золотом не оплатить несказанное очарование доброго слова и скромного взгляда, обращенного на него девицей, растрогало мастера, он пожелал видеть эту рабу королевой и весь Париж у ног ее.

— О нет, милочка, я не хочу молока, я жажду вас и хотел бы иметь разрешение вас выкупить.

— Это невозможно. Видно, до самой смерти я буду принадлежать аббатству. Вот уже много лет мы живем здесь, и деды жили, и внуки здесь будут жить. Подобно несчастным моим предкам, мне суждено жить рабой на земле аббатства, тоже и детям моим, ибо сам монсеньер приор заботится о том, чтоб у нас, крепостных, было потомство.

— Как! — воскликнул туренец.— Неужели не нашелся молодец, который посмел бы ради ваших чудесных глаз купить вам свободу, как я купил себе свободу у короля?

— Воля стоит слишком дорого, и потому те, кому я приглянусь, уходят так же быстро, как и появляются.

— И вы не подумали бежать отсюда с возлюбленным, умчавшись с ним на добром скакуне?

— О мессир, если меня поймают, то уж наверняка повесят, а мой милый, будь даже он дворянин, потерял бы все свои поместья, не считая прочего. Не стою я таких жертв, ведь у аббатства длинные руки, и убежать

отсюда никакой прыти не хватит. Вот так я и живу в полном послушании господу, знать, такая уж моя судьба.

— А что делает ваш отец?

— Он работает на винограднике аббатства.

— А мать?

— Стирает.

— А как вас зовут?

— У меня нет имени, дорогой мой господин. Отца моего крестили Этьеном, мою мать зовут Этьенна, а я Тьенетта, к вашим услугам.

— Милочка моя! — воскликнул мэтр Ансо.— Никогда в жизни ни одна женщина не нравилась мне так, как вы нравитесь мне, и я верю, что велики сокровища вашего сердца. И по той причине, что вы предстали предо мной в тот самый миг, когда я твердо решил избрать себе подругу жизни, я вижу в том указание небес. Ежели я вам не противен, то прошу считать меня вашим истинным другом.

Тут девушка вновь опустила глаза. Слова свои туренец произнес столь убежденным голосом, столь проникновенно, что Тьенетта залилась слезами.

— Нет, господин,— отвечала она,— я стану причиной тысячи ваших огорчений и виновницей вашего несчастья. Для бедной подневольной служанки достаточно нескольких ласковых слов.

— О, вы еще не знаете, дитя мое, с кем вы имеете дело!

Туренец перекрестился и, сложив руки, сказал:

— Даю обет святому Элуа, покровителю всех ювелиров, отлить две ниши из чистого серебра и самой тонкой работы и разукрасить их со всем доступным мне искусством. Одну нишу я предназначаю пресвятой госпоже нашей богородице в знак благодарности за освобождение моей бесценной супруги, другую нишу — вышеназванному моему покровителю, когда я добьюсь успеха в старании моем освободить Тьенетту, крепостную девицу, здесь стоящую, ради чего я испрашиваю его святого заступничества. Кроме того, клянусь спасением души моей настойчиво, не теряя духа, добиваться успеха в оном деле, на которое я не пожалею ничего и не успокоюсь до самой своей смерти. Я знаю, бог меня услы-

шит... А вы, милая? — сказал он, повернувшись к девушке.

— Господин, помогите, у меня корова убежала! — воскликнула Тьенетта, обливаясь горючими слезами и падая к ногам своего друга.— Я буду любить вас по гроб жизни, но откажитесь от вашего обета.

— Пойдем ловить корову,— ответил мэтр Ансо, поднимая девушку с колен, но еще не смея ее поцеловать, хотя она была к тому расположена.

— Меня за это прибьют,— промолвила она.

И вот золотых дел мастер пустился вдогонку за проклятой коровой, которую нимало не трогали любовные излияния. Но вскоре туренец схватил норовистую скотину за рога и крепко держал ее. Еще немного, и он подбросил бы ее на воздух, как соломинку.

— Прощайте, милая. Коли пойдете в город, заходите ко мне — мой дом рядом с церковью святого Ле. Зовусь я мэтр Ансо, я золотых дел мастер нашего милостивейшего короля Франции, подобно святому Элуа, нашему покровителю. Обещайте мне в будущее воскресенье быть на этом поле; я не премину прийти сюда, меня не остановят ни гроза, ни ливень.

— Добрый мой повелитель! Я перелезу через изгородь, если понадобится. В благодарность я хотела бы стать вашей без всяких помех для вас и не причинять вам никакого ущерба, даже отдав за это блаженство в будущей жизни. А до того часа я буду молиться за вас господу от всей души.

И она осталась стоять на месте неподвижно, подобно каменному столбу, глядя вслед мастеру, который удалялся медленным шагом, оглядываясь время от времени, дабы еще раз увидеть красавицу. И когда он был уже далеко и, наконец, исчез из глаз, она все еще стояла там и оставалась в поле до самой тьмы, погруженная в размышления, сама не зная, не приснилось ли ей все это, не понимая, что с нею произошло. Вернулась она домой глубокой ночью и была побита за то, что поздно пришла, но не почувствовала побоев.

Добряк Ансо лишился сна и аппетита. Даже закрыл мастерскую, так он влюбился в Тьенетту, думал только о ней, всюду видел только ее, и всем на свете стала она для него. Наутро он отправился в аббатство, не без тре-

пета готовясь к беседе с монсеньером приором. Но по дороге он порешил действовать более осмотрительно и просить сначала покровительства у кого-нибудь из приближенных короля, а потому вернулся обратно в Париж, где тогда находился двор. Зная, как уважаем всеми Ансо, видный мастер цеха ювелиров, и как он любим всеми за свои изящные изделия и за учтивое свое обращение, начальник королевского двора обещал влюбленному свое покровительство. Незадолго перед тем Ансо сработал по его просьбе золотую коробочку для сластей, украшенную драгоценными камнями,— чудо ювелирного искусства. Коробочку этот вельможа преподнес в подарок одной придворной даме. Теперь он велел оседлать для мэтра Ансо иноходца, а для себя своего коня, и они тут же отправились в аббатство. Придворный добился аудиенции у монсеньера приора Гюгона де Сенектера, коему уже было девяносто три года. Войдя в зал вместе с ювелиром, в глубоком волнении ожидавшим решения своей участи, придворный попросил приора Гюгона доставить ему приятность, заранее дав обещание исполнить его несложную просьбу. На что аббат, покачав головой, ответил, что сие было бы посягательством на его верность церковному уставу.

— Выслушайте меня, святой отец,— промолвил вельможа,— наш придворный ювелир воспылал великой любовью к крепостной девице, принадлежащей вашему аббатству, и я ходатайствую перед вами об отпущении на волю оной девицы; со своей стороны я обещаю пойти навстречу любому вашему желанию.

— Кто такая? — спросил аббат мастера.

— Ее зовут Тьенетта,— робко ответил ювелир.

— Вот оно что! — сказал старик Гюгон, улыбаясь.— Значит, хороша наша приманка, ежели такая рыба клюнула. Но это — дело серьезное, и я один его решить не могу.

— Я знаю, отец мой, что означают ваши слова,— ответил придворный, нахмурив брови.

— Мой славный кавалер,— промолвил приор,— знаете ли вы, что стоит эта девица?

Он приказал своему писцу привести Тьенетту и велел одеть ее понаряднее, дабы она предстала перед гостями во всей красе.

— Ваша любовь в опасности,— обратился вельможа к ювелиру, отведя его в сторону.— Откажитесь от своей прихоти, ведь вы всюду, даже при дворе, можете встретить женщин благородного происхождения, красивых и молодых, каковые охотно пойдут за вас. И ежели уж на то пошло, сам король поможет вам приобрести дворянское поместье, и со временем ваш род будет причислен к знати. Разве не хватит у вас золота, чтобы стать основателем новой благородной фамилии?

— Не могу,— ответил Ансо,— я дал обещание.

— Тогда добивайтесь выкупа вашей красавицы. Я знаю монахов, ради денег они на все пойдут.

— Монсеньер,— сказал мастер, вновь приблизившись к приору.— Вы облечены великими полномочиями представлять на земле милосердие господне, каковое распространяется на всех несчастных и заключает в себе бесконечное сокровище сострадания к горестям нашим. Я буду поминать вас в своих молитвах денно и нощно и никогда не забуду, что получил свое счастье по щедрости вашей, если вы согласитесь осчастливить меня, отдав мне в законные супруги названную девицу, и не числить детей, рожденных от сего брака, подневольными вашими крепостными. Зато я смастерю для вас дароносицу, столь богато разукрашенную золотом, драгоценными камнями, изображениями крылатых ангелов, что подобной не найдется во всем христианском мире. Ни с чем не сравнимая, она будет радовать взоры ваши и так прославит ваш алтарь, что верующие толпами станут стекаться в аббатство из города, и даже знатные чужеземцы поспешат приехать, дабы узреть дароносицу во всем ее великолепии.

— Сын мой,— ответил приор,— вы, я вижу, потеряли рассудок! Если вы решили взять эту девицу в законные супруги, ваше имущество, равно как и вы сами, поступит в собственность капитула аббатства.

— Да, монсеньер, я потерял рассудок от любви к этой бедной девице. И я даже более тронут ее нищетой и христианским ее сердцем, нежели ее телесными совершенствами. Но я тем паче поражен,— добавил он со слезами на глазах,— вашим жестокосердием и решаюсь сказать вам об этом, хоть и знаю, что судьба моя в ваших руках. Да, монсеньер, мне известен закон. Итак, ежели

мое добро должно перейти в ваше владение, если я стану крепостным, если потеряю и дом мой и права горожанина, я все же сохраню достояние, добытое трудом и учением, а находится оно здесь,— сказал он, коснувшись своего лба.— Здесь, где никто, кроме бога и меня самого, надо мной не властен. И все ваше аббатство не в силах оплатить будущие творения, что таятся в моем уме. Вам будет принадлежать все — мое тело, моя жена, мои дети, но ничто и никто не даст вам право на мое достояние, даже пытки, ибо я крепче самого крепкого железа, и, чем сильнее страдание, тем я терпеливее.

Произнеся эти слова, мэтр Ансо, взбешенный спокойствием приора, который, видимо, решил забрать в пользу аббатства дублоны просителя, хватил кулаком по дубовой кафедре, и она разлетелась в щепки, будто от удара молота.

— Вот, монсеньер, какого вы приобретаете слугу, какой мастер, творец несравненных произведений, станет вашим подъяремным волом.

— Сын мой,— ответил приор,— вы нехорошо поступили, разбив мою кафедру и легкомысленно осудив мою душу. Девица принадлежит аббатству, а не мне. Я лишь верный слуга, стоящий на страже прав и обычаев нашего славного монастыря. Прежде чем я разрешу, чтобы из лона сей жены рождались свободные дети, я обязан получить соизволение господа бога и аббатства. А с тех пор как стоит здесь монастырь, как находятся здесь монахи и крепостные, id est [1] с незапамятных времен, не было еще случая, чтоб горожанин стал крепостным аббатства, сочетавшись браком с крепостной крестьянкой. Итак, надлежит руководствоваться законом, подчиняться ему, опираться на него, дабы не ослабела его сила и не был бы он попран, ибо от сего проистекут тысячи бедствий; это важнее государству и аббатству, нежели все ваши дароносицы, сколь бы прекрасны они ни были, ибо у нас хватит казны для покупки драгоценностей, и никакие сокровища не в силах изменить наши обычаи и законы. Я взываю к господину дворцовому начальнику, который является свидетелем бесконечных трудов короля нашего, ежедневно борющегося за нерушимость своих повелений.

[1] То есть *(лат.)*.

— Это сказано, чтоб заткнуть мне рот,— промолвил придворный.

Мастер, который был весьма не силен в законах, пригорюнился. Тут вошла Тьенетта, сверкая, как серебряное блюдо, начисто протертое рачительной хозяйкой: волосы ей убрали красиво, надели на нее белое шерстяное платье с голубым поясом, изящные туфельки, белые чулки — словом, была она царственно прекрасна и столь благородна в обращении, что наш мастер совсем обомлел от восторга, и даже придворный признался, что никогда не видел такой совершенной красоты. Потом, рассудив, что бедняге Ансо ее лицезрение грозит всяческими опасностями, он поспешил увезти мастера в город и всю дорогу уговаривал хорошенько подумать о своем деле, ибо приор совсем не расположен отпустить такую приманку для ловли богатых горожан и вельмож из парижского садка. Так оно и случилось, капитул сообщил злосчастному влюбленному, что ежели он женится на Тьенетте, то должен будет отдать все свое состояние и свой дом в пользу аббатства и признать крепостными себя и будущих своих детей от сего брака. Но в виде особой милости приор оставлял Ансо его жилище при условии описи всего добра и уплаты ежегодной подати по особому обязательству. Кроме того, ежегодно в течение недели мастер должен был проживать в общей каморе, примыкающей к монастырским владениям, дабы подтвердить свое рабское состояние. Мастер, коему каждый встречный и поперечный твердил об упрямстве монахов, понял, что слово аббата непреклонно, и пришел в отчаяние. То он решал подпалить аббатство с четырех концов, то задумывал завлечь приора в какое-нибудь уединенное место и там мучить его до тех пор, пока приор не подпишет вольную Тьенетте,— словом, тысячи фантазий возникали у него и тут же улетучивались. Но после многих колебаний он решил похитить девицу и бежать с ней в безопасное место, где бы никто не мог его достать, и тогда принялся он за приготовления к побегу, рассуждая, что ежели он уедет за пределы королевства, то его друзья или же сам король лучше сумеют справиться с монахами. Не знал мэтр Ансо своего противника! Но вскорости изведал он, каков этот приор. Как-то раз, придя на поле, он не встретил там Тьенетты и узнал, что ее

держат в аббатстве под стражей, что для ее освобождения пришлось бы повести осаду монастыря. Тогда мэтр Ансо разразился жалобами, пенями и гневом. Горожане и жены их заговорили о сем происшествии, и по всему городу пошел такой шум, что сам король призвал старого приора и вопросил святого отца, почему он не желает прислушаться к голосу великой любви королевского золотых дел мастера и не следует в делах своих христианскому милосердию.

— Только по той причине, государь,— ответил аббат,— что все законы связаны меж собой, как звенья единой кольчуги, и ежели одно звено выпадает, рушится все. Если б оную девицу взяли у нас против нашей воли, не соблюдая обычая, то вскоре, пожалуй, подданные ваши снимут с вашей головы корону и поднимут по всей стране великие мятежи, дабы уничтожить лесные, дорожные и прочие пошлины, обременяющие народ.

Король прикусил язык. Все ожидали с нетерпением, чем же кончится эта история. И столь велико было общее любопытство, что многие дворяне бились об заклад, что туренец отречется от своей любви, а дамы настаивали на противоположном. Ансо слезно жаловался королеве, что монахи лишили его счастья видеть возлюбленную; ее величество нашла, что это жестоко и возмутительно, и на основании ее обращения к монсеньеру туренец получил разрешение ежедневно посещать приемную аббатства, куда приходила и Тьенетта, но всегда в сопровождении старого монаха. И всякий раз она появлялась в роскошном наряде, как знатная дама. Влюбленным позволяли лишь видеться и говорить друг с другом, они не могли даже украдкой обменяться поцелуем, меж тем любовь их все возрастала. Однажды Тьенетта сказала своему другу:

— Дорогой господин мой, я решила подарить вам мою жизнь, дабы избавить вас от неволи. И вот каким образом. Разузнав обо всем, я нашла способ, как искуснее обойти законы аббатства и дать вам все счастье, которое вы ожидаете от обладания мной. Судья церковного суда сообщил мне, что, поскольку вы не крепостной по рождению, а станете крепостным человеком путем брака, ваше рабство может прекратиться вместе с причиной, приведшей вас к рабству. Посему, если вы меня

любите больше всего на свете, как вы говорите, пожертвуйте вашим состоянием, чтобы купить наше счастье, и женитесь на мне. А когда вы насладитесь мной, сколько пожелаете, я, не дожидаясь потомства, сама наложу на себя руки, и вы станете вновь свободны. Таково ваше законное право, и на вашей стороне будет сам король, который, говорят, к вам весьма расположен. И, без всякого сомнения, бог простит меня, ибо я приму смерть ради того, чтобы освободить моего повелителя и супруга.

— Моя дорогая Тьенетта! — воскликнул Ансо.— Ни слова более, я стану крепостным, и ты будешь жить, и счастье мое продлится до конца дней моих. Никакие цепи не будут для меня слишком тяжелы, если ты будешь рядом со мной. Если не останется у меня ни единого собственного денье, что мне до того? Ведь есть у меня сокровище — твое сердце, и есть у меня единственное блаженство — твоя несравненная прелесть. Я вверяю себя покровительству святого Элуа, в надежде что он смилуется над нами в нашей беде и оградит нас от всяких зол. Итак, я сейчас направляюсь к стряпчему и поручу ему составление нужных бумаг и договоров. По крайней мере, бесценный цветок моей жизни, ты будешь прилично одета, будешь жить в хорошем доме, и служить тебе будут всю твою жизнь, как королеве, ибо господин приор оставляет в нашу пользу часть моих доходов.

Тьенетта, и плача и смеясь, оборонялась от своего счастья и желала умереть, дабы не доводить до неволи свободного человека, но мэтр Ансо шептал ей нежные речи, грозил последовать за любимой в могилу, и Тьенетта дала согласие на брак, решив, что всегда успеет убить себя, изведав сначала радости любви. Когда в городе разнесся слух о закрепощении туренца, расставшегося ради милой со своим состоянием и свободой, каждому захотелось посмотреть на него. Придворные дамы отбирали себе драгоценности без счета, лишь бы подольше побеседовать с мастером; в его мастерскую слетались целые стайки красивых женщин, как бы желая вознаградить его за долгие годы, когда он лишен был их общества. Но если иные могли сравняться с Тьенеттой красотою, ни одна из них не обладала ее сердцем. Наконец, видя, что близится час рабства и любви, Ансо расплавил

все свое золото и отлил из него корону, каковую украсил всеми имевшимися у него жемчугами и бриллиантами и, тайно явившись во дворец, передал ее королеве со словами:

— Ваше величество, я не знаю, кому доверить свое богатство,— вот оно. Завтра все, что найдут в моем доме, станет добычей проклятых монахов, не пожалевших меня. Соблаговолите принять сей золотой венец. Это слабая благодарность за радость лицезрения моей возлюбленной, испытанную по вашей милости, ибо никакие деньги не стоят единого ее взгляда. Я не знаю, что меня ждет, но ежели мои дети станут когда-нибудь свободны, я поручаю их вашему королевскому великодушию.

— Хорошо сказано, добрый человек,— ответил король.— Рано или поздно помощь моя понадобится аббатству, и тогда, поверь, я вспомню о тебе.

Несметная толпа собралась в аббатство на свадьбу Тьенетты, которой королева подарила подвенечный наряд, а король дал дозволение носить ежедневно золотые кольца в ушах. Когда прекрасная чета направилась из аббатства к церкви Сен-Ле и к дому Ансо, ставшего теперь рабом, люди в окнах зажигали факелы, чтобы лучше видеть новобрачных. По обе стороны улицы шпалерами стояла толпа, словно при въезде короля в город. Бедный муж выковал себе серебряный обруч и надел его на левую руку в знак своей принадлежности аббатству Сен-Жермен. И что же! Народ кричал сему новому рабу: «Слава, слава!» — будто новоявленному королю, и мэтр Ансо еле успевал раскланиваться, счастливый, влюбленный и весьма обрадованный похвалами, которые каждый воздавал красоте и скромности Тьенетты. Добрый туренец увидел, что ворота его жилища украшены зелеными ветвями и венками из васильков. Со всего квартала собрались именитые горожане, дабы чествовать его музыкой, все возглашали: «Вы всегда останетесь благородным человеком, наперекор аббатству». Можете быть уверены, что в этот день супруги показали себя достойными друг друга в самозабвенном поединке. Муж многократно одерживал победу, и его любимая отвечала ему в сражении, как оно и подобает здоровой крестьянской девице... И прожили они в веселии целый месяц, подобно голубкам, которые с первых дней вьют себе гнездо,

сбирая соломинку за соломинкой. Тьенетта рада была прекрасному своему жилищу и заказчикам, каковые стекались во множестве и уходили, обвороженные ею. По истечении медового месяца как-то раз прибыл к ним весьма торжественно их владелец и господин мудрый старый приор Гюгон и, войдя в дом, принадлежащий уже не мастеру Ансо, а капитулу, изрек следующее:

— Чада мои, отныне вы свободны, с вас сняты все долги и повинности. И я хочу сказать вам, что с первого же мига был я поражен великой любовью, соединившей ваши сердца. А затем, как только были признаны права аббатства, решил я про себя доставить вам полное счастье, после того как испытаю вашу веру в божий промысел. Раскрепощение это ничего не будет вам стоить.

И сказав так, он слегка похлопал супругов по щеке, они же упали на колени, плача от радости, что и не удивительно.

Туренец сообщил своим соседям о благословении и милостях доброго приора Гюгона, и люди со всего квартала высыпали на улицу. Затем мэтр Ансо с великим почетом проводил приора, ведя под уздцы его кобылу до самой заставы Бюсси. Во время этого шествия ювелир, захвативший с собой мешок с деньгами, разбрасывал монеты беднякам и калекам, восклицая: «Милость, милость божья! Да хранит бог приора, да здравствует монсеньер Гюгон!»

По возвращении домой Ансо угостил своих друзей. Он заново сыграл свадьбу, и пировали на ней целую неделю. Можно себе представить, что капитул, уже разинувший было пасть, дабы проглотить выгодную добычу, сурово укорял аббата за его милосердие. Год спустя, когда старичок Гюгон как-то занедужил, его духовник объявил ему, что сие есть небесная кара за то, что он предал священные права капитула и бога.

— Если я не ошибся в том человеке,— ответил аббат,— он не забудет своего обещания.

И впрямь, в тот день, случайно совпавший с годовщиной свадьбы мэтра Ансо, явился монах доложить, что ювелир просит своего благодетеля принять его. Мэтр Ансо вошел в зал, где находился приор, и вынул два чудесных ларца такой искусной выделки, что и поныне она

не превзойдена ни единым мастером во всем христианском мире. На обоих ларцах была надпись: «От человека, давшего обет настойчивости в любви». Два эти ларца находятся, как всякому известно, на главном алтаре аббатства, и все признают их бесценными сокровищами. Добавим, что ювелир пожертвовал на них все, чем располагал, но эти прекрасные творения не только не опустошили его кошелька, а наполнили его до краев, ибо еще больше увеличили его славу и доходы — настолько, что он мог купить себе дворянское звание, обширное поместье и положил начало фамилии Ансо, каковая была весьма почитаема в Турени.

Повествование это учит нас неизменно обращаться к святым и к богу в жизненных затруднениях и настойчиво добиваться того, что является добром. Неоспоримо, что истинная любовь надо всем торжествует,— изречение старое, но автор позволил себе привести его, потому что оно ему весьма по душе.

РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК БЕРТА И В ЗАМУЖЕСТВЕ ОСТАВАЛАСЬ ДЕВСТВЕННО-НЕПОРОЧНОЙ

Незадолго до первого побега его высочества дофина, причинившего немалое огорчение доброму государю нашему Карлу Победителю, в провинции Турень случилась беда в одной благородной семье, после того почти совсем угасшей,— посему весьма печальная сия история и может быть ныне обнародована. Да помогут автору в его труде святые исповедники, мученики и все силы небесные, кои по воле господней были зачинателями всего доброго в сем происшествии!

По складу своего характера мессир Эмбер де Батарне, один из знатнейших феодалов Турени, не питал никакого доверия к прекрасному полу, полагая, что женщина в силу самой своей природы нравом непостоянна, причудлива, и возможно, что он был прав. Как бы то ни было, упорствуя в этом мрачном убеждении, Батарне дожил до преклонного возраста без подруги, что отнюдь не шло ему на пользу. Человек одинокий, он не умел, да и не желал быть приятным ближнему; все свое время проводя в походах, он имел дело со всякими молодцами, с коими можно было ни в чем себя не стеснять. И потому он вечно ходил неопрятно одетый, потный и грязный под своими доспехами, с немытыми руками, а лицом смахивал на обезьяну; словом, в том, что касается наружности, был он самый безобразный мужчина

во всем христианском мире; но зато сердце, ум и все незримые свойства души были в нем достойны всяческой похвалы. Поверьте, долго пришлось бы странствовать по белу свету посланнику божию прежде, чем он нашел бы воина более стойкого, рыцаря, отличавшегося столь незапятнанной честью, более скупого на слова и более верного долгу, чем Эмбер де Батарне. Те, кому случалось беседовать с ним, утверждали, что он был мудрым в своих суждениях и мог всегда дать добрый совет. Уж не нарочно ли, не в насмешку ль над нами бог вкладывает в человека столько высоких качеств, наделив его отвратительной телесной оболочкой? Когда сеньору де Батарне минуло пятьдесят лет (а на вид можно было дать ему и все шестьдесят), он порешил обзавестись супругой, дабы иметь потомство. И вот, разузнавая, где бы ему найти подходящую для себя невесту, он услышал, как люди превозносят великие достоинства и совершенства одной девицы из дома Роганов, владевшего в ту пору поместьями в Турени; девицу сию звали Бертой.

Приехав в замок Монбазон взглянуть на нее, сеньор Эмбер, очарованный красотой, добродетелями и невинностью вышеназванной Берты Роган, воспылал столь сильным желанием обладать ею, что тут же решил взять ее себе в жены, полагая, что девица столь высокого происхождения никогда не изменит своему долгу. Брак этот был заключен незамедлительно, ибо Роган имел семь дочерей, и почтенный родитель не знал, как ему всех их пристроить в столь трудные времена, когда одни не слезали с коня в бранных походах, а другие старались наладить свои пошатнувшиеся дела. Женившись, сеньор Батарне сразу убедился в том, что Берта была невинной девой, а это свидетельствовало о хорошем воспитании, ею полученном, и о неусыпном материнском надзоре. С первой же ночи, когда Батарне заключил красавицу в свои объятия, он выполнял супружеские обязанности с усердием, и на исходе второго месяца после свадьбы узнал, к великой радости своей, что у жены его будет ребенок.

Дабы покончить с первой частью нашей истории, прибавим, что плодом сего законного союза оказался сын— тот самый Батарне, который стал позднее милостью короля Людовика XI герцогом, начальником двора, а за-

тем посланником короля в разных странах Европы и был весьма любим этим грозным государем, коему он оставался предан всей душой. Эту нерушимую верность Батарне-младший наследовал от отца, который с юных лет был крепко привязан к дофину, разделял с ним все превратности его жизни, даже участвовал в его мятежах и был ему столь надежным другом, что по одному слову его согласился бы распять Иисуса Христа; редко вблизи государей и сильных мира сего произрастает цветок такой дружбы.

С первого же дня замужества прекрасная Берта вела себя столь безупречно, что в совместной с нею жизни рассеялись густой туман и черные тучи, омрачавшие в душе сеньора Батарне сияние женской славы. И вот, как то нередко бывает с безбожниками, он в единый миг перешел от неверия к беспредельной вере и предоставил вышеназванной Берте всем распоряжаться в доме, сделал ее полновластной своей госпожой, всесильной владычицей, блюстительницей его чести, хранительницей его почтенных седин и, не задумываясь, сразил бы на месте всякого, кто дерзнул бы сказать хоть одно дурное слово об этом зерцале добродетели, ни в малой мере не замутненном дыханием порока, ибо свежих губок жены касались лишь поблекшие уста законного супруга.

Дабы ни в чем не погрешить против истины, скажем, что благоразумию Берты сильно помогло рождение младенца; денно и нощно, в продолжении шести лет, его усердно пестовала прелестная мать; сама выкормила своего сына, вся растворялась в любви к нему, и он как будто заменял ей любовника. Сладостно было ей терпеть, когда младенец крепко кусал ее нежную грудь, сладостно было отдавать ему все свои помыслы. Юная мать не знала иных поцелуев и ласк, кроме прикосновения его розовых губок и крохотных ручонок, пробегавших по ней, словно лапки веселых мышат. Не читала она книг, а читала взоры его милых, ясных глазок, отражавших в себе лазурь небес, не слушала иной музыки, кроме его ребячьих криков, звучавших для нее ангельским пением. Вечно ласкала она и миловала свое дитя, целовала его с утра до вечера и, говорят, даже вставала по ночам, чтобы пожирать его неуемными поцелуями, превращалась с ним порою сама в малое дитя, воспитывала его по всем пра-

вилам прекрасной религии материнства — словом, вела себя, как самая лучшая и счастливейшая мать на свете, не в обиду будь сказано пресвятой деве Марии, коей не требовалось особых усилий для того, чтобы хорошо воспитать нашего спасителя, поскольку он был богом.

Неустанные заботы о ребенке и малая склонность Берты к выполнению брачных обязанностей были весьма на руку престарелому Батарне, который не мог быть особенно щедрым на пиршествах любви и старался бережливо расходовать свои силы в чаянии дождаться второго ребенка.

По прошествии шести лет матери пришлось передать сына на попечение оруженосцев и других лиц, коим сеньор Батарне поручил дать надлежащее воспитание своему наследнику, чтобы вместе со славным именем и земельными владениями мальчик унаследовал все добродетели, благородство, силу духа и отвагу своего рода.

Много слез пролила Берта, у коей отняли ее счастье. Для любвеобильного сердца матери отдать горячо любимого сына в чужие руки и видеть его близ себя всего лишь несколько быстротечных часов значило не иметь его вовсе. И Берта впала в глубокую грусть. Слыша сетования ее и слезы, добрый супруг стремился подарить ей другого ребенка, но усилия его были тщетны и доставляли лишь огорчения бедной Берте, ибо, говорила она, зачинать ребенка — пренеприятное дело и обходится ей очень дорого. Что и было сущей правдой, или уж нет правды ни в одном учении, и надобно сжечь все священное писание, как сплошную ложь, если не давать веры простосердечным словам Берты. Но коль скоро для многих женщин (о мужчинах я не говорю, их учить не приходится) подобные речи могли бы показаться фальшью, автор постарался вскрыть тайные причины сей странности,— я разумею отвращение Берты к тем радостям, которые дамы любят более всего на свете; причем отсутствие любовных утех ничуть Берту не старило и не причиняло ей никаких душевных мук.

Ну, скажите, где еще найдете вы сочинителя, который бы так любил женщин и так жаждал угодить им, как я? Клянусь честью, не найдете нигде! Да, я любил их очень сильно, хоть и не столько, сколько мне бы того хотелось, ибо чаще я держу в руках гусиное перо, чем

Бледная и полная достоинства, произнесла Берта эти трогательные слова, а затем взяла дитя свое за руку и вышла из дому, одетая в глубокий траур и ослепительно прекрасная, прекраснее Агари...

«РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ»

Сын Жеана лежал на столе, и жизнь еле теплилась в нем Собрав последние силы, он обнял мать и громким голосом воскликнул:

— Матушка, мы рассчитались с ним!

«РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ»

щекочу своими усами женские губки, чтобы заставить их смеяться и невинно болтать в полном со мной согласии. Вот какие дела!

Старик Батарне вовсе не был человеком испорченным, каким-нибудь распутником, знатоком всяких тонкостей. Ему было все равно, как убить своего противника, лишь бы убить, и, схватившись с ним в честном бою, он, ни слова не говоря, разил его, с какой стороны придется. Беспечности в делах смерти соответствовало безразличие Батарне к делам рождения и жизни, к способам изготовления ребенка в заманчивой, хорошо вам известной печи. Храброму вояке были неведомы тысячи разных повадок в любовных делах, сладостная канитель, милые шуточки, прибауточки, расспросы, допросы, колдовство первых ласк — тонкие охапки хвороста, которые подбрасывают в огонь, дабы он сильнее разгорелся, охватывая благоуханные ветки, подобранные прутик за прутиком в ветрограде любви,— пустячки, безделки, милый лепет, нежности и веселые забавы, лакомства, которые с такой жадностью съедают вдвоем, облизываясь по-кошачьи от удовольствия, словом, всякие затеи и ухищрения, которые распутники знают, а влюбленные изобретают и которые для дам дороже спасения души, ибо в природе женщины так много кошачьего! Это проявляется с полной очевидностью в женских нравах и обычаях. Если вы имеете склонность наблюдать повадки представительниц прекрасного пола, приглядитесь хорошенько, как они едят. Ни одна женщина — я говорю о женщинах благородных и хорошо воспитанных — никогда не будет кромсать, как попало, ножом мясо и торопливо жевать его, как это делает грубый мужчина. Нет, она будет ковырять-ся в кушанье, будет старательно выискивать и отбирать самые лакомые крошки, она будет лизать соуса и отбрасывать большие куски, будет играть своим ножом и ложкой с таким видом, словно ест поневоле, только в силу судебного приговора,— до того не любят женщины ходить напрямик, предпочитая в каждом деле извилистые, обходные пути, хитрости и жеманство. Такова уж природа сих созданий, и в ней ищите объяснение, почему сыны Адама сходят по ним с ума: ведь женщины все делают по-своему, не так, как мужчины, и делают, право, неплохо. Вы согласны со мной? Отлично, вашу руку!

Итак, старый вояка Эмбер де Батарне, полный невежда в любовной игре, ворвался в прекрасный сад, именуемый садом Венеры, как врываются в крепость, взятую штурмом, не обращая никакого внимания на вопли и слезы ее обитателей, и заронил в этот сад семя жизни, как во мраке ночи пустил бы наугад стрелу из арбалета. Прелестная Берта не привыкла к столь грубому обращению (Дитя! Ей минуло всего пятнадцать лет!) и решила, в простоте и невинности души своей, что к счастью материнства ведет страшный, мучительный и трудный путь. В минуты тяжкого сего испытания она взывала к богу о помощи и твердила про себя молитвы деве Марии, находя удел ее весьма завидным, ибо пречистой приходилось терпеть одного только голубка. Так, не видя в брачных отношениях ничего, кроме докуки, Берта никогда не искала сама близости со своим супругом. А поскольку старик Батарне, как уже говорилось выше, не был особенно силен, то она и жила в одиночестве, как монахиня. Терпеть не могла она мужского общества и совсем не подозревала, что создатель мира сего вложил столько упоительной радости в то, что доставляло ей лишь бесконечные страдания.

Тем сильнее любила она своего малютку, стоившего ей так дорого до появления своего на свет. И нас нисколько не должно удивлять, что Берта страшилась тех увлекательных турниров, где не всадник лошадью, а лошадь всадником управляет с таким разумением, ведет его, и утомляет, и гневается, ежели он споткнется. Судя по рассказам старых людей, именно здесь надо искать разгадку многих несчастных браков и достоверное объяснение безрассудных выходок многих женщин, которые, догадавшись на склоне лет, что были всю жизнь обмануты, и желая вознаградить себя за упущенное, силятся в один день пережить больше, чем может он вместить. Разве это не философия, друзья мои? Изучите же хорошенько сию страничку, дабы рачительно и мудро руководить своими женами, подругами и любыми женщинами, коих нежданный случай отдаст под ваше попечение и охрану — от чего да хранит вас всевышний!..

Оставаясь, несмотря на свое материнство, девственно-непорочной, Берта в возрасте двадцати одного года была украшением замка, славой своего доброго супруга и

гордостью всей Турени. Для Батарне было истинным наслаждением смотреть, как эта девочка ходит взад и вперед по дому, гибкая, словно веточка ивы, проворная, как рыбка, наивная, как ее малыш, и вместе с тем такая разумная и рассудительная, что супруг шагу не ступал без ее совета; и впрямь, если природный разум сих небесных созданий ничем не замутнен, он подобен прозрачному хрусталю, который, чуть к нему прикоснутся, издает ясный, чистый звук.

Итак, Берта, о коей у нас идет речь, жила в замке своего супруга, близ города Лош, и не ведала никаких забот, кроме разных хлопот по хозяйству, следуя в этом старинному обычаю добродетельных жен, от коего отступили наши дамы с того времени, как явились во Францию королева Екатерина и итальянцы, превеликие любители пышных празднеств. Обычаев их придерживался также король Франции, именуемый Франциском Первым, и его преемники, чьи сумасбродства были не менее пагубны для французского государства, чем зловредные дела церковников. Впрочем, это меня не касается.

Случилось так, что супруги Батарне приглашены были королем в город Лош, где Карл VII находился тогда со своим двором, до коего уже донеслась молва о красоте молодой жены сеньера Батарне. При дворе Берта была встречена любезными похвалами короля и стала сразу предметом поклонения и молодых людей, с восхищением взиравших на это дивное яблочко любви, и старцев, согревавшихся в лучах этого солнца. Да будет вам известно, что все, и стар и млад, охотно претерпели бы тысячу смертей ради обладания этой красотой, сулившей несравненные любовные радости, ослеплявшей глаза и помрачавшей разум! Имя Берты повторялось в Лоше чаще, чем в священном писании упоминается имя божье, и несметное множество дам, не столь щедро одаренных приятными достоинствами, бесились от зависти; каждая готова была бы подарить десять ночей самому уродливому мужчине, лишь бы поскорее возвратилась в свой замок красавица, возбуждавшая всеобщий восторг.

И вот одна молодая дама, прекрасно видя, что друг ее без ума от Берты, преисполнилась великой досады, от чего позднее проистекли все несчастья жены сеньера Батарне; но отсюда же пришло и ее блаженство — откры-

тие неведомых ей дотоле заманчивых стран любви. У вероломной дамы был юный родственник, который сразу признался ей, лишь только увидел Берту, в своем страстном желании обладать ею, говоря, что согласился бы умереть за один месяц такого счастья. Заметьте, что юноша отличался совсем девической красотой, на подбородке его еще не пробивалось ни единого волоска, а голос его был столь мелодичен, что, если бы случилось ему молить о пощаде, даже лютый враг сжалился бы над ним; юноше этому едва минуло двадцать лет.

— Милый кузен,— сказала ему дама,— покиньте залу и отправляйтесь домой, а я приложу все старания, чтоб доставить вам желанное счастье. Только смотрите, не показывайтесь на глаза ни вашей фее, ни ее повелителю — безобразному павиану, коего по ошибке природы причислили к христианскому миру.

Прекрасный юноша удалился, а коварная дама пошла вертеться как лиса подле Берты, называя ее «мой дружок», «мое сокровище», «звезда красоты», стараясь на тысячи ладов угодить ей и тем вернее отомстить бедняжке, которая, сама того не ведая, отторгла от этой дамы сердце ее возлюбленного, а для женщин честолюбивых это самая тяжкая обида. Побеседовав с Бертой, упомянутая дама стала подозревать, что бедняжка осталась истой девственницей в любви: глаза ее были прозрачней кристально-чистого ручейка, на лбу и на висках не было ни единой морщинки, а на кончике изящного белоснежного носика нельзя было подметить ни одной черной точечки, каковые обычно появляются у женщин, изведавших любовные треволнения,— словом, ни малейшего следа знакомства с любовью нельзя было обнаружить на личике Берты, ясном, как у невинной девы. Тогда предательница задала Берте несколько чисто женских вопросов и из ответов красавицы сразу уразумела, что, хотя она и познала материнство, наслаждения любви ей остались неведомы; и хитрая женщина порадовалась за своего кузена.

Она рассказала Берте, что в городе Лош находится сейчас молодая девушка из благородного семейства Роганов, которая нуждается в помощи какой-нибудь уважаемой дамы, чтобы добиться примирения с сеньором Луи де Роганом; она сказала, что если Берта, божьей мило-

стью, столь же добра, сколь прекрасна, она должна взять эту девицу с собою в замок и, убедившись в ее добронравии, помочь ей сломить упрямство сеньора де Рогана, который отказывается принять ее обратно в свой дом. И Берта безо всякого колебания согласилась помочь девице, ибо уже слыхала о злоключениях бедняжки Сильвии Роган, но была незнакома с нею и полагала, что она живет в чужих краях.

Здесь надобно пояснить, почему Карл VII устроил празднество в честь Батарне. Дело в том, что король, подозревая о замысле дофина бежать в Бургундию, возымел желание отнять у него столь ценного советника, каким был Батарне. Однако старик, верный монсеньеру Людовику, уже успел втихомолку все подготовить к его отъезду.

Итак, сеньор Батарне повез Берту обратно в свой замок; тут она сказала, что захватила с собой из Лоша подругу, и представила ее мужу. Это был вышеупомянутый юноша, переодетый девицей стараниями своей кузины, ревновавшей к Берте и желавшей ее погубить в отместку за ее совершенства. Старик Батарне нахмурился, узнав, что речь идет о Сильвии де Роган, но затем, растроганный добротою Берты, даже похвалил ее за намерение помочь сей заблудшей овечке вернуться в лоно семьи.

Простившись хорошенько в последнюю ночь со своею доброй супругой, Батарне оставил в замке вооруженную стражу и отбыл затем с дофином в Бургундию, даже и в мыслях не имея, что у себя в доме он приютил злейшего своего врага.

Лицо юного красавчика было сеньору Батарне незнакомо, ибо то был паж, появившийся совсем недавно при королевском дворе и служивший бакалавром у графа Дюнуа. Старик Батарне, уверенный, что перед ним девица, нашел ее весьма почтительной и робкой: ведь юноша, опасаясь, чтобы его не выдали страстные взгляды, все время держал глаза опущенными долу; когда же на губах своих он ощутил поцелуй Берты, то, испугавшись, как бы юбка не выдала его, поспешно отошел к окну, объятый ужасом при мысли, что Батарне признает в нем мужчину и он будет убит раньше, чем насладится любовью своей милой. Словом, он был несказанно рад (как был

бы рад всякий влюбленный на его месте), когда решетка в воротах опустилась и старый сеньор тронулся в путь на своем коне и исчез в полях. За день юноша натерпелся такого страха, что тут же дал обет воздвигнуть на свои средства колонну в Турском соборе за избавление от опасности, с коей было сопряжено его безумное предприятие. И правда, он пожертвовал целых пятьдесят марок серебром, чтобы отблагодарить бога за свое счастье. Но случилось так, что благодарность он принес не богу, а дьяволу, как то будет видно из дальнейших событий, ежели только рассказ пришелся вам по вкусу и вы пожелаете следить дальше за нитью повествования, которое будет сжатым, каким и должна быть всякая хорошая речь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О РАДОСТЯХ И ГОРЕСТЯХ БЕРТЫ, ПОЗНАВШЕЙ ТАЙНЫ ЛЮБВИ

Упомянутый выше бакалавр звался Жеан де Саше и приходился двоюродным братом графу де Монморанси, к которому после смерти Жеана и перешли, согласно закону наследования, все земельные владения де Саше; Жеану было двадцать лет от роду, и он пылал всем жаром молодости. Представьте же, как трудно ему пришлось с первого дня его пребывания в замке!

Пока старик Эмбер ехал на своем коне по полям, все больше удаляясь от замка, кузины пристроились на вышке дозорной башни, чтобы дольше его видеть, и посылали ему оттуда тысячи прощальных приветов. Когда же облако пыли, поднятое конями, исчезло вдали, они спустились и прошли в залу.

— Что же мы будем делать, прекрасная кузина? — спросила Берта мнимую Сильвию.— Вы любите музыку? Хотите, сыграем что-нибудь вдвоем или споем какую-нибудь песенку, сложенную в старину менестрелем? Хорошо? Вы согласны? Так пойдемте к моему органу. Сделайте это для меня. Давайте петь!

Взяв Жеана за руку, она повела его к органу, и юный приятель Берты сел за клавиши с чисто женской грацией.

— Ах, милая кузина! — воскликнула Берта, когда,

взяв несколько аккордов, бакалавр повернул к ней голову, приглашая ее петь вместе.— Ах, милая кузина, взгляд ваших глаз обладает дивной силой и, не знаю почему, волнует меня до глубины души.

— О кузина,— отвечала коварная Сильвия,— ведь это как раз и погубило меня! Один прекрасный юноша, лорд из заморской страны, сказал мне однажды, что у меня красивые глаза, и стал так страстно их целовать, и поцелуи его показались мне столь сладостными, что я не в силах была противиться...

— Кузина, значит, любовь передается через глаза?

— Да, это — кузница, где купидон кует свои стрелы, моя милая Берта,— ответил ее обожатель, меча своими взорами огонь и пламя.

— Давайте петь, кузина!

Тут они запели, по выбору Жеана, тенсону Кристины Пизанской, где от первого до последнего слова все дышало любовной страстью.

— Ах, кузина, как сильно и как глубоко звучит ваш голос! Слушая вас, я вся замираю и трепещу.

— Где же вы ощущаете этот трепет? — спросила мнимая Сильвия.

— Вот здесь,—отвечала Берта, указывая на свою диафрагму, до коей любовные созвучия доходят еще лучше, чем до ушей, ибо диафрагма лежит ближе к сердцу и к тому, что может быть, вне всякого сомнения, названо первым мозгом, вторым сердцем и третьим ухом женщины. Поверьте, что я говорю с самым добрым намерением, имея в виду женскую природу и ничего более.

— Бросим пение,— молвила Берта,— оно меня чересчур волнует; лучше сядемте у окна и будем заниматься до вечера рукоделием.

— О милая Берта, сестра души моей! Я совсем не умею держать в пальцах иголку: я привыкла себе на погибель пользоваться руками для иных дел!

— Но чем же вы тогда весь день занимались?

— О! Меня нес по течению мощный поток любви, превращающий дни в мгновения, месяцы — в дни, а годы — в месяцы. И ежели бы это длилось вечно, я проглотила бы, как сочную ягоду, даже самую вечность, ибо в любви все свежо и благоуханно, все полно сладости и бесконечного очарования.

Тут приятельница Берты, опустив свои прекрасные глаза, задумалась, и уныние отобразилось на ее лице, словно у женщины, покинутой своим возлюбленным: она грустит о неверном и готова простить ему все измены, лишь бы сердце его пожелало вернуться к той, что была еще недавно предметом его обожания.

— Скажите, кузина, а в браке может возникнуть любовь?

— О нет,— отвечала Сильвия,— ведь в браке все подчиняется долгу, тогда как в любви все делается по свободной прихоти сердца, что как раз и придает особую сладость ласкам, этим благоуханным цветам любви.

— Кузина, оставим такой разговор, он приводит меня в смятение еще больше, чем музыка.

И, поспешно позвав слугу, Берта велела ему привести сына. Мальчик вошел, и Сильвия, увидя его, воскликнула:

— Ах, какая прелесть! Настоящий амур!

И она нежно поцеловала ребенка в лоб.

— Иди ко мне, мое милое дитя,— сказала мать, когда мальчик, подбежав, забрался к ней на колени.— Иди ко мне, моя радость, блаженство мое, единственное мое счастье, чистая жемчужинка, бесценное мое сокровище, венец моей жизни, зорька утренняя и вечерняя, мое сердечко, единственная страсть души моей! Дай мне твои пальчики — я их скушаю; дай мне ушки твои, я хочу легонько их укусить; дай головку твою — я поцелую твои волосики. Будь счастлив, мой цветик родненький, коли хочешь, чтоб я была счастлива!

— О кузина,— молвила Сильвия,— вы говорите с ним на языке любви.

— Разве любовь — дитя?

— Да, кузина, древние всегда изображали любовь в образе прекрасного ребенка.

В подобных разговорах, в которых уже зрела любовь, и в играх с ребенком прелестные кузины провели время до ужина.

— А вы не хотели бы иметь еще ребенка? — шепнул Жеан кузине в подходящую минуту на ушко, слегка коснувшись его горячими своми губами.

— О Сильвия, конечно, хотела бы! Я согласилась бы сто лет мучиться в аду, лишь бы господь бог даровал

мне эту радость! Но, несмотря на все труды, усилия и старания моего супруга, для меня весьма тягостные, мой стан ничуть не полнеет. Увы! Иметь только одного ребенка — это ведь почти то же самое, что не иметь ни одного! Чуть послышится в замке крик, я сама не своя от страха, я боюсь и людей и животных, дрожа за это невинное, дорогое мне существо; меня пугает и бег коней, и взмахи рапиры, и все ратные упражнения — словом, решительно все! Я совсем не живу для себя, я живу только им одним. И мне даже нравятся все эти заботы, ибо я знаю, что, пока я тревожусь, мой сыночек будет жив и здоров. Я молюсь святым и апостолам только о нем! Но, чтобы долго не говорить,— а я могла бы говорить о нем до завтра! — скажу просто, что каждое мое дыхание принадлежит не мне, а ему.

С этими словами Берта прижала малютку к своей груди так, как умеют прижимать к себе детей только матери,— с той силой чувства, которая, кажется, способна раздавить собственное сердце матери, но ребенку нисколько не причиняет боли. Коли вы сомневаетесь, поглядите на кошку, когда она несет в зубах своих детенышей; никто ведь этому не удивляется.

Юный друг Берты, дотоле сомневавшийся, хорошо ли он сделает, вторгнувшись на заброшенное, но влекущее своей красою поле, теперь совсем успокоился. Он подумал, что отнюдь не погрешит против заповедей божьих, если завоюет для любви эту душу. И он был прав.

Вечером Берта, следуя старинному обычаю, от которого отказались дамы наших дней, пригласила свою кузину лечь вместе с нею в ее просторную супружескую кровать. Сильвия, как и подобало девице воспитанной и благородной, любезно ответила, что это будет для нее большою честью.

И вот, когда в замке прозвучал сигнал ко сну, обе кузины пошли в опочивальню, богато убранную коврами и красивыми тканями, и Берта стала с помощью служанок понемногу разоблачаться. Заметьте, что Сильвия, покраснев до ушей, стыдливо запретила кому-либо касаться ее и пояснила кузине, что она, мол, привыкла раздеваться совсем одна с той поры, как ей не услуживает возлюбленный, ибо после ласковых его прикосновений ей стали неприятны женские руки, и что все эти приго-

товления ко сну приводят ей на память нежные слова и милые шалости, которые выдумывал ее друг при раздевании и которыми она тешилась себе на погибель.

Такие речи весьма удивили Берту, и она предоставила кузине читать вечерние молитвы, лежа под пологом на кровати, куда наш юноша, весь объятый любовным пылом, поспешил поскорее юркнуть, радуясь, что мог подглядеть мимоходом дивные прелести хозяйки замка, столь наивной и неиспорченной.

Берта, полагая, что подруга ее замужняя женщина, ни в чем не нарушила своих привычек: она вымыла себе ноги, ничуть не заботясь, видны ли они до колен или выше, обнажила свои нежные плечи и делала вообще все, что делают дамы перед отходом ко сну. Наконец, она подошла к постели, удобно в ней протянулась и, поцеловав на прощание свою кузину в губы, удивилась, как они горячи.

— Не больны ли вы, Сильвия? У вас, по-моему, жар!

— Я всегда так горю, когда ложусь спать,— ответил Жеан.— В этот час мне вспоминаются упоительные ласки, которые выдумывал мой друг, желая доставить мне удовольствие, и которые заставляли меня пылать еще сильнее.

— Ах, кузина, расскажите мне что-нибудь о *нем!* Поведайте обо всем, что есть в любви хорошего, поведайте той, кто живет под сенью стариковских седин, охраняющих своими снегами от пыла страстей. Расскажите об этом: ведь вы теперь исцелились от любовного недуга; мне ваш рассказ пойдет лишь на пользу, и злоключения ваши послужат спасительным уроком для нас обеих, несчастных женщин.

— Не знаю, следует ли мне послушаться вас, дорогая кузина,— ответил юноша.

— Но почему же вы сомневаетесь?

— Ах! Потому что лучше делать, чем говорить! —отвечала Сильвия, испустив тяжкий вздох, похожий на басовую ноту органа.— Кроме того, боюсь, что мой лорд слишком щедро одарил меня любовными радостями, и даже крохотной частицы их, которую я вам передам, будет вполне достаточно, чтобы подарить вам дочку, а во мне то, от чего родятся дети, на время ослабеет...

— Скажите по совести,— молвила Берта,— а это не будет грехом?

— Напротив, это будет праздником и здесь и на небесах; ангелы прольют на нас свои благоухания и будут услаждать нас райской музыкой.

— Расскажите ясней, кузина,— попросила Берта.

— Если вы желаете знать,— вот как одарял меня радостями мой прекрасный друг!

С этими словами Жеан, в порыве нахлынувшей страсти, заключил Берту в свои объятия; озаренная светильником, в белоснежных своих покрывалах, она была на этом греховном ложе прекрасней свадебной лилии, раскрывающей свои девственно белые лепестки.

— Обнимая меня так, как я сейчас обнимаю вас,— продолжал юноша,— он говорил мне голосом более нежным, чем мой: «О Сильвия, ты вечная любовь моя, бесценное мое сокровище, радость дней и ночей моих; ты светлее белого дня, ты милее всего на свете; я люблю тебя больше бога и готов претерпеть за тебя тысячу смертей. Умоляю тебя, подари мне блаженство!» И он целовал меня, но не так грубо, как целуют мужья, а нежно, как голубь целует свою голубку.

И тут же, чтобы показать, насколько лучше лобзают любовники, юноша прильнул поцелуем к устам Берты, пока не выпил с них весь мед; он научил ее, что своим изящным, розовым, как у кошки, язычком она может многое сказать сердцу, не произнося ни слова; затем, воспламеняясь все более и более от этой игры, Жеан перенес огонь своих поцелуев с губ на шею, а от шеи к самым прекрасным плодам, которыми женщина когда-либо вскормила своего младенца. И тот, кто не поступил бы точно так же, очутясь на его месте, мог бы по праву считать себя глупцом.

— Ах! — вздохнула Берта, без ведома своего уже охваченная любовью.— Вы правы. Я согласна: так гораздо приятнее... Надо будет рассказать об этом Эмберу.

— В своем ли вы уме, дорогая кузина? Не говорите ничего вашему старому мужу, он все равно не может сделать свои руки, грубые, будто прачечный валек, такими мягкими и приятными, как мои, а его седая, колючая борода будет лишь оскорблять своим прикосновением этот источник всех наслаждений, эту розу, где таятся

все наши помыслы, наше счастье и благополучие, вся любовь наша и вся судьба. Знаете ли вы, что живой цветок требует, чтобы его лелеяли, а не сокрушали, словно катапультой? Я покажу вам сейчас, как нежно обращался со мною англичанин, которого я любила.

И, говоря так, прелестный друг Берты, набравшись храбрости, затеял такую жаркую перестрелку, что бедняжка Берта воскликнула в непорочности души своей:

— О кузина, ангелы прилетели к нам! Пение их так прекрасно, что у меня не хватает силы ему внимать, а потоки света, которые они излучают, так ярки, что глаза мои закрываются...

И в самом деле Берта изнемогла под бременем любовных восторгов, звучавших в ней, как самые высокие ноты органа, сиявших, как самая великолепная заря, разливавшихся по ее жилам, как тончайший мускус; они разрешили в ней все узы жизни, чтобы дать жизнь плоду любви, возникающему в материнском лоне при столь бурном волнении, с которым ничто на свете сравниться не может. Берте казалось, что она вознеслась на небеса, до того было ей хорошо; очнувшись от райского сна в объятиях Жеана, она воскликнула:

— Ах, зачем я вышла замуж не в Англии!

— О прекрасная моя повелительница,— сказал Жеан, никогда еще не знавший такого блаженства,— ты соединилась со мной во Франции, где умеют любить еще лучше; ведь я — мужчина, и я отдал бы за тебя тысячу жизней, если бы их имел!

Тут бедная Берта испустила такой страшный крик, что от него содрогнулись стены, и соскочила с кровати, стремительная, как саранча из египетских казней. Упав на колени перед аналоем, она молитвенно сложила руки и заплакала, проливая столь обильные потоки жемчужных слез, каких не проливала и Мария Магдалина.

— О, горе мне! — вскричала она.— Я обманута дьяволом, принявшим облик ангела! Я погибла, ведь я отлично знаю, что стану матерью и произведу на свет прекрасное дитя, но я виновата не более, чем была виновата ты, дева Мария. Вымоли же мне прощение у бога, ежели мне не будет прощения на земле от людей, или пошли мне скорую смерть, чтобы мне не пришлось краснеть перед моим супругом и повелителем!

Услышав, что Берта не сказала ничего дурного о нем, и сильно озадаченный горьким ее раскаянием после столь упоительных игр любви, Жеан поднялся с кровати; но лишь только Берта услыхала, что ее архангел Гавриил зашевелился, она тотчас вскочила на ноги и обратила к нему свое заплаканное лицо и глаза, пылавшие священным гневом, что делало их еще прекраснее.

— Если вы приблизитесь на один только шаг ко мне,— воскликнула она,— я сейчас же лишу себя жизни!

И она схватила кинжал. Тогда Жеан, у которого разрывалось сердце при виде ее страданий, воскликнул:

— Не тебе, а мне надобно умереть, дорогая, прекрасная моя подруга, которую я люблю так, как никто и никогда не будет любить ни одну женщину в мире.

— Если б вы и вправду так сильно меня любили, то не стали бы причинять мне столько страданий,— ведь я готова скорей умереть, чем навлечь на себя упреки своего супруга.

— Вы готовы умереть? — спросил Жеан.

— Да, конечно! — отвечала она.

— Но если я сам нанесу себе тысячу ран и погибну здесь, вы получите прощение от мужа. Вы скажете ему, что защищались от покушения на вашу добродетель и, охраняя супружескую честь, убили того, кто вас обманул. А для меня будет величайшим счастьем умереть за вас, раз вы отказываетесь жить для меня.

Слыша эти трогательные речи и видя на глазах у юноши слезы, Берта уронила кинжал, а Жеан в тот же миг схватил его и вонзил себе в грудь, восклицая:

— За такое счастье не жаль заплатить жизнью!

И он упал замертво.

В великом смятении Берта крикнула служанку. Та пришла и тоже страшно перепугалась, увидя в покоях своей госпожи какого-то незнакомца, обливающегося кровью, и слыша, как, поддерживая его, госпожа воскликала: «Ах, что вы, друг мой, наделали!» — ибо Берта считала Жеана мертвым и, вспоминая о несравнимом ни с чем блаженстве, ею испытанном, думала о том, как прекрасен был Жеан, если все, в том числе и Батарне, принимали его за юную деву. В отчаянии она все рассказала служанке, плача и жалуясь, что теперь у нее на душе будет не только жизнь ребенка, но и смерть отца.

Услыша такие слова, несчастный юноша попытался открыть глаза, но тщетно: блеснули на мгновение лишь узкие полоски белков.

— Сударыня, не надо плакать! Не будем терять рассудок от горя,— молвила служанка.— Подумаем лучше, как спасти этого прекрасного рыцаря. Вот что, я сбегаю сейчас за Фалоттой, чтобы не посвящать в вашу тайну никакого лекаря или врача. Фалотта — колдунья, и в угоду вам она будет рада совершить чудо: старуха так хорошо залечит эту рану, что и следа от нее не останется!

— Беги! — сказала Берта.— Я отблагодарю тебя за твое усердие. Проси, чего хочешь.

Но прежде всего госпожа и служанка решили, никому ничего не говоря о происшедшем, укрыть Жеана от посторонних глаз. Служанка отправилась тут же, ночью, за Фалоттой, и Берта сама проводила ее до потайного хода, потому что страже было запрещено поднимать решетку без особого распоряжения госпожи. Вернувшись в опочивальню, Берта нашла своего прекрасного друга без сознания от потери крови, которая, не переставая, текла из его раны. Тут Берта склонилась к нему и коснулась устами кровавой струйки, думая о том, что Жеан пролил свою кровь ради нее.

Охваченная глубоким волнением пред лицом столь великой любви и страхом за жизнь милого юноши, вестника наслаждений, Берта поцеловала его и перевязала рану, омывая ее слезами, умоляя Жеана не умирать и обещая горячо любить его, лишь бы он остался жив. Заметьте, что, видя огромную разницу между стройным, безбородым, цветущим юношей и волосатым, желтым, морщинистым стариком Эмбером, хозяйка замка все больше опьянялась любовью. При сравнении этом ей снова и снова вспоминались только что пережитые восторги любви. И от этих воспоминаний поцелуи ее становились столь сладостными, что к Жеану вернулось сознание, взгляд его прояснился, он уже мог различать Берту и слабым голосом попросил у нее прощения. Но она запретила раненому разговаривать, пока не придет Фалотта. Все это время они только молча смотрели друг на друга, и хотя в глазах Берты светилось лишь сострадание, при подобных обстоятельствах сострадание весьма схоже с любовью.

Горбунью Фалотту называли ведьмой и сильно подозревали, что она летает на шабаш верхом на помеле, как это водится у ведьм. Иные даже собственными своими глазами видели, как она седлает помело в своей конюшне, а конюшней ведьмам, как известно, служит дымовая труба. Сказать правду, Фалотта знала многие тайные средства и умела оказывать в некоторых случаях столь важные услуги и дамам и кавалерам, что могла в полном спокойствии доживать свой век, зная, что помирать она будет не на охапке соломы, а на пуховой перине, ибо она накопила уйму денег, на зависть всем лекарям, утверждавшим, что она торгует ядами,— что и было, как вы увидите из дальнейшего, сущей правдой.

Служанка и Фалотта, усевшись вдвоем на одну лошадь, так торопились, что день едва еще брезжил, когда они прибыли в замок. Войдя в спальню госпожи, старая колдунья спросила:

— Ну что у вас стряслось, дети мои?

Таково было всегдашнее, несколько грубоватое обращение старухи с большими людьми, которые в ее глазах оставались малыми ребятами. Нацепив свои очки, она весьма умело осмотрела рану и сказала:

— Экая прекрасная кровь! Вы, моя милая, сами ее отведали. Все пойдет на лад, кровь вышла наружу.

И она стала омывать мягкой губкой рану на глазах у госпожи и служанки, затаивших дух от волнения. Затем она важно заявила, что молодой человек не умрет от этой раны, но, поглядев на его ладонь, прибавила, что ему суждено погибнуть насильственной смертью как раз из-за того, что произошло этой ночью. Приговор колдуньи поверг в ужас Берту и ее служанку. Фалотта предписала все необходимые средства для лечения и обещала на следующую ночь прийти опять. Так в течение двух недель она врачевала рану, приходя тайком по ночам в замок. Жителям замка было сообщено служанкой, что Сильвии де Роган грозит смертельная опасность из-за опухоли в животе, и болезнь ее должна храниться в тайне, дабы не запятнать честь хозяйки замка, которой Сильвия приходится кузиной. Все поверили выдумке и передавали ее из уст в уста.

Добрые люди могут подумать, что опасным было ранение. Ничуть не бывало,— опасным оказалось выздо-

ровление, ибо чем больше сил набирался Жеан, тем меньше их становилось у Берты. Под конец она стала до того слаба, что уже сама готова была броситься в тот рай, куда ее вознес Жеан. Короче говоря, с каждым часом она любила его все больше.

Но и посреди сладостных утех ее все время терзало беспокойство от страшного предсказания Фалотты, мучил жгучий стыд за свой проступок против религии и страх перед супругом, коему Берта вынуждена была наконец написать, что она от него понесла и подарит ему ребенка к его приезду; но эта ложь была для нее бременем куда более тяжким, чем ребенок, шевелившийся у нее под сердцем. В продолжение всего дня, когда она писала это лживое письмо, бедняжка старалась не встречаться с милым своим другом и заливалась горючими слезами.

Видя, что Берта его избегает, хотя до тех пор они были неразлучны, как огонь и охваченные огнем дрова, Жеан подумал, что она разлюбила его, и тоже стал горевать. Вечером Берта, тронутая слезами Жеана, все набегавшими на его глаза, как он ни вытирал их, поведала ему о причине своей грусти, о своей тревоге за будущее и рассказала, какая великая вина лежит на них обоих; речи ее были так прекрасны, так полны христианским смирением, сопровождались столь обильными слезами и сокрушенными вздохами, что Жеан был тронут до глубины души добродетелью своей подруги. Любовь Берты, наивно смешанная с раскаянием, благородное признание своей вины, дивное сочетание слабости и силы могли бы, как говорили древние авторы, укротить даже лютого тигра. И вы, конечно, не удивитесь, что Жеан дал своей любимой честное слово рыцаря исполнить все, что она ему прикажет,— ради благополучия ее в земной жизни и для спасения души на том свете.

Слыша речи Жеана, полные сердечной доброты и доверия, Берта бросилась к его ногам и, обнимая его колени, воскликнула:

— О друг мой, разве могу я, хоть это и смертный грех, не любить тебя! Ты так добр, так милосерден к своей несчастной Берте! Если ты хочешь, чтобы я думала о тебе всегда с самой нежной любовью и остановила поток жгучих своих слез, источник коих столь мил моему сердцу (и в доказательство она позволила возлюблен-

Как только кавалер перешагнул порог, Империа почувствовала, что сердце ее уязвлено сладостной мечтой..

«ЗАМУЖЕСТВО КРАСАВИЦЫ ИМПЕРИИ»

Когда же юноша подошел к Империи, чтобы приветствовать ее, она выказала царственное высокомерие, как то бывает с женщинами, чье сердце переполняет любовная склонность.

«ЗАМУЖЕСТВО КРАСАВИЦЫ ИМПЕРИИ»

ному сорвать поцелуй с ее уст), если ты хочешь, чтобы воспоминание о наших небесных радостях, пении ангелов и благоуханной любви никогда не было для меня тягостным, а, напротив, утешало меня в дни печали, сделай то, что повелела совершить пресвятая дева, когда я умоляла ее просветить меня и прийти на помощь в моей беде. Она предстала передо мной во сне, и я поведала ей, какими ужасными, неутолимыми муками стану я терзаться, дрожа за своего младенца, которого я уже ощущаю под сердцем, и за истинного его отца, который будет всецело отдан во власть оскорбленного им человека и может искупить свое отцовство, лишь претерпев насильственную смерть, как то предсказала, заглянувши в будущее, Фалотта. И тогда пресвятая дева, ласково улыбаясь, сказала мне, что святая церковь дарует нам прощение наших грехов, если мы будем следовать ее велениям, и что надо самому подвергнуть себя адским мукам, очищая душу свою от скверны, а не дожидаться, когда нас покарает небесный гнев. Затем она указала святым своим перстом на тебя, вернее, на Жеана, во всем подобного тебе, но носящего ту одежду, в какую ты должен будешь облечься, если любишь и вечно будешь любить свою Берту.

Жеан подтвердил Берте свою готовность во всем ей повиноваться, потом поднял ее и усадил к себе на колени, осыпая поцелуями. А тогда бедняжка Берта сказала ему, что одежда, в которую надлежит ему облечься,—монашеская ряса, и, боясь получить отказ, стала умолять его удалиться от мира в монастырь Мармустье близ Тура, клятвенно обещая подарить ему последнюю ночь, после чего она уже вовек не будет принадлежать ни ему и никому другому на свете. И каждый год, сказала она, в награду за послушание, она разрешит ему приходить на один день к ней в замок, чтобы повидать своего ребенка. Связанный словом, Жеан пообещал своей милой исполнить ее желание и постричься в монахи, прибавив, что таким путем он навсегда останется ей верен и не будет искать любовных наслаждений после тех, что он вкусил в божественной близости с нею; дорогим воспоминанием о недолгом счастье он будет жить до конца дней своих.

В ответ на нежные его речи Берта сказала, что, как бы ни был велик ее грех, какую бы кару ей ни готовил

всевышний, она согласна все претерпеть ради тех минут блаженства, когда она думала, что принадлежит не обыкновенному смертному, но ангелу небесному.

И вот они снова возлегли на то ложе, где зародилась их любовь; они хотели сказать последнее прости всем прекрасным ее цветам. Надо полагать, сам купидон участвовал в этом празднестве, ибо еще никогда на земле женщина не испытывала подобного блаженства и ни один мужчина так не наслаждался.

Истинной любви всегда свойственно согласие, в силу которого чем больше дает один, тем больше получает другой, подобно тому, как математические величины могут при известных условиях умножаться до бесконечности. Для людей, не обладающих ученостью, мысль эту можно пояснить тем явлением, какое наблюдается в покоях, убранных венецианскими зеркалами, где можно видеть тысячи отражений одного и того же предмета. Вот так же в сердцах двух влюбленных расцветают бесчисленные розы блаженства, заставляя их изумляться, как в нежащей глубине может вмещаться столько радостей. Берте и Жеану хотелось, чтобы ночь эта была последней в их жизни, и, замирая в истоме, сладко разлившейся по всему телу, они и впрямь думали, что любовь вот-вот унесет их из жизни на крыльях смертоносного лобзанья; но оба держались стойко, несмотря на бесконечно множимые наслаждения.

На следующий день, ввиду того, что возвращение сеньора Батарне приближалось, девица Сильвия должна была уехать. Бедняжка покидала свою кузину, заливаясь слезами, осыпая ее поцелуями; каждый из поцелуев был последним, и «последние» эти поцелуи длились до самого вечера. Но разлука была неизбежной, и Жеан разлучился с Бертой, хотя кровь в его сердце застывала, как ярый воск, капающий с пасхальной свечи. Верный своему обещанию, он отправился в монастырь Мармустье, прибыл туда в одиннадцатом часу следующего дня и был принят в послушники наравне с прочими. Сеньору Батарне сообщили, что Сильвия возвратилась к «милорду», а слово это означает в Англии «господь», и, стало быть, Берта, говоря так, не солгала.

Радость законного супруга, когда по приезде он увидел Берту в свободном платье (стан ее так располнел, что

она уже не могла носить пояса), усугубляла мученья бедняжки Берты, не умевшей притворяться и обманывать; после всякого лживого слова она бросалась в свою опочивальню к аналою и, заливаясь кровавыми слезами, слала мольбы святым угодникам божьим, вручая им свою судьбу; и так страстно взывала она к небу, что господь услышал ее, ибо он слышит все — и шум камней, перекатываемых волной, и горькие стенания бедняков, и полет мухи в воздухе. Не забывайте этого, иначе вы, пожалуй, не поверите тому, что произошло. Дело в том, что вседержитель повелел архангелу Михаилу обратить для этой кающейся грешницы в кромешный ад пребывание ее на земле, дабы после смерти она беспрепятственно могла вступить в рай. И вот святой Михаил спустился с небес к вратам адовым и отдал во власть дьяволу три человеческие души, слитых воедино; он возвестил дьяволу, что ему дозволено мучить сих несчастных до скончания их дней,— и архангел указал ему на Берту, Жеана и на их дитя. Дьявол, который по воле божьей является князем зла, ответил, что он не преминет исполнить сие повеление неба.

А на земле жизнь меж тем шла своим чередом. Красавица Берта Батарне подарила своему супругу прелестного младенца — мальчика, цветущего, как розы и лилии, разумного, как младенец Иисус, шаловливого и лукавого, как языческий Амур, хорошевшего день ото дня, тогда как старший сын Батарне становился все более похож на обезьяну — сходство его с отцом было ужасающим!

Младший ребенок, сиявший, как звездочка в небе, походил на отца и на мать, ему передались все лучшие телесные и духовные совершенства их, и врожденное изящество сочеталось в нем с редкими способностями. Видя сию чудесную гармонию отменных качеств плоти и духа, Батарне клялся и божился, что желал бы считать своего младшего сына старшим, и заявлял, что добьется этого при поддержке короля.

Берта не знала, как ей быть,— она обожала младшего сына, ребенка Жеана, и теперь куда меньше любила старшего, хотя и старалась защитить его от коварных замыслов отца. В конце концов, подчиняясь обстоятельствам, она облекла свою совесть панцирем лжи и думала,

что с прошлым все кончено, ибо целых двенадцать лет протекло безо всякой помехи, ежели не считать сомнений, отравлявших порой ее счастье. Каждый год, по уговору, монах из Мармустье, не ведомый никому, кроме служанки, приходил на целый день в замок повидаться с сыном, хотя Берта много раз просила своего друга отказаться от этого права. Но Жеан говорил, указывая на ребенка:

— Ты видишь его что ни день круглый год, а я только один раз в году.

И бедная мать не находила слов для возражения.

За несколько месяцев до последнего восстания дофина Людовика против отца его и короля мальчику пошел двенадцатый год, и, казалось, ему суждено было стать ученым человеком, так преуспевал он во всех науках. Никогда еще старик Батарне не чувствовал себя столь счастливым отцом; он решил взять младшего сына с собой ко двору в Бургундию, где герцог Карл обещал создать для его любимца положение, коему могли бы позавидовать даже принцы крови, ибо герцог Бургундский всегда благоволил к людям, одаренным высоким разумом.

Видя, что в семье Батарне все идет мирно и гладко, дьявол решил, что пришла пора сотворить зло: он взял да и сунул свой хвост в полную чашу сего благоденствия, дабы по прихоти своей возмутить его и разрушить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О СТРАШНОЙ КАРЕ, ПОСТИГШЕЙ БЕРТУ, О ТОМ, КАК БЕРТА ИСКУПИЛА СВОЙ ГРЕХ И УМЕРЛА ПРОЩЕННОЙ

Служанка Берты, дожив до тридцати пяти лет, вдруг влюбилась по уши в одного из солдат сеньора Батарне и была столь глупа, что позволила ему ухватить два-три хлебца из своей печи; вскоре во чреве ее выросла естественная опухоль, которую балагуры в тех краях называют «девятимесячной водянкой». Бедняжка попросила добрую свою госпожу походатайствовать за нее перед сеньором, чтобы он заставил соблазнителя покрыть грех перед алтарем. Берте без особого труда удалось по-

лучить согласие своего супруга, и служанка была весьма довольна. Старый вояка, всегда непреклонно суровый, призвал виновника к себе на суд, хорошенько пробрал его и, угрожая виселицей, приказал жениться на обольщенной служанке, на что тот и согласился, дорожа больше своей головой, чем покоем. Затем сеньор Батарне призвал к себе провинившуюся служанку и, для поддержания чести своего дома, долго читал ей наставления, уснащая свою речь звучными эпитетами и крепкой бранью, так что бедняжка стала опасаться, как бы ее вместо замужества не бросили в тюрьму. Она подумала, что таким способом госпожа хочет отделаться от нее, дабы похоронить тайну рождения своего любимого сына. И вот, когда старая обезьяна Батарне выкрикивал обидные слова, вроде того, что «надо быть безумным, чтобы терпеть у себя в доме распутную девку», она вдруг заявила, что он, наверно, сам ума лишился, ибо собственная его жена уже давно предается распутству, и притом с монахом, что для воина должно быть всего оскорбительнее.

Вспомните самую сильную грозу, какую вам приходилось видеть в жизни, и вы получите лишь слабое представление о неистовой ярости, овладевшей стариком Батарне, который был поражен в самое чувствительное место своей души, где жила любовь к жене и сыну. Он схватил служанку за горло и тут же хотел прикончить ее. В перепуге она принялась оправдываться, приводить разные доводы и сказала, что коли он не верит ей, так пусть поверит собственным ушам, пусть спрячется в укромном уголке в тот день, когда в замок придет Жеан де Саше, приор монастыря Мармустье; сеньор Батарне услышит тогда нежные отцовские речи монаха в тот единственный день в году, когда брат Жеан приходит сюда получить разрешение от поста, который терпит весь год, и обнять своего родного сына. Эмбер Батарне приказал служанке сию же минуту убираться из замка, ибо, сказал он, ежели обвинения ее правильны, он немедленно убьет ее, и точно так же убьет ее, ежели все окажется ложью и выдумкой. Тут же он дал ей сто червонцев, а вдобавок наградил ее мужем, обязав обоих еще до ночи выехать из Турени; для большей верности он приказал своему офицеру проводить их немедля в Бургундию. Сообщив жене об их отъезде, Батарне сказал, что служанка эта — ис-

порченная тварь, и он счел разумным ее прогнать, что подарил он ей сто червонцев, а для ее дружка нашел место при бургундском дворе. Берта удивилась, узнав, что служанки нет больше в замке и что та уехала, не простившись с нею, своей госпожой; но она не сказала о том ни слова.

Вскоре у нее появились новые заботы и опасения, ибо у мужа ее стали обнаруживаться некие странности· он то и дело приглядывался к своим сыновьям, сравнивал, находил сходство с собою у старшего сына и не видел ни одной своей черты у младшего, коего он так любил: и нос, и лоб, и все прочее были у мальчика совсем иными, чем у Батарне.

— Он весь в меня,— сказала однажды Берта в ответ на его намеки.— Разве вы не знаете, что в добрых семьях дети всегда бывают похожи то на отца, то на мать, а иной раз и на обоих вместе, ибо мать свои жизненные силы сливает с жизненными силами отца? Умные люди уверяют даже, что им приходилось видеть детей, у которых не было ни одной черты, сходной с отцом или матерью, и они говорят, что тайны сии ведомы только господу богу!

— Ого, какой вы стали ученой, мой друг! — отвечал ей Батарне.— А я вот, по своему невежеству, полагаю, что ребенок, похожий на монаха...

— От монаха этого и родился? — перебила его Берта, бесстрашно глядя мужу в глаза, хотя кровь леденела в ее жилах.

Старик подумал, что он ошибся, и в душе проклинал служанку, но действовал с тем большим рвением, решив все вывести на чистую воду. Поскольку близился день, назначенный для монаха Жеана, Берта, обеспокоенная словами мужа, написала своему другу письмо, в коем выражала желание, чтобы в этом году он не приходил, обещая потом все ему объяснить; затем она отправилась в город Лош к горбунье Фалотте, поручила ей передать письмо Жеану и успокоилась, полагая, что опасность миновала.

Письмо пришлось тем более кстати, что сеньор Батарне, который обычно в пору, назначенную монаху для ежегодного его праздника, уезжал в провинцию Мэн, где у него были обширные земельные владения, на сей раз

не поехал туда, объясняя это необходимостью все подготовить к восстанию, задуманному дофином Людовиком против своего отца. (Как известно, король был потрясен тем, что сын поднял на него оружие, и вскоре скончался от горя.) Приведенная мужем причина была столь основательна, что у бедняжки Берты совсем исчезла тревога, лишавшая ее сна по ночам.

Но вот в условленный день приор, как всегда, появился в замке. Увидев его, Берта побледнела и спросила:

— Разве ты не получил письма?

— Какого письма? — с удивлением сказал Жеан.

— Значит, мы все погибли — и ребенок, и ты, и я!— воскликнула Берта.

— Почему? — спросил приор.

— Не знаю,— отвечала Берта,— знаю только то, что пришел наш последний день.

Тут она спросила у своего горячо любимого сына, где находится сейчас сеньор Батарне. Мальчик ответил, что отца вызвали нарочным в Лош и вернется он лишь к вечеру. Услыхав об этом, Жеан хотел, вопреки настояниям своей подруги, еще побыть с нею и с милым своим сыном, уверяя, что не может произойти никакого несчастья: ведь двенадцать лет благополучно протекли со дня появления на свет их ребенка. В те дни, когда они праздновали годовщину событий той достопамятной ночи, о которой читатель уже знает, Берта оставалась обычно с монахом в своей спальне до самого ужина. Но ныне, взволнованные опасениями, которые уже разделял и Жеан, когда подруга ему все рассказала, они решили пообедать пораньше; приор старался поддержать в Берте бодрость, объясняя ей особое положение служителей церкви и уверяя, что Батарне, на которого и без того при дворе смотрят косо, не дерзнет посягнуть на жизнь сановника церкви, настоятеля монастыря Мармустье.

Случайно вышло так, что, когда они садились за стол, мальчик их был занят игрой, и, хоть мать неоднократно звала его, он ни за что не хотел бросить свою забаву: он кружился по двору замка верхом на породистом испанском жеребце, подаренном Батарне Карлом Бургундским. И, так как в юном возрасте люди всегда хотят казаться старше — пажи стремятся походить на бакалавров, а бакалавры на рыцарей,— мальчугану доставляло удоволь-

ствие похвастаться перед своим другом монахом, какой он стал большой: он поднимал своего жеребца в галоп, и тот скакал по двору, как блоха по простыне, а мальчик сидел в седле крепко, словно опытный, старый вояка.

— Оставь его, дорогая моя, пусть себе тешится! — молвил монах, обращаясь к Берте.— Из непослушных детей часто выходят люди, сильные духом.

Берта едва прикасалась к еде, ибо сердце у нее все больше щемило от смутной тревоги. А Жеан, лишь только он проглотил несколько кусочков кушанья, ощутил жжение в желудке и терпкий, вяжущий вкус во рту; монах был человек ученый, и сразу же у него возникло подозрение, что Батарне подсыпал им отравы.

Раньше, чем он уверился в этом, Берта уже отведала пищи. Внезапно монах сдернул со стола скатерть, сбросил все, что на ней было, в очаг и поделился с Бертой своим подозрением. Берта возблагодарила пресвятую деву за то, что сын их так увлекся своей забавой.

Ничуть не растерявшись, припомнив те времена, когда он был еще пажом, Жеан бросился во двор, снял сына с коня, вскочил в седло и, вонзая изо всех сил каблуки в бока жеребца, помчался по полям с быстротою падающей звезды; он очутился в доме у Фалотты в столь короткий срок, в какой мог бы доскакать к ней от замка Батарне разве только дьявол. Яд уже нестерпимо жег ему нутро; рассказав, что случилось, монах попросил у колдуньи противоядия.

— Ах, какое горе! — воскликнула Фалотта. — Да ежели б я только знала, что у меня требуют яд именно для вас, я бы лучше дала перерезать себе горло кинжалом, которым мне угрожали, лучше бы рассталась с жалкой своей жизнью, а не погубила бы жизнь служителя божия и самой милой женщины, украшавшей когда-либо землю! Нет у меня противоядия! Лишь самая малость осталась вот в этой склянке.

— Для нее этого хватит?

— Да, только надо спешить,— отвечала старуха.

Монах помчался в обратный путь еще быстрее, чем ехал в Лош, загнал коня, и тот пал, прискакав во двор замка. Когда Жеан вошел в опочивальню, Берта, думая, что пришел ее смертный час, обнимала свое дитя; кор-

часъ от мук, как ящерица на огне; но она не испустила ни единого крика, ибо забывала о собственных страданиях при мысли о том ужасном будущем, какое ожидает ее ребенка, отданного на произвол разъяренного Батарне.

— Вот, выпей скорее это! — сказал ей монах.— А моя жизнь уже спасена.

У Жеана хватило мужества произнести эти слова, не изменившись в лице, хотя он чувствовал, что смерть уже сжимает когтями его сердце. Лишь только Берта выпила противоядие, приор упал мертвым, едва успев поцеловать сына и устремив на свою подругу последний взгляд, полный любви. Берта похолодела, как мрамор, и оцепенела от ужаса при виде бездыханного тела Жеана, распростертого у ее ног; она стояла, крепко сжимая руку своего сына; мальчик заливался слезами, у нее же самой глаза были сухи, как дно Чермного моря, когда Моисей вел по нему евреев, и ей казалось, что под веками ее пересыпаются раскаленные песчинки. Молитесь за нее, милосердные души, ибо еще ни одна женщина не переживала таких жестоких мучений, как Берта, когда она догадалась, что Жеан спас ее ценою свой собственной жизни. С помощью сына она перенесла на кровать тело усопшего, а сама встала у изголовья и начала молиться вместе с сыном, коему она только сказала, что приор был его настоящим отцом. Так ожидала она роковой минуты— и роковая минута настала; в одиннадцатом часу вечера возвратился сеньор Батарне и при въезде в замок узнал, что монах скончался, а Берта и сын живы; во дворе он увидел труп своего прекрасного испанского жеребца.

Тогда, охваченный бешеным желанием прикончить сейчас же и Берту и сына монаха, Батарне в два прыжка взбежал по лестнице; но когда он увидел мертвеца, а возле него жену и сына, которые читали молитвы, не слыша яростных проклятий Батарне и не замечая искаженного лица его и диких угрожающих жестов, у него не хватило духу совершить над ними черное злодеяние.

Когда же остыл первый порыв гнева, он, не зная, на что решиться, стал ходить взад и вперед по зале, как трусливый убийца, пойманный на месте преступления, и в ушах у него все звучали молитвы, которые непрерывно читались над телом монаха. Так, в слезах, в стенаниях и моленьях прошла вся ночь.

Утром, по распоряжению госпожи, одна из служанок отправилась в Лош купить для Берты одежду, какую носили тогда благородные вдовы, а несчастному сыну ее — небольшую лошадь и полное рыцарское вооружение. Батарне был немало удивлен, узнав об этом; он велел позвать к себе жену и сына монаха, но ни мальчик, ни мать не откликнулись на его зов и стали поспешно облекаться в одежды, купленные для них служанкой. Той же служанке Берта приказала свести все счеты по дому и составить опись всех платьев своей госпожи, жемчугов, бриллиантов и прочих драгоценностей, как то обычно делается при отречении вдовы от своих прав. Берта велела внести в список даже свою сумку для раздачи милостыни, дабы все было сделано как положено и не было упущено никакой мелочи.

Слух об этих приготовлениях тотчас разнесся по замку; все поняли, что хозяйка решила их покинуть. Скорбь и смятение охватили все сердца, они овладели душой даже маленького поваренка, появившегося в замке всего неделю назад и заливавшегося ныне слезами, так как и ему Берта уже успела сказать ласковое слово.

Испуганный этими сборами к отъезду, старик Батарне вошел в комнату жены и застал ее плачущей над телом Жеана, ибо из глаз ее полились, наконец, слезы; но при виде своего супруга она тотчас же осушила их. На бесконечные его вопросы она отвечала кратко, признав свою вину и рассказав, как она была введена в заблуждение, как бедный паж нанес себе рану — и она показала рубец на теле покойника,— как долго длилось его выздоровление, как затем, из послушания ей и во искупление своего греха перед людьми и перед богом, удалился он в монастырь, отказавшись от славной жизни рыцаря и от продолжения своего рода, что, разумеется, еще тяжелее смерти; как, мстя за поруганную свою честь, она решила все же, что и сам бог не отказался бы подарить этому монаху один день в году для свидания с сыном, коему он пожертвовал всем, и что, не желая жить с убийцей, она покидает ныне свой дом, оставляя в нем все принадлежащее ей добро; она сказала затем, что ежели честь семьи Батарне запятнана, то не она, а он, супруг ее, виновник сего позора, ибо, после того как произошло несчастье, она все уладила как нельзя лучше; наконец,

Берта прибавила, что она дала обет скитаться по горам и долам вместе с сыном, пока не будет искуплено полностью ее прегрешение, а она знает, как его искупить.

Бледная и полная достоинства, произнесла Берта эти трогательные слова, а затем взяла дитя свое за руку и вышла из дому, одетая в глубокий траур и ослепительно прекрасная, прекраснее Агари, уходящей от патриарха Авраама, и столь величественная, что, когда она проходила мимо, все обитатели замка преклоняли колена и, молитвенно сложив руки, взывали к ней, словно к богоматери. И было жалости достойно видеть, как позади всех, словно преступник, ведомый на казнь, шагал старик Батарне и плакал, ибо он осознал свою вину и впал в отчаяние.

Берта не хотела слушать никаких увещеваний. Уныние, овладевшее всеми, было столь велико, что мост оказался опущенным, и Берта ускорила шаг, дабы поскорее выйти из замка, опасаясь, как бы внезапно мост снова не подняли; но никто не помышлял об этом, так были все удручены и растеряны. Берта села у края рва, откуда был виден весь замок, обитатели коего со слезами на глазах умоляли ее остаться. Бедняга Батарне стоял, положив руку на цепь подъемного моста, немой и неподвижный, словно каменное изваяние святого над воротами замка; он видел, как, проходя по мосту, Берта велела сыну отряхнуть прах от ног своих в знак того, что отныне они навсегда порывают с родом Батарне; то же сделала и она сама. Затем, торжественно указуя перстом на владельца замка, она обратилась к сыну со следующими словами:

— Дитя, вот убийца твоего отца, который был, как ты знаешь, бедным приором. Но имя свое ты получил вот от этого человека. Ныне ты отрекаешься от имени его и от всего, что принадлежит ему, в знак чего, уходя из замка, ты отряхнул прах от ног своих. А за то, что ты рос и кормился в его доме, мы, с божьей помощью, с ним рассчитаемся.

Слыша и видя этот скорбный обряд отречения, старик Батарне простил бы с радостью своей жене целую обитель монахов, лишь бы не быть покинутым ею и прекрасным отроком, обещавшим стать гордостью его дома. Поникнув головой, стоял он возле натянутой цепи моста.

— Что, дьявол, ты торжествуешь?! — воскликнула Берта, совсем не ведая, какое участие принимал на самом деле дьявол во всем происходящем.— Но да помогут мне в сей лютой беде всевышний, святые мученики и архангелы, коим я так усердно молилась!

И внезапно сердце Берты преисполнилось утешением, ниспосланным ей самим небом: в поле, на повороте дороги, показались хоругви монастыря Мармустье и послышались церковные песнопения, словно зазвучали ангельские голоса. Монахи, до которых дошла весть о злодейском убийстве их любимого приора, двинулись торжественной процессией за его телом в сопровождении церковного суда. Завидя их, сеньор Батарне едва успел со своими людьми бежать из замка через потайной ход; он направился тотчас же к дофину Людовику, бросив все на произвол судьбы.

Несчастная Берта, сидя на лошади позади сына, отправилась в Монбазон проститься со своим отцом; она сказала ему, что не в силах пережить постигшего ее удара; как ни старались родные ее утешить, успокоить ее душу,— все было тщетно. Старый Роган подарил своему внуку прекрасные доспехи, сказав юноше, что он должен своими подвигами стяжать себе такую честь и славу, чтобы вина его матери обратилась в вечную ей хвалу. Сама же Берта старалась внушить своему дорогому сыну лишь мысль о том, что ныне необходимо искупить содеянный ею грех, дабы спасти ее и Жеана от вечного осуждения. И вот оба они, мать и сын, направились туда, где дофин поднял восстание; они горели желанием оказать такую услугу Батарне, чтобы он был им обязан больше, чем жизнью.

Очаг восстания находился тогда, как известно, в окрестностях Ангулема и Бордо, в провинции Гиэнь, и еще в других местах королевства, где в скором времени должны были произойти крупные столкновения между мятежниками и королевскими войсками. Решающая битва, положившая конец войне, разыгралась между Рюфеком и Ангулемом, после чего взятые в плен бунтовщики были повешены или преданы суду. Сражение это, где войсками мятежников руководил старик Батарне, произошло в ноябре месяце, то есть примерно полгода спустя после убийства приора.

Барону в то время стало известно, что участь его решена и он будет обезглавлен, как первый советник дофина. И вот, когда войска его отступали, старик внезапно увидал, что его окружили шесть неприятельских воинов и стараются взять его в плен. Тут он понял, что его хотят схватить живьем, дабы судить в королевском суде, обесчестить его имя и отнять все достояние. Беднягa предпочитал погибнуть, лишь бы спасти своих людей и сохранить для сына свои владения; он защищался, как лев. Солдаты, видя, что, несмотря на перевес в числе, не могут его одолеть (трое из них пали), вынуждены были усилить напор, даже рискуя убить Батарне. Они обрушились на него все вместе, сразив двух оруженосцев Батарне и его пажа.

И вдруг в минуту смертельной для Батарне опасности примчался какой-то неизвестный оруженосец с гербом Роганов на доспехах, ринулся молнией на нападавших и с громким кличем: «Да хранит всевышний род Батарне!» — уложил на месте двоих солдат. На третьего, уже схватившего старика Батарне, он кинулся с такою силой, что солдату пришлось выпустить пленника из рук и обернуть свое оружие против безвестного оруженосца, коему он и нанес удар кинжалом в грудь, в не защищенное латами место.

Батарне, будучи человеком благородным, не захотел бежать, оставив без помощи защитника своей чести и жизни, коего, оглянувшись, он увидел распростертым на земле. Одним ударом палицы Батарне сразил неприятельского солдата, а затем, перекинув раненого оруженосца через седло, ускакал в поле и вскоре очутился вне опасности; повстречавшийся в пути человек проводил его в замок Ларошфуко, куда Батарне добрался поздно ночью; здесь, в большой зале, он нашел Берту Роган, которая, как оказалось, и позаботилась о надежном убежище для него. Сняв со своего спасителя доспехи, Батарне узнал в нем сына Жеана; отрок лежал на столе, и жизнь еле теплилась в нем; собрав последние силы, он обнял мать и громким голосом воскликнул:

— Матушка, мы рассчитались с ним!

Услышав сии слова, мать обвила руками тело своего сына, зачатого ею в любви, и души их соединились наве-

ки: Берта скончалась от горя. Что ей было теперь прощение и раскаяние мессира Батарне?

Столь необычное злосчастье сократило дни жизни бедняги сенешала, и не довелось ему улицезреть вступление на престол милостивого короля Людовика XI. Старик сделал вклад на ежедневную мессу в церкви Ларошфуко, где похоронил он вместе, в одной могиле, прах матери и сына, и воздвигнул огромную гробницу, на коей в эпитафии, начертанной по-латыни, многими похвалами была почтена их жизнь.

Из повести сей можно извлечь поучение, для повседневной жизни весьма полезное, ибо здесь показано, что высокородным старцам должно быть весьма учтивыми с возлюбленными своих жен. А сверх того сей рассказ учит, что все дети — благо, ниспосылаемое нам самим господом богом, и над ними отцы их, мнимые или настоящие, не имеют права жизни и смерти, каковой бесчеловечный закон существовал некогда в языческом Риме, но совсем не пристал христианам, ибо все мы — чада божии.

НАИВНОСТЬ

Клянусь крепким пурпуровым гребнем моего петуха и подбитой алым атласом черной туфелькой моей милой! Клянусь ветвистыми украшениями, произрастающими на лбу досточтимых рогоносцев, и священной добродетелью их жен! Прекраснейшее творение человека — отнюдь не поэмы, не великолепные картины, не звучная музыка, не замки, не статуи, как бы ни были искусно они изваяны, не парусные или весельные галеры — нет, наипрекраснейшие творения человека — это дети. Приглядитесь к детям, не достигшим еще десятилетнего возраста, ибо позже становятся они взрослыми мужчинами или женами, и, набравшись ума-разума, половины того не стоят, что стоили в годы блаженного младенчества своего,— сколь хороши даже самые плохие из них! Посмотрите, как бесхитростно тешатся они всем, что попадется им под руку,— старым башмаком, особливо если он дырявый, или какой-нибудь домашней утварью, отшвыривают прочь то, что им не по душе пришлось, с воплями требуя то, что им вдруг полюбилось, рыскают по всему дому в поисках сластей, грызя и уничтожая все припасы, вечно хохочут и показывают зубки свои, лишь только те прорежутся,— и вы согласитесь со мною, что дети воистину прелестны; да и может ли быть иначе — ведь они плоды и цветы: плоды любви и цветы жизни!

И покуда разум их еще не омрачили постылые докуки жизни, не найдется во всем свете ничего более святого, ни более забавного, чем детский лепет, являющий собой верх наивности. Сие неоспоримо, как дважды два

четыре. Никто не слыхал, чтобы взрослый человек сказал наивное словцо с простодушием ребенка, ибо в наивности взрослого всегда почувствуешь хоть крупицу умысла, тогда как наивность ребенка чиста и безгрешна, как сама мать-природа, что и будет показано в нашем повествовании.

Королева Екатерина была тогда еще супругой дофина, и, желая угодить королю, свекру своему, прикованному злым недугом к постели, она преподносила ему время от времени в дар картины итальянских мастеров, зная, что король питает к ним великое пристрастие, будучи другом синьора Рафаэля Урбинского, синьора Примативчо и Леонардо да Винчи, коим посылал он значительные суммы.

И вот однажды она получила от своих родных (у них имелись лучшие полотна упомянутых выше художников, ибо герцог Медичи правил в ту пору Тосканой) бесценное творение одного венецианца по имени Тициан, художника императора Карла V, весьма к нему благоволившего. На картине изображены были Адам и Ева в тот самый час, когда господь бог благословляет их на блаженное пребывание в райских кущах. Были прародители наши написаны в натуральную величину и в костюмах того времени, относительно коих трудно было бы ошибиться: оба укрыты были лишь своим неведением и облечены в покровы божественного милосердия, а все то, что кисть передать затрудняется, изображал с особым искусством вышереченный синьор Тициан.

Полотно это поместили в покое бедного короля, тяжко страдавшего от хвори, каковая и свела его вскорости в могилу. Про картину Тицианову был наслышан весь французский двор, и полюбоваться ею хотелось каждому; однако ж никто из придворных не имел на то дозволения вплоть до кончины короля, ибо, согласно его желанию, упомянутая картина должна была неизменно находиться в его покоях, доколе он жив.

Как-то раз супруга дофина привела к королю своего сына Франсуа и малютку Марго, которые начинали в ту пору, как то свойственно детям, лепетать, сами не ведая что. Слыша со всех сторон толки об упомянутом изображении Адама и Евы, они стали докучать матери, прося, чтобы та взяла их с собой посмотреть картину. И ввиду

того, что малюткам уже доводилось не раз забавлять старого короля, супруга дофина вняла их просьбам и привела к деду.

— Вы желали видеть Адама и Еву, наших прародителей, вот они! — молвила она и, оставив детей в великом изумлении пред картиной синьора Тициана, сама села у изголовья короля, умиленно взиравшего на своих внучат.

— А кто из них Адам? — спросил Франсуа, толкая локтем свою сестрицу Маргариту.

— Глупенький! — отвечала девочка. — Как же можно это узнать, раз они не одеты!

Этот ответ, приведший в великий восторг страждущего короля и мать, был сообщен королевой Екатериной в одном из посланий ее во Флоренцию. Никем из писателей он доныне еще не был предан гласности. Так пускай же сохранится он, как цветочек, на страницах этих сказок, хоть и нет в нем никакого озорства. А назидание отсюда можно извлечь лишь одно: дабы слушать милый детский лепет, надобно создавать детей.

ЗАМУЖЕСТВО КРАСАВИЦЫ ИМПЕРИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК ГОСПОЖА ИМПЕРИА САМА ЗАПУТАЛАСЬ В СИЛКИ, КОИМИ СВОИХ ЛЮБЕЗНЫХ ГОЛУБЕЙ УЛОВЛЯЛА

Красавица Империа, рассказ о которой столь славно открывает книгу наших рассказов, будучи красой и гордостью своего времени, по окончании Констанцского собора вынуждена была поселиться в городе Риме по той причине, что кардинал Рагузский любил ее до умопомрачения и не пожелал расстаться с нею. Этот распутник был весьма тороват и подарил Империи великолепный дворец в вышеназванном городе Риме. Как раз в то время имела она несчастье понести от кардинала. Каждому ведомо, что Империа разрешилась от бремени дочерью, столь прелестной, что сам папа сказал благосклонно, что надлежит наречь младенца Феодорой, что означает «дар божий». Так и нарекли дитя, миловидностью своею приводившее всех в удивление. Кардинал отказал ей все свое имущество, а Империа поселила дочь в роскошном своем дворце, сама же бежала из города Рима, как из проклятого места, где рождаются на свет дети и где чуть было не повредили изяществу тонкого ее стана и иным ее совершенствам, как-то: стройной талии, безупречным линиям спины, нежным округлостям и изгибам, вознесшим ее над всеми иными христианскими женщинами, как вознесен папа римский над всеми христианами мира Однако ж все любовники Империи знали, что с помощью один-

надцати лекарей из Падуи, семи знахарей из Павии и пяти хирургов, вызванных из разных концов страны ко времени разрешения от бремени, ее краса была спасена от возможного ущерба. Иные даже утверждали, что после родов стала она еще прекраснее, приобретя утонченность и необычайную белизну кожи. Некий прославленный врач Салернской школы даже написал по этому поводу книгу, доказывая, что всякая женщина должна родить однажды, дабы сохранить здоровье, свежесть и красоту. Из сего ученого труда читатели могли уяснить себе, что лучшие прелести Империи видели только избранные ее поклонники, а таковых было немного, ибо она не брала труда разоблачаться ради ничтожных немецких принцев, которых именовала просто: «мои маркграфы, мои бургграфы, герцоги и курфюрсты», как командир говорит: «мои солдаты».

Каждому известно, что когда прекрасной Феодоре минуло восемнадцать лет, она решила искупить молитвами грешную жизнь своей матери, удалиться от мира и пожертвовать все свое состояние обители святой Клары. С этой целью отправилась она к некоему кардиналу, и этот последний склонил ее приступить к исповеди. Пастырь, соблазненный красотой своей овечки, попытался силою овладеть ею. Феодора, не желая принять позор от названного монаха, ударом стилета пресекла свою жизнь. Сей случай, занесенный в летописи того времени, поверг в ужас всех жителей города Рима, которые объявили траур,— столь была любима дочь госпожи Империи.

В великом горе благородная куртизанка вернулась в Рим, дабы оплакивать там свою несчастную дочь; Империа вступила тогда в тридцать девятый год своей жизни, и, по свидетельству очевидцев, в ту пору особенно пышно расцвела ее краса, все естество ее достигло высшего совершенства, подобно тому, как наливается сладостным соком созревший плод. Скорбь осенила прекрасное ее чело, и она сурово взирала на того дерзкого, кто говорил ей о любви, желая осушить ее слезы. Сам папа явился к ней во дворец со словами увещания. Однако ж она не снимала траурных одежд и твердила, что отныне посвятит себя богу: познав множество мужчин, не познала она истинной радости, разве только с неким молоденьким монашком, которого она возлюбила, как ангела, да и тот обманул ее;

бог же никогда не обманет. Намерение Империи ввергло многих в великую грусть, ибо она была отрадой всех знатных римлян. Встретившись случайно на улице, выспрашивали они друг у друга: «А что слышно о госпоже Империи? Ужели мир лишится любви?» Иные послы донесли своим государям об этом прискорбном случае. Сам император римский весьма огорчился по той причине, что в течение одиннадцати недель был в любовном обхождении с ней и покинул ее только ради дальнего похода, но и поныне продолжал любить ее, как самую драгоценную часть своего тела, а сие, как уверял он, вопреки мнению придворных, было око, ибо лишь око могло обнять разом всю милую его сердцу Империю. Видя ее отчаяние, папа римский повелел выписать из Испании лекаря и привести его к красавице; врач этот, уснащая свою речь латинскими и греческими словами, весьма ловко и глубокомысленно доказал, что слезы и огорчения вредят красоте и что чрез врата страдания приходят к нам морщины. Его мнение, подтвержденное особами, искушенными в ученых словопрениях на соборе кардиналов, имело следствием то, что после вечерни того же дня дворец Империи открыл свои двери. Молодые кардиналы, посланники иноземных государств, владельцы крупных поместий и вельможи римские заполнили залы дворца, где ждал их роскошный пир; на улице простолюдины жгли веселые огни, каждый, как мог, желал ознаменовать возврат королевы наслаждений к исполнению своих дел, ибо в те времена она почиталась признанной владычицей любви. Империа была любима также мастерами и подмастерьями, искусными во всех ремеслах, ибо щедрой рукой тратила деньги на сооружение храма на том месте, где покоились останки Феодоры; но эта усыпальница была разграблена по смерти предателя, коннетабля Бурбонского, так как проклятые вояки, бесчинствовавшие в Риме, польстились на серебряный позолоченный гроб, в коем похоронили святую девицу. Воздвигаемая базилика, по слухам, стоила дороже пирамиды, сооруженной в древние времена попечениями Родепы — египетской прелестницы, жившей за 1 800 лет до рождения божественного нашего спасителя, что свидетельствует о древности оного любезного занятия, а также о том, что мудрые египтяне, не скупясь, оплачивали наслаждения и что все в мире идет на убыль, если ныне в Париже на

улице Пти-Эле каждый за гроши может найти себе красотку по своему вкусу. Не мерзость ли это?

Никогда не была столь прекрасна госпожа Империа, как в первый вечер празднества после долгого своего траура. Принцы, кардиналы и прочие твердили, что она достойна поклонения всего мира, который и был представлен на ее празднике посланниками от многих стран, чем было подтверждено, что власть красоты признана повсеместно. Посол французского короля, младший отпрыск дома де Лиль-Адан, явился с опозданием и, никогда ранее не видев Империю, пришел, любопытствуя посмотреть на нее. Де Лиль-Адан, красивый рыцарь, пользовался особым расположением короля Франции, при дворе которого он и нашел себе милую — девицу Монморанси, дочь дворянина, чьи земли граничили с поместьем де Лиль-Адан. Будучи младшим сыном, жених не имел никаких средств, и король по милости своей послал его в герцогство Миланское с поручением, которое молодой рыцарь столь разумно исполнил, что вслед за сим последовало и другое: он послан был в Рим для ускорения неких переговоров, которые историки подробно описали в своих трудах. Итак, не имея гроша за душой, молодой де Лиль-Адан возлагал надежды на будущее, видя столь удачное начало своих дел. Был он среднего роста, статен и прям, подобно колонне, темноволос, с искрометным взглядом черных глаз и с бородой, как у старого папского легата, которого на кривой не объедешь. И хоть был он весьма хитер, но с виду казался простодушным и милым, как смешливая юная девица.

Как только кавалер перешагнул порог, Империа почувствовала, что сердце ее уязвлено сладостной мечтой, которая коснулась всех струн ее естества, и они заиграли; давно не слышала она их музыки и, опьяненная любовью при виде юной красы, так бы и расцеловала рыцаря в округлые его щеки, румяные, словно яблочки, если б ее не удерживало царственное величие. Итак, запомните: жены добродетельные и знатнейшие дамы не ведают, что такое мужчины, ибо придерживаются одного, подобно королеве Франции, которая полагала, что у всех мужчин дурно пахнет из носа, ибо этим свойством отличался король. Но столь искушенная куртизанка, как Империа. не ошибалась в мужчинах, ибо перевидала их на своем

веку изрядное число. В укромном ее приюте любой забывал, что есть на свете стыд, как не знает стыда одержимый похотью неразумный пес, не различающий даже кровного родства; любой являл себя таким, каким он был от природы, мысля, что все равно суждено им вскоре расстаться. Нередко сетовала она на свое ярмо и говорила, что от услад страдала больше, чем иные от бедствий. Такова была изнанка ее жизни. Притом случалось, что любовник, домогаясь ее, выкладывал в уплату за одну ночь столько золотых дукатов, что лишь вьючному мулу было поднять под силу такой груз, а иной гуляка, которого отвергала Империа, готов был перерезать себе глотку. Итак, праздником для Империи было почувствовать вновь молодое желание, склонившее ее некогда к ничтожному монашку, о чем говорилось в начале наших повестей. Но так как с той счастливой поры прошло много лет, то любовь в возрасте более зрелом сильнее охватила ее и была подобна огню, ибо тут же дала себя знать. Империа ощутила жесточайшую боль, точно кошка, с которой живьем сдирают шкуру; и ей захотелось тут же броситься к юноше, схватить его, подобно коршуну, и устремиться со своей добычей к себе в опочивальню, но она поборола с немалым трудом это желание. Когда же юноша подошел к Империи, чтоб приветствовать ее, она выказала царственное высокомерие, как то бывает с женщинами, чье сердце переполняет любовная склонность. Ее надменный вид был всеми замечен, и многие решили, что она *занята* молодым посланником, вкладывая в это слово двойной смысл, по обычаю того времени. Однако Лиль-Адан, уверенный в любви своей нареченной, даже не заметил, скучна ли Империа или приветлива, и сам веселился от всей души. Прелестница же, досадуя на него, настроила свои флейты на другой лад, из неприступной стала доступной и даже чуть беспутной; она подошла к юноше, голос ее зазвенел, взгляд засиял, она кивнула ему головой, задела его своим рукавом, назвала его «монсеньор», забросала его любезными словами, поиграла пальчиками в его ладони и под конец улыбнулась ему весьма лукаво. А тому и в голову не пришло, что он, такой юнец, да еще без гроша в кармане, может приглянуться Империи; не зная, что красота его стала ей дороже всех земных

сокровищ, он не попался в расставленные тенета и стоял посреди зала, спесиво подбоченясь. Видя, как тщетны все ее ухищрения, Империа почувствовала гнев, и сердце ее загорелось жарким пламенем. Ежели вы сомневаетесь в том, значит, вы не знаете, каково было ремесло Империи, ведь после многих лет жизни куртизанки можно было ее сравнить с печью, в которой отгорело столько веселых огней и столько накопилось смолы, что одной спички было достаточно, чтоб запылала она ярким огнем, тогда как раньше сотни вязанок чуть тлели в ней да чадили. Итак, горела она в ужасном огне, остудить который мог лишь поток любви. А младший отпрыск де Лиль-Аданов покинул зал, ничего не заметив. В отчаянии от такого пренебрежения Империа потеряла рассудок, в голове у нее помутилось, и она послала искать его по всем галереям. Ни разу в жизни до этого не проявила она подобной слабости ни ради короля, ни ради самого папы, ни ради императора, и высокая цена за ее тело проистекала от того рабства, в котором она держала мужчину; и чем ниже сгибала его, тем выше поднималась сама. Итак, первая служанка госпожи Империи, она же первая проказница из всей ее челяди, шепнула юному гордецу, что его, наверное, ждет много приятного, ибо госпожа Империа угостит его самыми нежными ухищрениями любви. Де Лиль-Адан вернулся в зал весьма довольный этим приключением. Лишь только возвратился посол французского двора, все, видевшие, как побледнела хозяйка после его ухода, возрадовались его появлению и громко выражали свое удовольствие, что наконец-то Империа вновь приемлет прелесть любви, которой жила и будет жить. Некий английский кардинал, который, отведав всех вин, стоявших на столе, с вожделением взирал на Империю, подошел к Лиль-Адану и шепнул ему на ухо:

— Взнуздайте ее как следует, чтобы она от нас не убежала.

Происшествие этой ночи было доложено папе при его пробуждении. Выслушав то, святой отец изрек: «Laetamini, gentes, quoniam surrexit Dominus» [1].

От таких слов старые кардиналы пришли в негодо-

---

[1] «Возрадуйтесь, люди, воскресенью господню» *(лат.)*.

вание, увидев в них поругание святых молитв. Папа же весьма прогневался на них и не преминул упрекнуть, что хотя они и добрые христиане, да плохие политики. Он же рассчитывает-де на помощь куртизанки, чтоб приручить императора Священной Римской империи, и потому осыпает ее неумеренной лестью.

И когда померкли огни в залах, где на полу валялись золотые кубки и где охмелевшие гости заснули на коврах, Империа удалилась в свою опочивальню, ведя за руку своего милого избранника; ликуя, признавалась она, что, когда охватило ее влечение, готова она была броситься наземь перед ним, как покорное животное, чтоб растоптал он ее, если б того пожелал. А он тем временем снял свои одежды и возлег на ложе, точно у себя дома; увидя то, Империа, путаясь в наспех сброшенных покровах, горя нетерпением, взбежала по ступенькам к ложу и предалась наслаждению с таким неистовством, что служанки ее весьма удивились, ибо знали, как благородно, не в пример прочим, их госпожа ведет себя в постели. А вслед за ними удивлялась вся округа, что любовники не покидали своего ложа в течение девяти дней, вкушая превыше всякой меры и наипревосходнейшим образом пищу, питье и все утехи любви. Империа поведала своим служанкам, что обрела сущего феникса любви, ибо возрождался он с каждым разом. Не только по Риму, но и по всей Италии разнесся слух о победе, одержанной над госпожой Империей; она же похвалялась, что никому не уступит своего милого; наплевать ей на всех мужчин, даже на герцогов, а что касается бургграфов и маркграфов, так они пригодны лишь на то, чтобы нести шлейф ее платья; и прибавляла еще, что если она не будет держать их в повиновении, то они ее растопчут. Госпожа Империа еще признавалась служанкам своим, что в отличие от прочих мужчин, которых она лишь терпела, теперь, сколько бы она ни лелеяла посланное ей дитя любви, она все больше желала его нежить и не может обойтись без него, без ясных его очей, ослепляющих ее своими лучами, без коралловой его ветви, которой она жаждала и алкала всечасно. Она говорила еще, что если бы он только пожелал, она всю свою кровь позволила бы ему выпить, перси свои несравненные съесть, волосы свои отрезала бы ра-

ди него. Меж тем только один волосок свой дала она доброму императору римскому, каковой вшил его себе в воротник и берег как драгоценную реликвию; и поведала она также, что истинная ее жизнь началась лишь с той достопамятной ночи, ибо в объятьях Вилье де Лиль-Адана она трепещет от наслаждения, так что кровь ее приливает трижды к сердцу за краткое время, нужное мужке, чтоб слюбиться с другой. Услышав обо всем этом, немало мужей весьма огорчилось. При первом же своем выходе из дому госпожа Империа сказала римским дамам, что лишит себя жизни, если молодой рыцарь покинет ее, и что тогда, подобно царице Клеопатре, не замедлит она дать скорпиону или ехидне ужалить себя И под конец объявила весьма решительно, что отныне и навсегда она распрощалась со своими безумствами и докажет, что есть на свете добродетель, отрекшись от всей полноты своей власти ради вышеназванного Вилье де Лиль-Адана, которому она предпочтет стать служанкой, чем властвовать над всем христианским миром. Английский кардинал тщился убедить папу, что, ежели единая любовь к одному лишь мужчине завладела сердцем женщины, создан-
ной на утеху всем и каждому,— это низкое преступление и разврат и что папе-де следует запретить этот брак, ибо он оскорбляет все благородное общество.

Но любовь бедняжки Империи, которая искренне сожалела о своих горестных заблуждениях, была столь трогательна, что смягчила сердца даже самых беспутных кутил, оттого и замолкло злословие и каждый простил Империи ее счастье. Как-то во время поста Империа приказала своим слугам поститься, пойти к исповеди и обратиться помыслами к богу, сама же отправилась к папе, припала к его стопам, с таким усердием каясь в своей любви, что получила отпущение всем своим грехам, и тогда она укрепилась в вере, что отпущение, данное папой, вернет ее душе ту чистоту, которую, как она понимала, ей уже невозможно было принести в дар своему другу. Надо думать, что эта святая купель возымела немалую силу, ибо бедный отпрыск рода де Лиль-Аданов так запутался в расставленных тенетах, столь искусно был обойден, что вообразил себя в раю и забыл о переговорах, о своем короле, забыл любовь девицы Монморанси, забыл все на свете и решил жениться на гос-

поже Империи, чтобы прожить с нею всю жизнь и умереть вместе с нею. Таково было воздействие искусства великой обольстительницы, когда оно обратилось на благо истинной любви. Госпожа Империа дала на прощание королевское пиршество для своих голубков и голубчиков в высокоторжественный день бракосочетания, на которое съехались все итальянские принцы.

В народе говорили, что у невесты миллион золотом. И хотя велико было ее богатство, никто не осуждал де Лиль-Адана, а, наоборот, каждый поздравлял его, видя, что ни Империа, ни юный ее супруг нимало не пеклись о своих несметных сокровищах, ибо их занимало лишь сокровище любви, и помышляли они только о нем. Сам папа благословил их союз, сказав, сколь благостно видеть блудницу, обратившуюся к богу стезею брака. Итак, в последнюю ночь, когда все увидели, что царица красоты станет отныне просто хозяйкой замка во Франции, многие вздохнули о веселых днях, полуночных пирах, маскарадах, о забавах и о тех упоительных минутах, когда каждый открывал ей свое сердце; словом, они сожалели о всех радостях, которыми одаряла их восхитительнейшая из женщин, и она казалась им еще более прелестной, чем в весеннюю пору своей жизни, ибо сердце ее переполнял чрезмерный пыл и она сияла, как солнце. Многие сокрушались, что она возымела плачевную прихоть сделаться на закате дней своих честной женщиной; этим последним госпожа де Лиль-Адан шутливо отвечала, что после двадцати четырех лет, проведенных в стараниях всех услаждать, она честно заслужила отдых; на что ей возражали, говоря: как ни далеко солнце, каждый может погреться в его лучах, между тем как она не покажется им более. Воздыхателям своим Империа ответила, что у нее остались еще улыбки для тех, кто приедет посмотреть, как она играет роль добродетельной жены. И тут посланник английский сказал, что она способна на все, даже возвести добродетель на высочайшую ступень.

Каждому из своих друзей Империа оставила подарки и раздала значительную сумму денег бедным и сирым города Рима; затем она внесла немалую лепту в монастырь, куда мечтала удалиться ее дочь, и в храм, воздвигнутый на деньги, который отказал Феодоре кардинал

нал Рагузский, полученные ею в наследство от покойницы дочери.

Когда супруги отправились наконец в дорогу, их сопровождали до половины пути рыцари, одевшие по такому случаю траур, и простолюдины, пожелавшие госпоже Империи премного счастья, ибо она бывала сурова только с вельможами, а к бедным была неизменно добра. Красавица Империа, всеми признанная королева любви, была встречена празднествами во всех городах Италии, куда дошла весть о ее обращении: каждый жаждал увидеть столь любящих друг друга супругов, что является случаем редким. Иные владетельные принцы принимали при своем дворе счастливую чету, считая долгом оказать почет женщине, отрекшейся от своей власти над всеми сердцами ради того, чтоб стать добродетельной женой. Однако ж среди принцев нашелся один злоречивый — то был монсеньор герцог Феррарский, который сказал де Лиль-Адану, что его великое богатство недорого ему стоило. После этой обиды Империа показала, сколь благородно ее сердце: все деньги, полученные от милых ее голубков, она пожертвовала на украшение храма святой Марии, что в городе Флоренции; а герцог д'Эсте, хвалившийся, что он отстроит храм вопреки скудости своих доходов, стал предметом насмешек; брат же его, кардинал, тоже строго его осудил. Империа сохранила только личное свое состояние и то, что от великих своих щедрот пожаловал ей император ради их дружбы, когда расстался с ней; впрочем, все это составляло немалое богатство Молодой Лиль-Адан вызвал названного герцога Феррарского на поединок и ранил его. Так что честь госпожи де Лиль-Адан и супруга ее ни в чем не потерпела ущерба. Рыцарский сей поступок послужил тому, что на всем пути следования новобрачных им устраивали торжественные встречи, особенно же в Пьемонте, где богатые пиршества следовали одно за другим. Стихи, сонеты, эпиталамы и оды, сочиняемые в их честь поэтами, к сожалению, никем не были собраны, но и наипрекраснейшая поэзия была бы слишком слаба, чтобы достойно воспеть красавицу Империю, которая, по словам мессира Боккаччо, сама была поэзией.

Но в сем состязании празднеств и любезности одержал верх император, который, проведав о глупой выход-

ке герцога Феррарского, отправил к своей милой Империи гонца с посланиями, собственноручно написанными им по-латыни, в которых он повторял, что любит ее ради ее самой и радуется за нее, хоть и грустит, что не он сам стал причиной и творцом ее счастья; писал он также, что отныне утратил право одаривать ее, но, ежели король Франции примет ее не слишком радушно, он почтет за честь принять отпрыск рода де Лиль-Аданов в Священную Римскую империю и даст ему любое княжество, которое рыцарь выберет из всех его владений. На что красавица Империа приказала ответить, что она хорошо знает, как щедр и великодушен император, однако ж, если даже пришлось бы ей снести во Франции тысячу оскорблений, она твердо решила окончить там свои дни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЗАМУЖЕСТВО ИМПЕРИИ

Не зная, что за жизнь ее ждет, госпожа де Лиль-Адан не пожелала показываться при дворе и поселилась в окрестностях Парижа, где супруг поместил ее в превосходном доме, купив графское поместье Бомон, что дало повод к толкам и пересудам по той причине, что фамилия эта упоминается в наипрекраснейшей книге досточтимого господина Рабле. Де Лиль-Адан-младший приобрел также владение дворян Нуа-Антель, лесные угодья Гарнель, Сен-Мартен и другие земли, смежные с поместьем Лиль-Адан, где жил его старший брат, Вилье. Приобретя названные поместья, он стал самым могущественным феодалом во всем графстве Парижском. В своем поместье Бомон отстроил он роскошный замок, наполовину разрушенный англичанами, и украсил его разной мебелью и утварью, занавесями, заморскими коврами, приобретенными его супругой, каковая во всех искусствах была претонкой ценительницей, и посему замок Бомон своим великолепием и роскошью превзошел самые прославленные в те времена замки. Супруги жили на радость всем столь счастливо, что в Париже и при дворе только и было разговоров, что об их браке и о счастье мессира де Бомон, а более всего о совершенствах и скромной жизни его супруги, которую по-прежнему друзья именовали гос-

пожой Империей; была она отнюдь не горда и не жестока, как сталь, наоборот, имела все качества и достоинства добродетельной жены и могла в том послужить примером самой королеве. Тоже и святая церковь возлюбила ее за усердие в вере, ибо никогда Империа не забывала господа; по ее словам, она смолоду не обходила церковнослужителей, и не раз бывали у нее шашни с аббатами, епископами, кардиналами, кои окропляли ее святой своей водой и за пологом кровати давали отпущение грехов, радея о спасении ее души. Добрая слава об Империи привела в Бовуази, что по соседству с Бомон, самого короля; пожелав увидеть это несказанное чудо в облике прекрасной жены, он оказал честь мессиру де Бомон, остановившись у него в замке; в течение трех дней шла королевская охота, в которой участвовала и королева со всем двором. И сам король не менее, чем королева и все придворные, был восхищен госпожой Империей, и за приветливое обхождение ее провозгласили совершенством любезности и красоты. И первым король, а вслед за ним королева и каждый присутствующий поспешили осыпать поздравлениями де Лиль-Адана, избравшего себе столь прекрасную жену. Своею скромностью Империа достигла больше, нежели добилась бы она надменностью; ее пригласили ко двору и просили бывать всюду, куда бы она ни пожелала прибыть,— столь велико было обаяние ее большого сердца и ее великой любви к супругу. И то сказать, под покровом добродетели прелесть этой женщины приобрела еще большее очарование. Король пожаловал Лиль-Адану должность наместника Иль-де-Франс и прево города Парижа, титул виконта де Бомон и вскорости назначил губернатором всей провинции — так он вошел в число самых видных вельмож при дворе. Однако ж сердцу госпожи де Бомон в то знаменательное посещение короля нанесена была рана: некий злопыхатель, завидуя этому безоблачному счастью, спросил Империю, как бы шутя, поведал ли ей супруг о первой своей любви к девице Монморанси, которой исполнилось ныне двадцать два года, принимая во внимание, что ей было шестнадцать, когда виконт де Бомон сочетался в Риме браком, и девица эта столь сильно его любила, что никого не пожелала взять в мужья; ныне она угасает, томясь в безбрачии, не в силах забыть своего милого, и

собирается удалиться в Шелльскую обитель. В течение шести лет замужества Империа ни разу не слышала от мужа это имя и заключила отсюда, что истинной возлюбленной была она сама. И впрямь, годы эти пролетели как единый день, и мнилось влюбленным, что их брак совершился лишь вчера, и каждая ночь для них была брачной ночью, и если графу случалось отбыть ненадолго по какому-либо делу, он грустил, расставаясь с женой, и тосковал, не видя ее, так же, как и она страдала, не видя его. Король, крепко любивший графа, однажды сказал ему слово, будто шипом вонзившееся в его сердце: «Имеешь ли ты детей?» На что Бомон ответил так, словно ему в кровавую язву вложили перст: «Государь, у брата моего есть потомство, следовательно, род наш имеет продолжателей... Но случилось, что оба сына его брата погибли злой смертью: один упал с коня на турнире, другого унес недуг. Старший де Лиль-Адан столь скорбел об этой утрате, что вскоре и сам умер с горя, так сильно любил он своих сыновей. Следствием сего оказалось, что графство Бомон, земли Гарнель, Сен-Мартен, Нуантель и ближайшие поместья с принадлежащими им лесами приобщены были к феоду Лиль-Аданом, и младший Лиль-Адан стал старшим в роде. К тому времени супруге его минуло сорок пять лет, и она была еще способна произвести потомство, ибо сохранила свою свежесть и гибкость мышц, однако она не зачинала. И видя, что роду их грозит угаснуть, она решила во что бы то ни стало подарить своему супругу младенца, каковой носил бы славное имя Лиль-Аданов. Ни разу в течение семи лет замужества у Империи не возникало подозрения в беременности, и потому она прибегла к совету одного лекаря, тайно выписанного ею из Парижа; этот ученый муж сказал, что ее бесплодие проистекает оттого, что оба они, и она и супруг, более любовники, нежели супруги, ибо постоянно в избытке дарят друг другу наслаждения, а это препятствует зачатию. Тогда Империа как добрая жена порешила в течение некоторого времени принимать супруга своего с превеликим спокойствием, уподобляясь в том курице при ее соединении с петухом, ибо названный ученый объяснил ей, что в природе не бывает прохолоста, потому что самки не прибегают ни к каким ухищрениям, заигрываниям и причудам, кото-

рые служат для приманки; недаром же этих божьих тварей называют просто «животные». Поэтому Империа дала обещание предать забвению все измышленные ею сладостные забавы и не играть более своими прелестями. Она стала вести себя скромно, наподобие некой немецкой баронессы, которая до того неподвижна и холодна была, что ее супруг, не распознав, что она преставилась, возлег с нею на ложе, после чего несчастному барону пришлось отправиться в Рим молить у папы отпущение греха, а святой отец издал знаменитый указ, в коем он обращался к женщинам Франции и наставлял их двигаться слегка, будучи на супружеском ложе, чтоб такой грех больше не повторялся. Несмотря на примерное свое поведение, госпожа Империа не зачала и впала оттого в великую печаль.

Вскоре стала она замечать, как грустит подчас ее муж, и подглядела, как он украдкой плачет, горюя, что любовь их не приносит плода. Отныне супруги смешали свои слезы, ибо в их совершенном браке все было общее, и ничего они не таили друг от друга, так что мысль одного становилась мыслью другого. Когда Империи случалось увидеть ребенка какого-нибудь бедняка, она приходила в отчаяние и целый день не могла найти покоя. Видя скорбь любимой супруги, Лиль-Адан приказал, чтоб дети не попадались на глаза госпоже Империи, и, обращая к ней слова утешения, говорил, что дети часто идут путями зла, на что она отвечала, что дитя, рожденное ими, столь любящими друг друга, было бы самым прекрасным на свете. Он говорил, что их ребенок мог бы погибнуть, подобно сыновьям его несчастного брата, на что она возражала, что своих детей не отпускала бы от себя ни на шаг, взяв пример с курицы, которая зорко следит за цыплятами круглым своим глазом. Итак, на все у нее был готов ответ. Империа тогда призвала к себе одну женщину, подозреваемую в колдовстве,— как говорили люди сведущие, природа открыла ей все свои тайны. Женщина эта сказала, что ей доводилось часто видеть, что жены не рожали, несмотря на все их усердие, и оказались в тягости, лишь переняв повадку скотов, которой нет проще. Империа решила этому совету последовать, но и тогда ничего не произошло, живот ее не вздувался и оставался тверд и бел, как мрамор. Вновь она обрати-

лась к парижским лекарям и послала за прославленным арабским врачом, приехавшим во Францию, желая открыть ученым новую науку. Названный врач, прошедший школу Аверроеса, произнес над Империей жестокий приговор: по той причине, что она принимала на своем ложе множество мужчин, покоряясь всем их прихотям, как она имела обыкновение поступать, творя свое ремесло куртизанки, она раз и навсегда погубила в себе некие грозди, к коим матерь наша природа прикрепляет яйцо, которое после оплодотворения созревает в утробе матери, и при разрешении от бремени вылупливается из него детеныш; то бывает у всех млекопитающих, доказывается сие тем, что нередко новорожденный тащит за собой и свою скорлупу. Подобное объяснение всем показалось нелепым, скотским, бессмысленным, противоречащим святому писанию, каковое утверждает величие человека, созданного по образу и подобию божию, а также противоречащим установленным учениям, а следовательно, здравому разуму и истине. Парижские ученые подняли такие речи на смех, и арабскому лекарю пришлось оставить Медицинскую школу, где с тех пор имя Аверроеса, коего он чтил, не упоминалось. А все столичные знахари, к которым втайне обращалась Империа, толковали ей, что она может смело идти тем путем, каким шла, раз она в те дни, когда жила для любви, родила кардиналу Рагузскому дочь Феодору. Способность рожать сохраняется у женщины, пока естество ее подчинено влиянию луны, и супругам следует лишь усилить старания. Такой совет показался Империи разумным, и она приумножила число своих побед, но и количество своих поражений, ибо срывала цветы, не получая плодов. Бедная страдалица написала тогда папе, каковой весьма любил ее, и поверила ему свою скорбь. Добрый папа в милостивом послании, написанном собственной рукой, ответил ей, что там, где человеческая мудрость и мирские попечения бессильны, следует обратиться к помощи небесной и вымолить милость всевышнего. Тогда Империа порешила идти босая вместе с супругом в город Лиесс помолиться у алтаря святой девы Марии Лиесской, известной своим предстательством перед господом в подобных случаях. Империа дала обет построить в этой обители великолепный храм в благодарность за зачатие ребенка. Но она

лишь понапрасну избила и изранила свои прекрасные ножки, она понесла в себе только жестокую скорбь, столь истерзавшую красавицу, что прекрасные ее волосы поредели и даже заблестела в них седина. Спустя недолгое время возможность материнства у Империи иссякла, отчего стали донимать ее некие жаркие испарения, выделяющиеся из гипохондрических органов, и пожелтела белая ее кожа. Ей минуло тогда сорок девять лет, жила она в своем замке де Лиль-Адан, с каждым днем худея, как прокаженная на больничной койке. Бедняжка отчаивалась, тем более что Лиль-Адан по-прежнему любил ее, был неизменно добр к ней, хоть она и не исполнила своего долга жены по той причине, что в течение многих лет слишком часто уступала желанию мужчин, и теперь, следуя собственному ее презрительному изречению, стала ни на что не годной, как старая утварь в хозяйстве.

Как-то вечером, когда особенно тяжело было у нее на сердце, она, вздохнув, сказала:

— Увы, наперекор церкви, королю, наперекор всему, госпожа де Лиль-Адан осталась все той же скверной Империей.

Она едва могла сдержать ярость, глядя на супруга, находившегося в цвете лет, обладающего всем, о чем мог он мечтать: богатством, милостью короля, безмерной любовью жены, лишь одному ему даримыми несравненными усладами; и при всем том недоставало ему, главе знатного рода, лишь одного: увидеть свое потомство. Чем больше она об этом думала, тем больше желала умереть, вспоминая, как был он добр и снисходителен к ней, не исполнившей своего долга жены, не родившей ему ребенка и уже не могущей родить. Скрыв свою печаль глубоко в сердце, она решилась принести жертву, достойную великой любви; и прежде чем осуществить свое геройское намерение, удвоила она любовь свою, прилежней прежнего стала холить свою красоту, следовала наставлениям ученых, желая сохранить ее во всем блеске, в чем и преуспела.

В то время дворянину Монморанси, наконец, удалось склонить свою дочь к замужеству, и повсюду шли толки о предстоящем ее браке с неким дворянином Шатильоном. Однажды госпожа Империа, отослав своего му-

жа на охоту, сама отправилась за три мили в соседнее поместье Монморанси, где обитала тогда вышеназванная девица. Подъехав к воротам, Империа вошла в сад и велела слуге оповестить молодую госпожу, что некая незнакомая дама прибыла по весьма неотложному делу и просит принять ее. Весьма смущенная словами слуги, который пространно доложил о красоте и любезном обхождении незнакомки, а также о пышной ее свите, девица Монморанси поспешила спуститься в сад, где и встретилась со своей соперницей, которая и в самом деле была ей незнакома.

— Дорогая моя,— проговорила несчастная Империа, обливаясь слезами при виде девицы, столь же юной и прекрасной, какой и она была когда-то,— вас принуждают выйти замуж за господина Шатильона, хотя вы любите графа Бомона. Но верьте моему пророчеству и запомните: тот, кого вы любите, изменил вам лишь потому, что попал в тенета, в каких и ангел запутался бы, и он освободится от своей старой жены прежде, чем листья спадут с деревьев. А тогда ваша верная любовь будет увенчана цветами. Итак, найдите в своем сердце твердость, откажитесь от предложенного вам замужества, и вы найдете счастье с любимым. Поклянитесь мне крепко любить графа, самого благородного из мужчин, никогда не огорчайте его, умолите его передать вам все тайны любви, открытые ему госпожой Империей, ибо, следуя им, для вас, такой юной, нетрудно будет изгладить из памяти его воспоминание о старой женщине.

Девица Монморанси, пораженная подобными речами, не нашлась, что ответить сей королеве красоты, которую она приняла за некую фею, и осталась бы при том убеждении, если б один из работников не сказал ей, что дама эта не кто иная, как сама госпожа де Лиль-Адан. Хотя посещение Империи показалось девице Монморанси загадочным, однако она объявила отцу, что даст ответ на сделанное ей предложение лишь осенью: ведь любовь верит всем нелепым обольщениям, которыми манит ее, как медовыми пряниками, надежда, коварная, но любезная сердцу подруга. Когда начался сбор винограда, Империа целый месяц не отпускала от себя мужа, дарила ему столь жгучие наслаждения и с такой щедростью, что любой бы решил, что она задалась целью довести его до бессилия, а

самому ему казалось, что каждую ночь приходит на его ложе другая женщина. Наутро Империа просила мужа не забывать ее любви, в которой достигла она высшего совершенства.

И еще говорила, желая узнать все мысли друга:

— Бедный мой Лиль-Адан, мы с тобой неразумно поступили! Двадцатилетний юноша женился на старухе, которой тогда было под сорок.

На что отвечал он, что был весьма счастлив, что многие завидовали ему, и ни одной девушке не сравниться с ней, и пусть она состарится, ему милы будут даже ее морщины, и уверял, что и в могиле она будет прекрасна и ее косточки для него дороги.

Слыша такие ответы, исторгавшие слезы из ее глаз, она однажды утром лукаво заметила, что девица Монморанси весьма хороша собой и до сих пор хранит ему верность. На эти речи Лиль-Адан ответил, что она огорчает его, напомнив ему единственную вину, которую он за собой знает, а именно: измена слову, данному первой своей милой. Но ведь любовь к ней Империа сама погасила в его сердце. Выслушав это чистосердечное признание, она крепко обняла друга и прижала к себе, тронутая его прямотою, ибо другой на его месте был бы разгневан.

— Дорогой друг мой,— промолвила она,— вот уже несколько дней, как я страдаю от боли, сжимающей мое сердце; это сжатие еще в юные годы угрожало мне смертью, приговор этот подтвердил и арабский врач. Если уж суждено мне умереть, то прежде я хочу услышать от тебя нерушимую клятву рыцаря — взять себе в жены девицу Монморанси. И я так уверена в близости конца своего, что оставляю тебе все мое состояние при условии этого брака.

Услышав подобные слова, граф побледнел и ноги у него подкосились при единой мысли о вечной разлуке с женой.

— Да, дорогое сокровище любви моей,— продолжала она,— бог карает меня тем, чем я грешила, ибо великие наслаждения, вкушенные нами, расширили мне сердце и, по словам арабского медика, утончили мои сосуды, каковые должны порваться во время равноденствия. Я же всегда молила господа отнять у меня жизнь,

когда я достигну теперешних моих лет, ибо не хочу видеть, как погибнет моя красота от руки времени.

И тогда великодушная и благородная жена познала, сколь она была любима. Вот как ей была принесена величайшая жертва любви, которая когда-либо могла быть совершена на земле. Ей ли не были ведомы упоительные, сладостные игры любви, нежные ласки, на которые она не скупилась, все обольстительные утехи супружеского ложа, так что бедный Лиль-Адан предпочел бы умереть, нежели лишиться любовных лакомств, которыми она его щедро баловала. И в ответ на ее признание, что в любовном исступлении сердце ее разобьется, супруг бросился к ногам Империи и сказал, что ради сохранения ей жизни он никогда более не станет домогаться ее объятий, ибо счастлив одним уж ее лицезрением, одним присутствием, и всю свою отраду полагает отныне в нежном поцелуе и прикосновении к краю ее платья. Она же, обливаясь слезами, отвечала ему, что охотнее отдаст свою жизнь, чем потеряет хоть единый цветок от куста роз, и что она желает погибнуть, как и жила, ибо, к счастью своему, умеет, если ей необходимо, привлечь к себе на ложе мужчину, не потратив для того хотя бы одно слово.

Здесь надо сказать, что Империа получила драгоценный подарок от вышеназванного кардинала, и свой дар этот блудодей именовал кратко: «In articulo mortis», что означает: «На случай смерти». Простите мне три этих латинских слова, но так говорил сам кардинал. То был флакон из тонкого венецианского стекла, размером не крупнее боба, и заключал он в себе яд столь губительной силы, что стоило лишь раскусить флакон, и смерть наступала мгновенно и без всяких мук. Кардинал получил оный флакон от самой Тофаны, прославленной на весь город Рим составительницы ядов. Стеклянный тот флакончик был вправлен в перстень и защищен от всякой случайности золотою пластинкой. Уже не раз злосчастная Империа подносила к губам флакон, но не могла решиться разгрызть его, ибо еще жаждала объятий, которые должны были стать для нее последними. И она снова и снова упивалась ласками супруга, порешив, что, когда испытает самый совершенный восторг любви, тут же раскусит стекло.

Несчастное создание рассталось с жизнью в ночь на

первое октября. Тогда в лесах и в облаках раздался крик, стенания, как будто взывали духи любви: «Умер великий Нок!», подобно тому, как языческие боги, узнав о пришествии в мир нашего спасителя, умчались в небо, восклицая: «Умер великий Пан!» Вопли эти были услышаны многими мореплавателями в Эгейском море, и сие событие упоминается в трудах одного из отцов церкви.

Госпожа Империа на смертном одре была пощажена тлением, столь милостив был создатель, желая сохранить образ безупречной красы. Говорят, что румянец не сходил с ее щек, ибо осенял ее своими пылающими крыльями дух наслаждения, с плачем склоняясь над ее ложем. По повелению скорбевшего супруга все облеклись в траур; и нимало не подозревал он, что умерла Империа, дабы освободить его от бесплодной жены; лекарь же бальзамировщик не открыл ему истинной причины ее смерти. Великодушное это деяние открылось де Лиль-Адану через шесть лет после его брака с мадемуазель Монморанси, когда простушка поведала ему о посещении госпожи Империи. Несчастный Лиль-Адан впал в глубокую тоску и вскоре умер, будучи не в силах забыть те радости любви, которые не умела воскресить его незадачливая супруга, и это доказывает справедливость суждения тех времен, будто Империа никогда не умрет в том сердце, где она царила.

Учит же это нас тому, что истинную добродетель постигают только те, кто против нее грешил, ибо среди самых добродетельных жен, как бы мы ни превозносили сих благочестивых особ, вряд ли нашлась бы хоть одна, которая решилась бы пожертвовать, подобно Империи, своей жизнью ради любви.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ОБ ЕКАТЕРИНЕ МЕДИЧИ

Книга «Об Екатерине Медичи» состоит из введения и самостоятельных трех эпизодов, причем каждый эпизод создавался как отдельный рассказ. Первым был опубликован рассказ «Два сна» (III часть книги) в журнале «Мода» в 1830 году; в том же году рассказ появился в журнале «Ревю де Де Монд» под новым названием «Дружеский ужин. Фантастическая сказка». В примечании от редакции было написано: «Этот отрывок один из наиболее значительных среди тех, что составят книгу, над которой господин де Бальзак уже давно работает и которая будет называться «Сцены политической жизни». В 1831 году рассказ «Два сна» был включен в «Философские романы и повести».

Вторая часть книги «Об Екатерине Медичи» — «Тайна братьев Руджери» — была впервые напечатана в журнале «Кроник де Пари» в декабре 1836 — январе 1837 года. В том же году «Тайна братьев Руджери» была включена в тринадцатый том «Философских этюдов».

Над I частью книги «Мученик-кальвинист» Бальзак начал работать в 1835 году, но закончил ее лишь в 1841 году. Рассказ был опубликован в мартовских и апрельских номерах газеты «Сьекль» за 1841 год. В письмах Бальзака рассказ этот неоднократно упоминался под различными названиями: «Мученик», «Меховщик королевы», «Сын меховщика», «Лекамю, или Екатерина Медичи в ловушке».

В 1842 году Бальзак пишет «Введение» и решает объединить все три рассказа об Екатерине Медичи. Однако эта книга, о которой он писал Ганской в апреле 1843 года, вышла гораздо позже, только в 1845 году, под заглавием «Объясненная Екатерина Медичи». (Дата издания указана — 1843 г.) В 1846 году книга была включена в пятнадцатый и шестнадцатый тома первого издания «Человеческой комедии» — в раздел «Философские этюды», под окончательным заглавием «Об Екатерине Медичи».

Еще в 1836 году Бальзак в тетради, озаглавленной «Мысли, сюжеты, фрагменты», записал свое решение перенести некоторые исторические повести и романы из «Сцен политической жизни» в «Философские этюды»: «Решил включить в «Философские этюды» столько исторических произведений, сколько было во Франции исторических эпох, начиная с нашествия франков до 1800 года, чтобы показать опустошение, производимое идеями в политике, в жизни общества, показать то, что составляет сущность века, его антагонизм, и все это описать в духе «Секрета Руджери» — всего около пятнадцати сцен». Бальзак хотел создать серию исторических романов, своеобразную романизированную историю Франции, проследить развитие некоторых идей и проблем, которые его особенно волновали.

Бурная и сложная эпоха религиозных войн XVI века, время царствования последних Валуа, давно привлекала писателя. Еще в начале своего творческого пути, в 20-х годах, он задумывает несколько произведений, посвященных XVI веку, в том числе роман «Дочь королевы» («Варфоломеевская ночь»). Однако все эти замыслы остались неосуществленными. В середине 30-х годов, уже работая над отдельными частями книги «Об Екатерине Медичи», Бальзак хотел написать также историческую драму «Мари Туше», но затем он отказался от этого намерения, использовав сюжетный материал для «Тайны братьев Руджери».

Все три различные по сюжету эпизода книги «Об Екатерине Медичи» объединены в одно целое общим идейным замыслом. Книга эта является своего рода политическим трактатом, изложением основных принципов политической доктрины писателя.

В этом отношении особый интерес представляет «Введение». В письме к Ганской от 7/IV 1843 года Бальзак писал: «Предисловие написано в духе монархизма, в нем высказываются идеи абсолютной защиты политики Екатерины Медичи, а также

борьбы католицизма против этого ужасного протестантизма, что нас разъедает».

Известно, что Бальзак считал себя монархистом-легитимистом и разделял иногда точку зрения защиты католицизма. В предисловии к «Человеческой комедии», написанном одновременно с «Введением», он писал: «Я пишу при свете двух вечных истин: религии и монархии». Однако легитимизм Бальзака не означал у него защиты узких интересов класса дворянства. Его взгляды далеко не совпадали со взглядами ортодоксальной монархической партии. Легитимизм Бальзака, его поддержка идеи монархии были вызваны его антибуржуазными настроениями, связаны с его выступлениями против господства буржуазии, с неприятием буржуазной Июльской монархии Луи-Филиппа. Власть буржуазии для Бальзака — это царство безудержной алчности, ничем не сдерживаемого стяжательства, царство эгоистических страстей, разнузданного индивидуализма.

Бальзак, идеализируя абсолютную монархию, пытался найти в ней силу, способную побороть эгоистический индивидуализм буржуа, ценил ее за то, что она сумела преодолеть и сломить непокорных, буйных феодалов. Бальзак утверждал, что государство должно опираться на твердую, сильную централизованную власть. Легитимизм Бальзака объясняет его отношение к Екатерине Медичи, которая воплощает для него основной принцип абсолютной монархии: «единый бог, единая вера, единый господин».

Бальзак идеализирует личность Екатерины Медичи, защищает ее от суда потомков, от суда истории, изображает ее умной, сильной правительницей, спасительницей Франции. Он даже снимает с нее обвинение в жестокостях Варфоломеевской ночи.

Екатерина Медичи, как пишет Бальзак, пошла на избиение гугенотов отнюдь не из религиозного фанатизма, от которого она совершенно свободна. Варфоломеевская ночь была вызвана государственной необходимостью, желанием удержать французский трон от крушения. Оправданию политики Екатерины Медичи посвящена и III часть книги — «Два сна».

Для Бальзака Робеспьер, беседующий с тенью Екатерины Медичи,— продолжатель дела протестантов, идей Кальвина, которые в свое время тоже угрожали существованию монархии. Протестантизм, отмечает Бальзак, означал крушение абсолютного авторитета церкви, вел к развитию духа сомнения, независи-

мости, самостоятельности, а это все разрушало устои монархии.

Робеспьер — противник монархии, за сохранение которой с такой жестокостью боролась Екатерина Медичи. Но наряду с этим в политической деятельности Екатерины Медичи и Робеспьера Бальзак подчеркивает и нечто общее — стремление укрепить государство. С точки зрения Бальзака, и власть монарха и власть народа сохраняет целостность государства, нации, в то время как власть буржуазии приводит лишь к разгулу всепожирающего эгоизма, к распадению общественных и социальных связей. Бальзак писал в 1841 году в «Письмах о литературе, театре и искусстве»:

«Если я не могу жить в абсолютной монархии, тогда я предпочитаю республику низким, ублюдочным, бездейственным и беспринципным правительствам. Я преклоняюсь перед королем божьей милости, я восхищаюсь избранником народа» (письмо 2). В этих взглядах Бальзака проявился его идеализм, непонимание различного классового характера государственной власти.

Работа над книгой «Об Екатерине Медичи» потребовала от Бальзака изучения огромного исторического материала: хроник, мемуаров, работ историков. С большой точностью и тщательностью воссоздает писатель эпоху XVI века, с любовью описывает старый Париж, патриархальный быт парижских торговцев, ремесленников.

Действие I части, «Мученик-кальвинист», относится к 1560 году, ко времени так называемого Амбуазского заговора кальвинистов. Героем этого рассказа Бальзак делает Кристофа Лекамю, сына меховщика. С большой симпатией рассказывает писатель об этом человеке простого звания, проявившем бескорыстие, героизм, верность своему слову. Бальзак противопоставляет благородство и цельность характера Кристофа тщеславию и вероломству придворных, жестокости и нетерпимости Кальвина. Кристоф занимает достойное место в ряду образов положительных героев, созданных писателем.

Действие II части, «Тайна братьев Руджери», происходит через 13 лет, после Варфоломеевской ночи, в царствование Карла IX. Образ Карла IX в книге также идеализирован. Этого ничтожного, безвольного и жестокого короля Бальзак изображает человеком с чуткой, нежной душой артиста, жертвой дворцовых интриг.

Реализм Бальзака, его умение постигать скрытые причины общественных явлений, законы общественного развития нашли

свое выражение в глубоком и правильном понимании характера и сущности религиозных войн 1562—1593 годов.

Так называемые религиозные войны были войнами гражданскими. Бальзак совершенно правильно подчеркивает, что враждующие партии меньше всего интересовались вопросами религии. Боролись политические партии, сталкивались различные социальные интересы. Писатель показывает истинные цели враждовавших социальных кругов общества. Буржуазия поддерживала гугенотов, считая, что пора очистить Францию от монахов и вернуть их имущество короне, которая рано или поздно продаст его ей, буржуазии.

Религиозные споры прикрывали борьбу за власть дворянских кругов, борьбу личных интересов, стремление честолюбцев. В ходе «религиозных войн» дворяне-католики меняли свою религию на кальвинизм столь же легко, как дворяне-гугеноты меняли кальвинистскую веру на католическую. И лидеры гугенотов: Антуан Бурбонский, принц Конде, Генрих Наваррский, адмирал Колиньи,— и лидеры католической партии герцоги Гизы стремились прежде всего к власти. Клика Гизов изображала защитницу престола и «истинной» католической веры, хотя французские короли боялись этих защитников ничуть не меньше, чем «врагов-гугенотов». Честолюбие, стремление к неограниченному господству, крайнюю нетерпимость подчеркивает Бальзак и в образе Кальвина.

Несмотря на ряд исторических ошибок, сказавшихся прежде всего в идеализации Екатерины Медичи и Карла IX, книга Бальзака интересна живым и ярким изображением религиозных войн и жизни XVI века.

Книга «Об Екатерине Медичи» впервые полностью переведена на русский язык для данного издания, А. М. Шадриным и печатается под редакцией Ю. Б. Корнеева.

Стр. 5. *Маркиз де Пасторе*, Амедей Давид (1791—1857) — член французской Академии Искусств. Монархист по своим убеждениям. В типографии Бальзака в 1828 году была напечатана его работа по истории «Герцог де Гиз в Неаполе, или Заметки о революциях в этом государстве в 1647 и 1648 гг.».

...не говоря уж о том уксусе, каким отдельные ученые приправляли Альпийские горы...— Согласно рассказу римского историка Тита Ливия, карфагенский полководец Ганнибал (Аннибал), наткнувшись на утес, преграждавший дорогу в Альпах, приказал разжечь у его подножия огромный костер и затем поливать

раскаленный камень уксусом. Утес дал трещины и упал. (Эпизод из 2-й Пунической войны между Римом и Карфагеном 218 г. до н. э.).

Стр. 6. *Битва при Каннах* — эпизод из 2-й Пунической войны. Ганнибал сумел окружить превосходящие силы противника и разбил римское войско.

Эпоха Реформации — борьба за реформу католической церкви, начавшаяся в Германии в начале XVI века и охватившая большинство стран Западной Европы.

Лютер и Кальвин — вожди Реформации. *Мартин Лютер* (1483—1546) — немецкий монах, деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии. *Жан Кальвин* (1509—1564) — деятель Реформации, основатель кальвинистского учения, распространившегося главным образом во Франции, Англии, Швейцарии. Кальвин отличался крайней религиозной нетерпимостью.

Стр. 7. *Бенедиктинцы.*— Монастыри бенедиктинского ордена славились в средние века своими летописцами и учеными-комментаторами, которые опубликовали ряд исторических работ и справочников, среди них «Искусство проверять даты».

Стр. 8. «*...Уолпол пытается истолковать личность Ричарда III*».— Английский писатель Орас Уолпол (1717—1797) опубликовал в 1768 году книгу «Сомнения историка относительно жизни и царствования Ричарда III», где он сопоставляет и анализирует различные факты из жизни Ричарда III.

...английской истории или песенке о Мальбруке.— Имеется в виду французская народная шутливая песенка «Мальбрук в поход собрался», высмеивающая английского полководца герцога Мальборо (1650—1722).

«*Мемориал острова святой Елены*» — то есть дневник Наполеона I, написанный им (вернее, продиктованный) во время ссылки на острове св. Елены (1815—1821).

Аббат де Прадт, Доменик (1759—1837) — занимался политической и дипломатической деятельностью, отличался большой беспринципностью, занимал высокие посты при Наполеоне I; во время Реставрации разыгрывал роль либерала, выступал с разоблачением личности и политики Наполеона.

Стр. 9. ...*о произведенном князем Полиньяком государственном перевороте.*— Речь идет об ультрамонархической политике Полиньяка, премьер-министра при Карле X. По инициативе По-

линьяка, стремившегося задушить республиканское оппозиционное движение, были приняты так называемые Июльские ордонансы, ограничивающие свободу печати, вводящие новый реакционный избирательный закон. Ордонансы явились поводом к событиям Июльской революции 1830 года.

...подобно тому как Бомарше мстил Бергассу... — Никола Бергасс — французский адвокат, выступал на процессе против драматурга Бомарше (конец XVIII в.). Последний изобразил его в лице подлого интригана Бежеарса в своей комедии «Преступная мать» (3-я часть трилогии о Фигаро).

Битва при Азенкуре. — В 1415 году английская армия, возглавляемая королем Генрихом V, под Азенкуром разбила французское войско.

Аретино, Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель, драматург, публицист, гуманист эпохи Возрождения, был известен своими язвительными, остроумными памфлетами против папского двора и монархов Европы, получил прозвище «бич государей».

Брунгильда — жена короля северо-восточных франков Зижибера (VI в.), властная и жестокая; в истории известна ее вражда с Фредегондой, второй женой короля западных франков: Фредегонда отравила первую жену короля Хильдерика I — сестру Брунгильды.

Мария Медичи (1573—1642) — французская королева, вторая жена Генриха IV; после убийства Генриха IV правила страной во время малолетства Людовика XIII; во главе непокорной знати воевала затем с сыном, была им изгнана из Франции в 1630 году.

Стр. 10. *...в день 11 ноября.* — 11 ноября 1630 года (День одураченных) придворные аристократы, вдохновляемые королевой Марией Медичи, попытались устранить кардинала Ришелье, фактического правителя Франции. Эта попытка кончилась неудачей.

Гизы — герцоги Гизы — крупные французские феодалы, младшая ветвь так называемого Лотарингского дома, владевшего некогда Лотарингией, потомки Карла Великого, претендовали на французский престол; в XVI веке герцоги Гизы возглавляли католическую партию.

...дом Бурбонов — боковая ветвь королевского рода Капетингов, к которому принадлежала также и царствовавшая в XVI веке династия Валуа.

Лотарингские кардиналы — Шарль де Гиз, кардинал Лотарингии, и его брат кардинал Людовик Лотарингский; имели в XVI веке большое влияние при французском дворе.

Оба Балафре.— Балафре (фр.) — изуродованный шрамом, меченый — прозвище двух герцогов де Гиз: Франсуа, имевшего большое влияние на короля Франциска II, сына Екатерины Медичи, так как жена короля — Мария Стюарт — была его племянницей, и его старшего сына Генриха де Гиз.

Оба принца Конде — представители боковой ветви дома Бурбонов, возглавляли партию протестантов, выступавшую против влияния партии Гизов. *Принц Луи Конде* (1530—1569) — глава протестантов (кальвинистов), дядя Генриха Бурбона Наваррского (Генриха IV), возглавлял Амбуазский заговор протестантов в 1560 году. *Принц Генрих Конде*, его сын, двоюродный брат Генриха Наваррского.

Жанна д'Альбре (1528—1572) — королева Наваррская, жена Антуана Бурбона, мать Генриха д'Альбре, ставшего после смерти отца королем Наваррским, а впоследствии, в 1594 году, французским королем Генрихом IV, положившим начало династии Бурбонов.

Коннетабль — до 1627 года главнокомандующий французской армией.

Кальвин — см. примеч. к стр. 6.

Колиньи, Гаспар (1519—1572) — французский адмирал, один из вождей гугенотов, отличался большой храбростью, был убит католиками.

Теодор де Без (1519—1605) — ближайший ученик Кальвина, возглавлял кальвинистскую религиозную общину во Франции, талантливый проповедник.

Младшая ветвь королевской фамилии — то есть Бурбонский дом.

...следы измены коннетабля Бурбона.— Коннетабль Бурбон (1490—1527) перешел на службу к испанскому королю и германскому императору Карлу V и воевал против Франции.

Стр. 11. *Де Ту*, Жак-Огюстен (1553—1617) — французский историк, автор книги «История моего времени».

...водрузив на площади огромную каменную глыбу, привезенную из Египта.— Имеется в виду Луксорский обелиск, древнейший египетский памятник, находившийся на месте древних Фив; установлен в Париже в 1836 году на площади Согласия.

Аббатство — то есть тюрьма аббатства Сен-Жермен-де-Пре в

Париже; во время якобинского террора 1792 года там находились лица, осужденные революционным трибуналом.

...ее решили на ступеньках церкви св. Роха... — В 1815 году народ взломал двери церкви св. Роха, так как настоятель церкви отказался хоронить известную трагическую актрису, мадмуазель Рокур.

...ее решили в 1830 году... — то есть во время Июльской буржуазной революции 1830 года, свергнувшей Реставрацию.

...ее решила лучшая из республик — республика Лафайета, подавляя восстания республиканцев на улицах Сен-Мерри и Транснонен. — Слова «вот лучшая из республик» приписываются Лафайету, так он представил в 1830 году народу герцога Орлеанского, возведенного затем на престол под именем Луи-Филиппа.

5—6 июля 1832 года в Париже вспыхнуло республиканское восстание. Центром героического вооруженного сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен-Мерри.

В 1834 году в Париже началось восстание республиканцев в знак солидарности с восставшими рабочими в Лионе. В течение двух дней (13, 14 апреля) восставшие оказывали героическое сопротивление правительственным войскам. Группа восставших, в том числе много женщин, была зверски расстреляна на улице Транснонен.

Стр. 12. *Королевские ордонансы* — см. прим. к стр. 9. (о произведенном принцем Полиньяком государственном перевороте).

Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов (протестантов) католиками, устроенная по приказу королевы-матери Екатерины Медичи в Париже в ночь на 24 августа 1572 года под праздник святого Варфоломея.

Лобардемон, Жан Мартин — парижский государственный судья, один из ближайших помощников кардинала Ришелье (XVII в.), покорный исполнитель его воли.

Лаффема, Исаак — государственный советник, один из исполнителей политики Ришелье, организатор нескольких процессов против дворянской знати, сопротивлявшейся Ришелье.

д'Ортез, Анри — королевский наместник в городе Байонна (XVI в.). Ему приписывается следующий ответ на приказ короля Карла IX уничтожить протестантов: «Сир, я довел приказ Вашего величества до сведения верноподданных жителей и военных людей Вашего города Байонны; в этом городе я знаю хороших граждан, храбрых солдат, но я не нашел ни одного палача».

Филипп II (1527—1598) — испанский король, жестокий фанатик католицизма, опирался на инквизицию в борьбе с «еретиками», свирепо расправлялся со всеми оппозиционными элементами.

Герцог Альба, Фернандо Альверес де Толедо — испанский полководец, государственный деятель, наместник Нидерландов, где вызвал всеобщую ненависть своей фанатической жестокостью (XVI в.).

Кардинал Гранвелла, Антуан — служил министром в правительстве испанских королей Карла I (Карла V) и Филиппа II, преследовал протестантов.

Стр. 13. *Нантский эдикт* — эдикт, изданный в 1598 году французским королем Генрихом IV и предоставлявший протестантам (гугенотам) свободу вероисповедания; был отменен в 1685 году Людовиком XIV.

Катилина, Луций (108—62 г. до н. э.) — римский политический деятель; стремясь стать консулом, организовывал заговоры, при помощи демагогических обещаний привлекал на свою сторону часть римского плебса. Политику Катилины разоблачал в своих речах в Сенате политический деятель и оратор Цицерон.

Королларий — следствие из уже установленной истины (*лат.*).

Стр. 15. *Альбигойцы* — сторонники религиозной ереси катаров, не признававших церковных обрядов, проповедовавшие бедность. Название получили от города Южной Франции — Альби, были уничтожены во время Альбигойских войн, организованных папой Иннокентием III (XIII в.).— *Вальденсы* — сторонники религиозной ереси, распространенной в конце XII века в Южной Франции и Северной Италии, утверждали греховность мира и собственности, проповедовали бедность и покаяние.

Стр. 16. *Второй Балафре* — то есть герцог Генрих де Гиз — противник Генриха Бурбона Наваррского.

Беарнец — прозвище короля Генриха IV (1553—1610). Беарн — провинция в Южной Франции, где он родился.

Амбруаз Паре (1517—1590) — знаменитый французский хирург.

Лопиталь, Мишель (1507—1573) — французский политический деятель, канцлер Франции, стремился примирить католиков с гугенотами.

Стр. 18. *Вражда бургиньонов и арманьяков.*— Имеются в виду распри двух феодальных партий: арманьяков — сторонников гер-

цога Орлеанского, во главе которых после убийства герцога стоял граф д'Арманьяк, и бургиньонов, сторонников герцога Бургундского (XV в.).

Изабелла Баварская — жена французского короля Карла VI (XV в.); узнав о ее любовной связи с дворянином Буабурдоном, король сослал ее в Тур.

Стр. 19. *Мирабо*, Оноре-Габриэль Рикетти (1749—1791) — видный деятель первого этапа французской буржуазной революции 1789—1794 годов, руководитель либерального дворянства и крупной буржуазии..

Гонфалоньер — должностное лицо в городах-республиках Италии, командовал ополчением города и обладал исполнительной властью.

Флорентинский Брут.— Брут, Марк Юний (I в. до н. э.) — один из организаторов заговора против Юлия Цезаря, стремившегося уничтожить в Риме республиканскую форму правления. Флорентинским Брутом Бальзак называет Лоренцо Медичи, убившего своего двоюродного брата — флорентинского герцога Алессандро Медичи, жестокого деспота.

Стр. 20. *Бьянка Капелло* — дочь венецианского патриция, убежала из дому со своим возлюбленным; брошенная им, стала фавориткой, а позже женой герцога Франческо Медичи (XVI в.).

Стр. 21. *Брантом*, Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский писатель, оставивший множество книг мемуарного характера, хорошо рисующих нравы того времени.

Стр. 22. *Макьявелли*, Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель Возрождения. В своих трактатах провозглашал идеал правителя, не считающегося для достижения своей цели ни с законами, ни с моральными нормами.

Спиноза, Барух (1632—1677) — голландский философ-материалист, автор «Политического трактата», где он утверждал, что наилучшее государственное устройство — демократическое.

Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ-материалист, во время английской буржуазной революции поддерживал диктатуру Кромвеля; в книге «Левиафан или материя, форма и власть государства» проповедовал необходимость сильной власти, монархическую форму правления.

Стр. 25. *Заговор Пацци.*— Пацци — флорентинская, республикански настроенная семья, члены которой возглавили в 1478 году заговор против власти дома Медичи, но потерпели поражение.

Стр. 26. *Как Сенека и Бурр... он стал свидетелем зарождения тирании.*— Имеется в виду Луций Анней Сенека — философ, драматург и политический оратор. Сенека и военачальник Бурр были воспитателями римского императора Нерона, известного своей жестокостью. По приказанию Нерона Бурр был отравлен. Сенека принял участие в заговоре против императора (65 г. н. э.); видя неудачу заговора, вскрыл себе вены.

Стр. 31. *Видам* — старинный дворянский титул во Франции.

Стр. 34. *...стал упорно называть императора...*— Речь идет о германском императоре и испанском короле Карле V.

Стр. 35. *Море*, Пьер — французский республиканец; его обвинили в участии в республиканском заговоре Фиески против короля Луи-Филиппа, и, хотя это не было доказано, он был приговорен к смертной казни в 1836 году.

Бертро.— Бальзак неверно называет фамилию. Речь идет о Бертелье Филибере (1470—1519), прославившемся во время защиты Женевы от войск герцога Савойского. После падения Женевы Бертелье отказался бежать, враги его казнили.

Сидней, Олджер (1622—1683) — английский республиканец, казнен за участие в заговоре против короля (1678).

Жак Кер (ок. 1395—1456) — богатый французский торговец, ссужал короля деньгами, за что получил дворянство.

Боншан, Шарль, маркиз (1759—1793) — французский генерал, предводитель вандейского контрреволюционного восстания.

Тальмон, Антуан Филипп — один из активных участников контрреволюционного восстания в Вандее, казнен в 1794 году.

Клеман, Жак (1567—1589) — французский монах-доминиканец, убивший французского короля Генриха III.

Шабо, Франсуа (1759—1794) — член революционного Конвента, был казнен по решению Трибунала в 1794 году.

Стр. 36. *Г-жа д'Этамп*, Анна (1508—1585) — фаворитка французского короля Франциска I.

Стр. 38. *Парламенты.*— До революции 1789—1794 годов парламентами во Франции назывались высшие суды, на которые возлагались и некоторые административные функции.

Стр. 41. *Сражение при Сен-Кантене.*— В 1557 году после ожесточенного штурма испанские войска захватили французский город Сен-Кантен.

Стр. 42. *...эти цвета король носил на турнире, который стал*

для него последним.— Король Генрих II умер от раны, полученной на турнире в 1559 году.

Стр. 53. *Синдик* — представитель общины или корпорации ремесленников, уполномоченный на ведение дел.

Стр. 57. *Президент* — то есть председатель суда.

Анн дю Бур — французский законовед, протестант, по приказу короля Генриха II был повешен, а потом сожжен как еретик (1559).

Стр. 58. *Шодье*, Антуан (1534—1591) — один из активнейших французских кальвинистов.

Стр. 61. *Жан Отоман*, настоящее имя — Франсуа Отоман (1524—1590) — французский ученый, философ, протестант.

Лига.— Католическая Лига 1576 года — объединение французского католического духовенства, дворянства, парижской буржуазии против гугенотов-кальвинистов, возглавляемая герцогами Гизами.

Стр. 63. *Пизарро*, Франциско (1471—1541) — испанский завоеватель Перу, с неслыханной жестокостью проводил колонизацию захваченных земель.— *Кортес*, Эрнандо (1485—1547) — завоеватель Мексики, беспощадно истреблял местное население.

Морган Истребитель — один из главарей флибустьеров — морских пиратов XVII века, грабивших главным образом испанские корабли.

Стр. 64. *Лотарингский дом* — см. прим. к стр. 10.

Стр 71. *...чувство... сведенное на нет нашим законодательством о правах наследования.*— Гражданский кодекс, введенный в действие Наполеоном в 1804 году, отменил преимущественное право наследования старших детей.

Стр. 80. *Вот что писал о нем один из наших изящнейших писателей.*— Имеется в виду Теофиль Готье (1811—1872). Бальзак цитирует отрывок из его книги «Башенки. История французских замков», 1839.

Стр. 82. *Двор знаменитых Тибо...*— Тибо — имя нескольких графов Шампанских в средние века.

Стр. 83. *Анна Бретонская* (1477—1514) — жена французского короля Карла VIII, в качестве приданого принесла французской короне герцогство Бретань.

Стр. 85. *Мария Стюарт* (1542—1587) — жена французского короля Франсуа II, племянница герцога де Гиза (Балафре). С 1560 по 1567 — королева Шотландии.

Стр. 93. *Внезапная смерть Генриетты.*— Генриетта Английская (1644—1670) — дочь английского короля Карла I, жила при дворе Людовика XIV. Согласно легенде, умерла отравленной.

Стр. 94. *Хименес* (1436—1517) — испанский кардинал, был фактическим правителем Кастилии.

Стр. 101. *Нострадамус.*— Мишель де Нотр-Дам, известный под именем Нострадамуса (1503—1566) — французский врач, астролог, публиковал свои предсказания будущего.— *Руджери*, Косма — флорентинский астролог, привезенный Екатериной Медичи в Париж.— *Кардано*, Джероламо (1501—1576) — итальянский врач, математик и философ, астролог, увлекался книгами древних мистиков.— *Парацельс.*— Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный под именем Парацельса (1493—1541) — химик и философ.

Оккультные науки — общее название лженаук о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся разные формы магии, гадания, спиритизм.

Стр. 112. *Амио*, Жак (1513—1593) — французский гуманист, переводчик греческих авторов, был учителем сыновей Екатерины Медичи, королей Генриха III и Карла IX.

Стр. 114. *...что сейчас происходит во Фландрии.*— Фландрия входила в состав владений испанского короля Филиппа II. В начале 60-х годов XVI века во Фландрии развернулось мощное народное движение, направленное против абсолютизма и католицизма, широкое распространение получили идеи кальвинизма.

Стр. 131. *Фурьер* — офицер низшего звания, исполняющий обязанности ротного или эскадронного квартирьера.

Стр. 146. *Подвергнуть тамплиеров пытке чеканного пресса.*— Орден тамплиеров в XIII веке обладал огромными богатствами, среди его должников был французский король Филипп IV. Желая избавиться от долга, Филипп IV приказал начать против ордена судебный процесс. Многие из тамплиеров были подвергнуты пыткам и сожжены.

Стр. 182. *Гюг Капет* (род. ок. 940 — умер 996) — французский король (987—996), основатель династии Капетингов, боролся за власть с претендентом на престол — Карлом Лотарингским.

Стр. 192. *Сен-Дени* — аббатство в окрестностях Парижа, основано в VII веке королем франков Дагобером I; впоследствии усыпальница королей и королев Франции.

Стр. 195. *Папа Женевский* — то есть Кальвин. Кальвин добился неограниченной власти в Женеве и жестоко преследовал своих религиозных противников.

Стр. 198. *Фукье-Тенвиль*, Антуан (1746—1795) — общественный обвинитель при Революционном трибунале во время якобинской диктатуры.

Петр Пустынник (XI в.) — один из вдохновителей и организаторов первого крестового похода европейского рыцарства на восток.

Питт.— Речь идет о Питте Вильяме-младшем (1759—1806) — английском премьер-министре, яром враге республиканской Франции, вдохновителе антифранцузских коалиций.

Елена этой протестантской «Илиады».— Согласно древнегреческой мифологии, причиной Троянской войны была Елена Прекрасная, похищенная сыном троянского царя Парисом. Брак Лютера был вызовом, брошенным им католическому целибату, то есть обету безбрачия.

Стр. 205. *Тарквиний.*— Речь идет о Тарквинии Гордом, по преданию, последнем царе Древнего Рима (VI в. до н. э.); известен был своею жестокостью; подчинил власти Рима население Лация.

Стр. 207. *Грешник Савл.*— Речь идет об апостоле Павле, одном из легендарных основателей христианства. По преданию, он был язычником и носил имя Савл; по дороге в Дамаск Савл будто бы услышал голос бога и, потрясенный этим, принял христианство.

Стр. 217. *Трагедия Шенье* — трагедия «Карл IX, или Школа королей», автором которой был французский драматург Мари Жозеф Шенье (1764—1811); в трагедии осуждалась монархическая власть и церковь.

Стр. 219. *Собрание Одиевра* — собрание гравюр. Одиевр опубликовал в первой половине XVIII века серию из 600 портретов — «Знать Европы».

Стр. 234. *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — итальянский скульптор и ювелир, известны его мемуары.

Стр. 245. *Фуггеры* — семья крупных немецких банкиров XIV—XVI веков.

Агриппа — Анри Корнель Агриппа де Колонь (1486—1535) — алхимик, советник императора Карла V, автор книги «Оккультная философия».

Стр. 259. *Маршал д'Анкр* — итальянский авантюрист Кончинни, фаворит матери Людовика XIII — Марии Медичи, был казнен по приказу короля.

...когда коннетабль изменил королю.— См. прим. к стр. 10.

Стр. 260. *Апанаж* — содержание, выдававшееся во Франции некоронованным членам королевской семьи (земли и рента).

Стр. 269. *...чтобы вы поскорее добрались до Сен-Дени* — то есть поскорее умерли. Сен-Дени — см. прим. к стр. 192.

Стр. 271. *Карл Простоватый* — французский король с 898 по 923 год, был свергнут с престола и умер в заключении в 929 году.

Стр. 272. *Гвельфы* — политическая партия, стремилась установить в Италии власть римского папы, ожесточенно боролась против приверженцев германских императоров — гибеллинов (XII—XV).

Стр. 280. *Августовское кровопролитие* — то есть Варфоломеевская ночь.

Стр. 290. *Бернар де Палисси* — французский ученый и писатель (XVI в.), прославился своими работами в области химии и художественной керамики.

Стр. 303. *Прометей.*— Древнегреческая мифология приписывала титану Прометею создание человека. Прометей вылепил первых людей из глины, вдохнул в них жизнь; вопреки воле Зевса, похитил с неба священный огонь и даровал его людям. Разгневанный Зевс приказал приковать Прометея к скале на Кавказе, где орел клевал его печень.— *Адонис* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини любви Афродиты. Имя его стало нарицательным для обозначения идеала мужской красоты.— *Пан.*— В древнегреческой мифологии бог Пан первоначально почитался как бог стад и полей, покровитель пастухов, затем он приобрел значение всеобъемлющего божества, олицетворяющего природу.

Когда один из ваших предков... сжег тамплиеров на костре...— См. прим. к стр. 146.

Стр. 304. *Розенкрейцеры* — члены одного из тайных религиозно-мистических обществ в XVII—XVIII веках в Германии и других странах Европы.

...приведем в движение суда, подобно тому как это сделал один из наших братьев в Барселоне.— См. авторское примечание на стр. 6 текста.

Стр. 311. *Его (Пифагора) учение о превращениях...* — Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик, философ, создатель религиозно-мистического учения о переселении душ.

Стр. 313. *Граф Сен-Жермен* — авантюрист, живший в XVIII веке, настоящее имя его неизвестно, по происхождению он, по-видимому, португалец. Жил во Франции, Италии, Голландии, Англии и России, ловко пользуясь славой алхимика; составил себе огромное состояние.

Стр. 314. *Лебрен-Пиндар* — Лебрен Экушар (1729—1807) — французский поэт, автор торжественных од, подражавших одам древнегреческого поэта Пиндара (V в. до н. э.), за что был прозван Лебреном-Пиндаром.

Стр. 315. *Дело об ожерелье.* — Имеется в виду нашумевшая история с исчезновением дорогого ожерелья, предназначенного для французской королевы Марии-Антуанетты. Это скандальное дело дискредитировало видных представителей знати и духовенства.

Стр. 318. *Калиостро*, Александр, граф,— настоящее имя — Джузеппе Бальзамо (1743—1795) — авантюрист, занимался алхимией, выдавал себя за заклинателя духов, обладателя философского камня.

Стр. 320. *Г-жа де Жанлис*, Фелисите (1746—1830) — французская писательница.

Стр. 321. *То, которое совершилось 24 августа,* — то есть Варфоломеевская ночь.

Монлюк, Блэз (1502—1577) — французский полководец, отличавшийся во время религиозных войн жестокостью по отношению к гугенотам, автор «Мемуаров», охватывающих период с 1521 по 1574 год.

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, проповедник, автор сочинений на богословские темы, теоретик абсолютизма и католицизма.

Отмена Нантского эдикта — см. примечание к стр. 13.

Стр. 322. *Битва при Дре.* — В 1562 году при Дре герцог де Гиз Франсуа разбил войско протестантов.

Стр. 323. *Сюлли*, Максимильен, герцог (1559—1641) — министр и друг французского короля Генриха IV, владел огромными богатствами.

Стр. 324. *Людовик IX* (1215—1270), прозванный Святым — французский король, известный своим участием в многочисленных крестовых походах, в том числе в Северную Африку.

Друидесса — жрица галлов, древних обитателей территории теперешней Франции.

ОЗОРНЫЕ РАССКАЗЫ

В начале 1830-х годов Бальзак задумал написать серию рассказов в духе эпохи Возрождения. В письме к Ганской от 26 октября 1834 года, рассказывая о грандиозном плане будущей «Человеческой комедии», Бальзак писал: «А на устоях этого дворца я, добрый малый и шутник, начерчу огромную арабеску «Ста озорных рассказов».

В этом замысле Бальзака увлекала проблема стиля: рассказы представляли собою своего рода ювелирную работу, дававшую ему отдых от напряженного труда по созданию «Человеческой комедии». Но прежде всего в этих рассказах сказался глубокий интерес автора к эпохе Возрождения.

Величайший представитель французского гуманизма Франсуа Рабле был один из самых любимых писателей Бальзака. В 1837 году, представляя роман «Сельский врач» на соискание Монтионовской премии Академии наук, Бальзак собирался в случае получения премии употребить ее на сооружение памятника своему любимому писателю с надписью: «Рабле, моему учителю — Оноре де Бальзак».

В письме к Ганской от 23—27 октября 1833 года он писал: «Ангел мой, чтобы читать «Невольный грех» и получить от этого удовольствие, надо обладать сердцем столь же чистым, как твое. Это жемчужина наивности. Но, дорогая, ты проявила большую отвагу. Боюсь, что теперь ты уже меньше любишь меня Нужно настолько хорошо знать нашу народную литературу, великую, величественную литературу XV века, искрящуюся талантом, такую непосредственную, полную острых словечек, которые в то время еще не были опорочены,— что я боюсь за себя».

В духе этой литературы, с такой любовью охарактеризованной Бальзаком, и написаны «Озорные рассказы».

Перед писателем стояла сложная задача: воссоздать духовный мир людей позднего Средневековья и эпохи Возрождения, притом осуществить это средствами языка того времени; «Озорные рассказы» не просто «исторические повести», а произведения, якобы написанные в XV—XVI веках.

Бальзаку удалось избежать той искусственности, которая нередко сопутствует подобной стилизации. Он настолько глубоко проник в мировоззрение и психологию как героев, так и мнимых авторов этих рассказов, что создал вполне органическое произведение, остающееся и по сие время непревзойденным шедевром.

«Озорные рассказы» написаны в духе того времени, когда рушились средневековые представления об исконной греховности человека, о его беспомощности и зависимости от воли небес, о необходимости подавлять влечение к радостям жизни ради блаженства в будущем мире. Гуманисты провозгласили человека самым ценным, что есть на земле, они призывали к безграничному развитию всех заложенных в человеке способностей.

Этим жизнеутверждающим мировоззрением и проникнуты «Озорные рассказы».

«Озорные рассказы» полны жизнерадостности, безудержного раблезианского смеха и упоения жизнью.

В некоторых рассказах «озорное» тесно переплетается с трогательным, грустным и даже трагическим. Самые «рискованные» и потешные положения ведут иной раз к событиям, раскрывающим глубокую человечность героев. Примером может служить Брюин, старик из рассказа «Невольный грех», воспринимаемый сначала как чисто комическая фигура, а затем вызывающий наше сочувствие своей глубокой и искренней любовью.

Книга Бальзака должна была состоять из ста рассказов; это соответствовало бы традиции, утвержденной еще «Декамероном» Боккаччо (XIV век) и продолженной во Франции сборником «Сто новых новелл» (XV век), «Гептамероном» Маргариты Наваррской (сер. XVI века; сборник остался незаконченным) и другими.

К сожалению, Бальзак, отвлеченный множеством новых замыслов, не осуществил своего намерения: им написано только 33 рассказа (не считая набросков).

По мысли автора, они должны были выходить «десятками». Первый десяток появился в свет в 1832 году (рассказ «Красавица Империа» был напечатан раньше, в июне 1831 года, в журнале «Ревю де Пари»); второй десяток был издан в 1833 году (один рассказ этого десятка появился немного ранее в периодическом издании); третий десяток — в 1837 году (рассказ «Настойчивость любви» был напечатан в журнале «Эроп литерер» в сентябре 1833 года).

В пятый десяток должны были войти «подражания» авторам

позднейшего времени — вплоть до XVIII века. Один из этих рассказов («Пряха»), написанный в духе сказок Шарля Перро (1628—1703), был напечатан вскоре после смерти Бальзака в журнале «Ревю де Пари» (октябрь 1851 года).

Сам Бальзак очень ценил свои «Озорные рассказы». В письме к Ганской от 19 августа 1833 года он писал: «Если Вы не любите рассказов Лафонтена и Боккаччо, если Вы не восторгаетесь Ариосто,— не беритесь за мои «Озорные рассказы», хотя они — лучший залог моей будущей славы».

В другом письме (от 23—27 октября 1833 года) он говорит: «Повторяю тебе: если и останется что-нибудь после меня, так это «Рассказы». Человек, который создаст сотню таких рассказов, не умрет».

Бальзак преуменьшает здесь значение своего труда в целом, но в высокой оценке «Озорных рассказов» он, безусловно, прав.

КРАСАВИЦА ИМПЕРИА

Стр. 333. *Констанцский собор* был созван католической церковью в 1414 году в г. Констанце-на-Рейне и продолжался до 1418 года.

Стр. 334. *Индульгенция* — свидетельство об отпущении грехов, купленное за деньги; продажа индульгенций, принявшая широкое распространение, приносила католической церкви большой доход.

Стр. 335. *Гус, Ян* (1369—1415) — чешский религиозный реформатор, боролся за независимость чехов. Суд Констанцского собора обвинил его в ереси и приговорил к сожжению на костре.

Электор (буквально «избиратель») — титул десяти немецких владетельных князей, имевших право участвовать в выборах императора.

Стр. 336. *Папа Иоанн*,— Иоанн XXIII был избран на папский престол в 1410 году небольшим числом кардиналов, остальные же признавали папою Бенедикта XIII. Приехав в Констанц и убедившись в том, что он не может рассчитывать на поддержку большинства, Иоанн решил бежать, но был схвачен и лишен сана.

Стр. 340. *Гипокрас* — сладкое вино, приправленное корицей.

Стр. 343. *Три притязателя на папский престол.*— Григорий XII после длительного сопротивления сложил с себя сан в мае 1415 года. Иоанн XXIII был низложен Констанцским собором в мае 1415 года, а авиньонский «антипапа» Бенедикт XIII — в июне 1417 года.

Стр. 344. *Коклюшем* называлась в XIV и XV веках опасная эпидемическая болезнь.

Стр. 345. *Красная шляпа* — головной убор кардиналов.

НЕВОЛЬНЫЙ ГРЕХ

Стр. 350. *Филипп II Август* — французский король с 1180 по 1223 год.

Сенешал — в данном случае судья, вершивший правосудие именем короля.

Стр. 351. *Бальи* — в средние века королевский чиновник, исполнявший обязанности судьи и сборщика податей; кроме того, он был уполномочен принимать жалобы подданных на феодалов.

Стр. 354. *Битва под Акром.*— Акр — город в Сирии, на берегу Средиземного моря; во время крестовых походов несколько раз переходил из рук в руки. В данном случае имеется в виду взятие Акра крестоносцами в 1191 году.

Стр. 367. *Феод* — в средние века земельное владение, которое вассал получал от своего сеньора.

НАСЛЕДНИК ДЬЯВОЛА

Стр. 388. *Василиск* — сказочный змей, взгляд которого якобы наделен смертоносной силой.

Пенитенциарий — священник, которому предоставлено право отпускать особо тяжкие прегрешения.

Стр. 390. *Силен* — в греческой мифологии воспитатель Вакха.

Стр. 391. *Зефир* — юноша с крыльями бабочки; был у древних римлян олицетворением легкого прохладного ветерка.

Стр. 398. *...арманьяки бесчинствуют...*— см. примеч. к стр. 18.

Стр. 400. *Ситэ* (буквально «город») — остров на р. Сене, самая древняя часть Парижа.

ЖЕНА КОННЕТАБЛЯ

Стр. 404. *Коннетабль* — см примеч. к стр. 10.

Карл VI — французский король с 1380 по 1422 год.

Стр. 406. *Бегство из Ланьи герцога Бургундского* — эпизод из распри между бургиньонами и арманьяками

Стр. 408. *Иоанн Бесстрашный* — герцог Бургундский (1371—1419), сын Филиппа Смелого, глава партии бургиньонов.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВОЗГЛАС

Стр. 431. *...напоминавший изящного и томного любовника, воспетого господином Ариосто* — Имеется в виду Медор, персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», влюбленный в красавицу Анжелику — *Ариосто*, Лодовико (1474—1533) — крупнейший итальянский поэт эпохи Возрождения.

ВЕДЬМА

Стр. 436. *Безант* — византийская золотая монета, получившая широкое распространение в Европе в эпоху крестовых походов.

ОТЧАЯНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО

Стр. 481. *Карл VIII* — французский король с 1483 по 1498 год. — *Амбуазский замок* — в городе Амбуазе, около Тура; в этом замке Карл VIII родился, и здесь же он умер.

НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛЮБВИ

Стр. 507. *Капитул* — совет священнослужителей при монастыре или соборе.

РАСКАЯНИЕ БЕРТЫ

Стр. 509. *Побег его высочества дофина.* — Людовик XI (1423—1483), будучи дофином, принимал участие в мятежах против

своего отца Карла VII и вынужден был искать убежища у герцога бургундского Филиппа, при дворе которого он и прожил до своего восшествия на престол в 1461 году.

Стр. 515. *Королева Екатерина.*— Екатерина Медичи, дочь Лоренцо Медичи, была в 1533 году выдана замуж за сына французского короля Франциска I, будущего Генриха II, с нею приехала из Италии многочисленная свита.

Стр. 517. *Бакалавр* — в средние века юноша знатного рода, еще не посвященный в рыцари.

Стр. 518. *Менестрель* — в средние века поэт, состоящий на службе у какого-нибудь феодала, в отличие от странствующих поэтов, которые на юге Франции (в Провансе) назывались трубадурами, а на севере — труверами.

Стр. 519. *Тенсона* — в средние века так назывались стихотворения, написанные в форме диалога двух поэтов, обсуждающих различные философские, любовные или литературные вопросы.— *Кристина Пизанская* — французская поэтесса, родом итальянка (1363 — ок. 1431).

Стр. 532. *Герцог Карл* (Карл Смелый) — герцог Бургундский с 1467 по 1477 год, злейший враг французского короля Людовика XI.

Стр. 539. *Агарь* — в библии рабыня Авраама, изгнанная из дома его женой Саррой.

НАИВНОСТЬ

Стр. 544. *Приматиччо*, Франческо (ок. 1504—1571) — живописец, архитектор и ваятель болонской школы, с 1531 года работал во Франции по приглашению короля Франциска I.

Франсуа и *Марго* — дети Генриха II и Екатерины Медичи; *Франсуа* (Франциск II), женившийся на Марии Стюарт, стал французским королем в 1559 году, но в следующем году умер в возрасте шестнадцати лет. *Марго* (Маргарита, 1553—1615) была выдана в 1572 году за Генриха Наваррского, будущего французского короля Генриха IV (1589—1610). Перу Маргариты принадлежат мемуары и стихотворения (не следует смешивать ее с Маргаритой Наваррской, сестрой Франциска I, писательницей-гуманисткой, автором сборника новелл «Гептамерон»).

Стр. 548. *Император римский.*— С 962 г. германские короли, захватившие Сев. Италию, стали именовать себя императорами Священной Римской империи германской нации; императоры короновались в Риме.

Коннетабль Бурбонский — см. примеч. к стр. 10.

В этом томе воспроизводятся иллюстрации художника Г. Доре к «Озорным рассказам» с подписями, которые даны в издании Гарнье, Париж, 1881.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Философские этюды

Об Екатерине Медичи. *Перевод А. Шадрина* 5

ОЗОРНЫЕ РАССКАЗЫ

Красавица Империа. *Перевод Н. Соколовой* 333
Невольный грех. *Перевод Н. Соколовой* 349
Наследник дьявола. *Перевод Н. Соколовой* 386
Жена коннетабля. *Перевод С. Вышеславцевой* 404
Спасительный возглас. *Перевод С. Вышеславцевой* 422
Ведьма. *Перевод Н. Соколовой* 433
Отчаяние влюбленного. *Перевод Н. Соколовой* 480
Настойчивость любви. *Перевод Н. Соколовой* 488
Раскаяние Берты. *Перевод С. Вышеславцевой* 509
Наивность. *Перевод С. Вышеславцевой* 543
Замужество красавицы Империи. *Перевод Н. Соколовой* . 546

Примечания 566

БАЛЬЗАК

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XXI.

Редакторы тома
Ю. Б. Корнеев,
И. А. Лилеева.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 31/X 1960 г.
Тираж 349 000 экз. Изд. № 1836.
Заказ 2359. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 9,25. Печ. л. 30,34+12 вкл.
(1,25 п. л.). Уч.-изд. л. 32,21.

Цена 9 руб. С 1/I 1961 г. цена 90 коп.

Ордена Ленина типография
газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.